

ПОТЕМКИН



Ольга
Елисеева



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Его называли гением и узурпатором, блестящим администратором и обманщиком, создателем «потемкинских деревень». Екатерина II писала о нем как о «настоящем дворянине», «великом человеке», не выполнившем и половину задуманного. Первая отечественная научная биография светлейшего князя Потемкина-Таврического, тайного мужа императрицы, создана на основе многолетних архивных разысканий автора. От аналогов ее отличают глубокое раскрытие эпохи, ориентация на документ, а не на исторические анекдоты, яркий стиль. Окунувшись на страницах книги в блестящий мир «золотого века» Екатерины Великой, став свидетелем придворных интриг и тайных дипломатических столкновений, захватывающих любовных историй и кровавых битв Второй русско-турецкой войны, читатель сможет сам сделать вывод о том, кем же был «великолепный князь Тавриды», злым гением, как называли его враги, или великим государственным мужем.

- [Ольга Елисеева](#)
 - [«ИМЯ СТРАННОГО ПОТЕМКИНА»](#)
 - [ГЛАВА 1](#)
 - [ГЛАВА 2](#)
 - [ГЛАВА 3](#)
 - [ГЛАВА 4](#)
 - [ГЛАВА 5](#)
 - [ГЛАВА 6](#)
 - [ГЛАВА 7](#)
 - [ГЛАВА 8](#)
 - [ГЛАВА 9](#)
 - [ГЛАВА 10](#)
 - [ГЛАВА 11](#)
 - [ГЛАВА 12](#)
 - [ГЛАВА 13](#)
 - [ГЛАВА 14](#)
 - [ГЛАВА 15](#)
 - [ГЛАВА 16](#)
 - [ГЛАВА 17](#)
 - [«ВОДОПАД»](#)

- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. А. ПОТЕМКИНА](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)

- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)

- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)

- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)

- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)

- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)

- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)

- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)

- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)

- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)

- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)

- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)

- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)
- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)

- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)
- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)

- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)
- [563](#)
- [564](#)
- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)
- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)
- [575](#)
- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)
- [579](#)
- [580](#)
- [581](#)

- [582](#)
- [583](#)
- [584](#)
- [585](#)
- [586](#)
- [587](#)
- [588](#)
- [589](#)
- [590](#)
- [591](#)
- [592](#)
- [593](#)
- [594](#)
- [595](#)
- [596](#)
- [597](#)
- [598](#)
- [599](#)
- [600](#)
- [601](#)
- [602](#)
- [603](#)
- [604](#)
- [605](#)
- [606](#)
- [607](#)
- [608](#)
- [609](#)
- [610](#)
- [611](#)
- [612](#)
- [613](#)
- [614](#)
- [615](#)
- [616](#)
- [617](#)
- [618](#)
- [619](#)
- [620](#)

- [621](#)
- [622](#)
- [623](#)
- [624](#)
- [625](#)
- [626](#)
- [627](#)
- [628](#)
- [629](#)
- [630](#)
- [631](#)
- [632](#)
- [633](#)
- [634](#)
- [635](#)
- [636](#)
- [637](#)
- [638](#)
- [639](#)
- [640](#)
- [641](#)
- [642](#)
- [643](#)
- [644](#)
- [645](#)
- [646](#)
- [647](#)
- [648](#)
- [649](#)
- [650](#)
- [651](#)
- [652](#)
- [653](#)
- [654](#)
- [655](#)
- [656](#)
- [657](#)
- [658](#)
- [659](#)

- [660](#)
- [661](#)
- [662](#)
- [663](#)
- [664](#)
- [665](#)
- [666](#)
- [667](#)
- [668](#)
- [669](#)
- [670](#)
- [671](#)
- [672](#)
- [673](#)
- [674](#)
- [675](#)
- [676](#)
- [677](#)
- [678](#)
- [679](#)
- [680](#)
- [681](#)
- [682](#)
- [683](#)
- [684](#)
- [685](#)
- [686](#)
- [687](#)
- [688](#)
- [689](#)
- [690](#)
- [691](#)
- [692](#)
- [693](#)
- [694](#)
- [695](#)
- [696](#)
- [697](#)
- [698](#)

- [699](#)
- [700](#)
- [701](#)
- [702](#)
- [703](#)
- [704](#)
- [705](#)
- [706](#)
- [707](#)
- [708](#)
- [709](#)
- [710](#)
- [711](#)
- [712](#)
- [713](#)
- [714](#)
- [715](#)
- [716](#)
- [717](#)
- [718](#)
- [719](#)
- [720](#)
- [721](#)
- [722](#)
- [723](#)
- [724](#)
- [725](#)
- [726](#)
- [727](#)
- [728](#)
- [729](#)
- [730](#)
- [731](#)
- [732](#)
- [733](#)
- [734](#)
- [735](#)
- [736](#)
- [737](#)

- [738](#)
- [739](#)
- [740](#)
- [741](#)
- [742](#)
- [743](#)
- [744](#)
- [745](#)
- [746](#)
- [747](#)
- [748](#)
- [749](#)
- [750](#)
- [751](#)
- [752](#)
- [753](#)
- [754](#)
- [755](#)
- [756](#)
- [757](#)
- [758](#)
- [759](#)
- [760](#)
- [761](#)
- [762](#)
- [763](#)
- [764](#)
- [765](#)
- [766](#)
- [767](#)
- [768](#)
- [769](#)
- [770](#)
- [771](#)
- [772](#)
- [773](#)
- [774](#)
- [775](#)
- [776](#)

- [777](#)
- [778](#)
- [779](#)
- [780](#)
- [781](#)
- [782](#)
- [783](#)
- [784](#)
- [785](#)
- [786](#)
- [787](#)
- [788](#)
- [789](#)
- [790](#)
- [791](#)
- [792](#)
- [793](#)
- [794](#)
- [795](#)
- [796](#)
- [797](#)
- [798](#)
- [799](#)
- [800](#)
- [801](#)
- [802](#)
- [803](#)
- [804](#)
- [805](#)
- [806](#)
- [807](#)
- [808](#)
- [809](#)
- [810](#)
- [811](#)
- [812](#)
- [813](#)
- [814](#)
- [815](#)

- [816](#)
- [817](#)
- [818](#)
- [819](#)
- [820](#)
- [821](#)
- [822](#)
- [823](#)
- [824](#)
- [825](#)
- [826](#)
- [827](#)
- [828](#)
- [829](#)
- [830](#)
- [831](#)
- [832](#)
- [833](#)
- [834](#)
- [835](#)
- [836](#)
- [837](#)
- [838](#)
- [839](#)
- [840](#)
- [841](#)
- [842](#)
- [843](#)
- [844](#)
- [845](#)
- [846](#)
- [847](#)
- [848](#)
- [849](#)
- [850](#)
- [851](#)
- [852](#)
- [853](#)
- [854](#)

- [855](#)
- [856](#)
- [857](#)
- [858](#)
- [859](#)
- [860](#)
- [861](#)
- [862](#)
- [863](#)
- [864](#)
- [865](#)
- [866](#)
- [867](#)
- [868](#)
- [869](#)
- [870](#)
- [871](#)
- [872](#)
- [873](#)
- [874](#)
- [875](#)
- [876](#)
- [877](#)
- [878](#)
- [879](#)
- [880](#)
- [881](#)
- [882](#)
- [883](#)
- [884](#)
- [885](#)
- [886](#)
- [887](#)
- [888](#)
- [889](#)
- [890](#)
- [891](#)
- [892](#)
- [893](#)

- [894](#)
- [895](#)
- [896](#)
- [897](#)
- [898](#)
- [899](#)
- [900](#)
- [901](#)
- [902](#)
- [903](#)
- [904](#)
- [905](#)
- [906](#)
- [907](#)
- [908](#)
- [909](#)
- [910](#)
- [911](#)
- [912](#)
- [913](#)
- [914](#)
- [915](#)
- [916](#)
- [917](#)
- [918](#)
- [919](#)
- [920](#)
- [921](#)
- [922](#)
- [923](#)
- [924](#)
- [925](#)
- [926](#)
- [927](#)
- [928](#)
- [929](#)
- [930](#)
- [931](#)
- [932](#)

- [933](#)
- [934](#)
- [935](#)
- [936](#)
- [937](#)
- [938](#)
- [939](#)
- [940](#)
- [941](#)
- [942](#)
- [943](#)
- [944](#)
- [945](#)
- [946](#)
- [947](#)
- [948](#)
- [949](#)
- [950](#)
- [951](#)
- [952](#)
- [953](#)
- [954](#)
- [955](#)
- [956](#)
- [957](#)
- [958](#)
- [959](#)
- [960](#)
- [961](#)
- [962](#)
- [963](#)
- [964](#)
- [965](#)
- [966](#)
- [967](#)
- [968](#)
- [969](#)
- [970](#)
- [971](#)

- [972](#)
- [973](#)
- [974](#)
- [975](#)
- [976](#)
- [977](#)
- [978](#)
- [979](#)
- [980](#)
- [981](#)
- [982](#)
- [983](#)
- [984](#)
- [985](#)
- [986](#)
- [987](#)
- [988](#)
- [989](#)
- [990](#)
- [991](#)
- [992](#)
- [993](#)
- [994](#)
- [995](#)
- [996](#)
- [997](#)
- [998](#)
- [999](#)
- [1000](#)
- [1001](#)
- [1002](#)
- [1003](#)
- [1004](#)
- [1005](#)
- [1006](#)
- [1007](#)
- [1008](#)
- [1009](#)
- [1010](#)

- [1011](#)
- [1012](#)
- [1013](#)
- [1014](#)
- [1015](#)
- [1016](#)
- [1017](#)
- [1018](#)
- [1019](#)
- [1020](#)
- [1021](#)
- [1022](#)
- [1023](#)
- [1024](#)
- [1025](#)
- [1026](#)
- [1027](#)
- [1028](#)
- [1029](#)
- [1030](#)
- [1031](#)
- [1032](#)
- [1033](#)
- [1034](#)
- [1035](#)
- [1036](#)
- [1037](#)
- [1038](#)
- [1039](#)
- [1040](#)
- [1041](#)
- [1042](#)
- [1043](#)
- [1044](#)
- [1045](#)
- [1046](#)
- [1047](#)
- [1048](#)
- [1049](#)

- [1050](#)
- [1051](#)
- [1052](#)
- [1053](#)
- [1054](#)
- [1055](#)
- [1056](#)
- [1057](#)
- [1058](#)
- [1059](#)
- [1060](#)
- [1061](#)
- [1062](#)
- [1063](#)
- [1064](#)
- [1065](#)
- [1066](#)
- [1067](#)
- [1068](#)
- [1069](#)
- [1070](#)
- [1071](#)
- [1072](#)
- [1073](#)
- [1074](#)
- [1075](#)
- [1076](#)
- [1077](#)
- [1078](#)
- [1079](#)
- [1080](#)
- [1081](#)
- [1082](#)
- [1083](#)
- [1084](#)
- [1085](#)
- [1086](#)
- [1087](#)
- [1088](#)

- [1089](#)
- [1090](#)
- [1091](#)
- [1092](#)
- [1093](#)
- [1094](#)
- [1095](#)
- [1096](#)
- [1097](#)
- [1098](#)
- [1099](#)
- [1100](#)
- [1101](#)
- [1102](#)
- [1103](#)
- [1104](#)
- [1105](#)
- [1106](#)
- [1107](#)
- [1108](#)
- [1109](#)
- [1110](#)
- [1111](#)
- [1112](#)
- [1113](#)
- [1114](#)
- [1115](#)
- [1116](#)
- [1117](#)
- [1118](#)
- [1119](#)
- [1120](#)
- [1121](#)
- [1122](#)
- [1123](#)
- [1124](#)
- [1125](#)
- [1126](#)
- [1127](#)

- [1128](#)
- [1129](#)
- [1130](#)
- [1131](#)
- [1132](#)
- [1133](#)
- [1134](#)
- [1135](#)
- [1136](#)
- [1137](#)
- [1138](#)
- [1139](#)
- [1140](#)
- [1141](#)
- [1142](#)
- [1143](#)
- [1144](#)
- [1145](#)
- [1146](#)
- [1147](#)
- [1148](#)
- [1149](#)
- [1150](#)
- [1151](#)
- [1152](#)
- [1153](#)
- [1154](#)
- [1155](#)
- [1156](#)
- [1157](#)
- [1158](#)
- [1159](#)
- [1160](#)
- [1161](#)
- [1162](#)
- [1163](#)
- [1164](#)
- [1165](#)
- [1166](#)

- [1167](#)
- [1168](#)
- [1169](#)
- [1170](#)
- [1171](#)
- [1172](#)
- [1173](#)
- [1174](#)
- [1175](#)
- [1176](#)
- [1177](#)
- [1178](#)
- [1179](#)
- [1180](#)
- [1181](#)
- [1182](#)
- [1183](#)
- [1184](#)
- [1185](#)
- [1186](#)
- [1187](#)
- [1188](#)
- [1189](#)
- [1190](#)
- [1191](#)
- [1192](#)
- [1193](#)
- [1194](#)
- [1195](#)
- [1196](#)
- [1197](#)
- [1198](#)
- [1199](#)
- [1200](#)
- [1201](#)
- [1202](#)
- [1203](#)
- [1204](#)
- [1205](#)

- [1206](#)
- [1207](#)
- [1208](#)
- [1209](#)
- [1210](#)
- [1211](#)
- [1212](#)
- [1213](#)
- [1214](#)
- [1215](#)
- [1216](#)
- [1217](#)
- [1218](#)
- [1219](#)
- [1220](#)
- [1221](#)
- [1222](#)
- [1223](#)
- [1224](#)
- [1225](#)
- [1226](#)
- [1227](#)
- [1228](#)
- [1229](#)
- [1230](#)
- [1231](#)
- [1232](#)
- [1233](#)
- [1234](#)
- [1235](#)
- [1236](#)
- [1237](#)
- [1238](#)
- [1239](#)
- [1240](#)
- [1241](#)
- [1242](#)
- [1243](#)
- [1244](#)

- [1245](#)
- [1246](#)
- [1247](#)
- [1248](#)
- [1249](#)
- [1250](#)
- [1251](#)
- [1252](#)
- [1253](#)
- [1254](#)
- [1255](#)
- [1256](#)
- [1257](#)
- [1258](#)
- [1259](#)
- [1260](#)
- [1261](#)
- [1262](#)
- [1263](#)
- [1264](#)
- [1265](#)
- [1266](#)
- [1267](#)
- [1268](#)
- [1269](#)
- [1270](#)
- [1271](#)
- [1272](#)
- [1273](#)
- [1274](#)
- [1275](#)
- [1276](#)
- [1277](#)
- [1278](#)
- [1279](#)
- [1280](#)
- [1281](#)
- [1282](#)
- [1283](#)

- [1284](#)
- [1285](#)
- [1286](#)
- [1287](#)
- [1288](#)
- [1289](#)
- [1290](#)
- [1291](#)
- [1292](#)
- [1293](#)
- [1294](#)
- [1295](#)
- [1296](#)
- [1297](#)
- [1298](#)
- [1299](#)
- [1300](#)
- [1301](#)
- [1302](#)
- [1303](#)
- [1304](#)
- [1305](#)
- [1306](#)
- [1307](#)
- [1308](#)
- [1309](#)
- [1310](#)
- [1311](#)
- [1312](#)
- [1313](#)
- [1314](#)
- [1315](#)
- [1316](#)
- [1317](#)
- [1318](#)
- [1319](#)
- [1320](#)
- [1321](#)
- [1322](#)

- [1323](#)
- [1324](#)
- [1325](#)
- [1326](#)
- [1327](#)
- [1328](#)
- [1329](#)
- [1330](#)
- [1331](#)
- [1332](#)
- [1333](#)
- [1334](#)
- [1335](#)
- [1336](#)
- [1337](#)
- [1338](#)
- [1339](#)
- [1340](#)
- [1341](#)
- [1342](#)
- [1343](#)
- [1344](#)
- [1345](#)
- [1346](#)
- [1347](#)
- [1348](#)
- [1349](#)
- [1350](#)
- [1351](#)
- [1352](#)
- [1353](#)
- [1354](#)
- [1355](#)
- [1356](#)
- [1357](#)
- [1358](#)
- [1359](#)
- [1360](#)
- [1361](#)

- [1362](#)
- [1363](#)
- [1364](#)
- [1365](#)
- [1366](#)
- [1367](#)
- [1368](#)
- [1369](#)
- [1370](#)
- [1371](#)
- [1372](#)
- [1373](#)
- [1374](#)
- [1375](#)
- [1376](#)
- [1377](#)
- [1378](#)
- [1379](#)
- [1380](#)
- [1381](#)
- [1382](#)
- [1383](#)
- [1384](#)
- [1385](#)
- [1386](#)
- [1387](#)
- [1388](#)
- [1389](#)
- [1390](#)
- [1391](#)
- [1392](#)
- [1393](#)
- [1394](#)
- [1395](#)
- [1396](#)
- [1397](#)
- [1398](#)
- [1399](#)
- [1400](#)

- [1401](#)
- [1402](#)
- [1403](#)
- [1404](#)
- [1405](#)
- [1406](#)
- [1407](#)
- [1408](#)
- [1409](#)
- [1410](#)
- [1411](#)
- [1412](#)
- [1413](#)
- [1414](#)
- [1415](#)
- [1416](#)
- [1417](#)
- [1418](#)
- [1419](#)
- [1420](#)
- [1421](#)
- [1422](#)
- [1423](#)
- [1424](#)
- [1425](#)
- [1426](#)
- [1427](#)
- [1428](#)
- [1429](#)
- [1430](#)
- [1431](#)
- [1432](#)
- [1433](#)
- [1434](#)
- [1435](#)
- [1436](#)
- [1437](#)
- [1438](#)
- [1439](#)

- [1440](#)
- [1441](#)
- [1442](#)
- [1443](#)
- [1444](#)
- [1445](#)
- [1446](#)
- [1447](#)
- [1448](#)
- [1449](#)
- [1450](#)
- [1451](#)
- [1452](#)
- [1453](#)
- [1454](#)
- [1455](#)
- [1456](#)
- [1457](#)
- [1458](#)
- [1459](#)
- [1460](#)
- [1461](#)
- [1462](#)
- [1463](#)
- [1464](#)
- [1465](#)
- [1466](#)
- [1467](#)
- [1468](#)
- [1469](#)
- [1470](#)
- [1471](#)
- [1472](#)
- [1473](#)
- [1474](#)
- [1475](#)
- [1476](#)
- [1477](#)
- [1478](#)

- [1479](#)
- [1480](#)
- [1481](#)
- [1482](#)
- [1483](#)
- [1484](#)
- [1485](#)
- [1486](#)
- [1487](#)
- [1488](#)
- [1489](#)
- [1490](#)
- [1491](#)
- [1492](#)
- [1493](#)
- [1494](#)
- [1495](#)
- [1496](#)
- [1497](#)
- [1498](#)
- [1499](#)
- [1500](#)
- [1501](#)
- [1502](#)
- [1503](#)
- [1504](#)
- [1505](#)
- [1506](#)
- [1507](#)
- [1508](#)
- [1509](#)
- [1510](#)
- [1511](#)
- [1512](#)
- [1513](#)
- [1514](#)
- [1515](#)
- [1516](#)
- [1517](#)

- [1518](#)
- [1519](#)
- [1520](#)
- [1521](#)
- [1522](#)
- [1523](#)
- [1524](#)
- [1525](#)
- [1526](#)
- [1527](#)
- [1528](#)
- [1529](#)
- [1530](#)
- [1531](#)
- [1532](#)
- [1533](#)
- [1534](#)
- [1535](#)
- [1536](#)
- [1537](#)
- [1538](#)
- [1539](#)
- [1540](#)
- [1541](#)
- [1542](#)
- [1543](#)
- [1544](#)
- [1545](#)
- [1546](#)
- [1547](#)
- [1548](#)
- [1549](#)
- [1550](#)
- [1551](#)
- [1552](#)
- [1553](#)
- [1554](#)
- [1555](#)
- [1556](#)

- [1557](#)
- [1558](#)
- [1559](#)
- [1560](#)
- [1561](#)
- [1562](#)
- [1563](#)
- [1564](#)
- [1565](#)
- [1566](#)
- [1567](#)
- [1568](#)
- [1569](#)
- [1570](#)
- [1571](#)
- [1572](#)
- [1573](#)
- [1574](#)
- [1575](#)
- [1576](#)
- [1577](#)
- [1578](#)
- [1579](#)
- [1580](#)
- [1581](#)
- [1582](#)
- [1583](#)
- [1584](#)
- [1585](#)
- [1586](#)
- [1587](#)
- [1588](#)
- [1589](#)
- [1590](#)
- [1591](#)
- [1592](#)
- [1593](#)
- [1594](#)
- [1595](#)

- [1596](#)
- [1597](#)
- [1598](#)
- [1599](#)
- [1600](#)
- [1601](#)
- [1602](#)
- [1603](#)
- [1604](#)
- [1605](#)
- [1606](#)
- [1607](#)
- [1608](#)
- [1609](#)
- [1610](#)
- [1611](#)
- [1612](#)
- [1613](#)
- [1614](#)
- [1615](#)
- [1616](#)
- [1617](#)
- [1618](#)
- [1619](#)
- [1620](#)
- [1621](#)
- [1622](#)
- [1623](#)
- [1624](#)
- [1625](#)
- [1626](#)
- [1627](#)
- [1628](#)
- [1629](#)
- [1630](#)
- [1631](#)
- [1632](#)
- [1633](#)
- [1634](#)

- [1635](#)
- [1636](#)
- [1637](#)
- [1638](#)
- [1639](#)
- [1640](#)
- [1641](#)
- [1642](#)
- [1643](#)
- [1644](#)
- [1645](#)
- [1646](#)
- [1647](#)
- [1648](#)
- [1649](#)
- [1650](#)
- [1651](#)
- [1652](#)
- [1653](#)
- [1654](#)
- [1655](#)
- [1656](#)
- [1657](#)
- [1658](#)
- [1659](#)
- [1660](#)
- [1661](#)
- [1662](#)
- [1663](#)
- [1664](#)
- [1665](#)
- [1666](#)
- [1667](#)
- [1668](#)
- [1669](#)
- [1670](#)
- [1671](#)
- [1672](#)
- [1673](#)

- [1674](#)
- [1675](#)
- [1676](#)
- [1677](#)
- [1678](#)
- [1679](#)
- [1680](#)
- [1681](#)
- [1682](#)
- [1683](#)
- [1684](#)
- [1685](#)
- [1686](#)
- [1687](#)
- [1688](#)
- [1689](#)
- [1690](#)
- [1691](#)
- [1692](#)
- [1693](#)
- [1694](#)
- [1695](#)
- [1696](#)
- [1697](#)
- [1698](#)
- [1699](#)
- [1700](#)
- [1701](#)
- [1702](#)
- [1703](#)
- [1704](#)
- [1705](#)
- [1706](#)
- [1707](#)
- [1708](#)
- [1709](#)
- [1710](#)
- [1711](#)
- [1712](#)

- [1713](#)
- [1714](#)
- [1715](#)
- [1716](#)
- [1717](#)
- [1718](#)
- [1719](#)
- [1720](#)
- [1721](#)
- [1722](#)
- [1723](#)
- [1724](#)
- [1725](#)
- [1726](#)
- [1727](#)
- [1728](#)
- [1729](#)
- [1730](#)
- [1731](#)
- [1732](#)
- [1733](#)
- [1734](#)
- [1735](#)
- [1736](#)
- [1737](#)
- [1738](#)
- [1739](#)
- [1740](#)
- [1741](#)
- [1742](#)
- [1743](#)
- [1744](#)
- [1745](#)
- [1746](#)
- [1747](#)
- [1748](#)
- [1749](#)
- [1750](#)
- [1751](#)

- [1752](#)
- [1753](#)
- [1754](#)
- [1755](#)
- [1756](#)
- [1757](#)
- [1758](#)
- [1759](#)
- [1760](#)
- [1761](#)
- [1762](#)
- [1763](#)
- [1764](#)
- [1765](#)
- [1766](#)
- [1767](#)
- [1768](#)
- [1769](#)
- [1770](#)
- [1771](#)
- [1772](#)
- [1773](#)
- [1774](#)
- [1775](#)
- [1776](#)
- [1777](#)
- [1778](#)
- [1779](#)
- [1780](#)
- [1781](#)
- [1782](#)
- [1783](#)
- [1784](#)
- [1785](#)
- [1786](#)
- [1787](#)
- [1788](#)
- [1789](#)
- [1790](#)

- [1791](#)
- [1792](#)
- [1793](#)
- [1794](#)
- [1795](#)
- [1796](#)
- [1797](#)
- [1798](#)
- [1799](#)
- [1800](#)
- [1801](#)
- [1802](#)
- [1803](#)
- [1804](#)
- [1805](#)
- [1806](#)
- [1807](#)
- [1808](#)
- [1809](#)
- [1810](#)
- [1811](#)
- [1812](#)
- [1813](#)
- [1814](#)
- [1815](#)
- [1816](#)
- [1817](#)
- [1818](#)
- [1819](#)
- [1820](#)
- [1821](#)
- [1822](#)
- [1823](#)
- [1824](#)
- [1825](#)
- [1826](#)
- [1827](#)
- [1828](#)
- [1829](#)

- [1830](#)
- [1831](#)
- [1832](#)
- [1833](#)
- [1834](#)
- [1835](#)
- [1836](#)
- [1837](#)
- [1838](#)
- [1839](#)
- [1840](#)
- [1841](#)
- [1842](#)
- [1843](#)
- [1844](#)
- [1845](#)
- [1846](#)
- [1847](#)
- [1848](#)
- [1849](#)
- [1850](#)
- [1851](#)
- [1852](#)
- [1853](#)
- [1854](#)
- [1855](#)
- [1856](#)
- [1857](#)
- [1858](#)
- [1859](#)
- [1860](#)
- [1861](#)
- [1862](#)
- [1863](#)
- [1864](#)
- [1865](#)
- [1866](#)
- [1867](#)
- [1868](#)

- [1869](#)
 - [1870](#)
 - [comments](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
-

Ольга Елисеева
ГРИГОРИЙ ПОТЕМКИН

«ИМЯ СТРАННОГО ПОТЕМКИНА»

Личность Григория Александровича Потемкина давно волновала воображение ученых и писателей. Его судьба, столь плотно сплетенная с судьбой Екатерины II; его неповторимый характер, на первый взгляд сотканный из противоречий, а в основе своей удивительно цельный; его дела, столь грандиозные, что современники порой видели в них феерию, — все стало предметом толкования, слухов, сплетен, романтических историй, политических памфлетов и в меньшей степени — научного исследования.

«Много величавых образов украшает блестящий век Екатерины, — писал В. Г. Белинский, — но Потемкин всех их заслоняет в глазах потомков своею колоссальною фигурой. Его и теперь все так же не понимают, как не понимали тогда: видят счастливого временщика, сына случая, гордого вельможу, — и не видят сына судьбы, великого человека, умом завоевавшего себе безмерное счастье, а гением доказавшего свои права на него. Потемкин — это одна из тех титанических натур, которых душа вечно пожирается ничем не удовлетворяемою жаждою деятельности, — для которых перестать действовать значит перестать жить, — которым, завоевав землю, надо делать высадку на луну или умереть... В самих его странностях было что-то таинственно высокое, и все смотрели на него со страхом и любопытством»^[1].

Лучше не скажешь. Исполинский размах личности Потемкина соответствовал исполинскому характеру его века — века Екатерины. Ныне XVIII столетие принято именовать «куртуазным», сама же императрица называла его «железным». В этом сочетании внешнего изящества с необыкновенной мощью состоит отличительная особенность эпохи. Такие люди, как Потемкин, питали ее своей жизненной силой, и, казалось, само время вокруг них уплотнялось и шло быстрее. Реализованные с блеском внешнеполитические проекты, присоединение Крыма, создание Черноморского флота, военные реформы, города, возведенные в голой степи и в считанные годы зазеленевшие садами, Северное Причерноморье, оштетинившееся гранитными фортами русских крепостей, — все это плоды титанического труда и недюжинного таланта человека, который негласно разделил с Екатериной власть во вторую половину ее царствования.

В настоящий момент накоплено много архивных материалов, опровергающих расхожее представление о Потемкине как о сибарите, ленивом, капризном и мстительном временщике, бездарном полководце,

казнокраде, породившем один из наиболее устойчивых мифов русской культуры — миф о «потемкинских деревнях».

Одна из наших задач — показать, что данный образ был сконструирован искусственно, вопреки реальным фактам, и для его утверждения в сознании современников предпринимались серьезные усилия. Значительное расширение круга источников позволяет взглянуть на светлейшего князя как на личность, щедро одаренную природой: политика, военачальника, администратора, мецената и благотворителя. Человека, глубоко верующего и сокрушавшегося о своих грехах. Мужчину, связанного с императрицей семейными, по сути, отношениями. Искреннего друга, которого, по собственному признанию Екатерины, «не можно было купить».

Один из наиболее ядовитых и наблюдательных мемуаристов начала XIX века Ф. Ф. Вигель точно нащупал главную причину, по которой общество не оценило труды и заслуги Потемкина. «В своей карьере он отдал все лучшие силы государственной деятельности, — писал литератор. — Мог ли он рассчитывать на общественное признание?»^[2] Однако если не на «признание», то по крайней мере на живейший интерес Потемкин рассчитывать мог.

Уже при жизни светлейшего появились первые попытки осмыслить громаду совершенных им дел. Так, известный дворянский историограф и современник князь М. М. Щербатов — критик правительства Екатерины с правоконсервативных позиций — уделил немало внимания личности Потемкина. Он решительно не принимал князя: «Потемкин — властолюбие, пышность, подобострастие ко всем своим хотениям, обжорливость и, следовательно, роскошь в столе, лесть, сребролюбие, захватчивость и, можно сказать, все другие знаемые в свете пороки»^[3]. Щербатов выражал недоверие к военным мероприятиям светлейшего, обвинял его в развязывании конфликта с Турцией. Деньги, потраченные на освоение новых земель, называл выброшенными на ветер^[4]. «Приобрели, или, лучше сказать, похитили Крым, страну, по разности своего климата служащую гробницею россиянам»^[5], — возмущался историограф.

Рассуждения Щербатова оказали огромное влияние на молодого А. С. Пушкина, обвинявшего Екатерину II в том, что она «унизила древние дворянские роды». Однако поэт совсем иначе относился к деятельности главного сподвижника императрицы: «В длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории. Он разделит с Екатериной часть ее воинской

славы, ибо ему обязаны мы Черным морем»^[6].

Наиболее ранней биографией Потемкина считается анонимное издание «Частная жизнь русскоимперского фельдмаршала князя Потемкина-Таврического», вышедшее в Лейпциге в 1793 году^[7]. Этот сборник анекдотов переполнен откровенными выдумками и ошибками. Потемкин назван «Александр Иванович», указано, что он родился 17 апреля 1743 года в Варшаве, что его отец служил шталмейстером «при дворе Елизаветы, матери Петра III».

Не менее фантастична книга саксонского дипломата Г. А. В. Гельбига, работавшего в России секретарем посольства в 1787–1796 годах. Вернувшись на родину, он под вымышленным именем «капитан Иоганн Вильгельм Архенгольц» начал публикацию в гамбургском журнале «Минерва»^[8] книги «Потемкин Таврический». Именно он познакомил европейскую публику с феноменом «потемкинских деревень». Гельбиг писал, что Потемкин, узнав о намерении Екатерины посетить Крым, испугался, признался в растрате трех миллионов и, желая обмануть императрицу, приказал построить по берегам Днепра фанерные фасады зданий. Для оживления декораций были собраны толпы нарядно одетого народа, которые изображали полевые работы. В 1811 году перепечатка французского издания Гельбига появилась и на русском языке, вызвав бурю возмущения у еще живых сотрудников Потемкина^[9].

В самой России первым книгам о светлейшем князе не повезло. Среди бумаг его племянника А. Н. Самойлова находилась самая ранняя русская биография Потемкина^[10], написанная переводчиком и издателем журнала «Смесь» Л. И. Сичкаревым. Она была разрешена цензурой к печати уже в сентябре 1794 года, но по неясным причинам осталась под сукном. Самойлов занимал пост генерал-прокурора Сената, ему подчинялась и цензура. Почему он не дал хода книге о великом дяде? На этот вопрос есть два ответа. Во-первых, Самойлов сам собирался писать о светлейшем князе. Вероятно, имела место авторская ревность. Во-вторых, момент для публикации был неудобным: находившиеся тогда в зените власти Зубовы выражали недовольство напоминаниями о покойном, и генерал-прокурор предпочел не обострять отношений.

Ушли в политическое небытие Зубовы, промелькнуло царствование Павла I. В 1808 году в Москве наконец вышла биография Потемкина. Анонимный автор (им был Сергей Николаевич Глинка, историк, литератор, мемуарист) оговорился, что источниками ему послужили исключительно газетные известия о князе и ходившие тогда в большом количестве

анекдоты^[11]. Эта небольшая книга выдержала еще одно издание в 1812 году.

Вслед за ней была написана работа Самойлова, раздосадованного на публикацию иностранных сочинений. Книга создавалась между 1812–1814 годами, но свет увидела только в 1867 году^[12]. Она представляет собой сплетение мемуаров с биографическим трудом и интересна именно свидетельствами очевидца.

С 30-х годов XIX века благодаря покровительству генерал-губернатора М. С. Воронцова в Крыму и Северном Причерноморье местными учеными начался сбор материала об освоении Новороссии. В результате этой работы появились труды А. А. Скальковского^[13] и Н. К. Щебальского^[14], а позднее Ф. Ф. Дашкова^[15], посвященные хозяйственному развитию, заселению и управлению края. В них приоритетное внимание уделялось роли Потемкина и делался вывод о его огромном вкладе в развитие Юга России.

Изменение взгляда на деятельность светлейшего князя было связано с обширной издательской работой, которую вели исторические журналы второй половины XIX — начала XX века. «Русский архив» П. И. Бартенева и «Русская старина» М. И. Семева^[16] поместили множество документов о Потемкине. Изобиловала ими и публикация Я. К. Грота в Чтениях Общества истории и древностей российских^[17].

Благодаря такой обширной издательской работе стало возможно появление первой монографии о светлейшем князе. Она принадлежала перу профессора А. Г. Брикнера. Автор полностью использовал опубликованный Гротом материал, а также перевел с французского и немецкого языков любопытные фрагменты дипломатической переписки. К сожалению, этого оказалось недостаточно для отражения роли светлейшего князя не просто как царедворца и друга императрицы, а именно как государственного деятеля. При знакомстве с книгой создается впечатление, будто читатель погружается в шелест придворных перешептываний и дипломатических сплетен. Историк хорошо почувствовал слабую сторону своего труда и специально оговорил, что не имел «в виду разработку частных политических роли князя»^[18].

К сожалению, Брикнер не был знаком с государственными бумагами светлейшего, публикацию которых Н. Ф. Дубровин начал в 1893 году^[19]. Издание богатейших документов военного архива, предпринятое историками Н. Ф. Дубровиным и Д. Ф. Масловским, пробило брешь в представлении о Потемкине как слабом военачальнике, присваивавшем

победы Суворова^[20]. Военный историк Масловский рассмотрел операции 1787–1789 годов и пришел к неожиданному заключению: «Выводы о бездарности Потемкина как полководца — ненаучны, они сделаны без опоры на главнейшие материалы, которые были неизвестны до настоящего времени... Потемкин в Турецкую войну являлся первым главнокомандующим нескольких армий, оперировавших на нескольких театрах, и флота. Потемкин первый, худо-хорошо, дает и первые образцы управления армиями и флотом общими указаниями — „директивами“»^[21]. Эти директивы Масловский считал «образцовыми», поскольку они четко определяли стратегические задачи подчиненных Потемкину военачальников, но не связывали их тактически, избавляя от мелочной опеки и поощряя личную инициативу. Умение выбирать достойных командиров и доверие к их таланту — главная черта Потемкина как командующего.

Документальные публикации и исследования привели к возникновению совершенно иного образа светлейшего князя в литературе научно-справочного характера. Автор очерка о Потемкине в Русском биографическом словаре А. М. Ловягин привлек новые воспоминания современников, сообщил много интересных фактов об управлении Новороссией, о военной реформе Потемкина, о прекращении гонений на старообрядцев, предпринятом по инициативе князя^[22]. Новый образ Потемкина оказался столь необычен для публики, что редакция Исторического общества сопроводила статью комментарием: «В галерее сподвижников великой императрицы портрет Г. А. Потемкина имеет, кажется, наименее сходства с оригиналом. Блеск положения случайного человека затмил в глазах современников государственного деятеля... Только в последнее время, благодаря развитию у нас исторической науки, начинают отставать густо наложенные на изображение Потемкина краски и из-под них выступает более правдивый и интересный облик. Теперь мы можем положительно сказать, что Потемкин был не временщиком только, но одним из наиболее видных и благородных представителей екатерининского царствования, что, хотя и не чуждый недостатков и пороков своего времени, он во многих отношениях стоял выше своих современников и поэтому не мог быть понят и оценен ими по достоинству»^[23].

После революции в Советской России работу по изучению екатерининского царствования продолжил историк Яков Лазаревич Барсков. К 1932 году он подготовил к изданию подборку писем Екатерины

II к Потемкину. Чтобы напечатать ее, Барсков обратился за помощью к В. Д. Бонч-Бруевичу, организатору и первому директору Государственного литературного музея в Москве. Тот предложил предпослать публикации «остро политическое предисловие», в котором отразить «всю мерзость запустения» эпохи Екатерины II. Что ученый и сделал. Сам Барсков относился к князю с холодной неприязнью, считая, что под его влиянием Екатерина отошла от либерализма.

«Она откровенно признавалась, — писал исследователь, — что обязана ему своей властью, имея в виду грозный год Пугачевщины. С этим связана и непримиримая ненависть цесаревича и всей его партии к этому выскочке, временщику, узурпатору, и уверенность Екатерины, что при жизни Потемкина ей нечего бояться со стороны сына. Когда русское масонство раскинулось по всей стране, и московские розенкрейцеры образовали его ядро, „князь тьмы“, как называли они Потемкина, донес императрице о сношениях с Павлом этой партии. Жертвой этого „предостережения“ пал Н. И. Новиков»^[24].

Несмотря на «остро политическое» предисловие, ученому не удалось издать свою работу на родине. В 1934 году в Париже появилось анонимное издание писем Екатерины к Потемкину^[25]. На русском языке публикация вышла в 1989 году, благодаря усилиям Н. Я. Эйдельмана^[26].

В 1945 году в Праге увидела свет биография Потемкина, написанная профессором-эмигрантом А. Н. Фатеевым^[27]. Автор собрал и некоторые новые известия о роли молодого Потемкина в перевороте 1762 года, а также подробно остановился на торговой стороне деятельности князя в Новороссии и Тавриде. Книга следовала в русле статьи Ловягина из Биографического словаря.

В 50-х годах XX века в Советском Союзе появились фундаментальные труды Елены Иоасафовны Дружининой о внешней политике России екатерининского царствования^[28] и развитии экономики на присоединенных землях. В монографии «Северное Причерноморье в 1775–1800 годах» исследовательница осветила политическую обстановку, в которой проходило хозяйственное освоение Крыма, показала, как Потемкин решал татарский вопрос, обеспечив лояльность местного населения, рассказала об укрывательстве князем беглых и запрещении крепостить поселян. «Правительство лихорадочно заселяло приграничные районы, не останавливаясь перед фактической легализацией побегов крепостных из внутренних губерний. Беглые в случае розыска чаще всего объявлялись „неотысканными“. Этот курс, связанный с именем Потемкина,

вызвал раздражение многих помещиков... Против Потемкина возникло оппозиционное течение, представители которого стремились скомпрометировать мероприятия, проводившиеся на юге страны... Критика деятельности Потемкина на юге была подхвачена за рубежом»^[29].

Тему «потемкинских деревень» продолжала статья академика А. М. Панченко. «Сохранились десятки описаний путешествия по Новороссии и Тавриде, — рассуждал автор. — Ни в одном из описаний, сделанных по горячим следам событий, нет и намек на „потемкинские деревни“. Потемкинская феерия была так блестяща, так разнообразна и непрерывна, что не всякий наблюдатель был в состоянии отличить развлечения от идей — в высшей степени серьезных, поистине государственного масштаба». Такими идеями были флот, армия и освоение южных земель, то есть цивилизаторские успехи России. «Европейцы оставались неисправимо самодовольны, всякий русский успех казался им нонсенсом... Иосиф II и посланники европейских держав прекрасно поняли, с какой целью взяла их в путешествие Екатерина. Их скепсис был скорее маской. За нею скрывался страх, что Россия сумеет осуществить свои грандиозные планы. В этой среде и появился миф о „потемкинских деревнях“... Турции пришлось убедиться, что миф о „потемкинских деревнях“ — это действительно миф»^[30].

В близком ключе трактует деятельность Потемкина английская исследовательница Изабель де Мадариага. Ее монография, посвященная царствованию Екатерины II, с 80-х годов прошлого столетия легла в основу современного знания о екатерининской эпохе. В 2002 году этот труд был наконец переведен и издан в России^[31]. «Назначение Г. А. Потемкина генерал-адъютантом императрицы зимой 1774 г., — писала она, — не только означало новую фазу политической истории, оно открыло новую, волнующую страницу личной жизни Екатерины». «В течение 17 лет он господствовал на русской сцене и неизбежно стал мишенью зависти, даже ненависти, тех, кого он вытеснил... Множество легенд, выросших вокруг него, были данью его необыкновенной личности. Многие, как британский посол Джеймс Гаррис, граф Сепор или принц де Линь, пали жертвами его обаяния... Чувства, которые вызывал светлейший князь во время своей жизни, заслонили последующую историографию и не позволили ученым вынести объективное суждение о его службе России. Только недавно его работа в качестве генерал-губернатора Новороссии была изучена по его собственным бумагам и была дана позитивная оценка его роли в развитии незаселенных земель юга. В отличие от Суворова или Румянцева,

Потемкин, похоже, еще ожидает своего военного биографа»^[32].

После перестройки в 1992 году в России увидела свет книга В. С. Лопатина «Потемкин и Суворов»^[33], полностью основанная на новых архивных материалах. Ранее автор издал фундаментальную переписку А. В. Суворова^[34]. Этим трудам российская историография обязана окончанием более чем столетней традиции изображать отношения двух знаменитых деятелей как соперничество бездарного начальника и гениального подчиненного. Личная переписка Суворова и Потемкина, донесения князя императрице свидетельствуют об обратном. Потемкин покровительствовал Суворову, намеренно выдвигал его в первый ряд руководителей армией, что при вспыльчивом, неуживчивом характере Александра Васильевича было нелегко.

Следующая подготовленная Лопатиным публикация — «Екатерина и Потемкин. Личная переписка 1769–1791 гг.» вышла в свет в 1997 году^[35]. «Письма показывают, как быстро рос этот человек, которого императрица любовно называла своим учеником... Возглавив армию и флот, светлейший князь сумел добиться невиданных ранее успехов малой кровью. Боевые действия велись на огромном пространстве от Северного Кавказа до Дуная. Победы одерживали командующие отдельными корпусами... Но общее руководство войной, планирование кампаний и операций осуществлял Потемкин. Он и здесь, далеко опередив свое время, не был понят и оценен по достоинству современниками, привыкшими видеть полководца на поле брани. Русские военные историки, опубликовавшие в самом конце XIX века бумаги князя Потемкина-Таврического, уже тогда (с большим опозданием!) сделали вывод о том, что Вторая турецкая война должна называться „потемкинской“».

В настоящее время продолжается изучение деятельности светлейшего князя. Интересное исследование рода Потемкина провела Н. Ю. Болотина. Ее усилиями был опубликован неизвестный ранее список родословной Потемкиных^[36]. Ей же принадлежит и издание материалов о руководстве князем Оружейной палатой в Москве^[37]. В 2000 году Болотина защитила кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность Г. А. Потемкина в области внутренней политики России»^[38].

Приятно сознавать, что в последнее время стал возможен быстрый обмен научной информацией с нашими зарубежными коллегами. В 2000 году в Лондоне вышла книга английского журналиста Саймона Себаг-Монтефиори «Князь князей. Жизнь Потемкина»^[39]. Уже в 2003 году она была переиздана в России. Исследователь добросовестно использовал

опубликованные Лопатиным источники, а также монографии автора этих строк^[40].

В 2002–2003 годах издательство «Пушкинский фонд» выпустило двухтомное издание «Г. А. Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. Воспоминания. Дневники. Письма»^[41] и «Потемкин. Последние годы»^[42]. Все опубликованные источники прежде издавались в дореволюционных журналах, но вместе увидели свет впервые.

В 2003 году была защищена кандидатская диссертация Н. В. Бессарабовой «Путешествия Екатерины II по России...»^[43]. Эта работа вновь вернула внимание к мифу о «потемкинских деревнях» и предложила его развернутую критику.

Итак, мы видим, что исследователи сломали немало перьев при описании жизни и деятельности Потемкина. Однако современного обобщающего труда, который осветил бы и осмыслил личность князя на основе широкого поля архивных источников, пока нет. Мы предлагаем читателям именно такую книгу. Нам хотелось бы показать человека умного, глубокого, наделенного многими талантами и не лишенного недостатков, горячо преданного делу и сумевшего добиться реального воплощения своих идей. Если после знакомства с книгой масштаб реальной личности Потемкина затмит в сознании читателя карикатурный образ, знакомый по бульварной литературе, мы будем считать свою цель достигнутой.

ГЛАВА 1

НЕДОРОСЛЬ

Село Чижово к северо-востоку от Смоленска затерялось среди широких полей и негустых лиственных перелесков. Развалины церкви в неоготическом стиле да бетонная плита над колодцем, в который, по преданию, Екатерина II, посетившая эти места в 1781 году, бросила перстень. С тех пор, как говорят старожилы, вода в нем студеная и очень здоровая, молодожены пьют ее, чтобы не разлучаться вовеки. Впрочем, мало сейчас в российской глубинке молодоженов.

«Если кому из читателей моих доведется проезжать через село Чижово, — писал мемуарист позапрошлого века С. Н. Глинка, — то увидит он и беседку, и скромный бюст князя Таврического, работы домодельной, и стакан, в который Екатерина почерпнула воду, и лист в рамке за стеклом, свидетельствующий о бытности тут императрицы»^[44].

Если кому из нынешних читателей доведется проезжать через Чижово, то не увидит он ни беседки, ни бюста, ни тем более стакана и листа в рамке. Остался лишь заросший травой пруд, некогда квадратный в плане, на берегу которого и стояла знаменитая банька — место рождения князя Потемкина.

С именем связана примечательная история. «На возвратном пути из Белорусского края, — рассказывал Глинка, — Екатерина II, 1781 года 4 июня, из стен Смоленска отправилась в село Чижово... В эту поездку пригласила она с собой Румянцева-Задунайского; и мы увидим, что не без намерения. Карета императрицы остановилась у ворот скромного дома. Румянцев окинул его быстрым взглядом. Заметя удивление на его лице, Екатерина сказала: „Князь Потемкин устраивал Херсонскую пристань, завистники его разглашали, что он из выданных ему миллионов выстроил какие-то великолепные дворцы на родине своей, а вот его дворец“. Румянцев отвечал: „Молва, как морская волна, пошумит и исчезнет; если огорчаться всеми слухами, то придется сидеть сиднем; но и тут не уйдешь от пересудов; одни дела оправдывают нас“. Екатерина прибавила: „Я ушенадувателей не любила и не люблю. Клеветали на расточительность князя; неправда и то, что будто бы он писал ко мне, что не хочет и не может служить с вами; он всегда уважал вас“»^[45].

Мы еще вернемся и к разнообразным слухам о Потемкине, и к его

непростым отношениям со старым фельдмаршалом Румянцевым-Задунайским. Два сильных, талантливых человека, они очень ценили друг друга и все же не могли ужиться. А пока обратимся к истории рода Потемкиных, глубоко уходящего корнями в древнюю Смоленскую землю.

«Не торговал мой дед блинами...»

В стихотворении «Моя родословная» А. С. Пушкин едко посмеялся над представителями тех высокопоставленных семейств, чьи предки выдвинулись всего пару поколений назад. «Настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древние роды их восходят от Петра до Елизаветы. Достоинство всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожников, денщиков, певчих и дьячков спесь герцога Монмаранси, первого христианского барона»^[46]. Впрочем, поэт столь же презрительно отзывался и об отпрысках некогда знаменитых княжеских фамилий, которые, обеднев, продолжали чваниться родовой честью и уверяли, будто могут жениться только на «Рюриковне».

Потемкин счастливо избежал обеих крайностей. Он, как и Пушкин, мог сказать о себе, что никто из его предков «не ваксил царских сапогов» и «не пел на клиросе с дьячками». Однако и до княжеского достоинства им казалось далеко, как до звезды. По своему происхождению Григорий Александрович ни в коей мере не был выскочкой, парвеню, как тогда говорили. Он принадлежал к старинному дворянскому семейству, для представителей которого служба государю в течение нескольких веков являлась жизненным стержнем. На эту ось нанизывались уже все остальные ценности.

«Род светлейшего князя Потемкина был польский, — писал в своих „Записках“ Л. Н. Энгельгардт, дальний родственник, земляк и адъютант Григория Александровича. — С завоеванием Смоленска предки его остались в России; были дворяне, но ни одного не было такого, который бы занимал высокие государственные должности»^[47].

Энгельгардт ошибался: по-настоящему известный и высокопоставленный предок у светлейшего князя все-таки имелся (в дальнейшем мы увидим, что не он один). Речь идет о крупном дипломате XVII века Петре Ивановиче Потемкине (1617–1700). По сообщению А. Н. Самойлова, племянника и одного из ближайших сотрудников светлейшего

князя, «Петр Иванович Потемкин, при вступлении на престол царя Федора Алексеевича, в 1676 году, был уже боярином и при дворе царском по отличному своему уму и по редкой в тогдашнее время просвещенности уважаем, почему и был отправлен послом в Вену, в Мадрид, в Париж и в Лондон»^[48].

Петр Иванович носил чин стольника, а с 1692 года — окольничего. В 1654–1655 годах участвовал в войне с Польшей, позднее неоднократно возглавлял посольские миссии. Наиболее длительные поездки он совершил при Алексее Михайловиче в Испанию и Францию в 1667–1668 годах и при Федоре Алексеевиче во Францию, Испанию и Англию в 1680–1682 годах. Порой его поведение казалось европейским наблюдателям экзотическим и даже вызывающим. Так, в Испании во время аудиенции послам король Карл II плохо себя чувствовал и принимал дипломатов, лежа на диване. Потемкин потребовал, чтобы для него тоже вынесли диван, только в этом случае он соглашался разговаривать с монархом.

Подобные эксцессы кажутся странными, однако следует помнить, что по строгим правилам московского дипломатического этикета посол как бы во плоти представлял за границей своего государя. Он не мог допустить унижения его чести, стоя перед лежащим сувереном другой страны. Послам предписывали добиваться оказания иными державами должного уважения царю московскому и всячески подчеркивать богатство и мощь России. Достигалось это подчас необычными средствами. Так, на пути от Кале до Парижа Петр Иванович переодевался одиннадцать раз, чтобы показать, сколько дорогих одежд и драгоценностей имеется у представителя русского царя^[49].

Полагаем, что для самого дипломата такие демонстрации были весьма утомительны. А на взгляд европейцев — комичны. В ноябре 1681 года английский мемуарист Джон Ивлин отметил в дневнике: «На аудиенции самым замечательным и экзотическим был сам посол... Он ведет себя подобно клоуну»^[50]. Вместе с тем Петр Потемкин проявлял большую осведомленность в европейской политике того времени, с интересом посещал исторические места в странах пребывания, осматривал достопримечательности, ходил в театры. Сохранились два его портрета, написанные за границей: в Испании кисти Кареньо де Миранда и в Англии Генри Неллера. Первый ныне хранится в музее Прадо в Мадриде, второй — в Эрмитаже^[51]. Глава посольства предстает в роскошных боярских одеждах из дорогих восточных тканей, расшитых бисером и драгоценными камнями. У него умное волевое лицо с крупными породистыми чертами и

грустный, немного усталый взгляд.

Это полотно было прислано светлейшему князю из Лондона в 1791 году, в момент потепления русско-английских отношений. В сопроводительном письме министра иностранных дел Чарльза Фокса говорилось, что «как предок его (Потемкина. — *О. Е.*) был некогда орудием согласия между двумя монархиями, то потомок вяще оное согласие утвердит»^[52]. Портрет находился в покоях Г. А. Потемкина в Зимнем дворце. С него были сделаны гравюра, подаренная Самойлову, и одна живописная копия, позднее попавшая в Оружейную палату.

По возвращении из-за границы Петр Иванович озаботился тем, чтобы родословная роспись Потемкиных получила официальное подтверждение в Палате родословных дел. Если бы не он, весь куст смоленских семейств его родни остался бы без юридического документа, доказывающего их старинное происхождение. В 1687 году для Петра Ивановича и его сына Степана (в будущем стольника, участника крымского похода 1686 года, при Петре I — статского советника) Палата проверила роспись и признала ее подлинность.

В 1754 году Герольдмейстерская контора выдала список с этой грамоты пятнадцатилетнему Григорию Потемкину при записи его в рейтары лейб-гвардии Конного полка^[53]. Из полученного документа юный Гриц узнал о своем происхождении много интересного. Корни его рода оказались не русскими и не польскими, а... итальянскими, вернее древнеримскими. Потемкины производили себя от князей племени самнитов, живших на Апеннинском полуострове и в I веке до нашей эры бежавших в Литву.

Современные исследователи отмечают, что родословная Потемкиных несет на себе живые следы польской литературной традиции. Шляхта создавала красочные легенды о своем происхождении, чтобы «удревнить» и облагородить предков. Эти истории основывались на легенде о бегстве римлян в Литву, помещенной в летописи Матвея Стрыйковского^[54]. «А поведение того рода из государства Римского ис королевства Неаполитанского ис княжества по древнему наречению Самницкого... от князя самницкого Понциуша Телезина. ...Дал он, князь Понциуш, сроднику своему Понциушу ж... город Потенцию... на устье реки Потенции. И с того времени нача он зватися и при нем будучи ево сродники Потемтины, а по словенски Потемкины... Сродники их, отбив из владательства своего, жили в Полской земле и были в честях и даны им были от королей полских маестности великие»^[55].

Понциуш Телезин оказался вполне историческим лицом, много воевавшим с римлянами. В 88 году до нашей эры он стал главнокомандующим самнической армией и вступил в союз против Суллы с консулами Гаем Марием и Гаем Папирием Карбоном. В 82 году вместе с союзниками Понциуш был разбит в битве у ворот Коллина, ведущих в Рим. Его брат кончил жизнь самоубийством в городе Принесте, когда туда вступил победоносный Сулла. Не был выдумкой и город Потенция. Он называется Потенца и ныне является административным центром области Базиликата.

Роспись Потемкиных отличает большое внимание к античной географии и войнам древности, это новая черта для русских родословных легенд^[56]. Похвалы уму и образованию Петра Ивановича оказались не пустыми. Однако, отыскав своих предков в латинских книгах, Потемкины не смогли составить полную поколенную роспись между ними и первыми представителями рода, перебравшимися из Польши в Россию в XV веке.

Это должно было бы в глазах дьяков Палаты поставить под сомнение достоверность родословной легенды. Но, видимо, служебный и придворный вес Петра Ивановича оказался достаточным, чтобы приказные не задавали лишних вопросов. Собственное влияние дипломата подкреплялось положением его двух братьев: Федора Ивановича, воеводы в Сургуте, и Василия Ивановича, стольника и полковника. Их двоюродный брат Сила Семенович, прадед Григория Потемкина, служил в это время воеводой в Коломне. Словом, «выезжая» из Речи Посполитой, семья закрепилась при московском государе.

«А при державе блаженной памяти великого князя Василия Ивановича Московского всеа Руси приехал ис Польши служить ему... Ганс Александров сын Потемкин. А во святом крещении дано ему имя Тарасий... Пожалован он вотчинами великими в Смоленском уезде, и те ево вотчины и по ныне за сродниками ево Потемкиными»^[57].

К поколенной росписи были приложены списки с жалованных грамот русских царей и польских королей различным представителям рода Потемкиных. Обращает на себя внимание грамота Ивана Грозного: «Се аз царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси пожаловали есми Ивана Тарасьева сына Потемкина за ево многие службы селом Воротышиным з деревнями к старым ево вотчинам... Писано на Москве, лета 7069 (1561) марта в 19 день»^[58].

На московской службе представители рода Потемкиных делали успешную карьеру. Так, Федор Иванович был третьим воеводой правой

руки русских войск во время похода великого князя Василия Ивановича на Полоцк в 1530 году. Его сын Гавриил Федорович участвовал в посольстве в Польшу в 1584 году. Вообще, Потемкиных часто употребляли для выполнения дипломатических поручений. Федор Илларионович ездил в Польшу в 1571-м, встречал папского нунция Антонио Пассевина в 1582-м, польских послов в 1583-м, послов императора Священной Римской империи, или, как говорили на Руси, «цесарцев», в 1585 году. С 1590 года он занимал должность первого головы города Смоленска. Казалось, семья идет в гору.

Однако Смутное время не могло не закружить представителей русско-польского рода. Любопытна судьба Юрия Федоровича Потемкина, внука «Ивана Тарасьева». Он оказался в осажденной поляками Москве. В 1610 году царем Василием Шуйским Юрию была дана грамота, в которой перечислялись его заслуги. «...Он будучи у нас в Московском государстве в смутное, прискорбное время, за веру христианскую, и за святые Божия церкви, и за нас, и за всех православных христиан против врагов наших полских и литовских людей и русских воров... стоял крепко и мужественно и многое дородство и храбровство и кровопролитие службы показал, и голод и наготу и во всем оскудение и нужду осадную терпел многое время... И от тое их великие службы и терпения полские и литовские люди и русские воры от Москвы отошли»^[59].

Василий Шуйский пожаловал Юрию Потемкину сто тридцать четвертей земли под Смоленском «в Максимовском стану, да в Богородском стану» в вотчину, то есть в наследственное владение. Земли эти были выделены «ис ево ж Юрьева поместья ис поместного окладу», то есть из угодий, прежде принадлежавших Юрию на правах поместного держания за службу. Отныне Потемкин становился вотчинником, что заметно повышало его социальный статус. «И на ту вотчину сия наша царская вотчинная грамота... чтоб впредь дети, внучата и правнучата... также за веру христианскую... и за свое отечество против воров стояли мужественно безо всякого позыбления».

Однако Юрию Федоровичу не удалось толком насладиться царской милостью, ибо времена были тяжелые, и удача клонилась то на одну, то на другую сторону. Он служил в войске князя Дмитрия Пожарского, был взят поляками в плен, в 1612 году принял польское подданство и был причислен к польскому дворянству. Что послужило причиной такого «позыбления»? К моменту перехода Юрия Потемкина на польскую службу прежний его благодетель Василий Шуйский был свергнут, пострижен в монахи, а затем убит. Вероятнее всего, Юрий Федорович признал наследником русского

престола королевича Владислава. Последний уже в бытность свою королем дал ему чин ротмистра и несколько грамот — «привилеев». Они подписаны Владиславом IV в 1634, 1635 и 1639 годах. Первый же «привилей» был выдан Юрию еще королем Сигизмундом III в 1622 году и подтверждал его право на земли под Смоленском, прежде принадлежавшие его отцу Федору Ивановичу Потемкину.

Эти земли отошли к польской короне. В поколенной росписи сказано: «Как король полский Смоленск взял, и они (Потемкины. — *О. Е.*) были с женами и с детьми взяты в полон... И с того времени, будучи в Полской земле, по изволению королевскому, печаталися гербом: рука мечом вооруженная из облака в щите, а на щите каруна и из каруны три пера страусовы»^[60].

Итак, герб Потемкины получили в Польше в начале XVII века. В Москве же Петр Иванович одним из первых среди русских дворян подал сведения о наличии у семьи фамильного герба. В середине XVII века среди документов Палаты родословных дел появились изображения и описания первых русских дворянских гербов. Их сохранилось всего около полутора десятков, в это-то «золотое число» стараниями Петра Ивановича и попали Потемкины. Они предоставили описания сразу двух гербов: «князя самницкого Понциуша Телезина — гриф червонный вполы с коруною в поле желтом, а поле разделено лазоревым пределием волнистым» — и польского^[61].

Мы видели, как в эпоху Смутного времени семейный клан Потемкиных разделился на два рукава, часть родни осталась на московской службе, часть перешла на польскую. При царе Алексее Михайловиче по Андрусовскому перемирию 1667 года Речь Посполитая возвратила России Смоленск. Поместная родня московских стольников вновь оказалась под скипетром Романовых и была вынуждена опять начинать продвижение при новых хозяевах. Прадед нашего героя — Сила Семенович — был московским дворянином в 1658–1677 годах и стольником с 1686 года. Когда в 1754 году «недоросль Григорий Александров сын Потемкин явился ко второму смотру», он показал, что «прадед его из дворян Сила Семенов сын, в какой службе служил, того сказать не знает, а дед его Василий Силин сын, служил стольником, а отец его Александров Васильев сын Потемкин служил в Ростовском драгунском полку капитаном и оставлен был полковником, и в прошлом году померли»^[62]. Позднее для Григория Александровича Потемкина было на основании поколенной росписи создано генеалогическое древо. На нем видно, что ветвь, к которой

принадлежал светлейший князь, на протяжении трех последних поколений давала лишь по одному мужскому представителю рода. На отце Потемкина, Александре Васильевиче, она вполне могла пресечься, поскольку тот в течение долгих лет оставался бездетен. Необычная история его брака и станет следующим сюжетом нашего повествования.

«Да кто его отец?»

Запоминающийся эпиграф к первой главе «Капитанской дочки» из Я. Б. Княжнина прекрасно передает восприятие дворянами XVIII века армейской службы, как невыносимо тяжелой, связанной с печалью и горестями.

— Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно: пусть в армии послужит.
— Изрядно сказано! пускай его потужит...
Да кто его отец?

Александр Васильевич Потемкин с юности тянул нелегкую армейскую лямку и потужил в жизни немало. Точной даты его рождения мы не знаем. Однако в «Определении Военной коллегии» от 23 октября 1728 года об увольнении Александра Потемкина с военной службы сказано, что он «показал себе от роду пятидесяти пяти лет». Следовательно, родился отец нашего героя около 1673 года. Впрочем, в те времена люди редко помнили точный день и год своего появления на свет и чаще всего указывали приблизительный возраст.

Служить Александр Потемкин начал, согласно «Определению...», в 7207 году, то есть в 1699 году. К этому времени ему было уже двадцать шесть лет — возраст взрослого, самостоятельного мужчины — и, покидая дом, он оставил там первую жену Марину Ивановну. Призван Потемкин был «по жилецкому списку». Жильцами в Московской Руси называли нижнюю категорию придворных чинов. Они жили в своих вотчинах и в определенные годы являлись на службу в столицу, где несли охрану, посылались на разные дворцово-административные работы, их могли направить с незначительным дипломатическим поручением или дать назначение воеводами в южных, окраинных, городах. «Из веку» они занимались военным ремеслом и выступали в поход вместе с государем^[63].

Александра Васильевича определили в Ростовский драгунский полк

Низовского корпуса. Дальнейшая его судьба складывалась примерно так же, как и у большинства дворянских сыновей, увиденных Петром I на Северную войну. «В 708 году написан в прапорщики, потом произведен от Генералитета в 709 в подпоручики и в поручики, в 710 в капитаны-поручики, в 712 году от Военной канцелярии в капитаны, и быв во многих воинских походах, на Полтавской баталии и на Турецкой акции и ранен». Таким образом, Александр Васильевич принимал участие в знаменитом сражении под Полтавой 27 июня 1709 года и в тяжелом, бесславном Прутском походе 1711 года. Получил ранения и первый раз просился в отставку в 1722 году, но окончательно покинул армию только в 1728 году. В «Определении Военной коллегии» говорится: «По свидетельству Медицинской канцелярии за ранами в службе быть не годен. Того ради, по содержанию состоявшегося в 722 году указа... дать ему ранг мажорский»^[64].

А. Н. Самойлов помещает в своих мемуарах следующую историю об отставке Александра Потемкина: «Александр Васильевич, просивший увольнения от службы по причине тяжких ран, являсь в Государственную военную коллегию для предъявления оных, по обыкновению начал было скидывать свой мундир, как познав в числе членов коллегии одного, служившего у него в роте унтер-офицером, тогда когда он уже был капитаном, и, не могши снести такого для себя унижения, сказал, указывая на того члена: „Как? и он будет меня свидетельствовать! Я сего не перенесу и останусь еще в службе, сколь ни тяжки мои раны“. И действительно после сего происшествия прослужил еще два года»^[65].

Современный человек вряд ли посчитал бы зазорным пройти медицинское освидетельствование у бывшего подчиненного. Но в те времена смотрели на дело иначе. Вспомним, как отец Петруши Гринева читал «Придворный календарь». «Чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи... Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: „Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...“» Мысль о том, что прежний товарищ, тем более младшего чина, обошел по службе, раньше получил орден, производство, пожалование, задевала честь дворянина и считалась нестерпимым оскорблением.

Недаром Самойлов передает случай с отставкой Александра Васильевича не как курьез или пример упрямства взбалмошного старика, а «чтоб изобразить благородство духа его». Потемкин-старший не собирался

обнажать свои раны перед каким-то выскочкой, кланяться ему, просить о снисхождении к здоровью, расстроенному на службе Отечеству. Он гордо удалился и, стиснув зубы, тянул лямку еще несколько лет. В таком поступке виден характер. Возможно, и Гриц унаследовал от отца немалую долю семейной непреклонности. Во всяком случае, в его дальнейших конфликтах с людьми, стоявшими выше на социальной лестнице, но не вызвавшими у юноши уважения, заметна та же черта — подчеркнутая забота о своей чести: «Я этого не перенесу!»

Покинув армейскую службу, Александр Васильевич перешел на статскую. В 1728 году он стал воеводой Алатырской провинции, через десять лет поступил в Контору конфискаций в Москве и был уволен лишь 13 октября 1742 года с чином подполковника^[66]. К этому времени ему было уже под семьдесят, а его сыну и наследнику Григорию исполнилось только три года. Как же случилось, что Потемкин так долго не заботился о продлении рода?

Его первый брак с Мариной Ивановной был бездетным. А пятерых дочерей и единственного сына мужу родила вторая супруга — Дарья Васильевна. История их венчания обросла легендами и заслуживает особого рассмотрения. Впервые она была изложена в 1872 году историком и собирателем древностей П. Ф. Карабановым, дальним родственником Потемкиных. Он записал истории о князе и поместил их в «Фамильном известии», которое было опубликовано в журнале «Русская старина».

«Отец светлейшего, — писал Карабанов, — смоленский помещик, отставной подполковник Александр Васильевич, был человек оригинальный. В преклонных уже летах, живя в пензенском своем поместье сельце Маншина, нечаянно увидя овдовевшую бездетную красавицу Дарью Васильевну Скуратову, по отце Кондыреву, неподалеку жившую у мужниных родных в селе Большом Скуратове, что на киевской дороге, — прельстился ею и начал свататься. Скоро после свадьбы молодая Потемкина, уже беременная, узнала, что она обманута, и что первая супруга жительствоует в смоленской деревне; потребовав свидания с законною женою, горчайшими слезами довела ее до сострадания, склонила отойти в монастырь, и вскоре, приняв пострижение, сим средством утвердить брак сей»^[67].

С этого времени история свадьбы родителей Г. А. Потемкина обычно принималась исследователями на веру. Никого не смущал тот факт, что в мемуарах А. Н. Самойлова, можно сказать, выросшего в той же семье, что и светлейший князь, нет ни слова о скандальном двоеженстве. Подобное

умолчание списывалось на трепетное отношение племянника к великому дяде.

Однако семейные предания — источник ненадежный. Он плохо поддается проверке. Обычно максимум того, что можно сделать, — сопоставить одну фамильную легенду с другой. К счастью, на этот раз вышло по-иному. Уже в наше время московский историк К. А. Писаренко исследовал в Российском государственном архиве древних актов комплекс дел, связанных с семейством Скуратовых, и из челобитных представителей этого рода выяснил немало интересных деталей^[68].

Прежде всего, и сама Дарья Васильевна, и ее отец Василий Иванович свою фамилию произносили не «Кондыревы», как у Карабанова, а «Кофтыревы». Родня первого мужа Потемкиной, в частности сын Алексей Иванович Скуратов, называла мачеху «Ковтыревой».

Путаница в написании дворянских фамилий — случай для того времени заурядный. Ведь языковая и делопроизводственная нормы еще не были выработаны, и люди писали в большинстве случаев, как слышали. Например, представители семьи Струйских именовались в документах и Струшскими, и Стружскими, и Струскими, а должны были, по их собственным заверениям, — Шуйскими^[69]. Наш герой, будучи недорослем, старательно подписывался: «Патемкин». Алексей Орлов поименует его «Патиомкиным», а позднейшие публикаторы записок Орлова из Ропши прочтут скоропись: «Патючкин». Таким образом, девичья фамилия матери Григория Александровича могла писаться очень по-разному. Недавно обнаруженная первая русская биография светлейшего, написанная Л. И. Сичкаревым, тоже дает вариант «Кофтырева»^[70].

Сопоставляя даты челобитных, удастся примерно определить время заключения брака родителей Потемкина и ухода в монастырь первой жены Александра Васильевича. На примере дела о пострижении в монахини свекрови Дарьи Васильевны — Марьи Федоровны Скуратовой, которая на старости лет решила удалиться от мира, — Писаренко показал, каким непростым и отчасти бюрократизированным был этот процесс в XVIII веке. Замужней женщине, желавшей уйти в монастырь, следовало сначала испросить разрешение у монарха, в данном случае у Анны Ивановны. Документ поступал в Московскую синодальную канцелярию, специальный чиновник которой должен был допросить челобитчицу, подлинно ли та имеет означенное намерение и в чем его причина. Обычно это бывало вдовство. Затем канцелярия сносилась с игуменьей избранного монастыря, куда заблаговременно делался вклад. Марья Федоровна, например, дала

двадцать рублей в «Страшной девич монастырь» и откупила себе келью, где намеревалась доживать последние дни. Но и на сем дело не заканчивалось. Прежде чем принять постриг, будущей монахине предстояло прожить в монастыре три года в послушании, испытывая себя «на искусе».

Из этого видно, что рассказанная Карабановым история, будто бы Дарья Васильевна кинулась первой жене Потемкина в ноги и умолила ее уйти в монастырь, слишком уж проста. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В реальности подобные мероприятия занимали не один год. К тому же, если бы Марину Ивановну стал допрашивать чиновник Московской синодальной канцелярии, то правда о причине ее решения могла вскрыться.

Когда же первая супруга Потемкина удалилась в монастырь? Точная дата неизвестна. Зато сохранилась челобитная за июнь 1727 года от Мавры Семеновны Мерлиной, жены полковника Ивана Петровича Мерлина, о том, что «в прошлом 726 году декабря в 24 день продала ей Егорьевского девича монастыря, что в Москве, монахиня Мидгарина Иванова дочь бывшего капитана Александровская жена Васильева сына Потемкина недвижимое имение в Кинешемском уезде деревню Нехайлу с крестьяны и со всеми принадлежащими угодьями»^[71]. В июле 1727 года купчая была отмечена в Записной книге Вотчинной канцелярии, и там монахиня именуется уже «Маргаридой»^[72]. Из приведенных документов следует, во-первых, что в иночестве Марина Ивановна приняла имя Маргарита, а во-вторых, что в конце 1726 года она уже была пострижена.

Перед этим первая супруга Александра Васильевича должна была года три жить в избранной обители, готовясь к постригу. Значит, она приняла решение об уходе от мира и перебралась в монастырь приблизительно в 1723 году. Причиной такого шага могла послужить ее бездетность. В те времена нередко случалось, что «неплодная» жена освобождала от себя мужа, давая ему возможность продлить род с новой избранницей. Видимо, супруги договорились обо всем полюбовно, и Александр Васильевич, еще находившийся на военной службе, начал подыскивать новую партию. А Марина Ивановна продолжала распоряжаться своим наследственным имуществом и, как мы видим, вскоре продала деревню Нехайлу. По закону Потемкин имел право удержать ее приданое, но не сделал этого. Видимо, сохранение за немолодой женщиной фамильного имущества было условием ее мирного пострижения.

Дарья Васильевна Скуратова овдовела в июле 1724 года, что следует

из челобитной ее пасынка мичмана Алексея Ивановича Скуратова. К этому времени первая жена Потемкина уже жила в обители, а сам Александр Васильевич был не прочь найти себе другую суженую. Вопреки распространенному мнению вдовая Скуратова была отнюдь не бедна. Поскольку в 1723 году ее отец, бывший стольник и служащий Монастырского приказа, Василий Иванович Кофтырев «учинил ее наследницею недвижимого имения». «А деревни за ним в Костромском уезде в Осецком стану усадьба Балакирева да в Сущеве и во Гидомском станах половина усадьбы Барщовой, а Ям тож; да в Галицком уезде в Корежской волости половина села Прокунина»^[73].

В 1729 году родитель Дарьи Васильевны «волею Божиею умре», и 3 марта 1730 года Потемкина, уже состоя во втором браке, была челом императрице Анне Ивановне, прося закрепить за ней наследство^[74]. Таким образом, вторично выйти замуж Дарья Васильевна могла между июлем 1724 года и мартом 1730 года.

Она родилась около 1704 года и очень рано, в 1720 году, была выдана замуж за капитана и цалмейстера Ивана Ивановича Скуратова. Брак не продлился и четырех лет, да к тому же Скуратов постоянно разъезжал по делам службы. Умер он в Астрахани. Овдовев, Дарья Васильевна не вернулась в дом к отцу, где уже жила мачеха Ирина Петровна, а осталась у родни мужа. Семья была небольшая: новый хозяин вотчины сын покойного Алексей Иванович, его брат Дмитрий и их бабушка Марья Федоровна (та, что впоследствии уйдет в монастырь). Видимо, отношения между родными оставались хорошими, коль скоро вдова не захотела переезжать под родительский кров.

Жили они в родовом поместье Журавино близ города Чернь на Киевской дороге южнее Тулы. А не в Большом Скуратове, как указывал Карабанов, поскольку села с таким названием среди вотчин Ивана Ивановича Скуратова нет. Что же касается села Маншино, то оно располагалось не под Пензой, а под Тулой (как раз недалеко от Журавина) и принадлежало не Александру Васильевичу Потемкину, а его родной сестре Марье Васильевне в замужестве Араповой. У нее-то, по всей видимости, и гостил майор Потемкин, когда повстречал красавицу вдову.

Писаренко локализует это событие между 1724 и 1726 годами^[75]. В декабре 1726 года Арапова скончалась. Ее брат тем временем пребывал в разъездах, поскольку Вотчинная коллегия искала ближайшего наследника три года, и только в октябре 1729 года Александр Васильевич вступил в права владения Маншином. Таким образом, рассказ Караганова

оказывается опровергнут по всем пунктам, кроме главного — двоеженства. Ведь нет точных данных о том, что в это время Мария Ивановна уже постриглась.

Вероятно, она жила в обители, исполняя послушание. Найдя невесту, Александр Васильевич мог постараться ускорить дело с уходом первой жены в монастырь. Возможно, даже ездил навестить ее с новой избранницей, из чего впоследствии выросла легенда о слезных уговорах Марины Ивановны уйти в монастырь. Однако нам кажется столь же вероятным и другое время знакомства родителей нашего героя — конец 1729 года, когда Александр Васильевич получил Маншино и приехал его осмотреть. В марте 1730 года, как мы видели выше, Дарья Васильевна уже была его женой. Короткий, быстро сладившийся роман между пожилым, уже покинувшим армейскую службу воеводой Алатырской провинции и двадцатилетней вдовой. В этой версии больше деталей совпадает с карабановским рассказом. Однако разнится главное — Марина Ивановна уже как минимум четыре года была пострижена.

Семья

Семья Карабанов оказался прав в одном: отец нашего героя «был человек оригинальный». Он женился на молодой, красивой и состоятельной женщине, однако выбор его выглядел очень нетрадиционно в глазах смоленской родни. Земляк и дальний родственник Потемкиных Л. Н. Энгельгардт писал в мемуарах: «...Со времен завоевания царем Алексеем Михайловичем Смоленска они (смоленские дворяне. — О. Е.), по привязанности к Польше, брачились вначале с поляками, но как в царствование императрицы Анны Иоанновны были запрещены всякие связи и сношения с поляками, даже ежели у кого находили польские книги, того ссылали в Сибирь; то сперва по ненависти к русским, а потом уже по обычаю, все смольяне женились на смольянках. Поэтому можно сказать, что все смоленское дворянство между собою сделалось в родстве. Первый женился на русской Яков Степанович Аршеневский, второй — отец светлейшего князя Григория Александровича Потемкина»^[76].

Привезти под Смоленск «русскую» значило во многом бросить вызов традициям, а возможно, и оказаться в изоляции от соседей. Однако Александра Васильевича это не испугало. У семьи были имения в разных губерниях России. Если бы чета Потемкиных не ужилась со шляхтой Духовщинского уезда, где располагалось Чижово, она всегда могла

перебраться обратно под Тулу или даже жить в Москве в собственном доме на Большой Никитской улице.

Однако Дарья Васильевна сумела поладить с соседями и даже завоевать среди них авторитет. Для окружающих уездных дворян она была, что называется, «столичная штучка», и местные дамы скоро начали ей подражать. «Мать князя Таврического, — писал другой мемуарист — С. Н. Глинка, тоже земляк и тоже родственник Потемкиных, — была образцом в целом околотке. По ее уставам и одевались, и наряжались, и сватались, и пиры снаряжали. Это повелительство перешло и к ее сыну»^[77].

Полагаем, что родители Потемкина во многом стоили друг друга. Александр Васильевич был решителен, болезненно щепетилен, скор и крут. Ему дела не было до мнения окружающих. Многие из этих качеств унаследовал Гриц. Дарья Васильевна также не отличалась робостью, чувствовала уверенность в себе и привыкла верховодить. Вероятно, она хозяйничала еще у Скуратовых. Ведь оба сына ее покойного мужа — Алексей и Дмитрий — служили, стало быть, не жили дома, и молодая вдова оставалась с дряхлой свекровью Марьей Федоровной, которой было уже за семьдесят. Таким образом, повседневные дела по управлению имением волей-неволей ложились на плечи Дарьи Васильевны. Возможно, она потому и не вернулась к отцу, что в Журавине чувствовала себя вольготней, чем в родовой вотчине.

Когда Дарья Васильевна вторично вышла замуж и уехала, старушка Скуратова помыкалась немного одна и засобиравалась в монастырь. Доглядеть за свекровью стало некому, а сама Марья Федоровна «за совершенной своей дряхлостью» управлять хозяйством внуков не могла. Кстати, время вклада Скуратовой в «Страшной девич монастырь» — апрель 1732 года^[78] — говорит в пользу более поздней датировки свадьбы родителей Потемкина — конец 1729-го или начало 1730 года. Прежде, при хозяйственной, заботливой невестке, бабушке просто незачем было выкупать себе келью.

Для самой же Дарьи Васильевны началась совсем другая жизнь. Прежде всего, она стала матерью — событие чрезвычайной важности в жизни женщины того времени. Оно сразу упрочивало ее социальный статус, делало брак более весомым и в глазах окружающих, и в глазах самого мужа. От неплодной жены он мог и избавиться. Не такова была судьба второй госпожи Потемкиной.

А. Н. Самойлов, прекрасно знавший положение в семье, сообщает: «У князя Потемкина родных братьев не было, но имел пять сестер: 1-я старшая

его сестра Марья Александровна выдана была в замужество за дворянина Николая Борисовича Самойлова (отца мемуариста. — О. Е.), служившего в армии капитаном... 2-я сестра князя Потемкина Марфа Александровна была в замужестве за дворянином Василием Энгельгардтом, которого род происходил от рыцарей Тефтонского ордена... 3-я... Пелагея Александровна была в замужестве за Высоцким. 4-я... Надежда Александровна скончалась девицею. 5-я меньшая Дарья была замужем за дворянином Лихачевым»^[79].

Было бы неверным предполагать, что сразу после свадьбы семья зажила под Смоленском и все дети родились там. Ведь Александр Васильевич еще служил, сначала воеводой в Алатыре, а затем, с 1738 года в Конторе конфискаций в Москве^[80]. Самойлов специально останавливается в мемуарах на месте рождения своего дяди и уточняет, что это случилось в Чижове, а не в Москве, «как некоторые написали». Действительно, в ряде биографий Потемкина до сих пор можно встретить указание на Москву. Эта традиция берет начало от первых иностранных книг о светлейшем князе, вызвавших у Самойлова гнев грубыми ошибками и занимательными выдумками бульварного свойства. Однако и сам бывший генерал-прокурор оказался не без греха, спутав год рождения Григория Александровича и назвав 1742-й.

Разные авторы приводят различные даты появления на свет светлейшего князя. Энгельгардт — 1736. Карабанов — 1739. Самойлов — 1742. Откуда взята первая дата, трудно сказать, возможно, это была просто описка или память изменила мемуаристу. А вот за второй и третьей стоит обычная канцелярская небрежность. Дворянские дети должны были время от времени являться на смотры в губернскую канцелярию и подавать о себе сведения. Когда Грица привезли на первый из таких смотров в 1750 году в Смоленск, его ошибочно записали «по 7-му году». В 1754 году юный Потемкин прибыл на второй смотр уже в Москву, и с его слов канцеляристы исправили неточность. В реестре к докладу по этому поводу сказано: «Недоросль Григорий Александров сын Потемкин явился ко 2-му смотру и показал: от роду ему 15 лет, грамоте российской и писать обучен, а ныне обучается арифметики и по французски. На первом смотре был в 1750 году в Смоленской губернской канцелярии по 7-му году, и по желанию для обучения российской грамоте читать и писать со основание отпущен в дом до 12-ти лет, то есть 1755 году до февраля месяца, ис которой дан ему паспорт, который приобщил при скаске. А что он показан был в том 1750 году в Смоленской губернской канцелярии по 7-му году и то учинено

ошибкою, а он тогда подлинно был под одиннадцатом году»^[81].

Итак, в 1739 году семья Потемкиных перебралась в Смоленск, где в сентябре у Дарьи Васильевны наконец родился мальчик. В историографии принято считать, что это случилось 13-го числа. Доискаться по документам, откуда взялась приведенная дата, невозможно. Скорее всего, перед нами пример историографической традиции. В письмах Екатерина II обычно поздравляла светлейшего князя «со днем твоего рождения и именин» 30 сентября^[82]. Иногда она писала загодя — 24 или 26 сентября, чтоб послание успело дойти к сроку, но никогда раньше этих чисел. Вероятно, днем рождения Григория Александровича следует считать 30 сентября, совпадавшее с празднованием памяти священномученика Григория, епископа и просветителя Армении и преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.

По одной из семейных легенд, в ночь перед родами матери приснилось, что на нее катится солнце. Женщина вскрикнула от страха, проснулась и ощутила схватки^[83]. Вещие сны роженице — распространенный фольклорный сюжет, он встречается в легендах многих народов и сопровождает приход в мир нового владыки. Сходную историю рассказывала мать Алексея Разумовского, Наталья Демьяновна. Накануне родов ей привиделось, будто под потолком ее убогой хаты собрались солнце, луна и звезды^[84]. И Разумовского, и Потемкина считали тайными мужьями императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. А в мире устных преданий, где бытуют подобные рассказы, связь между чудесным рождением и царским венцом закономерна.

С годами старик Потемкин сделался болезненно ревнив и подозрителен. «Дарья Васильевна вела жизнь пренесчастную, — сообщает Карабанов, — ей запрещалось разговаривать с мужчинами, ни один зять не смел подходить к руке, а иногда наказанная, сидя за замком, в слезах предавалась отчаянию. В последнее время жизни ревнивого старика двоюродный же брат его, Сергей Дмитриевич Потемкин, желая воспользоваться его именем, еще более клеветал на супругу и уверял, что сын был незаконнорожденный. Под руководством его подана была челобитная, опровергавшая брачный союз»^[85].

К счастью, у Потемкина, помимо корыстного брата-злодея, имелся добрый и проникательный брат-благодетель. Эдакий Стародум. Человек чиновный и высокопоставленный. Все как положено в назидательной комедии эпохи классицизма. «Александр Васильевич в двоюродном брате своем Григории Матвеевиче Козловском, Камер-коллегии президенте, имел

не только что искреннего родственника, но и сильного покровителя, особенно же по делам тяжёлым». Григорий Матвеевич «сведал» о подаче прошения по расторжению брака, «привез сумасбродного старика в присутствие и настоятельно потребовал возвращения челобитной с надписью»^[86].

Так, по словам мемуариста, маленький Гриц был спасен от клейма незаконнорожденного, а буйный ревнивец водворен к семейному очагу. Мы уже видели, что Карабанов — мастер живописать детективные сюжеты. Фамилия президента Камер-коллегии и покровителя семьи Потемкиных была Кисловский, а не Козловский. Историки задаются вопросом: как вообще Карабанов мог спутать фамилию собственного деда? Ведь его мать, Анастасия Григорьевна, была родной дочерью Кисловского. В. С. Лопатин высказал предположение, что в данном случае имеет место неверное прочтение издателями рукописи Карабанова. Вместо «Кофтыревой» М. И. Семевский расшифровал «Кондырева», вместо «Кисловский» — «Козловский». Карабанов умер в 1851 году и не мог поправить редактора «Русской старины» в момент публикации в 1872 году. Нам кажется вероятным также, что фамилия матери Потемкина могла быть написана на слух как «Коптырева», а буквы «п» и «н» в скорописи того времени трудно различимы.

Вернемся к нашему герою. Как бы то ни было, но детство Грица прошло под родительским кровом в Чижове. Когда он подрос, встал вопрос об учебе. И вновь мемуаристы дают самые разные сведения на этот счет. Иностранные авторы, писавшие вскоре после смерти Потемкина, ошибочно утверждали, будто отец хотел отдать ребенка в монастырь. Эту выдумку опровергает Самойлов: «Никогда отец не назначал его в иночество. Каждому россиянину известно, что в нынешнее время сего обыкновения у дворян нет, да и законы обязывали дворянство детей при достижении совершеннолетия их представлять в Герольдию и записывать в государственную службу... С рассудком несогласно, чтобы родители при пяти дочерях, имея единственного сына, положили бы посвятить оного в монашество»^[87].

В собрании анекдотов С. Н. Шубинского сохранилась любопытная история об отставном штык-юнкере (в другом варианте — сельском дьячке)^[88], учившем детей духовщинских помещиков грамоте. К нему-то и попал Гриц. Мальчик был упрям, а ветеран вспыльчив и скор на расправу. Не раз пришлось будущему светлейшему князю пострадать от тяжелой руки учителя. По прошествии многих лет, когда штык-юнкер совсем состарился

и не мог заработать себе на хлеб, он впал в крайнюю нужду. Никто из его прежних учеников не захотел ему помочь. Но старик прослышал, будто один из них выбился в Петербурге в большие люди, и отправился в столицу искать покровительства. В точности он не знал, кем стал Потемкин. Явился к нему во дворец и встал в толпе просителей. Вот в назначенный час открылись двери, и князь вышел в сопровождении свиты. Все бывшие в зале — и генерал в звездах, и министры — склонились перед ним. Старик совсем оробел, а когда князь, обходя собравшихся, приблизился к нему и с удивлением спросил: «Тебе чего надобно, старинушка?» — не мог толком ответить и только повторял: «Какой же ты молодец стал, Гриша! Какой молодец!»

Расспросив его о причине приезда, Потемкин пожалел ветерана и оставил у себя. Но гордый старик не привык даром есть хлеб и хотел непременно исполнять какую-нибудь работу. За дряхлостью лет князь ничего не мог ему поручить, но, чтоб не обижать, придумал занятие. Тогда в Петербурге только что поставили памятник Петру I. Потемкин приказал бывшему штык-юнкеру каждый день ходить на площадь и докладывать, все ли в порядке с Медным всадником. После этого старик по утрам являлся в кабинет Григория Александровича и, гордый важным поручением, доносил, что памятник на месте и стоит крепко^[89]. Событие это, если оно вообще имело место, можно приурочить к 1783 году, когда Фальконе воздвиг свой знаменитый монумент.

Однако приведенная история, помимо колоритного штриха к портрету Потемкина — человека доброго и сострадательного, интересна своей сюжетной инверсией. У нее есть зеркальное отражение в «Записках» Богдана Тьебо, французского литератора на прусской службе. Под пером этого автора она как бы вывернута наизнанку. Повествуется в ней не о старом учителе, а о вымышленном покровителе светлейшего князя.

«Потемкин, оставшись сиротой с детства, был так беден, что не имел иных средств к жизни, кроме благодеяний своего дяди, отставного полковника Березина, который принял его к себе и доставлял ему все необходимое. Полковник, оставивший службу за ранами, был сам небогат, потому что правительство еще при Петре Великом отобрало у него огромное количество земли, обещая постоянно владельцу заменить ее другою, но не выполнило этого обещания. Впоследствии, когда старый дядя узнал о блестящей карьере своего племянника, то изнутри Московии отправился в Петербург, в надежде добиться, наконец, какого-нибудь правосудия; но бывший его питомец принял очень дурно старика и... приказал не допускать более к себе этого просителя... В течение

нескольких месяцев, ежедневно, почтенный старик томился, как бесприютный, в передних покоях своего неблагодарного и бездушного любимца». Наконец приятель Потемкина Л. А. Нарышкин попытался замолвить за него слово, но услышал в ответ: «Пусть убирается! Он давно уж мне надоедает». Так старый покровитель «побрел обратно в свою глушь»^[90].

Полковник Березин — лицо вымышленное. У Потемкина никогда не было дяди с подобной фамилией. Сам Тьебо Россию не посещал, но близко сошелся в Берлине с русским послом князем В. С. Долгоруким, старым недругом Потемкина. Светлейший князь считал, что Долгорукий плохо исполняет свои функции дипломата или, того хуже, подкуплен прусским королем, поскольку не мешает антирусским интригам Берлина в Польше. Не имея возможности всерьез навредить Потемкину, посол распространял порочащие его слухи. Отражением этих сплетен и стали «Записки» Тьебо.

Любопытные сведения о начальном образовании Григория Александровича содержатся у Энгельгардта. «За недостатком учебных заведений отец записал его в Смоленскую семинарию; но, заметя в нем пылкий ум, отправил в гимназию Московского университета»^[91]. К этому известию следовало бы отнестись внимательно. Возможно, прежде чем отвезти Грица в Первопрестольную, родители действительно пытались пристроить сына поближе к дому. Не отсюда ли берет начало пристрастие молодого Потемкина ко всему церковному и рвение в духовных науках, отмеченное всеми мемуаристами? Если мальчик действительно какое-то время провел в семинарии, то это и есть корень рассказов о желании отца отдать его в монахи.

Нелегко определить и со временем отъезда Грица из родного дома в Москву. Карабанов пишет, что мальчика отвезли к «Козловскому» очень рано. «Молодой Потемкин, нареченный именем сего дяди, был его крестником и по просьбе матери взят на воспитание на пятом году от рождения. Возрастая вместе с ровесником своим, в том же году рожденным сыном Козловского, Сергеем Григорьевичем, обще учились немецкому языку в известной тогда школе у профессора, наконец поступили в новоучрежденный Московский университет»^[92]. А вот Энгельгардт говорит совсем другое: «До двенадцати лет он (Потемкин. — О. Е.) воспитывался у своих родителей»^[93].

Разобраться в ситуации помогает «Реэстр к докладу» Герольдмейстерской конторы, составленный во время второго смотра недоросля Потемкина в 1754 году в Москве. На нем Гриц показал, что

первый смотр прошел в Смоленске в 1750 году в возрасте одиннадцати лет. Трудно представить, что мальчика специально повезли на первый смотр к месту жительства родителей. А второй почему-то разрешили пройти в Первопрестольной. Скорее всего, когда Потемкин жил под Смоленском, он был отвезен в Смоленскую губернскую канцелярию. А когда поселился в Москве — прямо в Герольдмейстерскую контору. Таким образом, Гриц покинул Чижово между 1750 и 1754 годами. Ближе к правде оказывается Энгельгардт, и срок отъезда из дома отодвигается с пяти до двенадцати лет. Осень 1751 года могла стать временем прощания нашего героя с деревенским детством.

«Реэстр...» же позволяет уточнить дату смерти отца Потемкина. На втором смотре недоросль сообщил: «...Отец ево Александр Васильев сын Потемкин... в прошлом году померли»^[94]. Дата составления «Реэстра...» — 1754 год, следовательно, скончался Александр Васильевич в 1753 году, когда Грицу было уже четырнадцать лет. А не в 1746-м, как до сих пор принято считать.

Откуда взялась последняя дата? Ее история весьма показательна. Карабанов ничего на счет 1746 года не говорил. А вот у Семевского в жизнеописании Потемкина она уже выскочила как чертик из табакерки, без ссылки на источник^[95]. За ним ее повторил и как бы освятил своим авторитетом Брикнер^[96]. С тех пор датировка утвердилась в научной литературе, и на ее основании даже делались выводы о достоверности того или иного случая в мемуарах. Например, пострадал эпизод с медвежьей шкурой. Малозначительный, но характерный для описания нрава юного Потемкина.

Глинка рассказывает о том, что Александр Васильевич любил поохотиться в полях. Грица тогда на охоту еще не брали. «Однажды вместе с отцом пустился полевать родной его дядя, рослый и дюжий. Смеркалось, выплывал месяц. Потемкин нарядился в медвежью шкуру, висевшую между утварью домашней; притаился в кустарнике; охотники возвращались, и когда дядя поравнялся с кустами, медведь-племянник вдруг выскочил, встал на дыбы и заревел. Лошадь сбросила седока и опрометью убежала. Дядя, растянувшись на траве, охал от крепкого ушиба, а племянник, сбросив шкуру, сказался человеческим хохотом. Стали журить. Проказник отвечал:

— Волка бояться, так и в лес не ходить»^[97].

Конечно, пятилетний мальчик не мог нарядиться в медвежью шкуру (она бы просто погребла его под собой), тем более рычать и напугать

лошадь. А вот для двенадцатилетнего подростка такое развлечение вполне по силам. Родного дяди у Грица не было, а имелся двоюродный, тот самый Сергей Дмитриевич, живший по соседству и называвший племянника незаконнорожденным. Если правдивы известия о попытке Александра Потемкина расторгнуть брак, то подросток достойно наказал алчного родственника за клевету на Дарью Васильевну.

В Москве

Двенадцати лет от роду Гриц покинул Смоленщину. Его путь лежал в Первопрестольную, самый крупный и оживленный город России. По сравнению с чиновным, молодым и еще не слишком разросшимся Петербургом, окраины которого заканчивались у Аничкова моста, Москва представляла собой целый мир — огромный и разнообразный. Она должна была поразить воображения подростка, выбравшегося из деревенской глуши. За один день на ее улицах он мог увидеть столько народу, сколько до этого не встретил за всю жизнь.

В Первопрестольной Потемкины владели собственным домом на Большой Никитской улице в приходе церкви Вознесения за Никитскими воротами. Традиция иметь свое подворье в Москве свято хранилась дворянскими семьями на протяжении всего XVIII столетия. Вот что писал о ней мемуарист Ф. Вигель: «Помещики соседственных губерний почитали обязанностью каждый год, в декабре, со всем семейством отправляться из деревни, на собственных лошадях, и приезжать в Москву около Рождества... Сии поездки им недорого стоили. Им предшествовали обыкновенно на крестьянских лошадях длинные обозы с замороженными поросятами, гусями и курами, с крупю, мукою и маслом, со всеми жизненными припасами. Каждого ожидал собственный деревянный дом, неприхотливо убранный, с широким двором и садом без дорожек, загложшим крапивою, где можно было найти дюжину диких яблонь и сотню кустов малины и смородины»^[98].

Потемкины жили далековато от Москвы и поэтому приезжали туда не каждый год, как дворяне «соседственных губерний», а от случая к случаю. Но в остальном их городская усадьба мало отличалась от описанной. Грица тоже везли на «собственных лошадях», а значит, очень медленно. Полагаем, что и крестьянские обозы со снедью тоже были снаряжены в путь, хотя их содержимое предназначалось не для прокормления самого мальчика, а в качестве деревенских гостинцев его покровителям. Ведь в

столь юном возрасте недоросль не мог поселиться один. Ему предстояло попасть в дом кого-то из знатных и состоятельных родственников.

Как мы видели выше, Карабанов называет в качестве такого милостивца Григория Матвеевича Кисловского, президента Камер-коллегии, двоюродного дядю и крестного отца мальчика. У Кисловского был сын Сергей, того же возраста, что и Гриц. Вместе они учились в пансионе профессора Литкена в Немецкой слободе, вместе отправились в 1754 году на второй смотр в Герольдмейстерскую контору, были записаны в лейб-гвардии Конный полк и позднее получили отсрочку для поступления в благородную гимназию при только что открывшемся Московском университете.

В историографии принято именовать Потемкина бедным смоленским шляхтичем. Однако на смотре юноша показал, что «крестьян за ним Григорьем в Костромском, в Смоленском, в Тульском и в Алексинском уездах 430. Желает он, Григорей, в лейб-гвардии в Конный полк в рейтары»^[99]. 430 душ — состояние скорее среднее, чем маленькое. А запись в привилегированный Конный полк, где дворянам приходилось тратить на свое содержание немалые средства, говорит о наличии у семьи необходимых денег. Впоследствии, уже попав в полк, Потемкин служил там не за жалованье, а, как тогда писали, «из чести», полностью обеспечивая себя сам. Случай нередкий, однако красноречиво свидетельствующий о достатке молодого рейтара.

Что же касается безвестности нашего шляхтича, то и это мнение неверно. Следует учитывать место, которое в чиновничьей иерархии Москвы занимал президент Камер-коллегии. Это учреждение было создано Петром I в 1721 году позднее первых одиннадцати коллегий и занималось сбором налогов. Если остальные коллегии находились в Петербурге, то Камер-коллегия — единственное из всех центральных учреждений — располагалась в Первопрестольной, поближе к основной массе налогоплательщиков^[100].

Ее президент был в жизни города лицом заметным. Единственный вельможа «министерского ранга», по долгу службы пребывающий вдали от двора. Он был независим от местной власти. Ее высшие представители — генерал-губернатор и обер-полицмейстер Москвы — держались с ним на одной ноге. Таким образом, Гриц был если не «министерский сынок», как Сережа Кисловский, то уж во всяком случае министерский родственник. Это делало его не рядовой фигурой и в пансионе Литкена, и в гимназии при университете. В лице таких мальчиков видели новое поколение чиновной

знати России, недаром И. И. Шувалов повез Потемкина как одного из лучших студентов для представления Елизавете Петровне в Петербург.

Карабанов сообщает немало ярких подробностей о жизни Грица в доме покровителя. Кисловский любил его «как сына» и рано угадал в нем задатки яркой личности. «Грицу моему, — говаривал он, — либо быть в чести, либо не сносить головы». У президента бывало много интересных людей, часто собирались талантливые земляки — представители смоленской шляхты, выдвинувшиеся на русской службе. Заметив живой ум воспитанника, Григорий Матвеевич разрешил ему присутствовать при разговорах взрослых, тихо сидя в сторонке. Но тихо вести себя Потемкину мешал живой нрав.

«Однажды по какому-то случаю приглашен был Григорием Матвеевичем грузинский преосвященный для служения в церкви и на обед в дом; молодой Потемкин, возлож на себя полное архиерейское облачение, предстал в оном собранию гостей; взыскательный дядя с сердцем сказал ему: „Доживу до стыда, что не умел воспитать тебя как дворянина“»^[101].

История о покровительстве Кисловского, рассказанная в «Фамильном известии», очень выигрышна благодаря броским деталям. Но свидетельства Самойлова о пребывании его дяди в Москве не совпадают с карабановскими. Милостивцем Потемкина бывший генерал-прокурор называет другого человека, «свойственника матери генерал-поручика Александра Артемьевича Загряжского»^[102]. Этот же покровитель указан и у Л. И. Сичкарева, который именует его «Загряжским». Самойлов, без сомнения, лучше знал положение дел в семье, поскольку был младше своего дяди всего на четыре года. Многие события юности Потемкина проходили у него на глазах, об остальных он слышал от отца и бабки. Поэтому доверять все же следует ему.

Отметим, что Карабанова удивляла неблагодарность Потемкина по отношению к семье бывшего покровителя. «Следует вопрос: отчего дети Потемкина (имеется в виду дядя-клеветник Сергей Дмитриевич. — О. Е.) Михаил и граф Павел Сергеевич выведены в чины и обогащены Таврическим, а потомство Козловского не получило ни малейшего знака признательности?» Мемуарист явно обижен за своих родных по материнской линии и за себя самого. Ведь он начал службу в лейб-гвардии Преображенском полку уже во время фавора Потемкина и лишь в 1783 году вышел в отставку, так и не дождавшись покровительства, на которое, вероятно, рассчитывал.

Возможно, участие Кисловского в воспитании Грица не было таким уж

значительным, каким казалось потомкам президента Камер-коллегии. В тот момент Григорий Матвеевич являлся слишком крупной фигурой, чтобы всерьез обращать внимание на всех, кто «считался с ним родством». А через несколько десятилетий по-настоящему крупной фигурой стал сам Потемкин, и желающих напомнить ему о прежней «дружбе» и «родстве» оказалось хоть отбавляй.

Загряжский, напротив, видел много знаков внимания светлейшего, что подтверждает именно его причастность к воспитанию Грица. Самойлов сообщает, что «в признательность ему князь Григорий Александрович исходатайствовал орден польский Белого орла». Во время визита в Москву в 1775 году Екатерина II по просьбе Потемкина посетила усадьбу Загряжского. Александр Артемьевич до смерти в 1786 году оставался другом семьи Потемкиных, сохранилось более десяти его писем князю. Старик благодарил воспитанника за добрую память, просил о покровительстве друзьям и родным^[103].

После смерти мужа в 1753 году Дарья Васильевна Потемкина перебралась с дочерьми в Москву. С этого времени Гриц мог жить и вместе с семьей в доме на Никитской. Усадьба находилась близ двух церквей — Вознесения Малого и Вознесения за Никитскими воротами. Потемкины числились прихожанами последней. Это был храм о пяти каменных главах, крытых жостью, его ограждал каменный забор со Святыми вратами и тремя деревянными калитками, на молебен народ сзывал звон восьми колоколов. Именно в этой церкви позднее были похоронены сестры Григория Александровича: под престолом — Мария Самойлова, под жертвенником — Пелагея Высоцкая и девица Надежда. В самой церкви и на кладбище вокруг нее покоились другие родственники Потемкиных. Дарья Васильевна делала в церковь вклады «по детям»: ризы и стихари (облачение священника) с золотыми сетками^[104].

После возвышения сына престарелая Потемкина в 1774 году купила богатый «двор с хоромами» у князя С. В. Гагарина рядом со своей усадьбой и переехала туда. Прежний же дом, как она писала сыну, обветшал^[105]. Дарья Васильевна надеялась, что вельможа займется его восстановлением, но у Григория Александровича были на этот счет свои планы. По свидетельству исследователя Москвы П. В. Сытина, Потемкин собирался перестроить церковь Вознесения и превратить ее в собор Преображенского полка, подполковником которого он являлся. Благо полковой двор располагался рядом^[106].

В 1782 году князь вместе с московским митрополитом Платоном и

«архитектором полковником Баженовым» ездил осматривать церковь. За год до того, 28 марта 1781 года, вельможа писал Платону, рекомендуя «ревностного Вознесения священника Антипа Матвеева, который такового храма, где я от младенчества своего познал Сотворшаго». О себе Потемкин говорит: «Доведен Всевышнего Промыслом на самый сей пост, за что должность требует посвятить мое к нему усердие: вместо нынешнего воздвигнуть храм новый, великолепный, служащий монументом имени моему»^[107].

Для исполнения этого замысла Потемкин пожертвовал свой родовой двор, но строительство храма было осуществлено только наследниками князя. В 1798 году проектирование здания было поручено архитектору М. Ф. Казакову, тогда же начали возводить трапезную с двумя приделами. Именно с этого времени храм стали именовать Большое Вознесение, чтобы отличить его от Малого по соседству. В 1830 году церковь достраивал архитектор О. И. Бове. Алтарь нового храма оказался на том самом месте, где стоял дом Потемкиных.

В левой части иконостаса были установлены иконы святых покровителей Григория Александровича и настоятеля храма Антипы Матвеева — священномученика Григория, просветителя Армении и мученика Антипы. Здесь же, по преданию, хранились и венцы от тайного бракосочетания Потемкина с Екатериной II. На них были эмалевые изображения святого Григория и великомученицы Екатерины^[108]. Возможно, именно их держали над головами А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой во время свадебной церемонии 18 февраля 1831 года в западном приделе еще недостроенной церкви Большого Вознесения. Издатель XIX века П. И. Бартенев писал, что «великолепный храм в нынешнем виде своем есть памятник благочестию князя Потемкина-Таврического»^[109].

Это благочестие, а вернее ревностный интерес к религиозной жизни в юности, создало для Григория Александровича немало проблем. Прямая дорога для тогдашнего дворянина была на службу в полк, и молодые люди не особенно задумывались над вопросом, кем быть. Поначалу никто не собирался записывать Грица и Сергея в университет, за неимением такового. После пансиона юношей ждала традиционная военная карьера. Потемкин уже тогда питал пристрастие к кавалерии, потому и попросил зачислить его в лейб-гвардии Конный полк. Ко времени второго смотра в 1754 году Григорий был «грамоте российской и писать обучен» и продолжал изучение французского языка и арифметики. Для жизни

столичного гвардейского офицера этого было достаточно. Но в сердце у юноши жила и другая страсть, не слишком характерная для дворянина того времени. О стремлении нашего героя читать духовные книги и его любви к Церкви писали многие мемуаристы.

«Привязанность молодого Потемкина к духовенству была беспредельная, — замечал Карабанов. — Он часто убегал к умному священнику церкви Николая Чудотворца, что в Воробине, толковать Священное Писание и обряды духовенства, а в церкви, прислуживая ему в алтаре, раздувал кадило и вынашивал свечу перед Евангелием и Святыми Дарами»^[110]. «Умного священника» звали Дорофеем. Самойлов рассказывал о нем куда подробнее: «...Нашед в иеродиаконе Греческого монастыря Дорофее великие дарования и совершенное сведение в церковной истории и в елино-греческом языке, прилепился он к сему просвещенному иноку... и через наставления Дорофея мог разумеать Гомера... В истории же духовной приобрел он такое познание, что никто из современников не мог в том с ним сравниться»^[111]. Впоследствии Потемкин не оставил друга-священника и способствовал возведению его в сан архиепископа Херсонского.

Во времена поездки С. Н. Глинки по Смоленщине в Чижово еще сохранилась деревенская библиотека Потемкина. «Управитель указал мне на старинный шкаф, и первая попавшаяся мне книга была „Слово о священстве“, Иоанна Златоуста». Листая тома, мемуарист обнаружил пометы Григория Александровича. «Пробегаю первую завернутую страницу и читаю: „Если исчислишь военачальников от глубокой древности, ты увидишь, что их трофеи были следствием их военной хитрости, и побеждавшие посредством оной заслужили более славы нежели те, кои поражали открытою силой, ибо сии последние одерживают верх с великою тратой людей, так что никакой не остается выгоды от победы“. На поле этой речи Потемкин четко отметил чернилами: „Правда, сущая правда, нельзя сказать справедливее“. Вижу другую завернутую страницу и читаю: „Изобилие денег не то, что благоразумие души: деньги истрачиваются“. В отметке Потемкина сказано было: „И это сущая правда, и я целую эти золотые слова“»^[112].

Суждение о хитрости военачальников глубоко запало в душу Потемкина. Вспоминается характеристика, данная князю принцем Ш. де Линем уже в бытность Потемкина главнокомандующим в годы Второй русско-турецкой войны: «Каждый пушечный выстрел, нимало ему не угрожающий, беспокоит его потому уже, что может стоить жизни

нескольким солдатам. Трусливый за других, он сам очень храбр: он стоит под выстрелами и спокойно отдает приказания. При всем том он скорее напоминает Улисса, чем Ахилла»^[113]. Именно одиссеевским хитроумием были взяты многие крепости на Дунае.

Слова де Линя подтверждают рассказы ветеранов турецких войн, записанные Глинкой. «С нашими русскими полками как будто нагрянула под Очаков и зима русская: лиман замерз; а в день великого угодника Божьего Николая сказан был штурм. Мороз был трескучий, но сердца кипели отвагою. Вдруг раздалось в рядах наших: „Князь Григорий Александрович молится на батарее и плачет: ему жаль нас, солдатушек“. Загремело: „Ура! с нами!“ Мы полетели на валы, на стены — и крепости как будто не было. А летом, когда еще турки храбрились, наш батюшка князь Григорий Александрович как будто для прогулки разъезжал под их батареями. Ядра сыпались, а он себе и не поморщится. Однажды подле него, рука об руку, убило ядром наповал генерала Синельникова, а на отца нашего не пала и порошинка. Видно, Бог за то и берег, что он себя нигде не берег, а об нас всегда жалел»^[114].

Важно отметить, что природная мягкость сердца, проявлявшаяся в человеческом отношении Потемкина к солдатам, пленным туркам, местному населению, страдавшему от войны, еще больше укрепилась в нем от чтения духовных книг. То же касалось и денег. Несметно богатый, князь вечно сидел без гроша, направляя средства на срочные государственные нужды. Известен его отзыв: «Деньги — сор, а люди — все». И другой, более грубый, направленный в Сенат по поводу невыплаты сумм на строительство херсонских верфей: «Дать, дать! Вашу м...!»

Мемуаристы в той или иной форме повторяют слова молодого Потемкина: «Начну военной службой; а не так, то стану командовать попами». Судьбе не угодно было сделать Григория Александровича архиереем, но огромный интерес ко всему, связанному с Церковью, остался у него навсегда. «Поэзия, философия, богословие и языки латинский и греческий были его любимыми предметами... — писал адъютант князя Энгельгардт. — Он держал у себя ученых, раввинов, раскольников... Любимое его было упражнение... стравливать их, а между тем сам изощрять себя в познаниях»^[115]. Это мнение подтверждал и французский посол граф Л. Сегюр: «Бывало, непременно привлечешь его внимание, если заговоришь с ним о распрях греческой церкви с римскою, о соборах Никейском, Халкедонском или Флорентийском»^[116].

Такой живой интерес к церковной жизни — нехарактерная черта для

человека эпохи Просвещения. Тогда в моде были подчеркнутый рационализм или холодноватая, отстраненная религиозность, клонящаяся к масонскому мистицизму. Однако Потемкин был оригинален во всем. Получив блестящее образование, он сознательно не расстался с верой своего детства и укрепил ее серьезным богословским чтением.

Итак, Гриц намеревался ехать в полк, хотел — в монастырь, а попал — в университет. Что было вполне в характере нашего героя.

Alma mater

26 апреля 1755 года в Москве в здании главной аптеки у Воскресенских ворот, на том месте, где теперь помещается Исторический музей, был торжественно открыт университет, а при нем учреждена гимназия с двумя отделениями — для дворян и для разночинцев. Это событие круто изменило судьбу Потемкина. Григорий Матвеевич Кисловский немедля «порадел» сыну и племяннику и записал юношей во французский класс дворянского отделения.

Этот поступок был весьма экстравагантен. Он выдавал в президенте Камер-коллегии человека широко мыслящего, или, как тогда говорили, «друга просвещения». Университет не успел еще завоевать высокой репутации и воспринимался дворянским обществом с недоумением, если не сказать с опаской. Для благородного сословия существовал Сухопутный шляхетский корпус, дети священников, купцов и мещан могли поступить в духовные семинарии^[117]. Университетское же образование не прикладывалось ни к какой конкретной сфере деятельности, а потому выглядело почти бесполезным.

Невысокий престиж нового учебного заведения стал причиной того, что в гимназии собрались главным образом дети небогатых дворян. Правда, впоследствии именно они составили славу «века сего». Вместе с Потемкиным обучались будущие знаменитости: драматург Д. И. Фонвизин, просветитель Н. И. Новиков, архитекторы В. И. Баженов и И. Е. Старов, писатель и журналист И. Ф. Богданович, поэты В. П. Петров и Е. И. Костров, дипломат Я. И. Булгаков. Со многими из них Григорий Александрович сохранил теплые отношения, а с Петровым и Булгаковым его связывала многолетняя дружба.

Обучение не отличалось высоким качеством. Достаточно сказать, что студенты «французского синтаксического класса» так и не освоили толком этот язык. Уже в зрелые годы Новиков писал, что иностранным языкам его

вообще не обучали^[118]. Это кажется странным, так как вся система русского образования того времени была ориентирована на знание иностранных языков. В условиях, когда научных, да и просто художественных книг на русском было мало, изучение «европейских диалектов» воспринималось как первая ступень образования, без которой дальнейший путь невозможен. И тем не менее мы увидим, что и Потемкин испытывал с французским трудности, пока Екатерина в 1763 году специально не приставила к нему преподавателя. Позднее князь говорил по-французски свободно и хорошо разбирался в современной ему литературе, что отмечали иностранные дипломаты и путешественники. Но эти знания нельзя отнести на счет университета.

Поначалу Гриц показал блестящие успехи. Он обладал хорошей предварительной подготовкой, уже изучал немецкий, сам под руководством инока Дорофея переводил с греческого. Возможно, ему было даже скучновато в кругу не таких образованных товарищей, но он быстро нашел компанию по интересам — Петров и Костров тоже увлекались «еллинским наречием». Переводы Гомера подтолкнули юношей начать писать самостоятельно. Впоследствии Петров говорил, что у Потемкина были способности к стихосложению, но Гриц сам посчитал их недостаточными, чтобы добиться первенства на поэтическом Олимпе, и перестал марать бумагу^[119].

Обнаружились и другие способности Потемкина — скорочтение и феноменальная память. «Переводчик „Илиады“ Костров рассказывал, что однажды Потемкин взял у него несколько частей истории Бюффона, — сообщает Глинка, — и возвратил ему их через неделю. Костров не верил, что можно так скоро перечитать все взятые части, а Потемкин, смеясь, пересказал ему всю сущность прочитанного»^[120]. В другом варианте этой истории рассказывается о том, что Гриц очень хотел иметь «Естественную историю» Жоржа Бюффона, но не мог позволить себе такую дорогую книгу. Товарищи подарили ему ее на именины. Несказанно обрадованный юноша пролистал том и отложил в сторону. Задетые его невниманием к подарку, друзья стали укорять Потемкина. Тот отвечал, что уже прочел текст. Ему не верили. Затеялась игра: гости наугад открывали страницу и зачитывали строку, а Гриц продолжал по памяти. Вскоре все убедились, что именинник не соврал — он действительно знал содержание едва ли не наизусть^[121].

Ничего удивительного, что при таких задатках юноша учился легко. В июле 1757 года куратор университета И. И. Шувалов выбрал группу из

двенадцати подопечных, чтобы повезти ее в Петербург для представления императрице Елизавете Петровне^[122]. Среди них оказался и Потемкин, чьи успехи в науках знаменовала золотая медаль. «Большая часть учеников избраны были по причинам посторонним, — писал Самойлов, — а меньшее число, между коими был и Григорий Александрович, по отличию и успехам в науках... Он познаниями своими, остроумием и изречениями наиболее замечен был в домах иностранных министров и других знатных, куда их возили; напоследок они представлены были государыне Елизавете Петровне, и сведения Григория Александровича в еллино-греческом языке и в церковной истории обратили сей монархини внимание, во изъявление чего изволила она его пожаловать капралом конной гвардии»^[123].

Денис Фонвизин, также посетивший столицу с товарищами, писал: «Я удивлен был великолепием двора нашей императрицы. Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, множество дам прекрасных, наконец, огромная музыка — все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного»^[124].

Пребывание при дворе произвело на молодого Потемкина сильное впечатление. Во-первых, он понял, что не создан ни монахом, ни ученым. А во-вторых, увидел великую княгиню Екатерину Алексеевну... Ей было двадцать восемь, ему — восемнадцать. Не осталось свидетельств о первом, мимолетном знакомстве наших героев. Придворные с любопытством взирали на способных мальчиков, их подводили к императрице, подводили и к великокняжеской чете. Петр Федорович не занимался науками, а вот Екатерина могла и заинтересоваться беседой со студентами, ведь круг чтения был в те времена не так уж широк и все модные книги — на слуху.

О такой даме юный Гриц не мог и помыслить. Зато сама великая княгиня позволяла себе многое. Незадолго до этого у нее появился новый кавалер, молодой поляк, секретарь английского посольства Станислав Понятовский. Он и описал, как Екатерина выглядела в ту пору: «Оправляясь от первых родов, она расцвела так, как об этом только может мечтать женщина, наделенная от природы красотой. Черные волосы, восхитительная белизна кожи, большие синие глаза навывкате, много говорившие, очень длинные черные ресницы, острый носик, рот, зовущий к поцелую, руки и плечи совершенной формы; средний рост — скорее высокий, чем низкий, походка на редкость легкая и в то же время исполненная величайшего благородства, приятный тембр голоса, смех, столь же веселый, сколь и нрав ее, позволявший ей с легкостью переходить от самых резвых, по-детски беззаботных игр — к шифровальному столику,

причем напряжение физическое пугало ее не больше, чем самый текст, каким бы... опасным ни было его содержание... Она много знала, умела приветить, но и нащупать слабое место собеседника. Уже тогда, завоеывая всеобщую любовь, она торила себе дорогу к трону»^[125].

Примерно такими же восхищенными глазами должен был смотреть на прекрасную даму и наш герой. Однако каким бы пылким поклонником ни был Понятовский, в его описании неспроста появились шифровальный столик и тексты опасного содержания. Екатерина действительно уже начала «торить» себе дорогу к власти. Она старалась завоевать как можно больше друзей и через Станислава поддерживала переписку с английским послом сэром Чарльзом Уильямсом. Дипломат ссужал великой княгине крупные суммы денег, которые, очевидно, шли не на булавки, а на подкуп сторонников.

Вся эта политическая кухня была еще далека от Потемкина. Хотя всего через несколько лет ему предстояло окунуться в нее с головой. Пока же студент только знакомился с двором. В литературе распространено мнение, будто, вернувшись из столицы, Гриц заскучал в университете, почти перестал посещать занятия и наконец был изгнан из стен *alma mater* за лень. Самойлов, напротив, пишет, что после поездки в Петербург его дядя с новой силой налег на книги, но теперь его занимали совсем другие предметы, чем прежде: «Он почувствовал, что для возвышения, к коему дух его стремился, ...нужно достигать обширнейших познаний. Углубился он... в чтение жизней великих и славных мужей и других военных и политических книг, ...предался учению всего, через что мог приобрести *генеральность сведений*»^[126].

Потемкин все дни напролет проводил в богатых библиотеках Греческого и Заиконоспасского монастырей. В последнем, располагавшемся на Никольской улице, прежде находилась Славяно-греко-латинская академия, и интересующие юношу книги имелись там в изобилии. Страсть студента к чтению была колоссальной. Так, в селе Татеве, куда он приезжал к родным погостить, его часто находили утром, спящим в библиотеке на столе для бильярда среди гор книг, за которыми он проводил целые ночи^[127].

Гром грянул среди ясного неба. В 1758 году бывшего золотого медалиста отчислили «за нехождение». Известный русский историк XIX века Д. М. Бантыш-Каменский сообщил любопытные сведения: «Я видел в портфелях покойного моего родителя (сгоревших в московский пожар 1812 года) оторванный от „Ведомостей“ лист, в котором было напечатано, в

числе выключенных из университета за *нехождение*, имя Григория Потемкина»^[128]. В 1760 году с той же формулировкой был отчислен другой нерадивый студент — Н. И. Новиков. Скорее всего, она являлась стандартным бюрократическим штампом.

Грица не просто изгнали, а изгнали с позором, пропечатав об этом в главной московской газете. Сбылось горькое пророчество Кисловского: «Доживу до стыда, что не умел воспитать тебя как дворянина». Что же случилось? Мемуаристы говорят об этом очень глухо. Самойлов вообще делает вид, что Гриц по собственной воле покинул университет: «Наконец пребывание в университете утомило... пылкий дух Григория Александровича. Он уже мысленно искал другого поприща и для того просил мать свою Дарью Васильевну позволить ему отправиться в Петербург на службу, на что она по некотором сопротивлении согласилась»^[129]. Самойлову вторит Энгельгардт: «Родители почли, что военная служба будет ему (Потемкину. — О. Е.) выгоднее; ...записали его в конную гвардию унтер-офицером и отправили на службу»^[130].

Не следует воспринимать исключение как нечто из ряда вон выходящее. Летом 1763 года «Московские ведомости» поместили следующее объявление: «Для учеников университетской гимназии, которые самовольно отлучились или, взяв аттестаты для записания в службу, и поныне в классы не ходят, определен последний срок, в ноябре месяце, в который они по-прежнему в помянутую гимназию явиться могут; если же оный пропустят, то непременно будут выключены и имена их в здешних ведомостях станут напечатаны»^[131]. Видимо, уход из классов к началу 60-х годов стал делом обычным, если не повальным. Вполне могут быть правы те мемуаристы, которые считали, что Потемкин покинул гимназию по своей воле.

И все же некий конфликт был. Самойлов не совсем изгладил из своих воспоминаний его отзвуки. Он пишет, что дядя его в юности обладал вспыльчивым характером и, если считал себя правым, не уступал даже тем, кто стоял выше его на социальной лестнице. То есть нарушал субординацию, что являлось делом немыслимым. «Те, кои близки к нему были, замечали в образе обращения его и учения великую пылкость ума, понятие всеобъемлющее, память необыкновенную, стремление сильное к отличию себя от других, большую смелость духа и непреоборимую твердость, которая наиболее оказывалась противу высших, когда власть их, по мнению его, простиралась за пределы справедливости. Доводом сему послужит то, что он, бывши только рейтаром конной гвардии и

пансионером университета, не поколебался идти против одного из высших начальников университетских»^[132]. В другом месте Самойлов замечает, что его дядя был о себе «не рабственного понятия».

Яркий, одаренный, честолюбивый и чересчур свободный в обращении с «высшими», Потемкин обречен был наживать врагов. Рано или поздно конфликт вокруг недоросля с непомерным самомнением разразился бы неизбежно. В насквозь иерархическом обществе никто не стал бы долго терпеть фельдмаршальские амбиции от мальчика в звании рейтара.

С кем же схлестнулся наш герой? Есть сведения об исключении Потемкина за едкую эпиграмму на преподавателей^[133]. Самойлов не называет профессора, злоупотреблявшего служебным положением. Зато Бантыш-Каменский приводит интересный случай. В бытность Григория Александровича в Москве на праздновании Кючук-Кайнарджийского мира в 1775 году он посетил и университет. Профессора выстроились для торжественной встречи. Здороваясь с каждым, Потемкин сказал профессору Барсову: «Помните ли, как вы выключили меня из университета?» Бедняга, сохраняя самообладание, ответил: «Ваша светлость тогда сего заслуживали»^[134]. Есть расширенная версия этой истории. По ней Потемкин, прекрасно зная, что теперь, в угождение ему, Барсова могут начать притеснять по службе, взял немолодого математика под покровительство и время от времени справлялся, не отчислен ли профессор из университета. Иждивением Потемкина была издана барсовская «Арифметика».

Позднее принц де Линь писал о светлейшем князе: «Он вовсе не мстителен, он извиняет в причиненном горе, старается загладить несправедливость... Под личиной грубости он скрывает очень нежное сердце»^[135]. Мы не раз столкнемся со случаями, когда наш герой заступался перед императрицей за людей, доставивших ему много неприятностей, просил за них, помогал получить чин, награду или выпутаться из сложной ситуации. Он не просто прощал своим врагам, а деятельно благодетельствовал им. Старался любить, насколько вообще возможно любить «ненавидящих и обидящих нас». Такое поведение удивляло и... подчас вызывало еще большее озлобление.

Изгнание из университета, видимо, стало для Потемкина болезненной семейной драмой. О глубине ее мы можем судить только по тому факту, что вчерашний студент, покидая Москву, не взял у родных ни копейки. Деньги на поездку в полк он занял у своего духовного отца московского архиепископа Амвросия. Подобный поступок говорит о многом —

вероятно, Гриц в прах разругался с близкими. Обидчивый и гордый, он показывал им, что не нуждается в их помощи. А ведь юноша не был беден, и служить ему предстояло «из чести». Как он собирался добывать пропитание, бог весть. Скорее всего, в пылу оскорбленных чувств этот вопрос его не интересовал. Он, что называется, «закусил удила» и оставил принадлежащее именно ему после смерти отца состояние матери и сестрам. Что было причиной такого поведения? Неужели «некоторое сопротивление» Дарьи Васильевны?

Вероятно, госпожа Потемкина хотела, чтобы сын продолжил образование. Она могла пригрозить ему не дать денег на поездку в Петербург. Зная характер нашего героя, не трудно предположить, что его это не остановило. Со своей стороны юноша, возможно, полагал, что родные встанут в университетском конфликте на его сторону. Но этого не произошло. Кисловский умер еще в 1755 году, и Гриц разом лишился покровителя. Если бы скандал разразился несколькими годами ранее, Потемкину нечего было бы бояться. Не шутка — «выключить» из числа пансионеров племянника столь влиятельного лица. Однако теперь Гриц «добивался справедливости» на свой страх и риск.

Таким образом, возможны разные варианты развития событий: от самовольного ухода из университета до позорного изгнания. И даже переплетение обеих версий. Нам остается рассказать о роли архиепископа Амвросия, ссудившего юношу деньгами. Он тоже происходил из-под Смоленска и бывал в доме у Кисловского, там и обратил внимание на способного мальчика. «В числе духовных, которых посещал Потемкин, находился Амвросий Зертис-Каменский, бывший тогда архиепископом Крутицким и Можайским, он одобрил его намерение (ехать в полк. — О. Е.) и дал на дорогу пятьсот рублей, — писал Бантыш-Каменский. — Это передал мне мой родитель, племянник Амвросия. Потемкин несколько раз вспоминал потом об этих деньгах, говоря, что постарается заплатить с процентами. Родитель мой ни о чем не просил его: тем и кончились обещания»^[136].

Архиепископ Амвросий (в миру Андрей Степанович Зертис-Каменский) был одним из самых образованных людей своего времени. Он закончил Киево-Могилянскую и Львовскую духовные академии, в начале царствования Екатерины II руководил реставрацией кремлевских храмов, составил описание Благовещенского собора, изданное впоследствии Н. И. Новиковым. Амвросий был знатоком классических языков, что, вероятно, и послужило причиной его сближения с Потемкиным. Переводил с древнееврейского Ветхий Завет и Псалтырь. Благодетель Грица погиб при

страшных обстоятельствах. В 1771 году в Москве началась эпидемия чумы. Толпы людей, ища избавления от болезни, устремились к Варварским воротам, чтобы приложиться к образу Богоматери. Боясь распространения заразы, московский градоначальник П. Д. Еропкин и архиепископ Амвросий попытались прекратить паломничество и опечатали денежный ящик с пожертвованиями. По городу в мгновение ока распространился слух, будто грабят Пречистую Деву. В ответ на действия властей вспыхнул бунт. 16 сентября 1771 года толпа восставших, уже разорившая Чудов монастырь, ворвалась в Донской, где скрывался Амвросий, и растерзала архиепископа. Свидетелем этого ужасного события был племянник преосвященного, Николай Бантыш-Каменский, которому чудом удалось спастись^[137]. Именно ему Потемкин и обещал вернуть занятые деньги.

Пятьсот рублей по тем временам сумма солидная. При некоторой бережливости Григорий мог жить на нее больше года. Видимо, Амвросий понимал, что юноша попал в крайне затруднительное положение. Долг, как мы знаем, не был возвращен, что показательно. Неумение Потемкина платить долги отмечают многие мемуаристы, и это при щедрости, которой отличался светлейший князь. Де Линь писал: «Императрица осыпает его своими милостями, а он делится ими с другими; получая от нее земли, он... оплачивает государственные расходы, не говоря ей об этом; любит дарить, но не любит платить долгов; страшно богат и постоянно без гроша»^[138]. Потемкин никогда не афишировал своей благотворительности, у него, по библейской притче, правая рука не знала, что делает левая. Многие из нуждавшихся узнали о том, кто посылал им в течение многих лет ренту, только после его смерти^[139]. Однако о долгах светлейший постоянно забывал и очень сердился, когда ему напоминали. Доходило до того, что кредиторы сразу обращались к Екатерине II. Бантыш-Каменский постеснялся беспокоить императрицу и остался с пустыми руками.

Итак, уезжая в Петербург, Гриц словно сжигал за собой мосты. Позади остались смоленское детство и московская юность. Впереди — казарменная молодость, без должного покровительства сулившая не так уж и много. Иные небогатые дворяне, начав службу в гвардии, десятилетиями не могли преодолеть первых, нижних чинов. Достаточно вспомнить, что Г. Р. Державин, поступивший в 1762 году в Преображенский полк солдатом, офицерский чин прапорщика получил в 1772 году^[140]. Но наш герой, вероятно, надеялся, что случай поможет ему взлететь наверх. И случай представился.

ГЛАВА 2

МОЛОДЫЕ ГОДЫ

«Трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по моему мнению, было верхом благополучия человеческого»^[141]. Мы не знаем, разделял ли молодой Потемкин иллюзии Петра Гринева. Самойлов уверяет, что его дядя стремился к военной карьере.

Прибыв в Петербург, Гриц вовсе не оказался один на один с чужим городом. В столице у него жила родня — старшая сестра Мария, ее муж капитан армии Николай Борсович Самойлов и их дети: Александр и Екатерина. Вероятно, поначалу юноша поселился в доме зятя. С этого времени семья Самойловых — самые близкие и осведомленные о его жизни люди. Позднее, приезжая с театра военных действий в годы Первой русско-турецкой войны, Григорий Александрович будет останавливаться именно у них.

Время, когда исключенный студент явился в Петербург, было тревожным. Шла Семилетняя война с Пруссией, а в 1758 году разразилось громкое дело канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, обвиненного в государственной измене. Поскольку город был невелик и питался новостями двора, а гвардейские полки еще и принимали постоянное участие в придворной жизни, то происходящее не могло не обсуждаться в казармах. Вопрос о том, кто станет царствовать после смерти Елизаветы Петровны, был у всех на слуху и оставался главной темой потаенных разговоров в течение всего 1758 года.

Дело Бестужева

Причиной к этому послужили следующие события. В начале сентября 1757 года у дверей церкви в Царском Селе при большом стечении народа, пришедшего из окрестных деревень на праздничную обедню, императрица внезапно упала в обморок. Он был необычайно глубок и продолжителен, так что многие из придворных подумали, будто недалек смертный час Елизаветы^[142].

Впрочем, подобные обмороки повторялись у ее величества регулярно с 1749 года, когда она, поехав в подмосковное село Перово в гости к Алексею Григорьевичу Разумовскому, лишилась чувств на празднике, устроенном в ее честь. Из-за слабости Елизавету тогда несли в Москву на руках. «Она была высокого роста, собою прекрасная, мужественная и очень дородная, — писала мемуаристка Е. П. Янькова, — а кушала она немало и каждое блюдо запивала глотком сладкого вина; ...особенно любила токайское; ну, немудрено, что при ее полноте кровь прилиwała к голове, и с ней делались обмороки, так что в конце ужина ее иногда уносили из-за стола в опочивальню»^[143].

Припадок, произошедший осенью 1757 года, выглядел слишком долгим. Пропал пульс, казалось, что Елизавета не дышит. В этих условиях канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин решил действовать быстро. Он уже два года назад составил проект манифеста, согласно которому великий князь Петр Федорович хотя и провозглашался императором, но не становился самодержавным монархом — его жена Екатерина Алексеевна должна была занять при нем место соправительницы. Поскольку при дворе ходили упорные слухи о желании Елизаветы сделать внучатого племянника Павла наследником «мимо» родителей, а последних выслать в Германию, то план Бестужева должен был помешать такому развитию событий. Неспособность же Петра управлять самостоятельно казалась многим вельможам секретом Полишинеля.

Самому себе канцлер прочил роль первого министра с неограниченными полномочиями, он намеревался возглавить важнейшие коллегии и все гвардейские полки. Позднее Екатерина вспоминала: «Он много раз исправлял и давал переписывать свой проект, изменял его, дополнял, сокращал, и казалось, был им очень занят. Правду сказать, я смотрела на этот проект как на бредни, как на приманку, с которою старик хотел войти ко мне в доверие; я, однако, не поддавалась на эту приманку, но так как дело было неспешное, то я не хотела противоречить упрямому старику»^[144].

Дело приспело осенью 1757 года, и «упрямый старик» своей неуместной активностью едва не поставил Екатерину на край гибели. Существует версия, что канцлер направил письмо своему старинному другу фельдмаршалу С. Ф. Апраксину, командовавшему русскими войсками на театре военных действий с Пруссией. Он сообщал о близкой кончине императрицы и просил подкрепить его войсками в Петербурге. Своим назначением Апраксин был обязан Бестужеву, и теперь канцлер

рассчитывал, что командующий будет действовать в его пользу.

Апраксин дал армии приказ отступить из Пруссии. Однако вопреки ожиданиям Елизавета оправилась от припадка. Внезапная ретирада ее войск вызвала у императрицы подозрения. Командующий был отозван и в январе 1758 года допрошен начальником Тайной канцелярии А. И. Шуваловым. Среди прочих ему были заданы вопросы о его связях с Бестужевым и переписке с великой княгиней Екатериной. 14 февраля 1758 года Бестужев был арестован на заседании Конференции при высочайшем дворе^[145]. К счастью для себя, он успел уничтожить все бумаги и до конца отрицал существование у него каких-либо планов на случай кончины государыни. Сама же Екатерина выкрутилась с огромным трудом. Несколько месяцев она балансировала на грани ареста, который мог закончиться высылкой или заточением в монастырь.

В апреле 1758 года состоялся разговор Екатерины с Елизаветой с глазу на глаз, а в мае беседа повторилась. В ходе этих диалогов Екатерине удалось отчасти оправдаться перед венценосной свекровью. Следствие по делу Бестужева тянулось до конца 1758 года, но за неимением улик зашло в тупик. В начале 1759 года бывший канцлер оказался сослан в имение под Москвой.

Все эти события никак не касались Потемкина. В 1757 году он был произведен в капралы, по приезде в Петербург в 1758 году — в ефрейт-капралы, а в 1759-м — в каптенармусы^[146]. В 1761 году в Петербурге умер сын Кисловского, Сергей, тоже служивший рейтаром Конной гвардии. Смерть товарища детских игр должна была больно отозваться в сердце Грица. Однако надвигались грозные дни, впечатления которых способны были заслонить печаль по ушедшему родственнику.

Во время недолгого царствования Петра III карьера Потемкина начала складываться: он стал вице-вахмистром и ординарцем шефа Конно-гвардейского полка, дяди императора принца Георга Голштинского. Последний прибыл в Петербург 21 марта 1762 года и, приняв полк, обратил внимание на складного, расторопного и бойко говорившего по-немецки юношу. Одновременно с исполнением должности ординарца Григорий командовал 5-й ротой^[147]. Дела шли неплохо, и у молодого человека, с нетерпением ожидавшего первого офицерского звания, казалось, не было никаких причин ввязываться в заговор.

Однако Потемкин примкнул к заговорщикам и проявил себя как деятельный участник переворота. Благодаря воспоминаниям Д. Л. Бабарыкина, бывшего товарища Грица по университету и даже по

немецкому пансиону Литкена, известно, как произошло сближение молодого конногвардейца со сторонниками Екатерины. Бабарыкина, тоже служившего в Конной гвардии, попытался завербовать его родственник, поручик Преображенского полка Михаил Баскаков. Сам Баскаков «один из первых пристал к Орловым; он уговаривал Бабарыкина вступить в их общество, раскрывши ему все их цели; но Бабарыкин, зная образ жизни Орловых, их разгульность, связь Григория с великою княгинею, почел для себя неприличным согласиться на предложение Баскакова. Потемкин же, услышав обо всем этом от Бабарыкина, тотчас попросил познакомить его с Баскаковым и, не медля, пристал к заговору»^[148].

Мог ли Гриц оказаться на противоположной стороне? Ведь для него, как и для большинства дворян того времени, присяга вовсе не была пустым звуком. Подчеркивая легкость гвардейских переворотов в XVIII веке, исследователи порой недооценивают внутреннего трагизма ситуации. Служивым приходилось делать выбор между царем и царством, между отцом и Отечеством. В 1762 году их сердца склонились на сторону последнего. Почему же сохранение верности государю воспринималось заговорщиками как измена родине?

Выбор

«Уже шесть месяцев, как замышлялось мое восшествие на престол, — писала Екатерина II Станиславу Понятовскому 2 августа 1762 года. — Петр III потерял ту малую долю рассудка, какую имел. Он во всем шел напролом, он хотел сломить гвардию, переменить веру, жениться на Елизавете Воронцовой, а меня заточить в тюрьму»^[149]. Если Екатерина и сгущала краски, то самую малость.

Племянник Елизаветы Петровны взшел на престол после смерти своей венценосной тетушки 25 декабря 1761 года. Она умерла в сочельник, перед Рождеством, и народ видел в этом особую милость Господа к матушке-государыне, за все свое царствование не казнившей ни одного человека.

Насколько простонародье любило Елизавету, настолько не принимало ее наследника, бывшего голштинского герцога Питера Ульриха. Немедленно по городу распространились слухи, что он тайком держится прежней лютеранской веры, ненавидит русских и желает победы в войне прусскому королю Фридриху II, потому что и сам пруссак. В этих

рассуждениях тоже имелась доля истины.

Трудно было представить себе человека, менее подходящего для того, чтобы занять трон Петра I, чем его внук. Он был сыном младшей дочери великого реформатора Анны и герцога Карла Фридриха Голштинского. В три месяца мальчик потерял мать, а в одиннадцать лет — отца. Его воспитывали жестокие и жадные придворные — О. Ф. Брюмер и Ф. В. Берхгольц. Запугиванием, побоями и унижительными наказаниями они надломили психику болезненного нервного ребенка. Тайком мальчик пристрастился заливать горе крепким пивом и ко времени приезда в Россию уже производил впечатление пьяницы.

Взойдя на престол, бездетная Елизавета Петровна сделала племянника своим наследником. В январе 1742 года Питер Ульрих был привезен из Киля и крещен под именем Петра Федоровича. Никто не поинтересовался, какого мнения о произошедшем сам мальчик. Между тем упрямый впечатлительный ребенок болезненно переживал перемены в своей судьбе. По отцовской линии он имел права на шведскую корону. Поэтому дома его учили шведскому языку, истории и географии северной страны, воспитывали в строгой лютеранской вере. Мальчик с младых ногтей привык считать Россию врагом, и во время игр солдатики в синих шведских мундирах всегда «одерживали верх» над солдатами в зеленых русских...

В 1745 году Петра женили на его троюродной сестре принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской. Придворные врачи уговаривали императрицу повременить с браком 17-летнего юноши из-за его слабого физического развития. В противном случае семейная жизнь может обернуться для молодых только обоюдным горем. Так и случилось. Петр долгое время не мог исполнить свой супружеский долг и вымещал злобу на жене. «В Петергофе он забавлялся, обучая меня военным упражнениям, — позднее вспоминала она, — благодаря его заботам я до сих пор умею исполнять все ружейные приемы с точностью самого опытного гренадера»^[150].

Человек от природы не злой, скорее легкомысленный и не задумывающийся над чужими чувствами, Петр был подвержен внезапным приступам садистской жестокости. Мог повесить крысу за съеденного крахмального солдата или на глазах у жены забить собаку арапником^[151]. Конечно, подобные сцены не укрепляли семьи. С годами супруги все более отдалялись друг от друга. Тем более что их характеры не были сходны ни в чем.

Принцесса София Фредерика родилась 21 апреля 1729 года в городе Штеттине, губернатором которого был ее отец принц Христиан Август. В 1744 году она вместе с матерью Иоганной Елизаветой прибыла в Россию, чтобы выйти замуж за наследника русского престола. Здесь ей предстояло сделать очень трудный шаг: отказаться от веры отцов и перейти в православие. Пятнадцатилетняя девочка долго колебалась, не зная, на что решиться, а когда склонилась к перемене веры, уже не оглядывалась назад. Она говела по шесть недель вместе со всем двором, ходила пешком на богомолья, поклонялась святым мощам — то есть делала все, чтобы окружающие признали ее православной. Это выгодно отличало Екатерину от мужа, который признавался в кругу друзей, что его сердце осталось с верой Лютера.

Незадолго до венчания случилось несчастье: Петр заболел оспой, которая изуродовала его лицо. С этих пор он еще больше возненавидел страну, государем которой его хотели сделать почти насильно. «Я увидела и поняла, — писала Екатерина, — что он мало ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держится лютеранства, что он не любит своих приближенных и что он был очень ребячлив... Сердце не предвещало мне счастья: одно честолюбие меня поддерживало».

Честолюбие великой княгини иногда принимало пугающие размеры. Когда Елизавета Петровна спросила ее, что девочка желает посмотреть в Петербурге, та ответила: «Я хотела бы проехать дорогой, которой проехали вы 25 ноября 1742 года». После вступления Екатерины на престол многие придворные трактовали эти слова как предчувствие императрицей своей великой роли... «В глубине души моей было, не знаю, что такое, ни на минуту не оставлявшее мне сомнения, что рано или поздно я... сделаюсь самодержавною русскою императрицею»^[152], — писала Екатерина II.

В отличие от замкнутого, постоянно проводившего время в компании голштинских гвардейцев великого князя, его молодая супруга была постоянно оживлена, весела и старалась угождать придворному обществу. Нравиться всем — стало ее девизом. Для этого Екатерина не пренебрегала никакими средствами: комплименты, подарки, утомительные беседы со старыми дамами о временах их молодости, хлопоты за совершенно чужих ей людей, личное обаяние — ничего не было забыто в трудном деле завоевания сторонников. «Очарование, исходившее от нее, — вспоминала в своих записках княгиня Е. Р. Дашкова, — в особенности когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы... ему противиться»^[153].

Немало сторонников для Екатерины приобрело и ее чисто женское обаяние. «Говоря по правде, я никогда не считала себя очень красивой, — писала императрица, — но я нравилась, и думаю, что это-то и было моей силой»^[154]. Мало кто из собеседников Екатерины подозревал, что под маской внешнего благодушия таится глубокая личная драма. Взаимоотношения великой княгини с мужем и императрицей были настолько тяжелы, что порой молодая женщина подумывала о самоубийстве. Прошло уже девять лет, а у Екатерины еще не было ребенка. Елизавета Петровна во всем винила невестку. Постоянные упреки довели великую княгиню до попытки покончить счеты с жизнью: серебряный нож для разрезания бумаги, которым Екатерина ударила себя в живот, сломался о жесткий корсет, и только это спасло ей жизнь.

Не надеясь, что племянник сам сможет обеспечить престолонаследие, императрица Елизавета подтолкнула невестку к сближению с блестящим придворным кавалером Сергеем Салтыковым. Сразу после рождения великого князя Павла Салтыков был отослан за границу, а ребенок отнят у матери. Канцлер А. П. Бестужев объяснил Екатерине бессердечную сущность политики: «Ваше высочество, государи не любят»^[155]. Ни слезы, ни мольбы молодой женщины допустить ее к сыну не трогали сердце Елизаветы. Бездетная императрица сама занялась воспитанием внука.

С чувствами великой княгини никто не считался. Она была лишена не только семейной любви, но и счастья материнства. Единственное, что у нее осталось, — чтение, занимавшее пустоту долгих вечеров. Ни верховая езда, ни танцы, ни мелкие любовные приключения, пришедшие на смену сильной привязанности к Салтыкову, не могли в полной мере заглушить тоски и одиночества великой княгини. Ее живой ум требовал постоянной работы, и книги, к которым обращалась Екатерина, день ото дня становились все серьезнее. Начав с романов m-lle де Скюдери и «Писем г-жи де Севеньи», Екатерина очень быстро перешла к «Истории Генриха Великого» Перефинкса и «Истории Германской империи» Бара, откуда уже совсем недалеко было до первых трудов Монтескье, Вольтера, Дидро и Гельвеция. Из обширного круга идей Просвещения великая княгиня особенно оказалась увлечена идеей «философа на троне», который должен принести своему народу мудрые законы, пролить свет просвещения и умножить благосостояние частных граждан.

Иные кумиры были у Петра. Как и многие в Европе, он преклонялся перед военным талантом прусского короля Фридриха II. У великого князя это чувство доходило до откровенного обожания. Петр во всем старался

подражать Фридриху II, так же, как и он, сочетал любовь к войне с любовью к музыке, играл на скрипке.

С началом Семилетней войны, в которой Россия выступила на стороне Франции и Австрии против Пруссии, Елизавета Петровна ввела наследника в состав Конференции при высочайшем дворе. Участвуя в работе этого совещательного органа, Петр обрел возможность оказать тайную помощь своему кумиру. «Однажды, когда я была у императора, — вспоминала Е. Р. Дашкова о временах Петра III, — он, сев на любимого конька, завел речь о прусском короле, и, к удивлению всех присутствующих, напомнил Волокову (который в предыдущее царствование был первым и единственным секретарем Сената), как часто они вместе смеялись над теми секретными решениями и приказами, которые посылались в действующую армию и не приносили успеха из-за того, что о них заранее сообщали королю»^[156].

Первые месяцы нового царствования были отмечены волной указов и распоряжений. Казалось, что канцелярия государя захлебывается от дел, в то время как сам Петр вел веселый и беспорядочный образ жизни в окружении голштинских офицеров и придворных дам. В течение нескольких февральских дней 1762 года император буквально подмахнул три основополагающих указа, начавших сословную, церковную и административную реформы.

Манифест о вольности дворянства дал благородному сословию долгожданную свободу от обязательной службы. Секуляризация (отчуждение) церковных земель в пользу государства должна была пополнить оскудевшую казну. Уничтожение Тайной канцелярии — положить конец политическому сыску в стране. Первые два указа были подготовлены уже давно, и лишь из-за колебаний Елизавета не поставила на них подпись.

Датский посол в России А. Шумахер писал: «Я покривил бы душой, если бы сказал, что у этого несчастного государя не было друзей среди русских вельмож»^[157]. Два крупных придворных клана Шуваловых и Воронцовых попытались приспособиться к новому императору. Племянница канцлера М. И. Воронцова — Елизавета Романовна — стала фавориткой Петра, который даже обещал жениться на ней, разведясь с Екатериной и объявив сына Павла незаконнорожденным. Люди опытные и натеревшие в государственных делах, Шуваловы и Воронцовы проталкивали давно назревшие преобразования.

Однако Петр сам портил впечатление от своего царствования

нелепыми и подчас оскорбительными выходками. Его откровенное презрение к православию вызывало неприязнь подданных. Едва войдя в храм, император начинал кривляться, корчить рожи и перебивать священников. Это напоминало одержимость. Желание государя вынести иконы из церквей, «обрить попов» и нарядить их в сюртуки было воспринято как попытка ввести лютеранство.

Еще менее популярны были действия Петра на внешнеполитической арене. Взойдя на трон, он заключил с разгромленной Пруссией мир, а затем и военный союз. В Петербург приехал полномочный посол прусского короля, который, по выражению С. М. Соловьева, фактически играл роль прусского наместника при русском дворе. Одним росчерком пера Петр не только уничтожил все победы России, но и поставил страну-победительницу в положение побежденного. Все завоевания были возвращены Фридриху II. Сам император принял чин полковника прусской армии, постоянно носил прусский мундир с пожалованным ему Фридрихом II орденом Черного орла.

Крайне непопулярной была и война, которую новый император намеревался объявить Дании, отторгнувшей у Голштинии Шлезвиг. Петр сам хотел отправиться в поход во главе гвардейских полков, которым не доверял и не хотел оставлять их в столице. Гвардия не желала покидать Петербург. В городе почти открыто говорили о скором свержении монарха.

«Мы были уверены в преданности большого числа капитанов гвардейских полков, — писала Екатерина Понятовскому. — Узел секрета находился в руках троих братьев Орловых... Эти люди необычайно решительные и очень любимые большинством солдат... Под конец в тайну было посвящено от 30 до 40 офицеров и около 10 000 нижних чинов. Панин хотел, чтоб все совершилось в пользу моего сына, но Орловы ни за что не соглашались на это»^[158].

В ходе подготовки заговора сложилось две группировки сторонников Екатерины. Гвардейцы во главе с Орловыми ратовали за провозглашение самодержицей самой императрицы. Крупные же вельможи, такие как воспитатель наследника Никита Иванович Панин и гетман Кирилл Григорьевич Разумовский, — за то, чтобы на престол вступил Павел Петрович, а мать стала при нем регентшей. Сами они надеялись занять ведущие места в правительстве малолетнего монарха и постепенно оттеснить Екатерину от власти.

В тот момент вахмистр Потемкин вряд ли разбирался в политических тонкостях, разделявших разные группировки заговорщиков. Существует версия, по которой Григорий примкнул к комплоту за некоторое время до

переворота и даже состоял в «секрете» Екатерины, то есть входил в число особо доверенных лиц^[159]. В письме к Понятовскому Екатерина говорит о нем: «В конной гвардии офицер по имени Хитров, двадцати двух лет, и унтер-офицер по имени Потемкин, семнадцать лет, дирижировали всем рассудительно, храбро и расторопно»^[160]. Тот факт, что императрица путает возраст Потемкина, не свидетельствует в пользу близкого знакомства. Григорию шел уже двадцать третий год. И все же она называет его в числе начальствующих лиц. В конном полку действовали в пользу Екатерины всего два человека — секунд-ротмистр Федор Алексеевич Хитрово и вахмистр Потемкин. Оба были в маленьких чинах и тем не менее сумели вывести товарищей на присягу.

Когда дело дошло до наградений, ее величество оказалась весьма милостива к Потемкину. Он получил 400 душ. В собственноручной росписи Екатерины II сказано: «В конной гвардии вахмистр Потемкин, два чина по полку да 10 000 рублей». Гриц стал подпоручиком и камер-юнкером двора. Рост весьма заметный. Юноша без офицерского чина сразу перепрыгнул через звание прапорщика и попал в 10-й класс по Табели о рангах. Среди армейских чинов ему соответствовал штаб-ротмистр, а среди придворных — камер-юнкер. Кроме того, императрица предлагала пожаловать Потемкина камергером^[161], но тогда бы он оказался в 4-м классе. Такой скачок был немыслимым нарушением субординации, и, видимо, у молодого человека нашлись «доброжелатели», которые указали государыне на невозможность подобного шага.

Переворот

Каково же было место Григория среди заговорщиков? Не такое уж скромное, если учесть, что им с Хитрово пришлось отвечать за элитный полк конной гвардии, основная часть офицеров которого, видимо, не спешила изъявить верность государыне. Юноши справились с задачей и были замечены. На большее пока не приходилось рассчитывать.

Конечно, Потемкин не принадлежал к вождям заговора, но не был и рядовым членом, примкнувшим к делу уже во время переворота. На его верность полагались. Место ординарца при принце Георге Голштинском, шефе Конно-гвардейского полка, сделало Григория весьма ценным лицом для заговорщиков. Принц не говорил по-русски. Солдаты и большинство офицеров — по-немецки. Таким образом, расторопный ординарец при

случае должен был выполнять еще и роль переводчика, передавая приказы командира. Имея Потемкина на своей стороне, заговорщики могли свободно действовать среди конногвардейцев, а их шеф оставался бы слеп и глух к происходящему.

Накануне переворота был арестован один из заговорщиков, капитан П. Б. Пассек. Это событие подтолкнуло сторонников Екатерины к действиям. «Я была в Петергофе. Петр III жил и пил в Ораниенбауме, — рассказывала императрица в письме Понятовскому. — В 6 часов утра 28-го Алексей Орлов входит в мою комнату и говорит мне с большим спокойствием: „Пора вам вставать. Все готово для того, чтоб вас провозгласить“. Я не медлила более, оделась... села в карету, которую он привез. В пяти верстах от города я встретила старшего Орлова, и мы отправились в Измайловский полк»^[162]. Шефом измайловцев был Разумовский, на его преданность императрица полагалась.

Город уже был взбудоражен. Повсюду за каретой государыни следовали целые толпы. «Сбегаются солдаты, обнимают меня, целуют мне ноги, руки, платье, называют своей спасительницей, — и по прошествии месяца с лишним Екатерина продолжала испытывать возбуждение при описании событий утра 28 июня. — Двое привели под руки священника с крестом, и вот они начинают приносить мне присягу». Очень быстро к измайловцам присоединились Семеновский и Преображенский полки, затем уже к Казанскому собору явилась конная гвардия. «Она была в бешеном восторге, плакала, кричала об освобождении Отечества»^[163]. Именно здесь, в плотном окружении гвардейских полков Екатерина и была «выкрикнута» самодержавной государыней, ни о каком регентстве гвардейцы и слышать не хотели. Присяга была принесена императрице, а не наследнику престола Павлу. Орловым и их сторонникам удалось переиграть Панина. Однако партия еще только начиналась.

«Конная гвардия была в полном составе с офицерами во главе, — сообщала Екатерина Понятовскому. — Так как я знала, что дядю моего, которому Петр III дал этот полк, они страшно ненавидели, я послала пеших гвардейцев к дяде, чтоб просить его оставаться дома. Не тут-то было: его полк отрядил караул, чтоб его арестовать; дом его разграбили, а с ним обошлись грубо»^[164].

В этом отрывке обращают на себя внимание две вещи. По словам императрицы, конная гвардия явилась «в полном составе с офицерами во главе». Почему тогда страницей ниже Екатерина будет хвалить двух двадцатидвухлетних юношей — младшего офицера и унтер-офицера,

сумевших привести полк к Казанскому собору и «дирижировавших всем»? Коль скоро остальные офицеры изъявляли полную преданность, то нашлись бы люди более высоких чинов, чтобы командовать выходом полка на присягу. В списке награжденных Хитрово и Потемкин — единственные представители конной гвардии. Следовательно, именно они и побудили товарищей к действию.

Даже если все офицеры вышли вместе с солдатами к собору, то они были скорее приведены, чем сами привели подчиненных. Они не оказали сопротивления, как некоторые командиры Преображенского полка, и не были арестованы. Но не проявили и горячего энтузиазма. Скорее всего, их просто захватила волна общего подъема, и они двинулись навстречу императрице, понимая, что возражать небезопасно. Судьба принца Георга была показательна.

Сказать, что с дядей императрицы «обошлись грубо», значило ничего не сказать. Принцу Георгу крепко досталось от подчиненных. Надо отметить, он был излишне строгим командиром и насаждал прусскую дисциплину. Палочные удары сыпались направо-налево, но наступил день, когда, по народной поговорке, отлились кошке мышкыны слезки. «Я видел, как мимо проехал в плохой карете дядя императора, принц Голштинский, — сообщал в своих мемуарах придворный ювелир И. Позье. — Его арестовал один гвардейский офицер с двадцатью гренадерами, которые исколотили его ружейными прикладами... Жена его, к несчастью, была в этот день в городе; солдаты тоже весьма дурно обошлись с ней, растащив все, что они нашли в доме; они хотели сорвать с рук ее кольца, если бы командующий ими офицер вовремя не вошел в комнату, они отрезали бы у нее палец»^[165].

Позье ошибается: и арест принца Голштинского, и рукоприкладство, и грабеж в доме — суть подвиги Конного полка. Лишь потом Екатерина II послала пеших гренадер сменить конно-гвардейский караул. Принц и принцесса провели под арестом трое суток и «насилу могли добиться чего-нибудь поесть». Забегая вперед, скажем, что женщина так и не оправилась от пережитого и, уже вернувшись в Германию, скончалась через шесть месяцев после переворота.

Вот как описывает арест дяди императора датский посол А. Шумахер, весьма осведомленный очевидец событий 28 июня: «Когда в центре города началась суматоха, принц Георг спешно отправился к... генерал-аншефу фон Корфу сообщить, что конногвардейцы его полка взбунтовались и силой забирают из его дома свои знамена. Генерал фон Корф решил, что мятеж конногвардейцев просто неприятное следствие строгостей герцога.

Поэтому он посоветовал герцогу обращаться с этим народом помягче. Пока они беседовали, прискакало целое сонмище разъяренных конногвардейцев, и они напали на герцога Голштинского. Отдать шпагу добровольно он не захотел, и они вынудили его к тому силой, нанесли много ударов и пинков... а затем хотели проткнуть байонетом его адъютанта Шиллинга. В открытой коляске герцога... отвезли в собственный его дом на углу Галерного двора. Рейтары даже хотели рубануть его саблями, но гренадер, стоявший за ним в коляске, отразил эти удары своим ружьем... Озлобленные, неистовствующие солдаты не слушали уже никаких приказов»^[166].

Откуда на запятках кареты оказался гренадер, неясно. Вряд ли разъяренные конногвардейцы доверили бы конвоирование «своего» герцога представителю «чужого» полка. Скорее всего, гренадером назван просто очень рослый рейтар, ехавший не верхом, а стоявший за спиной принца. Очень соблазнительно представить в этой благородной роли Григория, отличавшегося богатырским сложением. Именно ему, как ординарцу, и полагалось сопровождать бывшего шефа к месту временного заключения.

Кстати, бесчинства конногвардейцев с принцем Георгом косвенно подтверждают тот факт, что полком пытались командовать два малоопытных молодых человека. Справиться вдвоем с такой массой вооруженных людей, уже вышедших из повиновения и отчасти хмельных, им было сложно. В целом они выполнили задачу — привели товарищей к Казанскому собору, но не смогли удержать их ни от мародерства, ни от насилия. Конногвардейцы слушали их агитацию и шли куда хотели, а хотели они «к своим братьям» из других полков и к императрице. Иными словами, Хитрово и Потемкину подчинялись до той черты, до какой их призывы совпадали с желаниями самих гвардейцев.

«Я отправилась в новый Зимний дворец, где Синод и Сенат были в сборе, — писала Екатерина II. — Тут на скорую руку составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла войска пешком. Было более 14 000 человек гвардии и полевых полков... Мы держали совет, и было решено отправиться со мною во главе в Петергоф, где Петр III должен был обедать»^[167]. Новый Зимний дворец — привычный нам Зимний — был построен по заказу Елизаветы ее любимым архитектором Бартоломео Растрелли, однако покойная государыня не успела поселиться в нем. Новое царствование начиналось в новой резиденции, комнаты которой еще пахли известкой и стружками.

В письме к Понятовскому Екатерина не стала углубляться в вопрос о

том, зачем понадобилось составлять «на скорую руку» манифест и присягу. Ведь эти документы уже были тайно отпечатаны в университетской типографии одним из ближайших помощников гетмана К. Г. Разумовского — Г. Н. Тепловым. Трусоватый и медлительный Теплов не поспел с готовым манифестом в Измайловский полк. Его промедление стало удачей для Екатерины и роковым для тех заговорщиков, которые хотели видеть ее регентшей. После того как вся гвардия признала Екатерину самодержицей, стали необходимы новый документ и новый текст присяги. Наследник Павел, а вернее те, кто намеревался править от его имени, оказались оттеснены от власти.

«Около 10 часов вечера я облеклась в гвардейский мундир, села верхом; мы оставили лишь немного человек от каждого гвардейского полка для охраны моего сына. Я выступила во главе войск, и мы всю ночь шли на Петергоф»^[168].

Поход на Петергоф

Самой яркой, красочной страницей восстания стал поход гвардии на Петергоф с целью арестовать свергнутого государя. Принял в нем участие и вахмистр Потемкин. С этим событием связан один забавный случай, о котором впоследствии часто болтали в петербургских гостиных.

Рассказывали, будто, призывая гвардию в поход, Екатерина выхватила из ножен саблю, но на рукоятке клинка не оказалось положенного по уставу офицерского темляка — узкой атласной ленты с кисточкой. «Темляк, темляк!» — пронеслось над полками. Вперед выехал конногвардеец и, спасая государыню от конфуза, предложил ей свою ленточку. Пока темляк перевязывали, лошади заигрались, и, когда Потемкин тронул поводья, чтоб вернуться в строй, его конь не двинулся с места. Время было дорого... «Ну что ж, молодой человек, едемте вместе, — обратилась к нему Екатерина, — видно, не судьба вашему жеребцу отходить от моей кобылы».

Был ли в действительности эпизод с темляком — кто знает? Передавая его, граф Л. Сепор ссылался на собственные слова Потемкина, якобы по-дружески поведавшего ему эту историю. А вот Самойлов решительно опровергал саму возможность подобного события. «Григорий Александрович, будучи еще унтер-офицером, не мог поднести своего темляка государыне, поелику оный был не офицерский; и потому сие предание, в некоторых сочинениях напечатанное, неверно и

неосновательно»^[169]. Возможно, князь подшучивал над французским послом, рассказывая байку о темляке. А возможно, сам Сегюр услышал ее на стороне и, как часто делают мемуаристы, вложил в уста главного участника, добиваясь большей достоверности.

Для нас важно, что Потемкин направился вместе с остальными руководителями переворота в загородную резиденцию. В этом шествии было немало карнавального: ликующие толпы людей на улицах, полки, переодетые из новых «прусских» в старые елизаветинские кафтаны, молодая императрица верхом на белом скакуне, рядом с ней княгиня Дашкова, обе в Преображенских мундирах. Театральностью веет и от самого похода: двенадцать тысяч хорошо вооруженных гвардейцев двинулись против смехотворно малого числа сторонников Петра III: Петергоф защищало около тысячи голштинцев.

Зачем заговорщикам во главе с Екатериной II понадобилось выводить из столицы такой большой воинский контингент? Ведь для ареста государя потребовалось бы куда меньше гвардейцев. Вчитавшись в описания переворота, нетрудно ответить на этот вопрос.

Общим местом в русских источниках является настойчивое утверждение, будто переворот прошел на редкость спокойно и бескровно. «Наше вступление в Петербург не поддается описанию, — рассказывала в мемуарах княгиня Е. Р. Дашкова. — Улицы были заполнены народом, который благословлял нас и бурно выражал радость. Звон колоколов, священник у врат каждой церкви, звуки полковой музыки — все производило впечатление, которое невозможно передать. Счастье, что революция совершилась без единой капли крови...»^[170] Ту же картину подтверждает и К. К. Рюльер, чьи записки историки начали цитировать раньше других. «Армия взбунтовалась без малейшего беспорядка, — писал француз, — после выхода (войск в Петергоф. — О. Е.) было все совершенно спокойно»^[171]. Такова же оказалась и официальная версия, изложенная в записках Екатерины II: «Весь день крики радости не прекращали раздаваться среди народа, и не было никаких беспорядков»^[172].

Однако в реальности жизнь Петербурга дней переворота была куда сложнее и драматичнее. Город оказался игрушкой в руках вооруженных людей — уже нарушивших присягу, слабо слушавшихся своих командиров, хмельных от вина и полной безнаказанности. Вот как рисует поведение гвардии датский посол А. Шумахер: «В подобные минуты чернь забывает о законах и вообще обо всем на свете... Один иностранец рассказывал мне,

как какой-то русский простолюдин плюнул ему в лицо со словами: „Эй, немецкая собака, ну где теперь твой бог?“ Солдаты уже 28-го вели себя очень распушенно... Они тотчас же обирали всех, кого им велено было задерживать... захватывали себе прямо посреди улицы встретившиеся кареты, коляски и телеги... отнимали и пожирали хлеб, булочки и другие продукты у тех, кто вез их на продажу.

30 июня беспорядков было еще больше... Так как императрица разрешила солдатам и простонародью выпить за ее счет пива в казенных кабаках, то они взяли штурмом и разгромили... все кабаки... и винные погреба; те бутылки, что не смогли опустошить, — разбили, забрали себе все, что понравилось, и только подошедшие сильные патрули с трудом смогли их разогнать»^[173]. Слова Шумахера подтверждает и ювелир И. Позье: «Все войска, оставшиеся в городе, стали шпалерами вдоль улиц и так простояли всю ночь. Я видел, как солдаты выбивали двери в подвальные кабаки, где продавалась водка, и выносили огромные штофы своим товарищам, что меня страшно испугало... Ни один иностранец не смел показаться на улице»^[174].

Мирные петербургские обыватели натерпелись за дни переворота страху и понесли серьезные убытки. Если бы заговорщики не сумели взять столицу под контроль и навести порядок в изрядно распоясавшейся гвардии, им нечего было рассчитывать на успех своего предприятия. Екатерина II могла пойти на поводу у событий и подождать, пока все само собой рассосется. Но драгоценное время оказалось бы упущено. Ее супруг все еще был на свободе и мог предпринять ответные действия. Например, послать гонца в армию П. А. Румянцева, уже вышедшую в поход против Дании. Никто не гарантировал, что обласканный милостями Петра III командующий примкнул бы к заговорщикам. Скорее наоборот. Можно было предположить, что и союзник Петра III Фридрих II присоединит часть своих войск к армии Румянцева.

Для всей России, исключая Петербург, Петр III был законным государем. Только столичная гвардия и горожане успели узнать привычки нового императора и разозлиться на них. А, например, в Москве ни войска, ни чиновничество, ни простой люд не были довольны случившимся. Сенатор Я. П. Шаховской сообщает об «ужасе и удивлении», которые охватили дворянство Первопрестольной при известии о смене власти^[175].

Учитывая разницу общественных настроений в столице и провинции, заговорщики должны были действовать быстро. Их мизерные шансы окупались скоростью смены декораций. «Одни слабоумные

нерешительны», — скажет позднее Екатерина II. Ее слова в полной мере относились и к ней самой, и к ее несчастному супругу, который в роковой час проявил колебания и слабость. Пока гвардейцы дружными рядами выступали из столицы в поход на Петергоф, сам Петр расхаживал по берегу канала, не зная, что предпринять.

Старый учитель Петра III Яков Штелин по часам вел дневник всего, что происходило в Петергофе. «4 часа... Один из предстоящих предлагает государю ехать... прямо в Петербург, явиться там перед народом и гвардией... Личное присутствие государя сильно подействует на народ и даст делу благоприятный оборот, подобно тому, как внезапное появление Петра Великого неоднократно предотвращало точно такие же опасности»^[176].

Невольно вспоминаются гоголевские строки о картузе капитан-исправника, который достаточно показать взбунтовавшимся крестьянам, чтоб их напугать. Вся несостоятельность подобного предложения становится ясна, если привести характерный эпизод. После ареста Петр III отбыл из Петергофа в местечко Ропша. «По пути, — рассказывает Шумахер, — император едва избежал опасности быть... разнесенным в куски выстрелом из гаубицы. Канонир уже совсем собрался выпалить, но в то же мгновение начальник поста артиллерийский старший лейтенант Милессино так резко ударил его шпагой по руке, что тот выронил горящий фитиль»^[177].

Не остается сомнений, как гвардия встретила бы выехавшего к ней императора. Поведение горожан выглядело еще красноречивее. Народ вообразил, что Петр III может вернуться в столицу по воде. Несколько тысяч человек, вооруженных камнями и палками, собрались на Васильевском острове при входе в Неву, намереваясь воспрепятствовать его высадке.

Явление бывшего императора перед мятежными войсками, скорее всего, привело бы к его гибели. Возможно, именно такого исхода добивался неизвестный Штелину советник. Вероятно, он действовал в пользу заговорщиков, провоцируя отъезд Петра III. Такая провокация кажется тем более вероятной, что в столице многие солдаты считали Петра мертвым.

«Повсюду уже распускали слух, будто император накануне вечером упал с лошади и ударился грудью об острый камень, после чего в ту же секунду скончался»^[178], — сообщал Шумахер. Его сведения подтверждает Рюльер: «Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место

процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, во время которых гроб пронесли по главным улицам, и никто не знал, кого хоронят... Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: „Мы хорошо приняли свои меры“. Вероятно, эти похороны были предприняты, чтобы между чернию и рабами распространить весть о смерти императора, удалить на ту минуту всякую мысль о сопротивлении»^[179].

Когда вечером 28 июня императрица покинула Петербург, с ней была значительная сила: три пехотных гвардейских полка, конногвардейцы, полк гусар и два полка инфантерии. Всего около двенадцати тысяч человек. Опасаться серьезного сопротивления со стороны голштинцев не приходилось по причине их крайней малочисленности. По словам Екатерины в письме к Понятовскому Петр III мог противопоставить ее корпусу 1500 голштинцев^[180]. В записках голштинского офицера Д. Р. Сиверса названа цифра в 800 человек. При этом голштинцы были совершенно деморализованы слухами о скором свержении императора, а наступающая гвардия уже чувствовала себя победительницей.

Путь на Петергоф обычно называют «походом», а дорогу обратно в столицу — «возвращением». Хотя, по сути, походом было именно возвратное движение войск к Петербургу. Все время, пока совершался арест Петра III, столица напоминала раскачивающийся в шторм корабль. Навести порядок на улицах и водворить товарищей, оставшихся «охранять» наследника Павла, по казармам могли только свежие войска, не участвовавшие в погроме и пьянстве.

Именно для этого столь большой контингент и был почти сразу после переворота выведен из города. Конечно, и в Петергофе не обошлось без пьянства, но запасы царской резиденции не шли ни в какое сравнение со столичными винными погребами. «Я была принуждена выйти к солдатам, — вспоминала княгиня Дашкова, — которые, изнемогая от жажды и усталости, взломали один погреб и своими киверами черпали венгерское вино... Мне удалось уговорить солдат вылить вино... Я раздала им остаток сохранившихся у меня денег и вывернула карманы, чтобы показать, что у меня нет больше»^[181].

Вернувшиеся из похода усталые и трезвые войска, из которых за день марша выветрился весь петергофский хмель, легко навели порядок в столице. «Новые и еще большие неистовства были, наконец, предотвращены, — вспоминал А. Шумахер, — многочисленными усиленными патрулями и строгим приказом, зачитывавшимся на улицах

под барабанную дробь». Город был взят под контроль. Однако впереди Екатерину ожидала задача потруднее. Что делать с арестованным императором — это был вопрос вопросов.

Цареубийство

Еще дорогой на Петергоф к Екатерине один за другим присоединялись перебежчики, которых Петр III направлял сначала для того, чтобы упрекнуть жену, затем чтобы увещевать ее и просить мира и, наконец, предложить отречение. Императрица приняла лишь последнее. Пришли и двое солдат, подсланные государем убить мятежную супругу. Они во всем покаялись, сказав, что «хотят того же, что и их братья». «Петр III отрекся в Ораниенбауме безо всякого принуждения, окруженный 1590 голштинцев, и прибыл с Елизаветой Воронцовой в Петергоф, где для охраны его особы я дала ему шесть офицеров и несколько солдат»^[182], — сообщала Екатерина Понятовскому.

Казалось, все кончено. Свергнутый император признал себя низложенным и просил только об одном: отпустить его с Елизаветой Воронцовой на родину, в Голштинию. Вероятно, именно такие обещания и были даны Петру в тот момент, когда хитрецы-вельможи, быстро переметнувшиеся на сторону Екатерины, уговаривали его отречься. Поначалу и среди заговорщиков бытовало убеждение, что свергнутого монарха лучше всего выслать из страны. По приказу Екатерины для него даже начали готовить корабли в Кронштадте^[183], но вовремя спохватились...

Вопрос о том, что будет, если Петр III окажется за границей, серьезно беспокоил вождей заговора. Еще до переворота Панин, Разумовский и примыкавшая к ним княгиня Дашкова разработали план устранения государя. Весьма осведомленный датский посол Шумахер писал: «Замысел состоял в том, чтобы 2 июля, когда император должен был прибыть в Петербург, поджечь крыло нового дворца. В подобных случаях император развивал чрезвычайную деятельность, и пожар должен был заманить его туда. В поднявшейся суматохе главные заговорщики под предлогом спасения императора поспешили бы на место пожара, окружили Петра III, пронзили его ударом в спину и бросили тело в одну из объятых пламенем комнат. После этого следовало объявить тотчас о гибели императора при несчастном случае и провозгласить императрицу правительницей»^[184].

Такое развитие событий полностью устраняло гвардию от происходящего и позволяло решить дело «келейно», в узком придворном кругу. Екатерина становилась правительницей, то есть регентшей при сыне, а это как нельзя лучше устраивало вельможную группировку.

Однако судьба распорядилась иначе. переворот начался несколькими днями ранее и, к счастью, обошелся без пожара в Зимнем дворце. Теперь Петр III живой, правда, не здоровый (на нервной почве у него разыгрались геморроидальные колики, которыми он страдал с детства), находился в руках у заговорщиков. Нужно было решать его участь.

В письме к Понятовскому Екатерина сообщала, что идея отпустить свергнутого монарха на родину быстро отпала: «Я послала под началом Алексея Орлова в сопровождении четырех офицеров и отряда смирных и избранных людей низложенного императора за 25 верст от Петергофа в местечко, называемое Ропша, на то время, пока готовили... комнаты в Шлиссельбурге»^[185].

Среди конвоировавших Петра III в Ропшу оказывается и вахмистр Потемкин. Биографы князя практически не обращают внимания на эту деталь. Между тем она весьма красноречиво говорит о степени доверия к нему со стороны государыни и главных руководителей заговора. Обычно не принято связывать имя Григория Александровича с трагедией в Ропше, однако он был там в роковые дни, и это не могло не наложить отпечаток на его дальнейшие взаимоотношения с участниками событий.

29 июня из Петергофа в Ропшу Петра III сопровождали офицеры Преображенского полка Петр Пассек, Федор Барятинский, Евграф Чертков и Михаил Баскаков. Командовал ими Алексей Орлов. 2 июля он направил императрице письмо о выдаче солдатам жалованья. Из этого документа и становится известно о пребывании Потемкина на мызе. «В силу именнова Вашего повеления я солдатам деньги за полгода отдал, також и ундер-офицерам, кроме одного Патиомкина вахмистра для того, што он служил бес жалования»^[186].

В условиях тогдашней постоянной задержки жалованья (в годы Семилетней войны казна изрядно опустела) щедрый жест императрицы дорогого стоил. Возвращая долги прежнего правительства, Екатерина как бы платила солдатам за переворот и покупала их преданность на будущее. Кроме Потемкина, в Ропше конногвардейцев не было. Наградная сумма дождалась расторопного вахмистра в Петербурге. Согласно ордеру полковому комиссару Наумову, тот должен был выдать ротным командирам, в том числе и Потемкину, полугодовое жалованье в размере 14

014 рублей для раздачи его 1085 нижним чинам^[187]. То есть приблизительно по 1300 рублей на брата. Вероятно, товарищам Григория деньги выдал кто-то другой, поскольку наш герой находился далеко от столицы.

Хотелось бы понять, чему именно Потемкин был свидетелем, оставшись в Ропше? Вероятно, поначалу охрана думала, что недолго пробудет на мызе, поскольку приказание о комнатах в Шлиссельбург действительно было послано. Но помещения оказались так же не востребованы, как и корабли в Кронштадте. Сохранилось любопытное свидетельство фрейлины Варвары Головиной об обстоятельствах смерти Петра III, которое она передает со слов Н. И. Панина: «Решено было отправить Петра III в Голштинию. Князю Орлову и его брату графу Алексею поручили увезти его. В Кронштадте подготавливали несколько кораблей. Петр должен был отправиться с батальоном, который он сам вызвал из Голштинии. Последнюю ночь перед отъездом ему предстояло провести в Ропше, недалеко от Ораниенбаума. Приведу здесь достоверное свидетельство, слышанное мною от министра графа Панина... „Я находился в кабинете у ее величества, когда князь Орлов явился доложить ей, что все кончено. Она стояла посреди комнаты; слово „кончено“ поразило ее. „Он уехал?“ — спросила она вначале, но, услышав печальную новость, упала в обморок. Потрясение было так велико, что какое-то время мы опасались за ее жизнь. Придя в себя, она залилась горькими слезами. „Моя слава погибла! — восклицала она. — Никогда потомство не простит мне этого невольного преступления!“ Надежда на милость императрицы заглушила в Орловых всякое чувство, кроме одного безмерного честолюбия. Они думали, что, если уничтожат императора, князь Орлов займет его место и заставит государыню короновать себя“»^[188].

Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, в момент убийства продолжали готовиться корабли для отправки свергнутого императора на родину. Во-вторых, видно, что обвинения в адрес Орловых распространял именно Никита Панин, причем делал это методично, как сразу после убийства Петра III, так и по прошествии многих лет. Надо отдать графу должное: он сумел внедрить выгодную трактовку событий в сознание современников.

Поначалу Екатерина не поверила в то, что гвардейский караул совсем уж непричастен к смерти императора. Тем более что второе письмо Орлова из Ропши изобличало колебания и неуверенность командира охраны: «Матушка наша всемилостивейшая государыня. Не знаю, што теперь

начать, боюсь гнева от вашего величества, чтоб вы чево на нас неистоваго подумать не изволили и чтоб мы не были причиною смерти злодея вашего и всея Роси, также и закона нашего... А он сам теперь так болен, што не думаю, чтоб он дожил до вечера и почти совсем уже в беспамятстве, о чем уже и вся команда здешня знает и молит бога, чтоб он скорей с наших рук убрался»^[189].

Екатерина отдала распоряжение о вскрытии тела покойного. «Я боялась, что это офицеры отравили его, и приказала произвести вскрытие, но никаких следов яда обнаружено не было — это достоверно... Его схватил приступ геморроидальных [колик] вместе с приливом крови к мозгу; он был два дня в этом состоянии, за которым последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав перед тем лютеранского священника»^[190].

О том, что случилось на самом деле, императрица молчала до гробовой доски. Исследователи высказывают несколько версий смерти Петра III. Одна из них — наиболее известная — состоит в том, что Екатерина II сама приказала убить мужа, и Алексей Орлов исполнил ее повеление, задушив несчастного. Эту историю распространил по Европе секретарь французского посольства К. К. Рюльер, часто бывавший в доме Панина и озвучивавший его описание событий.

Согласно рассказу Рюльера, Алексей Орлов и Г. Н. Теплов сначала попытались отравить императора, а потом удушили его. Они «пришли вместе к несчастному государю и объявили, что намерены с ним обедать. По обыкновению русскому перед обедом подали рюмку с водкою, и подставленная императору была с ядом... Через минуту они налили ему другую. Уже пламя распространилось по его жилам, и злодейство, изображенное на их лицах, возбудило в нем подозрение — он отказался от другой; они употребили насилие, а он против них оборону. В сей ужасной борьбе, чтобы заглушить его крики... они бросились на него, схватили его за горло и повергли на землю. Но он защищался всеми силами, какие предает последнее отчаяние, и они... призвали к себе на помощь двух офицеров, которым поручено было его караулить и которые в сие время стояли у дверей вне тюрьмы. Это был младший князь Барятинский и некто Потемкин, 17-ти лет от роду. Они показали такое рвение в заговоре, что, несмотря на их первую молодость, им вверили сию стражу. Они прибежали, и трое из сих убийц, обвязав салфеткою шею сего несчастного императора (между тем как Орлов обеими коленями давил ему на грудь и запер дыхание), его душили, и он испустил дух в их руках»^[191].

Как видим, Рюльер присовокупил к числу убийц и молодого Потемкина. Но позднее ни Панин в разговорах, ни Дашкова в мемуарах не бросали тень на Григория, тогда как фамилии Орлова и Барятинского муссировались постоянно. Достоверности рассказу французского дипломата предавало и якобы собственноручное письмо Орлова с признанием в убийстве: «...Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя! Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Федором (Барятинским. — О. Е.); не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни...»^[192]

Только в конце XX века был поднят вопрос о том, почему такое важное письмо, на основе которого строятся обвинения против Орлова, существует в копии, тогда как сохранились два первых послания Алексея Григорьевича из Ропши. Можно ли делать столь серьезные заключения при отсутствии подлинника и существовал ли он вообще? Первым сомнения высказал московский историк О. А. Иванов, он же провел источниковедческое исследование писем Орлова из Ропши^[193]. С его выводами согласился и дополнил их К. А. Писаренко^[194]. Независимо от Иванова к сходным заключениям пришел В. А. Плугин^[195].

В настоящий момент можно считать доказанным, что признание Орлова подложно и составлено в 1801 году Ф. В. Ростопчиным, вероятно, по приказу Павла I. Подлинника третьей записки, скорее всего, никогда не существовало. О смерти императора Алексей рассказывал не в третьем, а во втором письме, конец которого был позднее оторван фальсификаторами. Петр действительно был убит, но произошло это не 6-го, как принято считать, а 3 июля. И смерть его наступила при других обстоятельствах.

После того как рюльеровская версия дала заметные трещины, усилилось внимание исследователей к иным трактовкам событий. В частности, к рассказу датского посла Андреаса Шумахера, отличавшегося добросовестностью в подборке материала для своей книги. Дипломат называет иного убийцу — Александра Мартыновича Шванвича, бывшего лейб-кампанца, а затем голштинского гвардейца Петра III. «Один принявший русскую веру швед из бывших лейб-кампанцев — Швановиц, человек очень крупный и сильный, с помощью еще некоторых других людей жестоко задушил императора ружейным ремнем... Его удушение — дело некоторых из тех, кто вступил в заговор против императора и теперь желал навсегда застраховаться от опасностей»^[196]. Иным оказывается и круг заказчиков преступления.

По приказу Никиты Панина и гетмана Разумовского в Ропшу отправился Г. Н. Теплов, он вызвал Алексея Орлова для разговора на улицу, отвлек его внимание. Тем временем в комнату, где спал государь, проникли приехавшие вместе с Тепловым лейб-медик Карл Крузе и Шванвич. Под видом лекарства Крузе и Шванвич попытались дать императору яд, тот оказал сопротивление. Они призвали на помощь дежуривших у дверей офицеров, чтобы силой влить узнику «микстуру». Считая, что помогают доктору понудить «урода» к лечению, офицеры схватили брыкающегося Петра за руки и за ноги, а тем временем Шванвич взял ружейный ремень и, пользуясь суматохой, затянул его на горле. Когда невольные соучастники преступления увидели, что произошло, убийцы сослались на якобы имеющийся «приказ сверху», и ропот смолк^[197].

Современные исследования дома в Ропше открыли подземный ход, связывающий дворец с церковью. По нему убийца мог пройти в дом, а затем выйти. В этом случае офицеры охраны, стоявшие с наружной стороны дверей, ничего не видели, а Алексей Орлов был отвлечен беседой с Тепловым.

«3 июля этот подлый человек поехал в Ропшу, — писал Шумахер о Теплове, — чтобы подготовить все к уже решенному убийству императора. 4 июля рано утром лейтенант князь Барятинский прибыл из Ропши и сообщил обер-гофмейстеру Панину, что император мертв. Собственно убийца — Швановиц — тоже явился к этому времени, был произведен в капитаны и получил 500 рублей. Такое вознаграждение за столь опасное мероприятие показалось ему слишком малым, и он пошел к гетману... пожаловаться, что ему дают весьма отдаленную часть в Сибири. Тот, однако, не вдаваясь в рассуждения, весьма сухо ответил, что отъезд его совершенно необходим, и приказал офицеру сопровождать его до ямской станции и оставить его, лишь убедившись, что он действительно уехал»^[198].

На самом деле Разумовский поступил со Шванвичем иначе: чтобы охладить обвинительный пыл шведа, он приказал отправить его в Петропавловскую крепость. Около месяца тот сидел под арестом, пока сумятица, вызванная смертью императора, не утихла, а 26 июля получил капитанский патент и был отправлен к месту дислокации его части на Украину.

Смерть императора была необходима придворной группировке именно для отстранения Екатерины от власти. Крупные вельможи надеялись, что, бросив на нее клеймо убийцы, они заставят государыню добровольно уйти

в тень под давлением «общественного мнения». Место правительницы, запятнавшей себя преступлением, займет невинное дитя — цесаревич Павел Петрович. Однако Панин и его сторонники просчитались. Екатерина проявила волю и сильный характер. В дни после объявления о смерти Петра III столица едва не взбунтовалась вновь, было подавлено несколько локальных возмущений. Екатерина усидела на престоле, а наследнику и его партии пришлось долгие годы довольствоваться вторыми ролями. Тайна же смерти Петра III до сих пор остается раскрытой не до конца.

Ближний круг

Потемкин стал участником или невольным свидетелем всех описанных событий. Именно по этой причине мы касались их столь подробно. К сожалению, в те времена он был еще слишком малозаметной фигурой, и источники не позволяют рассказать о его роли детальнее. Фамилия конно-гвардейского вахмистра мелькает на страницах мемуаров и донесений иностранных дипломатов о перевороте, но пока лишь в числе второстепенных персонажей. Однако наш герой претендовал на большее.

В начале сентября 1762 года двор отбыл в старую столицу на коронационные торжества. Екатерина спешила возложить на себя императорский венец и тем придать своей власти недостающей законности. 22 сентября состоялось ее венчание на царство. А 30 сентября нашему герою исполнилось двадцать три года. Возможно, он встретил именины в кругу семьи, и следы давнего разлада изгладились. Ведь Гриц вернулся в Москву победителем — в новых чинах и с удвоенным, благодаря своей энергии, состоянием. А победителей не судят. Именно так он, наверное, хотел вернуться, уезжая из Первопрестольной изгоем и неудачником. Теперь у него появились не только возможность для быстрого роста, но и положение при дворе.

Неясно, почему награды, приуроченные к коронации, обошли его стороной. Зато 30 ноября 1762 года Потемкин был произведен в камер-юнкеры и одновременно оставался при Конной гвардии, получая, таким образом, дополнительное жалованье^[199]. Самойлов сообщает, что его дядя часто дежурил при дворе. Здесь «он имел случай показать смелость свою, присутствие духа и остроту ума». Однажды во время обеда, когда Григорий сидел напротив государыни, ее величество что-то спросила у него по-французски. Молодой человек отвечал на русском, чем вызвал нареkanie «некого знатнейшего чиновника», который одернул его: «На каком языке

государь предлагает речь подданному, на том самом он должен и отвечать». Без смущения Потемкин возразил: «А я напротив того думаю, что подданный должен отвечать своему государю на том языке, на котором может вернее мысли свои объяснить; русский же язык я учу с лишком 22 года»^[200].

И опять в Потемкине проявилась черта, которая уже однажды довела его до исключения из университета. Самойлов называл ее «нерабственное понятие» о себе. «Некто знатнейший чиновник», которого прилюдно обрезал двадцатилетний юнец, назвал бы наглостью. Вместо того чтобы опустить голову и смиренно выслушать замечание, Григорий осмеливался спорить, будто разговаривал с равным. Он сплошь и рядом нарушал субординацию. А между тем норма внешней благопристойности требовала обратного.

Вспоминаются слова Молчалина из комедии «Горе от ума»: «В мои лета не должно сметь / Свое суждение иметь».

В отличие от грибоедовского героя Потемкин «суждение имел» и при случае не смущался его показывать. Горе молодого человека проистекало не только от обширности ума и «генеральности сведений», но и от сознания собственного превосходства. Неудивительно, что с таким характером Григорий легко наживал врагов. Впрочем, появились и люди, которые симпатизировали острому на язык камер-юнкеру. Например, гетман Кирилл Григорьевич Разумовский, тоже завзятый острослов и шутник. Его меткие высказывания занимают в сборниках русских литературных анекдотов немало места. «Как-то раз за обедом у императрицы зашел разговор о ябедниках. Екатерина II предложила тост за честных людей. Все подняли бокалы. Один лишь Разумовский не дотронулся до своего.

— А вы, Кирилл Григорьевич, отчего не доброжелательствуете честным людям? — спросила государыня.

— Боюсь, мор будет, — отвечал вельможа»^[201]. Потемкин тоже никогда не лез за словом в карман, а некоторые мемуаристы утверждают, что он еще и умел похоже передразнивать чужие голоса, чем смешил императрицу до слез. Митрополит Платон рассказывал, будто бы однажды Екатерина задала Григорию вопрос, а он отвечал ей ее собственным голосом^[202]. Этому свидетельству трудно верить, так как Платон в начале 60-х годов еще не бывал при дворе и, скорее всего, передавал одну из многочисленных позднейших выдумок о светлейшем князе. Тем не менее нет дыма без огня. Ведь и Самойлов утверждал, что его дядя «тонкой

сатирой» настроил против себя немало сильных людей. Покровительство такого крупного вельможи, как Разумовский, могло защитить молодого человека, но в тот момент гетман и сам оказался в весьма щекотливом положении.

Весной 1763 года, когда Екатерина II в сопровождении Григория Орлова отправилась из Москвы в Воскресенский монастырь, по городу распространились слухи, что императрица намерена венчаться с фаворитом. Такие планы действительно имелись, но они вскоре отпали из-за серьезного противодействия крупных вельмож. Дворянство, съехавшееся на коронацию в Первопрестольную, тоже отрицательно отнеслось к идее брака. Затея вернувшегося из ссылки А. П. Бестужева собрать подписи под прошением о вступлении государыни в новый брак провалилась^[203]. Однако эти события имели далекоидущие последствия. Группа офицеров, прежних сторонников Екатерины, во главе с Ф. Хитрово, братьями Н. и А. Рославлевыми и М. Ласунским затеяла заговор, целью которого был арест или даже убийство братьев Орловых. Заговор почти сразу был раскрыт из-за доноса князя Несвицкого. Следствие вел сенатор Василий Иванович Суворов (отец будущего генералиссимуса), человек умный, строгий и абсолютно преданный Екатерине. Он сумел вскрыть немало неприятных сторон дела. Молодые офицеры оказались лишь видимой верхушкой айсберга, руководили же ими совсем другие люди. На допросах Хитрово прозвучали фамилии Е. Р. Дашковой, Н. И. Панина, К. Г. Разумовского, З. Г. Чернышева^[204].

Заговорщики поднимали вопрос о якобы данном Екатериной II обещании Панину быть только правительницей, а не самодержавной государыней. Следствие не было доведено до конца. В комплот была вовлечена по крайней мере половина прежних сторонников императрицы, оскорбленных, по выражению Дашковой, тем, что «революция послужила лишь опасному для родины делу возвышения Григория Орлова»^[205]. Остерегаясь открыто задевать крупных вельмож, императрица предпочла замять дело. Никто из знатных лиц не пострадал, да и сами офицеры подверглись весьма мягкому наказанию. Н. Рославлев отбыл служить на Украину, его брат А. Рославлев — в крепость святого Дмитрия Ростовского, а М. Ласунский — в город Ливны. Хитрово был сослан в свое имение — село Троицкое Орловского уезда, а не в Сибирь, как позднее Дашкова уверяла Д. Дидро.

Остается удивляться, почему история с Хитрово не задела Потемкина. Отчего товарищ-конногвардеец, вместе с Григорием поднявший 28 июня

полк на присягу, не попытался вовлечь сослуживца в новый заговор? Но факт остается фактом, в деле нет упоминания фамилии нашего героя. Под конец Хитрово повинился перед императрицей в личном разговоре и рассказал, кого он посещал и пытался привлечь к мятежу. Вероятно, энтузиазм Потемкина в отношении Екатерины был известен, и товарищ не решился открыться ему в новых противоправительственных замыслах. В любом случае май-июнь 1763 года, когда были арестованы некоторые офицеры — участники переворота, оказались для Грица тревожными.

14 июля 1763 года двор вернулся из Москвы в Северную столицу, а в первых числах августа Потемкин получил весьма солидное назначение в Синод. Его «определили за обер-прокурорский стол», то есть сделали своего рода заместителем нового обер-прокурора И. И. Мелиссино, с правом личного доклада государыне. Это был взлет. Особенно если учесть возраст — двадцать четыре года — и невысокие пока чины Потемкина — подпоручик и камер-юнкер. Должность дана была ему явно «на вырост». Вероятно, у императрицы не было сомнений, что вскоре она сумеет «подрастить» способного и образованного сотрудника до камергера. Такое благоволение не могло не вызывать зависть окружающих. Самойлов постоянно намекает на интриги разнообразных придворных «злодеев», с первых шагов невзлюбивших его дядю.

Затворник

Однако первый серьезный удар Потемкин получил не от «завистников», а в полном смысле слова от Судьбы. В 1763 году он неожиданно ослеп на правый глаз. Событие это породило массу легенд, вплоть до самых невероятных. Говорили, что изуродовал молодого человека Алексей Орлов и что впоследствии Григорий ездил в Париж, где заказал себе хрустальный глаз^[206]. Возмущенный подобного рода «баснями», Самойлов заявляет: «Быв тому очевидцем, подробно об оном поясню».

После возвращения двора из Москвы Потемкин простудился и слег с жаром. Будучи от природы крепкого сложения, он с детства ни разу не болел, и новые ощущения вызвали у него растерянность. Докторам Григорий Александрович не доверял «во все течение жизни своей». Быть может, ропшинские страсти породили у него отвращение «к врачебной науке и к медикам». Поэтому больной «велел отыскать некоего крестьянина, прославившего весьма искусным в излечении от горячек», и

«вверил себя сему обманщику». Знахарь приготовил таинственную припарку и обмотал ею голову и глаза пациента. Однако Потемкин сдвинул ее с одного глаза, «чтоб не лишиться удовольствия смотреть на свет». Припарка притянула жар к голове и к обвязанному глазу. Почувствовав нестерпимое жжение, Григорий сорвал повязку и понял, что ничего не видит правым глазом. «Причем заметил на страждущем глазе род нарости, которую в первом движении душевной скорби поспешил снять булавкою, но после сей операции усмотрел он, что на зрачке того глаза бельмо»^[207].

Случившееся потрясло молодого человека. В двадцать четыре года он окривел, и недостаток этот, по словам мемуаристов, был замечен. «Не можно изобразить всех горестных ощущений, — писал Самойлов, — которые тогда омрачили сердце Григория Александровича, который, быв прекраснейшим мужчиною, исполненный склонности к нежному полу, обольщенный надеждами счастья и возвышения... вдруг поражен был сею внезапностию».

О каком возвышении при «отличности дарований» и «внешних своих достоинств» говорит племянник Потемкина? Карабанов выражается прямо: «Желание обратить на себя внимание императрицы никогда не оставляло его; стараясь нравиться ей, ловил ее взгляды, вздыхал, имел дерзновение дожидаться в коридоре; и когда она проходила, упал на колени и, целуя ей руку, делал некоторого рода изъяснения. Она не противилась его движениям. Орловы стали замечать каждый шаг и всевозможно противиться его предприятию»^[208].

О том, как Орловы «противились предприятию», есть немало свидетельств, большей частью они легендарны и совершенно не соотносятся с нравами русского двора. Так, Гельбиг сообщает, что Григорий и Алексей, желая отвести соперника от императрицы, однажды затеяли с Потемкиным ссору и жестоко избили его палками^[209]. Драка сама по себе вполне во вкусе любителей кулачных поединков, какими были Орловы, однако палки — вещь из «французской жизни». Палками избили молодого Вольтера, с палками нападали на Бомарше. В тексте Гельбига «палка» — не более чем литературное клише. В русской реальности существовали иные способы «поговорить по-мужски», кулак из них не последнее средство, но и не единственное. Вероятно, были и более утонченные, достойные византийских кесарей. Например, ослепить противника, изуродовав его навсегда. Такая версия тоже выдвигалась иностранными писателями^[210], но верится в нее не более, чем в хрустальный глаз.

Достоверно известно одно: окривев, Потемкин удалился от двора и предался крайней горести. Были Орловы причастны к случившемуся или нет, но увечье сделало с Григорием то, чего не сделали бы никакие «палки» — он больше не осмеливался питать надежд относительно императрицы. Напротив, ему казалось, что лучшее в его положении — уйти от мира. Самойлов пишет: «Горесть о потере глаза возродила в душе его мысли мрачные и отчаянные; им овладела сильная меланхолия. Он отказался от наслаждения дневным светом, заперся в своей спальне, в коей через целые 18 месяцев окна были закрыты ставнями; не одевался, редко с постели вставал, допустил отрастить свою бороду и не принимал к себе никого во все время, кроме самых близких и искренно к нему приверженных. С начала затворничества положил он за непременно постричься в монахи, чтоб достигнуть архиерейства; но с облегчением болезни и сердечного прискорбия исчезло сие несообразное с склонностями его желание. Вскоре мечтания о достижении возвышенной степени в нем возобновились». Промежуточным этапом выздоровления стал вновь проснувшийся интерес к чтению. За полтора года Потемкин поглотил массу книг на военные и политические темы, что при его «чрезвычайной памяти» значительно расширило познания.

По прошествии полутора лет Григорий начал понемногу выезжать за город, но держался в стороне от общества, «пребывал мрачным и скучным». Родные уже отчаялись, что он когда-нибудь возвратится к прежней, полнокровной жизни. Проще говоря, молодой человек стеснялся показаться на люди в своем теперешнем обличье. Он боялся быть смешон и жалок. Небольшая сердечная победа предала бы ему уверенности. Так и случилось.

«Некоторая знатного происхождения молодая, прекрасная и всеми добродетелями украшенная девица (о имени коей не позволю себе объявить)... начала проезжаться мимо окошек дома, в котором он жил. Одновременно она как бы между прочим сказала в дружеской компании: „Весьма жаль, что человек столь редких достоинств пропадает для света, для Отечества и для тех, которые умеют его ценить и искренно к нему расположены“». Эту милую барышню, по свидетельству Самойлова, Потемкин «прежде отличал в сердце своем». Друзья передали ему ее слова, что понудило Григория сбрить наконец бороду и, «появляясь к окну, искать взглядом победительницу свою».

Любопытно, что как раз в 1763 году Ф. Г. Волков написал романс о молодом влюбленном монахе, поджидающем под окном милую:

Ты проходишь мимо кельи, дорогая,
Мимо кельи, где бедняк-чернец горюет,
Где пострижен добрый молодец насильно...[\[211\]](#)

Завязался невинный роман — с объяснением через друзей, с записками, с благопристойным приглашением Потемкина в дом отца знатной девицы. Этот человек, по словам Самойлова, «и прежде его любил и ласкал всегда как сына, и, может быть, имел искренно к нему такое расположение», то есть хотел увидеть в роли жениха дочери. Григорий колебался: первый выход на люди для него много значил. Он написал барышне, что «хочет явиться в свете не для света, а для нее одной, и не иначе согласится на сие, как получа на то от собственной руки ее приказание». Какая же девушка не дала бы такого приказа?

Ты скажи мне, красна девица, всю правду:
Или люди-то совсем уже ослепли,
Для чего меня все старцем называют?

Наконец Потемкин не без колебаний нарушил затворничество и предстал перед возлюбленной в форменном сюртуке и с белой повязкой на глазу. Благопристойность не позволила Самойлову «объявить об имени» спасительницы нашего героя. А вот Карабанов называет даму — Елизавета Кирилловна Разумовская, дочь гетмана. «Предположил было идти в монахи, — пишет он о затворничестве Потемкина, — надевал нарочно сделанную архиерейскую одежду и учился осенять свечами. Екатерина расспрашивала о нем, посылала узнать о здоровье. Однажды, проезжая с Григорием Орловым, приказала остановиться против его жилища; Орлов был послан для свидания, а Потемкин, избегая оно, скрылся через огород к полковому священнику, с которым делил время. Императрица пожелала его увидеть, и он снова появился у двора. Началось сватанье на фрейлине графине Елизавете Кирилловне Разумовской с намерением привлечь к тому Екатерину»[\[212\]](#).

Видимо, желая уберечь Потемкина от дальнейших необдуманных поступков, вроде вздохов в коридоре или затворничества, императрица весьма благосклонно смотрела на сватовство к Разумовской. Но дело по неизвестным причинам разладилось. Возможно, сам Григорий Александрович не слишком хотел жениться, понимая, что сердце его,

несмотря на приятный флирт с графиней, отдано другой женщине. А возможно, гетман посчитал свою дочь слишком молодой для брака. Ведь Елизавета Кирилловна родилась в 1749 году и была на десять лет младше предполагаемого жениха. В те времена девушки выросли рано, и пятнадцатилетняя Разумовская, разъезжая под окнами затворника, вела себя скорее куртуазно, чем вызывающе. Важно отметить, что Потемкин навсегда сохранил и с Кириллом Григорьевичем, и с бывшей невестой теплые отношения. Дружба же сложилась у него и с младшей дочерью гетмана Натальей Кирилловной, в замужестве Загряжской, дамой некрасивой, но умной и образованной. Именно она впоследствии рассказывала А. С. Пушкину много любопытных историй о Потемкине.

Возможно, истинной причиной возвращения Григория к жизни стал все-таки не роман с юной графиней, а желание Екатерины видеть его при дворе. По словам Самойлова, императрица неоднократно осведомлялась о судьбе пропавшего камер-юнкера. Но у Потемкина нашлись недоброжелатели, которые «рассеивали клевету и отзывались двусмысленно», будто молодой человек чудит и не ходит на службу, прикидываясь больным. Наконец Григорий Орлов, «коего честность и возвышенность духа всем известны», попросил у Екатерины разрешения поехать вместе с братом Алексеем к Потемкину и доставить последнего ко двору. «Сии известные великодушием, заслугами и верностью государыне два брата» нагрянули к Потемкину внезапно и вошли через разные двери, чтобы не дать затворнику скрыться. Григорий сказал ему: «Тезка, государыня приказала мне глаз твой посмотреть». Потемкин хотел уклониться, но Алексей, «имея от природы силу чрезвычайную, зашед сзади Григория Александровича, схватил его поперек». Только тогда фаворит смог снять с глаза платок и, увидев бельмо, сказал: «Ну, тезка, мне не так про тебя говорили, и все сказывали, что ты проказничаешь; изволь одеться: государыня приказала привезти тебя к себе»^[213].

Обращает на себя внимание то, как доброжелательно Самойлов отзывался об Орловых. Вероятно, сам Потемкин не допускал резких, негативных высказываний о «соперниках». Их грубоватая помощь оказалась кстати. Так же как и внимание Екатерины. Узнав правду о случившемся, она приложила немало стараний для возвращения Потемкина в общество. Загрузила его работой в Синоде, составила для него две собственноручные инструкции, по-видимому, много беседовала с ним лично о положении в Церкви, как с человеком, сведущим в данном вопросе. А главное — ввела своего протеже в узкий дружеский круг, собиравшийся у нее на малых собраниях.

Здесь, по словам Самойлова, Потемкин «имел случай оказать познания, природное остроумие и непринужденную ловкость в обращении», а императрица «находила великое удовольствие беседовать» с ним. Однако на малых собраниях много и охотно говорили по-французски. Потемкин же, как мы помним, хотя и изучал этот язык в университете, во время устной беседы испытывал определенные трудности. Давали себя знать отсутствие практики, языковой барьер. Такт и предусмотрительность Екатерины простирались так далеко, что она специально назначила Григорию Александровичу учителя французского, некоего де Вомаль де Фажа, дворянина родом из Виварэ, который впоследствии долго служил у князя секретарем. Этот примечательный факт сообщает К. Валишевский, ссылаясь на информацию, полученную им во Франции^[214]. Проверить его невозможно, однако очевидно внимание, которое императрица проявила к молодому человеку после болезни.

Во всем этом чувствуются и жалость, и чисто женская забота, и интеллектуальный интерес. Ведь в тот момент в окружении Екатерины почти не было хорошо образованных людей. Потемкин составлял исключение. Ничего удивительного, что императрица стала быстро выделять его.

Однако в истории с увечьем остается один вопрос: когда произошли описанные Самойловым события? Еще Брикнер отмечал сложность определения времени восемнадцатимесячного затворничества Потемкина. Мемуарист четко говорит, что Григорий Александрович заболел после возвращения двора из Москвы. Екатерина II приехала в Петербург в середине июля 1763 года, а уже в августе она назначила Потемкина помощником Мелиссино. К 19 августа и 4 сентября 1763 года относятся ее собственноручные инструкции ему^[215]. Конечно, молодой человек мог заболеть и после назначения. Но трудно себе представить, что императрица полтора года не замечала отсутствия Потемкина при дворе и неисполнение им важной должности в Синоде, по которой он обязан был докладывать непосредственно ей. Между тем журналы заседаний Синода показывают, что Потемкин участвовал в этот период в обсуждении текущих вопросов^[216].

Следовательно, Самойлову изменяет память. У нас нет оснований не верить нарисованной им картине, но несколько сдвинуть ее во времени кажется вполне уместным. Единственный период, когда императрица без всяких подозрений могла долго не видеть Потемкина, — это поездка двора в Москву. Возможно, Григорий Александрович и не посещал

Первопрестольную в 1762–1763 годах. Он мог заболеть простудой и остаться в Петербурге. Это объяснило бы и отсутствие его имени среди награжденных по случаю коронации, и тот факт, что Хитрово даже не попытался вовлечь товарища-конногвардейца в заговор. Вернувшись из Москвы, Екатерина вспомнила о смышленном камер-юнкере, стала спрашивать о нем, получила в ответ невнятные намеки, послала Орловых разузнать, в чем дело, и привезти молодого человека ко двору. Такой ход событий кажется вполне логичным. Единственное, что не укладывается в построенную схему, — это восемнадцать месяцев затворничества. Ведь двор отсутствовал в Северной столице около года. Остается заподозрить Самойлова в свойственной многим мемуаристам склонности к преувеличениям.

Первые шаги на государственном поприще

Время, когда Потемкин был назначен в Синод, вовсе не благоприятствовало длительному отсутствию важного чиновника на занимаемом посту. Полным ходом шла подготовка к реформе — секуляризации церковных земель. Во время своего краткого царствования Петр III вознамерился отнять у церкви ее земли. Манифестом 12 августа 1762 года Екатерина II возвращала отобранное имущество, но при этом писала о желательности освободить церковь от «мирских забот» по управлению обширными вотчинами с крепостными крестьянами. Она сожалела о том, что в прошлом государство вмешивалось в дела Церкви, но считала необходимым разработать законы об использовании церковных земель для всеобщего блага^[217].

29 ноября 1762 года была учреждена Комиссия о духовных имениях, во главе которой встал статс-секретарь Екатерины Г. Н. Теплов. Этот орган включал как светских, так и духовных лиц. В инструкции, которую государыня написала специально для них, говорилось, что цель предоставления церкви обширных имений состояла не только в обеспечении духовенства доходом, но и в содержании школ и богаделен. Комиссии предстояло провести ревизию церковного имущества и наметить пути его дальнейшего использования^[218].

Среди иерархов наиболее болезненно воспринял попытку государства покуситься на церковные земли митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич). 9 февраля он совершил в Ростове торжественный обряд

предания анафеме всех «похитителей» церковного имущества, а затем направил в Синод несколько донесений, обличавших действия правительства^[219].

Арсений яростно громил как императрицу, так и подчинившихся ей архиереев, которые, «как псы немые, не лая смотря» на расхищение богатств Церкви. При чтении его гневных филиппик вспоминается протопоп Аввакум, ратовавший за «древнее благочестие». Мацеевич сравнивал положение в России с «Содомом и Гоморрой», говорил, что даже при татарском иге Церковь не лишали ее имущества. Однако в отличие от знаменитого раскольника митрополит не был бескорыстным защитником веры. Самый богатый из православных архиереев, он владел 16 тысячами душ и отстаивал право Церкви на имущественную независимость от государства. При этом Арсений считал, что забота о просвещении и инвалидах — дело светской власти. Мятежный митрополит был подвергнут суду за оскорбление величества, признан виновным и приговорен к заключению в дальнем монастыре, затем его перевезли в Ревель, где он и умер в 1772 году^[220]. По преданию, Арсений проклял участвовавших в суде священников. В их числе оказался и благодетель Потемкина — Амвросий (Зертис-Каменский), которому Мацеевич предрек: «Яко вол ножом зарезан будешь». Прошло восемь лет, и его слова сбылись — Амвросий погиб во время чумного бунта в Москве^[221].

После ареста и ссылки Мацеевича попытки сопротивления реформе были подавлены на корню. В июне 1763 года вялого и нерешительного обер-прокурора Синода князя А. С. Козловского сменил генерал И. И. Мелиссино^[222]. Человек энергичный, циничный в религиозных вопросах и предпочитавший храму масонскую ложу. Он должен был стать жестким проводником правительственной политики. Но Екатерина решила уравновесить его антиклерикальное рвение сотрудничеством с лицом совершенно иных убеждений. Заместителем обер-прокурора стал Потемкин. Право непосредственного, прямого доклада императрице по делам, видимо, было дано Григорию именно потому, что государыня опасалась чересчур резких выпадов Мелиссино в отношении иерархов.

Потемкин весьма подходил для новой должности, поскольку имел много друзей в церковных кругах, сам был человеком верующим, но в то же время понимал задачи реформы. Он гарантировал Екатерине безусловную преданность там, где другие стали бы отстаивать либо антирелигиозные идеалы Просвещения, либо из ложно понимаемой приверженности к православию потворствовать превращению Церкви в

государство в государстве. Кстати пришлось обширные познания Григория Александровича в церковной истории. Екатерина нашла нужного человека на нужное место и, возможно, с годами хотела увидеть его преемником Мелиссино.

26 февраля 1764 года был издан манифест о секуляризации церковных земель. Бывшие монастырские и архиерейские владения передавались в управление Коллегии экономии. Из собранных с них доходов и выплачивались деньги на содержание духовенства^[223]. Бедные и маленькие монастыри оказались упразднены. После реформы из 572 ранее существовавших обителей осталось только 161, зато это были сравнительно крупные, сильные в хозяйственном отношении монастыри, ведшие немалую просветительскую и миссионерскую деятельность, содержавшие библиотеки, учебные заведения, богадельни и странноприимные дома. Общая сумма, ежегодно причитавшаяся Церкви, составила сначала 462 868 рублей, а к концу царствования Екатерины возросла до 820 тысяч рублей^[224]. Важным результатом реформы был переход полутора миллионов крестьян из состояния монастырских (категория крепостных) в экономические (категория государственных, считавшихся тогда вольными).

Это был серьезный успех, и Екатерина делила его с теми сотрудниками, которые помогали ей в осуществлении задуманного, в том числе и с Потемкиным. Казалось, расположение к нему монархини растет на глазах. Ей нравилось беседовать с Григорием Александровичем, поскольку, как писал Самойлов, «он с приятностью мог ответить на утонченные разговоры ее величества». «Словом сказать, императрица оказывала к нему высочайшее свое благоволение». И вот тут-то стала резче проявляться неприязнь придворных, не столь удачливых в поисках монаршей милости.

«Тогда завистники, души низкие и недалекые умы начали почитать его опасным, затверживали неумышленные слова его и, толкуя всякую речь его во вред ему, и всякий поступок в злоумышление, старались очернить его перед теми, которые имели силу вредить ему... В характере его не доставало умеренности, без коей при дворе трудно существовать... не мог по молодости удержаться, чтоб не осмеивать тех, кои заслуживали порицание и тонкую сатиру. Сия черта возбудила против него сильных, и он не возмог долго удержаться при вторичном и счастливом своем появлении ко двору: через несколько времени последовало неожиданное удаление»^[225].

Язык мой — враг мой. Справедливость этого выражения Потемкин познал на себе. Когда-то его исключили из университета за памфлет, теперь прогоняли от двора за очередные «тонкие сатиры». Самойлов подчеркивает, что дядя, «достигнув в уединении многих познаний, не мог преодолеть врожденного чувства пылкости», он свысока смотрел на тех, кто был не так образован и умен. Между тем люди вполне заурядные, но поднаторевшие в придворных интригах, постарались избавиться от заносчивого умника. Им это удалось.

«Вечеру отбывши из дворца с милостью императрицы и с приветствиями от всех придворных, на другой же день получает повеление отправиться немедленно в Швецию с препоручением весьма маловажным».

Что же послужило причиной немилости? Только ли отсутствие «умеренности» и «тонкая сатира», обидная для «сильных»? Возможно, карабановский рассказ о том, как Потемкин начал открыто проявлять к императрице чувства большие, чем благоговение подданного, относится именно к этому времени. Французский мемуарист Шарль Массой, в целом весьма недоброжелательный к Потемкину, приводит записанную им в Петербурге песню, которую молодой Григорий Александрович посвятил Екатерине. К сожалению, это двойной перевод, сначала с русского на французский, а потом с французского на современный русский язык. Но даже в таком виде песня заслуживает внимания: «Как скоро я тебя увидел, я мыслю только о тебе одной. Твои прекрасные глаза меня пленили, и я трепещу от желания сказать о своей любви. Любовь покоряет все сердца и вместе с цветами заковывает их в одни и те же цепи. Боже! какая мука любить ту, которой я не смею об этом сказать, ту, которая никогда не может быть моей! Жестокое небо! Зачем ты создало ее столь прекрасной? Зачем ты создало ее столь великой? Зачем желаешь ты, чтобы ее, одну ее я мог любить? Ее священное имя никогда не сойдет с моих уст, ее прелестный образ никогда не изгладится из моего сердца»^[226].

Даже если самой даме нежные признания и были приятны, она не могла рисковать поддержкой Орловых. Тем более что последние, по-видимому, что-то заподозрили. Тогда Екатерина предпочла удалить Потемкина от двора. У нее не было причин обижать проверенных сторонников, она продолжала любить Григория Григорьевича, а использовать таланты умного сотрудника можно было и не вовлекая Потемкина в узкий круг малых дворцовых собраний.

Поездка в Швецию была обычной курьерской миссией. Определить ее время довольно сложно. По тексту Самойлова можно догадаться, что речь идет о 1764 годе. Энгельгардт же утверждал, что Потемкин побывал за

морем еще в 1762 году, направленный в Стокгольм с сообщением о восшествии на престол Екатерины II^[227]. Последнее кажется менее вероятным из-за сопутствующих делу обстоятельств — работа «за обер-прокурорским столом», приятное времяпрепровождение в беседах с императрицей, возрастающая милость, а потом резкое охлаждение характерны для 1763–1764 годов, периода подготовки секуляризации, когда Потемкин действительно часто бывал при дворе.

Следовало бы предположить, что наученный горьким опытом молодой человек станет держать язык за зубами. Ничуть не бывало. Один из анекдотов гласит, что в Стокгольме Потемкин вновь отличился. Когда участников русского посольства повели представляться к шведскому двору, один из тамошних вельмож показал им зал, где висели старые штандарты. «Вот знамена, которые наши предки взяли у ваших под Нарвой», — гордо бросил он. На что Потемкин немедленно отозвался: «А наши отобрали у ваших еще больше земель и городов, какими и посейчас владеем». Много лет спустя, уже после смерти князя, Екатерина II писала барону М. Гримму о Потемкине: «Никогда человек не обладал в такой степени, как он, даром остроумия и умением сказать словцо кстати»^[228].

Но в 1764 году этого очевидного достоинства было мало, чтобы удержаться при дворе, а тем более завоевать сердце императрицы. Вернувшись в Петербург, Потемкин, по словам Самойлова, «не имел более у двора той приятности, какой пользовался до отъезда, но, однако ж, всегда был уважаем». За Григорием Александровичем сохранилась должность в Синоде, он регулярно участвовал в заседаниях этого органа, а сверх того продолжал службу в Конной гвардии.

19 апреля 1765 года Потемкин был произведен в поручики, тогда же он стал казначеем полка и наблюдал за шитьем новых мундиров. Вероятно, именно этот опыт послужил первым толчком для его размышлений о неудобстве солдатской формы. Через много лет, осуществляя военную реформу, Григорий Александрович много внимания уделил созданию новой формы, достоинства которой отмечали даже недоброжелатели князя. В июне 1766 года Потемкин получил командование 9-й ротой, а в следующем, 1767 году был с двумя ротами направлен в Москву, где открывалась работа Уложенной комиссии^[229].

Комиссия должна была выработать «Уложение» — свод законов Российской империи — взамен устаревшего «Соборного уложения» царя Алексея Михайловича, принятого в 1649 году. В Первопрестольную съехались 573 депутата, представлявшие государственные учреждения,

дворянство, города, государственных крестьян, казачество, однодворцев и нерусские народности.

Потемкин принял в заседаниях активное участие. По просьбе двадцати одного представителя от «татар и иноверцев» он исполнял должность их «опекуна». То есть выступал от их имени, «по той причине, что они недовольно знают русский язык»^[230]. Опека над инородцами была делом хлопотным, поскольку большинство из них не привезло с собой никаких «поверенностей», не могло толком рассказать, в чем состоят нужды народов, которые они представляли, а пределом их мечтаний было увидеть государыню, проезжающую по улице^[231]. Вместе с нашим героем опекунами стали князь С. Вяземский и А. В. Олсуфьев. Надо полагать, они набегались за подопечными, пока не облачили их в сшитое на сенатские деньги немецкое платье^[232].

Кроме этого, Григорий Александрович являлся членом Комиссии духовно-гражданской, которой предстояло разработать свод законов о положении Церкви и правах духовенства^[233]. А также Потемкин участвовал в заседаниях Большой и Дирекционной комиссий. Ему удалось свести широкие знакомства в депутатской среде и сдружиться с маршалом Уложенной комиссии А. И. Бибиковым, человеком умным, просвещенным и самостоятельно мыслящим. Успешная работа в комиссии вновь подтолкнула карьеру Потемкина, Екатерина опять захотела увидеть его в числе придворных. 22 сентября 1768 года по случаю годовщины коронации Григорий Александрович наконец был пожалован чином камергера. А в ноябре по воле императрицы его отчислили из Конной гвардии, как состоящего при дворе^[234].

Такое отчисление казалось необходимым, так как, оставаясь поручиком, Потемкин состоял в 9-м классе по Табели о рангах. Камергер же относился к 4-му классу. Эти «ножницы» когда-то помешали Григорию Александровичу «прыгнуть» выше камер-юнкера. С пожалованием камергерства пропасть между придворными и гвардейскими чинами нашего героя разверзалась еще глубже. Екатерина и так позволила ему перескочить через три позиции: гоф-фурьер, камер-фурьер и церемониймейстер. Видимо, ее всерьез заботило продвижение своего протеже по службе. Если Потемкин собирался делать карьеру при дворе, гвардейской пришлось бы пожертвовать. Он уже решился на это, но ему не суждено было расстаться с военным поприщем.

В 1768 году начались боевые действия против Турции, прервавшие заседания Уложенной комиссии. Залы собрания опустели, так как

большинство депутатов обязаны были явиться к месту службы. Последовал их примеру и Григорий Александрович. По соизволению императрицы он отправился в армию «волонтиром».

ГЛАВА 3

ВОЙНА

В конце декабря 1768 года, в самый разгар заседаний Уложенной комиссии, войска крымского хана Каплан-Гирея начали новый набег на южные земли России. 80-тысячная татарская армия по приказу султана Мустафы III разорила города Бахмут и Елисаветград, огнем и мечом прошла по землям колонии Новая Сербия, созданной еще при Елизавете Петровне на правом берегу Северского Донца, и захватила громадный полон из нескольких тысяч человек — русских, украинских и сербских переселенцев.

В татарском войске находился представитель французского двора Рюффон, впоследствии попавший в плен и заявивший на допросе, что целью этой экспедиции было «разорить колонии, цветущее состояние которых возбуждало зависть соседей»^[235]. Чуть позже барон Франсуа де Тотт, посланный Людовиком XV к турецкому султану в качестве военного советника, с восхищением живописал добычу татарских всадников в этом набеге: «Пять или шесть невольников разного возраста, шестьдесят овец и двадцать волов — добыча одного человека — не обременяют его. Головы детей выглядывают из мешка, подвешенного к тулке седла, молодая девушка сидит впереди, поддерживаемая левой рукой всадника, мать на крупе, отец на одной из заводных лошадей, сын на другой, овцы и волы впереди, — все идет и не сбивается с пути под бдительным оком хозяина этого стада»^[236].

Надо полагать, что людей барон Тотт тоже относил к стаду. Однако победоносно разорившие мирную колонию крымчаки вскоре наткнулись на 35-тысячную армию генерал-аншефа П. А. Румянцева, двигавшуюся им навстречу походным маршем из-под Полтавы. Войска Румянцева избавили захватчиков от бремени собственности, оттеснили от Азовского моря и, ведя преследование, блокировали Крым. Донская флотилия под командованием вице-адмирала А. Н. Синявина вышла в море и попыталась блокировать полуостров с воды. Вскоре на сторону русских перешли союзники крымского хана — ногайцы — и открыли Румянцеву прямой путь на Бахчисарай.

Это было последнее нашествие крымских татар на южные земли России, захлебнувшееся в самом начале, но послужившее прологом к большой войне. Ее принято называть Первой русско-турецкой, и действительно, в царствование Екатерины она была первой. Хотя с конца XVII столетия Россия воевала с Оттоманской Портой уже в пятый раз. Два Азовских похода Петра I 1695 и 1696 годов, неудачный Прутский поход 1711 года, Крымская война 1735–1739 годов, когда русская армия под предводительством Б. Х. Миниха впервые овладела Очаковым, и, наконец, новое столкновение.

У каждого конфликта были свои конкретные поводы, главная же причина оставалась неизменной — желание России обезопасить свои земли от непрекращающихся набегов крымских татар и укрепиться в Северном Причерноморье, куда на плодородный чернозем переезжало все больше колонистов. Со времен Петра I государство начало оказывать последним серьезную поддержку и защищать их. При Анне и Елизавете продолжались покровительство вновь образуемым колониям и привлечение переселенцев из южнославянских стран, находившихся под властью Турции. На екатерининское же царствование пришелся пик переселенческой активности^[237].

Смотреть спокойно на то, как северное побережье Черного моря — «внутреннего озера Блистательной Порты» — становится славянским по основному составу жителей и православным по их вероисповеданию, Константинополь не мог. Турки не раз поощряли крымских татар к набегам на русские колонии, сами оставаясь как бы в стороне. Глубокий внутренний кризис, поразивший Османскую империю, проявлялся и в недостатке денег на войну, и в отсутствии хорошо обученной армии, и в неэффективной системе управления, при которой громадное государство пожирал изнутри червь сепаратизма. Египетские беи бунтовали, изгоняя пашей, присланных из Стамбула. В Алжире, Тунисе и Триполи султан признавался лишь номинальным владыкой. Сирию и Ирак сотрясали мятежи. Даже в Анатолии — самой турецкой из всех турецких территорий — местные беи заводили свои войска и отказывались подчиняться султану^[238].

Словом, во второй половине XVIII века Турция воевать с Россией не могла и все же воевала еще два раза. Воинственный пыл османов умело поддерживали европейские дворы, вручая Стамбулу крупные денежные

субсидии на вооружение войска. В Первую русско-турецкую войну (1768–1774) таким «донором» для Порты стала Франция. Тому были свои причины. Франция два столетия подряд поддерживала так называемый «Восточный барьер» — полукольцо из своих сателлитов: Турции, Польши и Швеции. Он создавался еще кардиналом Ришелье против Габсбургов, то есть против Священной Римской империи, главную роль в которой играла Австрия. С ослаблением Габсбургов барьер оказался очень действенным против нового соперника Парижа на континенте — поднимающейся Российской империи. В течение всего XVIII века, до воцарения Людовика XVI, Франция являлась самым последовательным и опасным неприятелем России в Европе, вела против нее непрерывающиеся дипломатические и разведывательные войны^[239].

Сами, ни разу за XVIII столетие не столкнувшись с русскими на поле боя, французы одного за другим теряли своих сателлитов. Первой пала Швеция. После поражения в Северной войне там началась так называемая «эра золотой свободы», партии в риксдаге боролись друг с другом, а Петербург открыто перекупал голоса и оказывал жесткое давление на политику соседней страны. Противники России называли такое положение «русским игом»^[240].

С середины 60-х годов вслед за Швецией Франция начала заметно терять свои позиции в Польше. В 1764 году на польский престол был избран ставленник России Станислав Понятовский, после чего русское правительство возбудило вопрос о предоставлении православному населению Речи Посполитой равных прав с католиками^[241]. Проблема имела давние корни. Польское католическое дворянство владело тысячами душ украинских крестьян, православных и униатов по вероисповеданию. На Украине не затихали волнения православного населения, порой принимавшие кровавые формы. В качестве решения данной проблемы Петербург предложил предоставить так называемым диссидентам, то есть иноверцам (не только православным, но и протестантам), равные права с католиками. Если бы новый король пошел на это, то собственно польское и собственно католическое население Речи Посполитой оказалось бы в меньшинстве перед лицом моря православных украинцев.

Понимая это, Станислав Август медлил с решением, а в письмах к Екатерине II пытался убедить ее, что «свобода» и «равноправие» несовместимы. «Природа свободной страны, такой, как наша, — писал он 5 октября 1766 года, — несовместима с допущением к законодательству тех, кто не исповедует господствующую религию. Чем больше национальных

свобод заключено в конституции, тем более соразмерно должны действовать граждане... Мы рассматриваем все, что расширяет границы веротерпимости, как величайшее зло... Ваш посол заявляет, что ваша армия готова употребить в этой стране всю власть своих шпаг, если сейм не допустит иноверцев к законодательству... Нет и еще раз нет: я не верю, что вы начнете войну в Польше... Рекомендую этой нации избрать меня королем, вы несомненно не желали сделать меня объектом проклятий... Молния — в ваших руках. Обрушите ли вы ее на ни в чем не повинную голову?»^[242]

Екатерина II «обрушила молнию». Из этого письма она ясно поняла, что король боится «нации», то есть польской шляхты, заседавшей в сейме, и совершенно не контролирует ситуацию в стране. Она не только приказала действовать русским войскам, расквартированным в Польше, но и ввела туда дополнительные части. В ответ противники России собрали в городе Барре конфедерацию из шляхты, не желавшей предоставления равноправия православным. Ее отряды были рассеяны русскими войсками под командованием Н. В. Репнина и А. В. Суворова.

Однако положение оставалось опасным. Преобладанием русского влияния в Польше не могли быть довольны соседние державы Австрия и Пруссия, рассчитывавшие на свой «кусочек пирога». Тем более была раздражена Франция, старая союзница и покровительница Речи Посполитой. С избранием Понятовского ее «инфлюенции» был нанесен сильный удар, а с началом боевых действий против конфедератов она и вовсе потеряла влияние на польские дела.

Тогда Версаль вспомнил о Турции. В колоде Людовика XV оставалась еще одна разыгранная карта. Французский кабинет пошел с нее. «Я с печалью убедился, что север Европы все более и более подчиняется русской императрице, — писал министр иностранных дел Франции герцог Э. Ф. Шуазель послу в Константинополе графу Ш. Г. Вержену. — Что на севере готовится лига, которая станет страшной для Франции. Самое верное средство разрушить этот проект и низвергнуть императрицу с захваченного ею трона — это было бы возбудить против нее войну. Только турки в состоянии оказать нам эту услугу. Если вы это признаете возможным и если вы надеетесь добиться этого, то вам будут доставлены все денежные средства, которые вам будут необходимы»^[243].

Вержен блестяще справился с задачей. Он передал султану Мустафе III три миллиона ливров на подготовку к войне, которым русский посол А. М. Оресков мог противопоставить только 70 тысяч рублей и заверения, что

русские войска выйдут из Польши, как только конфедераты будут подавлены. В условиях, когда Украина полыхала в огне религиозной войны, поводов для столкновения было сколько угодно. В июне 1768 года отряд казаков-гайдамаков в погоне за конфедератами перешел турецкую границу и разорил город Балту, принадлежавший крымскому хану^[244].

Участники украинского народного движения — гайдамаки — собирались в вооруженные группы, иногда настоящие банды, и занимались военным грабежом, уничтожая католиков, униатов и евреев. Они далеко не всегда подчинялись русскому командованию и действовали на свой страх и риск. Но коль скоро гайдамаки были православными, чьи интересы в Польше и защищала Россия, Стамбул посчитал именно Петербург виновником нападения.

Султан Мустафа III давно ждал такого случая. Он вступил на престол в 1757 году, слыл образованным правителем, писал стихи на персидском языке, устраивал диспуты среди ученых улемов (мусульманского духовенства) и подумывал о европеизационных реформах. Мустафа отдавал дань астрологии, по его приказу гадателей собирали со всех концов страны. Естественно, звезды сулили повелителю правоверных победу, а придворный историограф Васыф именовал султана «новым Александром Македонским»^[245]. В самом конце войны, когда поражение Турции стало очевидным, сердце Мустафы не выдержало и он скончался в январе 1774 года от удара. Но до этого было еще далеко.

25 сентября 1768 года послу Обрескову был предъявлен ультиматум с требованием немедленно очистить Польшу от русских войск, отказаться от гарантий польской конституции и от защиты прав диссидентов. Обресков отверг подобные притязания и был посажен в каземат Семибашенного замка^[246].

Объявляя войну, Стамбул сослался на статью о Польше в Прутском трактате 1711 года. Там было сказано: «В польские дела с обеих сторон не мешаться, також и их подданных ни чем присвоить, ни их, ни земель их». При этом полностью игнорировался следующий по времени Белградский договор 1739 года, отменявший постановления позорного для России Прутского мира. В нем ни слова не говорилось о Польше. Османский двор показывал, что для него не существует дипломатических документов, заключенных после поражений.

Так Порта позволила ввергнуть себя в войну, обернувшуюся для нее потерей Крыма. В Европе считали, что новое столкновение между Россией и Турцией закончится в пользу султана. Шуазель писал французскому

поверенному в Петербурге Сабатье де Кабру: «Его величество желает, чтобы война России с Турцией продолжалась до тех пор, пока петербургский двор, униженный или, по крайней мере, истощенный, не перестанет помышлять об угнетении соседей и о вмешательстве в общеевропейские дела»^[247]. Этим надеждам не суждено было оправдаться.

Верный рыцарь

Война резко изменила судьбу Потемкина. Узнав о расторжении мира, он пожелал отправиться в армию «волонтером» (добровольцем). Этот поступок на первый взгляд уничтожал все, чего Григорий Александрович добился за первые семь лет екатерининского царствования. Придворная карьера открывала ему блестящие перспективы. Он мог постоянно находиться близ монархини, ловя ее милости и щедроты. От такого счастья мало кто был в состоянии отказаться. Однако Потемкин принадлежал к числу людей, способных в один миг перевернуть свою жизнь, не привязываясь к достижениям прошлого.

18 декабря 1768 года Екатерина II подписала указ о прекращении пленарных заседаний Уложенной комиссии. 2 января 1769 года маршал комиссии А. И. Бибиков объявил депутатам, что «господин опекун от иноверцев и член Комиссии духовно-гражданской Григорий Потемкин... отправился в армию»^[248].

Небольшой штрих — почти одновременно с Григорием Александровичем Москву покинул его бывший однокашник Н. И. Новиков, работавший в Уложенной комиссии протоколистом. Узнав о начале войны, Потемкин поспешил в действующую армию, будущий просветитель — в отставку. «Всякая служба не сходственна с моею склонностью, — писал позднее Николай Иванович в предисловии к журналу „Трутенъ“. — Военная кажется угнетающею человечество. Приказная — надлежит знать все пронырства. Придворная — надлежит знать притворства»^[249].

Война «угнетала человечество», и потому Новиков не мог заставить себя принять в ней участие.

Война «угнетала человечество», и потому Потемкин спешил на юг.

В мае 1769 года он прибыл в расположение корпуса генерал-майора князя А. А. Прозоровского, находившегося в польской крепости Барр. Оттуда 24 мая Григорий Александрович обратился к императрице с прошением зачислить его в армию с соответствующим чином:

«Всемиловейшая Государыня! Беспримерные Вашего Величества попечения о пользе общей учинили Отечество наше для нас любезным... Я обязан служить Государыне и моей благодетельнице. И так благодарность моя тогда только изъяснится в своей силе, когда мне для славы Вашего Величества удастся кровь пролить. Сей случай представился в настоящей войне, и я не остался в праздности. Теперь позвольте, Всемиловейшая Государыня... быть в действительной должности при корпусе князя Прозоровского... не включая меня навсегда в военный список, но только пока война продлится... Склонность моя особливо к коннице, которой и подробности, я смело утверждать могу, что знаю. Впрочем, что касается до военного искусства, больше всего затвердил сие правило: что ревностная служба к своему Государю и пренебрежение жизни бывают лучшими способами к получению успехов... Усердие мое к службе Вашей наградит недостаток моих способностей, и Вы не будите иметь раскаяния в выборе Вашем»^[250].

Этот документ примечателен во многих отношениях. При всей официальности тона перед нами светское письмо. Оно отличается ясностью стиля и предполагает не просто получателя, а собеседника. В первой же строке, говоря, что заботы Екатерины «учинили Отечество наше для нас любезным», Потемкин повторяет слова из Наказа императрицы. Для верного рыцаря прекрасной дамы нет чести выше, чем пролить за нее кровь на поле боя. Григорий Александрович желал обрести твердое положение в армии. Не волонтер, а офицер, претендующий на командование более или менее крупным самостоятельным подразделением.

Екатерина II удовлетворила просьбу Потемкина, отпустив его на время от двора и дав военный чин. И вот тут-то произошла примечательная метаморфоза. Мы помним, что Потемкин осенью 1768 года оставил службу в гвардии поручиком (9-й класс) и стал придворным камергером (4-й класс). Теперь ему предстояло получить армейский чин. По Табели о рангах камергер равнялся генерал-майору. Поскольку нашего героя переводили на армейскую службу непосредственно с придворной, он и получил генерал-майора (4-й класс). Если бы Григорий все еще числился в гвардии, то сравнительно низкое звание поручика могло помешать ему достичь чина выше капитанского (9-й класс).

Потемкин и раньше прыгал по лестнице чинов через ступеньки. Однако на этот раз ему удалось совершить такой головокружительный кульбит, что «завистники, души низкие, недалёкие умы» должны были невзлюбить его еще сильнее. Из поручиков в генерал-майоры, и это, заметим, задолго до фавора. Следует сделать вывод, что Потемкин еще до

близости с государыней рос по службе стремительно. Вероятно, в тот момент злопыхателям казалось, что самая крупная удача уже улыбнулась ему. Никто не предполагал, что следующей остановкой в карьере Григория Александровича будут императорские апартаменты.

Нельзя не заметить, как внимательно Екатерина относилась к своему протеже, мягко, но настойчиво направляя его служебный путь. Наметив умного, одаренного юношу в качестве сотрудника на будущее, она уже не оставляла его своей заботой. В 1763 году поддержала в трудных обстоятельствах, не позволила замкнуться, дала работу, соответствовавшую интересам и знаниям. Когда против Потемкина наметилось озлобление придворной среды, умело отдала от себя, понимая, что сильные враги могут погубить способного молодого человека. Однако не оставила без дела и при первой возможности вновь приблизила. С началом войны двойным переводом — из гвардии ко двору, а от двора в армию — закрепила за ним высокие ранги.

Такое нарушение субординации стало возможно только по личному указанию императрицы. Недовольные сановники могли указать Екатерине на несообразность ее действий. Самойлов прямо говорит, что «враги» его дяди допустили исполнение «высочайшей милости... единственно потому, чтобы переименованием в чин воинский навсегда удалить его от дворской службы»^[251].

Вскоре Потемкин стал командиром кавалерийского отряда и принял участие в боевых действиях. 16 июня 12-тысячное турецкое войско переправилось через Днестр, но было отбито частями Прозоровского. Среди отличившихся в деле значился и «камергер Потемкин». 2 июля при овладении турецкими укреплениями под крепостью Хотин Григорий Александрович оказался в самом пекле, словно оправдывая обещание пренебрегать жизнью. Под ним была убита лошадь, но сам он не получил ни царапины^[252].

Прозоровский командовал авангардом 1-й армии генерал-аншефа князя А. М. Голицына. Вскоре Потемкин обратил на себя и внимание последнего. «Непосредственно рекомендую Вашему Величеству мужество и искусство, которое оказал в сем деле генерал-майор Потемкин, — писал Голицын в рапорте Екатерине II, — ибо кавалерия наша до сего времени не действовала с такою стройностью и мужеством, как в сей раз под командою выше означенного генерал-майора»^[253].

Конечно, как пишет Самойлов, при такой отличной характеристике Потемкин не остался бы без награды. Однако придворные

недоброжелатели «обнесли его перед государынею, будто он осмеивал главнокомандующего; а склонный к сатире ум Григория Александровича был причиною, что и государыня тому поверила». Екатерина тем сильнее была недовольна несдержанностью своего протеже на язык, что Голицын хвалил и отличал его.

Новый командующий Румянцев тоже быстро оценил талант молодого генерала. Уже 3–4 января 1770 года Потемкин со своим кавалерийским отрядом успешно действовал при Фокшанах, 18 января при Браилове. Вместе с корпусом генерала Х. Ф. Штофельна совершил поиск (быстрый конный рейд) к Бухаресту и 4 февраля овладел городом Журжей. После разгрома турок при Рябой Могиле успешно преследовал отступавшие отряды противника.

В конце января 1770 года Румянцев донес императрице о «ревностных подвигах генерал-майора Потемкина, который, усердствуя службе вашего величества и Отечеству, сам просился у меня, чтоб я его отпустил в корпус генерал-поручика фон Штофельна, где самым делом и при первых случаях отличил уже себя в храбрости и искусстве»^[254]. Командующий просил наградить Потемкина, и 3 февраля 1770 года Григорий Александрович удостоился первого ордена — Святой Анны.

Следом за Штофельном командование корпусом, где служил Потемкин, принял генерал-поручик князь Н. В. Репнин. Позднее Григорий Александрович обгонит его по чинам, и это станет одной из причин долго скрываемой неприязни Репнина к бывшему подчиненному.

Летом нового 1770 года Румянцева решил разыскать и разгромить главную 22-тысячную турецкую армию, подкрепленную еще 50 тысячами татарских всадников. По его сведениям, она находилась где-то на южном берегу Прута. 17 июня командующий перешел Прут и ударил по правому флангу противника. Потемкин со своим конным отрядом получил приказ форсировать реку тремя милями ниже по течению и обойти турок с тыла. Операция блестяще удалась. Турецкие войска, попавшие в клещи, охватила паника^[255]. За успех в этом сражении Григорий Александрович получил орден Святого Георгия 3-й степени. Наградной лист императрица подписала 27 июля 1770 года, открыв его фамилией Румянцева, который был пожалован Георгиевским орденом 1-й степени.

Развивая наступление вниз по течению Прута, Румянцев 21 июня встретился с 80-тысячным войском турок и татар, стоявших лагерем у реки Ларги. 7 июля он атаковал их. В том сражении Потемкин вновь отличился. Армия двинулась к Кагулу, но в это время татары попытались отрезать

противника от магазейна с провиантом, так что продовольствия в русских войсках оставалось не более чем на сутки. Румянцев приказал Потемкину взять отряд конницы и ускорить продвижение магазейна, защищая его от неприятеля. «Григорий Александрович, доставьте нам пропитание наше на конце вашей шпаги», — сказал он. Потемкин блестяще справился с делом, однако это поручение помешало ему принять непосредственное участие в знаменитом Кагульском сражении. Вернувшись к корпусу Репнина, он произвел поиски на Измаил (тогда полуразрушенную крепость) и Килию. А в следующем году разгромил турецкий отряд у реки Олты, ворвался в прибрежный город Цембры, где захватил множество мелких судов противника^[256]. Здесь в плену находились несколько сотен христианских семей, которые под защитой Потемкина переправились на левый берег Дуная.

Полученные по представлениям Румянцева награды — орден Святой Анны и Святого Георгия 3-й степени — свидетельствуют о признании командующим заслуг Потемкина. Двое сильных, они уважали друг друга. Судя по письмам к Потемкину его боевых товарищей, также служивших под началом у Румянцева: Николая Репнина, Алексея Ступишина, Юрия и Василия Долгоруковых, Ивана Подгоричани, Матвея Муромцева и других, — Григорий Александрович нередко заступался за них перед суровым и властным командующим.

Что давало ему право на «особые отношения» с Румянцевым? Боевые подвиги? Несомненно. Но не только они.

Уже к началу войны Потемкин был личностью заметной, имел влиятельных друзей при дворе, состоял в близком знакомстве с государыней, пользовался ее личным покровительством. Продвигать такого человека вперед было делом выгодным и перспективным. Недаром язвительный и недоброжелательный Ю. В. Долгоруков, служивший вместе с Григорием Александровичем, замечал по этому поводу: «У Потемкина никогда ни в чем порядку не было, а граф Румянцев его весьма уважал по его связям у двора»^[257].

Петр Александрович всегда пользовался при дворе почетом, его заслуги были слишком велики, чтобы не оказать ему должного уважения^[258]. С 1770 года, в связи с назначением на пост командующего, реальный вес Румянцева чрезвычайно возрос. Однако и ему необходима была помощь во дворце, фельдмаршал надеялся на большую самостоятельность в принятии военных решений. Бесконечное обсуждение планов с Петербургом затягивало дело.

Осенью 1770 года он направил Потемкина в столицу, снабдив рекомендательными письмами для императрицы и Григория Орлова. Его отзыв о подчиненном был еще более лестен, чем слова Голицына: «Ваше Величество видеть соизволили, сколько участвовал в действиях своими ревностными подвигами генерал-майор Потемкин. Не зная, что есть быть побуждаему на дело, он сам искал от доброй своей воли везде употребиться. Сколько сия причина, столько другая, что он во всех местах, где мы ведем войну, с примечанием обращался и в состоянии подать объяснение относительно до нашего положения и обстоятельств сего края, преклонили меня при настоящем конце кампании отпустить его в С.-Петербург»^[259].

Потемкину предстояло выступать на заседаниях Государственного совета и докладывать лично Екатерине II. Кроме того, он собирался поблагодарить императрицу за пожалование орденом. Еще 21 августа Потемкин писал государыне: «Не находя себя довольна в силах заслужить оную высочайшую милость на самих делах, еще менее себя чувствую способным на слова принести всеподданнейшую благодарность. Нет для меня драгоценнее жизни, и та вашему величеству нелицемерно посвящена, конец токмо оной окончит мою службу»^[260].

За год Потемкин сделался в армии еще более известен, чем до этого при дворе. Теперь ему предстояло соединить достижения на военном и гражданском поприще для дальнейшего продвижения. Камер-фурьерский церемониальный журнал, в который ежедневно записывались все события, происходившие при дворе, отмечает ласковый прием, оказанный Потемкину императрицей. За октябрь и ноябрь он одиннадцать раз обедал вместе с государыней в узком кругу приближенных. Затем присутствовал на первом празднике георгиевских кавалеров. Находившийся в тот момент в Петербурге брат прусского короля принц Генрих, познакомившись с Потемкиным, предрекал ему большое будущее.

Но пока все это было лишь предчувствием счастья. Благосклонность императрицы, внимание общества, покровительство сильных мира сего, военная удача, наконец, могли отвернуться от Потемкина в любой момент. Тленные, мирские, преходящие вещи. Прибыв в столицу, Григорий Александрович привез своей даме сердца необыкновенный подарок. Крест из валашского монастыря в местечке Радовозы, который, по уверениям местного духовенства, был сделан из остатков Животворящего Креста Господня. Этот жест должен был сказать императрице о многом.

Доблестный крестоносец прибыл из Святой земли и преподнес своей

возлюбленной самое дорогое — частицу Креста, на котором был распят Спаситель.

Православный генерал привез государыне реликвию веры, которую они оба утверждали и отстаивали на берегах Черного моря.

Мужчина отдал в дар женщине лучшее, что могло их соединить, — живое доказательство, что у его земной любви есть небесное продолжение.

Екатерина была тронута и приказала поставить святыню в придворной церкви. Рядом с этим подарком ни в какое сравнение не шли породистые арабские скакуны или богатое трофейное оружие, присылаемые от П. А. Румянцева, А. Г. Орлова и других генералов.

Благодарность императрицы выразилась в неожиданной форме. Она дала согласие на переписку с Потемкиным. Вернее осторожная Екатерина соглашалась получать от своего давнего почитателя письма и устно отвечать на них через своего библиотекаря Василия Петровича Попова (старого университетского друга Потемкина) и статс-секретаря Ивана Перфильевича Елагина (также покровительствовавшего молодому генералу)^[261].

Мы видели, что Потемкин писал императрице и раньше, прося о зачислении в армию или благодаря за пожалование Георгием 3-й степени. В чем же заключалась разница? Прежде Григорий Александрович направлял Екатерине только официальные (пусть и собственноручные) бумаги в строго определенных протоколом случаях. Теперь же ему позволялось вступить в частную переписку, для которой не требовался официальный предлог.

Писем Потемкина из армии не сохранилось. Из более поздних записок Екатерины известно, что она постоянно жгла его послания^[262]. Почта армейского корреспондента императрицы могла возбудить живой интерес и Орловых, и Паниных, а потому государыне приходилось быть очень осторожной.

Время, проведенное в столице, Потемкин использовал для укрепления старых связей. Он возобновил прежние дружеские отношения с Григорием Орловым, и тот в письме Румянцеву называл его своим «старым приятелем». Но дороже всего была характеристика государыни. «Ревность его ко мне известна, — писала она Румянцеву. — Я надеюсь, что вы не оставите молодость его без полезных советов, а его самого без употребления, ибо он рожден с качествами, кои Отечеству могут пользу приносить»^[263].

Екатерина давала понять командующему: продолжайте

покровительствовать и доверять этому человеку, ибо ему покровительствую и доверяю я. Подобных прозрачных намеков фельдмаршал не мог не понять. Он сделал ставку на Потемкина, как на постоянного посредника в своих сношениях с двором и возможного выдвигенца на пост фаворита. В тот момент звезда братьев Орловых горела слишком ярко, чтоб пытаться ее затмить, но, как говорят на востоке, время перемалывает камни. С начала 70-х годов при дворе начали происходить события, которые в итоге позволили Потемкину обойти своих соперников и оказаться на вершине власти.

«Ангел мира»

Ход войны показал, что французский кабинет ошибся в своих прогнозах. Два-три поражения, после которых Екатерина II должна была лишиться престола, все не приходили. Вместо них активные военные действия в Молдавии, Валахии, Закавказье и удачная экспедиция русского флота из Балтики в Средиземное море увенчались каскадом побед. 16 сентября 1770 года командовавший 2-й армией генерал П. И. Панин взял Бендеры. В течение осени генерал Г. К. Тотлебен, поддержанный грузинскими волонтерами, захватил турецкие крепости в Имеретии: Кутаиси, Багдади и Шорапани.

Крупнейшим событием кампании 1770 года было появление в водах Средиземного моря трех русских эскадр под общим командованием А. Г. Орлова. В прошлом гвардейский офицер, Алексей Григорьевич не имел опыта управления морскими силами, поэтому ему в помощь были приданы два опытных адмирала Г. А. Спиридов и С. К. Грейг. Весной адмирал Спиридов произвел высадку русского десанта в Морее, это послужило сигналом для восстания местных греков против турок. Русскими и греческими войсками были заняты Миситрия, а также порт Наварино.

24 июня русские моряки нанесли турецкому флоту сильный удар в Хиосском проливе, а через два дня настигли его в Чесменской бухте, куда турецкая эскадра скрылась под защиту береговых батарей. В ночь на 26 июня турецкие корабли были почти полностью уничтожены. «Турки прекратили всякое сопротивление даже на тех судах, которые еще не загорелись, — писал в рапорте Грейг. — Большая часть гребных судов или затонули, или опрокинулись от множества людей, бросавшихся в них. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду»^[264]. Орлов распорядился спасать и втаскивать на борт всех уцелевших — русских и

турок без разбора. По его приказу флот направился к Дарданеллам, чтобы блокировать пролив и перерезать морские коммуникации противника.

В этих условиях Порте ничего не оставалось, как продемонстрировать готовность к мирным переговорам. В мае 1771 года из Семибашенного замка был освобожден А. М. Обресков. Для проведения мирной конференции русская и турецкая стороны выбрали Фокшаны. Туда из Петербурга в качестве «первого посла» отправился Г. Г. Орлов.

В письме к своей французской корреспондентке госпоже Бьельке Екатерина писала 25 июня: «Мои ангелы мира, думаю, находятся теперь лицом к лицу с этими дрянными турецкими бородачами. Граф Орлов, который без преувеличения самый красивый мужчина своего времени, должен казаться действительно ангелом перед этим мужичьем;... Это удивительный человек; природа была к нему необыкновенно щедра относительно наружности, ума, сердца и души. Но госпожа натура также его и избаловала, потому что прилежно чем-нибудь заняться для него труднее всего, и до тридцати лет ничто не могло его к этому принудить. А между тем удивительно, сколько он знает; и его природная острота простирается так далеко, что, слыша о каком-нибудь предмете в первый раз, он в минуту отмечает сильную и слабую его сторону и далеко оставляет за собою того, кто сообщил ему об этом предмете»^[265].

Конечно, императрица очень пристрастна в описании своего «ангела мира». Дипломатия, к несчастью, не относилась к числу тех предметов, в которых Григорий Григорьевич начинал разбираться, едва услышав о них. С его именем обычно связывают провал переговоров, однако в реальности дело обстояло гораздо сложнее. Дипломатическое фиаско фаворита было старательно подготовлено его противниками.

В течение первой половины царствования Екатерины при дворе боролись две главные партии, сложившиеся еще в период подготовки переворота: Паниных и Орловых. В намерения первой из них входило возвести на престол наследника Павла и ограничить самодержавие в пользу узкой группы аристократов. Вице-канцлер Никита Иванович Панин предусматривал введение императорского совета из шести — восьми несменяемых членов, без ведения которого монарх не имел бы права решать важнейшие государственные вопросы^[266].

Согласно конституционному проекту Панина, составленному по шведскому образцу, законодательная власть вручалась Сенату, государю оставалась исполнительная с правом утверждать принятые Сенатом законы. Выбирать и быть избранным в Сенат могло только дворянство^[267].

Иных воззрений держалась императрица. Нередко называя себя «республиканкой», Екатерина тем не менее считала, что для России подходит только абсолютная монархия. «Пространственное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит, — писала императрица в Наказе в Уложенную комиссию. — Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых, награждала медление, отдаленностию мест причиняемое. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно»^[268].

Екатерина резко осуждала возможность появления в России дворянской «республики». Это убеждение в ней подкрепляла повседневная внешнеполитическая практика, при которой в интересах своей державы императрица не раз покупала голоса целых сеймовых партий и годами содержала на русские деньги такие партии в Польше и Швеции^[269].

Опираясь на поддержку Орловых, Екатерина долгое время вела борьбу с аристократической фрондой. Фаворит императрицы Григорий Григорьевич пользовался славой беспутного, но доброго и справедливого человека^[270]. Его брат — адмирал Алексей Григорьевич, знаменитый Чесменский герой, был чрезвычайно популярен в русском дворянском обществе^[271].

Постоянно балансируя между двумя группировками, государыне удавалось удерживать власть. Свое положение по отношению к этим силам она сравнивала с незавидной судьбой зайца во время травли^[272].

Кроме того, при дворе действовали несколько мелких партий, объединявшихся вокруг того или иного заметного вельможи. К ним можно отнести и сторонников Румянцева. Иногда эти группировки блокировались с более крупными партиями и так удерживались на плаву. Приход новой группировки к власти внешне знаменовался сменой императорского любимца^[273].

Управляя страной, государь опирался не только на специально назначенных чиновников, но и на особо доверенных лиц — фаворитов (часто друзей или возлюбленных), которые должны были трактовать остальным волю монарха. В свою очередь фавориты представляли перед императором интересы той партии, которая их выдвинула. Каждая группировка готовила своего претендента на этот важный пост. Фаворит выполнял роль посредника между высочайшим лицом и его двором, генералитетом, высшими чиновниками.

Периоды смены фаворитов знаменовались замедлением темпов деятельности государственных учреждений. Ход бумаг приостанавливался,

чиновники боялись не потрафить новому случайному вельможе. Французский дипломат М. Корберон доносил 17 сентября 1778 года: «В делах России замечается нечто вроде междоусобия, которое происходит в промежуток времени между смещением одного фаворита и водворением другого... Даже министры, на которых отражается это влияние, откладывают свои дела до той минуты, пока окончательно утвержденный выбор фаворита не приведет их умы в нормальное состояние и не придаст машине ее обычный ход»^[274].

Система фаворитизма несла в себе много неудобств. Она дорого стоила казне. Благодаря ей во власть нередко попадали люди, плохо подготовленные для государственной деятельности. Но она имела в глазах монарха одно немаловажное преимущество — в случае неудачи того или иного крупного мероприятия он оставался незапятнанным, а фаворита, виновного в «неверной» трактовке распоряжений государя, можно было сместить.

Именно такая ситуация сложилась в 1772 году, когда посланный на мирный конгресс Г. Г. Орлов начал с такой недипломатической бескомпромиссностью проводить в жизнь указания императрицы, что фактически провалил переговоры. Турецкая сторона покинула Фокшаны^[275]. Авторитет «укротителя» московской чумы, а вместе с ним и авторитет всей его партии оказался сильно подорван, чему немало способствовали действия главы противоборствующей группировки — Панина. Никита Иванович сумел представить неудачу переговоров как вину одного Орлова^[276].

Между тем провал конференции был предопределен заранее, поскольку в русском правительстве не наблюдалось единства по вопросу о мире. Инструкции, данные дипломатам, носили следы борьбы двух влиятельнейших группировок, по-разному смотревших на перспективы дальнейшей войны с Турцией. Так, Панин стремился к скорейшему заключению договора и именно в этом ключе наставлял Румянцева и Обрескова. Со своей стороны, братья Орловы отстаивали идею «константинопольского похода», с которой Григорий Григорьевич впервые выступил на Государственном совете еще в 1770 году.

Предполагалось, что при удачном развитии военных действий Россия может нанести удар по столице Оттоманской Порты со стороны Дарданелл силами средиземноморской эскадры Алексея Орлова. Падение Стамбула должно было понудить турок к скорейшей капитуляции. Екатерина II писала по этому поводу Вольтеру: «Что касается взятия Константинополя,

то я не считаю его столь близким. Однако в этом мире, как говорят, не нужно отчаиваться ни в чем»^[277]. Поскольку военные действия развивались удачно, в Петербурге решили приурочить «константинопольский поход» к кампании 1772 года. Румянцев был поставлен в известность, что ему предстоит отделить из своей армии 40 тысяч человек для действий за Дунаем.

Командующий был не в восторге от такой перспективы. В ответных донесениях он убеждал Екатерину, что удержание территории Молдавии и Валахии русскими войсками требует много сил. Овладение же Константинополем поставит под угрозу русские позиции на Дунае^[278]. Таким образом, Румянцев фактически принял сторону Панина в его споре с Орловыми. С этого момента румянцевская группировка и на переговорах, и в Петербурге стала действовать в русле интересов панинской партии. Потемкин, которого поддерживал Румянцев, уже не был свободен в выборе политических союзников. Панины властно втягивали его в орбиту своей деятельности вместе с другими сторонниками командующего.

Императрица внешне оставалась над схваткой, но в душе не могла не сочувствовать смелому проекту Григория Григорьевича. Он сулил ей неувядаемую славу. Поэтому, в то время, как Никита Иванович смотрел на конгресс в Фокшанах как на дорогу к миру, Екатерина и ее фаворит стремились лишь к временному перемирию, которое даст, передышку для подготовки похода на Царьград. Орлов настаивал даже, чтобы в конвенцию не были внесены русские эскадры на Средиземном море, это давало его брату свободу рук.

Отсутствие единства в русской делегации привело к разноречивым требованиям первого посла Орлова и второго посла (заместителя) Обрескова. Турки заметили колебания русской стороны и начали затягивать подписание конвенции. И тут Григорий Орлов совершил крупнейшую дипломатическую ошибку. Он поставил крайне щекотливый вопрос о признании Турцией независимости Крымского ханства главным условием заключения договора. Между тем собственноручная инструкция Екатерины II предписывала ни в коем случае не начинать обсуждения условий мира с вопроса о Крыме. Это лишало русских дипломатов резерва, за счет которого в случае необходимости можно было бы сделать частичные уступки туркам. В то же время несогласие по основному пункту могло повлечь за собой разрыв переговоров. Что и произошло. Екатерина писала: «Сие требование наше есть прямо узел Гордианской». Его-то и предстояло развязать, а не разрубить послам.

Но прямой и не склонный к хитрости Орлов пошел напролом. Согласно протоколу заседаний он заявил, что «главнейшею причиною раздоров и кровопролития между обеими империями были татары», а «для истребления той причины... надлежит признать сии народы независимыми». В ответ турки возражали, что «надобно доказать, татары ли были причиною сей войны» и что «нынешний султан содержит их в строгости». Только Обресков приступил к изложению длинного списка «обид, убытков и раздоров», причиненных татарами, как первый посол вновь взял слово: «По покорении татар оружием ее императорского величества зависело от сильной ее руки искоренить их, как всегдашних врагов ее империи, или присвоить их себе по праву завоевания... Но ее величество даровала им вольность и независимость». Обресков тут же ловко облек мысль своего начальника в дипломатическую форму: «Турецкий султан не имел над татарами права завоевания: сами ему предались, сами и отвергаются»^[279]. В те времена «завоевание» рассматривалось как более высокая ступень по сравнению с добровольным вхождением. Пришедший сам мог и уйти по своей воле.

После выступления Орлова переговоры полностью сосредоточились на проблеме Крыма, которую, как карту, следовало держать в рукаве. Ведь обе стороны понимали, что спор идет не вокруг вопроса, может или не может султан «обуздать» татар. Борьба между Россией и Портой шла за важнейшую стратегическую позицию на Черном море — Крымский полуостров, которую Турция не хотела выпускать из рук. Более того, турецкие представители не имели полномочий решить столь важный вопрос. Если б они уступили, дома в Стамбуле их ожидал щедрый дар султана — шелковый шнурок.

Глава турецкого посольства Осман-паша прямо сказал об этом Орлову 4 августа: «Сжальтесь, ваше сиятельство, надо мною... Если бы теперь пришлось возвращаться без успеха, то лучше ехать в Англию или Швецию». В ответ Орлов добродушно заметил: «Нет, лучше в Петербург, и поехали бы вместе»^[280].

Григорий Григорьевич настаивал на том, что обсуждение других мирных условий может начаться только после решения вопроса о Крыме. С этой целью он составил ультиматум и предъявил его турецкой стороне. После этого неудача переговоров стала очевидной, и 22 августа турецкие послы были отозваны великим визирем. Орлов, не дожидаясь их отъезда, первым покинул Фокшаны. Его партия могла торжествовать, она добила своего: мир не был заключен, все лето прошло в переговорах, передышка

была использована для наращивания сил. Однако обстановка внутри страны и на ее границах серьезно изменилась, отодвинув перспективу похода на Константинополь.

В конце августа в Петербург пришло известие о государственном перевороте в Швеции. Король Густав III, поддержанный армейскими офицерами, дворянством и горожанами, восстановил абсолютную монархию, отняв у риксдага законодательные права. Густав был молод, амбициозен и вынашивал в отношении России планы реванша за проигранную его предками Северную войну. Момент казался удобным, Петербург прочно увяз в польских и турецких делах, войск на севере почти не было.

Внутри России обстановка также накалялась. Шел четвертый год войны, цены выросли, налоги тоже, частые рекрутские наборы вызывали недовольство населения. С января 1772 года из Оренбурга стали приходить сообщения о стычках яицких казаков с местными чиновниками, тогда же тревожные вести о волнениях поступили с Дона. На Волге в Царицыне обнаружили подстрекатели к мятежу. Донские казаки укрепили Черкасск, готовясь к открытым боям с регулярной армией. То тут, то там вспыхивали локальные восстания, грозившие слиться воедино. Казалось, удача в одно мгновение отвернулась от Екатерины: ни один из насущных вопросов не был решен и даже не подвигался к решению.

В этих условиях императрица встала на сторону Панина в вопросе о мире. В Фокшаны был послан гонец с рескриптом, государыня предписывала Орлову всеми мерами избегать разрыва переговоров. В случае продолжения войны, говорила она, «дела империи будут находиться в самом важном... кризисе, какого со времен императора Петра I для России не настояло»^[281]. Но было уже поздно. Ее голубь мира вез домой сломанную пальмовую ветвь.

Орел в клетке

Огромная власть, которой Орловы пользовались уже двенадцать лет по милости Екатерины, начала серьезно тяготить государыню^[282]. Императрица хотела видеть в них сотрудников, а не «хозяев». К тому же личные отношения с Григорием Григорьевичем разладились. Причина этого крылась в органическом нежелании фаворита трудиться на государственном поприще.

После переворота 1762 года Орлова ждала власть, но именно этой-то власти, а вернее связанной с ней повседневной, кропотливой работы, и не выдержал сильный, но бесшабашный и ленивый Гри Гри. Григорий Григорьевич был человеком одаренным: выступал на сцене, ставил физические опыты по строительству фундаментов в условиях вечной мерзлоты. Уже после своего ухода с поста фаворита, во время заграничного путешествия в 1777 году Орлов встречался с химиком Ж. Бернулли. Естествоиспытатель, неожиданно для себя, был очарован человеком, которого по всем правилам общественной морали того времени полагалось презирать. С удивлением он писал друзьям: «Должен признаться, мне Орлов до чрезвычайности понравился»^[283]. Физика и химия были страстью Григория Григорьевича, но для того, чтобы заняться чем-то надолго и всерьез, ему не хватало усидчивости.

Недостаток элементарного трудолюбия не позволял ему стать по-настоящему государственным человеком. Корберон писал о нем в том же 1777 году: «Это красивый мужчина. Императрица сохраняет к нему дружбу... Он человек открытый, прямой и честный; его твердость никогда не колебалась, у него есть характер. Если бы к этому он прибавил знание государства и последовательность в действиях, он стал бы великим министром»^[284].

В минуты острой необходимости, например, во время московской чумы 1771 года, Орлов умел собрать всю свою энергию и направить ее на разрешение поставленной задачи. Однако подобные всплески случались у него изредка. Екатерина все более и более погрязала в государственных делах, а Григория Григорьевича все сильнее одолевала скука. Его безделье начинало раздражать государыню. В письме к госпоже Жоффрен она замечает: «Он отъявленный лентяй, хотя очень умный и способный»^[285].

Вступая в заговор с целью возведения Екатерины на престол, братья Орловы тешили себя надеждой, что, получив корону, императрица решится на венчание с Григорием. Этот проект, однако, потерпел крах, поскольку русское дворянское общество отнюдь не настроено было подчиняться «госпоже Орловой». Екатерина отлично понимала, где граница, за которую она не смеет переступить. Эту границу четко обозначил Панин, заявивший по поводу предполагаемого брака: «Императрица делает, что хочет, но госпожа Орлова не будет русской императрицей».

Екатерина пожертвовала проектом нового брака ради укрепления на престоле. Ее шаг был весьма показателен. Она неуклонно подчиняла личные привязанности политическим интересам. Орлов двенадцать лет

оставался фаворитом, обеспечивая государыне прочную поддержку своей партии. Честность и открытость делали его привлекательным в роли временщика даже для представителей дворянской оппозиции. Князь М. М. Щербатов писал о нем в памфлете «О повреждении нравов в России»: «Среди кулачных боев, борьбы, игры в карты, охоты и других шумных забав, почерпнул и утвердил в сердце своем некоторые полезные для государства правила... Никому не мстить, отгонять льстецов, оставлять каждому месту и человеку непрерывное исполнение их должностей... Хотя его явные были неприятели графы Никита и Петр Ивановичи Панины, никогда не малейшего им зла не сделал, а напротив того, во многих случаях им делал благодеяния и защищал их от гнева государыни... Во время его случая дела весьма порядочно шли... Но все его хорошие качества были затмены его любострастием... не было ни одной почти фрейлины у двора, которая бы не подвергнута была к его исканиям»^[286].

И действительно, Григорий чаще и чаще пренебрегал хрупкими сердечными узами, связывавшими его с Екатериной, ища развлечений на стороне. Виной тому было не охлаждение, а чувство обиды и разочарования, которое постепенно охватывало душу первого из екатерининских орлов. Императрица не вышла за него замуж, сделав тем самым положение Григория Григорьевича крайне шатким, более того — унижительным.

При дворе «вельможе в случае» всегда завидовали, всегда льстили в глаза и его же презирали и травили за глаза. Близость с императрицей перечеркивала все реальные заслуги временщика, внушала к ним скептическое, высокомерное отношение общества. А Григорий Григорьевич, от природы мужественный и честный, с трудом переживал подобное положение.

Была и другая причина душевного отдаления между императрицей и Орловым — ее ум. Мало найдется мужчин, готовых осознать, что любимая женщина может быть умнее и талантливее их самих. Но еще меньше тех, кто, осознав, согласится переносить такую женщину рядом с собой. Григорий Григорьевич не был самодовольным ничтожеством и поэтому скоро понял: Екатерина намного одареннее, работоспособнее и мудрее его. Но чувство уязвленного самолюбия все же кололо ему душу. Вкупе с многочисленными интригами, путем которых придворные группировки старались внести раскол между Екатериной и Орловым, чтобы впоследствии заменить его более послушным фаворитом, это чувство стало катализатором личного разрыва.

Однако за сердечным охлаждением политический раскол последовал

очень не скоро. И здесь мы сталкиваемся с яркой чертой характера императрицы. Екатерина всегда подчиняла движения сердца государственной необходимости. Уже остыв к Григорию Григорьевичу, она в течение нескольких лет терпела его неверность, пьянство и даже, как шептались в придворных кругах, побои, случавшиеся под горячую руку. Корберон, ссылаясь на рассказ хорошо знакомого ему швейцарского адвоката Пиктэ, пятнадцать лет прослужившего в доме Орлова, писал: «Григорий бил ее не раз, и Пиктэ, бывший свидетелем их интимной жизни, говорил мне, что видел государыню в слезах, и она жаловалась ему на недостаток внимания к ней со стороны князя»^[287]. Почему же Екатерина позволяла подобное обращение с собой?

Союз с партией Орловых был слишком ценен для нее как для государыни. Она не могла позволить себе показать истинные чувства и своими руками разрушить опору, которая помогала ей держаться у власти. Императрице нужен был противовес враждебной группировке Панина.

После неудачи в Фокшанах позиции Орловых значительно ослабли. И тогда Екатерина пошла на разрыв, поскольку сохранение за Григорием поста фаворита уже не соответствовало его реальному влиянию на государственные дела. «Ангел мира» справедливо увидел в случившемся козни своих противников. Он бросился в столицу, но, не доехав до Царского Села, был остановлен и водворен к себе в поместье под предлогом карантина^[288]. (На юге, откуда прибыл Орлов, свирепствовала чума^[289].) Его сказочно наградили, но потребовали на год удалиться от двора^[290]. Партии Орловых был нанесен удар сокрушительной силы.

Императрица взяла себе в фавориты предложенного панинской группировкой Александра Семеновича Васильчикова, человека тихого, недалекого и во всем подчинявшегося Никите Ивановичу^[291]. В «Чистосердечной исповеди» Потемкину женщина признавалась, что во время связи с Васильчиковым «более грустила, нежели сказать могу». «Я думаю, что от рожденья своего я столько не плакала, как сии полтора года... Признаться надобно, что никогда довольнее не была, как когда осердится и в покое оставит, а ласка его меня плакать принуждала»^[292].

Странные слова. На первый взгляд кажется, что государыня могла выбрать себе в качестве фаворита, кого ей вздумается. На самом же деле она оказалась заложницей борющихся за власть группировок. Северная Мессалина, как Екатерину именовали в Европе, могла удержать избранника возле себя ровно столько, сколько позволяла политическая ситуация, и ни минутой дольше. Личная жизнь императрицы превращалась в приводной

ремень государственной машины, а сама Екатерина и близкие ей люди становились пленниками придворного механизма.

Трудно было назвать Паниных, представлявших интересы цесаревича Павла, идеальной опорой для императрицы. В 1772 году великому князю справили совершеннолетие. В дипломатических кругах ожидали, что государыня поделится с сыном властью^[293]. Панины, находившиеся около года вне конкуренции, пытались подтолкнуть Екатерину к уступкам в пользу Павла^[294].

С 1771 года в донесениях иностранных дипломатов замелькали отрывочные сообщения о том, что «низкие люди», как писал 2 августа 1771 года английский посланник сэр Каскарт, «желали свергнуть императрицу с престола под тем предлогом, что ей была вручена корона лишь на время малолетства сына, и возвести на престол великого князя, что они и намеревались исполнить в день св. Петра»^[295]. Новый британский посол сэр Роберт Гуннинг сообщал в Лондон 28 июня 1772 года о цепи неудачных придворных заговоров в России. Правительство удовлетворялось наказанием рядовых членов. Среди влиятельных лиц, «руководивших предприятием», назывались братья Панины и княгиня Дашкова, но Екатерина предпочла «не разглашать дела»^[296]. Плотная стена сторонников сына вокруг императрицы замкнулась.

Ответный удар Екатерины доказывал, что она многому научилась у своего вице-канцлера. Императрица объявила о желании женить наследника. На первый взгляд это был триумф партии цесаревича, так как по понятиям того времени брак доказывал совершеннолетие человека. Казалось, Екатерина II спешит выполнить все формальности для передачи сыну короны. Именно Никите Ивановичу было поручено подыскать кандидатуру невесты. Тем временем Екатерина предприняла шаги для возвращения Орловым бывшего политического значения. Весной 1773 года князь Григорий Григорьевич вернулся ко двору и вступил в прежние должности^[297]. Ему оказывали небывалое почтение. Именно он отправился вместе с императрицей встречать невесту великого князя принцессу Вильгельмину Гессен-Дармштадтскую, прибывшую с матерью в Россию. Орлов пригласил их с дороги в свой дворец привести себя в порядок перед официальной церемонией встречи. Это было знаком высочайшей милости к Григорию Григорьевичу. Васильчиков все еще занимал покои во дворце, но функции доверенного лица отчасти вернулись к Орлову.

После свадьбы цесаревича в сентябре 1773 года Екатерина отстранила Никиту Ивановича от должности воспитателя, поскольку

совершеннолетний женатый наследник уже официально не нуждался в наставнике^[298]. Сохранивший пост вице-канцлера, Панин был осыпан милостями и огромными пожалованиями. Внешне все выглядело очень благовидно. Но момент для решительных действий был упущен. На время установилось шаткое равновесие сил между сторонниками и противниками Екатерины II. Как следствие встал вопрос о фаворите: креатура Панина — Васильчиков далее не мог занимать это место, поскольку его покровитель потерял прежнее значение. Орловы же еще не вернули былого могущества, к тому же между Екатериной и Григорием Григорьевичем старые отношения не восстановились.

Решено было выпустить на большую политическую сцену партию главнокомандующего Румянцева^[299]. Ее претендент в качестве промежуточной фигуры удовлетворял обе основные группировки. Они на мгновение расступились, давая ему дорогу, чтобы в следующую минуту с еще большим ожесточением броситься друг на друга. Этим претендентом и был Потемкин.

На подступах к Силистрии

Вернемся к нашему герою. Дважды во время кампании 1771 года он оказался на волосок от смерти. После возвращения из Петербурга Потемкин получил командование корпусом и поспешил на соединение с войсками генерал-майора И. В. Гудовича у крепости Турна на Дунае. Между тем Репнин, прибыв к Турне, не нашел ее штурм целесообразным и приказал Гудовичу отступить. Турки, заметив, что основная часть русских войск отошла, предприняли нападение на двигавшийся к крепости пятитысячный корпус Потемкина. Силы неприятеля превосходили его в четыре раза. Два дня длилось сражение, где войска Потемкина отбивали нападение более чем двадцати тысяч турок. Наконец противник был разгромлен, и корпус Григория Александровича смог соединиться с основными силами.

В конце 1771 года Потемкин, как пишет Самойлов, «занемог сильной горячкою». Вероятно, это и был первый приступ болотной лихорадки, столь распространенной тогда на юге. Ею страдали и от нее умерли многие участники турецких походов. В те времена вспышки малярии и кишечных заболеваний свирепствовали в Причерноморье. Иногда им на смену из турецких владений приходила чума, как это случилось в 1771 году.

Эпидемия, подхваченная войсками, распространилась до Москвы. Посреди чумных карантинных болотная лихорадка Потемкина была не худшим из возможного.

К несчастью, Григорий Александрович никогда не мог толком долечиться, а лишь загонял болезнь внутрь. После приснопамятного случая с глазом он еще больше не доверял докторам, хотя следовало бы отказаться от услуг знахарей. «И как он не соглашался принимать помощи от врачей и в болезни нисколько себя не берег, то и выздоровлению своему обязан единственно крепкому сложению, — сообщал Самойлов. — Смотрение за собой поручил двум бывшим у него запорожцам, которым во время зноя, в том климате нестерпимого, приказывал окроплять себя самой холодной водою и сим придуманным им средством освободился от горячи и возвратил прежние свои силы»^[300].

Болезнь не ушла. Она затаилась и в последующие годы давала о себе знать в периоды наибольшего напряжения сил. В те времена лихорадку лечили хиной, и в бытность свою при дворе Потемкин под бдительным оком государыни с неприязнью глотал снадобье. Но стоило ему оказаться вдали от Петербурга, и лекарство заменяли ледяные ванны. Наиболее сильные приступы наблюдались в 1783-м, 1787-м и, наконец, в 1791 году. Последний закончился трагически.

После выздоровления Потемкин принял корпус генерал-квартирмейстера Ф. В. Боура и по приказу Румянцева расположился с ним напротив города Силистрия, лежавшего на правом берегу Дуная. Посреди реки находился остров, на который турки не раз пытались переправиться под прикрытием силистрийской артиллерии, чтоб совершать диверсии на левом берегу. Корпус Потемкина должен был воспрепятствовать вылазкам гарнизона крепости. Однако военные действия в 1772 году практически не велись из-за перемирия.

Самойлов пишет, что во время конгресса в Фокшанах Потемкин находился там, а после отъезда Орлова отбыл к своему корпусу^[301]. Вероятно, Григорий Александрович приехал вместе с Румянцевым, что являлось показателем доверия командующего. По окончании конгресса Потемкин вернулся к Силистрии, вокруг которой вскоре разгорелись главные действия. Кампанию 1773 года Григорий Александрович встретил в чине генерал-поручика. В январе несколько тысяч силистрийских турок переправились на остров, но войска Потемкина отразили их удар и прогнали обратно в крепость, потопив и взяв в плен множество лодок, на которых осажденные форсировали реку. Сразу после этого Румянцев

приказал Григорию Александровичу атаковать турецкие укрепления на правом берегу в урочище Гуробалы. Тем временем генерал О. А. фон Вейсман должен был ударить с другой стороны, переправившись через Дунай в Измаил. Операция завершилась успешно, и неприятель был выбит из Гуробал.

В начале июня главные силы двинулись на Силистрию. Командование левым флангом фельдмаршал поручил Потемкину. Во время наступления Григорий Александрович попросил у Румянцева разрешения действовать со своей конницей в авангарде. Командующий разрешил, что оказалось весьма кстати, поскольку первый гренадерский полк, которым руководил полковник С. Р. Воронцов, попал в окружение. Гренадеры наступали развернутой линией и были взяты в кольцо турецкой кавалерии, теснившей их с «фронта» и с флангов. Попытка Воронцова развернуть последнюю шеренгу и отступить не дала результатов, так как турки замкнули круг и с тыла. Кавалеристы Потемкина ударили по турецкой коннице, смяли, опрокинули ее и погнали к крепости, так что турки попали под картечные выстрелы своих же товарищей, бивших с силистрийского ретраншаменты.

Таким образом, Первый гренадерский полк был спасен от уничтожения. Любопытно, что, рассказывая о том же самом эпизоде, Воронцов утверждал, будто это его гренадеры спасли конницу Потемкина от разгрома, а самого Григория Александровича от неминуемого плена^[302].

Поскольку мы знаем о случившемся только из мемуарных источников, то выяснить, что же произошло под силистрийскими стенами, довольно трудно. Главная задача grenадер — метанием гранат уничтожить как можно больше живой силы противника. Для успеха их действий необходимо, чтобы перед ними находился только неприятель. Когда завязывалась схватка, швырять гранаты по дерущимся становилось опасно: можно было нанести урон не только врагу, но и своим. Помещение grenадер в авангарде обеспечивало им возможность удара по «однородному» неприятелю.

Именно так Румянцев и расположил полк Воронцова. Но его атака захлебнулась. Турецкая конница взяла grenадер в кольцо. Самойлов говорит: «Потемкин, чувствителен будучи к славе, с прискорбием видя себя не в передовых войсках, упросил фельдмаршала, дабы позволено ему было идти вперед»^[303]. Вероятно, прорыв конницы с левого фланга в авангард против турецкой кавалерии был специально предпринят по приказу Румянцева в помощь неудачной атаке grenадер. Фельдмаршалу донесли об опасном положении Воронцова, тем временем Потемкин просился на передовую, и Румянцев разрешил его коннице действовать.

Если следовать рассказу Воронцова, то Потемкин первый должен был соприкоснуться с неприятелем, чего быть не могло, поскольку Григорий Александрович в начале наступления находился на левом фланге. Раньше других турок встретили выдвинутые вперед войска авангарда, где находились гренадеры. Когда русская конница пришла им на выручку, надо полагать, и сами гренадеры не остались безучастны: имело место боевое взаимодействие, что и позволило Воронцову впоследствии приписать лавры себе.

22 июня начался приступ крепости, однако он окончился неудачей. Во время штурма фельдмаршал узнал, что командующий турецкой конницей Черкес-паша во главе семитысячного отряда приближается к Силистрии. Румянцев немедленно развернул корпус Потемкина против новой угрозы. Григорию Александровичу удалось отогнать турок и затем, по приказу командующего, он прикрыл отход наших войск от крепости. Под его защитой главный корпус благополучно отступил и соединился с корпусом генерала Вейсмана, прежде одержавшего победу над 20-тысячными войсками Нюман-паши. В этом кровопролитном бою сам Вейсман погиб. 23 июня Потемкин принял его полки под временную команду и привел их к основным силам^[304]. После чего он возвратился на прежнюю позицию у местечка Лукорешты напротив Силистрии, где и оставался в течение почти всей кампании 1773 года. Глубокой осенью Румянцев приказал ему возвести батареи на злополучном острове и начать методичный обстрел города. Именно за бомбардировкой Силистрии и застало Григория Александровича письмо Екатерины от 4 декабря, которым он был приглашен в Петербург. Война для Потемкина закончилась.

Выбор союзника

Балансируя между партиями Орловых и Паниных, императрица остро нуждалась в человеке, лично ей преданном и всем обязанным исключительно ее милости. В фаворите, готовом оставить свою группировку, с которой его связывала только нужда, и проводить линию, выгодную самой государыне, укрепляя, таким образом, лишь ее власть. Все говорило в пользу Потемкина. Его многолетняя безответная страсть, опыт государственной работы, сильные покровители, обширные связи в военной и чиновничьей среде. К тому же о нем Екатерине все уши прожужжала ее ближайшая подруга Прасковья Александровна Брюс — сестра Румянцева,

представлявшая собой как бы петербургское «отделение» его партии^[305].

В течение 1770–1773 годов Румянцев несколько раз посылал своего протеже ко двору с важными поручениями. Однажды, во время приезда 1773 года, Потемкину пришлось в Совете отстаивать мнение, противоположное мнению императрицы^[306]. Екатерина прислушалась к его словам и позволила себя убедить. Во время этого приезда Григорий Александрович близко общался с императрицей и даже выполнял при случае функции ее секретаря. Сохранился черновой рескрипт на имя генерал-майора Василия Алексеевича Кара, написанный рукой Потемкина^[307], по всей вероятности, под диктовку Екатерины.

Судя по «Всеобщей придворной грамматике» Д. И. Фонвизина, Потемкин принадлежал в то время к лицам «полугласным» и стремился пробиться в «гласные». «Какие люди обыкновенно составляют двор? — спрашивает Фонвизин и сам себе отвечает: — Гласные и безгласные. ... Сколько у двора бывает гласных? Обыкновенно мало: три, четыре, редко пять. Но между гласными и безгласными нет ли еще какого рода? Есть: полугласные, или полубояре. ...Полубоярин есть тот, который уже вышел из безгласных, но не попал еще в гласные, или, иначе сказать, тот, который перед гласными хотя еще безгласный, но перед безгласными уже гласный»^[308]. В тот момент при дворе по-настоящему «гласными» были: Г. Г. Орлов, А. Г. Орлов, Н. И. Панин и П. А. Румянцев. По отношению к ним Потемкин находился в положении «полубоярина» и был до поры до времени не опасен.

Принято считать, что Екатерина вызвала Потемкина с фронта письмом от 4 декабря 1773 года^[309]. Она писала: «Господин генерал-поручик и кавалер. Вы, я чаю, столь упражнены глазением на Силистрию, что вам некогда письма читать; и хотя я по сию пору не знаю, предупела ли ваша бомбардирада, но тем не меньше я уверена, что все то, что вы сами предприимлете, ничему иному приписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству... Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу по-пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие вам имею ответствовать: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательна. Екатерина. Декабря 4 числа 1773 г.»^[310].

Как видим, в тексте письма нет даже намек на приглашение приехать в Петербург, а последние строчки послания императрицы настолько

туманны, что надо было обладать сверхъестественной проницательностью, чтобы увидеть в них вызов. Другое дело, если письмо было единственным, посланным Екатериной на фронт к Потемкину.

Несмотря на приподнятый тон, чувствуется неловкость пишущей, боязнь, что ее слова будут истолкованы неверно. Если бы императрица писала не впервые, у нее не было бы необходимости объяснять корреспонденту причину, побудившую ее обратиться к нему. Благосклонно принимая письма Потемкина, Екатерина, видимо, сама взялась за перо только в случае крайней необходимости и вызвала Григория Александровича скорее фактом письма, чем его содержанием.

Наивно предполагать, что такое важное и тайное дело, как срочный вызов нового фаворита, Екатерина доверила бы бумаге. Ни к чему не ведущие рассуждения о штурме Силистрии — вот все, на что могла решиться осторожная императрица. Эта игра была рассчитана на очень понятливых людей. Если бы Потемкин не понял, чего от него ждут, или не решился понять, он безнадежно упустил бы свой «случай». Но Григорий Александрович понял и в первых числах февраля приехал в Петербург^[311].

Однако как ни спешил наш герой в столицу, по дороге он сделал крюк и завернул в Москву. Причина для этого была серьезной — он намеревался добиться поддержки Паниных. В последнее время партия Румянцева фактически блокировалась с ними по важнейшему вопросу о мире. Это вселяло надежду на то, что общий язык будет найден.

В старой столице «на покое» жил генерал-аншеф граф Петр Иванович Панин, человек едва ли не столь же влиятельный, как и его брат — Никита Иванович. 5 октября 1770 года Екатерина II пожаловала генерал-аншефа орденом Георгия 1-й степени за взятие Бендер. Падение одной из лучших турецких крепостей стоило столь почетной награды. Однако сам герой не был доволен ею. Третий год войны с Турцией оказался щедр на победы для русской армии. 24 июня 1770 года эскадра под командованием А. Г. Орлова разбила турецкий флот в Чесменской бухте, а 16 сентября пали Бендеры. Алексей Григорьевич стал первым в России георгиевским кавалером, Петр Иванович обрел кавалерию Большого Креста^[312]. Тот факт, что Орлов получил перед Паниным «старшинство», будучи пожалован первым, оскорбил генерал-аншефа, который считал свою победу более важной для русского оружия. Есть сведения, что Панины мечтали о фельдмаршальском жезле для Петра Ивановича, чтобы сразу поставить его на недостижимую высоту по сравнению с противоборствующей группировкой. Не получив желаемого, покоритель Бендер подал в отставку 19 октября 1770 года и

уехал в Москву.

Этот шаг выглядел как политический демарш. Генерал Панин был фигурой настолько заметной, что о его поступке сообщали своим дворам все иностранные представители. Императрица направила главнокомандующему старой столицы князю Михаилу Никитичу Волконскому строжайшие инструкции следить за деятельностью Панина в Первопрестольной^[313].

Один из виднейших русских масонов своего времени, Петр Иванович вместе с братом долгие годы руководил партией наследника престола. При всей внешней несхожести братья как нельзя лучше дополняли друг друга: мягкий, вкрадчивый, неторопливый дипломат и мрачный неразговорчивый генерал с крутым решительным характером — в столице и в армии они охватывали своим влиянием всех сторонников великого князя^[314].

Живя в Москве, Петр Иванович при любом удобном случае подвергал строгой критике правительственные меры. Волконский не раз жаловался в письмах Екатерине на «известного большого болтуна», подрывавшего в дворянских кругах старой столицы доверие к императрице. Панин настойчиво твердил, что после совершеннолетия Павла Петровича корона должна быть передана ему^[315]. Результатом этой «пропаганды» стало изменение общественного мнения Москвы в пользу наследника престола. Московские поэты-масоны А. П. Сумароков, А. Н. Майков и М. И. Богданович обращались к Павлу с одами, подчеркивая предпочтительность мужского правления перед женским, отмечались черты характера цесаревича, присущие истинному государю, восхвалялись воспитатель наследника — Н. И. Панин и «незабвенный завоеватель Бендер» — П. И. Панин. Все это были лишь явные знаки подспудного брожения в дворянском обществе.

Но имелась и другая, тайная, сторона жизни Петра Панина, о которой свидетельствует его переписка с Фонвизиным, секретарем и ближайшим сотрудником Никиты Панина в Петербурге. Письма Фонвизина с февраля 1771-го по август 1772 года предоставляли отставному генералу подробную информацию о политической жизни двора, о ходе войны, продвижениях чиновников по службе. По приказу Никиты Ивановича Фонвизин снимал копии с многочисленных документов, проходивших через Коллегию иностранных дел: с инструкций императрицы послам России за границей и отчетов последних в Петербург, донесений с театра военных действий, докладов братьев Орловых. Через специальных курьеров эти копии отправлялись в Москву Петру Ивановичу. В личный

архив «покорителя Бендер» попало немало секретных документов и, в частности, «Дневная записка пути из острова Пароса в Сирию лейтенанта Сергея Плещеева» — донесение С. И. Плещеева графу А. Г. Орлову о разведывательной миссии русских моряков в Сирии и Ливане^[316].

Таким образом, Фонвизин передавал информацию секретного характера частному лицу. Это было вопиющим нарушением служебных инструкций, пойти на которое секретарь мог лишь, будучи уверен в своей безнаказанности. Подобную уверенность давала надежда на скорое изменение «царствующей особы» на российском престоле.

Петр Иванович знал Потемкина по Русско-турецкой войне и имел возможность оценить характер последнего, он первым из панинской группировки установил контакт с будущим фаворитом и попытался сделать его своей креатурой. Потемкину нужна была помощь, чтобы укрепиться при дворе. По дороге в Петербург, проезжая через Москву, он встретился с опальным генералом^[317]. Их разговор не мог не затронуть болезненной темы, вертевшейся тогда у всех на языке. Беглый казак Емельян Пугачев, объявив себя спасшимся императором, вел успешные военные действия в далеком Оренбуржье. Маленькие крепости на границе сдавались одна за другой, правительственные войска терпели поражения. Уже к декабрю под неизвестно откуда взявшимися у повстанцев голштинскими знаменами бывших гвардейцев Петра III собралась армия, по численности не уступавшая армии Румянцева. Положение было серьезным. Как видно из дальнейших писем Потемкина к Панину, Петр Иванович заверил его в своем желании «послужить Отечеству». Будущий фаворит мог дать генералу такую возможность, взамен Панины обещали поддержку.

Разговор фактически свелся к обмену обязательствами: Потемкин обещал генерал-аншефу возвращение в большую политику — то есть на службу, если сторонники Паниных окажут ему помощь при дворе. Следует сказать, что обе стороны выполнили взятые на себя обязательства: Панины помогли Потемкину на первых порах закрепиться у власти, а Григорий Александрович вопреки желанию императрицы и при большом личном давлении на нее обеспечил Петру Панину назначение на должность главнокомандующего войсками, подавлявшими Пугачевское восстание.

Однако Панин был не единственным из важных персон, с кем будущий фаворит встретился в Москве. Вторым лицом явилась Е. Р. Дашкова, по мужу племянница братьев Паниных. Княгиня жила в Первопрестольной вовсе не из любви к «более здоровому, чем в Петербурге» воздуху. В 1773 году императрице стали известны материалы заговора в пользу ее сына, в

списке заговорщиков стояло и имя Дашковой. Княгине пришлось отправиться в очередную опалу.

Потемкин был представлен Екатерине Романовне. В мемуарах она весьма любопытно описывает этот эпизод: «Вернувшись из Троицкого в Москву, я познакомилась у моего дяди, генерала Еропкина, с генералом Потемкиным... Знакомство наше было весьма поверхностное: но генерал Левашов, также присутствовавший на обеде, сообщил мне, что Потемкин торопится вернуться в Петербург, потому что спешит занять место фаворита. Я дала ему один совет; будучи принят к сведению, он устранил бы сцены, которые великий князь, впоследствии Павел I, не преминул сделать, к общему соблазну, чтобы повредить Потемкину и огорчить свою мать»^[318].

Обратим внимание на очевидное противоречие: с одной стороны, Екатерина Романовна утверждает, что ее знакомство с Потемкиным было поверхностным, с другой — дает генералу совет о том, как ему следует держаться с сыном императрицы. Высказывать подобные рекомендации едва знакомому человеку по меньшей мере странно. Приходится заключить, что Дашкова либо проявила «утонченное» чувство такта, либо о чем-то недоговаривает в «Записках».

Живя в Москве, Екатерина Романовна разделяла интриги и хлопоты своей группировки. На нее, как на близкое когда-то к императрице лицо, была возложена щекотливая миссия просветить будущего фаворита в особенностях взаимоотношений внутри царской семьи. Княгиня вспоминает об этом без тени смущения и едва ли не с гордостью за свою осведомленность. Указания на конкретный образ действий, без сомнения, были ею даны. Предшественник Потемкина на посту фаворита, Васильчиков, ставленник Паниных, единственный из всех любимцев Екатерины не испортил отношений с великим князем. Но он не смог обеспечить императрице политической поддержки.

Давая Потемкину рекомендации, как следует вести себя с наследником, панинская партия устами Дашковой пыталась внушить ему эталон поведения предшественника. Однако Потемкин ни по характеру, ни по государственным талантам не напоминал тихого, податливого Васильчикова. Он ехал в Петербург для того, чтобы стать опорой Екатерине, а не помочь наиболее безболезненному переходу власти из ее рук в руки сына.

Именно поэтому советы, данные Дашковой, были просто неисполнимы. Однако из разговора с ней Григорий Александрович узнал, чего именно хотят от него временные союзники. Судя по тому, что

отношения светлейшего князя и Павла Петровича в дальнейшем были безнадежно испорчены, Потемкин не исполнил рекомендаций.

В мемуарах княгиня не описывает реакцию Григория Александровича на ее наставления. В нужные моменты Потемкин умел держать себя в руках и не демонстрировать своих чувств. Однако взглянемся в ситуацию пристальнее. В отличие от Паниных, которые вели широкую политическую игру и уже расставили фигуры на доске, сделав ставку на Потемкина как на будущего фаворита, сам Григорий Александрович далеко не был уверен в своей дальнейшей судьбе. Направляясь в Петербург, 35-летний генерал испытывал серьезные сомнения. Двенадцать лет он безнадежно любил императрицу, и вот теперь, когда и ее, и его молодость были уже позади, она вдруг звала его к себе. Недоверие, горечь, надежда — все смешалось в душе человека, шаги которого уже взвешивались и определялись враждующими придворными группировками.

Главный поступок его жизни — принять или оттолкнуть руку Екатерины — для самого Потемкина зависел от того, сможет ли любимая женщина оправдаться перед ним за свое прошлое. Такое оправдание императрица предоставила Григорию Александровичу в письме под красноречивым названием «Чистосердечная исповедь», но это случилось позднее, а пока... Крупные вельможи учили и натаскивали кандидата в фавориты, даже не предполагая, как скоро человек, которого они считают пешкой, сам станет игроком. Лучше других Потемкина разглядел Петр Панин. «Сей новый актер станет роль свою играть с великой живостью и со многими переменами, если только утвердится»^[319], — писал он 7 марта 1774 года своему племяннику камер-юнкеру А. Б. Куракину.

ГЛАВА 4

НАЧАЛО ФАВОРА

В самом конце января 1774 года Потемкин прибыл в Санкт-Петербург^[320]. Екатерина находилась тогда в Царском Селе^[321] и о приезде гонца из армии Румянцева официально узнала лишь 3 февраля, когда дежурный генерал-адъютант Григорий Орлов доложил ей об этом^[322]. На следующий день, 4-го числа, Потемкин явился в Царскосельский дворец с докладом. В Камер-фурьерском церемониальном журнале отмечено, что государыня имела с ним почти часовой разговор наедине в своих внутренних апартаментах^[323]. Это была честь, оказываемая далеко не каждому гонцу, и надо думать, что беседа наших героев касалась не только дел 1-й армии.

Императрица хотела знать, готов ли избранный ею кандидат к исполнению сложной роли фаворита. А для Григория Александровича важно было с первых же шагов поставить себя должным образом. Показать, что он — не очередная игрушка любимой женщины. Не временщик, не «вельможа в случае» — ничего временного и случайного в нем нет.

Возможно, Екатерина предполагала, что человек, много лет безуспешно добивавшийся ее, воспримет приглашение в царскую спальню как величайшее счастье. Но Потемкин сразу смешал карты. Из дальнейших событий ясно, что при первой же встрече он потребовал у императрицы отчета. Своего рода исповеди. Григорий Александрович хотел знать, почему двенадцать лет назад она не ответила ему, а теперь, когда в его чувстве было больше горечи, чем восторга, наконец решилась на близость.

От того, сумеет ли Екатерина рассеять сомнения любящего человека, зависело его согласие остаться с ней. Вероятно, на первом свидании им не удалось договориться обо всем. Понадобилось специальное письмо государыни. Григорий Александрович требовал слишком многого. Он говорил не как подданный с императрицей, а как мужчина с женщиной. И Екатерине пришлось ему отвечать. Свое послание она назвала «Чистосердечная исповедь».

«Чистосердечная исповедь»

Так как подлинник письма не сохранился, трудно сказать, действительно ли оно начиналось с фразы: «Марья Чоглокова, видя, что через девять лет обстоятельства остались те же, каковы были до свадьбы, и быв от покойной государыни часто бранена, что не старается их переменить, не нашла иного к тому способа, как обеим сторонам сделать предложение, чтобы выбрали по своей воле из тех, кои она на мысли имела. С одной стороны выбрали вдову Грот, ...а с другой — Сергея Салтыкова...»^[324]

На первый взгляд кажется, что у письма отсутствует начало. Возможно, первая страница. Во всяком случае, очевидно, что выпал важный фрагмент текста, где Екатерина рассказывает о вступлении в брак и о длительной невозможности забеременеть от великого князя. Без этого куска слова об «обстоятельствах», оставшихся «теми же», неясны. Письмо начато, как говорится, с места в карьер.

Вероятность исчезновения первого листа действительно высока. Но возможен и другой вариант: Екатерина продолжила писать там, где прервался устный разговор. Тогда «Чистосердечная исповедь» — не что иное, как окончание часовой беседы с глазу на глаз в личных апартаментах государыни 4 февраля. Если бы этикет позволил нашим героям общаться без помех, то они, наверное, проговорили за полночь. Но время аудиенции истекло и беседу пришлось прервать.

После этого Екатерине ничего не оставалось делать, как взяться за перо. Графиня Марья Симоновна Чоглокова была обер-гофмейстериной малого двора, именно она по поручению императрицы Елизаветы осуществляла надзор за наследником престола и его супругой. Когда старания молодых зачать ребенка оказались безуспешны, Чоглокова передала великой княгине приказ государыни выбрать другого партнера. Им стал Сергей Васильевич Салтыков, состоявший в близком родстве с царской семьей.

После того как наследник Павел появился на свет, Салтыкова направили посланником в Швецию, «ибо он себя нескромно вел», как пишет Екатерина. Вторым ее увлечением стал Станислав Понятовский. «По прошествии года и великой скорби, — рассказывает женщина, — приехал нынешний король польский, которого... добрые люди пустыми подозрениями заставили догадаться, что глаза были отменной красоты, и что он их обращал (хотя так близорук, что далее носа не видит) чаще на одну сторону, нежели на другие». Роман с молодым поляком начался в 1755 году, но через три года Понятовский вынужден был вернуться в Польшу, а его место занял Орлов.

«Сей бы век остался, — признается Екатерина, — если б сам не скучал. Я сие узнала в самый день его отъезда на конгресс из Села Царского и просто сделала заключение, что... уже доверки иметь не могу, мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дешпераций (волнения. — О. Е.) выбор кое-какой».

Выбор Васильчикова оказался крайне неудачным, в чем Екатерина признается с сокрушенным сердцем. «Я более грустила, — пишет она, — нежели сказать могу». Только приезд Потемкина, которого Екатерина называет в письме «богатырем», разорвал порочный круг. «Сей богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что, услыша о его приезде, уже говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, есть ли в нем склонность, о которой мне Брюсша сказывала, что давно многие подозревали, то есть та, которую я желаю, чтоб он имел».

Далее Екатерина переходит к главному: возможен ли между нею и Потемкиным договор? Может ли она доверять ему? Злые языки приписывают ей полтора десятка любовников, это не так. Но и того, что было, достаточно для его немедленного возвращения в армию. «Ну, господин Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих? — почти игриво спрашивает она. — Изволишь видеть, что не пятнадцать, но третья доля из сих: первого по неволе, да четвертого из дешпераций я думала на счет легкомыслия поставить никак не можно; о трех прочих, если точно разберешь, Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею».

Кажется, уже все сказано, но Екатерине очень хочется оправдаться, и она вдруг поднимается до режущей душу откровенности: «Если б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменялась. Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви. Сказывают, такие пороки людские покрыть стараются, будто сие происходит от добросердечия, но статься может, что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели добродетель. Но напрасно я сие к тебе пишу, ибо после того возлюбишь или не захочешь в армию ехать, боясь, чтоб я тебя позабыла. Но, право, не думаю, чтоб такую глупость сделала, и если хочешь навек меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду».

Екатерина проговаривается: в тот момент она нуждалась не столько в новом возлюбленном, сколько в старом друге, готовом понять и простить. Императрица просит почти о невозможном: любить и говорить правду

одновременно. Думается, Григорий Александрович провел над этим письмом не один час, прежде чем решился передать ответ. За строками «Чистосердечной исповеди» стояла целая жизнь. Жизнь, о многих эпизодах которой 45-летняя, находившаяся на вершине власти женщина не хотела вспоминать. А он заставил.

«Если б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла...» Но в том-то и беда, что такого мужа Екатерина не получила. Ее женская судьба оказалась сломана очень рано, и об этом приходилось говорить обиняками.

На тонком льду

Судя по тому, что дальнейшие записки Екатерины подчеркнута вежливой и преисполненной пиетета, сближение наших героев происходило непросто. Императрица на каждом шагу боялась задеть гордость возлюбленного. Потемкин знал себе цену. Достопамятный 1762 год был давно в прошлом. Перед государыней стоял не восторженный мальчик, у которого не было ничего, кроме огромной любви. Теперь за спиной Григория Александровича имелась настоящая сила: совокупная поддержка нескольких придворных группировок, вес в армии, связи в высшей иерархии Русской православной церкви (где на Потемкина, в отличие от многих других вельмож, смотрели как на «своего»). Уместной была бы и помощь английских масонских лож, находившихся под управлением старинного друга Потемкина — Ивана Перфильевича Елагина. Они враждовали со шведскими ложами Панина и могли сыграть свою роль в падении ненавистной партии^[325].

Все это было необходимо Екатерине в критический момент ее царствования. Потемкин мог подарить императрице поддержку. Но не собирался делать этого просто так. Много ли требовал новый кандидат в фавориты? Очень.

Власть, почести, богатства — были само собой разумеющимися, но не главными атрибутами его возвышения. Главное — безраздельная собственность по отношению к женщине, которую Потемкин отныне считал своей. На первых порах императрица даже не сознавала, как далеко он зайдет. Сама Екатерина, ее дела, заботы, ее государство, наконец, становились делами, заботами и государством мужчины, которого она выбрала себе в заступники.

Со своей стороны императрица вела взвешенную игру. Снова, как в

случае с Орловым, Екатерина заставляла свое сердце идти на поводу у политики. Она намеревалась ввести любящего человека в фавор для того, чтобы он сделал опасную и трудную работу — разблокировал вокруг государыни кольцо сторонников цесаревича Павла, снизил вес этой партии, помог заключить мир с Турцией и организовал переброску войск внутрь страны, где уже бушевала Пугачевщина. Эту работу императрица намеревалась щедро оплатить.

Она предлагала новому избраннику сделку, чисто немецкую по своей сути, так как наградить его за труды Екатерина намеревалась собой. Здравая, рассудительная, немолодая женщина вела политический торг. Однако претендент начал игру не с той карты — сначала потребовал от императрицы отчета, а потом обрушил на нее такой шквал своего долго сдерживаемого чувства, что под его напором и Екатерина не устояла на позиции холодного рассудка.

«Какие счастливые часы я с тобою провожу... — говорит она в одной из записок. — Я отроду так счастлива не была, как с тобою. Хочется часто скрыть от тебя внутреннее чувство, но сердце мое обыкновенно пробалтывает страсть. Знатно, что полно налито, и оттого проливается»^[326]. «Нет, Гришинька, — продолжает императрица в другом письме, — статься не может, чтоб я переменилась к тебе, отдавай сам себе справедливость, после тебя можно ли кого любить? Я думаю, что тебе подобного нету, и на всех плевать»^[327]. «Мое сердце, мой ум, мое тщеславие одинаково довольны вами»^[328]. В отсутствие возлюбленного ее охватывали тоска и досада: «Боже мой, увижу ли я тебя сегодня? Как пусто, какая скука!»^[329]

Его короткие, сбивчивые «цидулки» тоже полны нежных излияний: «Дай вам Бог безчетные счастья и непрерывного удовольствия, а мне одну вашу милость»^[330]. «Моя душа безценная. Ты знаешь, что весь я твой. И у меня только ты одна. Я по смерть тебе верен»^[331].

Однако все эти слова зазвучали чуть позже. А пока наши герои делали навстречу друг другу маленькие опасливые шажки. Каждый боялся прогадать. Быть обманутым. Показать смешным... Что может быть опрометчивее, чем собственноручный список своих любовников, представленный Екатериной в «Чистосердечной исповеди»? Разве такое говорят человеку, которого хотят удержать? Оба играли не по правилам. Оба рисковали.

9 февраля, в воскресенье, Потемкин вновь посетил Царское Село. Он был благосклонно принят и приглашен императрицей к столу^[332].

Возможно, окончательное объяснение произошло именно тогда. Во всяком случае, после этой поездки начались тайные свидания в загородной резиденции.

До отъезда двора 14 февраля из Царского Села в столицу Потемкин не будет больше упомянут в Камер-фурьерском журнале как гость императрицы. Правда, одна из записок Екатерины дает возможность предположить, что он все же еще несколько раз побывал там. «Ал[ексей] Григорьевич», — сообщает императрица Потемкину, — у меня спрашивал сегодня, смеючись: да или нет? На что я ответствовала: об чем? На что он сказал: по материи любви? Мой ответ был: я солгать не умею. Он паки вопрошал: да или нет? Я сказала: да. Чего выслушав, расхохотался и молвил: а видите в мыленке? Я спросила: почему он сие думает? По тому, дескать, что дни с четыре в окошки огонь виден был попозже обыкновенного; потом прибавил: видно было и вчерась»^[333].

Парк Царского Села изобилует множеством изящных павильонов, среди которых не последнее место занимали так называемые мыльни^[334]. Эти уединенные сооружения не случайно были выбраны императрицей. В свете приведенной записки несколько двусмысленно звучит просьба Екатерины в другом послании: «...пришли сказать, каков ты после мылинке?»^[335]

Продолжая рассказ о разговоре с Алексеем Орловым, императрица сообщает фавориту его слова: «Что условленность отнюдь не казать в людях согласие меж вами (между Екатериной и Потемкиным. — О. Е.) и сие весьма хорошо»^[336]. В это же время женщина и сама повторяет возлюбленному просьбу вести себя при людях осторожно и не показывать прямо своих взаимоотношений с ней: «Прощай, брат, веди себя при людях умненько и так, чтоб прямо никто сказать не мог, чего у нас на уме, чего нету»^[337].

Реакция Алексея на возвышение Потемкина очень любопытна. Когда Григорий Александрович по дороге в Петербург проезжал Москву, знаменитый чесменский герой находился там у брата Ивана. Однако, в отличие от Петра Панина, с ним кандидат в фавориты не встретился. Чувствуя скорую перемену при дворе, Алексей тоже поспешил в Северную столицу. Заметно, что Орловы не успевают «оседлать» ситуацию, развивающуюся помимо них, и не знают, как на нее реагировать. Они вроде бы и не против нового фаворита, но в то же время не готовы открыто поддержать его. И потому советуют «не казать» на людях «согласия» между ним и Екатериной. Для того чтобы сориентироваться, им нужна пауза.

Именно ее-то Потемкин и не дал.

Вернувшись 14 февраля в столицу, Екатерина поселилась в Зимнем дворце. Потемкин жил во флигеле дома своего зятя Николая Борисовича Самойлова^[338]. Теперь Григорий Александрович был постоянно вынужден в числе других придворных кавалеров посещать куртаги, маскарады и выходы императрицы в Эрмитаже^[339], нередко его приглашали к обеденному столу. Все эти встречи с Екатериной происходили при значительном скоплении народа, и предупреждение о скромном, «умненьком» поведении было нелишним.

Опасаясь, что он может неправильно истолковать слова некоторых вельмож о его появлении в столице, Екатерина пишет: «Они все всячески снаружи станут говорить мне нравоучения, кой я выслушиваю, а внутренне ты им не противен, а более других князю (Г. Г. Орлову. — О. Е.). Я же ни в чем не признавалась, но и не отговорила, так чтоб могли пенять, что я солгала»^[340].

Возвышение

Вскоре у Потемкина появились официальные основания для задержки в военное время при дворе, он получил чин генерал-адъютанта, дававший право постоянно находиться при императрице. Екатерина учла шаткость положения, в котором пребывал с конца января ее будущий фаворит, и разрешила ему обратиться к ней с просьбой о пожаловании^[341]. 27 февраля 1774 года Потемкин отнес письмо статс-секретарю С. М. Козьмину^[342].

Григорий Александрович не без оснований считал себя обойденным наградами за войну. «Определил я жизнь мою для службы вашей, — писал он. — Не щадил ее отнюдь, где только был случай к прославлению Высочайшаго имени. Сие поставя себе простым долгом, не мыслил никогда о своем состоянии, и если видел, что мое усердие соответствовало Вашего Императорского Величества воле, почитал уже себя награжденным... Отнюдь не побуждаем я завистью к тем, кои моложе меня, но получили лишние знаки высочайшей милости, а тем единственно оскорбляюсь, что не заключаюсь ли я в мыслях Вашего Величества меньше против прочих достоин?»^[343]

Ответ Григорий Александрович получил в тот же день^[344]: «Я просьбу вашу нашла столь умеренною в рассуждении заслуг ваших, мне и отечеству учиненных, что я приказала изготовить указ»^[345]. 1 марта 1774 года был

подписан указ о производстве Потемкина в генерал-адъютанты^[346]. Григорий Александрович был допущен в так называемую Алмазную комнату — особый покой Зимнего дворца, где хранились императорские регалии, — лично поблагодарить Екатерину. «А без того, где скрыть обоюдное в сем случае чувство от любопытных зрителей?»^[347] — писала ему государыня.

Потемкин прекрасно понимал, что после пожалования в генерал-адъютанты его фавор перестал быть тайной. Отныне он открыто становился рядом с государыней. В эти дни Григорий Александрович писал московскому архиепископу Платону: «Угодно было Всемогущему Богу возвысить меня так, как мне в ум не приходило. Я крепко уповаю, что Он со мною и днесь, и впредь будет и даст мне силу служить Его Святой Церкви. Сие правило началось во мне с младенчеством и кончится с жизнью. Аще Бог по нас, кто на ны»^[348].

Назначение Потемкина стало поводом для первого, пока скрытого недовольствия Орловых. Новый генерал-адъютант отныне постоянно дежурил при императрице. А вот срок прежнего дежурства Г. Г. Орлова истек. Екатерина сама взялась сказать об этом Григорию Григорьевичу и смягчить его возможную досаду. Однако трения между ним и Потемкиным, как видно, возникли. Буквально в тот же день, когда Екатерина дала согласие на пожалование, 28 февраля, ей пришлось просить будущего фаворита не ухудшать отношений с Орловым. «Только одно прошу не делать — не вредить и не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны. Нет человека, которого он более мне хвалил, и, по-видимому мне, более любил и в прежнее время, и ныне до самого приезда твоего, как тебя; а есть ли он свои пороки имеет, то не тебя, не мне не пригоже их расценит. Он тебя любил, а мне они (братья Орловы. — О. Е.) друзья, и я с ними не расстанусь»^[349].

Опасения императрицы не были беспочвенными. Очень скоро, в марте, в правительственных кругах возникли ожесточенные споры по поводу необходимости заключения скорейшего мира. Г. Г. Орлов выступил резко против уступок Оттоманской Порте, Потемкин высказывался более осторожно, примыкая к позиции Н. И. Панина^[350]. Между экс-фаворитом и новым любимцем начались первые трения.

В конце этой записки сказано: «Всего дни с три осталось для нашего свидания, а там первая неделя поста, дни покаянья и молитвы, в которых вас видит никак нельзя будет, ибо всячески дурно, мне же говеть должно».

Великий пост в 1774 году начался 3 марта^[351], следовательно, записка написана 28 февраля.

Таясь от чужих глаз, влюбленные встречались очень поздно. Это нарушало привычный для Екатерины ритм: императрица была «жаворонком», вставала в 5–6 часов утра, ложилась тоже рано. Ночная жизнь плохо сказывалась на ее здоровье. «Я думаю, — писала она Потемкину, — что жар и волнение в крови оттого, что уже который вечер ...поздно ложусь, все в первом часу; я привыкла лечь в десять часов; сделай милость — уходи ранее вперед»^[352].

Вскоре императрица сообщила любимцу, как принято в обществе его возвышение: «Между собою говорят; нет, дескать, это не Александр Семенович Васильчиков, этого она инако ведает. Да есть и кого, и никто не дивится, как будто давно ждали, что тому быть так»^[353].

В реальности реакция придворных кругов и дипломатического корпуса была далеко не такой благостной. Там действительно очень быстро догадались, что Потемкин — это не Васильчиков, что его «инако ведают». Новая сильная фигура на шахматной доске российской политики настораживала слишком многих игроков.

Традиционно сильная прусская партия в целом была довольна. Потемкин казался берлинским дипломатам креатурой Панина, а Панин уже много лет был «их человеком» при петербургском дворе. Посланник граф В. Ф. фон Сольмс доносил 15 марта Фридриху II: «По-видимому, Потемкин сумеет извлечь пользу из расположения к нему императрицы и сделается самым влиятельным лицом в России. Молодость, ум и положительность доставят ему такое значение, каким не пользовался даже Орлов... Граф Алексей Орлов намерен отправиться в Архипелаг раньше, чем предполагал, а князь Григорий Григорьевич, как говорят, высказывает желание уехать путешествовать за границу.

Потемкин никогда не жил между народом, а потому не будет искать в нем друзей для себя и не будет бражничать с солдатами. Он всегда вращался между людьми с положением; теперь он, кажется, намерен дружить с ними и составить партию из лиц, принадлежащих к дворянству и знати. Говорили, что он не хорош с Румянцевым, но теперь я узнал, что, напротив того, он дружен с ним и защищает его от тех упреков, которые ему делают здесь»^[354].

Как видим, Сольмс подчеркивает положительные качества нового фаворита — его ум, связи, умение ладить с влиятельными людьми. Дипломат противопоставляет Григория Александровича Орловым, которые

«жили среди народа», «бразничали с солдатами» и искали для себя друзей на дне русского общества. Кроме того, упреки Румянцеву делали именно Орловы. Командующий был сторонником умеренной линии на переговорах с Турцией. И Григорий, и Алексей демонстрировали резкое несогласие с малейшими уступками и на заседаниях Совета выражали недовольство Румянцевым, в то время как Потемкин неизменно защищал своего покровителя.

Совсем иначе на возвышение нового фаворита отреагировали английские дипломаты, поддерживавшие контакты не с Паниными, а с Орловыми. Под пером сэра Р. Гуннинга Потемкин куда менее обаятелен и положителен, чем у Сольмса. 4 марта посланник писал: «Васильчиков, способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия своей государыни, теперь заменен человеком, обладающим всеми задатками для того, чтобы владеть и тем и другим в высочайшей степени. Выбор императрицы равно не одобряется как партией великого князя, так и Орловыми. Это Потемкин, прибывший сюда с месяц тому назад из армии, где он находился во все время продолжения войны и где, как я слышал, его терпеть не могли. Он громадного роста, непропорционального сложения, и в наружности его нет ничего привлекательного. Судя по тому, что я о нем слышал, он, кажется, знаток человеческой природы и обладает большей проницательностью, чем вообще выпадает на долю его соотечественников, при такой же, как у них, ловкости для ведения интриг и гибкости, необходимой в его положении, и хотя распушенность его нрава известна, тем не менее, он единственное лицо, имеющее сношения с духовенством»^[355].

Как видим, неприязнь Гуннинга к Потемкину подкреплялась еще и общей русофобией дипломата.

О том, как возвышение Потемкина было воспринято в придворном обществе, дают возможность судить письма двух высокопоставленных дам — Е. К. Сиверс, супруги новгородского губернатора Я. Е. Сиверса, находившейся в тот момент в Петербурге, и Е. М. Румянцевой, жены фельдмаршала. Последняя уведомляла мужа о первых шагах его протекже. Она была глазами Петра Александровича при дворе и, как умела, снабжала его необходимой информацией.

20 марта Румянцева писала: «Все здесь странною манерою идет. Не так, как прежде, содержится в публиче благопристойность. Григорий Александрович Потемкин теперь ту методу ведет, что во всех ищет дружбы. Александр Семенович Васильчиков вчера съехал из дворца к брату своему на двор. Сказывают, будто две тысячи душ ему пожалуют и денег. Я

теперь считаю, что ежели Потемкин не отбоярит пяти братьев Орловых, так опять им быть великими. Правда, что он умен и может взяться такою манерою, только для него один пункт тяжел, что великий князь не очень любит... Графа Панина состояние или кредит стал гораздо лучше. А Григорий Александрович с ним очень хорош, и граф Панин мне напередни сказал, что Григорий Александрович твоему графу (Румянцеву. — О. Е.) служит. Итак, батюшка, теперь мой совет тебе адресоваться писать к Григорию Александровичу. Он, как был в армии, все знает, переговорит наедине с императрицей». 8 апреля Румянцева продолжала ту же тему: «Григорий Александрович столько много тебе служит. Вчерась он мне говорил, чтоб ты к нему обо всем писал прямо, что я и советую, во-первых, он во все входит, да и письма все кажет императрице»^[356].

Я. Е. Сиверс был видным администратором екатерининского царствования, с ним императрица поддерживала переписку и часто полагалась на его суждения в вопросах работы государственного аппарата на местах. Из столицы жена сообщала ему последние новости. 31 марта она писала: «Новый генерал-адъютант дежурит постоянно вместо всех других. Говорят, он очень скромен и приятен». 10 апреля: «Покои для нового генерал-адъютанта готовы, и он занимает их. Говорят, что они великолепны». 17 апреля: «Потемкина хвалят; он состоит в хороших отношениях к Панину, который когда-то, в опасное время, спас его от происков Орловых и отправил его с каким-то поручением в Швецию». 28 апреля: «Потемкин был в ложе (театра. — О. Е.), с ним беседовали (императрица. — О. Е.) много во все время представления. Он пользуется большим доверием. Говорят, он отличается щедростью». 9 мая: «Недавно Потемкин сделался членом Государственного совета»^[357].

Возвышение Потемкина шло стремительно, 15 марта 1774 года он был назначен подполковником лейб-гвардии Преображенского полка^[358], где императрица являлась полковником. 21 апреля в день рождения Екатерины получил орден Святого Александра Невского^[359]. 30 мая был пожалован в генерал-аншефы^[360]. Такая стремительная карьера задевала многих вельмож.

В мае 1774 года Екатерина ввела Потемкина в Совет. В этот государственный орган входили самые высокопоставленные лица, имевшие чины 1-го и 2-го классов: граф Н. И. Панин, князя Голицыны, граф З. Г. Чернышев, граф К. Г. Разумовский, князь Г. Г. Орлов, князь А. А. Вяземский^[361]. Как генерал-поручик, Потемкин имел чин 3-го класса. Шаг императрицы был нарушением субординации между ее советниками, и

хотя вскоре Григорий Александрович стал вице-президентом Военной коллегии, то есть сравнялся по чинам с другими членами Совета, ропот среди вельмож не утих.

Многие члены Совета затаили обиду на «фаворита-выскочку». Из всех только Кирилл Григорьевич Разумовский поддержал Потемкина сразу и открыто. Камер-фурьерский журнал зафиксировал, что в 1774–1775 годах императрица часто обедала в обществе всего двух приглашенных — дежурного генерал-адъютанта Потемкина и сенатора графа Разумовского. Екатерина в сопровождении Григория Александровича запросто бывала у Разумовского в гостях^[362].

Тем временем отношения с другими вельможами складывались все напряженнее. Назначение Потемкина подполковником Преображенского полка было заметным наступлением на интересы Орловых, так как прежде этим полком командовал Алексей. Отбыв в 1770 году с русским флотом в экспедицию в Архипелаг, Алексей в течение нескольких лет не мог заниматься делами полка и изрядно запустил их. Дошло до того, что офицеры разъезжали по городу на плохих лошадях и щеголяли ржавыми палашами. Со всем этим пришлось разбираться Потемкину, на казенный счет положение было поправлено, но отношения с Орловыми стали еще более натянутыми.

В течение лета 1774 года Потемкин был пожалован вице-президентом Военной коллегии, шефом всей легкой конницы и всех иррегулярных войск^[363]. Президентом Военной коллегии являлся Захар Григорьевич Чернышев, сразу невзлюбивший своего деятельного помощника. Реальный вес Потемкина при дворе был гораздо больше, чем у Чернышева, а высочайшее покровительство заставляло Захара Григорьевича постоянно уступать собственному подчиненному. Это, естественно, не могло вызвать у него большого энтузиазма. Группировка Орловых выразила резкое недовольство таким возвышением фаворита. Между Екатериной и Г. Г. Орловым произошло неприятное объяснение, императрица настояла на своем^[364].

Вскоре Потемкин стянул все нити управления Военной коллегии в свои руки^[365]. В одной из записок Екатерина говорит о Чернышеве: «Галубчик, если За[хар] лжет, в чем не сомневаюсь, он наказан. Если он желал, чтобы вы были подле него, он должен быть доволен, но как бы то не было, гласно досаду показать ему нельзя»^[366]. 13 июня Гуннинг доносил в Лондон: «Потемкин назначен товарищем графа Захара Чернышева по Военной коллегии. Это было ударом для последнего. Принимая в

соображение характер человека, которого императрица так возвышает и в чьи руки она, как кажется, намеревается передать бразды правления, можно опасаться, что она сама для себя изготовит цепи, от которых ей впоследствии нелегко будет освободиться. Последнее ее распоряжение озаботило Орловых больше, чем все предыдущие. По этому поводу между ней и князем Орловым произошло... горячее столкновение»^[367].

Натянутые отношения между президентом и вице-президентом Военной коллегии постоянно вызывали служебные трения. Тем более что императрица, если была чем-то недовольна в делах военного ведомства, обращалась к Потемкину. Через голову Чернышева решала Екатерина и вопросы о производствах по армии, контактируя непосредственно с вице-президентом^[368].

Итак, в течение первой половины 1774 года Григорий Александрович заметно укрепил свои позиции и нажил новых врагов. Какова же была его частная жизнь с императрицей в начале фавора? Зимой двор несколько раз ездил в Царское Село, но 9 апреля императрица вернулась в Петербург в Зимний дворец^[369]. Потемкин поселился там же^[370]. Это внесло в его жизнь ряд существенных изменений. Теперь ему приходилось появляться на людях, неотступно, как тень, сопровождая свою коронованную покровительницу^[371]. На первых порах при скоплении народа Потемкин чувствовал известную неловкость, ловя на себе любопытные, завистливо-презрительные взгляды публики. Екатерине приходилось ободрять его: «Никакой робости не было, вели себя приятнейшим образом, за это, ангел, большое, большое, большое спасибо»^[372], — писала она.

На следующий день после возвращения из Царского Села Екатерина обращалась к любимому: «Я пишу из Эрмитажа... Здесь не ловко, Гришинка, к тебя приходите по утрам. Здравствуй, милинькой, издали и на бумаги, а не вблизи, как водилось в Царском Селе»^[373].

Императрица могла иметь фаворита, но посещать его покои, когда там находятся посторонние, для нее считалось крайне неприлично. Даже ненароком забытые в комнатах Екатерины вещи Потемкина: табакерка, платок и т. д. — могли скомпрометировать государыню^[374]. Однажды подаренная ей фаворитом маленькая собачка, вбежав вслед за горничной в покои Екатерины, учуяла там запах любимого хозяина и подняла радостный лай, чем вызвала сильное смущение императрицы^[375].

«Утренние» записки Екатерины часто сообщают Потемкину о том, что она не сможет навестить его, поскольку боится кого-либо встретить дорогой. «...Я было пошла к тебя, но нашла столь много людей и офицеры

в проходах, что возвратилась»^[376]. «Я пришла к Вам, но, увидав в дверь спину секретаря или унтер-офицера, убежала со всех ног»^[377]. Лакеи, гайдуки, секретари и унтер-офицеры представляли в глазах Екатерины непреодолимое препятствие. «Сто лет, как я тебя не видала; как хочешь, но очисти горницу, как приду из комедии, чтоб прийти могла, — просит она. — А то день несносен будет... Черт Фонвизина к вам привел. Добро, душенька, он забавнее меня знатно; однако я тебя люблю, а он, кроме себя, никого»^[378].

Старинный однокашник Потемкина по университету Фонвизин был ближайшим сотрудником Панина. Нет ничего удивительного, что в то время, когда его партия помогала новому фавориту, контакты Фонвизина и Потемкина были весьма частыми. Особенно плотно они работали вместе в период подготовки проекта мирного договора.

Мир

«Этот мир достался нам нежданно-негаданно. Он хорош и почетен, и все им довольны... — писала 3 августа 1774 года Екатерина II своему старому корреспонденту барону М. Гримму. — Я вяжу теперь постельное одеяло для Томаса (левретка императрицы. — О. Е.), моего друга, которое генерал Потемкин собирается у него украсть. Ах, какая славная голова у этого человека! Он более чем кто-либо участвовал в этом мире, и эта славная голова забавна, как дьявол»^[379].

Так, игриво, императрица сообщала другу-философу об одном из самых трудных дел, которое ей удалось, как гору, свалить с плеч в 1774 году. «Нежданным» мир, конечно, не был. Прежде чем заключить его, русская сторона провела с турками четыре тяжелые дипломатические конференции. Согласований и поправок к договору было очень много. Далеко не «все» оказались довольны окончанием войны. Екатерине пришлось выдержать серьезную борьбу и проявить характер, дабы довести дело с подписанием трактата до конца.

Из письма же к Гримму, через которое императрица как бы «частным образом» информировала своих европейских друзей о делах в России, следует, что вокруг трона царит атмосфера беззаботного веселья. Напомним, как раз в этот момент Пугачев взял Казань, и вопрос о переброске регулярных войск с Дунайского театра военных действий в глубь страны встал очень остро.

Переписка с европейскими философами Вольтером, Дидро, Д'Аламбером и Гриммом служила для русской монархии в первую очередь способом пропаганды успехов ее державы, а нередко и способом дезинформации. Ведь стены Фернейского замка Вольтера, как и стены парижского салона г-жи Бьельке имели поистине общеевропейский резонанс. Екатерина никогда не сообщала за границу горячих новостей, пока они не были проверены и взвешены дома — это было слишком опасно.

Заметим, что об удалении Васильчикова и появлении рядом с ней Потемкина, произошедшем зимой, императрица мимоходом обмолвилась в письме к Гримму только в апреле, когда положение нового фаворита стало достаточно прочным: «Поговорим об оригиналах, которые смешат меня, и особенно о генерале Потемкине, который более в моде, чем многие другие, и который смешит меня так, что я держусь за бока»^[380].

Рассказ о заключении мира того же порядка. Под пером Екатерины договор как будто стоит в одном ряду с одеялом для собачки. Состряпать дипломатическую бумагу — не труднее, чем сшить попонку для левретки. Однако в реальности все выглядело иначе. «Забавный, как дьявол» генерал Потемкин в это время уже вице-президент Военной коллегии и член Государственного совета, заседания которого, кстати, ведет именно он, а не Панин и не Разумовский. Подготовка договора стоила ему немалых усилий и порядком испортила кровь.

К началу 1774 года работа над мирным трактатом в Петербурге практически зашла в тупик, поскольку разные силы в русском правительстве неодинаково смотрели на условия примирения с врагом. Каждый отстаивал свою позицию, дело не двигалось с места. В стране разворачивалась крестьянская война, а Орловы продолжали жаждать штурма Царьграда. Тем временем умеренность Никиты Панина доходила до признания довоенных границ, без учета серьезного военного успеха русской стороны.

Выступить посредником между сторонами было делом трудным и неблагодарным. «Четыре конференции о мире были у нас, — сообщала мужу Е. М. Румянцева 20 марта. — Никита Иванович [Панин] написал, чтобы нам уступить и надо им всем подписаться. Князь [Г. Г. Орлов] сказал, что он не подпишется, коли государыня прикажет, а на таких-де кондициях не трудно мир заключить. А видеть можно, что и самой ей хочется [мира]; так теперь узнают, что она без согласия князьего сделает ли? Он всегда был против и заспорит, и так оставалось. А нонеча буде сделает и апробует государыня, так новая партия [Потемкина] переможет. Не поверишь,

батюшка, сколько интриг и обманов в людях увидишь. Кажется, друзья душевные, целуются, уверяют, а тут-то друг другу и злодействуют»^[381].

Подготовка пунктов нового трактата велась довольно долго, с начала марта. Претензии русской стороны то уменьшались, то увеличивались в зависимости от успехов на театре военных действий^[382]. Процесс выработки «прелиминарных» или предварительных «артикулов» договора отражен в ряде коротких записок Потемкина к Екатерине. «Что значат, матушка, артикулы, которые подчеркнуты линейками?» — спрашивает фаворит, получивший черновик будущего трактата. «Значат, что прибавлены, и на них настоять не будут, буде спор бы об них был», — отвечает императрица в приписке^[383].

Перед заседаниями Совета Потемкин и его покровительница обсуждали детали будущих прений и заранее договаривались о согласованной позиции. Иностранные дипломаты внимательно следили за борьбой вокруг мирного договора. В апреле Гуннинг доносил: «Весь образ действий Потемкина доказывает совершенную уверенность в прочности его положения. Он приобрел сравнительно со всеми своими предшественниками гораздо большую степень власти и не пропускает никакого случая заявить это». В донесении 16 мая указано: «Потемкин продолжает поддерживать величайшую дружбу с Паниным и делает вид, что руководствуется в Совете исключительно его мнением. В те дни, когда происходят заседания, он отделяется от прочих членов и держит сторону Панина»^[384].

Общность позиции фаворита и главы наиболее влиятельной группировки позволила сдвинуть переговоры с мертвой точки и, несмотря на решительное сопротивление Орловых, подготовить русский проект мирного трактата. Князь Григорий Григорьевич устроил по этому поводу горячее объяснение императрице и отбыл в Москву, что называется, хлопнув дверью. Он пригрозил даже уехать за границу, если Екатерина не одумается. Но это уже не могло поколебать решимости государыни подписать трактат, она почувствовала в Потемкине твердую опору и рассчитывала на его помощь.

В целом пункты Кючук-Кайнарджийского мира были чрезвычайно выгодны для русской стороны. В них оговаривалась независимость Крымского ханства от Турции, что повлекло в дальнейшем его присоединение к империи. Россия получила право свободного плавания по Черному морю, закрепила за собой ряд южных территорий. Кроме того, Петербург обрел право защищать интересы христианских народов

Оттоманской Порты, то есть беспрепятственно вмешиваться во внутренние дела Турции^[385].

Мир был заключен 10 июля, Порте пришлось принять все основные требования победителей^[386]. 23 июля в Петергофе было получено известие о подписании договора^[387]. Новость доставили полковник М. П. Румянцев и подполковник князь Г. П. Гагарин, которые были сразу пожалованы: Румянцев в генерал-майоры, а Гагарин в камер-юнкеры двора. Неопишуемая радость охватила всех — от императрицы до горничных и истопников. В день получения счастливой вести Екатерина написала Потемкину: «Я думаю, галубчик, что Татияна (горничная императрицы. — О. Е.) своим хахатаньем тебя разбудила... Хватя мене за голову, долго не пускала и расцаловала меня, у ней один сын и есть, он капитан артелерииской, а послан тому пять лет назад с ескадрою Спиридова в Архипелаг, с коих пор она его не видала, да и письма почти что не получает. Сегодня она пришла ко мне и говорит: слава Бога, что мир заключен, и я сына увижу»^[388].

Далеко не так радостно на заключение мира отреагировали иностранные дипломаты в Петербурге. Екатерина, старавшаяся все же поддержать добрые отношения с Орловыми, писала Алексею, уже отбывшему в Архипелаг: «Вчерашний день здесь у меня ужинал весь дипломатический корпус, и любо было смотреть, какие рожи были на друзей и недрузей. А прямо рады были один датский и английский»^[389]. Гуннинг добавляет в своем донесении в Лондон характерный эпизод: «Императрица села за карты и, пригласив в свою партию датского министра и меня, сказала довольно громко, чтоб быть услышанной, что так как день этот для нас весьма радостен, ей хочется видеть вокруг себя одни только веселые лица... Не одни только министры бурбонского дома (французские. — О. Е.) недовольны столь ранним окончанием войны, но также министры австрийский и прусский»^[390].

Очень характерны донесения в Париж французского министра при русском дворе Дюрана де Дистрофа. «Мир заключен, и очень странно, что это произошло в тот самый момент, когда мятежники достигли наибольшего успеха, когда имелась наибольшая вероятность переворота, вызванного всеобщим недовольством, когда Крым (русские войска в Крыму. — О. Е.) оказался без достаточных сил, чтоб оказать сопротивление турецким войскам и флоту, когда истощение казны вынудило правительство частично прекратить выплаты, — писал дипломат в шифрованной депеше 16 августа 1774 года. — В этих условиях я поражен тем, что Россия

получает все то, в чем ей было отказано в Фокшанах. Столь счастливой развязке она обязана вовсе не своей ловкости или стараниям ее союзников, а инертности ее противников»^[391]. В России предпочитали уповать на милость Божью, ведь Петербург вовсе не считал своих противников «инертными».

Подписание мира было большой победой и для России, вышедшей из войны, и для Екатерины, получившей возможность подавить внутреннюю смуту, и для Потемкина, одержавшего верх над одной из сильнейших придворных группировок — Орловыми. Упрямство последних шло вразрез с реальными нуждами страны. Екатерина противопоставила им человека деятельного, гибкого и настойчивого. «Я по временам люблю новых людей, — писала уже пожилая Екатерина. — Работа идет хорошо, когда они работают вместе и рядом с прежними. Это все равно как когда в пьесе кстати и вовремя вводят новое лицо для оживления действия: благодаря им машина не ржавеет»^[392].

Императрица поставила на «новичка», отказав в доверии старым, уже выработавшимся, по ее мнению, сподвижникам. Амбиции двигали ими в большей степени, чем интерес дела. Заключение мира в том виде, как предлагали Потемкин и Панин, было серьезным поражением Орловых. Благодаря этому Григорий Александрович сразу становился при русском дворе фигурой номер один.

Но дальнейшая логика развития событий должна была неизбежно привести его к столкновению с временным союзником — Паниным. Иностранные дипломаты быстро почувствовали это. Первые тучки набежали на горизонт их отношений еще во время прений в Совете по поводу мира. Пытаясь отвлечь Орловых от Турции, Потемкин высказал идею, что не худо бы воспользоваться «теперешним замешательством» в Персии и вознаградить себя за чересчур поспешный выход из войны. Потеряв выгоды в одном месте, Россия может приобрести их в другом. По донесению Гуннинга, «Панин резко и энергично возражал ему, утверждая, что не должно вмешиваться в чужие дела, так что Потемкин прервал прения с заметным неудовольствием». Это были еще мелкие трения, которые могли перерасти в серьезное противостояние, если бы Потемкин и дальше стал проявлять самостоятельность.

Стараясь как можно крепче привязать к себе Григория Александровича, Панин ловко подставлял молодого политика в столкновениях с Орловым. Однако сам Потемкин осознавал, что его единственным настоящим покровителем является только Екатерина. Ради нее он на 35-м году жизни оставался холостым, одиноким человеком. Преданность ей заставила Потемкина покинуть армию, где его карьера была обеспечена при любых придворных переменах, и открыто встать рядом с императрицей. Для такого шага требовалось большое мужество, ведь она благодаря усилиям сторонников Павла в тот момент находилась на грани потери престола.

Сразу же после заключения мира правительство приняло меры по переброске войск с одного театра военных действий на другой, против Пугачева^[393]. Потемкин заботился об отправке большей части генералов из армии в места, охваченные крестьянской войной. «Батенка, — писала ему Екатерина, — пошли повеления в обе армии, чтоб... генералы-поручики и генералы-майоры ехали, каждый из тех, коим велено быть при дивизии Казанской, Нижегородской, Московской, Севской и прочих бунтом зараженных мест... и везде б объявили, что войска идут за ними»^[394].

Императрица надеялась, что слух о приближении регулярной армии способен если не разогнать «злодейские толпы» пугачевцев, то, во всяком случае, несколько поуспокоить «чернь». Между тем события приняли угрожающий оборот. 12 июля Пугачев взял Казань, в которой был небольшой гарнизон из 400 человек, жители и солдаты укрылись в крепости, окруженной горящими посадами.

Сожжение Казани потрясло императрицу, теперь повстанцам открывался путь на Москву. 26 июля Екатерина со всей свитой отбыла в Ораниенбаум, где состоялось заседание Государственного совета^[395]. Государыня предложила сама отправиться в Первопрестольную и лично возглавить оборону древней столицы. Потемкин поддержал ее идею, остальные члены Совета подавленно молчали.

Другое предложение высказал только Никита Иванович Панин, обвинивший главнокомандующего войсками против Пугачева князя Ф. Ф. Щербатова в вялости и нерешительности. Канцлер требовал назначить на его место своего брата — генерал-аншефа Панина^[396]. Вот когда встал вопрос о возможности «послужить Отечеству», о которой Потемкин и Петр Панин говорили в Москве. Для Григория Александровича настало время платить за поддержку.

Совет разошелся, не приняв решения. В письме к брату Никита

Иванович описал боязливость и колебания вельмож. Вице-канцлер прямо объяснился с Потемкиным, и тот повторно доложил Екатерине о необходимости назначить Петра Панина командующим. В тот же вечер императрица в обществе вице-канцлера вернулась в Петергоф, по дороге ловкий дипломат лично передал ей доводы в пользу своего брата. Екатерина была подавлена, она понимала, что шаг, на который ее подталкивают, грозит ей потерей короны: она должна была своими руками вверить огромные войска человеку, стремившемуся возвести на престол ее сына. Никита Иванович сообщал брату, что его назначение дело почти решенное^[397]. Тогда же в Москву был отправлен А. Н. Самойлов с письмом дяди. Григорий Александрович напоминал Панину их разговор зимой 1774 года и сообщал, что именно он предложил императрице кандидатуру Петра Ивановича^[398].

Поддерживая притязания московского затворника на командование армией, Потемкин фактически шел вразрез с интересами своего первого покровителя — Румянцева. Война была окончена, а вместе с ней в прошлое уходил политический вес Петра Александровича. Войска перебрасывались с южного театра в глубь страны, передаваясь из подчинения прежнего командующего к новому. Румянцев стремительно терял влияние. Если бы усмирять Пугачева был назначен он, то его «кредит» при дворе оказался бы поддержан. Но Потемкин несколько месяцев назад уже помог покровителю, добившись для него «полной мочи» в делах командования. Возможно, он считал себя свободным от обязательств.

Теперь, когда все просили согласия генерала Панина возглавить войска, московский затворник мог выставлять свои требования. Он желал получить полную власть над всеми воинскими командами, действующими против Самозванца, а также над жителями и судебными инстанциями четырех губерний, включая и Московскую. Особо оговаривалось право командующего задерживать любого человека и вершить смертную казнь. Эти условия Панин изложил в письме к брату, а канцлер передал их Екатерине^[399].

Никита Иванович вручил императрице проект рескрипта о назначении П. И. Панина и целый ряд других документов, которые предоставляли неограниченные полномочия новому главнокомандующему. 29 июля поданные вице-канцлером бумаги были утверждены императрицей с «несущественными» поправками, которые, однако, лишали власть Панина угрожающих размеров^[400].

В ночь с 28 на 29 июля 1774 года возникла отчаянная записка

Екатерины к Потемкину: «Увидишь, голубчик, из приложенных при сем штук, что господин граф Панин из братца своего изволит делать властителя с беспредельной властью в лучшей части империи, то есть в Московской, Нижегородской, Казанской и Оренбургской губерниях... Что если сие я подпишу, то не токмо князь Волконский будет огорчен и смешон, но я сама ни малейше не сбережена»^[401], Переслав Потемкину требования Петра Панина, императрица просила у него совета: «Вот Вам книга в руки: изволь читать и признавай, что гордыня сих людей всех прочих выше». Волнение и крайнее раздражение Екатерины прорываются в последних строках: «Естьли же тебе угодно, то всех в одни сутки так приберу к рукам, что любо будет. Дай по-царски поступать — хвост отшибу!» Из этих слов видно, что Григорий Александрович сдерживал гнев императрицы. Он понимал: резкие меры не позволят достичь желаемого.

Однако и ему пришлось выбирать. Уступить требованиям Паниных значило подставить Екатерину под удар. Решительно встать на сторону императрицы и противодействовать честолюбивым братьям — такой шаг грозил потерей их покровительства. Вот когда Григорию Александровичу надлежало доказать, что он «не Васильчиков». Поддержав вице-канцлера в вопросе о мире и настояв на назначении Петра Панина командующим, Потемкин счел себя свободным от прежних обязательств. Рискуя нажить новых врагов, он начал свою игру. По его совету Екатерина внесла ряд поправок в подготовленные Никитой Ивановичем документы. Главнокомандующему против «внутреннего возмущения» было отказано в начальстве над Московской губернией^[402]. Обе следственные комиссии, которые П. И. Панин хотел подчинить себе, оставались в непосредственном ведении императрицы^[403], это притязание нового командующего вызвало у нее особенно резкие возражения.

Таким образом, Петр Иванович и получал, и не получал желаемое. Он не отказался от командования, хотя не все его условия были выполнены, поскольку и такая, урезанная власть предоставляла ему в руки большие шансы для политической борьбы. Но теперь у императрицы имелась реальная возможность противостоять «диктатору», тем более что самая важная Казанская следственная комиссия оставалась в управлении троюродного брата Потемкина — Павла Сергеевича. Основываясь на его донесениях, фаворит делал доклады в Совете по вопросам суда и следствия, подчеркивая тем самым, что данные полномочия не отошли к новому командующему^[404].

Был ли Петр Иванович доволен таким оборотом дел? Молодой

политик с небольшим опытом сумел развернуть игру невыгодным для партии Паниных образом. Это было первое поражение, которое панинская группировка потерпела от Потемкина. Стало очевидно, что императрица дает своему возлюбленному прекрасные уроки, а он является на редкость талантливым учеником. Но для Петра Ивановича настоящая борьба только начиналась. Получив назначение, он не поехал сразу в Казань, поскольку военные действия захватывали уже и Московскую губернию. Панин намеревался превратить старую столицу в свою штаб-квартиру и сосредоточить власть в Москве в своих руках. В этом случае исполнить его далекоидущие политические замыслы было бы куда легче.

В Первопрестольной оказалось два главнокомандующих — Волконский и Панин. Именно об этой ситуации императрица писала Потемкину, говоря, что Михаил Никитич попадет в смешное положение, а сама Екатерина не будет «сбережена» от опасных происков своих противников, наделенных теперь столь внушительной военной силой. Но официально Москва не была вверена власти Петра Ивановича. Он выдвинул на дорогах, идущих к старой столице, значительные силы, а когда волны крестьянской войны под ударами регулярной армии стали откатываться восточнее и угроза Первопрестольной миновала, у главнокомандующего не оказалось никакого предлога для задержки в Москве. Сначала он руководил операциями из ближнего к старой столице города Шацка, а затем вынужден был последовать за карательными отрядами в Симбирск^[405].

Многое зависело от того, насколько деятельными и талантливыми окажутся помощники Петра Панина. Некоторые из них способны были затмить его своими военными заслугами. Потемкин рекомендовал императрице направить под начало нового командующего хорошо знакомого по Русско-турецкой войне А. В. Суворова. 16 августа Екатерина сообщила фавориту о назначении генерал-поручика Суворова в армию к Панину^[406]. Сам Суворов получил назначение 19 августа^[407], а уже через пять дней добрался из Молдавии до Шацка, чем немало потряс своих начальников. Граф Панин 25 августа писал императрице: «Вчера поутру прискакал ко мне генерал-поручик и кавалер Суворов в одном только кафтане, на открытой почтовой телеге, и по представлению моему в тот же момент и таким же образом поскакал с моим предписанием для принятия главной команды над самыми передовыми корпусами»^[408].

В тот же день Пугачев потерпел сокрушительное поражение от отряда подполковника И. И. Михельсона в 105 верстах ниже Царицына. Из 14–15

тысяч повстанцев спаслось около тысячи человек. Настигнутые при переправе через Волгу у Черного Яра остатки пугачевцев были рассеяны, за Волгу ушли полторы сотни казаков во главе с Самозванцем. Прибыв в Царицын, Суворов забрал у Михельсона его авангард и бросил его в погоню за Пугачевым^[409].

А. Н. Самойлов сообщает, что как раз в это время Потемкин «отправлял на почтовых противу злодея полки и команды. Дабы пресечь ему средства распространить пагубные его обольщения в донских станицах, он нарядил и отправил против него с Дону войска 10 полков, чем и лишил его надежды на подкрепление с той стороны»^[410]. Как и следовало ожидать, повстанцы не выдержали удара регулярных войск и побежали.

На охваченных мятежом землях Петр Панин, имея в руках огромную воинскую силу, почувствовал себя полным господином. Обе столицы были далеко, вокруг бушевало кровавое море крестьянской войны, и Панин не стал смущаться в выборе методов для подавления бунтовщиков. Ни при А. И. Бибикове, ни при Ф. Ф. Щербатове, прежних командующих, край не видел ничего подобного от представителя правительственной власти. Террор охватил очищенные от повстанцев земли, для устрашения волнующихся крестьян Панин приказал казнить мятежников прямо на месте поимки, без суда и следствия. Именно тогда вниз по рекам поплыли плоты с колесованными и подвешенными за ребра пугачевцами.

Однако и на Волге власть главнокомандующего оказалась не безграничной. Противодействовать ему отважился Павел Сергеевич Потемкин, руководивший Казанской следственной комиссией и переживший с населением в казанской крепости страшные дни, когда Пугачев сжег город, а захваченных горожан расстрелял на поле из пушек. Между Паниным и Потемкиным разгорелась настоящая борьба из-за подследственных. Петр Иванович, осуществлявший первичное следствие в военных канцеляриях, старался как можно больше людей удержать у себя и сам вести допросы. Если в следственных комиссиях Павла Сергеевича с рядовых повстанцев снимали показания, наказывали кнутом и отправляли к месту жительства, то несчастные, прошедшие через панинский сыск, уже никому не могли ничего рассказать. Жестокость Петра Панина показала себя в приемах допросов в военной канцелярии. Число подвергшихся разного рода наказаниям по приговорам составило около двадцати тысяч человек^[411].

Павел Сергеевич из Казани не раз жаловался Екатерине и своему брату на действия Панина. Особенно возмутил Потемкина случай с мценским

купцом Тимофеевым. Последний служил секретарем Пугачева, действовал под именем А. И. Дубровского и являлся составителем указов мнимого императора Петра III. Захватив его среди пленных, Панин не только не передал пойманного следственной комиссии, но и жестоким обращением во время допросов довел до смерти^[412]. Из рук правительства ушел один из главных свидетелей, который, по словам Павла Сергеевича, был «всех умнее». В могиле «тайны нужные вместе с ним погребены», заключал Потемкин. Почему Петр Иванович сначала долго держал «обер-секретаря» в Царицыне и Саратове, а когда встал вопрос о его передаче, просто убил на допросе? Что мог рассказать 24-летний грамотный соучастник Пугачева? Об этом остается только догадываться. Повстанцы не раз посылали тайных представителей к наследнику престола, пытаясь действовать и от его имени. Любые сведения подобного рода компрометировали цесаревича.

Пугачев был арестован 9 сентября своими сообщниками, которые передали «злодея» Суворову. 18 сентября Суворов выступил из Яицкого городка во главе отряда, конвоировавшего Пугачева, намереваясь самостоятельно доставить «трофей» в Москву. Однако Петр Панин не собирался уступать подчиненному славу «спасителя Отечества» и ордером за своей подписью заставил его свернуть в Симбирск. Там 2 октября Суворову пришлось сдать пленника Панину. Командующий от имени императрицы публично поблагодарил «обобранного» им военачальника за службу. Наблюдавший эту сцену генерал-майор Павел Потемкин в самых желчных тонах описал императрице теплый прием, оказанный Суворову Паниным. Худшей характеристики в глазах Екатерины и быть не могло.

Ее ироничный отзыв в записке Потемкину уничтожал всю заслугу Суворова в поимке «злодея»: «Галубчик, Павел прав: Суворов тут участия более не имел как Томас (комнатная собачка императрицы. — О. Е.), а приехал по окончании драк и по поимке злодея; я надеюсь, что все распри и неудовольствия Павла кончатся, как получить мое приказание ехать к Москве»^[413]. Так Александр Васильевич, действительно много сделавший для «утушения бунта», пал жертвой «распрей» в руководстве правительственных войск.

К декабрю следствие над Пугачевым было в общих чертах завершено. На заседании 18 сентября Совет слушал и обсуждал проект манифеста об окончании следствия над Самозванцем^[414]. Документ читал Потемкин, он же, по просьбе Екатерины, писал окончание манифеста и правил его текст^[415]. Следовало приступить к суду, что также должно было вызвать

немало разногласий.

В Первопрестольной разгорелась последняя схватка между сторонниками и противниками императрицы в деле, связанном с крестьянской войной. Сама Екатерина официально не принимала участия в следствии. Но ее переписка с П. С. Потемкиным, М. Н. Волконским и генерал-прокурором Сената А. А. Вяземским, председательствовавшим на суде, доказывает, что она ни на минуту не выпускала из рук нитей дела и проводила через своих приверженцев нужные ей решения^[416].

За спиной множества крупных чиновников, съехавшихся на суд в Москву, Петр Панин оказался несколько оттеснен на второй план, хотя императрица всячески демонстрировала ему свое благоволение и советовалась по поводу подготавливаемых документов. Панинская группировка старалась повлиять на суд, добиваясь сурового наказания вожаков восстания, в частности смертной казни через четвертование, по крайней мере для 30–50 человек. Такой шаг преследовал целью не только устрашение. Со времен казни стрельцов при Петре I Москва не видела такого числа жертв. За годы царствования Елизаветы Петровны, давшей обет «никого не казнить смертью», в России вообще отвыкли от подобных зрелищ. Никита Иванович Панин помнил, как неприятно был поражен Петербург казнью В. Я. Мировича, ведь столица ожидала помилования. Обильная кровь на московских плахах не могла вызвать восторга в обществе. Партия наследника престола стремилась прочно связать имя императрицы со страшными событиями крестьянской войны и жестокой расправой над повстанцами. Одно дело — вешать мятежников в далеком Оренбуржье, и совсем другое — в сердце страны, на глазах у всего дворянства. Сам собой напрашивался вопрос: а достоин ли царствовать государь, допустивший в России новую смуту и такую кровавую расправу с побежденными?

Екатерина прекрасно понимала это и потому так упорно боролась за каждую жизнь в судебном приговоре. Ее сторонникам на заседаниях порой приходилось очень непросто, ведь ни Волконский, ни Вяземский не могли гласно заявить: такова воля ее величества. Петр Панин обвинял их в недостатке рвения, легкомыслии, чуть ли не в измене, суд едва не пошел у него на поводу. Однако Екатерина в нужный момент осуществила нажим, и Волконский и Вяземский настояли на смягчении приговора. Решено было наказать смертью только самого Пугачева и пятерых его ближайших сподвижников, которые были повешены. Казнь состоялась 10 января на Болотной площади^[417]. По закону Пугачева должны были четвертовать, но

палачу передали тайное приказание императрицы «промахнуться» и сначала отрубить «злодею» голову.

Нелегко прошло и подписание Манифеста о прощении бунта. Провозглашение подобного документа прекращало преследования бывших повстанцев. Оно ставило точку в крестьянской войне, а значит, и в полномочиях Петра Панина. В этом вопросе братья Панины решили действовать через Павла, которого Екатерина призывала для обсуждения документа.

«Вчера́сь Великий Князь поутру прише́д ко мне... сказа́л... прочита́ прощение бунта, что это рано. И все его мысли клонились к строгости»^[418], — писала Екатерина Потемкину 18 марта 1775 года. Императрица не вняла доводам сына. На другой день в Сенате она прочитала манифест и при его оглашении, по ее словам, «многие тронуты были до слез». Внутренняя смута была закончена. Меры, предпринятые Екатериной, не позволили Паниным воспользоваться имевшимся у них серьезным шансом передать корону наследнику.

Во время летних торжеств, посвященных годовщине Кючук-Кайнарджийского мирного договора, Петр Иванович получил похвальную грамоту, меч с алмазами, алмазные знаки ордена Святого Андрея Первозванного и 60 тысяч рублей на «поправление экономии». Панин прекрасно понимал, что на этот раз его партия проиграна, и 9 августа 1775 года вновь подал в отставку. Он продолжал близко общаться с Павлом Петровичем, долгие годы по переписке участвовал в разработке конституционных проектов для будущего императора^[419], но заметной политической роли уже не играл.

Опираясь на помощь Потемкина, Екатерине удалось вновь переиграть своих противников. К лету 1775 года Григорий Александрович находился в зените могущества. Однако он нажил непримиримых врагов в лице двух крупнейших группировок, а собственной пока не создал. В реальности его положение было очень уязвимым.

ГЛАВА 5

МОСКВА

Отнимая у Потемкина возможность опереться на одну из крупных партий, императрица должна была дать ему что-то взамен. Действуя против Паниных, Григорий Александрович, по народной пословице, пилил сук, на котором сидел. Преданность любимой женщине толкала его на безрассудный, с точки зрения политика, поступок. Екатерина прекрасно понимала, чем обязана фавориту, фактически подставившему себя под удар вместо нее. В одной из ее записок 1775 года сказано: «Дав мне способы царствовать, отнимаешь силы души моей». Таким образом, императрица отдавала себе отчет в том, что Потемкин рискует.

Чтобы оправдать риск, Екатерина должна была вручить возлюбленному некие гарантии прочности его положения. Целый ряд исследователей считают, что такой гарантией для Григория Александровича стал тайный брак с императрицей, состоявшийся до отъезда двора в Москву.

Сведения о браке

В письмах Екатерины к Потемкину часто встречаются такие обращения как: «Cher Ероух» (дорогой супруг); «Ch.: Ер.»; «муж»; «супруг»; «владыко»; «муж родной»; «безценный му»; «му дара», «М». Себя Екатерина нередко именует «женой». В одной из записок императрица поздравляет своего любимого с их «собственным» праздником: «Голубчик миленький, прямой наш праздник сегодня, и я б его праздновала с великой охотой»^[420]. Возможно, речь идет о годовщине венчания. В другой записке Екатерина упоминает о «святейших указах», связавших ее и Потемкина: «Владыко и cher ероух!.. Для чего более давать волю воображению живому, нежели доказательствам, глаголющим в пользу своей жены? Два года назад была ли она к тебе привязана святейшими узами?»^[421]

Слухи о том, что императрицу и ее фаворита, возможно, соединяет нечто большее, чем простой роман, постепенно начали просачиваться в донесения иностранных дипломатов при русском дворе. «Князю

Потемкину оказываются большие почести, чем самой императрице»^[422], — с удивлением писал один из иностранных наблюдателей. 10 декабря 1787 года французский посол граф Луи де Сегюр сообщал в Версаль о громадном влиянии, которым Потемкин пользуется на государыню. «Особое основание таких прав, — замечает дипломат, — великая тайна, известная только четырем лицам в России. Случай открыл мне ее, и, если мне удастся вполне увериться, я оповещу короля при первой же возможности»^[423]. Однако тайна оставалась тайной, и дополнительного оповещения не последовало.

Первым ученым, который собрал и опубликовал сведения о тайном браке Екатерины и Потемкина, был редактор исторического журнала «Русский архив» П. И. Бартенев. Он рассказал о своей беседе с графом Д. Н. Блудовым, старым сановником николаевских времен, занимавшим посты министра юстиции и министра внутренних дел. К его внукам в качестве домашнего учителя и был приглашен молодой Бартенев. Блудов заметил в юноше склонность к эпохе Екатерины и много рассказывал ему о том, что знал сам. Сведения же сановника были обширны. В 1838 году Николай I поручил ему разобрать бумаги Екатерины, среди которых находились ее «Записки» и письма к Потемкину. Материалы были по приказу государя опечатаны и помещены в императорском кабинете в Аничковом дворце.

«Граф очень много знал такого, о чем нигде нельзя было прочитать, а на людях даже заикнуться, — писал Бартенев. — ...В один из вечеров, когда я уже начал утомляться слушанием, вдруг старик граф как бы мимоходом сказал, что Екатерина II была замужем за Потемкиным... Я, разумеется, начал допытываться, откуда он про это знает, и граф сообщил мне, что С. М. Воронцов, приезжавший в Петербург по кончине своей тещи, племянницы Потемкина А. В. Браницкой (1839), сказывал ему, что она сообщила ему эту тайну и передала даже самую запись о браке...

В июне 1869 года я собрался из Москвы до Одессы, приглашенный туда князем Семеном Михайловичем Воронцовым для переговоров для издания в свет его архива. На первых же порах знакомства князь сообщил мне, что у матушки его, княгини Елисаветы Ксаверьевны, хранится список записи о браке императрицы Екатерины Второй с ее дедом-дядею, светлейшим князем Потемкиным. Позднее в другую мою одесскую поездку граф Александр Григорьевич Строганов сказал мне, что эта запись хранилась в особой шкатулке, которую княгиня Воронцова поручила ему бросить в море, когда он ездил из Одессы в Крым»^[424].

Далее Бартенев сообщал о цензурной купюре из опубликованных воспоминаний князя Ф. Н. Голицына и цитировал ее текст: «... Императрица Екатерина, вследствие упорственного желания князя Потемкина и ее к нему страстной привязанности, с ним венчалась у Самсония, что на Выборгской стороне. Она изволила туда приехать поздно вечером, где уже духовник ее был в готовности, сопровождаемая одною Марьею Саввишной Перекусихиной. Венцы держали граф Самойлов и граф Евграф Александрович Чертков».

Приводил редактор «Русского архива» и сведения, полученные от Александра Алексеевича Бобринского, внука графа Самойлова: «Когда совершалось таинство брака, Апостол был читан графом Самойловым, который при словах: „жена да боится мужа своего“ поглядел в сторону венчавшейся, и она кивнула ему головою, и что брачную запись граф Самойлов приказал положить себе в гроб». Однажды в разговоре с графом В. П. Орловым-Давыдовым немолодой Александр Николаевич Самойлов проговорился. «А вот пряжка, — сказал он ему, — подаренная мне государынею на память брака ее с покойным дядюшкою».

«Всего убедительнее, — заключает Бартенев, — письма Екатерины к Потемкину, т. е. способ выражений в них. Можно полагать, что бракосочетание совершилось либо осенью 1774 года (когда вся опасность пугачевщины миновала), либо перед отъездом в Москву, то есть в половине января 1775 года».

Подобную информацию пожилой издатель «Русского архива» решился обнародовать только в 1906 году, после отмены цензурных ограничений. С этого времени вопрос о возможности тайного венчания Екатерины II и Потемкина не раз поднимался в историографии.

В начале XX века исследованием писем и записок наших героев занялся Я. Л. Барсков, тонкий знаток екатерининской эпохи, допущенный к разбору рукописей дворцового архива. Лишь к 1932 году сбор и комментирование этих материалов были закончены. В предисловии к подборке Барсков останавливается на особенностях взаимоотношений наших героев: «Потемкин стал рядом с Екатериной движущей силой в этой огромной машине, в свою очередь, сообщавшей свое движение бюрократическому аппарату империи... Потемкин делит с императрицей все мелкие делишки и большие заботы, а главное самую власть... В этом отношении из всех фаворитов он представляет собой исключение: никому не уступала императрица из своей власти так много, как Г. А. Потемкину, и при том сразу же, в первый же год его случая... Только его называла она своим „мужем“, а себя „женою“, связанною с ним „святейшими

узами“»^[425].

Передав сведения, собранные Бартевым, ученый делает вывод: «Все эти рассказы и приведенные здесь письма дают повод решительно утверждать, что Потемкин был обвенчан с Екатериной. Уже один слух о том, что они были обвенчаны, создавал для Потемкина исключительное положение; в нем действительно видели „владыку“, как называла его в письмах Екатерина, и ему оказывали почти царские почести при его поездках в подчиненные ему области или на театр военных действий и обратно в столицу. Как ни велико расстояние от брачного венца до царской короны, но по тем временам так же велико было расстояние, отделявшее случайного любовника императрицы от ее мужа, которого она явно считала первым лицом в государстве после себя... Это был царь, только без титула и короны»^[426].

Когда в 1989 году публикация Барскова увидела свет на русском языке (ранее, в 1934 году, она вышла в Париже^[427]), представивший ее читателям Н. Я. Эйдельман составил свое предисловие. Он также останавливался на вопросе о венчании: «Переписка содержит подробности, подтверждающие факт тайного брака Екатерины и Потемкина»^[428].

Современная английская исследовательница И. де Мадариага при написании фундаментальной монографии о екатерининском царствовании не обошла вопроса о положении Потемкина. «Письма Екатерины Потемкину подтверждают, что они были тайно обвенчаны. В ее письмах она часто называет его мужем и дорогим супругом... Возможно, из-за большого напряжения страсть Екатерины и Потемкина длилась недолго, однако в повседневной жизни они продолжали вести себя как женатая пара, до конца дней соединенная сильной привязанностью и абсолютным доверием... Десятилетняя разница в возрасте между ним и Екатериной значила все меньше по мере того, как оба старели. С годами он стал велик сам по себе... Вероятно, его пребывание рядом с Екатериной в масштабах страны играло стабилизирующую роль, так как отчасти удовлетворяло потребности русских в мужском правлении...

Екатерина обращалась с Потемкиным как с принцем-консортом. Она публично посещала его с целью подчеркнуть его статус, царские эскорты были обеспечены ему, где бы он ни ехал... Он вел себя как император, и люди видели в нем владыку. Без сомнения, зависимость Екатерины от Потемкина как от фактического, если не юридического, консорта объяснялась личной доверенностью... Он гарантировал Екатерине безусловную преданность, в которой она так нуждалась... Человек

огромных познаний, он был более чем кто-либо при екатерининском дворе близок к родным корням русской культуры в ее церковно-славянском и греческом проявлениях и менее других затронут интеллектуальной засухой просвещения»^[429].

Более корректным, чем «принц-консорт», нам кажется термин, предложенный современным российским исследователем В. С. Лопатиным. Он именует Потемкина «фактическим соправителем» Екатерины. Огромное влияние князя на императрицу историк объясняет «великой тайной», связавшей Екатерину и ее соратника. «Сохранилось более двадцати писем-записочек Екатерины Потемкину, в которых она называет его „милым мужем“, „бесценным супругом“, а себя „верной женой“. Записки не датированы, но по содержанию можно догадаться, что бракосочетание произошло весной». Исследователь называет и предположительную дату венчания — 30 мая 1774 года. Среди многочисленных наград и пожалований, которыми Потемкин был осыпан весной 1774 года, лишь чин генерал-аншефа, по мнению Лопатина, окутан некой таинственностью. Впервые Потемкин был назван генерал-аншефом в начале августа. В списках Военной коллегии Григорий Александрович следует сразу за Н. В. Репниным, получившим чин 3 августа, но с оговоркой: позволить ему считаться генерал-аншефом с 30 мая. «Совершенно очевидно, что этой датой отмечено какое-то важное событие, — пишет Лопатин. — Таким событием могло быть только венчание Потемкина с императрицей. Но присвоение нового чина своему избраннику в условиях неоконченной войны могло возбудить большое недовольство... Общий подъем, вызванный известием о мире, позволил огласить уже решенное производство без лишних кривотолков»^[430].

Приведенная гипотеза кажется весьма любопытной. Однако следует учитывать, что с 21 апреля по 5 июня двор провел в Царском Селе^[431], откуда незаметно выскользнуть для тайного венчания в Петербург было нелегко, особенно между Вознесением и Троицей, когда в загородной резиденции собралось множество гостей, для того чтобы вместе с государыней отметить эти праздники.

Кроме того, в мае, не боясь кривотолков, Екатерина вводит Потемкина в Совет. А летом ставит во главе Военной коллегии. Думаем, что «некая таинственность», которой окутан чин генерал-аншефа, связана именно с этим. Двигаясь вверх, Григорий Александрович серьезно нарушал старшинство. В данном случае задеты оказывались интересы Репнина, под началом которого, как мы помним, некоторое время служил Потемкин. По

правилам бывший подчиненный не должен был получить производство раньше командира. Во всяком случае, об этом старались не заявлять гласно, поэтому и обнародовали пожалование только в августе, после Репнина. Однако в служебных документах пометили производство с 30 мая, чтобы дать Потемкину необходимое «старшинство» и сделать его назначение вице-президентом Военной коллегии не столь вопиющим нарушением субординации.

Приняв эти возражения, Лопатин в предисловии к изданию писем Екатерины и Потемкина сделал новую попытку установить дату венчания: «Сближение началось в феврале. Решительное объяснение произошло 27.II, а 3.III начался Великий пост. По церковным правилам во время поста таинство бракосочетания не совершается. Не совершается оно и на Светлой пасхальной седмице. Пасха 1774 г. приходилась на 20.IV. Следовательно, до 28.IV Екатерина не могла венчаться. 29.IV двор переехал в Царское Село... Двор вернулся в столицу лишь 5.VI. Лишь 7-го Екатерина могла вздохнуть свободно: никого из Орловых в городе не было. Но 7-е — суббота — запретный день (наряду со вторником и четвергом) для венчания. Через неделю (15.VI) наступал Петровский пост, длившийся почти месяц... Остаются всего четыре дня, пригодные для венчания: воскресенье 8 июня, праздник Животворящей Троицы; понедельник 9.VI — праздник Сошествия Святого Духа; среда 11.VI и пятница 13-го. Близость Потемкина к церковным кругам, его приверженность к церковным обрядам позволяют утверждать, что венчание состоялось на Троицу — 8.VI. По приметам, брак, заключенный в такой большой праздник, считался особенно счастливым»^[432].

Мы позволили себе это историографическое отступление, поскольку без приведенной информации трудно разобраться в отношениях наших героев. Екатерина и Потемкин считали друг друга мужем и женой и, вероятнее всего, были ими. Желание найти документ с гербовой печатью, подтверждающий факт заключения брака, упирается в невозможность тралить дно Черного моря от Одессы до Крыма в поисках заветного сундучка Е. К. Воронцовой или проводить эксгумацию могилы А. Н. Самойлова, который в буквальном смысле унес тайну венчания в гроб. Вернемся к событиям 1775 года, когда «молодожены» отправились в Москву.

Практически весь 1775 год императрица провела в Первопрестольной. После подавления крестьянской войны ей необходимо было показаться в Москве, еще недавно трепетавшей при приближении Самозванца. «В детской сидят наши мамушки и толкуют о нем, — вспоминала мемуаристка Е. П. Янькова, — придешь в девичью — речь о Пугачеве; приведут нас к матушке в гостиную — опять разговор про его злодейства, так что и ночью-то, бывало, от страха и ужаса не спится: так вот и кажется, что сейчас скрипнет дверь, он войдет в детскую и нас всех передушит»^[433]. Вереница блестящих праздников и красочных зрелищ, тянувшаяся несколько месяцев, призвана была излагать мрачное впечатление от пережитого.

8 января 1775 года двор выехал из Петербурга. 22 января царский поезд прибыл в подмосковное село Всесвятское^[434]. Из Камер-фурьерского журнала видно, что еще до официального въезда в Москву 25 января^[435] Екатерина и Потемкин вдвоем в одной карете посетили город и осматривали приготовленный для «высочайшего» пребывания Пречистенский дворец^[436].

Отношения между нашими героями царили в этот момент самые нежные. Екатерина беспокоилась по поводу обустройства на новом месте, и опять самой страшной угрозой для влюбленных стали длинные коридоры. «Голубчик, — пишет императрица, — сего утра вздумала я посмотреть план московского Екатерининского дворца и нашла, что покой, кой бы, например, могли быть для тебя, так далеко и к моим почти что нет проходки... а теперь нашла шесть покой для тебя так близки и так хороши, как лучше быть не можно»^[437].

В церкви у Пречистенских ворот, примыкавшей к дворцу, были помещены красноречивые иконы-портреты с изображением великомученицы Екатерины и Григория, просветителя Армении^[438]. В церковь Большого Вознесения пожертвованы серебряные свадебные венцы с небольшими эмалевыми портретами наших героев^[439]. Тогда же была изготовлена изящная табакерка-раковина с вензелями Екатерины II и Г. А. Потемкина, накрытыми соответственно императорской и княжескими коронами^[440]. Императрица и ее избранник если и не говорили вслух об изменении статуса Потемкина, то разными способами намекали на это. Имеющий глаза да увидит.

Екатерина с благосклонностью принимала родных своего возлюбленного, сама делала им визиты, подчеркнуто благоволила к матери Потемкина. В течение 1775 года Дарья Васильевна несколько раз побывала при дворе. 19 марта императрица поздравила свекровь с именинами и

послала ей подарок. В одной из записок того времени Екатерина пишет Григорию Александровичу: «Я заметила, что матушка ваша очень нарядна сегодня, а часов нету. Отдайте ей от меня сии»^[441]. Императрица еще не раз будет делать госпоже Потемкиной разные презенты: флакончики в футлярах, перовики, табакерки из кости, свой портрет, усыпанный бриллиантами. В самом начале следующего, 1776 года Дарья Васильевна даже окажется пожалована в статс-дамы. Конечно, старушка уже не выезжала из Москвы и не «блистала» при дворе, но дорог был знак внимания.

Однако жизнь в старой столице вовсе не была безмятежна. Иностранные наблюдатели подчеркивали, что горожане Москвы холодно встретили государыню. А вот за каретой великого князя Павла Петровича бежали восторженные толпы. Молодой друг цесаревича Андрей Разумовский, склонившись к уху Павла, многозначительно прошептал: «Если бы вы только захотели...»^[442]

Екатерине необходимо было вернуть свою популярность в народе. Ей казалось, что она придумала способ. Война закончилась, внутреннее возмущение тоже, казна могла позволить урезать подати. Ко дню рождения императрицы был приурочен указ о снижении налогов на соль. 21 апреля «для народной выгоды» цена соли с пуда была уменьшена на 5 копеек^[443]. Эту идею подал Потемкин^[444].

Против всякого ожидания высочайшая милость не произвела впечатления на горожан. Французский министр Дюран де Дистроф писал, что «императрица нарочно выбрала день своего рождения, чтобы обнародовать известие, которое способно было вызвать... благодарность населения большого города. Она уменьшила налог на соль, и полицеймейстер вышел с поспешностью из дворца, чтобы сообщить народу об облегчении, которое относится главным образом к нему. Вместо радостных восклицаний... эти мещане и мужичье перекрестились и, даже слова не вымолвив, разошлись. Императрица, стоявшая у окна, не могла удержаться, чтобы не сказать громко: „Какая тупость!“ Но остальные из зрителей почувствовали, что ненависть народа к Екатерине столь велика, что ее благодеяния принимаются равнодушно»^[445].

Зато, по словам английского посла сэра Роберта Гуннинга, большой любовью пользовался в это же время цесаревич Павел. «Популярность, которую приобрел великий князь в день, когда он ездил по городу во главе своего полка, разговаривал с простым народом и позволял ему тесниться вокруг себя так, что толпа совершенно отделяла его от полка, и явное

удовольствие, которое подобное обращение доставило народу, как полагают, весьма не понравилось»^[446]. Екатерина была задета, она считала, что цесаревич еще ничего не сделал, чтобы заслужить любовь подданных. Но в том-то и заключена разгадка симпатий к Павлу: он почти никому не был известен, а его мать царствовала уже четырнадцать лет. И добавим: лет непростых. Война, чума, внутренняя смута — достаточно, дабы охладеть к главе государства и возложить чаяния на нового человека.

Отношения Екатерины с сыном становились все напряженнее, и Потемкин играл в этом семейном расколе не последнюю роль. В государственном управлении России он занял то место, которое по достижении совершеннолетия сторонники прочили Павлу Петровичу. Стал членом Совета, фактическим главой Военной коллегии, первым человеком после государыни. С ним, а не с наследником императрица обсуждала все важнейшие дела.

Именно Григорию Александровичу Екатерина жаловалась на непомерные расходы великокняжеской четы. «Великий князь был у меня и сказал, что на него и на великой княгине долг опять есть, — пишет Екатерина. — Я сказала, что мне это неприятно слышать и что желаю, чтоб тянули ножки по одежки и излишние расходы оставили... она имеет содержание и он такое, как никто в Европе, что сверх того сие содержание только на одни платья и прихоти, а прочее — люди, стол и экипаж им содержится... Он говорил, что дорога им дорога стала. На что я ответствовала, что я их вижу и что за них вдвое пошло противу моего проезда... Одним словом, он просит более двадцати тысячи, и сему, чаю, никогда конца не будет. Говори Андрею Розумовскому, чтоб мотовство унял, ибо скучно понапрасну и без спасибо платить их долги. Если все счесть и с тем, что дала, то более пятисот тысяч в год на них изошло, и все еще в нужды, а спасибо и благодарность не получишь»^[447].

Императрица была недовольна долгами невестки, которой отпускалось на содержание 50 тысяч рублей ежегодно^[448], но реальные расходы великой княгини в десять раз превосходили эту сумму. Екатерина никогда не была скупа, но она по личному опыту знала, что подобные суммы тратятся не на булавки, а на подкуп сторонников. Государыня хотела, чтобы Потемкин повлиял на друга Павла, Андрея Разумовского, а тот, в свою очередь, на сына и невестку.

Однако вскоре до Екатерины дошли сведения о связи молодого Разумовского с великой княгиней и о их честолюбивых планах^[449]. Информацию подобного характера передавали к своим дворам

иностранные дипломаты. Особенную заинтересованность в ней проявил французский посол Дюран^[450]. В 1775 году он через Разумовского предложил цесаревичу денежный заем в размере 40 тысяч рублей, узнав о котором, Екатерина сделала сыну серьезный выговор^[451].

Франция долгие годы была самым опасным врагом России на международной арене. Год назад, 25 сентября 1774 года, когда шло следствие над Пугачевым, А. Г. Орлов писал Потемкину из Пизы: «Я все подозреваю, и причины имею подозревать, не французы ли сей шутки причина?... Не дурно было бы расспросить его (Пугачева. — О. Е.) о всех обстоятельствах, и нет ли кого при нем из чужестранных? Я только то знаю, что для нашего Отечества великие недоброжелатели — французы»^[452]. Русский посол в Париже И. С. Барятинский доносил о неких французах Ламере и Каро из поволжских колонистов, которые, по слухам, являлись эмиссарами Пугачева и пытались завязать контакты с французским правительством^[453]. Направляя Барятинского в Париж, Н. И. Панин предупреждал его, что служить ему придется «в таком месте, где концентрируется злоба, ненависть и ревность против империи». «Общая система Франции против нас, — писал Никита Иванович в инструкции, — состоит в том, чтобы... стараться возвратить Россию в прежнее положение державы, действующей не самостоятельно, а в угоду чужим интересам»^[454].

В этих условиях сближение Павла с французами выглядело в глазах Екатерины как измена. О деньгах она узнала из перлюстрированного письма Дюрана и немедленно сообщила Потемкину^[455]. Послу дали понять, что он в России больше не ко двору. Его сменил маркиз Жак-Габриель Луи де Жюинье.

После скандала с «французскими деньгами» Павлу недвусмысленно намекнули, что если он не прекратит претендовать на большую власть, то может лишиться и той малой, которая у него уже есть. Наследник командовал кирасирами. Потемкин потребовал, чтобы рапорты о состоянии полка предоставлялись не цесаревичу, а лично ему как вице-президенту Военной коллегии^[456]. Это вызвало открытое столкновение между ним и великим князем.

Однако их стычки только начинались. Потемкин прекрасно понимал, как опасно усиление сторонников наследника в столичном гарнизоне. Еще до отъезда двора из Петербурга в Москву, не сообщив императрице, он поместил брата великой княгини принца Людвига Гессен-Дармштадтского не в Петербургскую дивизию, а в Лифляндскую. Конечно, такое

самоуправство не могло не вскрыться. Императрица была недовольна случившимся. «Вел. Кн. просит, чтоб любезный шурин написан был в С.-Петербургской дивизии, — обращалась она к Григорию Александровичу с явным раздражением. — Я на сие ответствовала, что посмотрю. Мне стыдно было сказать, что не знаю, не ведаю; прежде сего репартиции наперед мне показывали и не выпускали ее, не показав мне; голубчик, я тебе все показываю и не имею от тебя сокровенного; и так, и ты не введи мне в людях в простяки, что со мною люди говорить будут, кто куда написан, а я принуждена буду или казаться людям о своих делах несведущею, или же непопечительною»^[457].

Видимо, это был не первый случай самоуправства Потемкина. Со временем, устав от подобного поведения, императрица напишет ему так: «М[уж], пророчество мое сбылось, не уместное употребление приобретенной вами поверхности причиняет мне вред, а вас отдаляет от ваших желаний, и так прошу для бога не пользоваться моей к вам страсти... Ну, хотя единожды послушай меня, хотя бы для того, чтоб я сказать могла, что слушаешься»^[458].

Уничтожение Запорожской Сечи

1 марта в Пречистенском дворце Потемкин представил императрице полковника Мартемьяна Бородина и 20 казаков^[459]. Яицкий старшина Бородин возглавил казаков, выступивших на стороне правительства во время пугачевщины^[460]. Екатерине казаки очень приглянулись, о чем она и сообщила Григорию Александровичу: «Душа милая и безценная, казаки твои, знатно, что хороши, ибо я от них без ума... муж родной»^[461].

По мысли Потемкина, личное знакомство Екатерины с яицкими казаками должно было убедить императрицу в том, что при хорошем управлении представители этого сословия готовы служить власти верой и правдой. Отгремевшая пугачевщина показала необходимость серьезных реформ в отношении казачества. Ведь Яик и Дон поставили повстанцам немалое число недовольных, принявших участие в гражданской войне. Между тем в составе империи имелся еще один крупный очаг казачьей вольницы — самый старый и самый «обстрелянный» во множестве столкновений с Турцией.

Во время недавней войны на Юге многие русские офицеры записывались в курени запорожцев, вместе с войсками которых они

действовали. Так проще было осуществлять командование воинственной вольницей. Среди таких «новобранцев» был и Потемкин, принявший в 1772 году, по казацкому обычаю, прозвище Грицко Нечеса. Под Силистрией у него под началом действовали запорожцы, молодой генерал всячески старался обласкать старшин и ближе познакомиться с их нравами^[462].

Многое в обычаях Сечи не понравилось Потемкину. На Дону и на Яике казаки обзаводились хозяйством, женились, жили семейно, обрабатывали землю, пасли скот. При таком устройстве правительству легче было привести их к покорности, договориться о службе в обмен на льготы. Законы запрещали запорожцам обременять себя семьей и хозяйством, они вели походный образ жизни, а все имущество, полученное в набегах, шло на прокормление вольницы. Это было чисто мужское военное содружество, насчитывавшее 60 тысяч человек^[463].

В военное время запорожцы получали плату от русского правительства, но были и такие, кто со своими отрядами уходил к туркам и воевал на противоположной стороне за султанские деньги. Основной доход казакам приносила добыча. По окончании боевых действий грабеж продолжался, только теперь его жертвами становились и вчерашние союзники. За неимением своего хозяйства запорожцы не могли жить мирным трудом.

С продвижением границы империи на юг Запорожское войско оказалось внутри страны. Переселенцы, двигавшиеся из Центральной России в малонаселенные степные края по нижнему течению Днепра, стали подвергаться нападениям казаков. После войны Потемкин, назначенный генерал-губернатором Новороссии, столкнулся с многочисленными жалобами жителей на бесчинства запорожцев.

Во всей губернии в это время насчитывалось 158 тысяч жителей, в Сечи в плену находилось еще 50 тысяч поселян, угнанных казаками на продажу. Такого положения правительство потерпеть не могло.

22 марта 1775 года Екатерина поручила Румянцеву подготовить военные меры против казачьей вольницы. «Запорожцы столько причинили обид и разорения жителям Новороссийской губернии, — писала императрица, — что превосходит все терпение. Смирить их, конечно, должно, и я непременно то сделать намерена»^[464]. Потемкину она поручила подготовить Манифест 3 августа 1775 года, в который «вносить нужно все их буйствы, почему вредное такое общество уничтожается»^[465]. Это был манифест, извещавший об уничтожении Сечи жителей империи.

Высочайший же рескрипт по этому поводу возник годом раньше, 21 июля 1774 года^[466], но Потемкин «придерживал» его до более удобного времени. По окончании крестьянской войны представилась возможность осуществить задуманное.

Еще в январе 1775 года Григорий Александрович энергично отклонил предложение поселить на вверенных ему землях в Новороссии бывших сподвижников Пугачева, которые по приговору суда были освобождены от наказания. Девять видных участников возмущения — И. А. Творогов, Ф. Ф. Чумаков, В. С. Коновалов, И. С. Бурнов, И. П. Федулев, П. А. Пустобаев, К. Т. Кочуров, Я. Ф. Почиталин и С. М. Шелудяков — были помилованы, поскольку первые пятеро захватили и выдали правительству Пугачева, а остальные либо явились с повинной и привели с собой отряды повстанцев, либо передавали правительственным войскам сведения. Сначала по просьбе Потемкина генерал-прокурор А. А. Вяземский поместил девятерых «раскаявшихся» в Туле под присмотром драгунского полка^[467], а затем их препроводили на поселение в Рижскую губернию^[468].

Девять помилованных соратников Пугачева могли оказаться той спичкой, от которой бы вспыхнуло обиженное Запорожское войско. Все они имели опыт крестьянской войны. Все командовали крупными отрядами, а в окружении недовольных собратьев вынужденное «раскаяние» легко сменилось бы новыми «злодейскими вылазками». Полагая, что у запорожцев достаточно и своих заводит, Потемкин предпочел заслать пугачевцев под Ригу, где местные жители не понимали их языка.

Государственный совет одобрил предложение вице-президента Военной коллегии и признал необходимым «истребить кош запорожских казаков, как гнездо их своевольств, и, усмирив их, учредить над ними начальство»^[469]. 4 июня 1775 года войска под предводительством генерала П. А. Текелли без сопротивления заняли Сечь. Жители и земли Запорожской Сечи вошли в состав Новороссийской губернии^[470]. Казакам было объявлено, что те из них, кто согласится жениться и обзавестись хозяйством, смогут продолжить службу в качестве нового казачьего войска, а правительство, в свою очередь, поможет им землей и скотом.

Потемкин желал создать на землях своего наместничества новый казачий кош. И это ему удалось. Многие запорожцы после роспуска Сечи предпочли служить в русской армии в иррегулярных войсках. Кроме них, к кошу примкнули бывшие некрасовские казаки, в 1784 году возвратившиеся из Турции в Россию. А позднее Черноморское войско было специально усилено выходцами с Дона. Для проживания и ведения хозяйства казаки

получили земли на Кубани.

С самого начала управления Новороссийской и Азовской губерниями, где поселились казаки, Потемкин поддерживал старый принцип: «С Сечи выдачи нет». В секретном ордере генерал-майору В. М. Муромцеву от 11 августа 1775 года он приказывал: «Являющимся к вам помещикам с прошением о возврате в бывшую Сечь Запорожскую крестьян объявить, что как живущие в пределах того войска люди неизъемлемо все и вообще под именем того войска вступили по высочайшей воле в военное правление и общество, то и не может ни один из оных возвращен быть»^[471].

В следующем, 1776 году на обустройство запорожцев в южных губерниях было потрачено 120 тысяч рублей. 11 апреля 1776 года Потемкин сделал в Совете доклад о создании Астраханского казачьего войска (прообраза Черноморского). Это новое образование получило флотилию транспортных судов для обеспечения коммуникаций на Азовском море. Позднее в казачьей гребной флотилии появились и боевые корабли. Никто не предполагал тогда, что им предстоит сыграть важную роль во Второй русско-турецкой войне. В мае 1776 года Екатерина утвердила предложения Потемкина о смягчении наказания запорожским предводителям: последнему кошевому атаману Сечи П. И. Калнишевскому, войсковому писарю И. Я. Глобе и войсковому судье Павлу Головатому^[472].

Среди казачьей старшины были и те, кто сразу откликнулся на обращение Потемкина сформировать новое воинское соединение — «кош верных запорожцев». (В 1790 году он был переименован в кош Черноморских казаков.) В числе первых оказались Захар Александрович Чапега, Антон Андреевич Головатый и Сидор Иванович Белой. Белой стал кошевым атаманом. Чапега во время роспуска Сечи спас полковое знамя, под которым позднее, в годы второй войны верные запорожцы ходили в атаку. Именно в распоряжение его войск попала в 1788 году графиня Варвара Николаевна Головина, посещавшая мужа на театре военных действий.

«Вид новороссийских степей был для меня в новинку, — писала она. — ...Беспредельная равнина: вокруг ни деревца, ни жилища — только казачьи посты и почтовые станции. На выжженной солнцем земле кое-где виднеются прекрасные полевые цветы... Казачьи посты были просто землянками, соломенные крыши которых выступали из земли подобно сахарным головам. Вокруг торчали воткнутые в землю пики, ярко блестевшие на солнце... Я вышла из экипажа и вдруг услышала звуки бандуры, лившиеся словно из-под земли... Подойдя к одной из землянок, я

услышала чьи-то радостные крики:

— Да здравствует Екатерина Великая! Да здравствует мать наша, которая нас кормит и прославляет! Да здравствует Екатерина!

Эти слова приковали меня к месту: поистине трогательно это выражение верноподданнических чувств в степи, в двух тысячах верстах от столицы.

Я спустилась в землянку, где шел веселый свадебный пир. Мне предложили вина, тотчас же стали готовить особого рода пирожки: их делали из ржаной муки и воды, тесто гладко раскатывали, в середину клали творог, завертывали края, затем кидали в кипящую воду и через десять минут они были готовы. Я проглотила их штук шесть и нашла превосходными...»^[473]

Придворной фрейлине простительно было не знать, что такое галушки. Зато, путешествуя на свой страх и риск по охваченным войной землям, она знала, что попала в расположение черноморских казаков и здесь ей ничто не угрожает.

Однако были среди казаков и те, кто, поселившись на новых землях, продолжал вести разбойный образ жизни и предпочитал грабить богатых переселенцев, вместо того чтобы создавать свое хозяйство. Венесуэльский путешественник Франсиско де Миранда, побывавший в Крыму накануне Второй русско-турецкой войны, записал в дневнике историю местного негодянта «уроженца Женевы г-на Фабра с супругой». «Недавно с ними случилось крайне неприятное происшествие: находясь вместе с одним другом и матерью жены в загородной усадьбе на некотором расстоянии от Херсона, они внезапно подверглись нападению грабителей-казаков. Муж кинулся бежать и спрятался в амбаре, бросив на произвол судьбы супругу и остальных. Друг же, пытавшийся сопротивляться, был избит и ранен. Госпоже Фабр связали руки и ноги, и бог знает, что еще с ней сделали, равно как и с матерью...»^[474]

Грабителей ловили и наказывали. Но подобные происшествия не укрепляли доверия к казакам со стороны правительства. Критики деятельности светлейшего князя упрекали его в излишней пристрастности к казачеству. Только блестящие операции черноморцев в годы второй войны с Турцией доказали правоту Потемкина. Стоило потрудиться, чтоб превратить разнузданную вольницу в организованных «военных поселян», способных совместно с регулярной армией защищать границы России.

10 июля в Москве была пышно отпразднована первая годовщина Кючук-Кайнарджийского мира. Годом ранее торжество решили отложить под благовидным предлогом болезни главного героя минувшей войны — фельдмаршала Румянцева^[475]. Однако реальной причиной была полыхавшая внутри страны пугачевщина. Теперь, к лету 1775 года, в пределах империи наступил мир, армию покидали многие офицеры. Уходивших и остающихся на службе необходимо было наградить и за услуги, оказанные Отечеству во время войны с Портой, и за борьбу с повстанцами. Так что торжества были двойные, хотя прямо об этом не говорилось. К ним и приурочили многочисленные пожалования^[476].

Описание пышного церемониала праздника занимает в Камер-фурьерском журнале 10 страниц^[477]. Зрелище было красочным и чрезвычайно внушительным. Торжества начались не 10-го, а еще 9-го числа, когда проходила всенощная в Успенском соборе Кремля^[478], обставленная со всевозможным блеском. На ней были употреблены для несения мира золотые и серебряные сосуды из Грановитой палаты^[479]. О них Екатерина писала Потемкину: «Батенька, я тринадцать лет назад приказала Коллегии экономии, чтоб все, что мироварению надлежит, сделать серебряное, а теперь вижу, что варят в серебре, понесут в церемонии всенародно мир в оловянных премерзких сосудах; пришло мне на ум на сей случай, пока поспеют серебряные, не можно ли дать займы из Мастерской или Оружейной кувшины серебряные, но с тем, чтоб опять поставлены были в Грановитую к праздникам мирного торжества, и буде мысль моя вам нравится, прикажи по ней исполнить, слышишь, душа»^[480].

Накануне торжеств Екатерина поставила Потемкина во главе Оружейной палаты. Московская исследовательница Н. Ю. Болотина опубликовала подборку материалов о работе этого учреждения. При Григории Александровиче началось «приведение в порядок и изучение церковной утвари, образов, уникальных вещей, старопечатных и рукописных книг, некоторые из которых Потемкин брал к себе для прочтения». Именно тогда происходит «зарождение музея Оружейная палата», резко возрастает число посетителей. По несколько часов в день продолжались осмотры «государственных регалий и прочих богатых вещей знатными персонами, иностранными послами, иногда в сопровождении самого Потемкина»^[481].

Во время праздника большие пожалования были сделаны П. А. Румянцеву, В. М. Долгорукому, А. Г. Орлову, А. М. Голицыну, П. И. Панину^[482]. Список наград главного «виновника торжества» —

фельдмаршала П. А. Румянцева — состоял из 11 пунктов: «...1) Похвальную грамоту с прописанием службы его в прошедшую войну и при заключении мира, с прибавлением к его названию прозвища Задунайского; ... 2) алмазами украшенный повелительный жезл или булава, за храбрые предприятия; 3) шпага, алмазами украшенная; 4) за победы лавровый венец; 5) за заключение мира масленую ветвь; 6)...крест и звезду, алмазами украшенного ордена Св. ап. Андрея; 7)...медаль с его изображением; 8) для увеселения его 5000 душ — староство...; 9) для построения дома сто тысяч рублей; 10) для стола его сервиз серебряной; 11) для убранства дома картины»^[483].

Самого Григория Александровича императрица собиралась наградить своим портретом, усыпанным бриллиантами. Предстоящий приезд Румянцева в Москву на праздники вызвал множество хлопот. Екатерина подыскивала ему подходящий дом^[484], живо обсуждала с любимцем маршрут и время проезда фельдмаршала под триумфальной аркой в его честь^[485]. Видимо, первоначально предполагалось, что Румянцев совершит торжественный въезд ночью или поздним вечером при свете иллюминации, но герой отклонил подобную честь. Это был первый открытый жест недовольства со стороны фельдмаршала. Григорий Александрович вел себя все самостоятельнее, а став вице-президентом Военной коллегии, оказался начальником своего бывшего патрона. Когда решался вопрос о командовании войсками против Пугачева, он поддержал кандидатуру Панина, а не Румянцева. Такое нелегко было забыть.

Петр Александрович был принят Екатериной с подчеркнутой благосклонностью. Пользуясь случаем, фельдмаршал представил императрице двух сотрудников своей военной канцелярии, которых рекомендовал как талантливых и образованных молодых людей. Оба окончили Киевскую духовную академию, служили Румянцеву еще в мирное время, в бытность его генерал-губернатором Малороссии, и последовали за ним на театр военных действий. В паре они представляли собой комичное зрелище: рослый красавец П. В. Завадовский и неуклюжий, на редкость толстый уродец А. А. Безбородко. Румянцев желал пристроить их при дворе. В кабинете императрицы как раз имелись статс-секретарские вакансии. В день празднования мира протеже Румянцева получили должности «у принятия челобитных»^[486]. Обоим предстояло сыграть важную роль в жизни наших героев, но пока на них еще мало кто обращал внимание.

10 июля проходило награждение в Грановитой палате Кремля, после

чего торжественный кортеж отправился в Пречистенский дворец. Потемкин в красном плаще ехал за каретой императрицы верхом и разбрасывал в народ серебряные жетоны с надписью «Мир с турками» и «Приобретен победами». Румянцев следовал за государыней в карете цугом. Гремел пушечный «салют царей», звенели колокола всех московских церквей.

России было что праздновать. Еще 16 января 1775 года, через шесть дней после казни Пугачева, французский министр Дюран писал в Париж об итогах Кючук-Кайнарджийского мира: «То, чего так страстно желал Петр I, но чему не дало осуществиться Прутское сражение, Екатерина II обеспечила своей короне договором, заключенным с Портой. К преимуществам балтийской торговли она добавила выгоды черноморской и средиземноморской торговли. С другой стороны, она приобрела многочисленные крепости, которые крепко сжали татар и перерезали пути сообщения между различными их ордами, что сделало их бессильными. Таким образом, война дала России надежные границы и навсегда обеспечила спокойствие земледельцев, обрабатывающих приграничные земли... Одним словом, сбываются пожелания Петра I, и крупные реки, до сих пор бывшие бесполезными для России, поскольку их устье контролировалось завистливым соседом, теперь открываются и дают свободный выход для богатства плодородной земли. На их берегах возникнут перевалочные пункты и склады, которые обеспечат торговый обмен между Севером и Югом»^[487].

Читая перлюстрацию подобного донесения, Екатерина могла бы сказать: «Вашими устами, господин министр, да мед бы пить». Выгодами заключенного мира еще надо было суметь воспользоваться. Кочевые орды предстояло держать в узде, перевалочные пункты и склады построить, плодородные земли распахать и заселить колонистами. Все это требовало немалых вложений и умелой администрации. А если учесть, что угроза новой войны с Турцией, как дамоклов меч, висела над головой русского правительства, то задача становилась почти невыполнимой.

В тот момент казалось, что торжества пойдут нескончаемой чередой. Они должны были продолжиться на Ходынском поле, где были выстроены специальные павильоны. В письме к Гримму Екатерина рассказывала об идее, которую она предложила архитектору В. И. Баженову: «В трех верстах от города есть луг; вообразите себе, что этот луг Черное море, что из города доходят до него двумя путями; ну, так один из этих путей будет Дон, а другой — Днепр; при устье первого вы построите обеденный зал и назовете его Азовом; при устье другого вы устроите театр и назовете его

Кинбурном. Вы обрисуете песком Крымский полуостров, там поставьте Керчь и Еникале, две бальные залы; налево от Дона вы расположите буфет с вином и мясом для народа, против Крыма вы зажжете иллюминацию, чтобы представить радость двух империй о заключении мира»^[488].

Этот замысел В. И. Баженов и М. Ф. Казаков воплотили в жизнь с блеском и находчивостью. Сохранились зарисовки эскизов праздника. На них изображены минареты, дворцы, крепости, колокольни, морские суда, в которых размещались места для зрителей, наблюдавших за фейерверком. Устроены были фонтаны с вином и пивом, выстроены пирамиды из жареных быков и прочей снеди. Публику развлекали канатоходцы, танцоры, жонглеры, шли театральные представления, а завершилось действо пышным маскарадом.

Дитя запретной любви

Гулянья на Ходынском поле произошли 21 июля, хотя первоначально планировалось провести их 12-го. Однако случилось непредвиденное — в разгар праздников Екатерина заболела. Она уединилась в своих покоях и неделю не покидала их. Лишь 18 июля императрица появилась на люди. Сама Екатерина писала Гримму и госпоже Бьельке, что поела «немытых персиков» и у нее началась дизентерия, от которой удалось избавиться кровопусканием. Двор пребывал в большом беспокойстве, но все обошлось.

Однако существует и еще одна версия. По мнению В. С. Лопатина, «болезнь» была вызвана рождением дочери, названной в честь покойной императрицы Елизаветой. «Очевидно, девочка родилась 12–13 июля... Она воспитывалась в семье А. Н. Самойлова ...была выдана замуж за Г. Калагеорги, грека на русской службе... Сохранились два портрета молодой Темкиной, написанных В. Л. Боровиковским. Чертами лица она напоминает отца, фигурой — мать»^[489]. В другой работе исследователь добавляет, что имя Темкиной «ни разу не встречается в переписке Екатерины и Потемкина... Расточительная и непрактичная Елизавета Григорьевна не оставила детям большого наследства... Потомство Екатерины и Потемкина существует и поныне за границей»^[490].

О Темкиной сохранилось слишком мало сведений, чтобы дать однозначный ответ, чьей дочерью она являлась. Прежде всего, точно неизвестен год ее рождения. Нет ни документов, ни свидетельств, которые

позволяли бы даже косвенно утверждать, что это был именно 1775 год. Н. Ю. Болотина опубликовала текст письма будущего супруга Елизаветы к графу П. А. Зубову, написанного в 1794 году. В нем Иван Христофорович Калагеорги просит фаворита посодействовать ему в заключении брака с «настоящей дочерью покойного князя Потемкина». «Генерал Самойлов сообщил мне, что господин Попов получил от всемилостивейшей государыни согласие на мою женитьбу и обещал составить часть приданого девицы и говорить об этом с ее величеством. Господин Попов, которому императрица поручила устройство молодой персоны, ждет, что господин Самойлов решится, и дело остается в том же положении»^[491].

Этот документ подтверждает, что госпожа Калагеорги — действительно ребенок светлейшего князя. Устройством ее будущего заняты важные персоны: генерал-прокурор Самойлов, бывший секретарь Потемкина В. С. Попов, ставший статс-секретарем императрицы, Зубов и сама Екатерина. На брак испрашивают разрешение императрицы, и она же должна позаботиться о приданом.

Дело не сдвинулось с места, пока девица 16 февраля 1794 года сама не обратилась к императрице со слезной мольбой помочь. «...В злоуполучии моем удостоили Ваше Величество обратить на меня милосердые взоры; вспомнить о всенижайшей из подданных ваших и всемилостивейше обещать соизволили... около года назад. Но благоволите ныне осчастливить меня монаршим на просьбу мою вниманием. За год перед сим лишилась я благодетеля моего бригадира Фалеева, который не переставал удовлетворять моим потребностям, и около уже года предана забвению и оставлена. Никто не печется о моем пенсионе, содержании и об учителях. Генерал Самойлов, сестра его, господин Высоцкий обещали снабдить меня приданым, если кончится дело о наследстве покойного светлейшего князя; но Богу известно, когда оно решится, а между тем, я не имею ничего. Удостоите всем, государыня, устроить жребий мой, рассеяв сомнения беспомощной... Благоволите переменить указ о покупке крестьян, но повелите употребить сию сумму на доставление меня домиком, в котором жила бы я с тем моим покровителем, какого угодно было вашему императорскому величеству мне назначить»^[492].

Просьба подписана фамилией Темлицына, а не привычным для нас вариантом — Темкина. Вероятно, последний изобретен позднейшими историками, которые производили фамилию дочери Потемкина по старинной русской традиции давать побочным детям усеченные прозвания родителей: Бецкой (от Трубецкой), Ранцов (от Воронцов), Лицын (от

Голицын).

Заметим, что девица обращается не с официальным прошением, а с личным письмом, разрешение написать которое уже немалая милость и свидетельство относительной близости к императрице. В нем девушка фактически торгуется: просит домик вместо деревни с душами. При этом мы узнаем, что указ о покупке ею крестьян уже был. Значит, не так уж и бездействовала Екатерина.

Жених Елизаветы Григорьевны Иван Калагеорги с 1782 по 1789 год состоял в свите великого князя Константина для обучения его греческому языку. Великий князь поддерживал с ним дружеские отношения и позднее. В 1789 году Иван отправился в армию поручиком, под начальством И. П. Салтыкова воевал со шведами, в 1790 году получил чин капитана, в 1793-м — секунд-майора. Незадолго до свадьбы он перешел на службу в Сенат^[493]. Его венчание с Елизаветой Григорьевной состоялось 4 июня 1794 года. Для нее была устроена покупка (скорее всего фиктивная) имения у Самойлова.

Дальнейшая служба Калагеорги была связана с Югом России. Семья переехала туда. Иван Христофорович занимал должности Херсонского вице-губернатора, затем губернатора, а с 1820 по 1833 год — Екатеринославского губернатора. Получил орден Святой Анны 2-го класса^[494]. Не оставлял старого товарища покровительством и Константин Павлович. Двое старших сыновей Ивана Христофоровича Александр и Григорий были определены великим князем на казенный счет в 1-й Кадетский корпус. По окончании корпуса юноши были произведены в корнеты и пожалованы в лейб-гвардии Уланский полк. Когда Константин отбыл в Варшаву, он взял их с собой.

В 1820 году Ивану Калагеорги пожаловали земли под Екатеринославом^[495]. Елизавета Григорьевна родила мужу четверых сыновей: Александра, Григория, Николая и Константина — и пятерых дочерей: Варвару, Екатерину, Веру, Настасью и Софью. Отношения госпожи Калагеорги с родными были сложны. Судя по ее немногочисленным письмам к Самойлову^[496], семья последнего не слишком-то привечала дочь светлейшего.

Знали ли дети Елизаветы Григорьевны имя своей бабушки? Константин Иванович Калагеорги в 1883 году, предлагая коллекционеру П. М. Третьякову купить портрет его матери кисти Боровиковского, писал: «Портрет имеет ценность историческую, так как мать моя — родная дочь светлейшего князя Потемкина-Таврического, а со стороны матери тоже

высокоозначенного происхождения»^[497]. Уже в 1901 году в «Ходатайстве внуков покойной Елизаветы Григорьевны Темлицыной по мужу Калагеорги» бабушка названа крестницей Екатерины II^[498]. А московский коллекционер Иван Цветков, в 1907 году записавший беседу с одним из внуком Калагеорги, сообщает, что тот рассказывал о бабушке как о дочери Екатерины II и Потемкина^[499]. Так, по мере отдаления от реальных событий, Елизавета Григорьевна обретала в сознании своих потомков все более тесную связь с императрицей.

Судьба госпожи Калагеорги покрыта множеством тайн. Однако кое-что все же удалось уточнить. Из ее письма к Екатерине II стало известно, что воспитанием девочки занимался не Самойлов, как до сих пор считалось, а М. Л. Фалеев. В прошлом богатый откупщик, он стал правой рукой Потемкина на юге, его другом и одним из ближайших сотрудников. Фалеев занимал важную должность обер-штер-кригскомиссара Черноморского адмиралтейства и ворочал немалыми деньгами. Фалеев завещал Лизе от себя 10 тысяч на приданое. Сумма скромная для дочери светлейшего, но вряд ли бывший обер-штер-кригскомиссара думал, что тем дело и ограничится. Шла тяжба о наследстве Потемкина, кроме того, свое слово должна была сказать и государыня.

Из переписки Константина Калагеорги с Третьяковым узнаем, что Елизавета Григорьевна была помещена в Петербурге в «лучшем тогда пансионе Беккера». Можно сделать вывод, что до тех пор, пока были живы Потемкин и Екатерина, девочкой все-таки занимались. Но со смертью императрицы она превратилась просто в супругу крупного чиновника, служившего на Юге России. Тайна ее происхождения больше не занимала властей предержащих, родные же были рады сделать вид, что еще одного претендента на наследство нет.

Остается выразить надежду, что со временем найдутся новые свидетельства о жизни Елизаветы Григорьевны, позволяющие с уверенностью сказать, чьей дочерью она все-таки была.

Царицыно

30 июня двор покинул Москву^[500]. Екатерина намеревалась провести неделю в приобретенной у князя С. Г. Кантемира деревне Черные Грязи. Еще в 1767 году, во время приезда в Первопрестольную, Екатерина приглядела себе новое подмосковное имение. Совершая пешие прогулки из

Коломенского, она наткнулась на местность, поразившую ее своей красотой.

16 июня 1775 года, через восемь лет после первого знакомства с Черными Грязями, Екатерина писала барону Гримму: «Однажды, устав бродить по долинам и лугам Коломенского, я отправилась на большую дорогу... Эта дорога привела меня к громадному пруду, связанному с другим, еще огромнейшим: но второй пруд, богатый прелестнейшими видами, не принадлежал ее величеству (покойной Елизавете Петровне. — О. Е.), а некоему князю Кантемиру... который нисколько не интересовался ни водами, ни лесами, ни прелестными видами, восхищавшими путешественников. Он проводил жизнь за карточным столом, проклиная свои проигрыши»^[501].

Тогда же императрица попыталась купить деревню, но Кантемир долго отказывался. Лишь в 1775 году упрямый старик, вконец разоренный азартными играми, решил продать имение за 20 тысяч рублей. Екатерина дала 25 тысяч, и купчая была оформлена.

Императрице не терпелось обновить будущую резиденцию, которая была переименована в Царицыно. Кроме того, она нуждалась в отдыхе после утомительных торжеств и болезни (или родов). Екатерина поселилась в маленьком деревянном домике из шести комнат, где единственным ее соседом был Потемкин. «На даче» наши герои, почти не скрываясь, проводили время вместе. Возможно, несколько дней возле матери был и ребенок. Однако в положении Екатерины семейная идиллия оказалась невозможна.

По Камер-фурьерскому журналу видно, что императрицу каждое утро посещали великий князь с супругой, статс-секретари, другие вельможи^[502]. Мало того, узнав, что Екатерина уединилась вдали от охраны и множества слуг, ее начали осаждать толпы просителей. Их не гнали. Екатерина только смеялась над собой, говоря, что когда-нибудь умрет «от услужливости»^[503].

А вот Потемкин не всегда умел скрыть досаду по поводу навязчивых визитеров. Так, Г. Р. Державин, не получивший награду за военные действия против Пугачева, решил подать прошение на высочайшее имя. Он отправился в Царицыно, но на пороге комнаты Потемкина просителя встретил лакей. «Камер-лакей не хотел пустить, но он (Державин пишет о себе в третьем лице. — О. Е.) смело вошел, сказав: где офицер идет к своему подполковнику, там он препятствовать не может. Сказав свое имя и где был в от-командировке, подал письмо. Князь, прочетши, сказал, что доложит государыне... Через несколько дней еще попытался напомнить

любимцу; но он уже от него с негодованием отскочив ушел к императрице»^[504].

Потемкин действительно не любил, когда ему напоминали об уже доложенных делах. Григорий Александрович говорил, что имеет свои причины решать их не тотчас. Вопрос с Державиным был непростым: поэт считал, что казна должна ему за провиант для войск 25 тысяч рублей. С другой стороны, иск к Державину предъявлял Коммерческий банк. На Гавриле Романовиче числилось слишком много казенных денег, чтобы вопрос с наградами мог быстро решиться. Возможно, поэту следовало подождать и не вторгаться в частную жизнь императрицы так бесцеремонно.

Как ни прекрасно было Царицыно, но провести хотя бы неделю только вдвоем наши герои так и не смогли. Зато на прощание Потемкин устроил для Екатерины великолепный сельский праздник — День сенокоса. Прежние владельцы имения Кантемиры поселили здесь множество молдаван. Рослые мужики и парни в белых рубахах-косоворотках с красными кушаками и в черных поярковых шапках с павлиньими перьями дружно махали косами, а бабы и девки в цветных поневах и кумачовых сарафанах пели и сгребали скошенную траву.

Сам Потемкин снял камзол, положил его к ногам государыни и, взяв косу, встал в строй косарей. Екатерина наблюдала за праздником с высокой копны сена. Впоследствии В. И. Баженов обозначил это место беседкой «Храм Цереры» или «Золотой сноп».

После работы крестьяне получили угощение: молдавское вино, брагу, горы калачей, позолоченных пряников, ватрушек, сбитень, засахаренные ягоды. Народ качался на высоких качелях, плясал и дул в самодельные свирели. Императрица прохаживалась по имению, осмотрела оранжерею, где высаживали привезенные с Урала сибирские кедры и лиственницы. Лишь поздно вечером она тронулась в Москву. Каширская дорога была специально иллюминирована по этому случаю, ее украшали светящиеся арки и большие смоляные бочки, ярко горевшие в темноте^[505].

Гибель Голицына

Остаток года наши герои провели в Москве. В Пречистенском дворце Екатерина и Потемкин тихо отметили день рождения Григория Александровича — 30 сентября. Императрица писала любимому: «Милуша

моя, поздравляю тебя с днем рождения моего милого друга к моему счастью»^[506]. Оба еще не подозревали, что вскоре их совместная жизнь подвергнется серьезным испытаниям.

11 ноября 1775 года на дуэли был заколот князь Петр Михайлович Голицын. Обстоятельства его смерти взбудоражили умы. Голицын был в обществе человек известный. Он нанес поражение Пугачеву 22 марта 1774 года под крепостью Татищевой. Уже взятый в плен «злодей» сказал ему: «Ваше превосходительство, прямо храбрый генерал! Вы первый сломили мне рог»^[507]. Тридцатишестилетний вдовец, красавец, удачливый военачальник, князь был хорошо принят при дворе и собирался вторично жениться на дочери московского генерал-губернатора М. Н. Волконского — А. М. Волконской.

Современные читатели знают о дальнейших событиях из «Замечаний о бунте» А. С. Пушкина, поданных в 1835 году Николаю I. Поэт писал: «Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой человек и красавец. Императрица заметила его в Москве на бале (в 1775-м) и сказала: „Как он хорош! настоящая куколка“. Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколот его, сказывают „изменнически“. Молва обвиняла Потемкина»^[508].

Со слов Пушкина этот эпизод вошел в отечественную историческую литературу и публицистику. Он хрестоматийно приводится в книгах о дуэлях как первый случай поединка по политическим мотивам^[509]. Таким образом, Потемкин обвиняется в заказном убийстве, причем без приведения каких-либо доказательств.

В. С. Лопатин считает, что версия о причастности Потемкина к убийству Голицына сложилась уже в XIX веке. В 1865 году историк М. Н. Лонгинов, переводивший и комментировавший книгу саксонского дипломата Гельбига о России, предал истории законченный вид. В отличие от осторожного замечания Пушкина: «Молва обвиняла Потемкина», он прямо утверждает: «Потемкин очень невзлюбил князя П. М. Голицына за его светские и придворные успехи и имел против него, кроме того, какие-то другие личные обиды. Предание гласит, что он решился во что бы то ни стало отделаться от Голицына и нашел человека, готового на злодейство ради разных выгод и покровительства. Это был Петр Амплеевич Шепелев, который как-то придрался к кн. Петру Михайловичу, вышел с ним на поединок и убил его 11 ноября 1775 года изменническим образом. После этого он получил в награду руку племянницы Потемкина Надежды

Васильевны Энгельгардт, а затем открылся ему путь к повышениям и богатству»^[510].

Кстати, у самого Гельбига обвинений против Потемкина нет, как и рассказа о дуэли, что странно, если учесть крайне недоброжелательное отношение саксонца к светлейшему князю. Это, вероятно, и ввело Лопатина в заблуждение: при Гельбиге версия еще не бытовала, а Пушкин ее уже знал. Следовательно, она появилась в первой четверти XIX века.

На самом деле в дипломатической среде о ней заговорили гораздо раньше. В 1783 году маркиз де Парело, чрезвычайный посланник короля Пьемонта и Сардинии, писал: «Князь Голицын, молодой человек, исполненный достоинств, привлекал взоры государыни, но не пользовался поддержкой Потемкина, который, опасаясь, что не успеет посредством всевозможных интриг отодвинуть его назад, ...счел более удобным навлечь ему ничем не вызванную ссору. Один молодой офицер и г. Шепелев приняли на себя это унижительное поручение. Князь Голицын... дрался, как лев, но погиб. Вопреки здешним законам против поединков, г. Шепелев не подвергся никакому наказанию и вскоре женился на одной из племянниц князя»^[511].

Парело — автор уже знакомой читателю истории про хрустальный глаз, и достоверности в его версии убийства Голицына примерно столько же. Источники, повествующие о дуэли, указывают не на Шепелева, а на секунд-майора Н. И. Лаврова. Племянница Потемкина Надежда Васильевна Энгельгардт вышла замуж не вскоре после дуэли, а спустя четыре года, в 1779 году, и не за Шепелева, а за П. А. Измайлова. Еще через четыре года она овдовела, встретила Шепелева и венчалась с ним в 1783 году.

Как видим, ни одна деталь не стоит на месте. Что же произошло в действительности? К счастью, сохранились материалы допросов Голицына и Лаврова, ссора которых имела давние корни. Эти документы проливают свет на запутанное дело.

Впервые имя Лаврова появляется в записке Екатерины к московскому обер-полицмейстеру Н. П. Архарову 15 сентября 1775 года в Яропольце, во время поездки в имение графа З. Г. Чернышева. «Николай Петрович, — говорит императрица, — князь Петр Михайлович Голицын просит у меня сатисфакцию на майора Лаврова, и как сей человек вам отдан, то не освободите его прежде моего приезда; но как судить можно по его поступкам, что он сумасшедший, то позволяю вам его отдать на Рязанское подворье, о чем генерал-прокурору можно дать знать»^[512].

Однако после возвращения из Яропольца и по ознакомлении с

допросами, учиненными врагам, государыня изменила свое мнение о Лаврове. Она даже прониклась к нему сочувствием, о чем писала Потемкину: «Признаюсь, что вина Лаврова уменьшается в моих глазах. Лавров, пришед в дом князя Голицына с тем, чтоб требовать за старую обиду, офицерской чести противную, сатисфакцию, ...получил от князя отпирательства, слова и побои горше прежних, ...был посажен в погреб, потом в избу и, наконец, в полиции, где и теперь под строгим арестом». Далее в записке императрица отмечает, что «в сем деле служба и честь смешена и легко потерпеть могут». «Для такого рода дел во Франции... помнится, установлен суд маршалов Франции. Пришло на ум отдать ее на суд кавалерам святого Георгия»^[513].

Дело и правда казалось щекотливым, поскольку виноват явно был Голицын, но Лавров, требуя сатисфакции, с одной стороны, шел против закона, запрещавшего дуэли, а с другой — нарушал служебную субординацию. На допросе он показал, что после окончания кадетского корпуса был выпущен корнетом в Санкт-Петербургский карабинерный полк, полковником которого был тогда Голицын. Их ссора относилась к 1768 году, когда во время построения полка Голицын ударил Лаврова палкой. «После чего, не могши быть у него более в команде, просился я в другой полк и написан был в Новгородский карабинерный... И с того времени положил намерение искать с ним свидание, надеясь должного от него признания»^[514], то есть сатисфакции. Лавров ожидал удовлетворения долгих семь лет, поскольку служил с Голицыным «всегда розно». Он искал встречи, писал Голицыну письмо, даже однажды взял отпуск на двадцать девять дней, но обстоятельства складывались не в его пользу. Один раз во время войны с польскими конфедератами враги оказались в Ченстоховской крепости, но случай вновь развел их. Голицын в это время уже командовал корпусом, для него Лавров был слишком мелкой сошкой, вероятнее всего, он даже позабыл о нем.

Однако Лавров-то не забывал. История напоминает пушкинский рассказ «Дуэль». Та же антитеза между офицером бедным, но благородным, и богатым баловнем судьбы, презирающим таких противников.

«Узнав, что князь Голицын в Москве, разсудил от него... взять удовольствие моей обиды, — писал арестант, — и потому 15 числа сего месяца поехал я в дом к нему и начал тем, что я тот Лавров, кой был некогда в его полку, и надеюсь, что вашему сиятельству нетрудно узнать причину моего приезда. ...Но в ответ получил, что я повеса и что я пришел

с ним в дом его дратца, и, толкнув меня в грудь, принимался за лацкан».

На шум прибежали офицеры Голицына и его лакеи. Хозяин дома крикнул им, чтобы они били Лаврова, «как бешенова». Визитера скрутили. «Тогда ж не упустил князь Голицын покуситца ударить меня в щеку, когда за руки меня несколько людей держали, а за косу держал лакей его». Некрасивая сцена: Голицын еще и отвешивает пощечину человеку, который не может ему ответить. У Лаврова отняли шпагу и заперли в погребе, затем его отвезли в полицию.

В 1775 году Голицын был для секунд-майора лицом еще более недостижимым, чем в 1768-м. Генерал-поручик, обласканный при дворе, да еще собиравшийся жениться на дочери главнокомандующего Москвы. Князь подал прошение о сатисфакции, но императрица пустила дело законным порядком. Она приказала снять показания не только с Лаврова, но и с Голицына. Это очень характерная деталь: видимо, «куколка» не настолько вскружил Екатерине голову, как уверяют сторонники версии об «изменническом» убийстве.

Голицын всячески старался подчеркнуть неофициальный характер разбирательства. Так, свой допрос, без сомнения, для него очень неприятный, он называет «Записка для памяти». Удар палкой Голицын отрицал. «Сколько мне помнится, я, будучи в строю, замахнулся на него шпагою». Князя удивляло то обстоятельство, что восемь лет Лавров и не вспоминал ни о какой обиде, а сделать ему это было нетрудно, особенно во время совместной службы в Польше.

Иначе описана и сцена в доме Голицына. «Стал он мне говорить об своей мнимой обиде. ...Не дожидаясь от меня никакого ответа, кинувшись на меня, ухватил за горло»^[515]. Прибежали офицеры и взяли Лаврова под арест.

Потемкин как вице-президент Военной коллегии пригласил для решения дела трех генерал-фельдмаршалов К. Г. Разумовского, П. А. Румянцева и З. Г. Чернышева. К ним присоединились три полных генерала И. Г. Чернышев, Я. А. Брюс и М. В. Берг. Они заслушали показания и признали поведение Лаврова, нарушившего субординацию, «неприличным и дерзновенным», его дело должно было быть передано обычному военному суду. Самому Голицыну дали понять, что будет желательна его отставка.

27 сентября Голицын написал письмо Потемкину, в котором просил за своего врага: «Удален будучи от всего того мщения, которое по военным регулам влечет за собою военный суд, и будучи уже тем доволен, что он над отставным секунд-майором Лавровым назначен, прошу покорнейше

Ваше Сиятельство мою всеподданнейшую просьбу у Ее Императорского величества подкрепить, дабы сей Лавров освобожден был от онаго суда»^[516].

Видимо, о таком прощении с его стороны заранее была достигнута договоренность. Низший по чину не мог безнаказанно оскорблять вышестоящего, поэтому фельдмаршалы и генералы оказались суровы в отношении Лаврова. Но и судить фактически потерпевшего они считали несправедливым. Таким образом, отставной секунд-майор не получал никакого наказания, а вот Голицын пострадал — он вынужден был покинуть службу.

Казалось, инцидент исчерпан. Но всего через несколько дней князь Петр Михайлович был убит на дуэли. С кем же он дрался? Французский поверенный в делах шевалье М. Д. Б. Корберон уверяет, что с Лавровым. Запись в его дневнике сделана 13 ноября, по горячим следам дуэли. «Вечером был у князя Волконского. Это отец невесты того князя Голицына, который был убит неким Лавровым и которого завтра хоронят. История весьма запутанная и необыкновенная. Несколько времени тому назад князь Голицын ударил палкой офицера Шепелева. Тот остался спокоен, но через несколько месяцев покинул полк, в котором служил, и, приехав в дом князя Голицына в Москве, потребовал у него удовлетворения и тут же дал ему пощечину. Князь велел его вывести, и дело как будто этим кончилось. Все были удивлены тем, что князь Голицын не захотел драться. Но он возражал, что ему не подобает выходить на поединок со своим подчиненным.

Наряжен суд. Шепелеву велено оставить двор, а Голицыну выходить в отставку. Пущен был слух, что князь Голицын будет драться с Лавровым, который якобы настроил Шепелева. Лавров обратился к нему с вопросом: с какой стати он про него это выдумал? Князь резко отвечал ему и вызвал его драться на пистолетах. Но на месте поединка пистолеты заряжаемы были медленно, и Лавров, пользуясь этим, стал оправдываться и отрицать все, в чем его обвинял князь Голицын, который раздраженный замечаниями напал на своего противника со шпагою в руке. Лавров также нанес ему две раны шпагою, от которых он умер через несколько времени»^[517].

Если сличить запись Корберона с другими документами, то становится ясно, что дипломат перепутал местами фамилии Лаврова и Шепелева. Оскорбление было нанесено Лаврову, он же приходил в дом князя Голицына за удовлетворением, ему же и было велено покинуть двор. Голицын утверждал позднее, перед самой дуэлью, что Лаврова подбил Шепелев, последний потребовал объяснений, но был вызван князем. Пока

секунданты нарочито медленно заряжали пистолеты, давая противникам возможность примириться, Шепелев продолжал убеждать Голицына в своей непричастности. Князь вышел из себя, выхватил шпагу и напал на врага. Вынужденный защищаться, Шепелев нанес ему два удара, которые оказались смертельными.

Характерно, что отец невесты, с чьих слов Корберон записал историю дуэли, не пытался выгораживать Голицына. Поведение последнего во время поединка не оставило Шепелеву выбора. Смягчающие обстоятельства позволили Петру Амплеевичу избежать уголовного преследования, однако это не значит, что он не был наказан. Шепелева удалили со службы на год. Только в 1777 году он вернулся в армию и получил командование в отдаленном Рязанском карабинерном полку.

Когда заходит речь о браке Шепелева с Надеждой Измайловой (урожденной Энгельгардт), всякий раз подчеркивается худородство жениха и делается вывод, что рукой племянницы Потемкин оплатил небогатому и незнатному дворянину убийство. Опускается как «несущественная» информация о том, что брак произошёл в 1783 году, а Голицын был убит в ноябре 1775-го.

Самая некрасивая из племянниц Потемкина Надежда, ей в 1775 году исполнилось шестнадцать лет, не производила на женихов приятного впечатления. Острый на язык дядя даже прозвал ее «Надежда безнадёжная», имея в виду невозможность составить для нее удачную партию. Однако и первый, и второй мужья Надежды Васильевны принадлежали к старинным дворянским родам. Матерью Петра Амплеевича Шепелева была графиня Матвеева, внучка Артамона Матвеева, ее сестра вышла замуж за Александра Румянцева. Таким образом, фельдмаршал Румянцева являлся Шепелеву двоюродным братом. По отцовской линии Шепелев был племянником всесильных елизаветинских вельмож графов Шуваловых. Ближайшая подруга Елизаветы Петровны Мавра Егоровна Шувалова, супруга П. И. Шувалова, в девичестве носила фамилию Шепелева и весьма привечала свою родню.

В момент дуэли Петр Амплеевич был подполковником и сослуживцем Голицына. Вернувшись на службу в 1777 году, он ко времени сватовства достиг высокого чина генерал-поручика. В дальнейшем Шепелев перешел на статскую службу, имел чин действительного тайного советника и сенаторское звание. Среди многочисленных писем и официальных обращений светлейшего князя к императрице, в которых он ходатайствовал за разных лиц (в том числе и за своих родственников), имя Шепелева не встречается. Таким образом, нет оснований утверждать, что Потемкин

оказывал Петру Амплеевичу покровительство.

Лучшим доказательством вздорности слухов о тайной роли Потемкина в убийстве Голицына является брак другой его племянницы, Варвары Васильевны. В 1777 году фрейлина Энгельгардт вышла замуж за князя С. Ф. Голицына, двоюродного брата погибшего^[518]. Трудно себе представить, что семья Голицыных согласилась бы породниться с истинным «убийцей» одного из своих членов.

Однако для нас важно отметить, что клевета на Григория Александровича пришлась в тогдашнем придворном обществе как нельзя кстати. Многие охотно поверили ей и стали распространять. Это был тревожный симптом. За неполных два года фавора Потемкина успели очень невзлюбить.

Что было тому виной? Безусловно, милость государыни, неограниченное доверие, которым пользовался новый любимец. Но не только они. Потемкин сосредоточил в руках такую колоссальную власть, какой не пользовался ни один случайный вельможа до него. При этом он почти не скрывал своего реального положения — некоронованного императора. Ему, если учесть брак с императрицей, оно казалось вполне естественным. Остальные, напротив, видели в поведении любимца вопиющее нарушение приличий. Потемкин выглядел в их глазах узурпатором, и они подсознательно ожидали от него злодейств. Когда в марте 1776 года простудился и слег Орлов, по Петербургу поползли слухи, будто Григорий Григорьевич отравлен фаворитом. Каково же было удивление, когда Орлов поправился^[519]. Если бы Григорий Григорьевич скончался от горячки, Потемкин уже никогда бы не отмылся от обвинений в устранении сильного врага.

ГЛАВА 6

КОНЕЦ РОМАНА

До 12 декабря Екатерина оставалась в Москве, а затем тронулась в обратный путь. 23-го числа императрица со свитой достигла Царского Села, а 26-го прибыла в Петербург и поселилась в Зимнем дворце^[520].

С этого времени иностранные дипломаты все чаще фиксируют в донесениях слухи о скором падении фаворита. Сама эта мысль вызывала у многих вельмож нескрываемую радость. 5 февраля английский поверенный сэр Ричард Окс писал: «Влияние Потемкина, без сомнения, достигло своего меридиана без малейших признаков уменьшения». Но уже в марте он замечал: «Хотя Потемкин пользуется в настоящую минуту полною властью, многие под секретом предсказывают его падение, как событие весьма недалекое. Но я думаю, что это следует скорее объяснить всеобщим к тому желанием, чем какими-либо положительными признаками... Правда, что зависть его ко всякому, кто пользуется малейшим отличием императрицы, чрезмерна и, как кажется, выражается таким образом и при таких случаях, которые не могут быть приятны императрице, а напротив, способны внушить ей отвращение»^[521].

То, что Окс именовал «завистью», следовало бы назвать «ревностью». Семья наших героев переживала тяжелые времена. Внешнее давление противников Григория Александровича только усиливало внутренний разлад. Он зародился не вчера и уходил корнями в то двойственное положение, которое Потемкин занимал по отношению к императрице.

Кризис

Согласившись на тайный брак, Екатерина поставила своего избранника в сложную ситуацию. Муж по сути, он должен был на людях играть роль любовника. Это, естественно, не доставляло Григорию Александровичу удовольствия.

Ради возможности провести лишний час в обществе любимой женщины, к тому же своей законной супруги, ему приходилось преодолевать тысячи трудностей: вставать раньше придворных истопников и лакеев, ждать, пока императрица, поминутно рискуя быть замеченной,

доберется до его комнат, или самому под покровом ночи прокрадываться в ее спальню. Игра для 16-летних влюбленных, а не для солидных политиков, двигавших по карте многотысячные армии и взвешивавших на ладони войну и мир. И все же они вынуждены были в нее играть, чтобы не оскорбить придворное общество.

Еще труднее было политическое положение Потемкина. Придворные партии видели в нем преходящую фигуру, вся сила которой основывалась на переменчивой сердечной привязанности императрицы. Они не понимали, почему Григорий Александрович получил от Екатерины так много власти по сравнению с прежними фаворитами, и всячески старались напомнить новому «случайному вельможе» его место. Неудивительно, что Потемкин внутренне терзался, а на людях проявлял надменность и высокомерие. С годами он научился сдерживать себя, но опыт и знание истинной цены чувств придворных пришли не сразу. За них ему пришлось дорого заплатить.

Екатерина, как могла, сглаживала ситуацию, стараясь в чисто личных отношениях предстать перед возлюбленным в роли верной, преданной жены. «Напрасно ветренная баба меня по себе судит, — писала она, — как бы то ни было, но сердце мое постоянно»^[522]. «Христа ради, выискивай способ, чтоб мы никогда не ссорились, а ссоры всегда от постороннего вздора... Желаете ли сделать меня счастливой? Говорите со мной о себе, я никогда не рассержусь»^[523].

С ревнивым и вспыльчивым Потемкиным императрица вела себя очень тонко. Она понимала, чего стоит его «золотая голова», и до тех пор, пока взаимная страсть связывала их, старалась терпеть его бурные сцены и мелочные придирки. «Я верю, что ты меня любишь, — урезонивала она его, — хотя и весьма часто и в разговорах твоих и следа нет любви. Верю для того, что я разборчива и справедлива, людей не сужу по словам их тогда, когда вижу, что они не следуют здравому рассудку... Хотя ты меня оскорбил и досадил до бесконечности, но ненавидеть тебя никак не могу»^[524].

Мучимая болезненной ревностью Потемкина, Екатерина пыталась задобрить его ласковыми словами: «Пожалуй, прими от меня дружеского совета, наложи на себя воздержание, ибо опасюсь в противном случае, что любовь теряется»^[525]. Во всех своих бедах женщина винила наушников и злопыхателей, которые наговаривали на нее Григорию Александровичу. «Если вы будете верить тем людям, которые вы знаете, что меня не любят и выдумывают вам наказыывать на меня, то я буду всегда перед вами

виновата»^[526].

Записки того времени как на ладони открывают семейную драму Екатерины и Потемкина. Через двести лет в них звучат любовь, боль, обиды...

«Вы были в намерении браниться, — писала императрица. — Прошу повестить, когда охота отойдет»^[527]. Обычно охота не отходила очень долго и первой шла мириться Екатерина: «Ты знаешь мой нрав и мое сердце, ты ведаешь хорошие и дурные свойства, ты умен, тебе самому представляю избрать приличное тому поведение. Напрасно мучиться, напрасно терзаться, един здравый разсудок тебя выведет из беспокойного сего положения, не крайности; здоровье свое надрываешь понапрасну»^[528].

Короткие замирения скреплялись самыми нежными клятвами. «Душенька, я взяла веревочку и с камнем, да навязала их на шею всем ссорам, да погрузила в прорубь. Не прогневайся, душенька, что я так ученила, а буде понравится, изволь перенять. Здравствуй, миленький, без ссор, спор и распрей»^[529]. Из письма в письмо императрица повторяет единственную просьбу: «Душа! Я все делаю для тебя, хотя б малехонько ты б меня епеоцагировал (порадовал. — О. Е.) ласковым и спокойным поведением»^[530].

Ни ласка, ни покой не продолжались долго, мир в одночасье взрывался новыми всплесками ревности Потемкина. «Нежное твое со мною обхождение везде блистает, и калабродство твоих толков всегда одинаков: тогда, когда менее всего ожидает, тогда гора валится. Теперь, когда всякое слово — беда, изволь сличить свои слова и поведение...»^[531] «Сумасброду тебе милее нету, как беспокойство твое собственное и мое, а спокойствие есть для тебя чрезвычайное и несносное положение»^[532].

Екатерина вела себя на удивление терпеливо: «Погоди маленько, дай перекипеть оскорбленному сердцу, ласка сама придет... Она у меня суетливо, она везде суется, где ее не толкают вон, да и когда толкаешь, и тогда она вертится около тебя, как бес, чтобы найти место, где ей занять пост. Когда ласка видит, что с чистосердечием пройти не может, тот час она облечет разы лукавства... Ты ее ударишь кулаком, она отпрыгнет с того места и тот же час перейдет занимать способнейшее, дабы стать ближе не к неприятелю, но к ее другу сердечному... Она преодолевает его гнев, она ему прощает неправильное каверканье ее слова, она кругом его речам присваивает смысл уменьшительной... обидных не принимает на сердце или стараются позабыть... Кто столько желает дружно жить, как я? Кто нравом тише?»^[533]

Благодаря ревнивому и подозрительному характеру возлюбленного императрица рисковала оказаться затворницей. «Если... Вы будете продолжать тревожиться сплетнями кумушек, то ...я запрусь в своей комнате и не буду видеть никого, кроме Вас. Я стою перед необходимостью принять чрезвычайные меры и люблю Вас больше, чем самое себя»^[534].

Однако всякому терпению наступает конец. «Душа в душу жить я готова, только бы чистосердечья моя никогда не обратилась мне во вред, а буде увижу, что мне от нее терпеть, тогда своя рубашка ближе к телу»^[535]. «Баловать тебя вынужденными словами не буду»^[536].

Страдающая женщина вызывает искреннее сочувствие. Однако, читая записки, мы слышим только одну сторону. Писем Потемкина сохранилось крайне мало. Большинство из них было отправлено в огонь рукой самой Екатерины сразу по прочтении^[537]. «Позволь, Голубушка, сказать последнее, чем, я думаю, наш процес и кончится. Не дивись, что я беспокоюсь в деле любви нашей. Сверх безчетных благодеяний твоих ко мне, поместила ты меня у себя в сердце. Я хочу быть тут один преимущественно всем прежним, для того, что тебя никто так не любил; а как я дело твоих рук, то и желаю, чтоб мой покой был устроен тобою, чтоб ты веселилась, делая мне добро; чтоб ты придумывала все к моему утешению и в том бы находила себе отдохновение... Аминь»^[538].

Сохранилось описание ссоры, сделанное рукой Екатерины: «Скажите на милость, как бы Вы выглядели, если бы я постоянно упрекала Вас за все недостатки Ваших знакомых... если бы я делала Вас ответственным за все глупости, которые они делают? Если же видя Вас нетерпеливым, сержусь, встаю и убегаю, хлопая дверями, а после этого избегаю Вас, не смотрю на Вас и даже притворяюсь более холодной, чем есть на самом деле, если я к этому присоединяю угрозы, значит ли это, что я притворяюсь? Наконец, если после всего этого у Вас голова так же разгорячена и кровь кипит, нужно ли удивляться, что мы оба не в своем уме, никак не можем столкнуться, и оба говорим одновременно?»^[539]

Неудивительно, что после таких сцен императрица искала отдыха и утешения. Однако кроме личных имелись и другие причины для ссор. Если Орлов не был в полном смысле слова государственным человеком, то Потемкин принес с собой в жизнь Екатерины иную проблему. Он работал дни и ночи. Императрица, просыпаясь в 5–6 часов утра и намереваясь посетить возлюбленного в его покоях, с досадой замечала, что он уже на ногах, а его секретари спуют по коридору с бумагами.

Талантливый политик и деятельный сотрудник, Потемкин кипел

энергией, быстро учился и норовил все делать сам. Беда была не в том, что порученную работу он выполнял плохо — наоборот, Григорий Александрович блестяще справлялся со сложнейшими проблемами, но, к сожалению, слишком редко спрашивал позволения своей августейшей супруги. В таких условиях ссоры были неизбежны. Два одаренных политических деятеля с трудом уживались вместе, споры из кабинета переходили в спальню. «Дав мне способы царствовать, — писала Екатерина, — отнимаешь силы души моей»^[540]. «Мы ссоримся о власти, а не о любви»^[541], — грустно замечала она в другом письме.

Как бы сильно Екатерина и Потемкин ни любили друг друга, долго вытерпеть такой семейный ад они не могли. Государыня чувствовала, что ей нужен человек потише и помирнее. 1 января 1776 года сэр Роберт Гуннинг доносил в Лондон: «Если верить сведениям, недавно мною полученным, императрица начинает совсем иначе относиться к вольностям, которые позволяет себе ее любимец. Отказ графа Алексея Орлова от всех занимаемых им должностей до того оскорбил ее, что она захворала, и при этом до нее в первый раз дошли преобладающие в обществе слухи. Уже поговаривают исподтишка, что некоторое лицо, определенное ко двору Румянцевым, по-видимому, скоро приобретет полное ее доверие»^[542]. Речь шла о Петре Васильевиче Завадовском.

Завадовский

Как мы помним, Завадовский вместе с Безбородко был рекомендован Екатерине в качестве секретаря Румянцевым. Менее известен тот факт, что принять на службу протеже фельдмаршала императрицу уговорил именно Потемкин, не чаявший тогда угрозы в скромных малороссиянах. Он знал обоих по совместной службе в годы войны и был рад угодить старому покровителю Румянцеву. Еще в 1774 году фельдмаршал просил Потемкина похлопотать о Завадовском. Тот мечтал получить место при дворе и деревеньку. В ожидании этих благ Петр Васильевич проявлял нетерпение и рассуждал, что, быть может, фаворит ничего для него не сделает. «Я прилагаю письмо ко мне Григория Александровича, — сообщал он С. Р. Воронцову. — В нем не найдешь ни слова, о чем бы должно уже написать, ежели бы его намерение было в мою пользу».

Однако Потемкин выхлопотал и должность, и пожалование и даже сам написал о них Завадовскому. За это Румянцев благодарил Григория

Александровича от себя лично: «Я видел твое письмо к Петру Васильевичу, в котором ты предваряешь самым делом мои усердные желания добра ему наибольшего. Благодения твои для него не только мне приятны, но во исполнении оных я возьму участие сердечным обрадованием и самою благодарностию, что ты, будучи мне друг, распространяешь свою помощь и милости на человека, коего я, любя, желаю твои паче узреть на нем благотворения... Прости, любезный друг, и живи для счастья многих»^[543].

Прав оказался Н. В. Репнин, в апреле 1775 года убеждавший Завадовского, что «случайный» его «любит и помнит». На празднование мира 10 июля тот получил не только должность, но и деревню Ляличи в Черниговской губернии, находившуюся рядом с его родовым гнездом Красновичи. Завадовский в самых лстивых выражениях благодарил Потемкина за помощь^[544]. В тот момент никто не знал, что всего через три месяца красавец хохол встанет между императрицей и своим «милостивцем». Волей-неволей вспоминается, что Завадовский до Киевской академии окончил иезуитское училище в Орше.

С 13 по 16 октября 1775 года Екатерина с небольшой свитой совершила короткое путешествие в Коломенское^[545]. После возвращения Завадовский, как видно из Камер-фурьерского журнала, постоянно стал появляться за столом императрицы в ее внутренних покоях. Около этого же времени при дворе поползли слухи, что статс-секретарь входит в «случай»^[546]. Потемкин воспринял их чрезвычайно болезненно. Именно к концу 1775 года относится ряд очень нервных записок по поводу Завадовского.

«Какая тебе нужда сказать, что жив не останется тот, кто место твое займет! — писала Екатерина. — Похоже ли на дело, чтоб ты страхом захотел приневолить сердце? Самой мерзкой способ сей не похож вовсе на твой образ мысли, в котором нигде лихо не обитает, а тут бы одна амбиция, а не любовь действовала... Истреби о том и мысли, ибо все это пусто ж похожа на сказку... Скорее ты много скучаиш, нежели я»^[547].

Прямая угроза в адрес соперника, казалось бы, должна подтвердить, что Потемкин, хотя бы теоретически, мог быть причастен к делу Голицына. Однако обратим внимание на тот факт, что в октябре-ноябре 1775 года Григорий Александрович бешено ревнует Екатерину к Завадовскому, а на дуэли гибнет не фигурировавший в их любовных письмах Голицын. Удачливый же противник-хохол остался жив, несмотря на всю бурю чувств, которую вызвал у Потемкина.

Ревность Григория Александровича усиливалась еще и общим

шушуканьем у него за спиной. Екатерина была вынуждена оправдываться, однако ее слова давали возлюбленному повод для новых нападок. «Я написала и изодрала для того, что все пустош, и как вы умны очень, то на все сыщете ответ, а я на себя вам оружия не подам»^[548].

Внутреннее состояние Потемкина в этот момент было очень тяжелым. Императрица пыталась успокоить его и заверить в неизменности своих чувств. «Владыко и cher ероух! — писала она. — Я зачну ответ с той строки, которая более мне трогает. Кто велит плакать? Для чего более давать волю воображению живому, нежели доказательствам, глаголющим в пользу своей жены? Два года назад была ли она к тебе привязана святейшими узами? Галубчик, изволишь сюпасировать (от *фр.* supposer — полагать, допускать. — *О. Е.*) невозможное, на меня шлется. Переменяла ли я глас, можешь ли быть не любим? Верь моим словам. Люблю тебя и привязана к тебе всеми узами. Теперь сам сличи: два года назад были ли мои слова и действия в твою пользу сильнее, нежели теперь?»^[549]

Однако Григорий Александрович не склонен был верить «доказательствам, глаголющим в пользу своей жены». Настал момент, когда он прямо потребовал удаления Завадовского, и из ответного письма Екатерины становится понятно, что у него были для этого причины. «Прочитала я тебе в угодность письмо твое, — пишет императрица. — ... Бога для опомнись, сличая мой поступок с твоим. Не в твоей ли воли уничтожить плевели, и не в твоей ли воли покрыть слабость, буде бы она место имела. От уважения, коя ты дашь или не дашь сему делу, зависит рассуждение и глупы публики. Просишь ты отдаление Завадовского, слава моя страждет всячески от исполнение сей прозбы; плевели тем самым утвердятся, а только пачтут меня притом слабою более, нежели с одной стороны, и совокуплю к тому несправедливость, и гонение на невинного человека. Не требуй несправедливостей, закрой ушей от наушников, дай уважение моим словам. Покой наш возстановится, буде горесть моя тебя трогает»^[550].

Судя по фразе: «Не в твоей ли воли покрыть слабость, буде бы она место имела. От уважения, коя ты дашь или не дашь сему делу, зависит рассуждение и глупы публики», — измена Екатерины с Завадовским уже произошла. Но сама императрица смотрела на случившееся как на досадную «слабость», просила мужа не раздувать скандала, вспыльчивым поведением не обращать внимания «публики». Она все еще надеялась, что их «покой возстановится». Вероятно, в какой-то момент, измученная придирками Потемкина, Екатерина позволила Завадовскому утешить себя.

Поначалу императрица и не думала расставаться с мужем, полагала, что он простит измену, «покроет» единичный случай ее «слабости». И, кажется, Григорий Александрович готов был на это пойти, но требовал удаления Завадовского. Однако Екатерина считала, что, совершив такой шаг, она только укрепит слухи в обществе, и просила Потемкина оставить мимолетного любовника в покое. Ситуация стала патовой. Если бы императрица удалила Завадовского, она бы в глазах придворных группировок только подчеркнула свою зависимость от Потемкина. Как государыня Екатерина не могла себе этого позволить. Со своей стороны Григорий Александрович боялся потерять лицо и как мужчина (ему изменили, и весь свет знает об этом), и как государственный человек (его требования больше не выполняются).

К этому времени Потемкин уже понял, что отстаивать за собой исключительное положение любимца ему придется не только на сердечном поприще, но и в жестоких схватках с противоборствующими партиями. У него сложилась своя небольшая группировка. Опираясь на нее, он пытался противостоять враждебным действиям Паниных и Орловых. Однако сам факт существования «конфидентов» Екатерина восприняла очень болезненно, сразу же переводя дело в личную сферу. «Сожалетельно весьма, — писала она, — что условленность у вас с Гагариным, Галициным, Павлом, Михаилом и племянником, чтоб свету дать таковую комедию, вашим и моим зладеем торжество. Я не знала по сию пору, что вы положение сего собора исполняете, и что оне так далеко вникают в том, что меж нами происходит. ...У меня не единого есть конфидента в том, что до вас касается, ибо почитаю ваши и мои тайны, и не кладу их никому на разбор»^[551].

Говоря о «конфидентах», Екатерина лукавит: Прасковья Брюс, пользовавшаяся в это время еще полным доверием императрицы и когда-то указавшая ей на Потемкина, теперь усиленно создавала у своей «хозяйки» благоприятное мнение о Завадовском и всячески чернила старого фаворита^[552].

Перечисленные императрицей лица — С. С. Гагарин, С. Ф. Голицын, троюродные братья П. С. Потемкин и М. С. Потемкин, а также племянник А. Н. Самойлов. Эта группировка была еще слишком слаба. Скорее ее члены удерживались на своих постах благодаря весу Григория Александровича, чем сами могли его поддерживать. Противостоять же им приходилось во много раз более сильным и опытным противникам.

Первыми атаку начали Орловы. В самом конце 1775 года Алексей

Григорьевич подал в отставку со всех постов. Это был демонстративный шаг, очень напоминавший давний поступок П. И. Панина. Недаром случившееся так оскорбило императрицу. Алексей ставил вопрос ребром: Екатерина передала слишком много власти новому любимцу, для ее старых, испытанных сотрудников такое положение унижительно, теперь она должна выбирать — либо он, либо они.

Ситуация очень похожа на ту, которая сложилась двенадцать лет назад в Москве после коронации Екатерины. Власть, захваченную Орловыми, другие вельможи посчитали чрезмерной. Один слух о возможном венчании императрицы с Григорием Григорьевичем вызвал ропот возмущения и заговор Федора Хитрово с целью убийства братьев Орловых. Нечто подобное теперь грозило и Потемкину. Екатерина прекрасно понимала нараставшую угрозу, и ее отдаление от прежнего возлюбленного — это, кроме всего прочего, еще и попытка защитить его. Точно так же она когда-то отказалась от плана брака с Орловым, но в тот момент сохранила его как фаворита. С Потемкиным ситуация была обратной. Он уже являлся мужем, но Екатерина пошла на личный разрыв.

Все происходящее было для обоих крайне болезненно. 9 февраля 1776 года из заграничного путешествия вернулся Г. Г. Орлов, в марте он слег с лихорадкой. В «публике» сразу заговорили об отравлении Орлова Потемкиным. Но еще хуже было то, что Григорий Александрович неосмотрительным поведением сам провоцировал подобные слухи. Екатерина дважды посетила больного Орлова, по поводу чего Потемкин устроил ей скандал. О произошедшем знали не только при русском дворе, но и донесли за границу иностранные дипломаты. «Хотя он в настоящую минуту пользуется полной властью, многие по секрету предсказывают его падение, как событие весьма недалекое»^[553], — писал 8 марта Окс.

С января по апрель 1776 года двор оставался в Петербурге, императрица жила в Зимнем дворце, число приемов, балов и выездов сократилось^[554]. Потемкин продолжал занимать свои старые покои во дворце, где у него регулярно обедали все иностранные министры и высший генералитет^[555]. Между тем Завадовский становится 2 января генеральс-адъютантом^[556], а 7 января уже в этой должности обедает во внутренних комнатах императрицы среди особо приближенных к ней лиц, в том числе и Потемкина. Эти знаки явились внешним, как бы «официальным», рубежом начала нового фавора и свидетельствовали о том, что императрица считает возможным «обнародовать» перемену «случайного» вельможи.

Такое было бы невозможно, если бы Екатерина и Потемкин не

прояснили друг с другом свои изменившиеся отношения. «Даваясь точ в точ в моей воле, не будешь иметь причины каиться, — писала Екатерина. — Пришли Елагина, я с ним говорить буду и готово слушать, что ему поручишь со мною говорить, и чаю, что сие короче будет, нежели письменные изъяснения»^[557]. В какой-то момент императрица поняла, что им с Григорием Александровичем лучше вести переговоры через посредника. Таковым был выбран Иван Перфильевич Елагин, старейший и наиболее доверенный из статс-секретарей государыни, к тому же друг Потемкина. По некоторым данным, именно на даче у Елагина в 1774 году произошла первая, неофициальная встреча Екатерины и ее будущего «cher eours».

Ивану Перфильевичу удалось уговорить Потемкина поумерить пыл и написать государыне записку с изъявлением преданности и покорности. «Весьма резонабельное твое письмо я получила... — с облегчением сообщала Екатерина. — Будь спокоин и надежен, что я тебя отнюд не врак»^[558]. «Резонабельное», то есть разумное, резонное письмо Григория Александровича свидетельствовало о том, что он, в конце концов, выразил Екатерине согласие на установившийся статус-кво.

Его собственное положение от этого только усложнилось. За каждым шагом случайного вельможи наблюдали сотни глаз, немедленно отмечая изменения в его поведении. Еще вчера он не нуждался ни в ком, напротив, все нуждались в его покровительстве. Но в дни счастья Потемкин не позаботился или не успел позаботиться о широкой поддержке. Сегодня для подкрепления угасающего «кредита» ему важно было благорасположение многих. В том числе и великого князя Павла Петровича.

2 февраля 1776 года графиня Е. М. Румянцева писала мужу: «Григорий Александрович по наружности так велик, так велик, что захочет, то сделает... А многие уверяют, что горячность [государыни] уже прошла та, которая была; он совсем другую жизнь ведет; вечера у себя в карты не играет, а всегда там прослуживает; у нас же на половине (у великокняжеской четы. — О. Е) такие атенции в угодность делает, особливо по полку, что даже на покупку лошадей денег своих прислал 4000 рублей и ходит с представлениями (Павлу. — О. Е.), как мундиры переменять и как делать и все на апробацию; вы его бы не узнали, как он нонеча учтив предо всеми. Веселым всегда и говорливым делается; видно, что сие притворное только; со всем тем, что бы он ни хотел и ни попросил, то конечно не откажут»^[559].

Как видим, заискивание и напускная веселость плохо давались

Потемкину, человеку пылкому в выражении своих симпатий и антипатий. Посторонним было заметно, что на душе у него скребут кошки. Попытка сближения с великим князем провалилась. Она и не могла закончиться удачей. Потемкин и Павел Петрович были слишком разными людьми. Больше подобных унижительных для себя опытов Григорий Александрович не повторял.

Противники Потемкина ожидали, что за личным разрывом с императрицей последует и падение его влияния на дела. Но этого не произошло. Екатерина сохранила за Потемкиным не только все его прежние посты, но и апартаменты во дворце.

Дела не стоят на месте

В сложившихся обстоятельствах лучшим утешением для Григория Александровича было погрузиться в работу. Тем более что на Юге разворачивались важные события. Однако первое мероприятие нового 1776 года было связано не с татарами и не с турками. В январе казна на свой счет похоронила Анну Карловну Воронцову (урожденную Скавронскую).

Анна Карловна была двоюродной сестрой императрицы Елизаветы Петровны и считалась первой дамой двора.

Ее брак с Михаилом Илларионовичем Воронцовым (впоследствии канцлером) открыл этому семейству путь к высоким чинам и богатым пожалованиям. Родная дочь Воронцовой Анна Михайловна Строганова умерла молодой, но семья канцлера много сделала для воспитания и продвижения при дворе своих племянников и племянниц, детей Романа Илларионовича Воронцова.

Зная легкомысленное отношение жены к деньгам, бывший канцлер перед смертью в 1767 году доверил управление землями и заводами не ей, а своему брату Роману. Он не мог знать, что за все благодеяния Роман оплатит черной неблагодарностью, присвоив многое из наследства и запутав непрактичную женщину в долгах. Анна Карловна начала против деверя судебный процесс и через Потемкина обратилась к императрице, прося помощи. Но вскоре, 31 декабря 1775 года, графиня умерла. И. Г. Чернышев посетил ее дом и написал Потемкину о положении дел: за вдовой канцлера остались одни долги, родные отказываются ее хоронить, нельзя ли испросить у императрицы две-три тысячи рублей на погребение^[560].

Григорий Александрович обратился к Екатерине с соответствующей

просьбой. Ведь и императорской семье Анна Карловна была не чужой. Наследник Павел даже называл ее «тетушкой». Императрица немедленно откликнулась: «Я сейчас позову И. М. Морсошникова и велю, чтоб он хранил на кошт гра[финю] Воронцову»^[561]. Однако в другой записке она не могла не заметить, что брат покойной — М. К. Скавронский — «довольно богат, чтоб сей долг его мог на себя взять»^[562]. Хоронили канцлершу все-таки на казенный счет, Марсошников — камер-цалмейстер в придворной Цалмейстерской конторе — отпустил требуемую сумму. Случившееся выставляет семейство Воронцовых не в лучшем свете. Ведь умерла женщина, которой ее пятеро племянников, в том числе Александр и Семен, были многим обязаны. А хлопотать о ее похоронах пришлось чужому человеку — Потемкину.

Некрасивая история. Особенно если вспомнить, что в 1769 году, когда умерла Анна Михайловна Строганова, дочь канцлера, ее родственники объединились против мужа А. С. Строганова, чтобы забрать у него приданое покойной. Александр подробно описал имущество сестры (от заводов до кружевных манжет), которое должно отойти к роду Воронцовых^[563]. А Е. Р. Дашкова разобрала юридические аспекты, по которым мужу Анны ничего не причиталось, так как «она, живучи и умерши в доме матери, все тут и оставила»^[564]. Остается только удивляться, почему от похорон тетушки племянники предпочли самоустраниться.

Потемкин в это время плотно занимался турецкими делами. Порта проявила желание расторгнуть Кючук-Кайнарджийский договор. «Теперь у меня мысли весьма устали и притом занята размышлением о турецком разрушении мирного трактата, отказом двух важных артикулов, и сие бродит в голове...»^[565] — писала императрица в начале марта 1776 года. По Кючук-Кайнарджийскому миру была подтверждена независимость Крыма от Оттоманской Порты. Однако весной 1776 года Турция стала игнорировать свои обязательства относительно Крыма и активно вмешиваться в борьбу существовавших там прорусской и протурецкой партий, поддерживая кандидатуру хана Девлет-Гирея на крымский престол^[566]. Турки потребовали от России отказаться от независимости ханства и от полученных по договору крепостей — Керчи, Еникале и Кинбурна.

Императрица решила посоветоваться с Н. И. Паниным и обсудить с ним возможность захвата Очакова. На заседании Совета Потемкин доложил, что войска готовы выполнить поставленную задачу. Панин писал по этому поводу своему племяннику Н. В. Репнину: «Первое движение

было наше, чтобы схватить Очаков, о чем ее величество под крайним секретом требовало моего мнения»^[567]. Канцлер высказался против такого шага.

Усиление противных России настроений в Крыму ставило под угрозу право свободного плавания по Черному морю, которое было зафиксировано в трактате особым пунктом^[568]. К осени обстановка особенно накалилась: русское правительство ввело войска на полуостров и поддержало кандидатуру Шагин-Гирея на ханский престол. Открытое столкновение с Портой могло произойти в любой момент^[569].

Повисшая в воздухе угроза заставила Екатерину опасаться враждебных действий Австрии, в предшествовавшую войну поддерживавшей турок. Потемкин подготовил корпус вблизи от границ австрийской части Польши. «Необходимо нужно, — писал он императрице, — иметь наготове корпус нарочитой в близости цесарской Польши, а для того я думаю командировать к Киеву пехотных три полка: Санкт-Петербургской, Невской, Сибирской, конные Ординской, поселенных 10 эскадронов. ...Они вместе с ...командированными прежде в Подолию состоят: пехотных полков девять, а конницы 22 эскадрона, да Донской полк»^[570].

20 февраля Румянцев донес Екатерине: «Я осмеливаюсь... мои мысли представить, что не безпалезно бы было некоторыя кампаненты собрать на будущее лето на обеих сторонах Днепра, и тем оказать готовность с стороны нашей, и удержать татар, поляков и самых турков в некотором к нам уважении»^[571].

8 марта 1776 года Екатерина подписала рескрипт Потемкину о мерах по обеспечению безопасности новых границ от возможных притязаний Турции и Крымского ханства. «От вас... требуем, чтоб, между тем как наружняя с нашей стороны воинския оказательства будут служить к убеждению Порты на исполнение невыполненных еще артикулов мирнаго трактата и к сокращению татар в дерзновенном их супротивлении независимому своему жребию, полученные от Порты и от татар крепости: Керчь, Еникале и Кинбурн — ...приведены были не только в безпечность от всякой сюрпризы, но и в состояние выдержать осаду»^[572].

Потемкин серьезно подкрепил полки, расположенные вблизи Крыма, предложив Румянцеву «усилить тот деташемент Смоленским драгунским и Острогжским гусарским, которые к той стороне расположены»^[573]. Спешно возводились укрепления. «На новой Астраханской линии, идущей от Моздока к Азову, — писал Потемкин, — три крепости уже окончены, и

для назначенных туда на поселение жителей потребный к продовольствию хлеб уже засеян. Прочия же семь крепостей, составляющая связь оной линии, строением производятся, так что окончены будут совсем будущего лета»^[574]. Императрица была очень довольна полученными от Григория Александровича сведениями: «За это спасибо и весьма спасибо».

Трудно поверить, что эти спокойные, деловитые записки писались в то же самое время, когда развивался кризис личных отношений Екатерины и Потемкина. Похоже, закрывая за собой двери кабинета, Григорий Александрович становился другим человеком — нервозность, раздражение, обиды отступали, работа шла полным ходом, а императрица неизменно была довольна им. В этом секрет сохранения влияния Потемкина по окончании фавора. Он был необходим Екатерине, и, расставаясь с ним как с мужчиной, она старалась задарить его наградами, усыпить больное самолюбие орденами, почестями и титулами. Фактически откупалась от него.

В начале 1776 года Потемкин стал кавалером иностранных орденов: польских Белого орла и Станислава, датского Слона и шведского Серафима. Этими шагами правительства соседних держав старались укрепить отношения с Россией. Екатерина сама хлопотала о предоставлении Григорию Александровичу княжеского достоинства Священной Римской империи. 13 января 1776 года она писала русскому послу в Вене Д. М. Голицыну: «Я вам через сие предписываю... именем моим... производить просьбу, которая персонально меня много интересует, а именно, чтоб его величество удостоил генерала графа Григория Потемкина, много мне и государству служащего, дать Римской империи княжеское достоинство, за что весьма обязанной себя почту»^[575].

В дипломатической среде ходили слухи, что Иосиф II с неохотой согласился на это пожалование. Однако всего через полтора месяца, 27 февраля, оно состоялось^[576]. Еще через месяц, 21 марта 1776 года, Потемкин получил от императрицы разрешение пользоваться новым титулом^[577]. С чем была связана такая задержка? Ведь Екатерина сама добивалась для любимца этой милости. Вероятно, Григорий Александрович стал князем только тогда, когда их с государыней отношения несколько нормализовались, а вернее, сам Потемкин прекратил закатывать Екатерине публичные сцены.

В записке, возникшей накануне пожалования, женщина говорит: «От Вашей светлости подобнаго бешенства ожидать надлежит, буде доказать Вам угодно в публичке ...сколь мало границ имеет Ваша необузданность, и,

конечно, сие будет неоспоримым знаком Вашей ко мне неблагодарности, так как и малой Вашей ко мне привязанности... Венский двор один, из того должен судить, сколь надежна я есмь в тех персонах, коих я рекомендую им к высшим достоинствам. Так-то оказывается попечение Ваше о славе моей!»^[578]

В обществе новое пожалование Потемкина восприняли двояко. С одной стороны, это была большая милость. С другой — именно княжеского титула удостоился Григорий Орлов после отставки с поста фаворита. Подобный знак отличия говорил внимательным наблюдателям, что звезда прежнего «случайного» клонится к закату.

3 апреля 1776 года к русскому двору с визитом прибыл принц Генрих Прусский, брат короля Фридриха II^[579]. Екатерина принимала его по-дружески, почти по-семейному. Генрих уже бывал в России и всегда находил способ поддержать союзнические отношения Берлина и Петербурга. При первой встрече он предрек Потемкину большое будущее, теперь мог своими глазами убедиться в верности старого пророчества.

4-го числа он был у императрицы и в тот же день «изволил наложить» на князя Потемкина орден Черного Орла^[580]. Накануне Екатерина писала: «Защитница и друг твой тебе советует надеть прусский орден и сие будет учтивостью и аттенциею». Григорий Александрович выказывал нежелание принимать награду, императрице пришлось уговаривать любимца, напоминая об учтивости. Эта записка приходит в противоречие с распространенным мнением, будто Потемкин «гонялся за наградами»^[581]. Почему он пытался отклонить Черного Орла? Дело в том, что каждая из придворных партий имела прочные связи с какой-то крупной иностранной державой. Так, партию Никиты Панина современники нередко именовали «прусской» из-за тесных связей с берлинским двором. Орловы же тесно контактировали с англичанами. Надеть на очередного любимца императрицы прусский орден значило показать обществу, что он предан интересам Берлина.

Именно так произошедшее воспринял английский поверенный в делах Окс. 10 мая он доносил в Лондон: «Принц Генрих, хорошо зная правила Орловых, конечно, желает дать им соперника во власти в лице одного из своих сторонников, и я полагаю, что он много содействовал отсрочке удаления князя Потемкина, которого лента Черного Орла привязала к его интересам»^[582]. Потемкин не хотел, чтобы его считали «привязанным» к чьим-то интересам, кроме собственно русских. Но из уважения к принцу Генриху Екатерина уговорила его надеть орден^[583].

Смерть Натальи Алексеевны

Когда брат Фридриха Великого прибыл в Россию, двор вел веселый и внешне беззаботный образ жизни. Генрих не мог и предположить, что уезжать ему придется под звон погребальных колоколов, имея в кармане просьбу Екатерины подыскать наследнику Павлу новую невесту.

За полгода до трагических событий императрица с удовольствием сообщала своему старому «конфиденту» барону М. Гримму: «Вы желали, чтобы от моего богомолья к Троице сделалось чудо и чтобы Господь послал молодой великой княгине то, что некогда даровал Сарре и престарелой Елисавете; желание ваше исполнилось: молодая принцесса уже третий месяц беременна»^[584]. Однако надеждам государыни не суждено было сбыться: 15 апреля 1776 года в пятницу, в 5 часов, супруга великого князя Павла Петровича скончалась, так и не произведя на свет желанного наследника^[585].

В письме к барону Гримму императрица рассказывала: «Десятого Апреля в 4 ч. утра сын мой пришел за мною, так как великая княгиня почувствовала первые боли. Я вскочила и побежала к ней, но нашла, что ничего особенного нет, что... тут нужны только время и терпение. При ней находились женщина и искусный хирург. Такое состояние продолжалось до ночи, были спокойные минуты, она иногда засыпала, силы не падали... Кроме ея доктора, который сидел в первой комнате, приглашены были на совет доктор великого князя и самый лучший акушер. Но они не придумали ничего нового для облегчения страданий и во вторник потребовали на совет моего доктора и старого искусного акушера. Когда те прибыли, то было решено, что нужно спасать мать, так как ребенок, вероятно, уже не жив. Сделали операцию, но по стечению различных обстоятельств, вследствие сложения и других случайностей, наука человеческая оказалась бессильною... В четверг великая княгиня исповедовалась и причастилась. Принц Генрих предложил своего доктора; он пришел и нашел, что его товарищи поступили правильно... Вчера было вскрытие в присутствии 13-ти докторов и хирургов, и из того, что они нашли, заключили, что случай был почти исключительный, и помочь было нельзя. Вы можете вообразить, что она должна была выстрадать... Я не имела ни минуты отдыха в эти пять дней и не покидала великой княгини ни днем, ни ночью до самой кончины. Она говорила мне: „Вы отличная сиделка!“ Вообразите мое положение»^[586].

На следующий день Екатерина продолжает свой рассказ Гримму: «Мы

чуть живы... Были минуты, когда при виде мучений я чувствовала, точно и мои внутренности разрываются: мне было больно при каждом вскрикивании. В пятницу я стала точно каменная, и до сих пор все еще не опомнилась... Я, известная плакса, не пролила ни единой слезы... Я себе говорила: „Если ты заплачешь, другие зарыдают, коли ты зарыдаешь, те упадут в обморок“»^[587].

Недоброжелатели Екатерины могут усомниться в правдивости писем к Гримму, ведь они создавались для европейского общественного мнения, в глазах которого императрице хотелось предстать сострадательной и доброй свекровью. Дипломаты сообщали своим дворам, что государыня недолгоблывала невестку, сколачивавшую вокруг Павла группу сторонников и подталкивавшую мужа к решительным действиям.

Проверить правдивость писем Гримму позволяют записки Екатерины к Потемкину, перед которым у нее не было причин скрывать свои истинные чувства. «Я была в четыре часа, — писала Екатерина, — она мучилась путем, потом успокоились боли, и я ходила пить кофе, и, выпивши, опять пошла и нашла ее в муки, коя скоро паки так перестала, что заснула так крепко, что храпела... Настоящие боли перестали, и он (ребенок. — О. Е.) идет ломом. Сие может продлиться весьма долго. Я приказала, чтоб мне кликнули, когда увидать, что дело серьезнее будет. У меня у самой спина ломит, как у роженицы, чаю, от беспокойства»^[588].

Как видим, царственная свекровь была взволнована делами невестки и часто навещала ее, хотя о круглосуточном сидении у кровати речь пока не шла. Однако эта немолодая, не раз рожавшая женщина умела настолько сопереживать Наталье Алексеевне, что почти физически «вспомнила» боли в спине, когда ребенок «идет ломом».

11 апреля Екатерина шесть часов провела у постели умирающей, потом ушла и обедала во внутренних покоях с Орловым и Потемкиным. В эти тяжелые дни они оба нужны были ей для поддержки. 12-го императрица уже не выходила из комнаты невестки, и хотя кушанье было подано во внутренние покои, есть государыня не смогла. 13-го в пятом часу утра Екатерина наспех писала статс-секретарю Козмину: «Сергей Матвеевич, дело наше весьма плохо идет. Какою дорогою пошел дитя, чаю, и мать пойдет. Сие до времени у себя держи, а теперь напиши письмо к Кашкину (коменданту Царского Села. — О. Е.), чтоб покои в Царском Селе приготовили и надержали, будто к моему рождению. Кой час решится, то сына туда увезу»^[589]. Перед нами та самая семейная драма, которая равняет сильных мира сего и простых смертных. Она переживается императрицей

удивительно по-человечески, с жалостью и терпением. А ведь в этот момент Екатерина уже знала и о неверности Натальи Алексеевны Павлу, и о том, что сын замешан в очередном заговоре.

Вскоре после кончины великой княгини в Европе распространились слухи об убийстве несчастной Натальи Алексеевны по приказанию императрицы, видевшей в самолюбивой жене Павла Петровича свою политическую соперницу. Исполнителем злодеяния назывался Потемкин. Источником этих слухов были рассказы принцев Гессен-Филиппстальских, состоявших в родстве с покойной и повторявших слова ее брата — принца Людвига Гессен-Дармштадтского^[590], за полгода до смерти сестры выставленного с русской службы. В свете этой версии странным кажется выражение участия по отношению к жертве, высказанное не где-нибудь на людях, а в записке к «сообщнику», перед которым незачем было притворяться сострадательной.

Сразу после смерти Натальи Алексеевны императрица вывела пораженного горем сына из комнаты покойной и, никуда не заходя, села с ним в дорожный экипаж. Они вдвоем отбыли в Царское Село^[591], куда за ними последовал узкий круг лиц, среди которых был и Потемкин^[592]. Этот поступок очень материнский по своей сути — закрыть Павла от всего света, защитить его, дать ему возможность побыть в стороне от людей. Удивительно, но дальнейшие действия Екатерины будут продиктованы уже волей государыни.

Из резиденции императрица писала главнокомандующему Петербурга князю А. М. Голицыну: «Скажите И. И. Бетскому, что, кой час тело вынесут, он бы приказал выдрать обои из четырех комнат... а альковы и перегородки деревянные бы приказал ломать... Ломать же должно скорее по причине духа, а наипаче чуланы позади штофного кабинета, и то с осторожностью для здоровья людей, ибо вонь несносная уже при мне была»^[593]. Заметим, что в этой «несносной вонь» сама Екатерина провела немало времени у постели умирающей, во чреве которой разлагался нерожденный внук императрицы.

Здесь, в Царском Селе, через несколько дней непрерывных слез и стенаний Павла Екатерина сочла нужным ознакомить его с выкраденными у покойной великой княгини письмами к Андрею Разумовскому. Эти бумаги содержали информацию не только о любовной связи последних^[594], но и сведения о заговоре в пользу цесаревича^[595]. Декабрист М. А. Фонвизин со слов своего отца (брата Д. И. Фонвизина) записал, что Павел Петрович знал о заговоре и даже собственноручно подписал какие-то

документы, составленные Никитой Паниным. Узнав, что заговор раскрыт, великий князь принес повинную, раскаивался перед императрицей и передал ей список участвовавших в деле лиц^[596]. Переписка великой княгини изобличала не только саму Наталью Алексеевну, но и Павла Петровича. Демонстрацией сыну этих писем Екатерина поставила его в известность, что она все знает.

После состоявшегося между ними разговора императрица рассказывала Потемкину: «Я посылала к нему и спросила, имеет ли он что со мною говорить? На что он мне сказал, что, как он мне вчерась говорил, угодно ли мне будет, есть ли кого выберет и, получая на то мое согласие, то выбрал гр[афа] Ки[рилла] Григорьевича] Розумовского. Сие говорит сквозь слез, прося при том, чтоб не лишен был ко мне входить, на что я согласилась; потом со многими поклонами просил еще не лишить его милости моей и устроить его судьбу на то и на другое. Я ответствовала, что его прозбы справедливы и чтоб надеялся иметь и то и другое, за что поблагодаря, вышел со слезами. Весь разговор сей не пять минут не продолжался»^[597].

Разговор Екатерины с Павлом стоит в ряду подобных, крайне неприятных, бесед государей и претендентов. Петр Великий допрашивает царевича Алексея; правительница Анна Леопольдовна за день до переворота предупреждает Елизавету, чтобы та поумерила свою дружбу с гвардейцами; сама Елизавета дважды допрашивает великую княгиню Екатерину по делу канцлера Бестужева, Павел I посылает сыну Александру дело царевича Алексея... Круг замкнулся. Каждый раз царствующая особа показывает, что ей известны политические интриги наследника и она может поступить с виновным по своему разумению.

Из приведенной записки видно, что в условиях обострения отношений с сыном императрица решила вести с ним переговоры через посредника, которого предложено было выбрать самому Павлу. Таким стал К. Г. Разумовский, отец Андрея. Что означает просьба великого князя «устроить его судьбу на то и на другое» и уверение императрицы, чтобы он «надеялся» иметь и то и другое? Можно предположить, что Павел намеками просил мать: во-первых, не лишать его права наследовать корону (на что императрица, согласно законодательству Петра I, имела право) и, во-вторых, устроить его судьбу.

Этим вторым пунктом Екатерина занялась незамедлительно. Дать сыну новую жену, получить внуков, обеспечить, таким образом, стабильность русского престола — вот ее цель.

На другой же день по смерти Натальи Алексеевны принц Генрих Прусский писал из Петербурга по просьбе императрицы своей племяннице, принцессе Вюртембергской Фредерикс-Доротее-Софии и приглашал ее приехать в Берлин с ее дочерьми — Софией-Доротеей и Фредерикой-Елизаветой. Он сообщал также, что приедет в Берлин цесаревич Павел, чтобы познакомиться с Софией-Доротеей и затем просить ее руки^[598].

Дела цесаревича как будто устраивались. Но Потемкина волновала судьба Андрея Разумовского. Молодого вельможу, замешанного в заговоре, постигла опала, он был выслан в Ревель. Старый граф обратился к Потемкину, а тот, в свою очередь, попытался смягчить гнев Екатерины.

Императрица разрешила Андрею покинуть место ссылки и отправиться к отцу в Батурино^[599]. Впоследствии Потемкину удалось постепенно снять с Андрея опалу, и хотя ко двору он не вернулся, но на службу был принят и отправился послом сначала в Неаполь, затем в Стокгольм и, наконец, в Вену. Именно он в 1791 году в одном из писем Потемкину предлагал пригласить в Россию молодого талантливого композитора, бедствующего в Австрии. Речь шла о Моцарте^[600].

«Верности первейший знак»

В 1773 году Екатерина написала для невесты великого князя — той самой, что теперь лежала в гробу, — собственноручные наставления. В них, в частности, сказано, что августейшей особе надлежит: «...вообще со всеми и каждым иметь равное обращение, и чтобы она благосклонностью к одним не отняла у других надежды снискать ее расположение, ибо я всегда была того убеждения, что лучше обладать сердцами всех, нежели немногих... Боже избави низойти с высшей степени монарха на низшую приверженца партии, показывая пристрастие или зависимость от того или другого, а тем более — играть печальную роль вождя партии, но напротив, следует постоянно стараться приобрести расположение всех подданных, и это последнее одно достойно внимания благоразумного государя»^[601].

Эти слова можно назвать политическим кредо Екатерины. Благодаря такой позиции разнообразные придворные группировки боролись друг с другом и никогда, во всяком случае открыто, с императрицей. Это всегда оставляло место для компромиссов, бесконечной цепью которых и была политика Екатерины. Прекрасно осведомленная об интригах своих вельмож и иногда принимавшая в них участие, государыня внешне умела

сохранять вид, будто грызня приближенных ее не касается.

Для того чтобы вывести Потемкина из положения случайного вельможи, но сохранить за ним политическое влияние, государыне потребовалось много ловкости и такта. Одним из внешних знаков падения фаворита был его выезд из дворца. За этим обычно следовала поездка в отпуск, на воды, или служебный вояж в отдаленные губернии, после которого бывший любимец если и возвращался ко двору, то уже держался там как рядовой вельможа, не более.

В октябре 1772 года в письме об увольнении Г. Г. Орлова от двора Екатерина особо подчеркивала необходимость отъезда бывшего фаворита и покупку для него собственного дома: «Я почитаю за трудное и за излишнее первый год видиться... Как граф Григорий Григорьевич Орлов ныне болен, чтоб он под сим видом на год взял увольнение ехать или к Москве, или в деревни свои, или куда сам он изберет... На заведение дома я ему жалую ныне сто тысяч рублей. Все дворцы около Москвы или инде, где они есть, я ему позволяю в оных жить, пока своего дома иметь не будет»^[602].

В 1776 году Потемкину тоже предлагалось найти себе дом «по вкусу». Во время траура по Наталье Алексеевне Елагину было поручено заняться этим делом^[603]. Выбор Григория Александровича оказался для Екатерины неожиданным — старый дворец Алексея Разумовского. «Послушайте, друг мой, — увещевала императрица бывшего любимца, — касательно дома Аничкова; в Москве же требовали четыреста тысяч рублей; это — огромная сумма, которую я и не знала бы, где взять. ...Это дом необитаемый и грозящий разрушением»^[604]. Но Потемкин, что называется, уперся.

Возможно, выдвигая перед императрицей трудновыполнимую задачу, он тем самым старался оттянуть свой отъезд из Зимнего. Напряжение, создавшееся вокруг отставки прежнего фаворита, заставляло Григория Александровича все реже появляться в свете. С марта он почти не обедал у Екатерины^[605]. А с 21 мая по 2 июня вообще не приезжал ко двору^[606].

Потемкин жил в военных лагерях под Петербургом^[607]. 28 мая из Гатчины, куда императрица совершила поездку в гости к Григорию Орлову, она писала прежнему возлюбленному: «Мой друг, здесь так холодно, что я решила завтра или сегодня вечером ехать в Царское Село. Слышу я, батинка, что ты живешь в лагере, я весьма опасаюсь, что простудися; пожалуй к нам в пакой. Каковы не есть, суше и теплее, нежели в палатке. Мне кажется год, как тебя не видала. Ау, ау, сокол мой дорогой, позволь себя вабить (позвать. — О. Е.), давно и долго ты очень на отлете».

Такое ласковое письмо должно было вселить в душу Потемкина

уверенность в том, что его ждут и хотят видеть. Он примчался и 2 июня предстал перед своей покровительницей. Но прием, оказанный ему при дворе, показался Григорию Александровичу вовсе не таким, как ожидалось. «Вот, матушка, следствие Вашего приятного обхождение со мной на пришедших днях, — писал он с едва сдерживаемым раздражением. — Я вижу склонность Вашу быть со мной хорошо, но довели и до того, что Вам ко мне милостивой быть становится уже не в Вашей воле. Я приехал сюда, чтоб Вас видеть, для того что без Вас мне скушно и несносно. Я видел, что проезд мой Вас амбарасировал (от *фр.* *embarrasser* — затруднять). Я не знаю, кому и чему Вы угождаете, только то знаю, что сие и не нужно и напрасно. Кажется, Вы никогда не бывали так стеснены, всемилостивейшая государыня. Я для Вас хотя смерть приму, но, ежели, наконец, мне определено быть от Вас изгнану, то лутче пусть ето будет не на большой публике. Не замешкаю я удалится, хотя мне сие и наравне с жизнью»^[608].

Григорий Александрович прекрасно понимал то нелегкое положение, в которое попала его покровительница, и считал, что она сама загнала себя в тупик. Единственное, о чем он просил, это чтобы его отставка произошла без посторонних зрителей. «Публика», еще недавно пресмыкавшаяся перед ним, а теперь относившаяся с подчеркнутым презрением, сделалась для Потемкина непереносимой. «Мой друг, — говорила Екатерина в приписке, — Ваше впечатление ошибочно. Я Вам рада и Вами не амбарасирована, во мне была посторонняя досада, которая Вам скажу при случаи».

Едва ли Григорий Александрович поверил ее словам. Он прямо попросил отставки и получил такой ответ: «Верности первейший знак есть покорность. Не благодарность оказать я не привычна. Жизнь Ваша мне драгоценна, и для того отставить Вас не желаю»^[609]. Ему все-таки удалось заставить императрицу высказаться о том, чего она хочет от него и для него.

Любимец Екатерины решил покинуть Петербург и на время отправиться на инспекцию крепостей под Новгород. Вместе с тем он наотрез отказывался съезжать из Зимнего. «Батинька, видит Бог, я не намерена тебя выживать из дворца, пожалуй живи в нем и будь спокоен, — писала Екатерина, — по той причине я тебя не давала ни дома, ни ложки, ни плошки; буде же для диссипации (от *фр.* *dissiper* — развеяться) на время урочное ты находишь за лучший способ объездить губернии, о том препятствовать не буду; возвратясь же, изволь занять свои покои во дворцах по-прежнему; впрочем, свидетельствуюсь самым Богом, что моя к

тебя привязанность тверда и неограниченна, и что не сердита, только сделай одолжение: побереги мои нервы»^[610].

20 июня Потемкин выехал из столицы^[611]. Многие при дворе полагали, что навсегда, язвили и притворно сокрушались по этому поводу. Захар Чернышев писал Андрею Разумовскому: «Бедный Потемкин вчера уехал в Новгород, как говорит, на три недели, для осмотра войск: хотя он имеет экипажи и стол придворные, он все-таки недоволен»^[612].

Однако были и те, кто с уверенностью заявлял: князь сумеет преодолеть постигшее его несчастье. Кирилл Григорьевич Разумовский писал из Батурина своему хорошему знакомому М. В. Ковалинскому, управлявшему канцелярией Потемкина: «Здесь слух носится из Москвы, что ваш шеф начал будто бы с грусти спивать. Я сему не верю и крепко спорю, ибо я лучшую крепость духа ему приписываю, нежели сию»^[613].

Возможно, Потемкин покинул столицу не попрощавшись. В день отъезда Екатерина писала ему: «Мой дорогой, ... я надеюсь, что Вы не уедете, не повидавшись со мною; Вы не отдаете должного моим чувствам»^[614]. Однако про чувства Григорий Александрович наслушался достаточно. Ему необходимо было побыть одному.

22 июня Екатерина отправила вслед уехавшему другу извещение о покупке Аничкова дворца^[615]. Его наш герой получил 5 июля в Новгороде. «Всемиловитейшая государыня! — писал он в ответ. — По сообщению от Ивана Перфильевича о пожалований мне дома Аничковского я, лобызая ноги Ваши, приношу наичувствительнейшую благодарность... Милосерднейшая мать, Бог, дав тебе все способы и силу, не дал, к моему несчастью, возможности знать сердца человеческие. Боже мой! Внуши моей государыне и благодетельнице, сколько я ей благодарен, сколько предан, и что жизнь моя к ея службе»^[616].

Хотя путешествие в Новгород и не означало опалы, у Потемкина все же не было полной уверенности, что, вернувшись ко двору, он найдет у императрицы прежнюю дружбу и доверенность. Тем временем дипломаты спешили похоронить его. 1 июля Ричард Окс доносил в Лондон: «Несмотря на высокую степень милости, которою Орловы пользуются в настоящую минуту у государыни, и на недоброжелательство, с которым, как полагают, граф Орлов относится к князю Потемкину, последнему продолжают оказываться необычайные почести. Во время своей поездки в Новгород он пользуется придворной обстановкой, и продолжают утверждать, что он через несколько недель возвратится сюда, но, тем не менее, я полагаю, что милость его окончена... Высокомерие его поведения в то время, когда он

пользовался властью, приобрело ему столько врагов, что он может рассчитывать на то, что они ему отомстят в немилости, и было бы неудивительно, если бы он окончил свое поприще в монастыре, — образ жизни, к которому он всегда оказывал расположение; и едва ли не лучшее убежище для отчаяния разбитого честолюбия»^[617].

С дороги Григорий Александрович писал часто. Императрица старалась поддерживать деловой тон, так было легче обоим. За обсуждением конкретных дел они забывали о том, что их разделяло. Так, Екатерина сообщала вице-президенту Военной коллегии о тех неполадках, которые обнаружил в расквартированных под Ригой полках Павел Петрович^[618], отбывший в июне в Пруссию. Григорий Александрович посылал Екатерине составленные им документы, касавшиеся числа жителей его губернии^[619].

Обмениваться бумагами в пути можно было до бесконечности. Но вскоре Екатерина ощутила все неудобства такой работы. Она привыкла, по ее собственному выражению, иметь Потемкина «под боком». Многие вещи можно было обсудить устно, в противном случае приходилось писать «тетрадами» (тоже слово императрицы). Пора было возвращаться. Но Григорий Александрович ждал прямого приглашения от государыни. На некоторое время он замолчал.

Отсутствие известий от Потемкина встревожило Екатерину: «Я пребываю безпокойна, здоровы ли Вы? Столько дней от тебя не духа не слуха нету, а сегодня и вчерась погода так велика была, что даже я зачала опасаться, как-то Вы Вокшу переехали, и для того нарочного посылаю, знать: где и каковы Вы?»^[620] Волнение на реке Вокше, через которую переправлялся князь, испугало императрицу. Между тем в ее окружении имелся человек, который осторожно, но настойчиво действовал в пользу Потемкина. Это была племянница князя Александра Васильевна Энгельгардт, пожалованная фрейлиной 10 июля 1775 года^[621]. С февраля 1776-го, в трудные для дяди дни, Александра начинает почти постоянно появляться в числе нескольких избранных благородных девиц за столом Екатерины^[622]. Эта веселая и умная 22-летняя красавица сумела очень расположить к себе государыню.

Под запиской императрицы Энгельгардт сделала приписку: «Батенька, давеча государыня очень безпокоица, что так долго, не видя Вас, не знаем: здоровы ль? Обутешь нас приятнейшим приездом, а мы Вас много любящи». Екатерина доверила племяннице Потемкина передать князю то, о чем сама прямо не писала: просьбу «обутешить» их скорым приездом.

Но Григорий Александрович хотел получить приглашение от самой государыни и прямо спросил ее в следующем письме: не будет ли она «амбарасирована» его появлением? «Верь, что отнюдь мне не амбарасируешь, — отвечала Екатерина. — ...Сам, подумавши, тому поверишь. Пишиш тетрадами, ответственность пришло [время], но как едешь, то буду ожидать возвращение»^[623]. После прочтения этих строк князь медлить не стал. «Я считала тебя на Вокшу, а ты изволил очутиться в Шлюсельбурх»^[624], — с удивлением замечала императрица в следующей записке. Расстояние от Шлиссельбурга до Петергофа можно было преодолеть за один день.

Покинув столицу под предлогом служебной надобности и не оставив своих государственных должностей, Потемкин оказался «не выключен» из процесса управления, из потока мелких и крупных дел. К нему сходились многие нити, он получал донесения от чиновников, обменивался с императрицей важными документами, и в повседневной работе она не могла не чувствовать неудобства от его отсутствия — оно замедляло ход бумаг. Из сложившейся ситуации было два выхода: либо окончательно отставить Григория Александровича и подыскать ему полную замену, либо немедленно призвать его обратно. Благодаря деловым качествам Потемкина императрица выбрала последнее. Поездка, в которой недоброжелатели видели опалу князя, на деле превратилась в его триумф, так как со всей очевидностью показала Екатерине, насколько она нуждается в Потемкине.

Императрица хорошо знала людей: для Григория Александровича, как и для нее самой, главным в жизни было дело, и удаление от дела он переживал болезненнее, чем удаление от любимой женщины. Поэтому князь вернулся.

24 июля он въехал в столицу, а 25-го прибыл в Петергоф и обедал с императрицей^[625]. Его появление было воспринято придворной публикой как гром среди ясного неба и вызвало настоящий фурор в дипломатической среде. Окс, еще недавно предрекавший Потемкину монастырь, 26 июля писал: «Князь Потемкин приехал сюда в субботу вечером и появился на следующий день при дворе. Возвращение им в комнаты, прежде им занимаемые во дворце, заставляет многих опасаться, что, быть может, он снова приобретет утраченную милость»^[626]. Вельможам, обиженным Потемкиным во время случая, пришлось повременить с местью опальному временщику.

Еще А. Г. Брикнер заметил, что письмо Екатерины к Павлу,

отправленное в Берлин в конце июля и посвященное делам его предстоящей свадьбы, подверглось серьезной правке Потемкина^[627]. Черновик испещрен пометами, исправлениями и вставками, сделанными князем^[628]. Это показывает, как близко Григорий Александрович стоял к императрице сразу после возвращения из поездки, которую многие считали опалой.

Однако было бы иллюзией думать, что возвращение Потемкина ко двору означало его полную победу над противниками. Пока длился кризис в отношениях Екатерины и ее любимца, не утихали разговоры о скорой отставке Григория Александровича с поста вице-президента Военной коллегии. Называли разных кандидатов на его место: графа А. Г. Орлова, князя Н. В. Репнина, графа П. А. Румянцева^[629]. В предвкушении освободившейся вакансии Никита Иванович Панин вызвал в Петербург своего племянника Репнина^[630], чтобы тот мог оказаться в нужном месте в нужное время. Но этим честолюбивым планам не суждено было исполниться.

Корона Курляндского герцога

Угроза опалы, впервые повисшая над головой Потемкина в 1776 году, заставила его задуматься о будущем. При решении важнейших государственных дел, таких как подписание мира или борьба с пугачевщиной, он жестко проводил волю Екатерины, часто действуя вопреки пожеланиям ведущих партий. Такая позиция настроила против него многих влиятельных вельмож. До сих пор казалось, что милость императрицы будет для Григория Александровича надежным щитом. Однако уже в начале 1776 года выяснилось, что это не так. Государыня не всегда была свободна в своих шагах, а ее покровительство имело определенные границы.

Иностранные дипломаты не раз сообщали к своим дворам смутные известия о старании Потемкина получить власть над полунезависимым княжеством или герцогством в составе империи. Обобщая эти слухи, Я. Л. Барсков писал: «Ясно было, что с воцарением Павла „светлейший“ потеряет если не жизнь, то власть и, по всей вероятности, свое несметное богатство. Ему нужно было заранее обеспечить себе независимость»^[631]. В течение последующих пятнадцати лет циркулировали слухи о желании князя стать Курляндским герцогом, получить польскую корону и, наконец,

возглавить небольшое буферное государство Дакия, включавшее земли, отвоеванные у Турции. Мадариага считает кажущуюся легкость, с которой светлейший князь распоряжался судьбой земель, находящихся под фактическим протекторатом России, проявлением его роли «императора-консорта»^[632].

Проект в отношении Курляндии действительно существовал. Впервые упоминание о нем встречается зимой 1776 года во время посещения Петербурга русским послом в Польше О. М. Штакельбергом. Курляндские дворяне, недовольные своим герцогом Пьером Бироном, обратились к Екатерине с жалобой на него, а к Потемкину с предложением занять место неугодного им сюзерена. Ситуация была щекотливой. Ведь Курляндия в качестве вассального владения входила в состав Речи Посполитой. Однако судьбу курляндского престола вот уже более полувека решали русские штыки и русские деньги.

Пьер Бирон был сыном знаменитого фаворита Анны Иоанновны Эрнста Иоганна Бирона. Когда последний оказался свергнут и сослан в 1740 году, его семья утратила права на корону. Лишь через двадцать лет Петр III возвратил Бирона из ссылки, а новая императрица Екатерина II восстановила его в качестве Курляндского герцога. Остаток дней он провел в Митаве, честно выполняя волю Петербурга. При нем герцогство еще заметнее отделилось от Польши и вросло в Россию, тем более что значительное число курляндских немцев служило в русской армии. После смерти грозного временщика «особые отношения» были скреплены браком его сына Пьера Бирона и княжны Е. Б. Юсуповой. Екатерина сама устроила этот союз, свадьба состоялась в Зимнем дворце 23 февраля 1774 года.

Неудивительно, что курляндские дворяне видели владыку не в польском короле, а в русской императрице, и за решением своих дел ездили в Петербург. Вспыльчивый и грубый Пьер не устроил их в качестве господина. К Екатерине поступали жалобы, однако императрица была склонна подождать. Незадолго перед тем произошел первый раздел Польши. Активизация действий России в Курляндии могла быть воспринята шляхтой как подготовка к отторжению еще одного куска территории. Нового же обострения отношений и новой конфедерации государыня не хотела. Она поручила Штакельбергу прощупать почву в Варшаве, а Потемкину писала, что потихоньку «дело пойдет»^[633].

На время все замерло. Лишь в сентябре 1778 года императрица, видимо, под давлением Потемкина, написала Штакельбергу о возможности дать ход жалобам курляндских дворян. В то же время между ней и

любимцем произошло решительное объяснение. Новое прошение курляндцев привез ко двору полковник И. И. Михельсон, в прошлом герой подавления пугачевщины.

С января в Митаве по рукам ходил памфлет против герцога Пьера Бирона. Два списка с этого сочинения — на французском и немецком языках — Михельсон передал Потемкину. «Герцог выказывает при всяком случае самый грубый и жестокий характер, — говорится в памфлете, — самое легкое подозрение способно довести его до порывов мести... Поистине, с наилучшим расположением в свете невозможно любить подобного принца. Каждый день открываются новые проекты, которые, кажется, клонятся к тому, чтобы совершенно разорить и уничтожить страну. Должно опасаться возмущения подданных... ибо рабство вполне египетское скоро дойдет до крайнего предела... Помощь высшей державы не может быть устранена, потому что она необходима»^[634]. К этому времени в Петербург вернулась и жена герцога Евдокия Борисовна, тоже живописавшая грубость мужа самыми черными красками. Тиран даже бил ее и не выпускал из Митавы.

По поводу всего этого Екатерина писала Потемкину: «...Я и сама герцогом недовольна; жалобы приносить им запретить нельзя, но все сии люди весьма ветреные, их видела в четырех случаях, при четырех хозяйствах»^[635]. Наследующий день, 15 сентября, она продолжала: «Вы хорошо судите, что у меня не может быть лично никакого сравнения между вами и герцогом Курляндским. И, конечно, во всю мою жизнь я с величайшим удовольствием и усердием буду склонна к тому, что может... способствовать вашему благосостоянию. В деле, о котором приходил мне вчера говорить Михельсон, должно прежде всего установить правила справедливости и правосудия... Справедливого или ложного недовольства какого-нибудь беспокойного подданного недостаточно для удовлетворения Европы. Недовольство, которое я могу иметь в деле его жены, также недостаточно для того, чтобы я переделывала свой собственный труд. Приведите в безопасность славу и справедливость и рассчитывайте после того, что никто не будет ратовать за вас с большим рвением, чем я, потому что я люблю вас и убеждена, что и вы привязаны ко мне сильнее, чем кто-либо на свете. Не примите это подобно Юпитеру-Громовержцу, которого вы изображаете, когда ваша кровь кипит»^[636].

Фактически в этом письме Екатерина отказывала любимцу в получении желаемого. С одной стороны, она понимала, что избрание Григория Александровича герцогом неизбежно приведет Курляндию в

состав России. Это был бы желательный исход. С другой — очень не хотела отпускать Потемкина от себя. Князь нужен был ей здесь, под рукой, поскольку намечались серьезные изменения на европейской политической арене. Россия могла вскоре приобрести могущественного союзника против Османской Порты, что позволило бы ей действовать в Крыму более свободно и напористо.

Империя Габсбургов, решительно противостоявшая всем политическим акциям петербургского кабинета во время Первой русско-турецкой войны, в конце 70-х годов все больше демонстрировала русскому двору желание сблизиться и начать совместно обсуждение вопроса о разделе турецких земель. В этих условиях Екатерина не хотела связывать себе руки курляндскими делами. Выдвижение ее ближайшего сотрудника на герцогский престол в княжестве, где, кроме русского, сильно было также и прусское влияние, неизбежно подвигло бы Петербург к объяснениям и тайным договоренностям с Берлином. А в преддверии чаемого сближения с Веной любые формы дипломатических контактов с Пруссией становились неудобны. Потемкину пришлось отказаться от заманчивой мечты украсить свою голову герцогской короной.

Вопрос о Курляндии будет еще всплывать в различных документах до конца 70-х годов, но потом, в связи с делами на Юге отойдет на второй план. В 1795 году по третьему разделу Польши Курляндия присоединится к России. Пьер Бирон подпишет в Петербурге отречение от престола и на выделенную ему в качестве компенсации сумму (миллион талеров) купит в Пруссии небольшое герцогство Саган, где и закончит свои дни в 1800 году.

ГЛАВА 7

НА ПОРОГЕ «НОВОЙ ВОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ»

Одной из причин скорого возвращения Григория Александровича в Петербург в 1776 году и продолжения к нему милостей императрицы А. Н. Самойлов называл невозможность Екатерины реализовать без Потемкина разработанную им новую «восточную систему»^[637]. Эта система должна была позволить России в полной мере воспользоваться результатами Кючук-Кайнарджийского мира.

Империя приобрела Керчь, Еникале, Кинбурн, земли между Бугом и Днепром, Азов, Кабарду, долины Кубани и Терека, получила право свободного плавания по Черному морю и строительства крепостей на переданных ей территориях. Крымское ханство стало независимым от Турции, что сказалось на его обороноспособности. Петербург получил право заступничества за христиан в Молдавии, Валахии и Крыму, которое предоставило России возможность вмешиваться во внутренние дела Турции и ее сателлитов^[638].

Таким образом, Кючук-Кайнарджийский договор таил в себе величайший соблазн: не использовать закрепленные в нем права значило добровольно отказаться от результатов тяжелой шестилетней войны, начатой не Россией и выигранной в момент глубокого внутреннего кризиса — пугачевщины. Реализация же купленных такой высокой ценой возможностей вела к новому столкновению с Турцией и плохо контролируемым внешнеполитическим последствиям. Екатерина и Потемкин выбрали второе.

Россия балансировала на грани разрыва с Оттоманской Портой долгие годы. Каждая попытка реализовать полученные по договору права еще туже затягивала узел противоречий. От «злой» воли Екатерины и Потемкина уже не зависели процессы, пробужденные в Крыму и Закавказье самим фактом выхода империи к Черному морю. Русское правительство могло лишь более или менее оперативно реагировать на развивающиеся события. Любое неловкое движение грозило спровоцировать новый конфликт и приостановить укрепление России в Причерноморье.

В начале 1777 года петербургский кабинет был взбудоражен известием об убийстве русских промышленников, доставлявших провиант в крепости Керчь и Еникале. Это событие послужило прологом кровавого возмущения сторонников хана Девлет-Гирея, желавших вернуть Крым под протекторат Порты^[639].

Среди официальной переписки Екатерины и Потемкина сохранился документ, с предельной ясностью рисующий обстановку в Крыму во время мятежа 1777 года. Князь хлопотал о капитанском чине и пожизненном пенсионе для искалеченного офицера. Просьба была удовлетворена. «Македонского гусарского полку подпоручик Петр Иванов... из персидской нации; во время крымского бунта послан был, по знанию его турецкого языка, в Крым для уговаривания мятежников, — сообщал князь, — которые по выслушании его, окружа, рубили саблями по голове и рукам, из коих у правой два перста отсекли, а левую насквозь пикою и в двух местах саблею прокололи. Наконец, признав уже за мертвого, кинули в реку на мелкое, по счастью, его место»^[640].

Крещеный выходец «из персидской нации» был далеко не единственным пострадавшим. Черные времена переживали христианские общины греков и армян, а также сторонники «русской» партии в Крыму. Ее глава наследник престола Шагин-Гирей потребовал вооруженной помощи от Петербурга. В свою очередь, турецкий ставленник Девлет-Гирей ожидал прибытия оттоманского флота^[641]. Угроза нового военного столкновения повисла в воздухе.

Только очень быстрые действия могли спасти положение. «Курьер от Прозоровского приехал. Хан выбран»^[642], — сообщила Екатерина Потемкину в первых числах апреля 1777 года. Князь А. А. Прозоровский со своим корпусом занял Перекоп, а сменивший его Суворов, присланный в Крым по приказу Потемкина, одним маневром конницы рассеял сторонников Девлет-Гирея. Русские войска встретили в Карасу-Базаре Шагин-Гирея, который 29 марта был избран бахчисарайским диваном на ханский престол^[643]. Турецкий флот потерял официальный повод для высадки своих десантов, так как новый хан провозгласил себя союзником России. Зато русская армия приобрела законные основания для присутствия в Крыму.

Шагин-Гирей был незаурядной личностью. Он попытался повернуть

ханство на путь европеизационных реформ и, таким образом, добиться могущества и подлинной независимости. Его начинания не были приняты населением и потерпели крах. Деятельность Шагина в миниатюре предваряет преобразования турецкого султана-реформатора Селима III, начавшиеся вскоре после провала реформ в Крыму. Они имели еще более печальный результат: султан погиб от рук фанатиков. Пример для подражания оба мусульманских владыки видели в деятельности Петра I.

Шагин был сыном хана Мехмед-Гирея. Он родился в Адрианополе, где семейство Гиреев имело обширные владения^[644]. Мальчик рано лишился отца, а мать, боясь преследований со стороны нового хана, бежала с сыном в греческий город Фессалоники, где находилась под защитой турецкого султана. В юности Шагин жил несколько лет в Италии, получил неплохое образование, знал греческий и итальянский языки, приобрел европейские привычки и манеру одеваться. Судьба 20-летнего Шагина круто изменилась, когда накануне Русско-турецкой войны его дядя хан Керим-Гирей вызвал племянника в Крым и сделал сераскиром (военным предводителем) ногайских татар.

В годы войны ногайцы были первыми, кто от вражды перешел к союзу с более сильной Россией. По окончании боевых действий и подписании мира Крым стал независимым от Турции. Прежний хан Селим-Гирей бежал в Константинополь. 27 июля 1774 года крымское собрание в Карасубазаре подписало присяжный лист о союзе с Россией и избрало нового владыку. Им стал старший брат Шагина — Сагиб-Гирей. Сам Шагин получил титул паши, был назначен калгой (наследником престола) и отправлен в Петербург^[645].

Императрица приняла Шагина очень радушно. Он сразу же стал получать содержание от русской казны — в дороге по пятьдесят рублей ежедневно, а по прибытии — сто^[646]. Татарского калгу с первых шагов рассматривали как союзника и покупали его преданность.

В столице России молодой паша зажил привычной для него по Италии европейской жизнью, посещал балы, парады, театры и даже присутствовал на спектакле в Смольном монастыре. Любезный, общительный и веселый, он приобрел широкий круг знакомств. Екатерина писала о нем Вольтеру: «У нас здесь в настоящее время паша султан, брат независимого хана крымского; это молодой человек 25-ти лет, умный и желающий себя образовать». В другом месте она замечала: «Крымский дофин — самый любезный татарин: он хорош собою, умен, образован не по-татарски; пишет стихи; ...все полюбили его»^[647].

Однако уже тогда в Шагине проявились такие черты, как высокомерие, упрямство и расточительность. Европейский образ жизни и в Петербурге стоил недешево, а в дальнейшем в Крыму, оторванном от многих благ цивилизации, он будет обходиться хану еще дороже. Первым на это обратил внимание опытный Панин. Никиту Ивановича оказалось трудно очаровать любезной манерой общения. Серьезный дипломатический просчет Шагин-Гирея — попытка заставить главу Коллегии иностранных дел первым нанести ему визит — многое сказал царедворцу. В Петербург приехал человек гордый, честолюбивый и не такой простой в управлении, как могло показаться на первый взгляд. Шагин хотел встретить Панина как принимающая сторона, к которой пришли с поклоном. Это нарушало строгий дипломатический протокол, обязательный для каждого посла. Никита Иванович показал калге, что кровь Гиреев не дает тому особых прав перед представителями иных держав^[648].

Следующее требование «дофина» еще больше нарушало этикет. Шагин заявил, что он не может на высочайшей аудиенции снять шапку, поскольку этого не позволяет магометанский закон. Поступи паша так, и путь на родину ему будет закрыт, ибо единоверцы могут побить его камнями. Екатерина сама нашла выход из щекотливой ситуации. Она послала Шагину в подарок богатую шапку и приказала объявить в Совете, что отныне жалует всем представителям татарского народа право находиться с покрытой головой в ее присутствии^[649].

После аудиенции калга был щедро одарен. Он получил шубу, платье, серебряный сервиз и пять тысяч рублей на расходы. Однако уже вскоре Панин вынужден был испросить новую сумму — десять тысяч. Но и они ушли как вода сквозь пальцы. Шагин заложил подарки государыни, выкупленные Паниным за 8500 рублей. На прощание «дофин» получил саблю в золотых ножнах, а Панин отправил Совету счет в размере 46 560 рублей, необходимых для выезда паша^[650]. С этого траты только начались.

Согласно мирному договору, ханство становилось независимым. Однако турецкий султан как духовный глава мусульман сохранял право посылать ханам свое халифское благословение. В этом-то благословении султан долго отказывал русскому ставленнику Сагибу. Зато сторонник Турции Девлет-Гирей, свергший Сагиба, получил вместо халифского благословения султанскую инвеституру — особый акт, которым сеньор утверждал вассала в его правах^[651]. Этот шаг Порты подчеркивал, что она по-прежнему считает Крым своей частью.

Ответные действия России не заставили себя долго ждать. Войска

Прозоровского вступили в Крым и разогнали сторонников Девлет-Гирея. Новым ханом на русских штыках стал Шагин. Хан мечтал создать новые государственный аппарат и армию, с помощью которой он сможет завоевать для Крыма владения в Персии. Кроме того, Шагин хорошо понимал, что столкновения России и Турции далеко не закончены. Он хотел выступить в роли союзника первой и получить в качестве оплаты за услуги часть завоеванных турецких земель. Тогда из бывшего вассала ханство превратилось бы в могущественное причерноморское государство, с которым пришлось бы считаться не только Стамбулу, но и Петербургу.

Прежде всего хан создал новый диван, напоминавший по своим функциям Государственный совет. Туда входило двенадцать сановников, представителей татарской аристократии — беев^[652]. Они получили в свои руки различные отрасли государственного управления. Это должно было превратить феодальных владетелей в своего рода министров. После присоединения Крыма к России Потемкин затребовал «Регистр» жалованья советников дивана. Из этого документа видно, что они получали от 2200 до 5500 рублей ежегодно^[653].

Крым был разделен на шесть округов — каймаканств, — во главе которых стояли гражданские чиновники — каймаканы. Каймаканства дробились на меньшие территориальные единицы — кадылыки. Всего их насчитывалось 44. В каждой области были судьи — кадии, военные чиновники — баш-бумок-баши и полицейские чины. Таким образом, был создан новый государственный аппарат, состоявший из 152 чиновников, включая писарей и рассыльных, на содержание которого тратилось 230 936 левов, или, в пересчете на русские деньги, 135 561 рубль^[654]. Сумма для ханства немаленькая.

Прежде основой бюджета была работорговля. Пленников, захваченных на русских, украинских и польских землях, продавали в Турцию, Персию и дальше на Восток. Крупнейшим работорговым центром являлся город Кафа, через его рынки ежегодно проходили тысячи невольников-христиан. После заключения мира набеги стали невозможны, поскольку русские войска стояли по границе с ханством и препятствовали любым вылазкам с его территории. Россия затянула веревку на горле у Крыма, не давая ему выдохнуть.

Между тем реформы поглощали значительные средства, и Шагин-Гирей постоянно испытывал нужду в деньгах. Он попытался упорядочить финансовую систему, превратил прежнего казначея в министра финансов с целым штатом счетчиков. Был построен новый монетный двор в Кафе.

Кроме того, хан начал отдавать государственные доходы на откуп. На откупе находились сборы с таможен, доход с соляных озер, питейных заведений, рыбной ловли на Днепре, сборы налогов с крупного рогатого скота, овец, лошадей и пчел, продажи земляного мыла и внутренние пошлины в Карасубазаре, Акмечети и Бахчисарае. Налоги с иноверцев возросли в несколько раз. Если раньше платили 60 коп. с души, то теперь состоятельные отдавали 7 руб. 20 коп., средний слой — 3 руб. 60 коп., а бедняки — по 1 руб. 80 коп.

После всех этих преобразований ежегодный доход ханства составил 345 612 руб. (Для сравнения: доход Российской империи того времени — 47 млн руб.) На содержание административного аппарата уходило 138 561 руб. Двору отпускалось 85 тысяч руб.^[655] Таким образом, более трети доходов пожирало новое чиновничество в составе 152 человек. Четвертую часть съедал двор. На все остальные расходы, включая военные, оставалось 122 051 руб.

Бросается в глаза крайняя дороговизна государственного аппарата, хотя сам по себе он казался невелик. Жители ханства вряд ли были в состоянии на свои скудные средства содержать администрацию, устроенную по европейскому образцу. А ведь хан задумал еще создать регулярную армию. Именно военная реформа вызвала резкое недовольство подданных. Чиновники начали перепись населения. С каждых пяти дворов уводили одного мужчину в ханское войско, которое обучали европейскому строю. Во дворце появился особый полк — саймены — ханская гвардия. Они были одеты в форму по западному образцу и производили обычные для гвардейцев экзерциции на глазах у изумленных жителей Бахчисарая.

Подражая Петру I, Шагин-Гирей перенес столицу на морское побережье. Своей резиденцией он избрал город Кафу и начал возводить там новый дворец. «При строительстве, выполненном в турецком стиле, использованы мрамор и камни с греческого и армянского кладбищ»^[656].

Европеизм Шагина оказался внешним. У себя на родине хан не считал нужным проявлять уважение к чужой культуре и религиозным чувствам.

Зато военные намерения нового владыки Крыма были вполне серьезны. Вскоре в Кафе появился литейный завод, а близ Бахчисарая — пороховой^[657]. Сам хан вел крайне непривычный для правоверных образ жизни: ездил в карете, а не верхом, ел, сидя за столом, который сервировали по-европейски, отказался от татарского платья и если не решался сбрить бороду, то прятал ее концы под широкий шелковый галстук на шее. Его окружали иностранные слуги и врачи, большей частью

русские, но были англичане и итальянцы^[658].

Среди населения распространялись слухи о том, что хан предался неверным. В каждом шаге владыки видели отступничество. Осенью положение в Крыму вновь осложнилось. 5 октября взбунтовалась личная гвардия хана, выступившая против реформ. К повстанцам примкнуло множество недовольных. Порта готовилась выслать флот к берегам Крыма, а Россия, по просьбе Шагина, ввести войска на полуостров^[659].

6 ноября 1777 года русскому министру в Стамбуле статскому советнику А. С. Стахиеву было направлено предписание любыми средствами избежать разрыва с Турцией^[660]. В тот же день на заседании Государственного совета Потемкин, как вице-президент Военной коллегии, говорил о необходимости предпринять «все потребное к войне с Турцией приуготовления»^[661]. Светлейший князь передал членам Совета не свою личную точку зрения. Накануне заседания Екатерина писала ему: «Намерения теперь иного нет, как только смотреть, что турки предпримут; ибо о трактовании с ними теперь полномочия у Стахиева. В случае же войны иного делать нечего, как оборонительно бить турок в Крыму или где покажутся; буде же продлится до другой кампании, то уже на Очаков чаю приготовить действие должно будет; хорошо бы и Бендеры, но Очаков по реке нужнее»^[662]. Эта записка показывает, насколько реальной была угроза новой войны с Турцией уже в конце 1777 года.

Обустройство на новых землях

С декабря 1777 года в Ахтиарской гавани находился большой отряд турецких кораблей, готовый высадить десанты^[663]. Посылать свои эскадры в длительное плавание от балтийских берегов вокруг всей Европы при каждом обострении обстановки на Черном море Россия не имела возможности. Встал вопрос о заведении собственных верфей на Днепровском лимане. 18 июня 1778 года Екатерина подписала указ Потемкину «о назначении места для заведения на Лимане гавани и верфи и о наименовании онаго Херсоном»^[664].

«Надлежит сделать на Лимане редут, в котором бы уместились адмиралтейские верфи и прочее, по примеру здешнего адмиралтейства и назвать сие Херсоном, — писала императрица, — тамошний Кронштадт естественный есть Очаков, осада одного и взятие не станут так дорого, как крепость, прожектированная господином Медером, цивильное же строение

Херсона можно обнести полевым укреплением»^[665]. В середине 1778 года война с Турцией казалась неизбежной. По этой причине Потемкин отверг место для строительства Херсона, выбранное генерал-контролером Адмиралтейства С. Б. Шубиным^[666]. Устье Лимана с выходом на Глубокую бухту не было ничем защищено от Очакова, из которого турки беспрепятственно могли сделать нападение по воде и, как говорил светлейший князь, «в одну ночь истребить заготовление многих годов»^[667]. Императрица согласилась отнести крепость, гавань и верфи на 35 верст вверх по правому берегу Днепра. «Батя, что касается до Херсона, то мне все равно, где б ни стоял, — писала Екатерина, — лишь бы у меня корабли строились и двойной... работы не было»^[668].

Место, избранное светлейшим князем для строительства Херсона, имело ряд преимуществ, связанных с непосредственной близостью каменоломни и возможностью доставлять лес, железо и провиант прямо по Днепру. Однако важное препятствие представляли днепровские пороги. Еще Петр I предпринял попытку обвести пороги высеченными в гранитной скале каналами, следы которых были обнаружены сотрудниками Потемкина у Старого Кайдака^[669]. Светлейший князь, по совету молодого талантливого военного инженера Н. И. Корсакова, избрал другой путь: крупный подрядчик М. Л. Фалеев, знакомый Потемкину еще с 1773 года, взялся взрывать пороги и прочищать дно. Князь хлопотал о разрешении провести такую работу. «О днепровских порогах Турчанинов Вам скажет мое мнение, — писала в ответ Екатерина, — одни пороги легко чистить, вываля одинокие камни из фарватера, а другие уступами, сих нельзя переводить. Итак, нужно, чтобы Вы начали доставлять мне материалы, которые убедили бы меня в возможности; сумма же весьма мала, и за нею, видя пользу, не постою»^[670].

Фалеев с успехом исполнил работу по расчистке дна, через два года по основанию в Херсон уже приходили крупные корабли и отправлялись назад с тяжелыми грузами. Известный баснописец И. И. Хемницер, проезжая в 1782 году в Константинополь, писал 8 июля своему другу архитектору Н. А. Львову: «Ну, братец, Херсон подлинно чудо. Представить нельзя, чтоб в три года столько сделать можно было. Представь себе современную степь, где ни прутика — не только дому, сыскать можно было. Теперь — крепость, и крепость важная, такая, например, какие из лучших мы в Нидерландах видели. Строение в ней по большей части все сделано из тесаного камня, какой, например, парижский»^[671].

По соглашению с ханом Шагин-Гиреем Россия в качестве возмещения

своих затрат получила доходы крымской казны с соляных озер, налоги, взимаемые с христиан, а также гавани Балаклавскую и Козловскую^[672].

Во время мятежа 1777 года христианские общины греков и армян поддерживали русские войска, и теперь при каждом новом возмущении звучали призывы фанатиков вырезать христиан. Поэтому Потемкин решил предпринять крайне сложную операцию — вывезти из Крыма христианские семьи и поселить их в своем наместничестве в Новороссии. Сделать это было нелегко, так как и христиане боялись покидать насиженные места, и хан Шагин-Гирей поначалу не соглашался отпустить иноверцев в «землю обетованную». Греки и армяне издавна занимались в Крыму торговлей, соляным промыслом, рыболовством, виноградарством и земледелием. Налоги с них давали большие поступления в казну, и Шагин энергично возражал против ухода христиан. Но Потемкин напомнил ему, на чьих штыках держится власть, и хану пришлось сдаться^[673].

Вывод 30-тысячной колонии Григорий Александрович поручил Суворову. Сняться целыми семьями и покинуть налаженную, развитую торговлю оказалось нелегко. Необходимы были широкие привилегии, чтобы привлечь христиан на новые места. В одной из записок Потемкину Екатерина дает согласие удовлетворить все просьбы греческой общины. «Суворова рапорт я читала и кондиции греков... О том и о деньгах и, буде иное что нужно, с ген[ерал]-проку[рором] кн. А. А. Вяземским] прошу поговорить»^[674]. Вывод христиан из Крыма завершился к концу июля 1778 года^[675].

«Греки поселились на реке Калмиус, на Броде и на Молочных водах, — сообщал Самойлов, — для них основаны города Мариуполь и Мелитополь... Привилегии, данные о десятилетнем увольнении от платежа поземельных и других податей, привлекли туда многих охотников... Они в князе Григории Александровиче имели своего заступника и ходатая у престола; он умел их ободрить, доставляя им всевозможные выгоды и во всем свободу, коей они лишены были под игом турецкого могущества»^[676].

Колонистов освободили от налогов сроком на десять лет, после этого с купцов стали взимать общий для русского купечества однопроцентный налог с капитала, горожане платили по 2 руб. с двора, а крестьяне по 5 коп. с десятины земли. Кроме того, колонистов навечно освободили от постоя солдат и от рекрутского набора. Первоначально, замечает английская исследовательница Мадариага, переселение было, как всегда, сопряжено со множеством трудностей, так как обещания властей не выполнялись, но после этих первых неувязок колонии достигли процветания^[677].

Совсем другую картину рисует Миранда: «Я имел продолжительную беседу с адъютантом Самойлова г-ном Поджо, служившим хану, когда русские овладели Крымом, и князем Долгоруковым, также находившимся там... Оказывается, русские заставили выехать оттуда 65 тысяч с лишним греческих и армянских семей (христиан, по их утверждению) с целью заселения Екатеринославской губернии. В результате Крым пришел в запустение, его земледелие сошло на нет, а тот край, который намеревались заселить, уже обезлюдел, ибо никто из этих несчастных бедняг там не остался. Все они либо погибли, либо бежали в пограничные страны Азии»^[678].

Материалы ревизий второй половины XVIII века, подробно исследованные В. М. Кабузаном, показывают, как обстояли дела в реальности. К концу 70-х годов на территории Екатеринославской губернии прирост населения за счет переселенцев составил 116,8 %; на территории бывшего Войска Запорожского — 285,5 %; в Херсонской губернии — 146,1 %. Все население Екатеринославской и Херсонской губерний увеличилось с 154,3 тыс. человек в 1763 году до 357,1 тыс. к концу 70-х годов. В 1778 году население Екатеринославской губернии увеличилось на 18,2 % за счет перевода в Мариупольский уезд проживавших прежде в Крыму греков, армян, грузин и волохов. Из 147 селений в Крыму было переселено 18 407 греков, 12 598 армян, 219 грузин и 162 волоха, всего 31 386 человек^[679].

Как видим, Поджо и Долгорукий сообщили Миранде вдвое большую численность выселенных христиан, чем было на самом деле. Остается отнести их сведения к многочисленным сплетням недоброжелателей светлейшего князя.

В условиях постоянного напряжения отношений с Турцией частям России в Причерноморье необходима была действенная поддержка живших на приграничных землях казаков. Потемкин, как шеф всех иррегулярных войск, вплотную занимался тогда вопросами хозяйственного обустройства и расширением правового статуса казачества^[680]. На его имя поступали многочисленные рапорты и прошения от казацкой старшины. 28 мая 1777 года из города Черкаска походный атаман Войска Донского генерал-майор А. И. Иловайский направил князю рапорт о желании «некрасовских» казаков возвратиться в русское подданство.

«На сих днях от приехавшего в Черкасск... Войска Донского полковника Барабанщикова, секретно уведомился я, что живущие за рекою Кубаном изменнические некрасовские казаки, с тем, что если предками их учиненная вина... всемилостивейше им прощена будет и они для службы в

Войско Донское причислятся, имеют желание, отойдя из протекции турецкого султана, со всем семейством прийти в подданство ее императорского величества скипетру; но вопреки тому внушаются им такие разглашения, что по приходе их в российское подданство отданы они будут в солдаты, от чего содрогаясь и никакому обнадеживанию не уверяясь, крайне желают о высочайшей к ним милости удостоверены быть от меня»^[681].

Потемкин переслал этот рапорт императрице и поддержал просьбу Иловайского направить тому «высочайшее повеление для увещевания и приводу помянутых некрасовцев» в русское подданство. «Некрасовцами» называли потомков донских казаков, участников Булавинского восстания 1707–1709 годов, ушедших вместе с атаманом И. Ф. Некрасовым на Кубань. Первые известия о их желании вернуться в Россию были получены еще в 1775 году от Румянцева, приложившего к донесению 18 апреля 1775 года рапорт Прозоровского, встречавшегося с некрасовцами^[682]. Этот вопрос обсуждался на заседании Государственного совета 27 апреля 1775 года, но был отложен за недостатком сведений^[683].

Екатерина приказала поднять документы двухгодичной давности и передать их светлейшему князю. «Но не вемь, — писала она, — не введет ли нас сие с Портою в новые хлопоты, буде те подданные Порты; хана же Шагина-Гирея, буде ему принадлежат, обижать неприлично. Итак, буде будут на Дон, пожалуй, последует доброе, буде же обещать им вдруг, то хлопотно»^[684].



Г. Л. Потемкин. И.-Б. Лампа-старший. 1780-е гг.



П. И. Потемкин. Г. Келлер. 1682 г.



Д. В. Потемкина. *Неизвестный художник. Конец 1770-х гг.*



Вид Московского университета,
Акварель неизвестного художника. 1790-е гг.



Великий князь Петр Федорович. Ф.С. Рокотов. 1758 г.



Великая КНЯГИНЯ Екатерина Алексеевна. *Неизвестный художник.*

Середина 1750-х гг.



Китайский дворец Ораниенбаума — резиденция Петра III.
Современное фото.



Григорий Орлов. Мраморный бюст работы Ф. И. Шубина. 1773 г.



Алексей Орлов. Неизвестный художник. 1770-е гг.



Чесменская битва 5 июля 1770 года. Гравюра П. III. Капо. 1777 г.



П. А. Румянцев. *Неизвестный художник. 1770-е гг.*



Оружие русской конницы: драгунские палаши и гусарские сабли.
Вторая половина XVIII в.



Кафтан офицера армейской пехоты. *1770-е гг.*



Г. А. Потемкин. *Эскиз И.-Б. Лампи-старшего. 1770-е гг.*



Екатерина II. *Неизвестный художник. XVIII в.*



Е. Г. Темкина. В. Л. Боровиковский. 1798 г.



Раковина с вензелями Екатерины II и Г. А. Потемкина. 1775 г.



Великий князь Павел Петрович. И. Г. Пульман. 1782 г.



Великая княгиня Мария Федоровна. И. Г. Пульман. 1782 г.



Е. Р. Дашкова. О. Хамфри. 1770 г.



С. Р. Воронцов. Л. Хопнер. 1780-е гг.



Л. Р. Воронцов. Шмидт. 1780-е гг.



П. И. Панин. Неизвестный художник. 1770-е гг.



Н. И. Панин. В. Л. Боровиковский. 1770-е гг.



Суд Пугачева. В. Г. Иеров. Фрагмент. 1875 г.



Е. Н. Орлова (Зиновьева). Д. Г. Левицкий. 1782–1783 гг.



Д. Ф. Дмитриева-Мамонова. Ф. С. Рокотов. 1789 г.



Английская набережная у Сената. Акварель Б. Патерсена. 1801 г.



В. С. Попов. И.-Б. Лампи-старший. 1790-е гг



П. С. Потемкин. *Неизвестный художник. 1790-е гг.*



М. С. Потемкин. *Д. Г. Левицкий. 1780 — е гг.*



А. Н. Самойлов. *И.-Б. Лампи-старший. 1796 г.*



И. Н. Римский-Корсаков. *Неизвестный художник. 1779 г.*



С. Г. Зорич. *Гравюра Виктуара. 1777–1778 гг.*



А. Д. Ланской. Д. Г. Левицкий. 1782 г.



А. М. Дмитриев-Мамонов. Н. И. Аргунов. 1812 г.



Е. В. Скавронская. А. Вижье-Лебрен. 1786 г.



А. В. Браницкая. Д. Г. Левицкий. Конец 1770-х гг.



Е.А. Воронцова. Л. Г. Левицкий. 1783 г.



В. В. Энгельярдт в русском платье. *Неизвестный художник. Конец 1770-х гг.*



Малороссийский казак. *Акварель Х. Геислера. 1780-е гг.*



Запорожский табор в степи. *Гравюра XIX в.*



Знамя Войска запорожского XVIII века.



Л. де Сегюр. *Неизвестный художник. Начало XIX в.*



Я. И. Булгаков. *Неизвестный художник. 1790-е гг.*



Разгрузка корабля у новороссийского берега. *Гравюра неизвестного художника. Начало XIX в.*



Крымские татары. *Гравюра начала XIX в.*



Бахчисарай, ханский дворец. Комната Екатерины II. *Современное фото.*

Императрица колебалась. С одной стороны, она признавала пользу возвращения некрасовцев, с другой — не хотела еще больше накалять

отношения с Турцией, посылая казакам официальный документ с прощением и приглашением в Россию. Наилучшим выходом Екатерина считала добровольный переезд некрасовцев на Дон без всякого письменного обращения русского правительства. Потемкин попытался убедить Екатерину сделать решительный шаг навстречу казакам: «Некрасовцы не принадлежат никак Порте, а если б и принадлежали, то принятие их нами в Россию позволительно в замену того, что турки запорожцев почти большее противу их число приняли по заключении уже мира. Если ж некрасовцы принадлежат хану, то весьма убедительные резоны есть к склонению самого хана согласиться на их выход... Дело сие большой пользы»^[685].

Екатерина продолжала колебаться. «Понеже в рапортах Прозоровского о сем деле упоминается, — говорит она, — то при чтении оных в Совете старайтесь вскользь о сем завести разговор, не показывая горячего к сему желания, и повыслушайте о сем, что рассуждать будут, и буде в пользу, то велите о сем записать в протокол. Новых же хлопот с Портою, и чтоб хана дискредитировать могло, отнюдь не желаю завести, ради сих людей наипаче»^[686]. Видимо, рассуждения членов Совета оказались не «в пользу» казаков, так как не были занесены в протокол.

Не получив желанного, Потемкин не отказался от мысли о возвращении казаков на родину. В 1778 году, во время объезда Кубанской линии, Суворов, по приказанию светлейшего князя, вел переговоры с потомками булавицев^[687]. Однако лишь в 1784 году Григорию Александровичу удалось добиться для некрасовцев права въезжать на территорию нового наместничества^[688].

Удаление Завадовского

Торможение на высочайшем уровне некоторых полезных начинаний, таких, например, как возвращение в Россию некрасовских казаков, вызывало раздражение князя. Он поминутно ощущал, что возле Екатерины находился человек, лично ему враждебный, что его бумаги придерживаются, а императрице старательно внушается противное мнение. Отношения с новым «случайным вельможей» у Григория Александровича не складывались. Между тем Завадовский оставался статс-секретарем и имел возможность влиять на ход дел. Долго терпеть подобную ситуацию Потемкин не мог.

В свою очередь, стараясь удержаться, Завадовский должен был противопоставить себя прежнему любимцу и искать поддержку у противоборствующих Григорию Александровичу партий. Он нашел ее в лице Орловых и очень быстро заявил о себе как об их стороннике. «Кроме двух Орловых, я не вижу, кого бы еще интересовал жребий Отчизны». — Сказано в одном из его писем Семену Воронцову. Наметилось и сближение нового фаворита с Павлом Петровичем. В апреле 1776 года он писал тому же корреспонденту: «К утешению своему я прибавку имею, что великий князь стал со мною милостиво разговаривать»^[689].

«Сердечному другу Сенюшеньке» Завадовский поверял многие тайны. Например, описывал напряженные отношения внутри треугольника — он, императрица, Потемкин — вскоре после возвращения Григория Александровича из Новгорода: «Приезжий с государыней получше. Против меня тот же. Да я рад, лишь бы он ее не прогневлял: меня же он раздражить никогда не может. Напрасно вы стараетесь находить средства сделаться его другом. Он не родился с качеством для сего нужным. Таланты его высоки, но душа... (так в тексте. — О. Е.) Всех совершенств не дает природа одному человеку. Таким сделать его, каковым быть ему надобно и любящим его особу и Отечество желательно, никак нельзя и вотще все будут помышления. Со мною он не будет николи искренен, потому больше, что он сам знает, что его довольно знаю»^[690].

Странные нравоучения в устах человека, уведшего у соперника жену. Или Завадовский полагал, что обманутый муж станет его искренним другом?

Небезоблачны были и отношения Екатерины с новым любимцем. Письма императрицы показывают, как женщина, привлеченная чувствительностью и нежностью красавца малороссиянина, быстро начала испытывать скуку в «тихой заводи» его объятий. «Я думала вечера проводить с тобою время в совершенном удовольствии, а напротив того, ты упражняешься меланхолиею пустою», — упрекала она фаворита. «Царь царствовать умеет, — пишет о себе Екатерина, — а когда он целый день, кроме скуки, не имел, тогда он скучен; наипаче же скучен, когда милая рожа глупо смотрит, и царь вместо веселья от него имеет прибавление скуки и досады»^[691].

Письма к Завадовскому представляют собой разительный контраст с письмами к Потемкину. Последний — пылкий любовник, грозный муж, все понимающий и прощающий друг, сотрудник, без которого Екатерина как без рук. Петр же Васильевич — игрушка, предназначенная для увеселения

и отдыха государыни. От него этого даже не скрывали.

«Я повадила себя быть прилежна к делам, терять время как можно менее, — писала ему императрица, — но как необходимо надобно для жизни и здравия время отдохновения, то сии часы тебе посвящены, а прочее время не мне принадлежит, но империи... Спроси у князя Орлова, не истари ли я такова. А ты тотчас и раскричишься, и ставишь сие, будто от неласки. Оно не оттого, но от порядочного разделения время между дел и тобою. Смотри сам, какая иная забава, разве что прохаживаюсь. Сие я должна делать для здоровья»^[692].

Не замечая безжалостности своих слов, Екатерина ставит Завадовского на одну доску с пешими прогулками. И то и другое — забавы.

Эту особенность в положении нового фаворита быстро почувствовали иностранные дипломаты. «Он был бы лучшей фигурой, чем Потемкин, — замечал Корберон 11 февраля 1776 года, — ...если б не был для Екатерины просто любимцем»^[693]. Причем француз, называя Завадовского любимцем, употребляет слово «amusette», которое имеет уничижительный оттенок и может быть переведено как «домашний любимец» или «любимая игрушка». Для кого Завадовский «был бы лучшей фигурой»? Вероятно, для тех, кто пытался получить влияние на политику России. В данном случае для версальского двора.

Завадовский и сам понимал унижительность своего положения. В одной из записок он жаловался Екатерине, что она хочет «умертвить» в нем честолюбие. Значит, честолюбие все-таки было. Однажды И. И. Бецкой как бы между прочим позвал нового фаворита «сидеть в Совет», но императрица отклонила это «дружеское» предложение, после чего «голубинка Петруса» проплакал всю ночь.

На придворной сцене Завадовский чувствовал себя неуверенно и даже не отваживался помочь другу «Сенюше», нуждавшемуся в его поддержке. В феврале 1776 года графиня Румянцева писала мужу: «Семен Романович приехал, и так худ, слаб, в ипохондрии и, думаю, пойдет в отставку, считая себя обиженным, что по сию пору бригадир. Петр бы Васильевич, может быть, ему и помог бы, да сам собою не отважится делать, чтобы не рассердить больше и на себя поднять, а видно, что сам просить или говорить об нем Григорию Александровичу не хочет. А дружба Воронцова с Завадовским такова же, как и прежде была».

Дружба дружбой, а пожалования и производства в чины сами по себе. Куда как удобно было не утруждать государыню просьбами о друге и оправдываться нежеланием Потемкина подтолкнуть Воронцова из

бригадиров в генералы. Воронцову следовало бы в мемуарах пенять Петру Васильевичу за то, что его карьера в определенный момент забуксовала. Ведь Завадовский читал императрице его письма, Екатерина хвалила корреспондента за «дружеское пристрастие» к ее любимцу. Тут бы и сказать: матушка, вот достойный человек, храбро сражался во время войны, пожалуйста его генеральским чином. Но нет, Завадовский не решался.

Бросается в глаза, что Потемкин и его соперник вели себя в сходных обстоятельствах совершенно по-разному. Пушкин записал грубый стишок, который, по слухам, Григорий Александрович послал одному из друзей, после возвышения:

Любезный друг,
Коль тебе досуг,
Приезжай ко мне;
Коли не так,
.....
Лежи..... [\[694\]](#).

Правда это, или нет, трудно сказать. Однако известно, что пиитические таланты у нашего героя были и своих друзей «лежать...» он не оставлял.

Завадовский же — иного поля ягода. Он действительно любил императрицу, но при всем желании не мог развеять скуку своей покровительницы, так как скучал и печалился сам. Причем его скука была не временным, преходящим настроением, а постоянной составляющей души. «Новостей ты не хочешь, — писал он Воронцову, — поверь, что я их меньше всех знаю и последний в городе сведаю ежели б что и было. Ты знаешь, что я люблю упражняться моим делом, но здесь я не имею никакого. И так всегда один, время иногда провождаю, читая книги, однако ж не больше в голове остается, как воды, решетом почерпнутой... Чтоб я всем сердцем был доволен, этого сказать не могу, но, сравнивая себя с теми, которые меня ниже, благодарю за все Бога... Я ничем не могу истребить скуки, которая весь веселый нрав во мне подавляет» [\[695\]](#).

В период близости с Потемкиным императрица, иногда просыпаясь в шесть часов утра, видела шторы на окне кабинета возлюбленного отдернутыми, а его самого погруженным в работу. Со светлейшим князем Екатерине бывало невыносимо тяжело, но никогда — скучно.

Мог ли такой тихий, мечтательный и робкий человек, как Завадовский, серьезно повредить Потемкину? События весны — лета 1776 года

показали, что да. Не только Потемкин, узнав об измене Екатерины, требовал удаления счастливого соперника. Петр Васильевич со своей стороны, приложил немало усилий, чтоб выжить князя из дворца. Из записок Екатерины видно, что новый «случайный» жаловался на дурное обращение с ним Потемкина, подталкивал императрицу к решительному разговору с прежним возлюбленным. «Я наравне с тобою три месяца стражду, — отвечала ему женщина. — Мучусь и ожидаю облегчения от рассудка, но не нашед предаю время. Князю Григорию Александровичу говорить буду»^[696].

В марте, после пожалования Потемкину княжеского титула, Екатерина писала Завадовскому довольно строго: «Когда вещь, какую ни на есть, тянут за оба конца, тогда вещь обыкновенно разрывается на два конца. Когда же ухватится трое, и каждый к себе потянут, тогда выходит ли целость вещи или три конца, у тебя спрашиваю. У меня хотение видеть тишину, покой, согласие; у меня хотения своя, у тебя другая, у того третья; нельзя ли людям согласиться жить мирно и безмятежно. Буде ты пошел новую светлость поздравить, светлость примет ласково. Буде запрешься, ни я, никто не привыкнем тебя видеть. Терпение не достает у тебя. Терпя столь много, срок сей позиции уже короток»^[697]. Что значат последние слова? Совет потерпеть, пока Григорий Александрович не уедет. Срок ожидания короток.

Когда-то императрица просила Потемкина не вредить Орловым, теперь в записках к Завадовскому подчеркивала, что князь ей друг и всегда таковым останется. Останавливало ли это соперников? Вряд ли. «С князем я вчера изъяснилась и, казалось, расстались самые лучшие и искренние друзья, как и всегда были и пребудем вечно. По крайней мере, с моей стороны. Я тебя прошу для Бога из мыслей твоих истребить лихие, оскорбительные и отнюдь неистинные помышления, будто у меня в гонении и в ненависти все те, кои с тобой искренны. Подобная адская выдумка не сходственная с моим сердцем, сии макиавелические правила во мне не обитают... Неужто, имея ко всем снисхождение, и ко мне и к моим, хотя горячим, но отходчивым нравом, не можно же людям иметь в половине хотя столько же, как я к ним имею?»^[698]

Кажется, снисхождения от нового любимца Екатерина не имела до тех пор, пока Потемкин не уехал в Новгород. Если Завадовский, плача, запираясь в своих покоях и жалуясь императрице на немилость, мог добиться от нее личных выгод, то, вероятно, смог бы достичь и политических. Особенно направляемый такими опытными

руководителями, как Орловы. Поэтому Потемкин воспользовался первым же случаем, чтоб отдалить от Екатерины кареглазого малороссийского мечтателя.

Заметив, что императрица начала грустить, Потемкин на правах «старого друга» попытался узнать у нее причину охлаждения к фавориту. «Мне скучно, это правда, — созналась она, — из доверенности я Вам сие открыла, и более сама не знаю за собою»^[699]. 27 мая во время загородного праздника в имении князя Озерки за Невским монастырем Потемкин познакомил Екатерину со своим флигель-адъютантом С. Г. Зоричем^[700].

Семен Гаврилович происходил из старинной сербской фамилии Неранчичей, члены которой уже второе поколение служили в России. Храбрый гусарский офицер, он отличился во время войны с Турцией. В одном из боев, получив многочисленные ранения, был захвачен в плен, бежал, вновь явился на русскую службу и был награжден Георгием 4-й степени. В 1776 году Потемкин поспособствовал производству Зорича в майоры, а позднее взял к себе адъютантом. Это было знаком милости ко всей сербской диаспоре, которая принимала активное участие в заселении южных земель.

Зорич был полной противоположностью «Петрусе», и контраст между ними забавлял Екатерину. Герой минувшей войны, удалой рубака, хлебнувший горя на своем веку и готовый порассказать много интересного о турках. План сработал: императрица увлеклась. «С какой смешной тварью Вы меня ознакомили, — писала она Потемкину, — Пожалуй, наряди нас для Петергофа, чтоб мы у всех глаза выдрали»^[701]. Скуку императрицы как рукой сняло, ей снова было для кого прихорашиваться.

Завадовский, как и полагается, «сведал» о случившемся «последним в городе». Некоторое время Екатерина не была уверена в желании сменить фаворита. Однако стремление Завадовского, примкнувшего к партии Орловых, интриговать против Потемкина и сблизиться с «малым двором» подтолкнуло ее к решению. «Дабы кн. Григорий Александрович был с тобою по-прежнему, о сем приложить старание нетрудно; но сам способствуй; двоякость же в том не поможет; напротиву того — приблизятся умы обо мне ехидного понятия и тем самым ближе друг к другу находящиеся, нежели сами понимают»^[702]. Эти строки из прощального письма Екатерины показывают реальную причину разрыва — сближение фаворита с недругами Потемкина, а значит, с ее собственными.

«Сбылось со мною все, что ты думал, оправдались твои предречения, — писал Завадовский Семену Воронцову 8 июля 1777 года. — Горька моя

участь, ибо сердце в муках и любовь моя не может перестать. Сенюша, тебя стыжусь, а все прочее на свете не даст мне забвения. Среди надежды, среди полных чувств страсти, мой счастливый жребий преломился, как ветер, как сон, коих нельзя остановить: исчезла ко мне любовь. Последний я узнал мою участь и не прежде, как уже совершилось. Угождая воле, которой повинуюсь, пока существую, я еду в деревню малороссийскую... рыданием и возмущением духа платя горькую дань чувствительному моему сердцу... Еду в лес и в пустыню не умерщвлять, но питать печаль... Сенюшенька, не забудь меня, а я теперь сажусь в свою коляску, оставляя город и чертоги, где толико был счастлив и злополучен, где сражен я наподобие агнца, который закалывается в ту пору, когда, ласкаясь, лижет руку».

Завадовский отбыл в ту самую деревню Ляличи, которую когда-то выхлопотал для него Потемкин. «Голова моя беспрерывно занята чувством сердечным, — изливал он скорбь в письмах Воронцову. — ...Не помню ни моих речей, ни что мне говорено. Впрочем, я должен возвратиться месяца через два. Напрасно мнят излечить меня разлукою. Я поеду и пребуду наподобие уязвленного оленя, который бежит и пробирается сквозь леса густые, но вонзенная стрела всегда в боку и не упадает. ...Мучение мое без исцеления, потому что мне приятно мучиться. Безумием, слепотою или чем хочешь называй мое состояние, я не стану спорить; однако оно мило и сие навеки. Пусть время всех лечит, но врачом моим оно не будет»^[703].

С течением времени Завадовский вернулся ко двору, но так и не излечился от сердечной раны. В 1787 году, во время путешествия Екатерины в Крым, юная графиня Вера Николаевна Апраксина, племянница гетмана Разумовского, написала, как пушкинская Татьяна, письмо Петру Васильевичу. Храбрая девушка встретила с предметом своей страсти и сама призналась ему в любви, прося жениться на ней. Завадовский был обескуражен. Он ответил, что может стать мужем Веры, но полюбить будет не в силах, поскольку его сердце отдано только одной женщине. Фавор Завадовского окончился уже десять лет назад, а он так и не избавился от тоски. Вера решила, что ее чувство оживит душу любимого, но ошиблась, их брак оказался несчастливym.

Визит шведского короля

В мае 1777 года, в самый неподходящий момент, когда ситуация после смены фаворита не устоялась, Екатерина получила известие о том, что шведский король едет к ней в гости. Подобного сюрприза никто не ожидал,

поскольку приглашения Густаву III не делали. Более того, саму идею возможного визита всячески старались отклонить. Тем не менее северный сосед посчитал себя вправе нарушить дипломатический этикет.

Взаимоотношения России и Швеции вовсе не располагали к панибратству. Густав III был союзником Турции, и его поведение в годы минувшей войны нельзя назвать дружеским. Агрессивные выпады молодого монарха оставили неприятный след в душе Екатерины. Еще в 1775 году шведский король заверял соседку в письме: «Я люблю мир и не начну войны. Швеция нуждается в спокойствии». Одновременно он составил записку о неизбежности разрыва между обеими державами. «Все клонится к войне в настоящем или будущем году, — говорилось в этом документе, — чтобы окончить по возможности скорее такую войну, я намерен всеми силами напасть на Петербург и принудить таким образом императрицу к заключению мира»^[704].

Екатерина приказала вице-канцлеру И. А. Остерману довести до сведения шведского двора, что весну и лето она собирается провести в Смоленске. Еще раньше Н. И. Панин просил русского посла в Стокгольме И. М. Симолина частным образом передать Густаву III, что Екатерина все лето решила посвятить путешествиям^[705]. Однако дипломатические предупреждения не удержали августейшего гостя. Официальным поводом для визита было желание шведского короля сгладить впечатление от государственного переворота 1772 года. Усиление Швеции, последовавшее за этим событием, не могло быть приятно России, так же как и широкие экспансионистские планы молодого короля.

Густав III прибыл в Петербург 5 июня. Незадолго до этой даты была написана записка Екатерины Потемкину, выдававшая раздражение императрицы: «Сей час получила известие, что король шведский вчерашний день хотел выехать из Стокгольма, что, от того дня считая, он намерен здесь очутиться через две, а не позднее трех недель, то есть неделя после Троицина дня. Хочет во всем быть на ровном поведении и ноге, как император (Иосиф II. — О. Е.) ныне во Франции, всем отдать визиту, везде бегать и ездить, всем уступить месту... и никаких почестей не желает принимать. Будет же он под именем графа Голландского и просит, чтоб величеством его не называли. Я велю Панину приехать сюда в пятницу, и он едет ему на встречу. Я послала гр. Чернышева, чтоб яхты послать навстречу или фрегат»^[706].

Как видим, императрица, несмотря на нежелание встречаться с Густавом, собиралась оказать ему достойный прием. Придать внешнюю

благопристойность экстравагантной выходке шведского короля мог тот факт, что они с Екатериной состояли в родстве. Поэтому на дипломатическом уровне встреча трактовалась как частный приезд кузена.

Ранним утром 5 июня яхта шведского короля бросила якорь в Ораниенбауме^[707]. К семи часам вечера «графа Готландского» ожидали в Царском Селе. Его встречал узкий круг приближенных Екатерины, в том числе и Потемкин, который сразу же взял гостя под свою опеку. Несколько дней позже он показывал Густаву Петропавловскую крепость и расположенный там монетный двор, затем устроил в его честь смотр Преображенского полка и дважды принимал августейшего гостя у себя в Стрельне.

28-го числа в день торжества в честь восшествия Екатерины на престол императрица подарила гостю трость, богато украшенную бриллиантами^[708]. Густав — натура артистическая — верил в силу своего обаяния и попытался очаровать Екатерину. Он даже подарил свой портрет «всем петербургским дамам», императрица передала картину в Смольный монастырь^[709]. Видимо, ей все-таки не хотелось видеть лицо «братца Гу» у себя во дворце.

А вот сам Густав, кажется, был готов поверить в искренность и теплоту приема. Из России он писал брату Карлу: «Императрица выказывает мне все возможное внимание, она необычайно обходительна и вежлива — ее просто не знают в Швеции. Все мои предосторожности при отъезде кажутся мне излишними, с тех пор как я узнал ее манеры и склад ума»^[710].

Возможно, письма были написаны с оглядкой на перехват и перлюстрацию. Однако нельзя не заметить, что личная встреча разрядила русско-шведские отношения. В результате произошедшего сближения в Стокгольме заметно упало влияние Франции. В 1780 году Густав подписал предложенное Екатериной соглашение о вооруженном нейтралитете и политические контакты стали еще более тесными. До поры до времени обе стороны были довольны этим.

Свадьба Григория Орлова

Едва утихли разговоры об отставке Завадовского и возвышении Зорича, как разразился другой придворный скандал. 5 июня, в тот самый день, когда Густав III прибыл в Царское Село и все внимание было

приковано к его визиту, князь Григорий Орлов тайно венчался со своей двоюродной сестрой Екатериной Николаевной Зиновьевой, фрейлиной императрицы.

Их роман вот уже несколько лет ни для кого не был секретом. Орлова гласно осуждали за кровосмесительную связь, но никто не ожидал, что бывший фаворит решится освятить свои отношения с Зиновьевой браком. Говорили даже, будто Григорий Григорьевич силой овладел юной родственницей.

Князь М. М. Щербатов в памфлете «О повреждении нравов в России» обличал Орлова: «Все его хорошие качества были затмены любострастием: он... учинил из двора государева дом распутия; не было ни одной фрейлины у двора, которая не подвергнута бы была его исканиям, и сие терпимо было государыней, а наконец тринадцатилетнюю сестру свою, Катерину Николаевну Зиновьеву, исильничал, и, хотя после на ней женился, но не прикрыл тем порок свой, ибо уже всенародно оказал свое деяние, и в самой женитьбе нарушил все священные и гражданские законы»^[711].

Екатерина (Ульяна) Николаевна Зиновьева родилась в 1758 году и была дочерью генерал-поручика, сенатора и петербургского обер-коменданта Николая Ивановича Зиновьева от брака с Евдокией Наумовной Синявиной. Тетка девочки Гликерия Ивановна Зиновьева вышла замуж за Григория Ивановича Орлова и стала матерью знаменитых братьев^[712]. У самой Екатерины имелось еще пять братьев, она росла любимицей в шумной большой семье и с детства боготворила Гри Гри — красивого, щедрого, обаятельного и, тогда мнилось, всесильного. Посвящала ему стихи. По его протекции юная Зиновьева стала фрейлиной и поселилась при дворе.

Их роман начался в середине 70-х годов. Летом 1776 года в Петербурге прошел слух, что Екатерина Николаевна ждет ребенка от Орлова, что он назначил ей сто тысяч рублей и столько же драгоценными камнями в приданое. Братья спешно подыскивали Зиновьевой жениха. Саксонский министр граф Брюль рассказывал, что его вызвал к себе Орлов, и дипломат опасался, как бы ему не предложили жениться на Зиновьевой^[713]. Однако ничего подобного Григорий не сделал. Он не смог заставить себя выдать любимую замуж. Несчастливая девушка вытравила плод, на некоторое время уехала в Москву, а когда вернулась в столицу, их роман с Орловым вспыхнул с новой силой.

Влюбленные не знали, что делать. В сентябре в дипломатических

кругах говорили, будто Орлов собирается с Зиновьевой во Францию, в октябре — что он хочет жениться, несмотря на религиозные запреты, а в феврале 1777 года считали тайный брак состоявшимся. Наконец, Григорий Григорьевич решился увезти невесту. 5 июня, пока публика занималась приездом шведского короля, он отправился с Екатериной Николаевной далеко за город и обвенчался в церкви Вознесения Христа Копорского уезда Петербургской губернии, где у Орлова было имение. Там же он и отпраздновал свадьбу в кругу собственных крестьян, каждый из которых получил в подарок по рублю. «Ребята, веселитесь вовсю, — обратился к ним Орлов. — Вы все же не так счастливы, как я: у меня — княгиня»^[714].

Через четыре дня Григорий появился при дворе. Скрывать свой брак он не собирался. 21 июня Корберон писал в дневнике: «Способ, которым Орлов объявил о своей женитьбе государыне, весьма странен и свойственен только ему. Он развязно вошел к ней, пустив перед собой маленькую хорошую собачку. „Чья это собака?“ — спросила государыня. „Моей жены“, — ответил князь просто»^[715].

Через десять дней после венчания ко двору вернулась и Екатерина Николаевна, теперь уже графиня Орлова. Императрица приняла ее благосклонно. Однако ропот, поднявшийся в столичном обществе против «незаконного» брака, был столь силен, что за «молодых» был вынужден заступаться даже Густав III. Санкт-Петербургская консистория начала судебное разбирательство. Если бы дело получило законный ход, то супругам грозил монастырь. Зиновьева под полицейским караулом была препровождена из Мраморного дворца Орлова на набережной Мойки к себе домой.

Государственный совет постановил осудить Григория Григорьевича и сослать его в отдаленный монастырь. Против такого решения гласно выступил только К. Г. Разумовский. «Для решения этого дела, — заявил он, — недостаточно только выписки из постановления о кулачных боях. Там, между прочим, сказано: лежачего не бить. А как подсудимый не имеет более прежней силы и власти, то стыдно нам нападать на него»^[716].

Потемкин открыто высказываться в пользу Орлова не стал. Его отношения с властными братьями были слишком напряжены. Но в личной записке Екатерине заступился за друга прежних лет. Из сохранившегося ответного письма императрицы известно, что князь просил сделать Екатерину Николаевну статс-дамой и тем самым признать брак и оградить молодых от грозившего им приговора. Какое-то время Екатерина колебалась. Ее ответная записка отражает эту нерешительность: «Я люблю

иметь разум и весь свет на своей стороне и своих друзей, и не люблю оказывать милости, из-за которых вытягиваются лица у многих. Это увеличит число завистников князя и заставит шуметь его врагов. Если эта девица, которую я люблю и высоко ценю, выйдет завтра замуж, я дам ей свой портрет и сделаю ее послезавтра статс-дамой, и никто слова не скажет, но я совсем не люблю усиленные переходы»^[717].

Судя по этой записке, в какой-то момент императрица даже не знала, стоит ли признавать брак Орлова, и выдвигала предположение о возможном выходе Зиновьевой замуж за кого-то другого. Это, по ее мнению, заставило бы замолчать злые языки. Ситуация была серьезная, на Григория Григорьевича ополчились все его прежние враги. Синод тоже был в возмущении. Екатерина писала архиепископу Гавриилу о «знаменитых заслугах князя» и просила прекратить дело, которое тем не менее тянулось до февраля 1780 года^[718]. Императрица не стала утверждать решение Совета об осуждении молодоженов, заявив, что ее рука отказывается подписать подобную бумагу.

Княгиня Орлова получила шифр статс-дамы, числившийся за ней с 28 июня. Брак был признан законным, но молодые на некоторое время удалились от двора, чтоб разговоры утихли. Сначала они отправились в подмосковные имения Орлова, но московское общество встретило их в штыки. Вслед карете толпа швыряла камни и комья грязи. А ведь шесть лет назад, в дни чумного бунта 1771 года, Григорий Григорьевич не побоялся приехать в зараженный город. Он привез с собой из Петербурга врачей, привлёк крепостных к уходу за больными и колодников к расчистке города от трупов, пообещав вольную и прощение всем, кто примет участие в этой страшной работе. Слово Орлов сдержал. Он сам посещал чумные бараки и появлялся в людных местах, ободряя горожан^[719]. Бунт и чума были побеждены, и Орлов купался в благодарности москвичей. Поэт А. Н. Майков написал в его честь восторженную оду:

Не тем ты есть велик, что ты вельможа первый —
Достойно сим почтен от росской ты Минервы
За множество твоих к отечеству заслуг, —
Но тем, что обществу всегда ты первый друг...
Когда ж потщишься ты Москву от бед избавить,
Ей должно образ твой среди себя поставить
И вырезать сии на камени слова:
«Орловым от беды избавлена Москва»^[720].

Людская память недолговечна. «Первому другу общества» памятника в Москве не поставили, зато карету камнями закидали. Резко не одобряли брак даже родные братья Григория. Однако, несмотря на всеобщее осуждение, супруги были счастливы вдвоем, вскоре они уехали на воды в Швейцарию. Екатерина Николаевна писала избраннику нежные стихи:

Желанья наши совершились,
И все напасти уж прошли,
С тобой навек соединилась,
Счастливы дни теперь пришли.
Любимый мной,
И я тобой!
Чего еще душа желает?
Чтоб ты всегда мне верен был,
Чтоб ты жену не разлюбил.
Мне всякий край
С тобою рай!^[721]

Опасения княгини были напрасны. 43-летний Орлов боготворил 19-летнюю супругу. К сожалению, счастливым их брак не стал. Екатерина Николаевна одного за другим рождала мертвых детей, долго и безуспешно лечилась за границей, заболела чахоткой и сошла в могилу в Лозанне в 1781 году. От потрясения Григорий Григорьевич потерял разум, его привезли в Россию, но он пережил горячо любимую жену всего на полтора года и скончался в 1783 году.

Обманутые надежды лорда Мальмсбери

В 1777 году никто не ожидал такой трагичной развязки. Более того, Орловы вовсе не собирались уходить в тень с политической арены. Может быть, поэтому Потемкин и не стал афишировать свое негласное заступничество за «беспутного» Гри Гри. На придворной сцене они оставались врагами. К весне следующего 1778 года уже все было готово для нового акта «битвы гигантов».

Она продолжалась почти весь год, и об ее этапах мы знаем из

донесений нового британского чрезвычайного посланника Джеймса Гарриса, лорда Мальмсбери. Он прибыл в Петербург 4 октября 1777 года. Прежде Гаррис служил посланником в Берлине, при дворе Фридриха Великого, союзника России^[722]. В Лондоне считали, что после такой школы Мальмсбери должен отлично разбираться в русских делах. Однако его приезд в Петербург не оправдал этих надежд.

С самого начала Гаррис совершил важную ошибку. По привычке, сложившейся у английских дипломатов в первую половину царствования Екатерины, он начал блокироваться с партией Орловых, которую считал преданной интересам туманного Альбиона. Однако времена изменились, Орловы утратили былую силу, и посланнику следовало искать других покровителей. До поры до времени он этого не понимал. От сторонников Орловых Гаррис получал основные сведения, и в его донесениях придворная борьба отражена во многом их глазами.

Дипломатическая миссия самого Гарриса была сложна. По заданию британского правительства он должен был заключить с Россией союз, в котором в тот момент очень нуждалась Англия. В начавшейся в 1775 году войне американских колоний за независимость Великобритания столкнулась не только с восставшими подданными на заокеанских территориях, но и со своими европейскими противниками, и в первую очередь с Францией. В 1778 году Париж выступил на стороне американцев, за ним последовал Мадрид. Людовик XVI принял в Версале посланца Конгресса колонистов Бенджамина Франклина, что фактически означало признание нового государства^[723].

В этих условиях союз с Россией казался Англии выгодным. В минувшую Русско-турецкую войну Британия способствовала проходу русской эскадры из Балтики в Средиземное море, предоставив порты базирования для починки кораблей и пополнения их продовольствием. Кроме того, английские дипломаты оказывали Петербургу помощь на международной арене. Король Георг III ожидал от Екатерины взаимных услуг^[724]. Однако он требовал слишком многого. От России желали военного вмешательства, вплоть до отправки в Америку русского экспедиционного корпуса. В годы Русско-турецкой войны наши страны связывал только торговый трактат. Прежде Англия всегда отклоняла русские предложения о политическом союзе, чем подчеркивала свое превосходство. Теперь же России предлагалось открыто выступить военным сателлитом Британии и противопоставить себя нескольким европейским государствам.

Екатерина повела себя очень осторожно. В октябре императрица и Потемкин обсудили возможность конфиденциальной встречи государыни с новым британским представителем, о которой хлопотал князь ^[725]. Григорий Александрович стремился не допустить ухудшения отношений с Англией. Гаррис передал Екатерине предложение заключить оборонительный и наступательный союз, содержавшееся в личном письме короля Георга III ^[726].

Екатерина предпочла уклониться от сближения. Она переслала Потемкину примерный проект ответа английскому королю, включенный в ее личную записку Григорию Александровичу. «Не иначе как с удовольствием я могла принять откровенность короля великобританского относительно оснований мирных договоров, — писала она. — ...По благополучном окончании мирного дела между всеми воюющими державами, предложения всякие от дружеской таковой державы, как Великобритания, которая всегда дружественнейшие трактаты с моею империею имела, я готова слушать; теперь же чистосердечное мое поведение со всеми державами не позволяет мне ни с какою воюющую заключить трактат настоящий, с опасением тем самым продлить пролитие невинной крови» ^[727].

Ввиду обострявшейся ситуации в Крыму Россия не могла втягиваться в общеевропейский конфликт из-за американских колоний. Однако Екатерина не желала и ухудшать своих отношений с Англией. Поэтому императрица составила такой доброжелательный, но ни к чему не обязывавший ответ.

Фактический отказ от союза произвел на нового посланника самое неблагоприятное впечатление. Его донесения крайне раздражительны и полны колких выпадов в адрес императрицы, ее ближайшего окружения и России в целом. «Дружба этой страны похожа на ее климат, — писал Гаррис 27 мая 1778 года, — ясное, яркое небо, холодная, морозная атмосфера, одни слова без дела, пустые уверения, уклончивые ответы. Есть утешение (политическое, но не нравственное) в той мысли, что их нелепый образ действий проистекает из ложного мнения о возвышении их могущества и об упадке нашей силы. Но недалеко то время (и в этом наша отрада), когда глаза их откроются и когда они убедятся, что пока... услаждались чувством собственной непогрешимости, враги их выигрывали время и заостряли мечи, тогда как их собственные ржавели в ножнах» ^[728].

Далее посланник обрушивается на Екатерину: «Старость не усмиряет страстей: они скорее усиливаются с летами, и близкое знакомство с одной

из самых значительных европейских барынь убеждает меня в том, что молва преувеличила ее замечательные качества и умалила ее слабости». Досталось и Потемкину, он назван «человеком хитрым».

Вероятно, сторонникам Орловых удалось убедить Гарриса, что именно Потемкин противится союзу между Россией и Англией. А одновременно с этим — внушить, будто положение самой империи критическое и, если немедленно не удалить властного сотрудника Екатерины, то начнется всеобщее восстание. Чуть ли не революция. «Если влияние его продлится, и императрица не употребит той силы воли, которою она, бесспорно, обладает, это повлечет за собой самые гибельные последствия, — сообщал Гаррис 8 июня. — Повсюду распространено общее недовольство. И если бедствия страны дают народу право высказывать свои жалобы, то невозможно определить, до каких размеров они бы достигли в стране, подобной этой. Граф Панин с братом, известные своею честностью, и братья Орловы по своей популярности — вот единственные друзья, на которых императрица может рассчитывать; все они в настоящую минуту держат себя в стороне и, конечно, не вернутся к делам, пока обстоятельства не переменятся»^[729].

О бедствиях, которые «обрушатся на империю», Гаррис повествовал в каждом августовском донесении и добавлял, что, если Екатерина «будет держаться мнений Орлова, это может иметь самые благие последствия для империи». Между тем положение державы в конце 70-х годов было как никогда прочным. Кризис, связанный с войной и пугачевщиной, давно миновал, полным ходом шла губернская реформа, и готовились серьезные мероприятия на юге.

С конца августа Никита Панин и Григорий Орлов, по уверениям Гарриса, действовали против Потемкина заодно. А в сентябре в Петербург неожиданно приехал сам Алексей Орлов и повел наступление по всем фронтам. Видимо, противникам князя показалось, что осталось совсем чуть-чуть, и Потемкина можно будет «дожать», для этого нужен только решительный натиск.

«Против всех ожиданий граф Алексей Орлов прибыл сюда в прошлый четверг, — сообщал Гаррис 21 сентября. — Появление его ввергло теперешних временщиков в сильное волнение; он беседовал уже несколько раз наедине с императрицей. Потемкин притворяется чрезвычайно веселым и равнодушным. Я имел на днях честь играть за карточным столом с императрицею, в присутствии этих двух господ. Перо мое не в силах описать сцену, в которой принимали участие все страсти, могущие только волновать человеческое сердце, где действующие лица с мастерством

скрывали эти страсти. Граф Алексей был необыкновенно любезен со мной, и уверял, что он такой же искренний друг Англии, как и его брат, но не столь ленивый»^[730].

Жаль, что Гаррис не привел ни одной реплики из разговора за карточным столом. То-то была бы пища историкам и романистам. Бессилие пера — порок для дипломата. Однако в следующем донесении от 16 октября посланник исправил свою оплошность и в лицах живописал для лондонского начальства тайную беседу императрицы и Алексея Орлова. Нет сомнения, что эти закрытые сведения были доставлены ему специально теми, кто хотел, чтобы Британия видела друзей именно в Орловых и при случае оказала им поддержку.

Гаррис дал себя убедить, будто заключение союза с Англией зависит от победы партии Орловых над нынешним временщиком — Потемкиным. Поэтому он так сочувственно отнесся к словам Алексея Григорьевича и его попыткам «восстановить честь империи».

«Правда, что положение домашних и заграничных дел не позволяло ему (Алексею Орлову. — О. Е.) сомневаться в том, как он будет принят. Он чувствовал, что человек такой испытанной верности и привязанности к императрице будет встречен с радостью в такое критическое время. Событие оправдало его ожидание. Сама императрица, да и все здесь смотрят на него, как на единственного человека, способного сохранить или скорее восстановить достоинство и честь империи. Я искренне желаю, чтобы эти чувства... были довольно сильны, чтобы противодействовать привычкам изнеженности и малодушия, которые в его отсутствие успели так быстро возрасти...

Вскоре после приезда Орлова императрица послала за ним и после самой лестной похвалы его характеру и самых сильных выражений благодарности за прошедшие услуги, она сказала, что еще одной от него требует и что эта услуга для ее спокойствия важнее всех прежних. „Будьте дружны с Потемкиным, — продолжала она, — убедите этого необыкновенного человека быть осторожнее в своих поступках, быть внимательнее к обязанностям, налагаемым на него высокими должностями, которыми он правит, просите его стараться о приобретении друзей и о том, чтобы не делал из жизни моей одно постоянное мучение, взамен всей дружбы и всего уважения, которые я к нему чувствую. Ради Бога, — прибавила она, — старайтесь с ним сблизиться...“ Странны были эти слова от монахини к подданному, но еще необыкновеннее ответ сего последнего. „Вы знаете, — сказал граф, — что я раб ваш, жизнь моя к услугам вашим; если Потемкин возмущает спокойствие души вашей —

приказывайте, и он немедленно исчезнет; вы никогда о нем более не услышите! Но вмешиваться в придворные интриги, с моим нравом, и при моей репутации; искать доброжелательства такого лица, которое я должен презирать как человека, на которого я должен смотреть как на врага Отечества, — простите, ваше величество, если откажусь от подобного поручения!“

Императрица тут залилась слезами; Орлов удалился, но через несколько минут продолжал говорить: „Я достоверно знаю, что у Потемкина нет истинной привязанности к вашему величеству; его единственная цель — собственная выгода; его единственное замечательное качество — хитрость; он старается отвлечь внимание вашего величества от государственных дел, погрузить вас в состояние самоуверенной изнеженной рассеянности, для того, чтобы самому иметь верховную власть. Он существенно повредил вашему флоту, он разорил вашу армию и, что всего хуже, он унизил вашу репутацию в глазах света, лишил вас привязанности верных подданных. Если вы хотите избавиться от такого опасного человека, располагайте моей жизнью; но если вы желаете повременить, то я ничем не могу послужить вам...“

Императрица была очень взволнована такою необыкновенною речью, призналась в верности всего того, что было сказано о Потемкине, благодарила графа в самых сильных выражениях за предложенное им усердие; но сказала, что она не может вынести мысли о таких жестоких мерах; созналась, что ее характер весьма изменился, и жаловалась на значительное расстройство своего здоровья. Она просила графа не думать о том, чтобы выезжать из Петербурга, ибо ей, конечно, будут необходимы его помощь и советы»^[731].

Итак, Орлов представлен спасителем, а Потемкин врагом Отечества. Видимо, Екатерина думала иначе. Она не теряла дружбы к графу Алексею Григорьевичу, но не собиралась, подпав под его влияние, устранять Потемкина. Если доверять донесению Гарриса, Орлов предлагал убийство, но это не смутило дипломата. Уничтожить злодея — высокий гражданский подвиг.

Однако при русском дворе древнеримские страсти не привились. В канун нового года, 31 декабря, Гаррис писал в Лондон: «После странного разговора, о котором я сообщил вам, доверие и расположение, оказываемые императрицей графу Алексею Орлову, постепенно уменьшались... Наконец, своим обращением с ним она принудила его к обыкновенному образу действий русских, находящихся в немилости при дворе, — никуда не выезжать из дома, под предлогом болезни. Князь Орлов уже три месяца

не показывается ко двору, и оба брата (которые вообще выражают свои мнения очень свободно) теперь говорят как люди недовольные, обманутые в своих ожиданиях и предчувствующие, что нет никакой надежды овладеть прежним влиянием»^[732].

Это была горькая правда, которую пришлось признать не только самим Орловым, но и английскому дипломату, необдуманно связавшему свои интересы с партией проигравших. После всего, что Гаррис наговорил в донесениях, без малейшей оглядки на перлюстрацию, ему предстояло искать расположения Потемкина, заискивать перед «врагом Отечества» и «изнеженным лентяем». О том, как Григорий Александрович воспользовался ситуацией, мы расскажем ниже.

ГЛАВА 8

СОЮЗ С АВСТРИЕЙ

Не одна личная благосклонность заставляла Екатерину II предпочитать Потемкина старым, испытанным сотрудникам вроде Панина и Орловых. Новые политические идеи, которые выдвигал князь, позволяли разрешить наболевшие проблемы. В настоящую минуту это были татарско-турецкие дела, и для того чтобы справиться с ними наилучшим образом, предстояло переориентировать внешнюю политику России на союз с Австрией.

На протяжении полутора десятилетий, прошедших после Семилетней войны, Петербург и Вена были противниками на международной арене. Однако, как говорил Уильям Питт-старший, у великих держав нет постоянных союзников, у них есть постоянные интересы. Интересы же подталкивали прежних врагов друг к другу, поскольку и Россия, и Австрия желали присоединить к себе ряд турецких земель. Именно на это обратил внимание императрицы Потемкин.

Момент для сближения был выбран удачно. Воспользовавшись тем, что Англия и Франция погрузились в пучину колониальной войны, Фридрих II в июле 1778 года напал на Австрию. Боевые действия велись вяло, без особого успеха для Пруссии (из-за мелочности событий острословы даже прозвали их «картофельной войной»), и в конце концов обе стороны согласились на посредничество Франции и России в разрешении конфликта. В марте 1779 года в Тешене начались переговоры, а 13 мая был подписан договор, восстанавливавший мир на немецких землях^[733]. Удачные переговоры позволили сгладить русско-австрийские противоречия. Они дали Петербургу и Вене шанс на сближение, которым те не замедлили воспользоваться.

Встреча в Могилеве

Зимой 1780 года венский и петербургский кабинеты были удивлены известием о намерении монархов России и Австрии встретиться будущей весной. «Император, шутя, намекнул мне о своем желании повидаться... с русской императрицей, — писала Мария-Терезия в Париж австрийскому послу Мерси-Аржанто, — можете себе представить, насколько неприятен

был мне подобный проект... по тому отвращению и ужасу, которые мне внушают подобные, как у русской императрицы, характеры»^[734].

Не одни «отвращение и ужас» перед Екатериной II заставляли престарелую императрицу-королеву беспокоиться за сына. Его визит в Россию мог означать серьезную переориентацию политики Австрии, следовавшей в про-французском русле и в годы Первой русско-турецкой войны поддерживавшей Османскую Порту^[735].

Не менее негативной была реакция в петербургских политических кругах, ориентированных на союз с Пруссией. Еще недавно Гаррис сообщал в Лондон о безусловном перевесе влияния Фридриха II в России над «инфлюенцией» любого другого двора и жаловался на то, что действиями Н. И. Панина умело руководит прусский король^[736]. Теперь тон его донесений меняется. «Прусская партия крайне встревожена тем, что пребывание императора в России будет столь продолжительным»^[737], — писал он. Панин... позволил себе в резких выражениях осудить «страсть» Иосифа II к путешествиям^[738].

За сближение с Австрией выступали Потемкин и статс-секретарь Безбородко, приобретающий благодаря своим недюжинным талантам все большее влияние. Идея свидания с Екатериной принадлежала Иосифу II. Император опасался противодействия со стороны государственного канцлера графа Венцеля Антона фон Кауница. Поэтому, не поставив старого сотрудника матери в известность, он 22 января нанес русскому послу Д. М. Голицыну визит, во время которого сообщил, что весной будет посещать восточные владения и с радостью пересечет границы Галиции для свидания с русской императрицей.

Уже 4 февраля из Петербурга последовал ответ, Екатерина извещала Голицына о своем весеннем путешествии в Белоруссию и о намерении прибыть в Могилев 27 мая. Подражая предосторожности Иосифа II, она также обещала никому не говорить о намеченной встрече, особенно Н. И. Панину^[739]. В действительности подобные обещания являлись не более чем дипломатической формальностью, как бы зеркальным повторением австрийского императора. Оба монарха символически демонстрировали друг другу стремление отойти от старых политических систем, выразителями которых были Кауниц и Панин.

9 мая Екатерина покинула Царское Село и отправилась в Могилев. С дороги она часто писала Потемкину, который заранее отбыл на встречу с Иосифом II и уже начал предварительные переговоры^[740]. О своих беседах с императором светлейший князь сообщал Екатерине в несохранившихся

письмах. «Батинька, письмо твое из Могилева я сейчас, приехавши в Сенном получила... — отвечала Екатерина 22 мая, — весьма ласкательные речи графа Фалькенштейна приписываю я более желанию его сделаться приятным, нежели иной причине; Россия велика сама по себе, а я что ни делаю подобно капле падающей в море... Если бы я следовала только движениям... природной живости, то, как только дошло бы до меня Ваше письмо, т. е. в 10 часов вечера, я села бы в карету и устремилась бы... прямо в Могилев, где... опередил меня гр. Фалькенштейн; но как это причинило бы вред его инкогнито, то размышление удержало мое первое движение, и я буду продолжать свой путь так, как Вам известно, он был начертан»^[741].

Мы не знаем, какие «ласкательные речи» Иосифа II передал Екатерине Потемкин. Однако их смысл можно восстановить по замечаниям гостя в письме брату Леопольду Тосканскому: «Эта страна с начала века изменилась совершенно, была, так сказать, создана заново». Австрийский император как бы упражнялся в будущих любезностях Екатерине. Одновременно в письмах к матери, подыгрывая антироссийским настроениям Марии-Терезии, Иосиф II особо подчеркивает именно слабые стороны в хозяйственном развитии соседней империи: низкую плотность населения, плохие почвы. «Все почти леса и болота, ...население ничтожно»^[742], — говорил он о Белоруссии и Литве.

В свою очередь, Екатерина старалась создать у домашних и европейских корреспондентов впечатление, что она взволнована и смущена предстоящим свиданием. Подобные известия, дойдя через третьи руки до августейшего гостя, должны были польстить ему. Из Полоцка Екатерина писала великому князю: «Вы угадали, что мне будет очень жарко; я в поту от одной только мысли о свидании»^[743]. «Боже мой, не лучше ли было бы, если б эти господа сидели дома, не заставляя других людей потеть страшно, — продолжает она в письме к барону М. Гримму. — Вот я опять принуждена разыгрывать жалкую роль Нинетты, очутившейся при дворе, и вся моя неуклюжесть, моя обыкновенная застенчивость должны будут явиться в полном свете»^[744].

Влачась по белорусским болотам, императрица со вздохом сожаления вспоминает поставленную в Смольном монастыре благородных девиц итальянскую оперу Киапи «Капризы любви, или Нинетта при дворе», которую она видела перед отъездом. Это популярный в 70-80-х годах XVIII века спектакль знаком нам по знаменитому портрету смолянок Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущовой кисти Д. Г. Левицкого. Екатерина любила

посмеяться над собой, поэтому «жалкая роль» сельской барышни, выбравшейся из глуши навстречу «большим господам», ей прекрасно удалась.

Однако в письмах к ближайшему сотруднику императрица не выглядит ни взволнованной, ни смущенной, ее тон будничен и спокоен. Более того, Екатерина была не прочь показать августейшему гостю, кто она такая на самом деле. Иосиф II приехал в Могилев одним днем раньше императрицы. Екатерина должна была поспешить ему навстречу. Но она не могла миновать намеченные на маршруте станции, слишком много людей ожидало остановки царского поезда. Для подобной невежливости необходима была веская причина, а Иосиф II сам не хотел раскрывать инкогнито. Так австрийский император, поставив себя в двойственное положение, вынужден был терпеть двойственность в обращении с ним Екатерины.

С дороги Иосиф II постоянно писал матери. Он старался уверить императрицу-королеву, что полагается на ее мнение и ничего не скрывает. Но лишь дело доходило до переговоров, как Иосиф мимоходом бросал, будто ничего важного еще не сказано: «До сих пор все наши переговоры с Потемкиным сводились к общим местам, он и словом не упомянул о предметах политических, которых я также старался избегать»^[745]. Возникает вопрос: стоило ли ехать на сугубо политическую встречу, чтоб «избегать политических предметов»? Опытная Мария-Терезия вряд ли верила сыну.

23 мая в Шклове бывший фаворит С. Г. Зорич устроил в своем замке для Екатерины великолепный праздник с фейерверком^[746]. На следующий день состоялось свидание Екатерины с Иосифом II. После обеда в присутствии множества гостей беседа двух монархов продолжалась наедине. О содержании разговора известно из писем австрийского императора матери. Была выражена общая неприязнь к прусскому королю. Далее Екатерина как бы в шутку осведомилась, не собирается ли Иосиф II занять Папскую область и завладеть Римом, на это император, тоже шутя, отвечал, что ей гораздо легче захватить «свой Рим», то есть Константинополь. Екатерина заверила собеседника в желании сохранить мир^[747]. Пробные камни были брошены. Между Потемкиным и австрийским посланником в России графом Людвигом Кобенцелем начались переговоры о заключении австро-русского оборонительного союза^[748].

29 мая Екатерина и Иосиф покинули Могилев, доехали вместе до

Смоленска и ненадолго расстались, чтобы вновь встретиться 18 июня в Царском Селе, где, по словам императрицы, гораздо удобнее было обмениваться мыслями^[749]. Прежде чем отправиться в Северную столицу, иностранный гость захотел посетить Москву. Потемкин отправился с ним. Иосиф писал по этому поводу матери: «Князь Потемкин хочет ехать в Москву, чтобы дать мне все необходимые пояснения. Он пользуется высочайшим доверием Ее Величества. За столом ее величество во всеуслышание назвала его истинным своим учеником и добавила, что у единомышленников должны совпадать их склад ума и образ мыслей и что она не знает другой более подходящей ей головы, чем потемкинская. До сих пор этот господин вел со мной лишь самые осмотрительные разговоры, но я не сомневаюсь, что со временем он станет более открытым и что, может быть, он предпринимает эту поездку в Москву именно с такой целью»^[750].

В дороге Потемкин, что называется, «пас» императора, продолжая сообщать Екатерине подробности об августейшем госте. В ответ она писала 9 июня со станции под Псковом: «Батинька князь, письмо твое из Вязмы... сегодня получила, из которого усмотрела, что гр. Фалькенштейн, а ты за ним полетели к Москве... Буде Вас найду в Новгороде, то увезу с собою; Вы подумаете, что брежу; нет, не брежу, но знаю, что с проворными людьми дело имею. Буде гость заботится еще знать мое о нем мнение, то можете сказать, что я думаю, что ни один ныне живущий государь не подходит к нему, касательно заслуг, сведений и вежливости. Я в восхищении, что познакомилась с ним; даже как частное лицо он был бы превосходным знакомством»^[751].

Иосиф II во всех своих зарубежных путешествиях появлялся исключительно как «частное лицо» и заметно тяготился внешними атрибутами роли монарха. Поэтому комплимент Екатерины, заметившей, что гость заинтересовал ее именно своими человеческими качествами, был весьма тонок. Характеристика Иосифа II была вписана в русский текст письма по-французски и предназначалась для дословной передачи австрийскому императору.

Беспокойство гостя объяснялось тем превратным мнением, которое сложилось о нем у Екатерины еще до знакомства. Императрица насмехалась над ханжеством Марии-Терезии, называя ее «Святой Терезией», а самого Иосифа «l'homme a double face» (двуличным человеком) и «piccolo bambino» (маленьким ребенком). В подобных прозвищах содержался весьма болезненный для императора намек на его

политическую зависимость от матери. Поведение Марии-Терезии не способствовало тому, чтобы в дипломатических кругах за ее сыном закрепились репутация человека взрослого и самостоятельного. Из самых лучших соображений она подчас оказывала императору медвежьи услуги. Непосредственно перед встречей в Могилеве прусский посол Герц, желая настроить Екатерину против Австрии, рассказывал, «что императрица-королева сильно противилась путешествию своего сына и согласилась на него не прежде, как получив заверения, что нравственность императора не подвергнется опасности»^[752].

Во время свидания в Могилеве Екатерина постаралась показать Иосифу свое расположение, и теперь в письмах к разным корреспондентам отзывалась о госте с большой похвалой. «Я нашла, что он очень образован, любит говорить и говорит очень хорошо, — сообщала императрица Гримму. — Я нашла, что дети иной раз не похожи на своих родителей. Мы, кажется, не очень богомольны, что выражается особенно в выборе книг для чтения»^[753]. В среде иностранных дипломатов утвердилось мнение, что австрийский император очаровал Екатерину. «Императрица чувствует себя польщенной таким посетителем, — доносил Гаррис. — Она, в самом деле, пленена ловкостью и любезностью его... он же, в свою очередь, сделал все возможное, чтобы понравиться ей»^[754].

Иосифа чрезвычайно интересовал вопрос о Константинополе, и он выражал надежду, что в Москве ему удастся «вывесть у Потемкина побольше». Не тут-то было. Почувствовав настроение гостя, в Первопрестольной князь нарочито отстранился от дел и погрузился в праздную беззаботность. Император писал матери: «Моим пребыванием в Москве я доволен. Город великолепный, окрестности его плодородны и приятны для глаз; общество, особливо дамское, весьма привлекательно и много прехорошеньких...

Князь Потемкин в Москве жил в свое удовольствие; я там виделся с ним всего три раза, и о делах он не говорил ни слова. Я передал ему предназначенный для него подарок, он же всячески уверял меня в своей преданности, которую, если брать его слова всерьез, будто можно легко проверить при первом удобном случае»^[755]. Однако дальше взаимных любезностей разговор не двигался. Что послужило тому причиной?

Обстановка при русском дворе оставалась сложной. Противодействие сближению России с Австрией было серьезным. В этом вопросе прусская дипломатия и партия Никиты Панина выступали заодно. На Екатерину оказывалось сильное давление, и Григорий Александрович не мог заранее

сказать, как повернется дело. Будет ли заключен выгодный для Петербурга союз с Веной, и не обернется ли в случае неудачи излишняя откровенность русской стороны против нее же самой? Поэтому продвигать переговоры вглубь Потемкин не торопился.

Была еще одна причина, чисто личного свойства, по которой князь в Москве больше времени проводил дома, чем занимался августейшим гостем. Дни Дарьи Васильевны подходили к концу, она болела, и вся семья сознавала, что престарелая госпожа Потемкина уходит. Григорий Александрович предпочел подольше побыть подле матери. Считается, что их отношения были сложными. Караганов на правах родственника сообщал, будто Потемкин не любил мать за то, что она «говорила ему правду» о его амурных интрижках с племянницами. В ответ будто бы князь отказывался читать ее письма и, не распечатывая, кидал в огонь^[756]. Документами эта версия не подтверждается. Сохранились отрывочные письма Дарьи Васильевны к сыну — безграмотные и неудобочитаемые из-за плохого почерка, но в целом очень теплые^[757].

Дарья Васильевна умерла в начале августа, когда Потемкин был уже в Петербурге. По этому поводу французский дипломат Корберон писал: «Государыня... была в Озерках, на даче князя Потемкина, объявить ему о смерти его матери. Другие говорят, что это известие передала ему его племянница, и что он горько плакал. Этот князь ко всем своим недостаткам и качествам присоединяет сентиментальность, что кажется несообразностью»^[758]. Слова Корберона показывают, как сильно не любили Потемкина. Что бы он ни делал, все было плохо. Ему ставили в вину и черствость к матери, и самое естественное проявление человеческих чувств.

11 июня из Новгорода Екатерина отправила князю короткое письмо: «Спешу, чтоб Вы меня не упредили в дороге, теперь, чаю я, выиграла скоростью... Пусто без тебя, я буду в восхищении опять видеть тебя и распоряжусь относительно Вашего помещения в Царском Селе»^[759]. Она торопилась в летнюю резиденцию, чтобы как хозяйка встретить Иосифа II. Григорий Александрович тоже был необходим ей под рукой.

Переговоры продолжались. «Я сказал ее величеству, что мы решили во всех важных делах сообщать ей наши мысли откровенно и испрашивать ее советов, — писал Иосиф II матери. — Ей это очень понравилось, и ее ответы и уверения были как нельзя дружеские и честные... Однажды она мне сказала положительно, что если бы даже завладела Константинополем, то не оставила бы за собою этого города и распорядилась бы им иначе. Все

это меня приводит к мысли, что она мечтает о разделе империи и хочет дать внуку своему, Константину, империю востока, разумеется, после завоевания ее»^[760]. Одновременно с беседами монархов Потемкин и Кобенцель вели консультации о включении в союзный договор пункта о гарантии владений обеих держав^[761]. Панин к этой работе не привлекался.

«Князь Потемкин неизменно выказывает Кобенцелю горячее желание объединить два наших двора, — сообщал матери Иосиф. — Он даже позволил себе третьего дня заявить Кобенцелю, что, зная образ мыслей ее величества, он не сомневается, что пришло время, когда можно было бы с легкостью устранить царивший в наших отношениях холод и восстановить прежние доверие и близость между нашими дворами, однако о средствах распространяться не стал. Я поручил Кобенцелю сказать Потемкину как бы от себя лично, что одним из первых, самых безобидных шагов, который устроил бы всех (как убеждал меня сам же князь) стала бы договоренность двух держав относительно неприкосновенности их владений»^[762].

Вскоре этот вопрос был улажен. Стороны согласились также гарантировать друг другу завоевания, которые каждая из них может сделать в дальнейшем. «Все это заняло несколько дней, в течение которых Потемкин и Кобенцель неоднократно ездили друг к другу, причем Потемкин перед каждым визитом вел предварительные переговоры с императрицей»^[763], — рассказывал Иосиф Марии-Терезии. Относительно договора Екатерина и ее августейший гость условились, что чем короче и проще он будет написан, тем лучше.

Лишь 8 июля Иосиф II покинул Петербург. «Граф Фалькенштейн нанес ужасный удар влиянию прусского короля, такой удар, что, как я полагаю, это влияние никогда более не возобновится», — доносил Гаррис. Однако вскоре английский дипломат изменил свое мнение. «Я не ручаюсь за то, что будет завтра, — с тревогой писал он в ноябре. — Прусская партия здесь многочисленна, ловка, изощрилась в интригах и до того привыкла властвовать, что ее значение нелегко поколебать»^[764].

И действительно, граф Панин, поддержанный прусскими дипломатами, оказал сближению с Австрией такое отчаянное сопротивление, на какое только был способен. К этому его активно подталкивали из Берлина.

Противодействие Пруссии

Известие о возможном союзе Петербурга и Вены несказанно встревожило Фридриха II. В лице России он терял выгодного союзника, взаимодействие с которым помогло ему при первом разделе Польши получить часть польских земель, а во время «картофельной войны» выбраться из конфликта почти без потерь. Кроме того, альянс с Россией и сам по себе позволял Пруссии значительно увереннее держаться на международной арене, противопоставляя себя все еще могущественной империи Габсбургов. Тогда как заключение русско-австрийского соглашения в корне меняло ситуацию и ставило под вопрос саму возможность удержания Пруссией Силезии — этого яблока раздора между двумя немецкими государствами.

Сохранение союза с Петербургом стало для Берлина важнейшей задачей.

Не полагаясь больше на Панина, Фридрих II счел нужным лично обратиться к Потемкину. Это показывает, насколько серьезно прусский монарх воспринимал опасность. Пока Иосиф II ожидал более решительных объяснений с русской стороны, петербургские политики разрывались между старым союзом и новыми выгодами. И опять в курсе закулисных интриг оказался неутомимый собиратель информации Гаррис.

К началу 1780 года британскому послу удалось сблизиться с Потемкиным. Тон его донесений резко изменился. Если раньше Григорий Александрович выступал в роли врага рода человеческого, то теперь он — сторонник Англии, искренний человек и даже личный друг Гарриса... Подобные заблуждения не свидетельствовали в пользу проницательности дипломата. Он имел дело со вторым лицом в государстве, которому «приятельские отношения» с иностранными министрами позволяли проще, без протокольных условностей, обсуждать сложные международные вопросы. Обманываться на счет простоты и открытости крупного политика, ведущего большую игру, не стоило.

В оправдание Гарриса скажем, что он не единственный иностранный поверенный, подпавший под обаяние Потемкина и именовавший его «близким другом». Ту же ошибку совершали Сепор, де Линь, Нассау-Зиген, Миранда и многие другие. После расслабляюще-доверительных бесед столкновение с реальными, весьма жесткими требованиями Потемкина в политических вопросах действовало обычно как ведро холодной воды. Но об этом речь ниже.

Гаррису удалось вывести кое-что ценное. В марте 1780 года Григорий Александрович в одном из разговоров между прочим обронил, что «король прусский более не управляет в советах императрицы и что она питает

отвращение к графу Панину». Вскоре на глазах у британца развернулась настоящая дипломатическая война между Пруссией и Австрией. «Несколько дней тому назад, — писал он 31 марта, — к графу Герцу (прусскому послу. — О. Е.) приехал курьер из Потсдама. С тех пор у него почти ежедневные конференции с графом Паниным и князем Потемкиным. Свидание императора в Могилеве до того беспокоит короля прусского, что он решился в следующем сентябре прислать сюда принца прусского, и главный предмет этих конференций состоит в предложении его посещения. Императрица три дня не давала на него ответа и, как мне хорошо известно, предложение это не было для нее ни лестно, ни приятно. Однако в воскресенье оно было принято со всеми наружными знаками искренней дружбы»^[765].

К этому моменту в Берлине уже поняли, что Панин теряет прежний политический вес, и попытались соблазнить Потемкина каким-нибудь «лестным предложением». Это вывело Никиту Ивановича из себя, он осознал, что прежние покровители отворачиваются от него. «Я желал бы иметь право сказать, что Герц не поколебал преданность (британским интересам. — О. Е.) князя Потемкина или силою своих аргументов, или, что гораздо вероятнее, выставив ему на вид какую-нибудь личную большую выгоду, которую он может получить через службу королю, — рассуждал Гаррис. — Граф Панин сильно противился его намерению быть у Потемкина, и когда граф Герц стал настаивать на необходимости исполнить данные ему предписания, его превосходительство до того рассердился, что угрожал оставить служение прусским интересам»^[766].

Предписания же Герца требовали полной конфиденциальности в отношениях с Потемкиным, так как Фридрих II задумал подкупить ближайшего сотрудника Екатерины. Когда короля постигла неудача в этом предприятии, он с разочарованием заметил, что Потемкин «слишком екатеринизирован», то есть предан интересам своей монархини. После смерти князя императрица писала барону Гримму: «Он меня не продавал. Его не можно было купить»^[767]. В 1780 году у нее был случай убедиться в этом, так как сразу три державы вступили между собой в торг за право предложить Григорию Александровичу куш пожирнее. Первым за дело взялся Фридрих II.

«После бесчисленных усилий мне, наконец, удалось узнать, что в то же самое время, когда Герц предлагал посещение принца прусского, он самым секретным образом передал Потемкину письмо от короля, — доносил 7 апреля Гаррис. — Оно состоит в самой преувеличенной и низкой

лести, и после уверения, что... главным предметом свидания в Могилеве есть разрушить союз, существующий между дворами Берлинским и Петербургским, и составить новую политическую систему, его прусское величество умоляет князя Потемкина поддержать его интересы при этом случае; и если он поможет ему с действительной пользой, король обещает постараться сделать возможным то, что кажется невозможным. Хотя эти слова и неопределенны, но они весьма выразительны... Они относятся или ко введению Потемкина во владение Курляндией, или, что по многим причинам кажется мне вероятнее, этим король намекает на обещание помирить его с великим князем настолько, чтобы обеспечить за ним, в случае кончины императрицы, личную безопасность и сохранение всех почестей, ему данных, и его собственности. Опасность потерять все это часто представляется его мыслям, и бывают минуты, когда он погружается в самую глубокую меланхолию»^[768].

Гаррис не угадал. Ни о каком примирении с Павлом Петровичем речи не шло. Потемкин прекрасно понимал, что словесные гарантии легко забрать назад. В то время как герцогскую корону отнять сложнее. Впрочем, Бирон провел в ссылке двадцать лет, и Курляндия не стала для него залогом безопасности. В письме Фридриха II говорилось именно о ней. Чтоб узнать это, британцу пришлось подкупить секретаря Потемкина, француза Сен-Жана.

«Я спросил у него, что именно он подразумевал под выгодными предложениями, сделанными князю Потемкину королем прусским? — доносил Гаррис 15 мая. — Он сказал, что они состояли в обещании помочь ему добраться до престола герцогства Курляндского, или, в случае его желания, выбрать ему жену между германскими принцессами, из которых, однако, ни одна не была названа. Я спросил, каким образом князь мог отвернуть такое лестное предложение? Он отвечал, что случилось так потому, что Потемкин не верил в искренность этого обещания, а видел в нем расчет заслужить его благосклонность на время свидания в Могилеве»^[769].

Фридрих II думал, что нащупал уязвимое место светлейшего князя, но ошибался. Потемкин отказал ему^[770]. Корона независимого государства лежала для него на одной чаше весов, а осуществление собственных политических проектов — на другой. Григорий Александрович выбрал последнее. Он понимал, что, кроме блестящих политических способностей, Екатерина ценит его абсолютную преданность. Конечно, ему хотелось получить Курляндию, но получить ее из рук императрицы. В противном

случае приобретение теряло смысл, ведь дальнейшая судьба Потемкина и его политическая карьера были связаны с Россией и обуславливались полным доверием Екатерины. О каком же доверии могла идти речь, если бы князь склонился на подкуп?

Казалось бы, после того как князь отклонил предложение Пруссии, австрийская сторона должна была испытывать уверенность в его «преданности». Однако Иосиф II покинул Россию отчасти разочарованным. Он уже в Москве испытывал раздражение против Потемкина и писал матери: «Человек это ленивый, слишком беспечный, чтобы довести до конца какое бы то ни было дело. Если не считать его придворных интриг, то, по моему мнению, он может быть полезен только если нужно срочно чему-то помешать, но не в состоянии сделать ничего, что требует системы, принципов, последовательности и усердия, каковые ему неведомы»^[771].

Вернувшись в Вену, император в разговоре с английским послом Робертом Кейтом выразился еще резче: «Главное несчастье императрицы заключается в том, что возле нее нет человека, который бы осмелился ограничить или хотя бы сдержать вспышки ее страстей... В делах политики влияние Потемкина никогда не было так велико, как полагали. Императрица не желает расстаться с ним; на это есть тысяча причин. Ей было бы нелегко отделаться от него, даже если бы она того желала. Надо побывать в России, чтобы понять все особенности положения императрицы»^[772].

Что послужило причиной таких недоброжелательных отзывов? Ведь, как мы видели, Григорий Александрович делал все возможное именно для заключения русско-австрийского союза, ради него отказывался от выгодных политических предложений. Дело в том, что Иосиф II не испытывал абсолютной уверенности в Потемкине и, надо сказать, недаром. Дипломатия того времени знала особую форму взаимоотношений между державами, когда крупные вельможи одной страны, склонные к альянсу с другой, принимали от государства-союзника так называемые «субсидии» (в современном понимании — взятки) и открыто отстаивали при своем дворе интересы союзника. Подобный поступок не воспринимался современниками с осуждением или презрением, напротив — считался в порядке вещей.

Знаменитый елизаветинский канцлер А. П. Бестужев-Рюмин охотно брал деньги и получал пансионы от англичан и австрийцев, но с порога отвергал попытки подкупа со стороны Берлина или Версаля^[773]. Станислав Понятовский писал о нем: «Он всю свою жизнь был приверженцем

Австрии, до ярости отъявленным врагом Пруссии. Вследствие этого, он отказывался от миллионов, которые ему предлагал прусский король. Но он не сошелся принять подношения и даже просить о нем, когда он говорил с министрами Австрии, или Англии, или Саксонии, или другого какого-нибудь двора, который он считал нужным благодетельствовать для пользы своего собственного Отечества»^[774].

Не изменилась дипломатическая практика и позднее. Во все годы союза с Пруссией при русском дворе активно действовала прусская партия, глава которой Никита Панин ничуть не скрывал приверженности интересам Берлина и даже оскорбился, когда Фридрих II решил действовать через Потемкина. Иосиф II ехал в Россию с надеждой не просто сблизиться с Екатериной, но и, в случае удачи, создать свою, австрийскую, партию. Ему это удалось: два видных вельможи А. А. Безбородко и А. Р. Воронцов приняли «субсидии». Но их политический взлет был еще впереди, в момент же свидания в Могилеве они не занимали ключевого положения. В значительной мере дальнейший рост их влияния обуславливался именно поддержкой Австрии. В 1780 году Потемкин — козырной туз новой политической игры — не пошел Иосифу II в руки.

В Вене, вероятно, рассчитывали, что князь станет вторым Бестужевым русско-австрийского союза. Из информации, выданной Гаррису Сен-Жаном, мы знаем, что австрийская сторона сделала Григорию Александровичу предложение, аналогичное прусскому, оно касалось независимого немецкого княжества где-нибудь в пределах Священной Римской империи^[775]. И снова Потемкин ушел от «награды» за «преданность» чужим интересам. Это наложило на его отношения с императором печать недоброжелательства, чем объясняются негативные отзывы австрийского монарха о друге Екатерины.

Австрийская сторона была уверена, что из союза с ней автоматически вытекает полный разрыв с Пруссией. Но это не было выгодно для России, и Потемкин не раз показывал, что считает полезным не усиление одного немецкого государства за счет другого, а поддержание в Германии равновесия сил между Пруссией и Священной Римской империей. В этом было существенное отличие его взглядов от взглядов Бестужева, видевшего в Австрии «естественного» союзника России, «завещанного» ей Петром I.

22 августа 1780 года канцлер Кауниц с неудовольствием писал австрийскому послу в Петербурге Кобенцелю: «Потемкин высказал, что основание русской политики заключается в поддержании совершенного равновесия между Австрией и Пруссией. В былое время в Петербурге

думали иначе, и в основании договоров (1726 г. и 1746 г. — О. Е.) лежала мысль, что прусский король общий и равно опасный враг обеих держав, и что для них одинаково желательно уменьшить его силу, возврата королевство в прежние границы. В Вене взгляд этот не изменился, и старания Австрии будут и впредь направлены к той же цели»^[776]. А вот у Петербурга имелись свои цели на Юге.

Потемкин считал, что, пока немецкие державы противостоят друг другу, они не могут помешать России решать татарско-турецкий вопрос. В этом была суть политической системы князя. То, что Григорий Александрович старательно разворачивал русско-австрийский союз против Турции, не нравилось Иосифу II. Ему было бы желательно, как в Семилетнюю войну, использовать русских солдат против Пруссии. Вышло наоборот. Во Второй русско-турецкой войне Австрия сыграла роль союзника, которого втянули в вооруженный конфликт. Ее армия сковала часть турецких сил, чем помогла России. Таким образом, через четыре десятилетия Петербург расплатился по непогашенным векселям покойной Елизаветы Петровны.

Исходя из идеи равновесия, Потемкин не противился визиту в Россию наследника прусского престола. Племянник Фридриха II Фридрих-Вильгельм прибыл в Петербург 26 августа 1780 года. Он должен был поддержать угасающий русско-прусский союз и составить альтернативу сближению с Австрией. Встретив принца 23-го числа в Нарве, граф А. фон Герц вручил ему памятную записку, в которой давал характеристику положению при русском дворе.

По словам Герца, Потемкин сам был инициатором визита Фридриха-Вильгельма в Россию. Он высказал мысль о желательности такой поездки и добился согласия императрицы. Панин сначала «весьма одобрил эту мысль», но, узнав, «что почин этого дела принадлежит Потемкину», высказался резко против и даже заподозрил Герца в «преданности фавориту». Стараясь поддержать видимость добрых отношений с Пруссией, князь оставлял австрийскую сторону в напряжении. Он заставлял ее искать и добиваться союза с Россией, быть уступчивее. В противном случае, показывал он, пути к отступлению обратно, в «братские объятия Берлина», у Петербурга не отрезаны.

По словам Герца, Панин «имеет личные права на доверие прусского принца, так как он доставил Бранденбургскому дому союз с Россией, который он постоянно поддерживал и никогда не оставит... Он добр, великодушен, прост и... скоро привяжется к принцу... Он ненавидит князя Потемкина и с трудом извиняет тех, кто добивается расположения этого

фаворита».

Однако, как это ни прискорбно для Панина, именно на Потемкине в тот момент и смыкались интересы иностранных политиков. Он изображен лицом малопривлекательным и опасным. «Князь Потемкин, конечно, человек самый сильный в империи. Это человек гениальный и талантливый; но его ум и характер не располагают любить и уважать его. Весьма важно сделать его к себе благосклонным. Но так как великий князь, граф Панин и все важнейшие лица в народе его ненавидят, то надобно быть чрезвычайно осторожным, чтобы, приобретая его расположение, не оскорбить массу других людей».

Герц даже подсказывает принцу путь, которым можно завоевать благосклонность Потемкина. Надо обратить внимание на племянниц князя девиц Энгельгардт, особенно на старшую, Александру Васильевну. «Обе они очень красивы и кажутся даже любезными. Для принца нетрудно будет всегда оказывать им приветливость, и я думаю даже, что он не почувствует никакого отвращения ими овладеть».

При всех сложностях, с которыми прусский принц должен был столкнуться в России, Герц ставил перед его визитом практически невыполнимую задачу: «сделать из России союзницу, а не покровительницу Пруссии»^[777]. Ничего подобного принц, конечно, не смог.

Человек вялый и погруженный в розенкрейцерские мечтания, Фридрих-Вильгельм не сумел наладить добрых отношений с Екатериной, хотя внешне ему были оказаны отменные почести. Зато прусский принц поддержал тесные дружеские контакты с Павлом Петровичем и его второй супругой — Марией Федоровной. В дальнейшем берлинские политики делали ставку именно на цесаревича, участвуя в интригах на его стороне. Так ничего и не добившись, Фридрих-Вильгельм уехал 1 октября. Как заметил в письме к Румянцеву Завадовский: «Им до крайности скучали»^[778].

Вооруженный нейтралитет

Потемкину удалось «протолкнуть» проект сближения с Австрией. Это был несомненный успех. Однако за него пришлось дорого заплатить. Партия Панина была еще далека от потери политического могущества. Екатерина не могла не считаться с ней, и 1780 год стал временем своеобразного равновесия сил, когда влияние Потемкина и Панина застыли

как бы на лезвии ножа. Чтобы проводить свою линию, от каждого требовались уступки. Со стороны Потемкина это было согласие на Декларацию о вооруженном нейтралитете.

Необходимость этой меры отстаивал Панин. С началом войны Англии в колониях торговля на морях стала делом крайне опасным. Суда нейтральных держав, шедшие с грузами к противникам Великобритании, например во Францию, задерживались и конфисковывались британской стороной как имущество врага. В том числе страдали и русские корабли. Поэтому в желании России защитить свои суда не было ничего удивительного или оскорбительного для Англии. Скорее политика Лондона заслуживала порицания.

Впервые Панин выразил британцам протест в декабре 1778 года. Именно тогда Гаррис настойчиво добивался заключения с Россией политического союза. Англия обещала Петербургу субсидию на случай войны с Турцией, за это русский флот вступал в военные действия против Франции^[779].

При этом сама английская сторона не хотела пойти хотя бы на частичные уступки в вопросе о нейтральных кораблях. Только Голландии Великобритания платила за конфискованные грузы, поскольку еще в 1647 году между этими странами был подписан договор о свободном торговом обороте на морях. Россия не относилась к счастливым, и ее грузы отбирались, хотя коммерческий договор 1766 года гласил, что флаг защищает товар.

Только в декабре 1780 года, через одиннадцать месяцев после провозглашения Декларации о вооруженном нейтралитете, британский посол Гаррис догадался, что Россия, коль скоро она так важна для Англии в качестве союзника, могла бы быть исключена из общих правил. Ее суда и грузы стоило бы оставить в покое, тогда, быть может, разговоры о помощи встретили бы в Петербурге с большим пониманием. Он писал о необходимости сказать Екатерине, «что мы пропустим все русские корабли, не прикасаясь к ним. Я настаиваю, чтобы эта неприкосновенность была укреплена за ними публичными декларациями... Но следовало бы дать тайные предписания на этот счет нашим крейсерам»^[780]. Однако Лондон не внял предложению посла.

В феврале 1779 года Екатерина заявила, что намерена снарядить небольшую эскадру для охраны русских грузов. Эта мера так не понравилась Великобритании, что она отклонила предложенное Н. И. Паниным посредничество в переговорах с Францией. Летом 1779 года в

войну против Англии вступила Испания, и Гаррис с еще большим усердием принялся осаждать русский кабинет, буквально навязывая союз, грозивший втянуть Петербург в чужой военный конфликт. Георг III писал русской императрице: «Сестра моя... Применение, даже частичная демонстрация морских сил, могли бы восстановить и укрепить спокойствие Европы, рассеять организовавшуюся против меня лигу и утвердить систему равновесия, которую эта лига стремится уничтожить»^[781]. Екатерина вновь уклонилась от британских предложений.

Создается впечатление, что в вопросе о вооруженном нейтралитете глухие разговаривали с немymi — обе стороны не слышали или не понимали друг друга. Англии достаточно было исключить русские корабли из числа конфискуемых, и Петербург не стал бы инициатором нейтральной Лиги. Но нет, министр иностранных дел лорд Саффолк повторял в парламенте, что никаких уступок не будет^[782]. В этом случае все разговоры о русской помощи выглядели нелепо. Возникает ощущение, что о помощи России просил король, а его министры делали все возможное, чтобы такая поддержка не была оказана.

В самом начале 1780 года русский корабль был задержан испанцами. Этот инцидент, внешне не имевший отношения к Англии, послужил поводом для провозглашения декларации, крайне невыгодной для Британии. Терпение Екатерины иссякло. 28 февраля она предложила нейтральным странам создать Лигу для вооруженной защиты своих судов. К России присоединились Голландия, Дания, Швеция, Пруссия. В 1781 году в Лигу вступила Австрия, в 1782-м — Португалия и в 1783-м — Королевство обеих Сицилий^[783].

Этот документ был важным шагом в развитии международного права. Екатерина выступила в своей любимой роли законодательницы. Влияние России на европейские дела заметно расширилось. Но... отношения с Англией были безнадежно испорчены. Как раз ко времени провозглашения Декларации британские войска в Америке начали одерживать верх над колонистами, сожгли ряд городов на Юге, заняли Южную Каролину и двинулись на Виргинию. Казалось, еще немного, и Британия одержит верх. Но вооруженный нейтралитет нанес сильный удар морскому владычеству Англии. По просьбе Б. Франклина французское правительство выделило повстанцам крупную субсидию, 26 линейных кораблей и несколько фрегатов привезли в Америку подкрепление.

С этого момента отношения России и Англии уже не могли стать прежними — такими, какими были в Первую русско-турецкую войну. Нет

документов, показывающих, что Потемкин возражал против декларации, но позднее в разговорах с британцами он не раз сожалел по поводу этой меры и пытался заверить, что все было сделано без его ведома. Почему? Князь слишком ясно видел угрозу новой войны с Турцией и всю свою политическую линию подчинял необходимости готовиться к неизбежному столкновению. Возможно, он полагал, что России выгоднее перетерпеть конфискацию грузов и не досаждать англичанам, дабы в случае нового конфликта на Юге иметь возможность воспользоваться их помощью.

«Более чем вероятно, что мы в то время будем иметь столько же основательных причин, чтобы отвергнуть союз с ними, сколько они теперь заявили пустых предлогов, чтобы не принять наших предложений, — писал еще в мае 1778 году раздраженный неудачами Гаррис. — Признаюсь, я желаю, чтобы это случилось»^[784]. К несчастью, так и произошло.

Потемкин предвидел пагубное для России развитие событий, поэтому постарался всеми мерами смягчить удар. В его интересах было заверить Гарриса, с одной стороны, в своей дружбе, а с другой — в противодействии Панина.

Посланник короля Пьемонта и Сардинии маркиз де Парело несколько наивно описывает противостояние между князем и Никитой Ивановичем:

«Гаррису, человеку ловкому, вкрадчивому, но не очень разборчивому в выборе средств, дано было поручение... стараться о том, чтобы Россия приняла сторону Англии. Как ловкий политик, пользуясь предпочтением, которое князь Потемкин всегда оказывал англичанам, он привязался к этому всемогущему временщику и успел приобрести его полное содействие... Влияние министра иностранных дел, графа Панина, несмотря на известную его честность, клонилось к упадку. Князь Потемкин, более чем когда-либо утвердившийся в силе, обольщенный или убежденный английским посланником, ...исходатайствовал ему частные и тайные аудиенции у государыни. ...Гаррис довел здесь свои происки до такой степени зрелости, что вооружался уже флот, и ежедневно ожидалось обнародование декларации здешнего двора в пользу Англии, и, наконец, Гаррисом был уже отправлен в Лондон ...курьер для сообщения этой утешительной вести.

...Панин был в халате и готовился лечь в постель, когда пришли объявить ему, что английский министр, пренебрегая им, отправил курьера по делу, ему еще не сообщенному, и с паспортом, выданным от князя Потемкина. При таком известии Панин оживился; он хватается за свой ночной колпак, бросает его на пол и, пылая негодованием, клянется, что выйдет в отставку, если не успеет расстроить эту скрытнейшую интригу.

Действительно, он с любимцем своим, г. Бакуниным затворяется в своем кабинете, где, соглашая, так сказать, общее состояние дел в Европе с известною страстью Екатерины II к славе и блестящим предприятиям, он составляет план вооруженного нейтралитета, который до такой степени понравился уму царицы, что спустя менее недели появилась по этому поводу знаменитая декларация 1780 года... Гаррис был жестоко обманут и уехал отсюда, исполненный негодования и злобы к русской нации. Граф Панин, довольный тем, что отмстил своим противникам, ...предался вновь беспечности, к которой он так склонен. Между тем князь Потемкин, столько же деятельный умом, сколько ленивый телом, добился того, что совершенно уничтожил то слабое влияние, которым еще пользовался его враг»^[785].

Парело приехал в Россию только в 1783 году и рассказывал о случившемся на основании дипломатических слухов. Хотя никакой эскадры в помощь Англии снаряжено не было, сардинец в целом верно описал ситуацию. Екатерина под влиянием Потемкина действительно сначала склонялась на сторону Британии, но потом восторжествовала линия на создание нейтральной Лиги. Примерно о том же поведал Гаррису подкупленный Сен-Жан. Дипломат задал ему вопросы, кому принадлежит мысль о декларации и искренен ли Потемкин в своем стремлении поддержать Англию? Информатор ответил:

«Декларация была собственным произведением императрицы. ... Сначала, по давнему своему расположению, она склонялась в нашу пользу; но вслед за тем внушения ее министров и лесть (французов. — О. Е.)... превозмогли ее предпочтения, и она, кажется, решила сохранить полный нейтралитет... Князь Потемкин искренен как в словах, так и в поступках; он не любит французов, раздражен против короля прусского... Однако он недостаточно усерден к делу Англии, ...и хотя противодействие графа Панина возбуждает его к деятельности, тем не менее он не употребит всего своего влияния в нашу пользу»^[786].

Старательно сглаживая впечатление от вооруженного нейтралитета, Потемкин приглашал Гарриса к себе на дачу, «ухаживал» за ним, в доверительных беседах создавал впечатление, что еще немного, и Россия поддержит Англию. Однако и с британской стороны требуется некоторая уступчивость. «Я провел часть прошлой недели в деревне князя Потемкина, в Финляндии, — доносил посол 21 августа. — С нами не было никого, кроме избранной части его семейства; и когда он не находился в их обществе, то вполне принадлежал мне. Я, имев случай окончательно

изучить его характер, дошел до убеждения, что ни с кем в целой империи он бы не говорил так свободно и откровенно, как со мной. Он сильно расположен быть нашим другом и никогда меня не обманывал... Он говорил, что иногда императрица, как казалось, совершенно решалась соединиться с нами, но что мысль навлечь на себя насмешки короля прусского и короля французского, а еще более того — опасение в случае неудачи потерять свою блестящую репутацию, удерживали ее и что под такими впечатлениями она гораздо охотнее слушала расслабляющие речи графа Панина, чем все, что он (Потемкин) мог ей сказать».

Лигу нейтральных стран Потемкин называл «дитя интриги и безумия» и намекал, что, как только ему удастся избавиться от помех, он воспользуется своим влиянием в пользу Англии. В настоящий момент князь, фактически полностью переориентировавший русскую внешнюю политику, прикидывался почти безвластным. «Когда дела идут спокойно, — говорил он Гаррису, — тогда мое влияние незначительно; но при первом встречающемся затруднении я ей делаюсь нужен, и влияние мое опять достигает самых больших размеров. Так будет скоро, и я, конечно, воспользуюсь обстоятельствами».

Потемкин пустил в ход все свое обаяние, с тем чтобы удержать видимость добрых отношений с Англией при самых неблагоприятных для британской стороны шагах, совершенных Екатериной. «Во все время он был в самом хорошем настроении, обнаруживая редкое смешение ума, непостоянства, учености и веселости, подобное которому мне еще не случалось встречать. Его образ жизни так же оригинален, как и его характер: у него нет определенных часов ни для пищи, ни для сна, и нам случалось кататься в открытом экипаже в полночь и под дождем. Это посещение... сильно беспокоит пруссаков и французов... Одна только дружба моя с ним предает мне такое значение в глазах моих врагов»^[787].

Посол пребывал в полном восторге от оказанного приема, а заключение союза все не сдвигалось с мертвой точки. Желая сделать Потемкина более «усердным к делу Англии», Гаррис еще в марте 1780 года предлагал своему кабинету подкупить князя. «Потрудитесь при этом помнить, — писал он в Лондон, — что мы имеем дело с лицом, обладающим огромными богатствами и знающим цену того, о чем идет речь, так что нам приходится удовлетворять не его нужду, а его личность». Однако личность Потемкина не была удовлетворена даже предложением Курляндии. Что же мог дать английский двор?

При крайнем ухудшении военной ситуации в конце 1780 года Британия оказалась готова пожертвовать в пользу России одной из своих

заморских территорий, лишь бы Петербург вмешался в конфликт. Гаррис явился с этим предложением к Потемкину и начал издали: «Если мы будем поставлены в неприятную необходимость делать уступки, не благоразумнее ли будет для равновесия в Европе сделать эти уступки нашим естественным друзьям скорее, чем нашим естественным врагам; может быть, такая мера побудила бы их к деятельности и прекратила бы борьбу, сделав ее более равной».

И тут произошла поразительная смена тона переговоров. Все заверения в дружбе и искренней симпатии к англичанам были оставлены. Князь спросил прямо: «Что можете вы уступить нам?»

«Я сказал ему, — доносил Гаррис, — что мы имеем обширные владения в Америке и Ост-Индии, может быть, что-нибудь из этого может понравиться императрице». Каким льстивым и смиренным стал посол, прежде позволявший себе бросать о Екатерине: «Расположение к чувственным удовольствиям доводит ее до крайностей, унижительных для женщины». Теперь распутной женщине была предоставлена возможность выковыривать жемчужины из британской короны.

Предварительно остановились на острове Минорке в Средиземном море. Попытки «сосватать» России какой-нибудь кусок американских колоний (вероятно, уже отвоеванных повстанцами) были отклонены Потемкиным. «Вы бы разорили нас, — сказал он, — дав нам отдаленные колонии. Вы видите, что корабли наши с трудом могут выйти из Балтийского моря; как же вы хотите, чтобы они переплыли Атлантический океан? Если уж вы даете нам что-нибудь, то пусть оно будет поближе к дому».

Напомним, что в это время уже осваивалась Аляска, и корабли под Андреевским флагом добирались до Америки с другой стороны. Прикидываясь, что русские — слабые мореходы, Потемкин тем не менее выторговывал у англичан базу для флота на Средиземном море. «Купите нашу дружбу, — сказал он Гаррису, — уступив меньше, чем, может быть, вам придется отдать вашим врагам при окончании войны».

Минорка могла сыграть важную роль в надвигающейся войне с Турцией. Поэтому князю так понравилась эта идея. «Он с живостью, свойственной его воображению, увлекся мыслью о русском флоте, стоящем в Магоне и населяющем остров греками. По мнению его, подобное приобретение было бы памятником славы императрицы, воздвигнутым посреди моря»^[788]. Гаррис склонял свое правительство к уступке: «Его величество найдет больше выгод... в приобретении великой и могущественной союзницы, чем во владении этим островом. Это сделало

бы нас необходимо нужными для нее и подало бы повод к вражде и зависти между Россией и Францией».

Екатерина не поверила в то, что Англия действительно уступит Минорку. «Невеста слишком хороша, меня хотят обмануть», — сказала она. Императрица прекрасно поняла, что, при всей выгодности приобретения, удержать Минору Россия сможет только с позволения англичан, а это сводило выгоды на нет. «Уступка Минорки будет вполне условна, — заверял свой кабинет Гаррис. — Если только не все условия будут соблюдены, уступка никогда не состоится»^[789]. Эта-то условность и не устроила русскую сторону. Не начавшись, переговоры уперлись в тупик. Россия при всех заверениях в дружбе не хотела вступать в войну, а Англия готова была говорить об оплате за помощь, но не платить в действительности.

Утверждение политики вооруженного нейтралитета было последним успехом Панина. Шаги Потемкина по сближению с Австрией показали, что влияние Никиты Ивановича безнадежно подорвано. Он не играл важной роли в переговорах с Веной, их вели Потемкин и Безбородко. Перед самым подписанием договора Никита Иванович заявил, что не хочет «пачкать руки» этим документом, и удалился в деревню^[790]. Когда в сентябре 1781 года он вернулся, Екатерина приказала ему сдать дела вице-президенту Коллегии иностранных дел И. А. Остерману, а Безбородко, пока лишь член коллегии, стал ближайшим советником императрицы в международных вопросах.

«Граница России — Черное Море»

18 мая 1781 года состоялся обмен писем между Иосифом и Екатериной о заключении союзного договора. Накануне возникли две записки императрицы Потемкину, проливающие свет на нелегкий процесс согласования позиций стороны. «Вчера, опасаясь, чтоб Панин не возвратил Кобенцелю, не присылая ко мне, его предложения, приказала ему и вице-канцлеру, чтоб они взяли мне на доношение то, что Кобенцель им предлагать будет и о чем император ко мне пишет»^[791], — сообщала Екатерина. В письме 1 января Иосиф II просил императрицу указать условия, при которых Австрия и Россия взаимно гарантировали бы друг другу целостность территорий обеих держав^[792].

Екатерина желала включить, в договор пункт о гарантиях тех

завоеваний, которые Россия могла бы сделать в недалеком будущем. Австрийская сторона не хотела идти на это, так как тем самым нарушался важный дипломатический принцип «взаимности». В ответ Потемкин передал Кобенцелю, что Россия готова гарантировать Австрии все завоевания, исключая Польшу и Германию. Однако такая постановка вопроса не могла устроить Иосифа II, поскольку для него было желательно вернуть австрийские земли, отнятые Пруссией^[793]. На этапе подготовки документов к переговорам были допущены первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел Н. И. Панин и вице-канцлер И. А. Остерман. Никита Иванович всячески стремился задержать процесс обмена бумагами, возвращая их Кобенцелю, даже не показав императрице.

При согласовании формы договорной грамоты встретились непреодолимые препятствия. Петербург настаивал на соблюдении правила об «альтернативе», в силу которого в двух экземплярах документа подписи сторон чередовались. Это означало признание протокольного равенства двух держав. Однако Вена не соглашалась пойти на подобную уступку. 800-летняя империя не могла поставить себя в равное положение со страной, за государями которой императорский титул был признан лишь недавно. Заносчивость австрийцев оскорбляла Екатерину. «Кобенцель буде тебе говорить будет, так как он заговаривал, что между императором и российской императрицей альтернативы быть не может, — писала она Потемкину, — то прошу сказать, чтоб он отстал от подобной пустоши, которая неминуемо дело остановит, что мое правило суть: никому место не отнимать, и никому не уступать»^[794].

В немецкой литературе, мнение которой разделял А. Г. Брикнер, принято считать, что именно Иосиф II предложил вместо формальной редакции договорной грамоты обменяться двумя письмами тождественного содержания, которые имели бы силу официально заключенного договора^[795]. На самом деле выход из затруднительного положения был найден императрицей. «Мне желательно знать, что у Кобенцеля в мешке, и когда тот опустеет? — писала раздраженная Екатерина. — Мне пришла мысль, которая может помочь всему; а именно, ...каждый государь издал бы письменно экземпляр договора и чтобы он начал его так: Я или Мы, Божию милостью, обещаем дать нашему дорогому брату — сестре это или то, смотря по содержанию статей, о которых будут соглашаться, а каждый подпишется, и его подписи будут обменены»^[796].

Именно такой обмен подписей и произошел 18 мая 1781 года. Ни одна из сторон не могла считать себя униженной. Вскоре Екатерина и Иосиф

оговорили в письмах артикул договора о взаимной помощи в борьбе с Портой^[797].

Новая критическая ситуация в Крыму не заставила себя долго ждать. В мае 1782 года турецкая партия избрала ханом брата Шагин-Гирея — Батыр-Гирея и обратилась к Порте за помощью. Низложенный хан бежал из Кафы на русском корабле в Керчь^[798]. Потемкин, находившийся в это время в Херсоне и занятый размещением полков по границе, писал Екатерине: «Из последних посланника Булгакова депешей видно, как *турки* тонко хитрят. Сверх неминуемого и всегдашнего подстрекания татар против России нынешняя посылка двух-бунчужного паши в окрестности Тамана их намерения открывает. Рассказывая рейс-ефенди Булгакову жалобы от татар на хана, ...утаил главное, что их тревожит, а именно привязанность хана к персоне Вашей и что наивяще ознаменовало его русским, сего также не сказал, что хан принял чин военной в гвардии. Их намерение было его умертвить, что теперь не удалось, но умысел навеки остался, то хотя бы татары и покорились, но как хану у них жить без охранения? Случай же ввести в Крым войска теперь настoit, чего и мешкать не надобно. Преданный Вам союзник и самовластный государь своей земли требует Вашей защиты к усмирению бунтующих... Итак, повелите хану из Керчи переехать в Петровскую крепость, откуда с полками, поблизости находящимися, вступит он в Перекоп, где и возьмет свое пребывание. Те ж войска останутся в Крыму, доколе нужно будет. Я Вас уверить могу, что татар большое число, увидя войска, отопрутся от просьбы, Порте вознесенной, и вину всю возложат на начальников возмущения»^[799].

Екатерина отвечала 3 июня 1782 года: «Теперь нужно обещанную защиту дать хану, свои границы и его, нашего друга, охранить. Все сие мы б с тобою с полчаса положили на меры, а теперь не знаю, где тебя найти и прошу поспешить своим приездом, ибо ничего так не опасаюсь, как что-нибудь проронить или оплошать»^[800]. В рескрипте на имя Потемкина императрица передала ему полную власть «сделать все потребные распоряжения, кои были бы достаточны к защищению хана Шагин-Гирея и к приведению нами в повиновение ему татарских народов»^[801]. В подлиннике этого документа осторожная императрица не проставила число: «Дан в Царском Селе июня дня 1782 года», — предоставляя князю самому действовать по обстоятельствам.

Получив необходимые для принятия решительных мер документы, Потемкин не стал торопиться в Петербург. Ситуация в Крыму и на Тамани складывалась крайне опасная, возможно, было прямое военное

столкновение с Турцией, уже направившей своих эмиссаров к ногайцам и обещавшей вооруженную помощь мятежникам. Светлейший князь предпочел задержаться в Херсоне. «Хотя не люблю, когда ты не у меня возле бока, барин мой дорогой, — писала императрица, — но признаться я должна, что четырехнедельное пребывание твое в Херсоне, конечно важную пользу в себе заключает»^[802].

В начале августа Потемкин вернулся из Крыма. Для петербургской «публики» его приезд был связан с желанием принять участие в открытии знаменитого памятника Петру Великому работы Фальконе^[803]. Однако после торжества, состоявшегося 7 августа, князь остался в столице еще на месяц. Его удерживала работа над документами, касавшимися секретного артикула русско-австрийского соглашения.

В переписке между Екатериной и Иосифом II оба монарха не раз касались вопроса о возможном разделе Турции. Императрица жаловалась на беспорядки в Крыму, подстрекаемые из Константинополя, а австрийский корреспондент изъявил готовность содействовать прекращению этих смут, прося Екатерину точнее определить свои желания^[804].

Наконец, 10 сентября 1782 года из Петербурга в Вену было направлено пространное письмо императрицы, в котором она говорила о вероятности разрыва с Турцией, о необходимости заранее определить план похода и приобретения обеих сторон в случае успеха. При этом Екатерина подчеркивала, что именно Оттоманская Порта, уже начавшая подготовку к войне, должна выступить нападающей стороной. После раздела турецких земель Россия хотела получить город Очаков с областью между Бугом и Днестром, а также один или два острова в Архипелаге Средиземного моря для безопасности и удобства торговли. Австрии предоставлялась возможность присоединить несколько провинций на Дунае и ряд островов в Средиземном море. «Я думаю, что при тесном союзе между нашими государствами почти все можно осуществить»^[805], — заканчивала свое послание Екатерина.

Сохранились документы, проливающие свет на тщательный процесс подготовки сотрудниками императрицы текста этого письма. Первоначальный вариант его был составлен по-русски и записан А. А. Безбородко в правой колонке разделенного надвое листа. Затем бумага поступила к Потемкину, который сделал в левой, более широкой графе пространные пометы, обращенные к Екатерине, и многочисленные исправления черными чернилами прямо в карандашном тексте Безбородко^[806].

Пометы светлейшего князя касались как содержания документа, так и внешнеполитической обстановки вообще. Они придавали тексту неуловимую приватность, выраженную в особом, доверительном стиле и колких замечаниях Григория Александровича. Так, напротив слов Безбородко, что Россия добивается «покоя Европы», князь проставил: «Разве мы спать кому помешали?»; а напротив предположения, что «действия обоих дворов могут возбудить зависть у соседей», — фразу: «Зависть во всех есть, но, слава Богу, кроме французов никто не решается и те только шиканом». Шиканство — мелкая пакость, по терминологии XVIII века.

«Одним словом сказать, что турки не перестают всячески доказывать нам, сколь велико желание их разорвать мир, и что недостает им только сил и случая, чтоб обратить в ничто все, что мы приобрели войною. Страшно им мореплавание наше на Черном море; для того они начинают ворошиться, что видят херсонский флот готовым быть, — писал князь в обращении к Екатерине. — Для чего им хан не по мысли, для того, что он Порте не предан и что он не согласится промолчать, если б турки в Крыму хотели усилиться. Что же касается до коммерции, в сем пункте держат нас за руки французы, ибо, имея весь левантский торг за собою, боятся из рук выпустить и их намерение двойное, или утеснять нашу торговлю, или прибрать учреждением своих контор в Херсоне в свои руки. Сие все делается для того, чтоб мы, не найдя барышей, отстали. Умысел явной, чтоб, трактуя о сем деле, возмущение против хана сделать»^[807].

Далее князь рассматривал возможное изменение международной ситуации в случае начала русско-турецкого конфликта. Он предполагал, что Франция ограничится одним подстрекательством и дипломатическими демаршами. На слова Безбородко, что Швеция «не может озаботить нас сильным образом», Григорий Александрович отвечал: «Не может, потому что сия земля в таком положении, что проигранная одна баталия решает судьбу ее». Предположение, что прусский король «может озаботить нас ненавистью к союзнику нашему», то есть действиями против Австрии, казалось ему маловероятным. «Король прусский, может быть, Данциг захватит или шведскую Померанию», — отвечал князь. Зато весьма важным делом Потемкин считал приобретение содействия Польши, на что в первоначальном тексте документа не обращалось внимания. «Справедливость требует по увенчании предприятий Ваших, — обращается князь к Екатерине, — уделить и Польше, а именно землю, лежащую между рек Днестра и Буга»^[808].

Важно отметить, что за пять лет до начала войны Потемкин правильно предсказал действия различных стран. Только Швеция, где положение Густава на престоле укрепилось, внесла заметные изменения в картину.

Черновой вариант документа, который готовили Потемкин и Безбородко, показывает, что любые упоминания о Крыме были исключены по настоянию князя. «Россия отрицается для себя от всякого приобретения кроме: 1) города Очакова с его уездом; 2) островов в Архипелаге», — писал Безбородко. «И так достанется, для того и должно о Крыме ни слова не говорить, — отвечал Григорий Александрович, — а резон для чего изволите усмотреть в особой записке. Сказать просто: границы России — Черное море»^[809].

Упомянутая Григорием Александровичем «особая записка» была вложена в предыдущий документ и представляет собой его прямое продолжение. Это и есть знаменитая записка «О Крыме». В ней Потемкин сначала как бы договаривает свои мысли о крымском хане Шагин-Гирее, не поместившиеся на черновом проекте Безбородко, а уж потом обращается к главному вопросу, который занимал его мысли.

«Требовать именно от Порты, чтоб Порта Оттоманская не вступала в дела татарския и отнюдь не препятствовала России в усмирении бунтовщиков...

Не кстати заставлять цесарцов говорить об уступке через посobie Порты нам гавани Ахтиарской, ибо сие наделает больше там подозрения, нежели пользы, и мы вящее только подадим прежде время подозрение. К тому же не надлежит турков вмешивать в дела, хану принадлежащие, чтобы они и мыслить не могли быть господами в татарском имении».

Далее Потемкин переходит к основной проблеме, ради которой он написал Екатерине «особую записку». «Я все, все милостивейшая Государыня, напоминаю о делах, как они есть... Если же не захватить ныне, то будет время, когда все то, что ныне получили даром, станем доставать дорогою ценою. Извольте рассмотреть следующее.

Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турками по Бугу или с стороны Кубанской, в обеих сих случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен. Для того, что он не допускает их чрез Крым входить к нам, так сказать, в сердце.

Положите и теперь, что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу. Вот вдруг положение границ прекрасное. По Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубани сверх

частых крепостей, снабженных войском, многочисленное Войско Донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несомнительна, мореплавание по Черному морю свободное, а то извольте рассуждать, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее.

...Всемиловейшая Государыня, неограниченное мое усердие к Вам заставляет меня говорить. Презирайте зависть, которая Вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвышать славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел. Франция взяла Корсику. Цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собою Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставить.

Удар сильный, да кому? Туркам. Сие Вас еще больше обязывает. Поверьте, что Вы сим приобретением бессмертную славу получите и такую, какую ни один государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще другой большей славе. С Крымом достанете и господство в Черном море. От Вас зависеть будет, запираť ход туркам и кормить их или морить с голоду.

Хану пожалуйте в Персии что хотите, он будет рад. Вам он Крым поднесет нынешнюю зиму, и жители охотно принесут о сем просьбу.

Сколько славно приобретение, столько Вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот она могла да не хотела или упустила.

Если твоя держава — кротость, то нужен и России рай. Таврический Херсон! Из тебя истекло к нам благочестие. Смотри, как Екатерина Вторая паки вносит в тебя кротость христианского правления»^[810].

15 сентября Потемкин вновь покинул столицу и оставался на Юге до восстановления спокойствия в Крыму. Лишь к концу октября 1782 года князь вернулся в Петербург. В. С. Лопатин считает, что свой меморандум о необходимости присоединения Крыма к России Григорий Александрович обдумывал по дороге в Северную столицу после окончания бунта 1782 года^[811], то есть в октябре. Однако в действительности записка о Крыме представляет собой приложение, входящее в черновик письма Иосифу II 10 сентября, она не могла возникнуть позднее этой даты. Возможно, Потемкин и обдумывал свой меморандум по дороге из Херсона в Петербург, но не в октябре, а в августе, еще до начала усмирения мятежников.

В ордере генерал-поручику графу А. Б. де Бальмену от 27 сентября князь подчеркивал: «Вступая в Крым, ...обращайтесь, впрочем, с жителями

ласково, наказывая оружием, когда нужда дойдет, сонмища упорных, но не касайтесь казнями частных людей. Казни же пусть хан производит своими... Если б паче чаяния жители отозвались, что они лучше желают войти в подданство ее императорского величества, то отвечайте, что Вы, кроме вспомоществования хану, другим ничем не уполномочены, однако ж мне о таком происшествии донесите. Я буду ожидать от Вас частного уведомления... о мыслях и движении народном, о приласкании которого паки подтверждаю»^[812]. В этом документе уже заметно стремление Потемкина получить просьбу жителей ханства о переходе в русское подданство. В записке о Крыме звучит та же мысль.

К октябрю 1782 года относятся два других документа, посвященные Крыму. Они составлены в развитие идей сентябрьской записки Потемкина. Вероятно, Екатерина, заинтересовавшись ею, попросила князя подать свои предложения, оформленные уже в отдельном документе. «Татарское гнездо в сем полуострове от давних времен есть причиною войны, беспокойств, разорений границ наших, издержек несносных, которые уже в царствование Вашего величества перешли только для сего места более двенадцати миллионов, включая людей, коих цену положить трудно... — говорил Потемкин в собственноручной записке. — Порта знает уже Ваши виды, о коих с императором соглашались... При всяком в Крыму замешательстве должно нам полное делать против самой Порты приуготовление... Представьте же сие место в своих руках. Границе не будет разорвана между двух веков с нами враждебных соседств еще третьим. Сколько произтечет от того выгодностей: спокойствие жителей, господство непрекословное Черным морем, соединение империи, ... непрерывная граница всегда союзных нам народов между обоих морей. Устье Дуная будет в Вашей воле. Не Вы от турков станете иметь дозволение ходить Воспор (в Босфор. — О. Е.), но они будут просить о выпуске судов их из Дуная. Доходы сего полуострова в руках ваших возвысятся — одна соль уже важной артикул, а что хлеб и вино!»^[813].

Второй документ под названием «Рассуждение одного российского патриота о бывших с татарами войнах и о способах, служащих к прекращению оных навсегда» был написан рукой секретаря и до революции хранился в Тавельском архиве Василия Степановича Попова, начальника канцелярии Потемкина. Ныне утрачен. Он был посвящен тем мерам, которые петербургскому кабинету необходимо принять, уже после присоединения Крыма. Светлейший князь предлагал «оставить там на вечное поселение для защиты... 20 000 пехоты и 10 000 конницы. Всех

оставшихся в Крыму солдат и драгун поженить, чтоб со временем их сыновья отцовские места заступили.

Для населения Крыма природными российскими людьми надлежит взять из государственных волостей и монастырских деревень в число рекрут на первый случай 10 000 человек хлебопашцев и поселить их в Крыму во удобных местах, но чтоб для них дома и все, что нужно к тому, уже к приходу их готово было, и обучить оных хотя несколько ружьем владеть... И быть бы им навсегда военными государственными крестьянами...

Живущим в Крыму татарам объявить, что которые из них пожелают быть в вечном российском подданстве, те могут остаться на прежних своих жилищах, а прочим дать на волю выехать вон из Крыма и переселиться, куда кто пожелает... Спросить вольницу из донских казаков и из малороссиян, кто в Крыму жить пожелает... Дозволить селиться в Крыму прочим вольным христианам: грекам, армянам, валахам и булгарам... Крым назвать прежним его именем»^[814]. Этот документ в сжатом виде излагал программу Потемкина по заселению Тавриды. Он показывает, что основные черты переселенческой политики были разработаны князем еще до присоединения Крыма.

Соседство тюрбанов и шляп

Отправившись в Крым 15 сентября, Григорий Александрович подробно извещал императрицу обо всем, происходившем там. В разгар волнений, когда мятежники остро нуждались в помощи Турции, внимание Константинополя к делам бывшего вассала неожиданно ослабело. 19 сентября Екатерина писала Потемкину о страшном пожаре, произошедшем в турецкой столице: «Из Царяграда получила я от Булгакова вести, что весь город выгорел и горел 55 часов, казармы янычарские, все судебные места и многие мечети выгорели; людей же тысяч до четырех сгорело, а несколько сот тысяч погорело; ожидали от сумятицы бунта... Чернь злится на нас и нас клеймит поджиганием города, и улемы вранья подкрепляют; в городе же в хлебе оказывается скудость, от мельниц и пекарен мало что осталось»^[815]. 1 сентября 1782 года русский посол Я. И. Булгаков доносил из Константинополя: «Опасаются бунта. Султан боится дозволить вывозить лес в такое время, когда тысячные толпы спят на открытом воздухе, не имея ни домов, ни надежды оных к зиме построить»^[816].

Угроза волнений в столице заставила турецкое правительство избегать столкновения с Россией, чтобы еще больше не усугубить тяжелую ситуацию. В письме 25 сентября Екатерина рассуждала об изменении поведения Порты. «Удивительнее всего, — говорит она, — что посреди сумятицы тамошней после пожара спешили уплачивать деньги, кои нам должны, и сие приписую трусости»^[817]. В цитиrowавшемся выше донесении Булгакова 1 сентября посол пишет: «Все меня уверяют, что здесь войны боятся, и в одном только случае сумасшествие дойти может до сей крайности, а именно ежели народ и чернь взбунтуется. Тогда султан рад будет всему свету войну объявить, лишь бы оставили его наслаждаться спокойною жизнью сераля. Ежели же его свергнут, молодой наследник, ничего не знающий и упоенный рассказами о величестве, богатстве и силе империи, которая, в самом деле, бедна, бессильна и уподлена, вовлечен будет во все то, что пожелает чернь или духовенство; а сии ничего не предвидят и, кроме фанатизма и зверского варварства, ничем не управляют. Разумные же люди, кои знают, что все расстроено и все вдруг вспыхнуть может... больше всего боятся, чтоб татары, бегущие из Крыма, толпою сюда не нахлынули»^[818].

Находясь в Херсоне, Потемкин деятельно занимался осмотром и подготовкой укреплений. Его интересовал Очаков как первый пункт возможного столкновения между Россией и Турцией. Французские инженеры, работавшие над перестройкой турецких крепостей, еще не успели к 1782 году значительно укрепить главную черноморскую твердыню Порты. «Не блестящее описание состояния Очакова, которое ты из Кинбурна усмотрел, совершенно соответствует попечению той империи об общем и частном добре, — писала Екатерина 30 сентября. — Как сему городишку нас подымать против молодого херсонского колосса! С удовольствием планы нового укрепления Кинбурна приму и выполнение оных готова подкрепить всякими способами. Петр Первый, принуждая натуру в Балтических своих заведениях и строениях, имел более препятствий, нежели мы в Херсоне; но буде бы он оных не завел, то мы б многих лишились способностей, кои употребили для самого Херсона».

Императрица была явно воодушевлена успехами строительства на Юге и даже называла маленький, но быстро развивавшийся Херсон, «Колоссом». Ее вдохновляла мысль о продолжении дела, начатого еще Петром Великим. Даже мятежники, возглавляемые братьями хана, не слишком беспокоили Екатерину. «Батыр-Гирей и Арслан-Гирей исчезнут, яко воск от лица огня... от добрых твоих распоряжений», — писала она

князю. Зато императрицу радовало стремление мирно кочующих татарских орд спастись от ужасов войны под стенами русских крепостей. Именно такого настроения жителей добивался Потемкин, приказывая де Бальмену обходиться с населением «ласково».

«Что татары подгоняют свой скот под наши крепости, смею сказать, что я первая была, которая сие видела с удовольствием и их к тому еще до войны поощряла, — пишет Екатерина, — всегда предписанием ласкового обхождения и не препятствуя как в старину дельвали».

При всем воодушевлении императрица все же весьма настороженно относилась к утверждениям, будто разрыва с Турцией уже удалось избежать. «Здесь говорят, что турки до войны не допустят, — рассуждает она, — а я говорю: но это возможно. Кажется, по последним известиям, что носы осунулись у них; курьер рассказывает, что по всей дороге нет ни единого города, ни единого замка, который бы не заперт был по причине внутренних конвульсий каждого из тех городов и замков»^[819].

22 сентября Потемкин встретился с ханом Шагин-Гиреем и вручил ему личное послание императрицы, в котором Екатерина сообщала союзнику о решении ввести русские войска в Крым и восстановить его на престоле^[820]. Хан произвел на светлейшего князя впечатление напуганного и подавленного человека, казалось, что его участь предрешена, он был уже неволен в своих действиях. «Из писем твоих, друг мой сердечный, от 25 и 26-го числа, я усмотрю твое свидание с ханом и пустой его страх, — писала Екатерина 8 октября. — Пуганая ворона куста боится, татары об нас судят по тем правилам, по которым приобыкли судить о турецких распоряжениях, и для того нам подножием служат ныне»^[821].

К концу октября спокойствие в Крыму было восстановлено. Боясь мести Шагин-Гирея, многие мурзы, участвовавшие «в разврате», кинулись к уполномоченным светлейшего князя просить о защите. «Хану никто бы не приклонился без русских войск»^[822], — доносил русский дипломатический агент Я. Рудзевич. Как и предполагал Потемкин, Шагин-Гирей после подавления мятежа начал широкие казни виновных. Лишь вмешательство России спасло жизнь родным братьям хана — Батыр-Гирею и Арслан-Гирею^[823].

Обстановка в Крыму оставалась накаленной и в любой момент грозила новыми волнениями. Русская партия среди татарских вельмож, поддерживаемая Потемкиным, предложила князю понудить хана к отречению от престола и организовать со стороны жителей Крыма просьбу о принятии их в русское подданство^[824]. Сложилась ситуация, о

неизбежности которой наш герой говорил Екатерине в записке «О Крыме».

14 декабря 1782 года императрица подписала секретный рескрипт о необходимости присоединить Крым к России «при первом к тому поводе». Он предписывал Григорию Александровичу «в случае мирного поведения Турции, ограничиться вперед до времени овладением Ахтиарской гавани»^[825]. Небольшая татарская деревенька по соседству с великолепной бухтой была избрана для основания военного порта, который в 1784 году получил название Севастополь.

Накануне возникла записка Екатерины князю о тайной корреспонденции Шагин-Гирея с турецкими чиновниками. Предвидя скорое падение, хан искал помощи у вчерашних врагов. Несмотря на уверение Порты в миролюбии, Стамбул был не прочь заручиться союзом с Шагин-Гиреем и получить повод вновь вмешиваться в дела Крыма. «Письмо к хану доказывает весьма твои предсказания, — замечала Екатерина. — Настал наиболее удачный момент, чтобы осмелиться и для того надлежит начать занятием Ахтиарской гавани»^[826].

20 января Потемкин приказал де Бальмену занять берега Ахтияра, а вице-адмиралу Ф. А. Клокачеву собрать все русские суда, имеющиеся в Азовском и Черном морях и с началом навигации войти в бухту^[827]. Первый шаг к присоединению Крыма был сделан.

Зимой 1782/83 года, когда Россия тайно готовилась к присоединению Крыма, Екатерина продолжала переписку с Иосифом II о разделе турецких земель. Потемкин принимал деятельное участие в работе над текстами посланий. Получив письмо 10 сентября, австрийский император промедлил с ответом несколько недель, ссылаясь на болезнь. Венскому кабинету потребовалось более месяца, чтобы обдумать предложения Петербурга и выдвинуть собственный проект. Наконец, 13 ноября Иосиф II направил корреспондентке обширное послание. По его словам, Австрия готова была принять участие в разделе Порты, но главное препятствие состояло в противодействии Пруссии и «Бурбонских дворов» (то есть Франции, Испании и Королевства обеих Сицилии). Присоединение к России Очакова с небольшой областью не могло, как предполагал Иосиф, встретить серьезных затруднений. Однако образование государства Дакия и возведение на греческий престол великого князя Константина зависело только от успехов предполагаемой войны. Иосиф подчеркивал, что Австрия не станет возражать против этих намерений союзницы, если Россия поможет ей приобрести земли на Балканах.

Священная Римская империя желала получить город Хотин с

областью, прикрывающей Галицию и Буковину; часть Валахии, которую огибает река Алута (ныне Олт); город Никополь, от него оба берега вверх по Дунаю с городами Видин, Оршова и Белград, для прикрытия Венгрии; Боснию, Черногорию, часть Сербии и Албании по линии от Белграда до Адриатического моря, включая Дринский залив. Кроме того, к Австрийской монархии должны были отойти все владения венецианцев «на твердой земле и на море» с прилегающими островами. Венецианцев же император предлагал вознаградить полуостровом Морея (ныне Пелопоннес), а также островами Кандия и Кипр. Нейтрализация Франции требовала, по мнению Иосифа, уступки Египта, что касается Пруссии, то против нее следует действовать военными средствами^[828].

В течение всего декабря петербургский кабинет подготавливал текст ответа. Только 4 января окончательный вариант был одобрен императрицей. Не позднее этой даты могла возникнуть записка Потемкина, посвященная письму Иосифа II от 13 ноября. «Ежели император обратит на турков сорок тысяч, сего будет довольно, — писал князь. — Пусть он вспомнит, с чем мы воевали за Тамань. Отделением много еще у него останется против прусского короля. Что касается до Франции, и тут его пристрастие видно, а еще больше, сколько Кауниц в нем силен. Против бурбонских дворов флот Ваш да английской больше нежели достаточен и без уступки Египта. Что берет он в Валахии, это точно то, что Вы назначили. Хотин уступить можно, ибо он уже почти вокруг обрезан. Венецианские земли могут быть его, но без замены Морей и Кандии, а то, что ж останется Греческой империи? При всем, что сказано, весьма осторожно смотреть надобно, чтоб Кауниц с французами, открыв о сем деле, не оборотили тем дела, чтоб через них (австрийцев. — О. Е.) утушить татарские беспокойства, а за сие от Порты получить часть Молдавии к Сырете реке, на которую они целят очень. Но если они сие возьмут, умолчите им, да возьмите Крым. Прусский король — человек сговорчивый, ему дать Данциг и шведскую Померанию в случае большой нужды. Вот, матушка, что бурбонцы для твоих и империи успехов, к твоей славе идущих! Не видно ли ясно, что им благосостояние Малой России или турков со шведами?»^[829].

Потемкин верно угадал, кто является его оппонентом с австрийской стороны. Так же как Григорий Александрович подготавливал материалы для писем Екатерины, в Вене Кауниц работал над черновиками посланий императора^[830]. В этой ситуации светлейший князь и австрийский канцлер выполняли сходную функцию по отношению к своим государям, как бы

«суфлируя» их эпистолярный диалог.

Князь и Кауниц по-разному смотрели на противников и партнеров в борьбе с Портой. Упоминание о совместных действиях русского и английского флотов показывает, что Григорий Александрович продолжал выступать сторонником сближения с Англией и надеялся привлечь лондонский кабинет участием в разделе турецких земель. На Пруссию светлейший предлагал воздействовать не военной силой, а уступками за счет Польши и Швеции.

При всей общности конечных стратегических целей России и Австрии на Балканах существовала значительная разница тактических выгод обеих сторон, заставлявшая их тяготеть к своим старым политическим партнерам. Наиболее глубокое противоречие вскрылось во второстепенном на первый взгляд вопросе о владениях венецианцев. Россия не могла согласиться на уступку им Пелопоннеса с прилежащими островами, так как это перечеркивало идею воссоздания Греческой империи. Для Австрии же все земельные приобретения не имели смысла без вытеснения венецианцев с берегов Адриатики.

Окончательная редакция письма Екатерины 4 января 1783 года включала развернутое возражение по вопросу о венецианских землях. Императрица считала, что расположение Венецианской республики в пользу России и Австрии, в случае войны с Турцией, является слишком важным условием успеха, чтобы лишить ее владений. Кроме того, императрица предполагает включить в будущую греческую монархию значительную территорию, охватывающую Морею и Архипелаг. Остальные приобретения Австрии, по мнению Екатерины, не могут встретить никаких возражений^[831].

Ответ Петербурга вызвал сильное негодование в Вене, так как Екатерина, словно нарочно, отказала союзнику в получении наиболее желанных выгод. Иосиф с возмущением сказал Кауницу, что императрица ведет двойную игру, желая его обмануть. Австрийский корреспондент точно забыл, что в предыдущем письме он сам отказал России во всех притязаниях, кроме Очакова с областью. Бросается в глаза несоответствие между смелыми, широкими проектами союзников и теми скромными приобретениями, которые они соглашались позволить друг другу сделать в реальности. Иосиф II обиделся на Екатерину именно за то, что она как в зеркале повторяла его позицию. Кауницу с трудом удалось придать ответному посланию учтивый тон. Однако суть письма должна была разочаровать Россию. Император заявлял, что Турция не хочет разрыва и

склонна к уступкам, поэтому не следует думать о войне^[832].

Так, уже в процессе консультационного диалога обе стороны, стараясь как можно глубже проникнуть в планы друг друга, начали ставить препятствия их осуществлению. Когда же позиции России и Австрии четко обозначились, петербургский и венский кабинеты неожиданно свернули разработку совместного проекта. На несколько недель обмен письмами прекратился, однако предсказываемого Фридрихом II разрыва не произошло. Берлинский двор надеялся, что в случае раздела Турции интересы России и Австрии придут в столкновение^[833]. Но собирались ли союзники позволить друг другу захват турецких земель? Если да, то почему подготовка присоединения Крыма, которая могла считаться первым шагом на пути осуществления намеченных планов, проводилась Россией в глубокой тайне от Австрии?

В своей записке Потемкин предостерегал Екатерину против намерения Кауница, действуя вместе с французским кабинетом, попытаться «утушить татарские беспокойства», чтобы получить в награду за эту услугу часть Молдавии по реку Сырет. Создается впечатление, что союзники были настроены скорее препятствовать друг другу в приобретении новых земель. Фридрих II подозревал, что Австрия предпочтет слабого соседа — Турцию сильному — России. А сам Иосиф во время второго визита к союзнице признался французскому послу Луи де Сегюру, что Австрия не будет больше терпеть русскую экспансию, особенно оккупацию Константинополя, поскольку всегда считала «соседство тюрбанов менее опасным, чем соседство шляп»^[834].

ГЛАВА 9

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА

Пока Екатерина занимала австрийского корреспондента обсуждением головокружительных планов вытеснения Порты из Европы и создания новых империй, ее сотрудники продолжали методичную подготовку к присоединению Крыма. Почти одновременно с работой над текстом послания Иосифу II от 4 января Потемкин написал Екатерине записку о посылке русского флота в Архипелаг Средиземного моря.

Экспедиция к берегам Адриатики рассматривалась князем как способ отвлечь турок от немногочисленной черноморской эскадры, которая по приказу 20 января должна была войти в Ахтиярскую гавань. «Отправление флота в Архипелаг (если будет с турками ныне война) последует не ради завоеваний на сухом берегу, но для разделения морских сил, — писал Потемкин. — Удержав их флот присутствием нашего, всю мы будем иметь свободу на Черном море. А если бы что турки туда и отделили, то уже будет по нашим силам... Главный вид для флота Вашего величества — притеснять сообщение по морю туркам с их островами и Египтом, и через то лишить их помощи в съестных припасах. Притом все целить пройти Дарданеллы, что и несумнительно при благополучном ветре. Препятствовать турки захотят, тут они обязаны будут дать баталию морскую, чего нам и желать должно. Но чтоб Дарданеллы форсировать с сухого пути, на сие нужна армия, ибо у турок достанет сил обороняться. Притом мы видели в прошедшую войну, что они и тремястами человек гоняли наши большие десанты. Какая же разница флоту действовать единственно на водах? Число пятнадцати кораблей уже несумнительно превосходит силу морскую турецкую. К тому числу почтенному сколько пристанет каперов, обеспокоивающих везде их транспорты, а искусный и предприимчивый адмирал, верно, выждет способ пролететь Дарданеллы... Нужен испытанный в предприимчивости и знании адмирал. Нигде столько успехи от маневра и стратегии не зависят как на море, а сих вещей без практики большой знать нельзя, а вашему величеству известна практика наших морских... Что бы мешало секретнейшим образом соединить эскадры, кои теперь в походе, и послать под видом прикрытия торговли в Архипелаг, пока турки еще не готовы пройти в Черное море?»^[835]

Из записки Потемкина видно, что завоевания «на сухом пути» в районе Архипелага и проливов (то есть именно на тех землях, которые по проекту, представленному Австрии, должны были входить в Греческую империю) светлейший князь считал невозможными. Он реально оценивал скромные способности русских десантов и скептически смотрел на уровень подготовки морских офицеров, почти лишенных практики. Поэтому цели, поставленные перед экспедицией, Григорий Александрович соразмерял «по нашим силам».

Обращает на себя внимание высокая оценка сухопутных частей турецкой армии, которые во время войны 1768–1774 годов «тремястами человек» «гоняли» крупные русские десанты. Потемкин, не смущаясь, напоминает императрице эту неприятную подробность. Характеристика, данная им противнику в записке Екатерине, резко отличается от известной по мемуарам Луи де Сегюра: «Изнеженные, развращенные турки могут убивать, грабить, но не могут сражаться. Для победы над ними не нужно даже много искусства. В продолжение сорока лет в каждую войну они впадают в те же ошибки и терпят постоянный урон... Пятисоттысячное войско стремится, как река, выступившая из берегов. Мы идем на них с армиею в 40 или 50 тысяч человек... Несколько отчаянных, разгоряченных опиумом, бросаются на наши пушки, рубят их и падают под нашими штыками. Когда эти погибли, прочие пускаются бежать».

Мнимая легкость борьбы с турками специально подчеркивалась Потемкиным в беседе с французским дипломатом, поскольку князь старался убедить Сегюра в необходимости изменить политику Версаля в отношении Порты. «Вы хотите поддерживать государство, готовое к падению, громаду, близкую к расстройству, — говорил Григорий Александрович. — ...Согласитесь, что турки — бич человечества. Если бы три или четыре сильные державы соединились, то было бы весьма легко отбросить этих варваров в Азию и освободить от этой язвы Египет, Архипелаг, Грецию и всю Европу. Не правда ли, что такой подвиг был бы и справедливым, и религиозным, и нравственным, и геройским подвигом?»^[836].

Перед Екатериной у Потемкина не было необходимости преуменьшать силу турецкой армии, оба корреспондента понимали, что в случае войны русским войскам придется встретиться с серьезным противником.

Столь же сильно наших героев заботила в тот момент ситуация, которая могла сложиться в Европе из-за активных действий России на Юге. В пространной записке светлейший князь очертил план, который необходимо было принять для сохранения в безопасности границ империи

от Балтики до Буга и Кубани.

«До дальней нужды не посылать более к шведским границам, как один корволан,^[1] — писал Потемкин, — который с полками финляндской дивизии расположится на той границе.

Противу прусского короля не вижу я нужды ополчаться. Его демонстрации не на нас будут, но устремится... он на Данциг. Тут император дремать не станет, а мы отдадим время. Но если б прусский король вместо Данцига стал забирать Польшу, тогда поднять поляков, обратя против него корпус [И. П.] Салтыкова...

С турками дела наши не остановятся. Корпус князя [Н. В.] Репнина удержит в узде их войска по хотинской и бендерской границе. Я на Буге учрежу отряд и сии обе части будут оборонительные. Осаду Очакова до время отложим, а Крым займем, удержим и границы обеспечим. Корпусами же Кубанским и Кавказским умножим... демонстрации и заставим Порту заботиться о той стороне.

Флоту летом пребывание назначить так, чтоб он смотрел на Ахтияр и приуготовления флотские делать как можно казистея.

На шведского короля смотреть не надобно, а сказать его величеству, что вы собрания лагерные близ ваших границ в другое время сочли бы забавою, но в обстоятельствах настоящих это пахнет демонстрациею. Объявите ему серьезно, что вы не оставите употребить всего, что возможно к избавлению себя вперед от таковых забот»^[837].

Заблуждения княгини Дашковой

Интересной оказалась борьба за невмешательство Англии в русско-турецкий конфликт, развернувшаяся накануне присоединения Крыма. Она была связана с именем Е. Р. Дашковой, летом 1782 года вернувшейся из заграничной поездки. Вчерашняя опальная княгиня была принята в России по первому разряду и, как явствует из ее мемуаров, восприняла изменение своего политического статуса как должное, не задумавшись о причине происходящего.

Проезжая через Вену, Екатерина Романовна уже оказалась вовлечена в большую дипломатическую игру: чтобы показать свою приверженность союзу с Россией, подругу императрицы встречали сам Иосиф II и канцлер Кауниц^[838].

Приехав в столицу, Дашкова была окружена «друзьями своих

английских друзей», среди которых не последнее место занимал Гаррис. Внимание, оказываемое известной своей англофилией княгине, воспринималось в дипломатических кругах как признак внимания к Англии. Поэтому партия Потемкина параллельно с обхаживанием английского посла вела планомерную опеку англофильски настроенных лиц. Последние могли создать у британских дипломатов иллюзию, будто при дворе существует проанглийская группировка и она может обрести ключевое влияние на Екатерину.

В первый момент Екатерина Романовна едва ли понимала суть политической интриги, развернувшейся вокруг нее, но, увлеченная знаками высочайшего внимания и предупредительностью Потемкина, позволила втянуть себя в игру. Она совершала один ложный шаг за другим.

Еще в Брюсселе в конце 1781 года, когда Г. Г. Орлов предложил оказать покровительство в продвижении ее сына по службе, Дашкова отказалась под разумным предлогом: «Своей поспешностью я могла бы обидеть Потемкина»^[839]. Вернувшись в Россию, княгиня забыла о всякой осторожности. «Через два дня после моего приезда я узнала, что князь Потемкин бывает каждый день со мной по соседству у своей племянницы графини Скавронской, которая была больна после родов; я послала лакея сказать князю, что хочу дать ему маленькое поручение... На следующий день князь Потемкин сам приехал ко мне»^[840].

Происходит разительное изменение поведения Дашковой. Княгиня посылает лакея с письмом не в присутствии Военной коллегии, как это официально полагалось, а в дом к его племяннице и любовнице. Чуть позднее, когда императрица решила назначить Дашкову директором Академии наук, княгиня написала государыне письмо с отказом, но заметив, что уже 12 часов ночи — то есть беспокоить Екатерину поздно, отправилась к светлейшему. «Сгорая от нетерпения покончить с этим делом... я поехала к князю Потемкину, никогда прежде не переступая порога его дома. Я велела доложить о себе и просила меня принять, даже если он в постели»^[841].

Потемкин встал, любезно разъяснил мотивы поступка императрицы и старался склонить Дашкову к согласию. Создается впечатление, что у светлейшего в разгар подготовки русско-австрийского договора только и было дела, что за полночь уговаривать взбалмошных дам.

Что же произошло? Скорее всего, Екатерине Романовне дали понять, что она вдруг стала очень близка тем, кто вершит реальную политику России. Князь — сама предупредительность. Встретив даму в Царском

Селе, спрашивает, в каком чине она желает видеть своего сына. Заметим: не в каком положено, а в каком изволите? Ответ Дашковой показателен: «Императрице известны мои пожелания; что же касается до чина моего сына, то вы, князь, должны знать это лучше меня; двенадцать лет тому назад он был произведен в прапорщики кирасирского полка, и императрица повелела постепенно повышать его в чинах. Я не знаю, исполнено ли ее желание. Фельдмаршал граф Румянцев обратился в Военную коллегию с просьбой назначить его адъютантом к нему; не знаю также, уважена ли его просьба»^[842]. В ответ — ни тени возмущения столь «любезным» разговором. Первый вельможа империи вытягивается во фрунт перед Екатериной Романовной. Зачем?

Примечательна история с производством во фрейлины племянницы Екатерины Романовны — Полянской, дочери Елизаветы Воронцовой, бывшей фаворитки Петра III. Дашкова отказалась покупать на казенные деньги дом в Петербурге, взамен прося взять ее племянницу ко двору. Просьба была неприятна императрице. Допустить в близкое окружение девицу из враждебного клана, дочь бывшей соперницы — не самый простой шаг. Екатерина заколебалась. Но княгиня решила настоять на своем и обратилась к Потемкину. Светлейший князь повел партию до конца.

«24 ноября, в день тезоименитства императрицы и моих именин, после большого придворного бала я не последовала за императрицей во внутренние апартаменты, но послала сказать князю Потемкину через его адъютанта, что не выйду из зала, пока не получу... копии с давно ожидаемого мною указа о назначении моей племянницы фрейлиной, — пишет Дашкова. — ...Прошел целый час; наконец появился адъютант с бумагой в руках, и я не помнила себя от радости, прочитав назначение моей племянницы фрейлиной»^[843].

Час Григорий Александрович уламывал Екатерину, настаивая на том, что просьбу Дашковой надо удовлетворить. Зачем опытный царедворец спорил с императрицей по вопросу, который его лично не касался, а государыне мог доставить одни огорчения? Только из желания угодить Дашковой? Княгиня именно так и объясняет в мемуарах: «Потемкин... выказывал мне большое почтение и, очевидно, желал снискать мою дружбу». Ради простой любезности князь вряд ли поступил бы подобным образом. А вот ради того, чтобы сохранить лицо в дипломатической игре — другое дело. Милости сыплются на семью Дашковой, как из рога изобилия, значит, кредит проанглийски настроенных лиц в окружении Екатерины

растет.

Вскоре княгиня ощутила пристальный интерес двора к ее красавцу сыну Павлу Михайловичу. Многие прочили ему блестящую будущность. Императрица, подчеркивая свое благоволение к матери, осыпала знаками внимания и сына. С января по август 1783 года Дашкова с братьями Александром Воронцовым (бывшим послом в Англии) и Семеном Воронцовым (будущим послом) часто обедали у Гарриса. Создается впечатление усиленно группирующейся около британского дипломата партии сторонников из русских вельмож.

Именно на этих настроениях и решил сыграть Потемкин. Он тоже подчеркнуто благоволил к Павлу Дашкову, сделал его своим адъютантом, приблизил к себе. «В конце зимы, — сообщает Екатерина Романовна, — князь Потемкин отправился в армию и взял с собою моего сына, который ехал с ним в одной карете. Князь обходился с ним дружески и внимательно»^[844].

При дворе поползли слухи о скорой смене фаворита. Тогда эту должность занимал Александр Дмитриевич Ланской, человек тихий, мягкий и искренне привязанный к государыне. Поведение Потемкина смущало и пугало его. Он принял благоволение императрицы к Дашкову за чистую монету.

Осенью 1783 года прогремел скандал с «Санкт-Петербургскими ведомостями», которые редактировались в Академии наук. В них за время путешествия Екатерины II в Финляндию летом 1783 года для свидания со шведским королем ни разу рядом с именем императрицы не упоминалось ничье имя, кроме княгини Дашковой. Ланской потребовал объяснений. В ответ Екатерина Романовна заявила: «Как ни велика честь обедать с государыней, ...но она меня не удивляет, так как с тех пор как я вышла из младенческих лет, я ею пользовалась. Следовательно, вряд ли я стала бы печатать в газетах о преимуществе, ...которое мне принадлежит по праву рождения»^[845].

Фиксируя окружение императрицы, газета подчеркивала для столичных чиновников, кто из вельмож находится «в силе». Не упоминая имя Ланского, «Ведомости» показывали, что он больше не занимает прежнего положения. Сам собой вставал вопрос: кто же тогда новый фаворит?

Не беремся судить, к какому выводу они приходили, видя во время серьезной дипломатической встречи рядом с именем императрицы только имя Дашковой. Во всяком случае, им становилось ясно, что с лета 1782

года по осень 1783-го эта семья обладала небывалым влиянием. В это время русские войска уже вступали в Крым, татарское население приводилось к присяге. Враждебные действия какой-либо из европейских стран, в частности Англии, грозили испортить дело.

Англия могла поднять волну протестов в дипломатических кругах, разорвать договор о торговом сотрудничестве и повысить ввозные пошлины на русские товары, что больно ударило бы по русской казне. Но Лондон промолчал в надежде, что Петербург вмешается в войну в колониях на стороне Британии. Эту надежду давало усиление английского влияния на петербургский кабинет, умело разыгранное Екатериной и Потемкиным. Важным проявлением такого влияния стало «вхождение в фавор» молодого князя Дашкова.

Екатерина Романовна пишет о своих неприятных ощущениях в связи с этим. Однако близкие дому Дашковой иностранцы рассказывали иное. В 1787 году член парламента сэр Джон Синклер, посетивший Россию и встречавшийся с Дашковой, писал: «Ее жажда власти столь сильна, что она пожелала даже, чтобы ее сына назначили личным фаворитом императрицы, когда они вернулись в Россию. Но Потемкин, зная ее безграничные амбиции, очень искусно ухитрился похоронить проект. В качестве главного козыря он использовал то, что молодой Дашков в весьма смешной манере во время пьяных шалостей повторял несколько пассажей из Шекспира. Удивительно, от каких тривиальных вещей могут зависеть великие события. Если бы княгиня преуспела в своих планах, система Петербургского двора претерпела бы изменение и Россия в разгар войны в Америке перешла бы на нашу сторону»^[846]. Путешественник заблуждался в реальности подобных проектов. Когда Крым был присоединен, а Англия постепенно осознала, что все ее влияние на дела петербургского кабинета было фикцией, необходимость в игре отпала.

Подготовка к броску

Так развивалась интрига при петербургском дворе. На юге же, куда отправился Потемкин, дела обстояли куда сложнее. Начало операции по присоединению Крыма было запланировано на середину весны 1783 года, когда в степи появится подножный корм для лошадей.

8 апреля Екатерина подписала манифест о «принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую

державу»^[847]. Над этим документом императрица и светлейший князь совместно работали более месяца, он должен был храниться в глубокой тайне до тех пор, пока присоединение ханства не завершится полным успехом.

Накануне отъезда Потемкина 31 марта умер граф Панин, человек, вместе с которым в прошлое уходила целая эпоха во внешней политике России. Сохранилась короткая записка Потемкина, посвященная погребению Никиты Ивановича. Князь испрашивал у Екатерины позволение похоронить покойного канцлера в Александро-Невской лавре^[848]. Уже два года Панин находился не у дел, продолжая оставаться при этом главой партии наследника престола. Неприязнь императрицы к бывшему сотруднику не уменьшалась. Сторонники Никиты Ивановича, боясь отказа Екатерины похоронить Панина в лавре, обратились с этой просьбой к Потемкину. Светлейший князь получил необходимое разрешение, и старый дипломат упокоился со всеми подобающими почестями.

Вечером 8 апреля Григорий Александрович был уже в Нарве, где его застало письмо императрицы: «Жалею, что дороги так дурны; я чаю, ты весь разбит»^[849]. По весенней распутице Потемкин добирался до Могилева одиннадцать дней, что при его обычной быстрой езде показалось князю слишком долгим. «Во многих местах реки меня останавливают и починка экипажей»^[850], — жаловался он.

22 апреля в поместье Дубровка под Шкловом Потемкин получил от императрицы копию письма Иосифа II.

В начале месяца Екатерина бросила пробный камень — попыталась выяснить, будет ли ее союзник действовать согласно принятым на себя обязательствам в случае войны с Турцией. «Я никаким образом не стану требовать от вас, чтобы вы подвергли ваши владения какой-либо опасности для моих выгод, — писала она. — Я надеюсь, что на этот раз собственные силы моего государства будут достаточны для того, чтобы принудить Порту к миру... Зная, однако, высокую душу императора Иосифа II и искренно желая личной славы для него и выгод для его государства, интересы которого столь сходны и столь тесно связаны с интересами России, я не могу не желать, чтоб он участвовал в предстоящей борьбе»^[851].

Иосиф II ответил не совсем так, как желала бы русская сторона. «У Вас остаются сомнения на счет точности турок в полном исполнении обязательств... Кайнарджийского договора, — писал он. — Что до меня, то... льщу себя надеждою, что... совершенно одинаковые заявления и

положительные изъяснения, сходные с теми, какие мы совместно представили, сделают Порту более уступчивой и точной при выполнении в будущем того, что она обещает»^[852]. Император ссылаясь на «множество маловажных домашних дел», на свой долг перед австрийской монархией, которым не может пренебречь, даже ради военной славы. Он ясно давал понять корреспондентке, что видит в совместных дипломатических декларациях лучшее средство воздействия на Стамбул.

Екатерина не была особенно опечалена шаткой позицией союзника. Она писала Григорию Александровичу, что при осуществлении намеченного плана «твердо решила ни на кого не рассчитывать», кроме «самих себя». Государыня считала, что чуть только дело дойдет до дележа турецких земель, Австрия, да и другие государства, не окажутся в стороне. «Когда пирог испечен, у каждого явится аппетит»^[853], — с насмешкой замечала она.

«Приложенная копия императорского письма, — писал в ответ князь, — не много твердости показывает, но поверьте, что он иначе заговорит, как вы и угадываете, когда пойдут предположения Ваши в действо. Кауниц ужом и жабою хочет вывернуть систему политическую новую, но у Франции они увязли, как в клещах, и потому не смеют отстать от нее, хотя бы в том был и авантаж. Стремятся также посорить Вас с королем прусским, и это их главной пункт. Я считаю, их всех мучит неизвестность о наших движениях. Облекись, матушка, твердости на все попытки, а паче против внутренних и внешних бурбонцов. Все что ни будет, только одна пустая замашка, а на самом деле все захотят что-нибудь также схватить. На императора не надейтесь много, но продолжать дружное с ним обхождение нужно... Нужды большой нет в его помочи, лишь бы не мешал»^[854].

По сведениям Потемкина, своими колебаниями австрийская сторона обязана позиции Кауница, противника усиления России на Черном море. Под «новой политической системой» понимался союз Вены и Петербурга. Австрия, так же как и Франция, стремились посорить Екатерину со своим давним врагом — Фридрихом II. Не являясь сторонником прусской партии, Григорий Александрович, однако, даже в самых критических ситуациях выступал против обострения отношений с Пруссией. Одним из главных условий успеха операции на Юге он считал секретность ее проведения.

В конце письма князь как бы невзначай упоминает о двух важных обстоятельствах, оказавших серьезное влияние на сроки и характер проведения операции в Крыму. «Подножного корму нет, почему конные полки продвигать неловко, но я надеюсь, что скоро покажется. Зима была

сей год продолжительна». Еще не доехав до места, Потемкин уже дает понять императрице, что дело, задуманное ими, завершится отнюдь не так быстро, как она рассчитывает. Упоминает князь и о другом важном факте: «Время Вам докажет, сколь Вы хорошо сделали, что не послали флот». Военные демонстрации у русских границ, предпринятые шведским королем, не позволяли России отправить экспедицию Балтийского флота в Архипелаг. Екатерина предпочла обождать до прояснения ситуации на севере, и теперь светлейший князь признавал ее правоту.

Между тем в Крыму события развивались по заранее намеченному плану. Несохранившимся письмом с дороги Потемкин уведомлял корреспондентку об отречении хана Шагин-Гирея от престола. «Что хан отказался от ханства... о том жалеть нечего, — отвечала Екатерина 5 мая, — только прикажи с ним обходиться ласково и со почтением, приличным владетелю»^[855].

Переговоры с Шагин-Гиреем были долгими и трудными. Отправляя Потемкина в Крым, Екатерина еще не была уверена в их успехе. Самойлов, руководивший медиацией, оставил портрет последнего крымского хана: «Шагин-Гирей был сложения сухого и довольно крепкого, росту был среднего, разум его был украшен довольными сведениями, сроден был к войне и храбр, не любил роскоши и неги, но не чужд был азиатской пышности; и особливо гордился происхождением, поелику сия фамилия вела родословную свою от Чингиз-хана. Имел он случай быть в Венеции и научиться итальянскому языку, который изрядно разумел, равно как и греческий, арабский же знал совершенно, несколько объяснялся по-русски... В Крыму имел он противную партию, потому что там известна была склонность его к европейскому вкусу, и Шагин-Гирей не был бы ханом, если бы императрице Екатерине II того не хотелось... Князь Григорий Александрович знал, что желание хана быть преобразователем при непостоянстве и невежестве татар подаст повод к волнению сего народа, и надеялся через то для России полезных последствий»^[856].

Торопливость, с которой хан принялся за реформы, и деспотизм, с каким они проводились, породили волну национального и религиозного недовольства. Хозяйство Крыма в этот момент переживало тяжелый кризис, связанный с прекращением крупных денежных поступлений от работоторговли^[857]. Поэтому в начале мая 1783 года «полезным последствием» реформ Шагин-Гирея стало его отречение от престола.

Самойлову было поручено убедить хана в невозможности для него более управлять татарами, которые не желали подчиняться без военного

принуждения. Существовала и угроза жизни Шагин-Гирея, на которую племянник Потемкина старательно указывал. Подавленный недавними событиями хан подтвердил слова Александра Николаевича, а когда тот намекнул, что взамен крымских владений Шагин может получить земли в Персии, хан согласился^[858].

Вместе с Самойловым Шагин-Гирей переехал из Керчи в Петровскую крепость, где стояли русские войска, и оттуда написал письмо Потемкину. В ответ князь лично встретился с ним и повторил все сказанное до этого на переговорах. В беседе с Гаррисом Потемкин отозвался о хане уничижительно: «Этот человек бездарный и смешной, имеющий претензии быть подражателем Петра Великого»^[859]. Властитель Крыма оказался загнан в угол: без русских штыков он не мог удержаться на престоле, а русские союзники подталкивали его к отречению.

Шагин-Гирею не оставалось ничего другого, как собрать знать в Карасубазаре. Он призвал на головы своих неверных подданных суд Божий и заявил, что больше не хочет быть ханом такого коварного народа. За отречение в пользу России Шагин получил ежегодный пансион в размере 200 тысяч рублей и обещание посадить его на престол в Персии^[860]. Казалось, для присоединения Крыма Потемкину осталось только ввести войска на полуостров. Но сам светлейший князь придерживался иного мнения.

Прибыв в Херсон, Потемкин обнаружил, что дела в херсонском адмиралтействе обстоят из рук вон плохо. «Измучился, как собака, — писал он 11 мая, — и не могу добиться толку по адмиралтейству. Все запущено, ничему нет порядочной записи. По прочим работам также неисправно, дороговизна подрядов и неисправность подрядчиков истратили много денег и время... Никто из тех, кои должны были смотреть, не были при своем деле... все были удалены, а в руках все находилось у секретаря у Ганибалова, ...которого он увез с собой, не оставив здесь ни лесу, ни денег»^[861].

Потемкин был сильно разгневан на генерал-поручика И. А. Ганнибала, руководившего херсонским адмиралтейством и рапортовавшего, что к началу 1783 года будут готовы семь кораблей. «Теперь выходит, что и лесу всего на корабли не выставлено, а из выставленного много гнилого», — писал князь. Накануне прибытия Потемкина Ганнибал улизнул в Петербург. «Достанет, конечно, моего усердия и сил, — раздраженно замечал князь, — чтобы все, сколько можно, поправить, а прошу только иметь ту милость, чтобы заметить, как было до сих пор и как пойдет у меня

в руках».

«Сюда приехал Ганнибал, — отвечала государыня 26 мая, — и уверил меня, что крепость совершенно в безопасном положении против нечаянного нападения, и что корабли отстраиваются, я для славы города Херсона... дала строителю большой крест владимирской. Не сомневаюсь, что в твоих руках и твоим попечением все пойдет как должно. Крымских известий дальних ожидаю с нетерпением и думаю, что ныне уже объявлены российскими подданными»^[862].

Ганнибалу удалось уверить императрицу в своей исправной службе. 16 мая 1783 года он даже получил орден Святого Владимира 1-й степени^[863]. Гневное письмо Потемкина еще не дошло в это время до рук Екатерины. А после пожалования она уже не хотела подвергать казнокрада гласному преследованию, обнаруживая тем самым худое состояние крепости и адмиралтейства. Ганнибала тихо понудили уйти в отставку.

Беспокойство Екатерины вызывало поведение ее шведского соседа. Густав III отправился в Финляндию, где разбил военные лагеря у русской границы и предложил императрице встретиться. Екатерина назначила Фридрихсгам. «Король шведской, взяв у французов денег для демонстрации, делает из шести полков лагерь у Тавастгуса, — сообщала она Потемкину, — а в самое то же время нам подтрушивает свидание».

Швецию к враждебным действиям подталкивал Версаль. 3 мая 1783 года между Парижем и Стокгольмом был срочно возобновлен трактат 1778 года о субсидиях. Густав III получил право на ежегодную финансовую поддержку в размере миллиона 500 тысяч ливров^[864]. Добившись выплаты этой суммы, шведский король приступил к строительству лагерей в Финляндии. Направлять флот с Балтики в Архипелаг в подобных условиях было опасно. Потемкин мог рассчитывать только на херсонскую эскадру, которая еще не была готова. Это обстоятельство затягивало начало операции.

У Густава III были и свои планы. Он не собирался становиться во всем послушной игрушкой Парижа. Ему казалось, что две могущественные державы — Россия и Франция — соперничают друг с другом за влияние на Швецию, и в этих условиях у него появился шанс сделать самостоятельный выбор в пользу того союзника, который заплатит больше. Поскольку Россия занята на юге, рассудил король, шведы могут попробовать разделаться со своим старинным врагом — Данией. Шведский штаб подготовил план молниеносной войны против Дании, но для начала следовало заручиться гарантией ненападения со стороны Петербурга^[865]. Для этого Густав и звал

соседку на новое свидание во Фридрихсгам.

Екатерина согласилась крайне неохотно. Она считала военные лагеря Густава в Финляндии вызовом себе лично. Опытный политик, императрица в конце июня отправилась на randevu, но только для того, чтобы потянуть время. Осматривая войска у Тавастгуса, король упал с коня и сломал левую руку^[866]. В письме Потемкину императрица язвила, что Александр Великий не свалился бы с лошади на виду у своей армии. Гримму она писала, что есть прекрасный способ сделать Густава счастливым — посадить его у зеркала, чтобы он мог постоянно любоваться собой.

Политические предложения соседа Екатерина не приняла всерьез, в то время как сам Густав придавал им большое значение. Он говорил о союзе между Россией и Швецией, ради которого Стокгольм даже готов разорвать альянс с Турцией. Но Екатерина посчитала идеи Густава ловушкой, инспирированной Францией, для того чтобы рассорить Россию с ее старинным партнером на Балтике — Данией. Поэтому она отвечала, что никогда не ведет переговоров с иностранными державами частным образом и направит план Густава на рассмотрение своих министров. Это было все равно что сказать «нет».

Не сумев повлиять на Россию через Швецию, Версаль в 1783 году попытался действовать сам, но тоже потерпел неудачу. 26 июня французский посланник маркиз де Верак зачитал вице-канцлеру графу И. А. Остерману так называемую «Вербальную ноту» своего правительства. Франция выражала недовольство активизацией действий России в Крыму и настаивала на своих «добрых услугах», то есть на посредничестве в урегулировании конфликта. Документ был переслан Потемкину, и тот 16 июля отправил Безбородко «Политические замечания».

«Французская нота, доказательство их наглости, — писал князь, — тем больше дерзновенная, что они видели во время войны своей с Англией момент, в который во власти ея величества было помощью одной только тамо находившейся эскадры довести их до того, чтобы не нашлись в силах лет сто мешаться в дела чужие. Препятствует ли им Россия удерживать за собой завоевание важнее гораздо Крыма? Они карабкаются все господствовать и вмешиваться в чужие дела, где их не просят... Рассмотрите хорошенько Веракову ноту, вы увидите, как они выдают себя быть арбитром наших дел и будто мы от них зависимы»^[867]. После совета с Потемкиным Екатерина санкционировала ответ. Франции напомнили захват ею Корсики в 1768 году и заявили, что намерение России присоединить Крым «никак уже отменено быть не может». Таким образом,

дипломатические усилия ни одной из европейских держав воспрепятствовать действиям Петербурга на Юге не смогли.

Отречение хана

К середине мая князь совершенно увяз в Херсоне с адмиралтейскими делами и явно не намерен был никуда трогаться, пока не отдаст все необходимые распоряжения. Кроме того, светлейший старался преждевременным введением войск не вызывать в Крыму новых волнений, ведь хан еще не покинул полуостров. «Как хан уедет, то крымские дела скоро кончатся, — писал он Екатерине 16 мая. — Я стараюсь, чтоб они сами попросили подданства. Думаю, что тебе, матушка, то угоднее будет»^[868].

Пребывание Шагин-Гирея в Крыму ставило его подданных в двойственное положение. Одно дело искать нового сюзерена, когда прежний владыка покинул собственный народ, и совсем другое — уходить под руку России, когда хан не выехал еще за пределы своих владений. Потемкин понимал колебания татарской знати. Князь предпочитал терпеливо ждать, пока татары сами не подадут просьбу о вступлении в подданство России. Он не ошибся. Русская партия действовала успешно, и вскоре после отречения Шагина обратилась к Екатерине с адресом^[869].

Однако на этом борьба не закончилась. Хан очень быстро пожалел об отречении. 23 мая 1783 года обоз с его имуществом, гаремом и свитой тронулся в дорогу к Херсону. Внезапно Шагин изменил маршрут и отправился на Тамань, где кочевали ногайцы. Оттуда он послал в Петербург к Екатерине II одного из приставленных к нему офицеров капитана Тугаринова с письмом. Возможно, хан хотел взять слово обратно и жаловался на давление, оказанное на него во время переговоров. Но «крымская мышеловка» уже захлопнулась. Потемкин приказал задержать курьера, а хану передал, что тот не имеет права пользоваться прикомандированными к нему русскими офицерами^[870].

Пребывание Шагин-Гирея на Тамани вызвало самые нежелательные последствия. Началось возмущение ногайских орд, подавленное войсками Суворова. Если в самом Крыму никакого сопротивления русские не встретили, то ногайцы, у которых Шагин когда-то был «сераскиром», проявили неожиданное ожесточение. Часть из их племен решила присягнуть России и тут же подверглась нападениям со стороны

закубанских горцев, подстрекаемых Турцией. Турецкие лазутчики распространяли среди кочевников слухи, будто территории ханства поделены между Россией и Портой — первая получила Крым, а ко второй отошли Прикубанье и Тамань^[871]. Уже перешедшие на сторону русских ногайские роды волновались, не зная, что их ожидает в будущем.

В этих условиях генерал-поручик Суворов, находившийся с тремя корпусами на Тамани, предложил Потемкину договориться о перекочевке орд на места их старых кочевий в приволжские и уральские степи. Идею поддержали некоторые ногайские мурзы и беи, желавшие избежать войны. В первую очередь предводитель племени джамбулуков Муса-бей, приятель Суворова, как раз и подавший мысль о переезде. Однако были и те, кто воспринимал идею ухода с Тамани в штыки. Например, другой джамбулукский владетель — Тав-Султан, который за подстрекательство соплеменников к вооруженному сопротивлению России был взят под стражу. Зная о подобных настроениях, Потемкин предпочел повременить с перекочевкой и в конце июля послал Суворову приказ отложить дело до будущего года. Считается, что этот приказ опоздал^[872].

Суворов торопился завершить переселение раньше, чем среди ногайцев вспыхнут серьезные волнения. 30 июля сторонники Тав-Султана подняли мятеж джамбулуков, уже находившихся на марше. Тысячи кибиток двигались по берегу Ей, переправлялись через реку и поворачивали на восток. Внезапно ногайцы напали на отряды охраны и перебили их, уйти удалось только казакам. Одновременно были вырезаны верные России сторонники перекочевки, тяжело ранен Муса-бей. Ногайцы устремились к югу — на Кубань.

1 августа орда от семи до десяти тысяч кочевников напала на роту Бутырского полка, охранявшую брод в урочище Урай Илгасы. К счастью для бутырцев, у них были орудия, что помогло роте продержаться до прихода остального полка и драгун-владимирцев. Совместными усилиями ногайцы были разгромлены. Во время отступления кочевники убивали пленных, резали скот, не щадили даже своих жен и детей. Русские захватили мятежных мурз, и вот тут-то открылась роль Шагин-Гирея в подстрекательстве ногайцев к сопротивлению.

Выяснилось, что хан вел переговоры с мятежниками о своем возвращении на крымский престол и встречался с депутацией мурз. Потемкин потребовал от Шагина немедленно удалиться с Тамани, но тот тянул время. Даже личное письмо Екатерины не понудило бывшего крымского владыку тронуться с места. Только выслав на Тамань войска во

главе с генералами И. А. Игельстромом и А. Б. де Бальменом, Потемкин заставил хана исполнить «высочайшее повеление». Отправляясь в Россию, Шагин бросил гарем и свиту из 2 тысяч человек^[873].

Его дальнейшая судьба была печальна. Сначала хана поселили в Воронеже, затем в Калуге, окружив богатством и формальными почестями. Занятая делами с Крымом и Турцией, русская сторона вовсе не спешила исполнять обещание о престоле в Персии. Шагин пытался напомнить о себе, послав в Петербург А. А. Безбородко дорогой перстень в подарок. Екатерина посчитала такой поступок неуместным и приказала вернуть перстень, сделав хану внушение, чтобы он более не пытался подкупать русских министров. Бывшему владыке пришлось извиняться и оправдываться^[874]. Поведение Шагина на Тамани не изобличало в нем надежного человека, и за ним негласно присматривали.

Ему казалось, что если он переберется в Турцию, то там как потомок Гиреев будет пользоваться большей свободой и почетом. Разрешение выехать в Порту Шагин-Гирей получил от императрицы еще в 1784 году. Однако турецкая сторона вовсе не готова была принять опасного гостя: сам факт его появления мог вызвать волнения «черни», некстати напоминая ей о потере Крыма. Лишь в январе 1787 года визирь направил Шагану разрешение султана на въезд. Тогда же русский посол в Константинополе Я. И. Булгаков писал, что хан «тысячу раз еще раскается о сей глупости»^[875]. Раскаяться Шагин не успел, вскоре после приезда он был задушен по повелению султана на острове Родос.

«Трофей, не обогранный кровью»

Вернемся к событиям 1783 года. В середине мая Австрия начала проявлять серьезное беспокойство скоплением русских войск на Юге. Стало очевидно, что Петербург интересуется не «Очаков с областью», а более существенное приобретение. 19 мая австрийский император направил союзнице письмо, в котором выразил готовность содействовать ей в случае войны с Турцией^[876]. В записке Кауницу Иосиф II точно назвал земли, на которые претендовала Вена: Молдавия и Валахия^[877].

Копию письма императора Екатерина послала Потемкину 30 мая. «Твое пророчество, друг мой сердечный и умный, сбылось, — писала она, — аппетит у них явился во время еды. ...Дай Боже, чтоб татарское или, лучше сказать, крымское дело скоро кончилось... Лучше бы турки не

успели оному наносить препятствия, ...а на просьбу татар теперь не смотреть»^[878]. Императрица считала возможным пренебречь при занятии Крыма формальным волеизъявлением его жителей. Ее беспокоили сроки осуществления операции, так как она опасалась, что Порта может, собрав войска, помешать присоединению полуострова.

Потемкин не считал в данном случае торопливость уместной. Он получал из Константинополя донесения Булгакова, сообщавшего о расстройстве дел в Порте, которая уже в конце 1782 года начала готовиться к обороне, а не к нападению. «Здесь все силы напрягают для приведения себя в оборонительное состояние, — писал посол. — Несмотря на разум и расторопность визиря, трудно здесь ожидать приведения в порядок в короткое время всего того, что целым веком расстраивалось... Рейс-эфенди, по робости, а может быть по лености своей, все из своих рук и власти выпускает»^[879]. Тем не менее при подстрекательстве французов и пруссаков дипломат не исключал возможности военного конфликта.

Между тем с письмами наших героев создавалась тревожная ситуация. Еще 11 мая Потемкин выразил беспокойство, что давно не получал от Екатерины ответов. Такое замечание кажется странным, так как, судя по датам посланий, императрица регулярно отправляла корреспонденцию. 26 мая государыня сообщала, что она и сама удивлена задержкой известий с юга. «Я не знаю, почему мои письма к тебе не доходят; кажется, я писала к тебе при всяком случае. Пока ты жалуешься, что от меня нет известий, мне казалось, что от тебя давно нету писем»^[880]. 28 мая Потемкин повторил: «Немало меня смущает, что не имею давно об Вас известий»^[881]. Далее он обращается к делам: «По сие время еще хан не выехал, что мне мешает публиковать манифесты; татары не прежде будут развязаны, как он оставит Крым. При нем же объявить сие, народ почтет хитростью».

В это время возникли первые признаки начала новой чумной эпидемии, занесенной в Крым с Тамани. Екатерина получила это письмо 9 июня 1783 года и в тот же день отвечала Потемкину: «Я надеюсь, что мои письма теперь, князюшка, до рук твоих дошли... Часто тужу, что ты там, а не здесь, ибо без тебя я как без рук... Верю, что тебе забот много, но знаю, что ты да я заботами не скучаем»^[882].

Следующее письмо 13 июня Григорий Александрович тоже писал из Херсона. «Богу одному известно, что я из сил выбился, — говорил он, — всякой день бегая в адмиралтейство для понуждения, а при том множество других забот. Укрепление Кинбурна, доставление во все места провианта, понуждение войск и прекращение чумы, которая не оставила показаться на

Казикермене, Елисавете и в самом Херсоне... Сею язвою я был наиболее встревожен по рапортам из Крыма, где она в разных уездах и госпиталях наших показалась. Я немедленно кинулся туда, сделал распоряжение отделением больных... и так, слава Богу, вновь по сие время нет... Ахтияр лучшая гавань в свете. Петербург, поставленной у Балтики, северная столица России, средняя Москва, а Херсон Ахтиарской да будет столица полуденная моей государыни... Не дивите, матушка, что я удержался обнародовать до сего времени манифесты. Истинно нельзя было без умножения [войск], ибо в противном случае нечем бы было принудить.... Обращаюсь на строительство кораблей. Вы увидите из ведомости, что представляю за силу... Я считаю, что собранием всех фрегатов, которые из Дону выдут, можно будет в случае разрыва, и когда турки флотом от своих берегов отделятся, произвести поиск на Синоп или другие места. А что касается до императора, не препятствуйте ему, пусть берет у турков, что хочет. Нам много что пособит и диверсия одна с его стороны — великая помощь»^[883].

В этом письме Потемкин прямо не говорит о получении корреспонденции императрицы, но упоминание об изменившейся позиции Иосифа II является ответом на письмо Екатерины 30 мая. Следовательно, почта из Петербурга, наконец, дошла до рук светлейшего князя. По другим письмам корреспондентов видно, что обычно курьер покрывал расстояние от Северной столицы до Крыма за 10–14 дней, в зависимости от того, где именно находился Потемкин. Таким образом, майские письма императрицы пришли к Григорию Александровичу с опозданием на полмесяца. Это не могло не вызвать у него подозрений, о которых он, однако, ничего не сказал Екатерине в письме 13 июня.

Неизвестно, была ли выяснена причина такой задержки, но светлейший князь, считавший сохранение секретности информации о передвижении русских войск на Юге главным залогом успеха, заподозрил перехват. Находясь в Херсоне, он не мог быстро выяснить, на каком этапе пересылки происходит утечка. Вероятнее всего, она совершалась еще в Петербурге, где находились все иностранные министры. Между тем операция по присоединению Крыма вступила в решающую фазу. В создавшихся условиях Потемкин прибег к экстраординарной мере. Следующее письмо Екатерине, помеченное 10 июля, он отправил уже по завершении операции, после присяги татарской знати. Оно будет получено в Петербурге только 19 июля. Таким образом, императрица, а вместе с нею и тайный перехватчик более месяца не имели сведений о положении дел в Крыму. Именно тогда там разворачивались главные события.

Корреспонденцией светлейшего князя ведал с 1782 года его управляющий в Петербурге М. А. Гарновский. В годы Второй русско-турецкой войны он не раз жаловался, что важная информация из писем Потемкина императрице попадает через Безбородко и членов проавстрийской группировки к союзникам, а те, в свою очередь, делятся ею с французами. «Нет тайны в делах наших, которой бы не знали посол и вся канцелярия, — говорил управляющий о „цесарцах“. — Мудрено ли после сего, что дела наши в отношении к прочим державам европейским пришли до такого замешательства?»^[884] В 1783 году связь венского кабинета с Версалем была еще более тесной. Сам Александр Андреевич считал нужным делиться с австрийской стороной сведениями ради сохранения союза. «Если бы я не крепко корячился, во многих случаях не уважая, что и сердятся, не огрызался и не слаживал дела, то система наша с Венским двором в ничто бы обратилась»^[885], — писал он в ноябре 1787 г. С. Р. Воронцову.

Действовал ли Безбородко подобным же образом и в 1783 году? Еще в письме 22 апреля Потемкин просил Екатерину сохранять «все движения наши» в тайне от Иосифа II, а также «облечься твердости» против «внутренних бурбонцов», под которыми подразумевались члены проавстрийской партии. Итак, светлейший князь считал нужным оставить в неведении о событиях в Крыму именно союзника России. Это ему удалось.

Екатерина в продолжение июня не выражала никакого беспокойства относительно событий на Юге. Она полагала, что князь ускакал в Крым, и была уверена, что дело там уже завершено, поскольку так считали в Константинополе. «Сказывает Булгаков, что они (турки. — *О. Е.*) знают о занятии Крыма, только никто не пикнет, и сами ищут о том слухи утешать»^[886], — писала Екатерина 10 июля. Булгаков сообщал 15 (26) июня: «Министерство боится войны; разглашает под рукою, что татары сами поддались, стараясь тем уменьшить клеветы на наружное свое нерадение о защищении веры. Посему, кажется, настает одна опасность, то есть ежели чернь взбунтуется и свергнет султана. В сем случае нет уже надежды при молодом султани сохранить Порту в миролюбии»^[887].

В середине июля терпение императрицы подошло к концу. Она испытывала смешанное чувство раздражения и страха из-за того, что ничего не знала о положении в Крыму. «Ты можешь себе представить, в каком я должна быть беспокойстве, не имея от тебя ни строки более пяти недель, — писала Екатерина 15 июля. — ... Я ждала занятия Крыма по крайнем сроке в половине мая, а теперь и половина июля, а я о том не более

знаю, как и папа римский»^[888].

Только через через дня она получила письмо Потемкина, отправленное еще 10 июля из лагеря при Карасубазаре о присяге татарской знати. «Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все... Со стороны турецкой по сие время ничего не видно. Мне кажется, они в страхе, чтоб мы к ним не пришли, и все их ополчение оборонительное»^[889]. В конце письма князь кратко упоминает о своей недавней болезни. Григорий Александрович щадил императрицу и не сообщил ей, что перед отъездом из Херсона в Крым он находился при смерти из-за приступа болотной лихорадки, рецидивами которой страдал со времен Первой турецкой войны. Отправляясь в дорогу, светлейший князь соборовался. Однако Екатерине он писал лишь, что «занемог была жестоко... спазмами и, будучи еще слаб, поехал в Крым».

16 июля, находясь все еще в лагере у Карасубазара, Потемкин испрашивал милость офицерам, особенно много потрудившимся при занятии Крыма. «Суворову — Владимирской, и Павлу Сергеевичу [Потемкину], графу Бальмену — Александровской. Не оставьте и Лашкарева, он, ей богу, усердной человек, и очень много я его мучил»^[890]. Награды не заставили себя долго ждать. Суворов с благодарностью писал Потемкину 18 августа: «Малые мои труды ожидали... одного только отдания справедливости. Но Вы, светлейший князь! Превзошли мое ожидание»^[891].

Однако Григория Александровича беспокоила необходимость расположить к России население ханства. В том же письме Потемкин сообщает о работах, уже начатых на полуострове. «Упражняюсь теперь в описании топографическом Крыма... Татар тревожит посеянной от турков очаковских слух, что браны будут с них рекруты. Я ныне дал им уверение, что таковой слух пущен от их злодеев и что он пустой. Ежели, матушка, пожалуете указ, освобождающий их от сего, то они совсем спокойны будут... Ассигновать нужно, дабы угодить магометанам, на содержание нескольких мечетей, школ и фонтанов публичных... Турки по сие время везде смирны... Ежели быть войне, то не нынешний год. Теперь настает Рамазан; и кончится двадцатого августа, то много ли уже останется до осени?» Потемкин знал, что в Рамазан мусульмане не станут воевать, а осенью кампания начаться не может, так как обычно к концу октября — началу ноября военные действия завершались и армии вставали на зимние квартиры.

После приведения жителей к присяге в Крыму было открыто земское

правительство, состоящее из татарских мурз под общим руководством начальника войск, расположенных в Крыму, барона О. А. Игельстрема. Оно составило для Потемкина Камеральное (общее) описание Крыма. Было сохранено территориальное деление полуострова на шесть каймаканств, привычное для местных жителей. Татары оставались при новом правлении собственниками своих земель, сельские общины — джиматы, — как и прежде, выполняли функции мирского самоуправления. По просьбе мусульманского духовенства часть доходов была выделена Потемкиным на содержание духовных и светских школ медресе и мектебе^[892]. Эти меры позволяли светлейшему князю расположить к себе измученное неурядицами население полуострова.

29 июля светлейший князь, наконец, получил сердитое письмо императрицы от 15 июля. «Вы ожидали покорения Крыма в половине мая, — отвечает на упрек Потемкин, — но в предписаниях, данных, сказано сие учинить по моему точно рассмотрению, когда я найду удобным... Полки в Крым вступить не могли прежде половины июля, а которые дальние, из тех последний сегодня только пришел. Большой части полков марш был по семьсот верст, притом две, иным три переправы через Днепр и Ингулец... Невольным образом виноват, не уведомляя Вас, матушка, долго. Но что касается до занятия Крыма, то сие, чем ближе к осени, тем лучше, потому что поздней турки решатся на войну и не так скоро изготовятся»^[893]. К концу июля стало ясно, что если война не начнется в 1783 году, то для укрепления позиций в Крыму Потемкин получит осень и зиму.

В этом же письме Григорий Александрович сообщил о присяге мусульманского духовенства и простого народа. «Говорено было мне всегда, что духовенство противится будет, а за ними и чернь, но вышло, что духовные приступили из первых, а за ними и все». Мусульманское духовенство Крыма было настолько раздражено пренебрежением бывшего хана к религиозным традициям, что, получив от Потемкина заверение «соблюдать неприкосновенную целостность природной веры татар», не только само согласилось присягнуть, но и склонило к этому остальные слои населения. Потемкин сумел достигнуть понимания с духовенством, выделив, часть доходов на содержание наиболее почитаемых мечетей. Кроме того, он направил в Петербург заказ на печатание Коранов для крымских мулл^[894].

Путешествовавший вместе с Потемкиным по Крыму в 1787 году Франсиско де Миранда рассказывал о взаимоотношениях князя с татарским духовенством. «Утром я свел знакомство... с муфтием, который, когда

князь Потемкин в 1783 году овладел Крымом, сделал ему комплимент, сказав, что „будет вспоминать этот день, как женщина помнит того, кто лишил ее невинности“. С муллами общались, стоя у окна, а те находились снаружи. Каждому из них подарили какой-нибудь предмет одежды... Затем отправились в ближайшую мечеть, где обнаружили сборище дервишей, долго забавлявших нас своими завываниями. Князь подарил им 300 рублей».

По словам венесуэльца, Григорий Александрович был щедр с духовенством, дарил муфтию и окружавшим его муллам часы, перстни, деньги. В то же время он считал, что чрезмерное число мулл в Крыму вредно для спокойствия населения и может явиться рассадником религиозного фанатизма. «Проехали через горные татарские селения Эльбузли и Суюксу, где минареты являются признаком господствующей религии. Здесь очень много мулл или духовных лиц, и князь намерен безотлагательно сократить их число».

Миранда отмечал, что Потемкин постоянно контактировал с местным татарским населением, проявляя при этом терпение, а если надо, и жесткость. «Затем обедали, и на князя излился поток прошений. Не знаю, как у него хватает терпения отвечать стольким нахамам, которые набрасываются на него со всех сторон, а он почти каждому дает ответ, делая пометки на полях; даже тем, кто требует погасить долги хана, его светлость предлагает заплатить палочными ударами, отделяваясь, таким образом, от наглецов»^[895].

Опасность открытия военных действий со стороны Турции продолжала сохраняться. «Положение соседей здешних по сие время смирно, — сообщал Потемкин. — Собирают они главные силы у Измаила... Нам нужно выиграть время, чтоб флот усилить, тогда будем господа»^[896].

Еще находясь в лагере у Карасубазара, Потемкин получил письмо Екатерины от 26 июля, которым она сообщает князю, как воспринято в России известие о присоединении Крыма. «Публика здешняя сим происшествием вообще обрадована, цапано — нам никогда не противно, потерять же мы не любим»^[897].

Получив известие о подписании П. С. Потемкиным и представителями царя Ираклия II в Георгиевской крепости договора о принятии Грузии под протекторат России, светлейший князь отвечал на это письмо Екатерины так: «Вот, мая кормилица, и грузинские дела приведены к концу. Какой государь составил толь блестящую эпоху, как Вы? Не один тут блеск. Польза еще большая. Земли, которые Александр и Помпеи, так сказать,

лишь поглядели, те вы привязали к скипетру Российскому, а Таврический Херсон — источник нашего христианства, а потому и лепности, уже в объятиях своей дщери. Тут есть что-то мистическое. Род татарской — тиран России некогда, а в недавних временах стократны разоритель, коего силу подсек царь Иван Василич, Вы же истребили корень. Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх Порте Отоманской. Взойди на трофеи, не обагрённые кровью, и прикажи историкам заготовить больше чернил и бумаги»^[898].

Если Екатерина смотрела на приобретение Крыма с трезвым цинизмом — для нее включить бывшие ханские земли в состав империи значило «сцапать чужое», — то Потемкин видел в этом шаге завершение долгой борьбы с «тираном России» и ее «стократным разорителем». Он не скрывал воодушевления, которое охватывало его при мысли, что истреблен корень последнего осколка Золотой Орды. Им владело не только национальное, но и православное чувство: вместе с Крымом в состав России вошел Херсонес — «источник нашего христианства, а потому и лепности», то есть красоты.

Продолжала сохраняться опасность столкновения с Портой. 13 августа Екатерина писала: «Я чаю, после Курбан Байрама откроется, на что турки решаться, а дабы не ошибиться, кладу за верное, что объявят войну»^[899]. Сама Турция враждебности в этот момент не проявляла, однако из донесений Булгакова явствовало, что прусский министр в Стамбуле начал подстрекать Порту к открытию военных действий. «Гафрон подал Порте мемориал, — писал Булгаков 1 (12) августа 1783 года, — что оба императорские двора (русский и австрийский. — О. Е.) имеют неприятельские виды против Порты и совершенно намерены разорвать мир с нею... почему бесполезно ей соглашаться на их притязания; ибо, получая одно, станут они требовать от часу больше, и, наконец, Порта принуждена будет прибегнуть к отпору оружием; следовательно, лучше теперь за оное приняться, нежели, оказав соглашением на все свою слабость, решиться на войну, когда уже способное к тому время потеряно будет. Визирь, рассуждая о новом сем подвиге прусского короля, турецкой присловицею отозвался так: человек сей желает произвести пожар только для того, чтобы погреться»^[900].

В следующем донесении 15 (26) августа Булгаков сообщал, что ему, возможно, удастся склонить Турцию к признанию включения ханства в состав России. «О Крыме по-прежнему не говорят. Я готов ежеминутно на все противоборства, но осмеливаюсь всеподданнейше представить, не соблаговолено ли будет удостоить меня уже теперь наставлением, каким

угодно образом привести к концу сие дело? На случай ежели здесь на то поддадутся»^[901]. Появилась надежда избежать войны.

Подобное развитие событий утешало императрицу. «Много дел совершенных в короткое время, — писала она 18 августа. — На зависть Европы я весьма спокойно смотрю. Пусть балагурят, а мы дело делаем»^[902].

Итак, к августу 1783 года операция по присоединению Крыма была завершена. Расчет светлейшего князя оказался верен: затянув введение войск на полуостров до середины июля, он сумел избежать начала войны с Турцией летом 1783 года. Осенью константинопольский диван колебался и принимал вялые оборонительные меры; наконец, в начале зимы турецкая сторона склонилась к отказу от военного конфликта. 8 января 1784 года султан Абдул-Гамид дал Булгакову письменное согласие признать власть России над Крымом.

На грани войны

В январе 1784 года Потемкин вернулся в Петербург. Он был еще слаб после перенесенной болезни. «Браниться с тобой за то хочу, для чего в лихорадке и в горячке скачешь повсюду»^[903], — упрекала его Екатерина осенью 1783 года. «Я ведаю, как ты не умеешь быть больным... Поберегись ради самого Бога, важнейшее предприятие в свете без тебя оборотится в ничто»^[904]. Щадя корреспондентку, князь не сообщал ей о своем тяжелом состоянии. «От посторонних людей слышу, что маленько будто легче тебе»^[905]. «Дай Боже, чтоб ты скорее выздоровел и сюда возвратился; ей, ей, я без тебя как без рук»^[906], — писала императрица в октябре.

Срочный приезд Потемкина был необходим Екатерине не только из-за сложной обстановки в Европе, грозившей в любой момент разразиться новым конфликтом. «Теперь ожидаю с часу на час объявления войны по интригам французов и прусаков»^[907], — сообщала она 26 сентября. Положение при дворе тоже нельзя было назвать благополучным.

Казалось, после присоединения Крыма в столице Григория Александровича должен был ждать триумф. Однако весна 1784 года стала одним из самых опасных моментов в его карьере. Узнав о серьезной болезни светлейшего, активизировали деятельность враждебные Потемкину группировки. Великий князь Павел обронил в беседе с

матерью, что европейские державы, особенно Франция, Пруссия и Швеция, не станут спокойно смотреть на завоевание полуострова и усиление России на Черном море^[908]. Конечно, он говорил не только от себя лично. За его спиной стояла прусская партия.

В это же время фельдмаршал Румянцев, поддержанный Воронцовым и Завадовским, потребовал для себя инструкций на случай разрыва с Турцией. «Пишет ко мне, что по причине настоящего кризиса о мире или войне, надлежит... все иметь в готовности для снабжения войск ...и просит меня, чтоб я ему наставление давала и сообщить приказала известие и о корпусах Кубанских, кои выступить могут или будут в его команде по объявлении войны»^[909], — жаловалась Екатерина 19 октября. Румянцеву подчинялись только корпуса, расположенные на Украине. Крымским же, Кубанским и Кавказским корпусами, прилежавшими к предполагаемому театру военных действий, командовал Потемкин^[910].

Таким образом, старый фельдмаршал считал возможным распространить свое руководство на все войска, сосредоточенные по южной и юго-западной границе. В этом случае светлейший князь оказался бы подчинен Румянцеву. Екатерине не понравился подобный план. «Касательно снабжения войск ...я надеюсь, что ты, мой друг, понудишь, кого надлежит, — писала она Григорию Александровичу, — а касательно расположения корпусов, кажется, его сиятельству заботиться так же излишне, ибо слышу, что нужное ему от тебя сообщается». Еще в августе Екатерина обещала Потемкину: «Будь уверен, что не подчиню тебя никому, кроме себя»^[911]. Теперь, в начале 1784 года, она собиралась изменить положение Потемкина в системе официальных чинов Российской империи таким образом, дабы невозможна была даже сама мысль о подчинении Григория Александровича кому бы то ни было, кроме императрицы.

Удобный момент для такого шага наступил после приезда Потемкина в Петербург. К первым числам февраля 1784 года двор уже был осведомлен о письменном согласии султана Абдул-Гамида I признать власть России над Крымом и о ратификации царем Ираклием Георгиевского трактата. Это была большая победа, требовавшая щедрого «воздаяния». Момент для продвижения империи к Черному морю и на Кавказ оказался выбран светлейшим князем чрезвычайно удачно. Европейские державы, втянутые в войну американских колоний, сначала не смогли активно вмешаться в назревавший конфликт, а после заключения Версальского мира 3 сентября 1783 года были настолько истощены в финансовом отношении, что ограничились дипломатическими демаршами^[912]. Стало очевидным, что

мрачные пророчества противников Потемкина не сбылись, России удалось и на этот раз избежать войны.

Чувствуя, что после столь славного деяния власть светлейшего может еще усилиться, враги в очередной раз объединились против него. Адъютант Григория Александровича Л. Н. Энгельгардт, в 1784 году только начавший служить при Потемкине, описывает события, которым стал свидетелем:

«Князь жил во дворце; хотя особливый был корпус, но на арках была сделана галерея для прохода во дворец через церковь, мимо самых покоев императрицы.

Лишь только я вступил в свое лестное, по тогдашнему времени, звание, как по разным причинам государыня оказала к князю немилость, и уже он собирался путешествовать в чужие края, и экипажи уже приготавливались. Князь перестал ходить к императрице и не показывался во дворце; почему как из придворных, так и из других знатных людей никто у него не бывал; а сему следуя, и другие всякого звания люди его оставили: близ его дома ни одной кареты не бывало; а до того вся Миллионная была заперта экипажами, так что трудно было и проезжать. Княгиня Дашкова, бывшая в милости и доверенности у императрицы, довела до сведения ее, через сына своего, бывшего при князе дежурным полковником, о разных неустройствах в войске: что слабым его управлением вкралась чума в Херсонскую губернию, что выписанные им итальянцы и другие иностранцы, для населения там пустопорожных земель, за неприуготовлением им жилищ и всего нужного, почти все померли, что раздача земель была без всякого порядка, и окружающие его много злоупотреблений делали и тому подобное; к княгине Дашковой присоединился фаворит А. Д. Ланской.

Императрица не совсем поверила доносу на светлейшего князя и через особых верных ей людей тайно узнала, что неприятели ложно обнесли уважаемого ею светлейшего князя, как человека, способствовавшего к управлению государством; лишила милости княгиню Дашкову; ...князю возвратила доверенность.

Светлейший князь, в один день, проснувшись, на столе близ кровати видит пакет, положенный его камердинером из греков, Захаром Константиновым, и который прислан был от императрицы с тем, чтобы для сего князя не будить. Он, проснувшись и прочитав оный, закричал: „Попова!“ (так звали правителя его канцелярии). Я, бывши тогда дежурным, позвал его; князь подал ему бумагу и сказал: „Читай“. То был указ о пожаловании князя президентом Военной коллегии, то есть фельдмаршалом. Василий Степанович Попов, тогда бывший

подполковником, выбежал в комнату перед спальнею и с восторгом сказал: „Идите, поздравьте князя фельдмаршалом“. Я на тот раз один только и был. Вошел в спальню, поздравил его светлость. Он встал с постели, надел мундирную шинель, повязал на шею шелковый розовый платок и пошел к императрице (так он хаживал к ней по утрам). Не прошло еще и двух часов, как уже все комнаты его были наполнены, и Миллионная снова заперлась экипажами; те самые, которые более ему оказывали холодность, те самые более перед ним пресмыкались; двое, однако, во время его невзгоды показывали к нему приверженность, а именно камергеры: Евграф Александрович Чертков и Александр Федорович Талызин»^[913].

Добавим, что оба — старинные приятели Потемкина еще с гвардейских времен, а Чертков еще и свидетель на тайном венчании с императрицей. Что заставило Дашкову действовать против светлейшего князя? Возможно, это была «маленькая месть» Екатерины Романовны за полутораговую интригу, в которую ее вовлек князь и которая окончилась для семьи Дашковой, впрочем, как и для Англии, ничем. Но еще вероятнее, что княгиня озвучила здесь позицию своего брата Александра Воронцова, с партией которого оказалась связана по возвращении в Россию. Именно эта группировка неустанно распространяла слухи о «неустройствах в войске» и «слабом управлении», которые якобы допускал Потемкин. Правда, зная взаимную неприязнь княгини и Ланского, трудно поверить, что фаворит «присоединился» к обвинениям.

Так 2 февраля Григорий Александрович получил чин фельдмаршала, стал президентом Военной коллегии и генерал-губернатором вновь присоединенных земель. В тот же день Екатерина подписала указ об образовании Таврической губернии, вошедшей в обширное наместничество Потемкина^[914]. Ко 2 февраля относится короткая записка императрицы своему корреспонденту: «Я сейчас подписала все касательно Тавриды, только прошу тебя не терять из вида умножение доходов той области и губернии Екатеринославской, дабы оплачивали издержки, на них употребленные»^[915].

Потемкин предлагал широкую программу развития новых территорий, включавшую строительство городов, портов и верфей, заведения в Крыму пашенного земледелия, виноградарства, шелководства, элитного овцеводства, а также заселение пустынных территорий многочисленными колонистами^[916]. Осуществление этих замыслов требовало серьезных финансовых вложений. Даже среди сторонников продвижения России к Черному морю мало кто верил, что «бесплодные» крымские земли

способны приносить казне доход. Противники же Потемкина называли деньги, потраченные светлейшим князем на освоение Северного Причерноморья, пущенными на ветер^[917]. Эту мысль проводила группировка Воронцова — Завадовского, повторявшая скептические отзывы Иосифа II о нецелесообразности хозяйственного развития Крыма^[918].

Хотя императрица и согласилась с планами Потемкина «касательно Тавриды», у нее все же оставались сомнения на счет возможности умножить доходы «той области» и окупить издержки. Лишь после посещения Крыма в 1787 году Екатерина сама убедилась в правоте Григория Александровича, до этого она скорее доверяла его интуиции. «Говорено с жаром о Тавриде, — записал 21 мая 1787 года в дневнике статс-секретарь А. В. Храповицкий. — „Приобретение сие важно; предки дорого заплатили за то; но есть люди мнения противного... А. М. Дмитриев-Мамонов молод и не знает тех выгод, кои через несколько лет явны будут“»^[919]. 20 мая 1787 года императрица писала из Бахчисарая московскому генерал-губернатору П. Д. Еропкину: «Весьма мало знают цену вещам те, кои с уничтожением бесславили приобретение сего края: и Херсон, и Таврида со временем не только окупятся, но надеяться можно, что если Петербург приносит осьмую часть дохода империи, то вышеупомянутые места превзойдут плодами бесплодные места»^[920], то есть балтийское побережье.

Сама Екатерина, в отличие от скептиков, оказалась способна оценить выгоды «приобретения», но для этого ей необходимо было увидеть земли Новороссии и Тавриды собственными глазами. Перспективы развития края, ясные для Потемкина, много времени проводившего на юге, были для императрицы в начале 1784 года еще не столь очевидны. Именно поэтому она сразу после присоединения Крыма захотела посетить новые губернии. 17 сентября 1783 года она писала Потемкину: «Вести о продолжении прилипчивых болезней Херсонских не радостные. Много ли там умерло ими? Отпиши, пожалуй, и нет ли ее между посланными матросами и работниками; по причине продолжения оной, едва ли поход мой весною сбыться может»^[921].

В начале апреля 1784 года Потемкин вновь возвратился на юг, чтоб лично руководить обустройством вверенных ему губерний и установить карантин^[922]. Перед отъездом он составил для Екатерины записку о греческом языке. Весной 1784 года императрица трудилась над особым наставлением «О учении» великих князей Александра и Константина,

которое было подписано 13 марта^[923]. Любопытно, что этот пространный документ готовился, подобно важнейшим государственным бумагам, с привлечением к его разработке Потемкина и Безбородко. Александр Андреевич скрепил наставление своей подписью «по листам», а светлейший князь провел общую правку текста и фактически заново составил раздел о языках. «Весьма, матушка, хороши и достаточны предписания. Я одно только желал бы напомнить, — говорил Потемкин, ознакомившись с первоначальным содержанием наставлений, — чтоб в учении языков греческий поставлен был главнейшим, ибо он основанием других. Невероятно, сколь много с оным приобретут знаний и нежного вкуса. Сверх множества писателей, которые в переводах искажены не столько переводчиками, как слабостью других языков, язык сей имеет гармонию приятнейшую и в составлении слов множество игры мыслей; слова технических наук и художеств означают существо самой вещи, которые приняты во все языки. Где Вы поставили чтение Евангелия сообразно с латинским языком, тут греческий пристойнее, ибо на нем оригинально сие писано»^[924]. Прочитав эту записку, Екатерина пометила: «Переправь по сему». Нужные изменения были внесены, а само послание Потемкина почти целиком вошло в документ. «Греческий... должен почитаться главнейшим из тех языков, кои их высочествам полезны быть могут»^[925], — сказано в окончательном тексте.

Великий князь Константин Павлович, к которому раздел о греческом языке был обращен в первую очередь, оказался весьма способным учеником. «Он... владеет четырьмя языками, — писала о нем Екатерина в сентябре 1790 года барону Гримму, — но вместо английского, на котором говорит старший, он изучал все диалекты греческого. Раз он говорит брату: „Что это за дрянные французские переводы вы читаете, братец? Я так читаю все в подлинниках“. И, увидя у меня в комнате Плутарха, он сделал замечание: „Вот такое-то и такое-то место очень дурно переведено; я переведу его лучше и принесу вам“. И в самом деле, он принес мне несколько отрывков, которые перевел по-своему и подписал внизу: переведено Константином»^[926].

Пока императрица была занята семейными делами, подбирая воспитателей и наставников для двух своих старших внуков, Потемкин торопился на Юг. В Крыму и Новороссии не стихала эпидемия чумы. Обстановка усугублялась еще и тем, что на приобретенные Россией земли начался стихийный приток населения из-за границы с Турцией. «Известия из Молдавии гласят, что молдаване завидуют состоянию Тавриды и что

запорожцы беглые просят паки к нам, также и вышедшие из Крыма татары назад идут»^[927], — предупреждала князя Екатерина 14 марта. Необходимо было принимать срочные меры по борьбе с распространением «язвы». В несохранившемся письме 5 апреля из Дубровки Григорий Александрович намекал корреспондентке, что столь желанное для нее путешествие должно быть отложено. «Скажи ты мне, друг мой, начисто, — просила Екатерина 15 апреля, — буде думаешь, что за язвою или другими препятствиями в будущем году в Херсоне побывать мне не удастся, могу тогда ехать до Киева». Какие же «другие препятствия», помимо «язвы», заставляли Григория Александровича вновь просить о передвижении сроков поездки?

Переписка с Булгаковым начала 1784 года показывает, что светлейший князь планировал совершить официальный визит в Константинополь для личного ведения переговоров. Яков Иванович приветствовал эту идею, указывая, что приезд Потемкина мог бы состояться уже будущим летом. «Здесь почитают вашу светлость нашим верховным визирем... Бытность ваша здесь принесла бы несказанную пользу нашим делам»^[928], — доносил посол. Едва ли князь желал, чтобы путешествие Екатерины на Юг состоялось в его отсутствие. Еще в середине 1783 года, когда Булгаков прилагал усилия к подписанию торгового договора, у Потемкина возникла мысль о заключении русско-турецкого оборонительного трактата, признававшего новые приобретения империи на Юге. «Трактаты дружбы и коммерции полезны будут, — писала ему по этому поводу Екатерина, — но оборонительный и наступательный может впутать в такие хлопоты, что сами не рады будем; это французская замашка противу Константина II»^[929].

Потемкин отвечал императрице на том же листе: «Это не может быть дурно и заслуживает большого внимания. Я давно извещен от самих турков, что такое дело им желательно». 10 июня 1783 года был заключен торговый договор России с Турцией, 15 (26) июня 1783 года Булгаков сообщал: «До подписания почитался он невозможным... Подписание трактата произвело здесь всеобщую радость. Скорая размена ратификаций может еще больше послужить для желанного дел оборота»^[930]. Видимо, Потемкин рассчитывал, опираясь на этот успех, расширить контакты с Турцией и подвести Константинополь к заключению межгосударственного соглашения, гарантировавшего владения обеих сторон. Однако Екатерина скептически относилась к этой идее. Она подозревала Францию в незаметном навязывании России подобного договора с целью предотвратить восстановление Греческой империи.

В письме Екатерины 25 апреля из Царского Села звучит плохо скрываемая тревога: «Носится слух по здешнему народу, будто язва в Херсоне по-прежнему свирепствует и будто пожрала большую часть адмиралтейских работников. Сделай милость, друг мой сердечный, примись сильной рукой за истребление херсонской язвы. Употребляй взятые меры при московском несчастье: они столь действительны были, что от сентября по декабрь истребили смертельную болезнь; прикажи Херсон расписать на части, части на кварталы, к каждому кварталу приставь надзирателей, кои за истребление язвы бы ответствовали; одним словом, возмись за дело то, как берешься за те дела, коим неослабной успех дать хочешь; ты умеешь ведь взяться за дела, установи карантин и не упустит ни единой меры»^[931]. Едва ли подобные напоминания были уместны. Светлейший князь в это время принимал энергичные действия по локализации очагов эпидемии^[932].

Однако борьба с чумой в Крыму, среди населения недавно присоединенных земель, не говорившего по-русски и не привыкшего соблюдать карантин, была затруднена по сравнению с Москвой. «Хорошо бы было, если б каждую татарскую деревню для пресечения язвы можно бы было до того довести, чтоб наблюдали обряд тот, который у нас каждая деревня наблюдает в подобном случае; скорее пресеклась бы зараза»^[933], — писала императрица еще в августе 1783 года. В конце мая 1784 года противоэпидемические мероприятия принесли первые плоды: чума прекратилась в Кизикермене. «Дай Боже, то же узнать скорее и об Херсоне»^[934], — писала Екатерина 28-го числа.

На фоне этих писем императрицы глубоким непониманием звучат слова Иосифа II, сказанные им графу Л. Сегюру во время поездки в Крым в 1787 году: «В продолжение трех лет в этих вновь приобретенных губерниях, вследствие утомления и вредного климата болотистых мест, умерло около 50 000 человек; никто не жаловался, никто даже и не говорил об этом»^[935]. В реальности борьба с постоянно заносимыми с турецких земель эпидемиями «язвы» и вспышками желудочно-кишечных заболеваний среди колонистов была одной из важных тем переписки Екатерины и Потемкина. Причем корреспонденты не смущались вникать в самые неприглядные подробности дела. «Весьма жалею, что в Херсоне болезни умножаются; здесь говорят, будто ни единого здорового нет, и все больны поносом, — писала императрица 27 августа 1787 года. — Вы бы запаслись в Херсоне и в тех местах, где поносы, пшеном сарацинским^[2]... Когда оно будет дешево, тогда все будут покупать, а больных и даром

накормить можно»^[936].

Исследования численности населения России в XVIII веке, проведенные В. М. Кабузаном, показывают, что в Херсонской губернии с 1776 года, то есть со времени управления ею Потемкиным, прирост составил 146 % и являлся самым высоким по стране. Причем основная часть — 67 % — населения была представлена государственными крестьянами. Число жителей Екатеринославской и Херсонской губерний увеличилось в эти годы со 154 до 357 тысяч человек, а Крыма (Таврической губернии) — с 36 931 души мужского пола в момент присоединения к России до 150 тысяч человек в 1790 году. Ученый отмечает, что «население быстро увеличивалось благодаря не только переселенческому движению, но и повышенному естественному приросту»^[937]. Повышенный же прирост едва ли возможен в условиях каторжного труда и постоянного мора. Недаром Екатерина заметила, что Иосиф II «видит другими глазами»^[938].

ГЛАВА 10

«ОБЩИЙ ВРАГ»

В 1783 году на русском поэтическом небосклоне ярко засияла звезда Гаврилы Романовича Державина. Как это часто бывает, литератор творил давно и не без успеха, но по-настоящему известным его сделало одно произведение — ода «Фелица», посвященная Екатерине II. С этого момента Державин не просто государственный чиновник, пописывающий стихи, он — первый русский поэт среди современников.

Подай, Фелица! наставленье:
Как пышно и правдиво жить,
Как укрощать страстей волненье
И счастливым на свете быть?

Это был вопрос эпохи: как жить в свое удовольствие и избежать порока? Как сочетать богатство и праведность? Власть и счастье? О том, что подобные вещи порой несоединимы, задумывались немногие. Русский XVIII век слишком любил радости жизни и изо всех сил старался согласовать их с христианскими добродетелями, даже если «румяный окорок вестфальский» не слишком гармонировал с постным столом.

Молчание «Мурзы»

Следом за «богоподобной царевной» Державин описал ее «мурз». Примечательно, что Потемкин показан из них первым:

А я, проснувшись по полудни,
Курю табак и кофе пью;
Преображая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою:
То плен от персов похищаю,
То стрелы к туркам обращаю;
То, возомнив, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;

То вдруг, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан...

Потом выведены и братья Орловы, и генерал-прокурор А. А. Вяземский, и другие. Все они, за исключением Григория Александровича, как вспоминал сам поэт, обиделись на «сатиру». Князь же не проявил никакого неудовольствия. Между тем причины «надуться», подобно остальным, у светлейшего были. Его образ дан в нарочито сниженной трактовке. На нем лежит печать сиюминутности и несерьезности. Известна страсть князя к грандиозным зрелищам, преображающим «в праздник будни». Многие из его проектов называли «химерами». Бранили за властолюбие, в котором он будто бы уподобляется «султану», и мнимое легкомыслие...

Вся ода строилась на антитезе мудрой Фелицы и ее мурз, которым она «не подражает». Сам Державин прекрасно понимал опасность игривого тона, с которым взялся описывать сильных мира сего. «Фелица» появилась еще в 1782 году, но поэт не осмелился предать ее огласке. Он посоветовался с друзьями — архитектором Н. А. Львовым и стихотворцем В. В. Капнистом, которые решили, что оду лучше спрятать. Причем особенно сильно боялись именно Потемкина^[939].

Однако шила в мешке не утаишь. Через несколько месяцев переводчик О. П. Козодавлев, живший в одном доме с Державиным, увидел стихи у того на столе, упросил дать ему почитать, по секрету познакомил с ними И. И. Шувалова, а уже тот рассказал Потемкину. Князь затребовал «Фелицу» к себе. Это вызвало переполох в семействе Державина. «Не переписать ли и выбросить те куплеты, которые к нему относятся? — вспоминал Гаврила Романович предложение Шувалова. — Автор, подумав, сказал, что нет: извольте отослать, как они есть, — рассудя в мыслях своих, что ежели что-нибудь выкинуть, то показать тем умысел на оскорбление его чести, чего никогда не было, а писано сие творение из шутки на счет всех слабостей человеческих»^[940].

Реакции Потемкина не последовало. Князь промолчал. Державин даже сомневался, передал ли Шувалов оду. Но надо думать, что передал, иначе зачем было затевать маленькое «шиканство» с пересказом первому «мурзе» обидных для него мест? Впрочем, у Григория Александровича тогда не было времени заниматься стихами. В начале 1783 года он спешил на Юг и в течение всего года с головой был погружен в крымские дела. Державин уже с облегчением решил, что о «Фелице» забыли. Но нашлись доброжелатели,

которые не дали Потемкину запомнить на сей счет. Ода ожидала его как своеобразное поздравление с присоединением Крыма. И хотя Державин, стараясь загладить «вину», написал другую оду — «На приобретение Крыма», — главным подарком все-таки была «Фелица».

В 1783 году директор Академии наук Е. Р. Дашкова начала издание «Собеседника любителей русского слова». Козодавлев, состоявший при ней советником, подсуетился и тут. Он принес Дашковой «Фелицу», которая без ведома Державина и без обозначения его имени была опубликована 20 мая в первой книге журнала. Дашкова поднесла номер Екатерине, та прочла и была глубоко тронута. «Ты видишь, я, как дура, плачу», — сказала она княгине. Поэт был щедро награжден. Императрица восприняла оду именно как веселую литературную шутку и даже разослала экземпляры «Фелицы» своим вельможам, «подчеркнув те строки, что до кого относится». Так «мурзы» узнали о «похвалах» в свой адрес. Державину это вышло боком. «Многие на него разгневались из вельмож за сии стихи, — вспоминал он в „Предварительных примечаниях“ к своим сочинениям. — ...Многие происходили толки и, словом, по всему государству был великий шум»^[941].

Потемкин опять промолчал. А ведь помещали «Фелицу» в «Собеседник» не без умысла. Кроме заботы о русском слове, Дашкова хотела предать огласке сатиру на вельмож, с которыми у нее складывались непростые отношения. Современному читателю трудно понять, что вызвало «великий шум по всему государству». Ничего злобного или заведомо оскорбительного в стихах нет. В крайнем случае вельможа мог поморщиться и отложить журнал. Однако в те времена действовал принцип: «Чин чина почитай», а Державин прежде всего был чиновником и не имел права посмеиваться над теми, кто стоял выше его. Шутка ломала жесткие границы субординации, ставила стихотворца как бы на одну доску с теми, над кем он подтрунивал. Этого многие потерпеть не могли, какой бы мягкой ни была сатира.

Алексей Орлов, например, описан куда доброжелательнее Потемкина: «Имея шапку набекрене, / Лечу на резвом скакуне...» И тем не менее оскорбился до крайности. Как и другие «мурзы». А вот «султан» и «поскакун» как будто не обратил внимания. Возможно, Потемкин просто не находил сходства между собой и тем человеком, какого в нем видело столичное общество. А может быть, не считал нужным обижаться на подобные вещи.

Позднее мы увидим, как князь не отреагировал на довольно болезненное и, скажем прямо, несправедливое изображение его в

«Путешествии из Петербурга в Москву». Даже уговаривал Екатерину пропустить высказывания А. Н. Радищева мимо ушей. Императрица не смогла. Она была слишком самолюбивым человеком. А что же Потемкин? Его честолюбием, казалось, можно двигать горы. И в то же время Григорий Александрович, по точному выражению принца Ш. де Линя, «всегда извинял несправедливость, причиненную ему лично». Был выше этого. Муж императрицы не мог реагировать на колкости, обращенные к временщику.

«Французская» семья

Какие же отношения связывали наших героев после того, как их бурный роман исчерпал себя? Разрыв Екатерины с Потемкиным причинил душевную боль обоим. Однако именно с этого момента императрица обрела подобие семьи. Того спокойного и надежного места, где она могла расслабиться, быть самой собой, получить помощь, совет, душевную поддержку. С годами Екатерина и Григорий Александрович даже на людях стали держаться как женатая пара.

Что же это была за семья, где мужа и жену объединяла не любовь, а дружба? Не ложе, а кабинет? Ответить на поставленный вопрос невозможно, если не обратиться к тем изменениям, которые внесла в семейную мораль эпоха Просвещения. Философия, управлявшая умами образованного общества, стремилась решительно порвать со «средневековыми» устоями. Вольтер высмеивал «ханжество» и «лживость» церковных обрядов, соединяющих браком двух чужих друг другу людей, ради приумножения богатств их родов и возвышения фамилий на социальной лестнице. Однако было бы ошибкой считать, что философы-просветители призывали вообще отказаться от семьи. Напротив, они внушали своим читателям лишь «трезвое» отношение к браку как к выгодной сделке и советовали просвещенным людям, не портя жизнь друг другу, искать любовь подальше от семейного очага. Супружеская же пара, по мысли французских «моралистов» нового времени, должна была стать союзом сугубо дружеским. Подобный стиль поведения уже настолько привился среди европейского дворянства, что супружеская верность считалась почти неприличной и смешной.

В начале своего союза с императрицей Григорий Александрович, отдававший предпочтение православной этике перед французской философией, пытался навязать августейшей супруге брак по всем

церковным канонам. Екатерина старалась принять подобную форму совместной жизни. Оба при невероятных усилиях продержались полтора года. И не только потому, что на хрупкую скорлупу их маленькой семьи оказывалось колоссальное давление придворных интриг. Но еще и потому, что при всей верности Потемкина религиозным представлениям, при всей глубине исповедуемой им православной морали и он, и его возлюбленная были людьми эпохи Просвещения. Они уже вкусили ее плоды и не могли отказаться от той культурной среды, в которой воспитывались и учились думать.

Сделав интеллектуальный выбор в пользу греческой культуры, Потемкин в быту не мог перешагнуть через маленькие соблазны «просвещенных» семейных отношений. Тем более легко относилась к ним Екатерина, всегда предпочитавшая свободу ума и свободу духа требованиям жесткой религиозной дисциплины чувств и мыслей. Поэтому между Потемкиным и его августейшей покровительницей возник и удержался на всю жизнь именно французский «просвещенный» брак, который предпочитала императрица.

Подобный брак не только не исключал, но и предполагал наличие у супругов любовников и любовниц, к которым муж и жена взаимно должны были проявлять снисходительность и дружелюбие. Так и произошло. Императрица оказывала знаки внимания поклонницам князя, которые гроздьями висели на его эполетах. С другой стороны, каждый новый фаворит мог занять свое место только после согласия Потемкина — слишком уж важен был пост «вельможи в случае», чтобы его мог занять случайный человек.

На личных взаимоотношениях Екатерины и Потемкина это отражалось мало: оба стояли слишком высоко над остальными и слишком ценили свой союз, дававший огромные государственные плоды. После смерти Григория Александровича в 1791 году императрица писала старому корреспонденту барону М. Гримму о своем потерянном супруге: «В нем было... одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей: у него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил»^[942].

Встречались, правда, разные недоразумения. Ведь каждый фаворит, ощущая свою силу, рано или поздно пытался вступить в противоборство с Потемкиным. Тогда Екатерина отказывалась от «случайного», обычно без всякого сожаления и даже с чувством гнева на слишком много возомнившего о себе любовника. Так произошло с Зоричем, Корсаковым,

Ермоловым...

Как мы помним, Потемкин сам способствовал сближению Екатерины с темпераментным сербом. Однако вскоре благосклонность Григория Александровича к храброму рубака уменьшилась. Последний окружил себя толпой прихлебателей, которым обещал офицерские чины. «Зорич набрал всякой сволочи в эскадрон, в который положено с переменою брать из полков гусарских, — писал Потемкин Екатерине. — Теперь из таковых представляется в кавалергарды некто Княжевич, никогда не служивший и все у него ходил в официантской ливрее. Восемь месяцев как записал и прямо из людей в офицеры»^[943]. Все представления шли через Военную коллегию, президент которой З. Г. Чернышев не решался отказать фавориту, зато вице-президент посчитал своим долгом пресечь практику предоставления офицерских чинов в гвардии «ливрейным служителям». Прямые увещевания Зорича не помогли, и Потемкин написал Екатерине раздраженную записку. Резолюция императрицы гласила: «Ливрейные служители мне не надобны в кавалергардии, а Зоричу запретите именем моим кого жаловать и пережаловать».

Фавор Зорича длился одиннадцать месяцев. Попытки Семена Гавриловича войти в конфронтацию с Потемкиным кончились его отставкой. Зорич отправился в белорусское имение в Шклов, где построил великолепный дворец и превратил его в центр карточных игр и развлечений. На несколько лет заштатный городишко стал белорусским «Монако». Туда съезжались богатые игроки из России, Польши и Германии, пускали по ветру миллионы и веселились в свое удовольствие. Сам город украсился каменными зданиями, Зорич на личные средства содержал гимназию и кадетский корпус.

«Ни одного не было барина в России, который бы так жил, как Зорич, — писал адъютант Потемкина Л. Н. Энгельгардт. — Шклов был наполнен живущими людьми всякого рода, звания и нации; многие были родственники и прежние сослуживцы Зорина и жили на его совершенном иждивении; затем отставные штаб и обер-офицеры, не имеющие приюта, игроки, авантюристы, иностранцы, французы, итальянцы, немцы, сербы, греки, молдаване, турки. Словом, всякий сброд и побродяги; всех он ласково принимал, стол был для всех открыт... Польская труппа была у него собственная. Тут бывали балы, маскарады, карусели, фейерверки, иногда его кадеты делали военные эволюции, предпринимали катания на воде. Словом, нет забав, которыми бы хозяин не приманивал к себе гостей. Его доходы были велики, но такого рода жизнь ввела его в неоплатные

долги»^[944].

Под покровительством Зорина его родственники братья Зановичи наладили в имении выпуск фальшивых ассигнаций. Раскрыть аферу «посчастливилось» опять-таки Потемкину, потому что именно ему обманутые еврейские торговцы принесли жалобу. «Со времени случая Зорича, — рассказывал Энгельгардт, — они между собою были неприятели; хотя князь и не имел к Зоричу ненависти, но тот всегда думал, что тот к нему не благоволит; чтобы доказать противное, светлейший князь остается в Шклове на целый день. Один еврей просил позволения переговорить с князем наедине...» Он показал Потемкину ассигнацию: «Видите ли, ваша светлость, что она фальшивая?» Сначала князь ничего не заметил, «так она хорошо была подделана, подпись сенаторов и разными чернилами, казалось, не могла быть подвергнута ни малейшему сомнению». Тогда еврей-проситель обратил внимание Потемкина, что вместо слова «ассигнация» написано «ассигиация», и сообщил, что выпуском занимаются «камердинер графа Зановича и карлы Зоричевы».

Потемкин дал еврею тысячу рублей, приказав, чтобы тот поменял их на фальшивые и привез их ему в местечко Дубровну неподалеку от Шклова. Из Дубровны Потемкин послал за отцом Энгельгардта, местным губернатором. «Видишь, Николай Богданович, у тебя в губернии делают фальшивые ассигнации, а ты и не знаешь? — сказал он. — Как скоро я проеду Могилев, то ту же минуту поручи уголовной палаты председателю Малееву произвести следствие, не щадя ни самого Зорича, ежели будет в подозрении; я для того не хочу, чтобы ты сам следовал, чтобы в изыскании вины Зорича и его друзей-плутов не был употреблен Энгельгардт, мой родственник»^[945].

Потемкин понимал, что его обвинят в личном недоброжелательстве к Зоричу. Следствие вскрыло причастность к афере Зановичей бывшего фаворита, которому они обещали помочь выпутаться из долгов. Сами хитрецы, как оказалось, давно находились в розыске в Венеции и Париже, поскольку, путешествуя по Европе, «везде находили простачков» и разными способами выманивали у них деньги. Зановичи были арестованы и препровождены в крепость «Балтийский порт». Семену же Гавриловичу удалось оправдаться в личном разговоре с Екатериной. Скорее всего, императрица не поверила в его невиновность, но уголовное преследование прежнего любовника косвенным образом бросало на нее тень, поэтому дело предпочли замять. «Можно сказать, две души имел, — отзывалась о нем Екатерина. — Любил доброе, но делал худое, был храбр в деле с

неприятелем, но лично трус»^[946].

Зорича сменил Иван Николаевич Римский-Корсаков, также адъютант Потемкина. История его удаления еще ярче рисует характер отношений в семейном треугольнике: Екатерина, светлейший князь и очередной фаворит. Императрица именovala Корсакова «Пирром, царем Эпирским», подчеркивая античную красоту любимца. Называла его «милым дитятей» и «лучшим Божеским сотворением». Но в 1778 году он неожиданно впал в немилость. При дворе дело объясняли тем, что Корсаков изменил Екатерине с графиней П. А. Брюс. В личной записке бывшему фавориту императрица дает другую версию событий. Оказывается, очаровательный Пирр сблизился с недоброжелателями Потемкина и назвал князя «общим врагом». «Общим врагом»! Этого было достаточно, чтобы самоуверенный мальчик, как ядро из пушки, вылетел из покоев Зимнего дворца и, не оглядываясь, мчался до самой Москвы.

«Ответ мой Корсакову, который назвал князя Потемкина общим врагом, — писала императрица. — ...Буде бы в обществе или в людях справедливость и благодарность за добродетель превосходили властолюбие и иные страсти, то бы давно доказано было, что никто вообще друзьям и недругом и бесчисленному множеству людей [не] делал более же неисчислимого добро, начав сей счет с первейших людей и даже до малых. Вреда же или несчастья [не] нанес ни единой твари, ниже явным своим врагам; напротив того, во всех случаях первым их предстателем часто весьма оказался. Но как людским страстям упор нередко бывает, для того общим врагом наречен. Доказательство вышеписаному нетрудно сыскать; трудно будет именовать, кому делал несчастье. Кому же делал добро, в случае потребном подам реестр тех одних, кого упомяну»^[947].

Потемкин именно потому и был ценен для Екатерины, что умел давать «упор», то есть отпор «людским страстям», в частности «властолюбию», кипевшему вокруг трона. Любовника выставили из дома за попытку конфронтации с мужем. Этот урок должны были усвоить и другие кандидаты на пост фаворита.

Со следующим «случайным вельможей», можно сказать, повезло и императрице, и ее фактическому соправителю. Александр Дмитриевич Ланской был мягок, добр и нарочито не вмешивался в государственные дела. Он на 19 лет был моложе Екатерины, однако современники единодушны, отмечая искреннее чувство, которое Ланской питал к государыне. Он происходил из-под Смоленска, пользовался покровительством Потемкина, некоторое время был его адъютантом, а в

1779 году стал новым фаворитом. «Ланской молод, хорошо сложен и, говорят, человек очень покладистый, — доносил о нем Гаррис. — Это событие усилило власть Потемкина»^[948]. Фон Герц сообщал, что новый фаворит — «добрый малый, приятен, скромен, любит заниматься немецким языком и выслушивать за это похвалы»^[949]. Лишь двое мемуаристов были не расположены к Александру Дмитриевичу. М. М. Щербатов писал: «Каждый любовник... каким-нибудь пороком за взятые миллионы одолжил Россию... Ланской жестокосердие поставил быть в чести»^[950]. Впрочем, памфлетист не приводит примеров жестокости Александра Дмитриевича.

Княгиня Дашкова куда говорливее. Мы уже упоминали о ее споре с Ланским по поводу «Санкт-Петербургских ведомостей». В праведном гнев княгиня произнесла тогда «пророческие слова»: «Лицо, во всех своих поступках движимое только честностью... нередко переживает те снежные или водяные пузыри, которые лопаются на его глазах... Через год, летом, Ланской умер и в буквальном смысле слова лопнул: у него лопнул живот»^[951]. Весьма прискорбный факт, по поводу которого княгиня в «Записках» испытывает почти торжество. Что же случилось?

Со времени начала фавора прошло более четырех лет, а «случай» Ланского и не думал клониться к закату. Однако в 1784 году молодой человек подхватил скарлатину, осложнившуюся грудной жабой, и буквально угас на глазах. Екатерина была безутешна. В записках его лечащего врача Вейкарта сказано, будто бы больной истощил свои силы приемом возбуждающих средств, вроде шпанской мушки. Но даже историк-популяризатор Валишеский подозревал, что Вейкарт обижен на Ланского за то, что тот предпочел ему русского врача Соболевского^[952]. К несчастью, услуги последнего не помогли. 25 июня Александр Дмитриевич скончался.

Императрица была потрясена случившимся. Она-то думала, что наконец нашла тихую гавань, что подле нее человек, рядом с которым она сможет спокойно стареть. Ей было пятьдесят пять — не время для новых привязанностей. Екатерина на два с половиной месяца затворилась в своих покоях и почти никого не принимала. Из добровольного заточения она писала Гримму: «Я, наслаждавшаяся таким большим личным счастьем, теперь лишилась его. Утопаю в слезах... Вот уже три месяца, как я не могу утешиться после моей невознаградимой утраты. Единственная перемена к лучшему состоит в том, что я начинаю привыкать к человеческим лицам, но сердце также истекает кровью, как и в первую минуту»^[953].

Был лишь один способ привести Екатерину в чувство и вернуть к

работе. 29 июня А. А. Безбородко отправил Потемкину на Юг письмо о состоянии государыни: «Нужнее всего стараться об истреблении печали и всякого душевного беспокойства... К сему одно нам известное есть средство, скорейший приезд вашей светлости, прежде которого не можем мы быть спокойны. Государыня меня спрашивала, уведомил ли я Вас о всем прошедшем, и всякий раз наведывается, сколь скоро ожидать Вас можно»^[954]. После возвращения князя в Северную столицу Екатерина постепенно пришла в себя и 8 сентября появилась «на публике».

Лишь через десять месяцев после смерти Ланского императрица, повинувшись своей всегдашней склонности «ни на час быть охотно без любви», взяла себе нового фаворита. Это был Александр Петрович Ермолов, племянник близкого друга Потемкина В. И. Левашова, прозванный князем «Белый негр» за чересчур курчавые волосы и слегка приплюснутый нос^[955].

Связь Екатерины с Ермоловым не была ни прочной, ни особенно сердечной. Она походила на брак по расчету — императрица преследовала цель развеяться. При первом же неудовольствии Потемкина Ермоловым пожертвовали без особого сожаления. Молодой человек совершил традиционный промах. Он решил, будто его влияние на Екатерину достаточно, чтобы избавиться от князя и играть собственную политическую роль.

Ермолов сблизился с партией Александра Воронцова и не без его подсказки подал Екатерине письмо хана Шагин-Гирея из Калуги. Бывший владыка Крыма жаловался на то, что Потемкин якобы утаивает суммы, предназначенные на его содержание^[956]. Императрица отнеслась к делу без благосклонности, на которую рассчитывал Ермолов. Однако и светлейшему князю пришлось пережить несколько неприятных дней.

В мае-июне 1786 года отношения между нашими героями испортились. Возможно, они повздорили из-за Шагин-Гирея. Однако, судя по запискам в дневнике А. В. Храповицкого от 30 мая, государыня сама же оправдывала Григория Александровича, вспоминая случаи, когда неприятели клеветали ей на него. Помянула и Первую турецкую войну, когда Потемкин уговорил ее дать «полную мочь П. А. Румянцеву», что и привело к победе. Не забыла, что именно он сумел приструнить вельмож, делавших тогда «разные препятствия и остановки»: «Много умом и советом помог князь Потемкин. Он до бесконечности верен, и тогда-то досталось Чернышову, Вяземскому, Панину. Ум князя Потемкина превосходный, да еще был очень умен князь Орлов, который, подушаем

братьями, шел против князя Потемкина, но когда призван был для уличения Потемкина в худом правлении частью войска, то убежден был его резонами и отдал ему всю справедливость... Князь Потемкин глядит волком и за то не очень любим, но имеет хорошую душу; хотя дает щелчка, однако же сам первый станет просить за своего недруга»^[957].

«Щелчка» Потемкин собирался дать Ермолову, но задел и Екатерину. Надувшись, князь пару дней не присутствовал на обедах во дворце, а затем и вовсе уехал развлекаться. Даже 28 июня он не участвовал в торжестве по поводу годовщины восшествия Екатерины на престол. Это было уже вызывающе. Пошли толки, будто Ермолов вот-вот свалит Потемкина.

Этому поверил даже Сегюр: «К удивлению всего двора, Ермолов начал интриговать против Потемкина и вредить ему... Все недовольные высокомерием князя присоединились к Ермолову. Скоро императрицу обступили с жалобами на дурное правление Потемкина и даже обвиняли его в краже. Императрицу это чрезвычайно встревожило. Гордый и смелый Потемкин, вместо того чтобы истолковывать свое поведение и оправдываться, резко отвергал обвинения, отвечал холодно и даже отмалчивался. Наконец, он сделался не только невнимательным к своей повелительнице, но даже выехал из Царского в Петербург...

Негодование государыни было очень заметно. Казалось, Ермолов все более успевает снискать ее доверие. Двор... как всегда преклонился перед восходящим светилом. Родные и друзья князя уже отчаивались и говорили, что он губит себя своею неуместною гордынею. Падение его, казалось, было неизбежно: все стали от него удаляться... Что касается меня, то я нарочно стал чаще навещать его... Я откровенно сказал ему, что он поступает неосторожно и во вред себе, раздражая императрицу и оскорбляя ее гордость.

— Как! И вы тоже хотите, — говорил Потемкин, — чтобы я склонился на постыдную уступку и стерпел обидную несправедливость после всех моих заслуг? Говорят, что я себе врежу; я это знаю, но это ложно. Будьте покойны, не мальчишке свернуть меня: не знаю, кто бы посмел это сделать... Я слишком презираю своих врагов, чтобы их бояться...

— Берегитесь, — сказал я, — ...многие знаменитые любимцы царей говорили то же: „Кто смеет?“ Однако после раскаивались.

Мы расстались, и меня, признаюсь, удивило его спокойствие и уверенность. Мне казалось, что он себя обманывает. В самом деле, гроза, по-видимому, увеличивалась. Ермолов принял участие в управлении и занял место в банке, вместе с графом Шуваловым, Безбородко, Воронцовым и Завадовским. Наконец повестили об отъезде Потемкина в

Нарву. Родственники потеряли всякую надежду; враги запели победную песнь... Однако через несколько дней от курьера из Царского Села узнал я, что князь возвратился победителем, что он в большей милости, чем когда-либо, и что Ермолов получил 130 000 рублей, 4000 душ, пятилетний отпуск и позволение ехать за границу...

Когда я явился к Потемкину, он поцеловал меня и сказал: „Ну что, не правду ли я говорил, батюшка? Что, уронил меня мальчишка? Сгубила меня моя смелость? ...По крайней мере, на этот раз согласитесь, господин дипломат, что в политике мои предположения вернее ваших“»^[958].

Из записок Сегюра видно, что при всем личном расположении к Потемкину посол ложно понимал его место и потому не мог раскрыть источник уверенности князя в себе. Для дипломата он — «царский любимец». Для Екатерины — муж, размолвки с которым неизбежны, но преходящи. Ложно понимали положение Григория Александровича и почти все окружающие. С этим он жил много лет, но вряд ли смирился в душе. Стоило тени немилости напозднее на Потемкина, и толпа придворных «искателей» покидала его. Однако изнутри картина их отношений с императрицей выглядела совсем не так, как снаружи. 1786 год сильно отличался от 1776 года. Теперь за спиной Потемкина стояла серьезная сила в лице созданной им придворной партии, и его нелегко было скинуть даже в случае недовольствия государыни. Он мог позволить себе покапризничать, ведь к его капризам прислушивались.

Еще до возвращения Потемкина из столицы Екатерина объяснилась с Ермоловым. 16 июля он выехал из дворца, получив бессрочный отпуск. Императрица обратила внимание на нового кандидата, Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова, дальнего родственника и адъютанта Потемкина. 20 июля Екатерина, Григорий Александрович и очередной «случайный вельможа» втроем пили чай. За столом царил идиллия. Мамонов подарил своему покровителю золотой чайник с надписью: «Более соединены по сердцу, чем по крови»^[959]. Мир в маленькой семье Екатерины был восстановлен.

«Таков, Фелица, я развратен...»

Сам Потемкин тоже не считал нужным отказывать себе в радостях жизни. Державин вставил в оду строки, рисующие князя завзятым волокитой:

Или средь рощицы прекрасной
В беседке, где фонтан шумит,
При звоне арфы сладкогласной...
На бархатной диване лежа,
Младой девицы чувства нежа,
Вливаю в сердце ей любовь.

.....

Или великолепным цугом
В карете аглицкой, златой,
С собакой, шутом или другом,
Или с красавицей какой
Я под качелями гуляю...

Похождения Григория Александровича не являлись секретом для общества. Князя осаждали толпы поклонниц. До конца жизни он оставался очень красивым человеком. «Была какая-то очаровательная привлекательность в его наружности, — писал Самойлов. — Редко удачное сочетание женской мягкости и мужской твердости. Изящный, тонкий характер всей фигуры, до зрелого возраста сохранявший молодую свежесть. Лицо продолговато-овальной формы отличалось чистотой, ровным румянцем, белизной и оттенялось светло-каштановыми, вьющимися шелковистыми волосами. Тонкая, приятная улыбка красиво очерченных полных губ, и рот при детском, звонком смехе обнажал ряд ровных зубов как бы из молодой слоновой кости. Все это освещали глаза цвета бирюзы, которую он так любил. Из них один погиб, отсюда прозвище князя „Полифем“. Энергичный вид придавали ему брови, приподнятые к концам, разделенные правильно очерченным, несколько крупноватым орлиным носом. Широкая выпуклая грудь и округлые плечи при высоком росте и пропорциональности всего постава напоминали сложением античную статую. Сходство с нею усиливал наклон головы и стройный стан. Наружность его отдаляла от созерцателя мысль об искусственной гордости или властности, сквозившей в нем на общественных собраниях или перед фронтом. И даже угловатость решительных движений, опрокидывавших гостинные предметы, напоминала в нем „богатыря-смолянина“, каким и величала его Екатерина».

При такой внешности Григорий Александрович был обречен стать кумиром светских дам. Тот же Державин сообщал, что «Многие почитавшие Потемкина женщины носили в медальонах его портреты на

грудных цепочках»^[960]. Недаром Екатерина в одной из записок замечала, что «весь город, бесчисленное количество женщин на ваш счет ставят. И правда, нет большего охотника с ними возиться». Потемкин находил в дамском обществе огромное удовольствие. Казалось, он готов был часами заниматься с понравившимися ему женщинами, рассуждать о нарядах, забавлять их веселыми разговорами, давать в честь очередной «богини» балы и праздники^[961].

Все это — свойства человека светского, внешне свободного и сказочно богатого, чье желание тратить на развлечения с дамами немалые средства делало его волокитство особенно заметным. Если учесть, что князь постоянно пребывал на виду и внимание к его особе ни на миг не ослабевало (по удачному выражению Ш. Массона: «Когда его не было, все говорили лишь о нем; когда он находился в столице, никого не замечали, кроме него»^[962]), то каждое его мало-мальски серьезное увлечение становилось пищей для сплетен.

Однако Самойлов отметил важную особенность куртуазного поведения своего дяди: «Если он иногда имел сокровенные связи, то не обнаруживал оных явно, не тщеславился, подобно многим знаменитым людям, своими метрессами»^[963]. То есть при нескрываемых, иногда даже выставленных напоказ похождениях, Потемкин в некоторых случаях сохранял удивительную скромность. Ведь дама даме рознь. То, что для одной светской красавицы лишь предмет гордости — ее любовным трофеем стал сам светлейший князь, для другой — дело глубоко личное, способное погубить репутацию. Григорий Александрович умел чувствовать эту разницу и уважать тайны своих сердечных подруг. Поэтому об одних его возлюбленных современники знали даже чересчур много, а о других, пожелавших остаться в тени, — почти ничего.

Именно таким, скромным и очень грустным, был первый роман Потемкина после разрыва с императрицей. Поначалу Григорий Александрович искал утешения. В письме К. Г. Разумовского к М. В. Ковалинскому от 24 мая 1776 года сказано, что «утешительницей» стала Екатерина Алексеевна Синявина^[964]. По иронии полная тезка государыни. Дочь знаменитого адмирала А. Н. Синявина, она в 1771 году, совсем еще девочкой была пожалована во фрейлины и вскоре стала любимицей Екатерины. Именно ее императрица брала с собой в загородную поездку из Москвы, когда посещала имение графа З. Г. Чернышева в Яропольце^[965]. Одаренная музыкантша, Синявина прекрасно пела, играла на клавесине, была автором нескольких инструментальных произведений^[966]. Судя по

Камер-фурьерскому журналу, она часто выступала перед гостями Екатерины, например, в июне 1776 года в Царском Селе пела для прусского принца Генриха^[967].

Музыка, большим любителем и знатоком которой был Потемкин, как ничто другое врачует душу. Неудивительно, что в трагический момент Григорий Александрович потянулся к девушке, много певшей на его глазах в покоях императрицы. Сохранились портреты Синявиной кисти Д. Г. Левицкого, выполненные в 1781 году. Тонкое аристократичное лицо, полное ума и затаенной печали. Екатерина Алексеевна обладала редким для России «англизированным» типом лица, доставшимся ей от матери-шведки А. Н. фон Брадке.

Дама достойная, умная, настоящая красавица, заслуживала любви и счастья. Но князю нечего было предложить ей, кроме короткого романа. Несвободный Потемкин не мог устроить ее будущность. Поэтому рано или поздно они должны были расстаться. 18 августа 1781 года Синявина вышла замуж за генерал-майора Семена Романовича Воронцова. Ровно через девять месяцев, 16 мая 1782 года, у нее родился сын Михаил. Столь «плотно вписавшаяся» в календарь беременность наводит на мысль, что к моменту свадьбы девица Синявина уже нуждалась в муже.

Возможно, связь с Григорием Александровичем порвалась не сразу и еще давала о себе знать какое-то время. В таком случае уместен вопрос, какую фамилию на самом деле должен был бы носить Михаил Семенович Воронцов, знаменитый герой войны 1812 г., не менее знаменитый генерал-губернатор Юга России, фактически наследовавший Потемкину и как «светлейший князь», и как правитель Крыма. Его редкая, не воронцовская, щедрость и блестящие административные таланты, проявившиеся также именно на Юге, наводят на ряд размышлений.

Отметим, что неприязнь С. Р. Воронцова к Потемкину подкрепились еще и чувством ревности. Как бы то ни было, но Семен Романович оказался любящим мужем и прекрасным отцом. Их брак с Екатериной Алексеевной был прочен, во всяком случае, вне России. Синявина умерла от чахотки в 1784 году в Венеции, где Воронцов служил посланником, оставив на его руках двоих детей, которых он воспитал в Англии с большим тщанием и нежностью.

Однако ожог от ревности остался у Семена навсегда. Через восемь лет после смерти князя, в 1799 году, он писал по поводу пожалования своей дочери Екатерины во фрейлины: «При прежнем царствовании я бы не согласился на это и предпочел бы для моей дочери всякое другое место пребыванию при дворе, где племянницы князя Потемкина по временам

разрешались от бремени, не переставая называться порядочными девицами»^[968].

Роман с целым выводком племянниц постоянно ставили Григорию Александровичу в вину. Связь скандальная, почти открытая и не доставившая горя ни одной из сторон. Она сказочно обогатила деревенских барышень, выскочивших замуж за представителей самых аристократических родов России, и изрядно испортила репутацию светлейшего.

Граф А. И. Рибопьер, сын адъютанта Потемкина, писал о князе: «Подобно Екатерине он был эпикурейцем. Чувственные удовольствия занимали важное место в его жизни. Он вызвал ко двору пятерых дочерей сестры своей Марфы Александровны Энгельгардт и по смерти ее объявил себя их отцом и покровителем. С ними обращались почти как с великими княжнами. Из них теща моя Татьяна Васильевна Юсупова держала себя очень строго; а Надежда Васильевна Шепелева была очень дурна собою. О других умалчиваю. Состояние князя было огромно, он никогда не думал о женитьбе, что подтверждает слух о его тайном браке, и оставил огромные свои богатства многочисленным племянникам и племянницам, которые все без исключения разбогатели после его смерти»^[969].

«Другие», о которых умалчивал Рибопьер, — это Александра, Варвара и Екатерина Васильевны Энгельгардт. Острые языки называли их «гаремом» Потемкина. Еще в 1775 году, накануне мирного торжества 10 июля, Григорий Александрович получил с родины, из села Чижова, письмо о смерти сестры^[970]. Он велел своему зятю ротмистру смоленской шляхты В. А. Энгельгардту отправить осиротевших дочерей в Москву к бабушке Дарье Васильевне, а затем забрал с собой в Петербург. Старшая из них, 21-летняя Александра, вскоре стала фрейлиной. Еще через год фрейлинский шифр был пожалован Екатерине. В 1777 году — Варваре, в 1779-м — Надежде, в 1781-м — Татьяне.

Попав в столицу, юные «простушки» повели себя весьма расчетливо, добиваясь от щедрого «отца и покровителя» дорогих подарков и выгодных партий. Судя по всему, дядя знал цену провинциальным барышням. Есть известия, что престарелая госпожа Потемкина выражала неудовольствие поведением сына, и это даже послужило причиной конфликта между светлейшим князем и матерью^[971].

Самой прыткой из сирот оказалась Екатерина, в 15 лет обскакавшая 19-летнюю Варвару и 17-летнюю Надежду при получении фрейлинского шифра. Видимо, уже в 1776 году она умела потребовать от дяди высокую

плату за полученные удовольствия. «Катенька» слыла красавицей и, как видно по портрету Э. Л. Виже-Лебрен 90-х годов XVIII века, сохранила привлекательность до зрелых лет. Она, подобно своей старшей сестре Александре, расположила к себе императрицу, став одной из приближенных фрейлин. В нее был влюблен побочный сын Екатерины и Г. Г. Орлова Алексей Бобринский. После одной из поездок в театр в 1777 году государыня писала Потемкину: «Маленький Бобринский говорит, что у Катеньки больше ума, чем у всех прочих женщин и девиц в городе... На его взгляд, это доказывалось одним лишь тем, что она меньше румянится и украшается драгоценностями, чем другие. В опере он задумал сломать решетку в своей ложе, потому что она мешала ему видеть Катеньку и быть видимым ею; я не знаю, каким способом он ухитрился увеличить одну из ячеек решетки, и тогда прощай опера, он не обращал больше внимания. Вчера он защищался, как лев, от князя Орлова, который хотел его пробрать за его страсть: он... заставил его замолчать, сказав, что Катенька вовсе не была его двоюродной сестрой»^[972].

Ухаживания Григория Александровича за племянницей не были секретом для Екатерины. В одной из записок июня 1777 года она говорит, что, заехав к князю в гости, привезет с собой «Катишу», «но с условием, что Перюша (*фр.* — попугайчик, прозвище Потемкина. — О. Е.) не будет строить проектов атаки на сей ретраншамент»^[973]. Племянница делала пометки для дяди на записках Екатерины о добром самочувствии императрицы или о благополучном прибытии куда-либо.

Слухи об ухаживании Бобринского за девицей Энгельгардт стали предметом сплетен в дипломатической среде. Корберон сообщал, что императрица якобы хотела устроить брак между молодыми людьми, чему помешала беременность «Катеньки»^[974]. Вскоре француз вынужден был опровергнуть свои же слова, но сплетня уже стала достоянием общественности и позднее вошла в художественную литературу. В 1781 году двадцатилетняя «Катиша» сделала блестящую партию, выйдя замуж за П. М. Скавронского. Носились слухи, что и после этого ее роман с дядей не угас. Я. Л. Барсков передает характерный анекдот: в спальне Потемкина лежал портрет государыни, осыпанный бриллиантами. Ловкая племянница приколола его себе на грудь и стала вертеться у зеркала. Потемкин воскликнул: «Катенька, иди поблаговари императрицу, ты — статс-дама!» И тут же набросал коротенькую записку Екатерине. Последняя поморщилась, но просьбу исполнила^[975].

Эта история выдумана. В случае с Орловым и Зиновьевой мы видели,

как непросто осуществлялось пожалование в статс-дамы. Екатерина всегда старалась учитывать старшинство, она не любила «делать милости, от которых у многих вытягиваются лица». До замужества подобное пожалование вообще было невозможно, и Катенька, сколь бы любимой племянницей ни была, ждала своего старшинства. Она стала статс-дамой 17 августа 1786 года, то есть через пять лет после вступления в брак. Однако приведенный анекдот показывает, какими легкими и фривольными рисовались тогдашнему обществу отношения императрицы и ее ближайшего окружения.

Не меньше сплетен досталось на долю старшей племянницы Потемкина Александры Васильевны. По отзывам современников, она действительно была влюблена в своего ветреного «отца и покровителя» и сохранила страсть к нему на всю жизнь. «Сашенька» уступала сестрам в красоте, но обладала высоким ростом, стройной фигурой и приятным, улыбчивым лицом. Из-за царственной осанки и поступи ее часто сравнивали с античной богиней. Недостаток образования она компенсировала живостью и смекалкой, а отсутствие воспитания — молчаливой величиестью. Самая умная и самая преданная дяде, Александра смогла завоевать доверие Екатерины и уже в 1776 году вошла в тесный дружеский кружок при императрице. Старшая из девиц Энгельгардт оказывала князю серьезную помощь при дворе, оставаясь его глазами и ушами во время частых отлучек светлейшего на Юг.

Императрица благоволила к ней, Камер-фурьерский журнал показывает, что с 1776 по 1781 год «Сашенька» сопровождала Екатерину почти во всех поездках и постоянно обедала с ней за одним столом. В кругу иностранных дипломатов даже подозревали, что Григорий Александрович вот-вот обвенчается со своей племянницей. В октябре 1779 года Гаррис писал, что «Потемкина... никто не в состоянии поколебать, если только он не женится на Александре Энгельгардт, о чем говорят при дворе, но это маловероятно»^[976].

Вместо этого Александра стала орудием политики своего дяди в Польше. Во время Могилевского свидания Екатерины II и Иосифа II красавицу фрейлину заметил коронный гетман граф Ксаверий Браницкий. В тот момент он был противником короля Станислава Августа и решил сблизиться с Потемкиным для усиления позиций. Гетман попросил руки Александры. Обручение состоялось в марте, а венчание — в ноябре 1781 года, буквально на следующий день после свадьбы Екатерины Энгельгардт со Скавронским. Несмотря на то что жених был старше невесты на 23 года, брак считался удачным. Александра Васильевна быстро прибрала мужа к

рукам и оказывала серьезное влияние на его политическую позицию. Умелая и расчетливая хозяйка, она благодаря выгодным подрядам для русской армии поправила запутанные дела имений, и в конце жизни ее состояние насчитывало 28 миллионов.

Веселая, приветливая и простая в обращении, Александра не чванилась высоким положением, принимала у себя множество гостей и пользовалась большим авторитетом среди местной шляхты. Она способствовала сближению русских и польских аристократических родов, добывала нужные Потемкину сведения и много сделала для укрепления позиций русской партии в Польше^[977].

Вместе с тем графиня Браницкая не потеряла дружбы Екатерины. Она сопровождала императрицу во время путешествия в Крым в 1787 году, посещала дядю на театре военных действий во время Второй русско-турецкой войны. Узнав, что Григорий Александрович заболел, Александра отправилась ухаживать за ним в Яссы, на ее руках он и скончался в 1791 году. На месте смерти Потемкина графиня поставила памятник в виде колонны. Учредила в память о покойном Григорьевскую больницу для бедных в одном из своих имений и пожертвовала 200 тысяч рублей на выкуп должников из тюрьмы^[978]. До смерти Браницкая хранила культ Екатерины. Много потерпевшая в юности из-за своего легкомысленного поведения, детям графиня дала очень строгое воспитание и хорошее образование. Ее дочь Елизавета вышла замуж за Михаила Воронцова и объединила несметное богатство двух некогда враждовавших родов.

Самый бурный и «документированный» любовными записками роман связал Потемкина с Варварой Энгельгардт. Скандально знаменитой «Варинькой», которую дядя то осыпал драгоценными подарками, то обещал выпороть за лукавство. Она была старше «Катиши» на четыре года, но расцвела позднее. Да и расцвела ли? Ее портрет в русском платье кисти неизвестного художника конца 70-х годов XVIII века нельзя назвать особенно удачным. Круглолицая, щекастая, с хитровато прищуренными продолговатыми глазами и капризными губами-вишнями она лишена миловидности сестер. Но, возможно, в ней было нечто, трудно передаваемое на полотне. Недаром Державин в оде «Осень во время осады Очакова» назвал ее «Пленира сердцем и лицом».

Записки влюбленного дяди рисуют «Вариньку» капризным ангелом, ловкой плутовкой и вымогательницей. Она то дуется, то ревнует, то мучает покровителя притворной холодностью. Это роман-игра, где каждый знает свою роль. «Варинька, жизнь моя, ангел мой, — писал Потемкин. —

Приезжай, голубушка, сударка моя, коли меня любишь». «Ты заспалась, дурочка, и ничего не помнишь. Я, идучи от тебя, тебя укладывал, расцеловал и одел шлафроком и одеялом, и перекрестил». «Варюшечка, душа моя, не смей немочь; я тебя за это высеку». «Улыбнись, красавица, люблю тебя до бесконечности и целую без счету». «Знай и то, что я все вас дарю, и вперед хочу в именины прилагать нечто и денег, потому что вам жить надобно сходственно с моей знатностью». «Прости, мои губки сладкие, приходи обедать». «Душа моя, любовница нежная, победа твоя надо мной и сильна и вечна». «Целую тебя всю с ног до головы. Для чего шуба счастливее меня?»^[979].

Письма к дяде Варвара подписывала «кошечка Гришинькина». Сестры Энгельгардт и были для князя «кошками» — куклами, игрушками, в лучшем случае домашними любимцами. Он не только их милостивец, но и хозяин. Он возится с ними, но может и высечь (последнее, вероятно, лишь на словах). После смерти Потемкина «кошки» передрались из-за наследства, доставив много горьких минут императрице. Порой Екатерина даже плакала, вспоминая, как когда-то весело и дружно они все вместе проводили время...

Любопытно, что «Варинька» выскочила замуж раньше сестер. Как только она почувствовала, что дядя охладевает к ней, сумела приискать подходящего кавалера. Благо выбор был богат, лучшие женихи толклись в приемном покое «отца и покровителя». Варвара остановила взгляд на князе С. Ф. Голицыне. Он еще до свадьбы решил «один раз опытом испытать дружбу невесты» и попросил ее выхлопотать для него у Потемкина бригадирский чин. «Употребил свою просьбу обо мне, — писал жених, — сколько ласка твоя и любовь ко мне позволит; я сегодня ввечеру в город буду и тебя увижу; увижу также и то, что вправду ли ты любишь меня или нет»^[980]. «Варинька» исполнила просьбу. Свадьба состоялась 9 января 1779 года. Госпожа Голицына родила мужу семерых сыновей и считалась примерной матерью.

К слову сказать, многие дамы старались через Потемкина добиться повышения в чинах или выгодного места для своих родных. В конце 70-х годов одна из метресс писала князю по-французски: «Казалось, Вы любите меня от всего сердца... А когда же Вы что-нибудь сделаете для моего сына?»^[981]. Подобные просьбы считались в порядке вещей, но они обесценивали чувство.

«Семейный гарем» Потемкина подвергался строгому осуждению со стороны доморощенных моралистов. Его бичевал и А. Т. Болотов из

медвежьего угла под Тулой, и С. Р. Воронцов из Лондона, и масонские блюстители нравов в Москве и Петербурге, объявлявшие Григория Александровича «распутником», «соблазнителем», «врагом рода человеческого», словом, «Князем Тьмы».

Куртуазная культура эпохи Просвещения снисходительно смотрела на любовные связи в кругу родственников. Она трактовала и даже насаждала семейный адюльтер как часть сексуального воспитания. Страницы французских романов XVIII века от Ланкло до де Сада и мемуарной литературы от Казановы до Понятовского наполнены описаниями того, как юноши и девушки получают первый любовный опыт под руководством кого-то из родных, обычно дяди или тети. Такая практика объявлялась разумной и продиктованной истинной заботой^[982]. Но Потемкин не был поклонником философии Просвещения и прекрасно понимал, какие опасные плоды она порой приносит.

Когда-то Орлов «заигрался» с юной Зиновьевой в «куртуазное воспитание». Все шло хорошо до тех пор, пока сердце оставалось в стороне от «просвещения» малолетних. Но для такой искренней натуры, как Григорий Григорьевич, дело обернулось настоящей любовью. Каким бы чистым и глубоким ни было это чувство, оно нарушало установления церкви. Выход молодые нашли в ломке традиций. Трагический конец был предопределен. Потемкина от подобной участи спасло то, что его душа была уже сожжена любовью к Екатерине и вряд ли способна на страсть такого же накала, как прежде. Да и девицы Энгельгардт далеко не походили на Зиновьеву. Но не осознавать свои действия как грех во всей его неприглядности князь не мог. Недаром позднее он составил покаянный «Канон Спасителю»^[983].

В. С. Лопатин верно заметил двойственность положения Потемкина. Глава большого семейного клана, привлекательный мужчина, галантный кавалер, богач и удачливый политик, он, казалось, был желанной партией для любой дамы. Однако оставался один и вынужден был играть роль «соломенного вдовца» — такова была тяжкая плата за союз с государыней. Драма его сердца никогда не могла разрешиться счастливо. Он обязан был молчаливо хранить тайну «святейших уз», связавших его с Екатериной, и постоянно показываться в ложном свете свободного человека, на деле не будучи таковым. Без дома, без супруги, без детей... Право, трудно представить судьбу печальнее.

Не в этом ли противоречии крылись многочисленные странности поведения, отмечаемые у светлейшего князя мемуаристами?

Двойственность, ложность внешнего положения характеризовала не только личную жизнь, но и политическую роль Потемкина. Однако пока продолжим рассказ о его сердечных исканиях.

Долгое время Григорию Александровичу в качестве возможной невесты приписывали Марию Львовну Нарышкину, дочь обер-шталмейстера двора Льва Александровича Нарышкина, старинного приятеля Потемкина, человека оригинального, известного всему свету балагура и шутника. Именно к нему Державин обратил знаменитые строки: «Живи и жить давай другим», — ставшие своеобразным кредо вельможи XVIII века. В оде «На рождение царицы Гремиславы» поэт описал его дом:

Где скука и тоска забыты,
Семья учтива, не шумна;
Важна хозяйка, домовита,
Досужа, ласкова, умна...

Возможно, именно такого семейного гнезда не хватало самому Потемкину. Сегюр сообщал: «В Петербурге был тогда дом, непохожий на все прочие: это был дом обер-шталмейстера Нарышкина, человека богатого, с именем, прославленного родством с царским домом. Он был довольно умен, очень веселого характера, необыкновенно радушен... С утра до вечера в его доме слышались веселый говор, хохот, звуки музыки, шум пира; там ели, смеялись, пели и танцевали целый день; туда приходили без приглашений и уходили без поклонов; там царствовала свобода. Это был приют веселья и, можно сказать, место свидания всех влюбленных. Здесь, среди веселой и шумной толпы, скорее можно было тайком пошептаться, чем на балах и в обществах, связанных этикетом. В других домах нельзя было избавиться от внимания присутствующих; у Нарышкина же за шумом нельзя было ни наблюдать, ни осуждать, и толпа служила покровом тайн...

Потемкин, который почти никуда не выезжал, часто бывал у шталмейстера; только здесь он не чувствовал себя связанным и сам никого не беспокоил. Впрочем, на это была особая причина: он был влюблен в одну из дочерей Нарышкина. В этом никто не сомневался, потому что он всегда сидел с ней вдвоем в отдалении от других. За ужином он тоже не любил быть за общим столом со всеми гостями. Ему накрывали стол в особой комнате, куда он приглашал человек пять или шесть»^[984].

Рассказ Сегюра относится к 1785 году. Нежный платонический роман,

состоявший из бесед под покровом вечного карнавала, оказался живуч. Через два года Миранда застал чуть ли не ту же картину в Киеве, куда вместе с Екатериной прибыла большая свита. Обер-шталмейстер с дочерью были в ее числе. Не изменяя своим привычкам, Лев Александрович и Киев погрузил в рассеянность бесконечного праздника. Венесуэльский гость, побывав у него, писал: «Барышня Мария Нарышкина с большим воодушевлением и изяществом сплясала казачка, весьма удачно заимствуя многие па из английского „хорн-пайпа“ (матросского танца. — О. Е.)». В другой раз он видел, как Мария с сестрой исполняла русскую, которая, по словам Миранды, «даже сладострастнее нашего фанданго». «О, как прекрасно танцует первая, как плавны движения ее плеч и талии! Они способны воскресить умирающего!»^[985]

«Умирающим» Потемкин не был, но в известном «воскрешении» дамским обществом нуждался. До приезда царского двора на Юг в Херсоне и Кременчуге его окружали женщины попроще. Среди них выделялась графиня Е. К. Сиверс, известная своим легким поведением. Бывшая супруга Новгородского генерал-губернатора Я. Е. Сиверса покинула мужа в 1778 году ради князя Н. А. Путятина. Их громкое бракоразводное дело вызвало в столице скандал. Однако дама не остановилась на достигнутом. В ставке Потемкина ее, как видим, продолжали именовать фамилией первого мужа. «Это — шлюха (хотя происходит из добропорядочной семьи), проживавшая в таком качестве в Петербурге, а потом перебравшаяся в Кременчуг, — писал Миранда. — Теперь ей удалось снискать расположение князя, она повсюду его сопровождает, и все наперебой заискивают перед ней. Графиня живет в доме коменданта крепости... Румянцев, Нассау и кременчугский губернатор самым унижительным образом откровенно стараются угодить ей. Когда она вошла, князь поцеловал ее и усадил справа от себя. Он сожительствует с ней, как говорят, без всякого стеснения»^[986].

Теперь понятным становится крайне неприязненное отношение графа Я. Е. Сиверса к Потемкину. Что касается госпожи Сиверс, то эта дама обладала некоторыми талантами, Казанова, например, хвалил ее акварели. Надо сказать, что светлейший князь обычно не связывался с женщинами, обещавшими только плотские наслаждения. Его выбор требовал от метрессы большего.

«Барышня Нарышкина» в тщетной надежде на сватовство светлейшего князя долго просидела в девках. Сам же Григорий Александрович вел себя с чисто мужским эгоизмом: не мог жениться, но и не желал отпустить

полюбившуюся плясунью, дразня вниманием и ухаживаниями. В марте 1789 года, когда Потемкин приезжал в Петербург, он часто бывал у Нарышкина. А. А. Безбородко тогда писал в Лондон своему племяннику В. П. Кочубею: «Князь у Льва Александровича всякий вечер провождает. В городе уверены, что он женится на Марии Львовне. Принимают туда теперь людей с разбором, а вашу братию, молодежь, исключают»^[987]. Державин даже поторопился воспеть семейное счастье Марии Львовны с Потемкиным. «Опершись на меч железный, / Он воздремлет близ тебя», — обещал поэт Нарышкиной.

Однако «воздремать» в объятиях нежной супруги князю не довелось. Устав от ветрености своего героя, Мария Львовна вышла замуж за князя Ф. К. Любомирского. А светлейшего ждала война и целое сонмище иных любовниц.

Милосердный деспот

Недруги приписывали Потемкину злопамятный, мстительный нрав, изображая его в самых темных красках. М. М. Щербатов заявлял, что князь соединял в себе «все знаемые в свете пороки» — «властолюбие, пышность, подобострастие, ко всем своим хотениям, обжорливость и следственно роскошь в столе, лесть, сребролюбие, захватчивость» и т. д. Порой кажется, что слова Екатерины об «общем враге» обращены не только к давним неприятелям Григория Александровича, но и к тем, кто позднее сотни раз повторял их слова. «Несчастья [не] нанес ни единой твари, ниже явным своим врагам».

В этом смысле характерно дело П. А. Бибикова, расследованное в Сенате в 1782 году, когда великий князь Павел Петрович с супругой отбыли в Вену. «Во время сего путешествия сделался у нас несчастлив и сослан в ссылку в Астрахань Павел Бибиков, флигель-адъютант ее величества государыни, — вспоминал Ф. Н. Голицын, камер-юнкер двора. — Сей молодой человек был горячего сложения и с некоторым честолюбием... Вздумалось ему, по ненависти к князю Потемкину, которого он иногда бранивал, отписать в письме к князю Куракину, находившемуся в числе сопровождающих их высочества, положение двора, где об князе Потемкине много непохвального было сказано»^[988]. Письмо стало известно. Бибикова разжаловали в подполковники и отправили служить в Астрахань, где он вскоре умер. «Надобно прибавить, — говорит Голицын, — что прежде

князь его жаловал».

Последнее замечание — правда. Павел Бибииков был сыном Александра Ильича Бибиикова, друга Потемкина по Уложенной комиссии. Александр Ильич, назначенный Екатериной командовать войсками против Пугачева, скоропостижно скончался в 1774 году. Его семья осталась без средств, и Потемкин помог вдове Настасье Семеновне выпутаться из трудных обстоятельств. Она выгодно продала в казну большой дом в Петербурге, получила 2500 душ в Белоруссии, старший сын Павел, поручик лейб-гвардии Измайловского полка, был пожалован в полковники и флигель-адъютанты. Младший Александр произведен в офицеры гвардии, дочь Аграфена сделалась фрейлиной^[989].

Сохранились записки Екатерины и Потемкина, свидетельствующие о хлопотах последнего по делам Бибииковых^[990]. Однако благодарность не входила в число добродетелей Павла Александровича. Видимо, он посчитал, что сможет сблизиться с малым двором, если подыграет антипотемкинским настроениям наследника. Его письмо к А. Б. Куракину, близкому другу Павла, написано с расчетом понравиться великому князю: «Кругом нас совершаются дурные дела, и кто бы мог быть таким бесчувственным, чтобы смотреть хладнокровно, как Отечество страдает. Разрывается сердце и ясно во всей черноте грустное положение всех, сколько нас ни есть, доброммыслящих и имеющих еще некоторую энергию. ...Мне нужна вся моя философия, чтобы не бросить все к черту и не ехать домой садить капусту. Меня поддерживает только надежда на будущее и мысль, что все примет свой естественный порядок. ...Кривой (Потемкин. — О. Е.), по превосходству своему над другими, делает мне каверзы и неприятности»^[991].

Письмо очень туманно для постороннего человека. Но императрица прочла в нем много неприятного. Ее правление бранили, выражали надежду, что дела «примут естественный оборот», то есть на престол взойдет Павел Петрович, вместо матери-узурпаторши. Заявляли о наличии «доброммыслящих и имеющих некоторую энергию» граждан, то есть о наличии у наследника поддержки. Надо помнить, что попытки выстроить вокруг Павла заговор не прекращались никогда. Императрица пресекала их твердо и методично, как полют сорняки, прекрасно понимая, что вскоре они снова вырастут. «Кривой», то есть Потемкин, не играл в письме Бибиикова главной роли. Молодой честолюбец «приплел» его для вящей убедительности. Какие каверзы мог чинить первый вельможа флигель-адъютанту, которого и замечал-то только потому, что когда-то был дружен с

его отцом?

Павла Бибикова схватили и допросили вовсе не потому, что он вольно отозвался о Потемкине, а потому, что писал наследнику «зажигательные письма». Во время следствия он показал: «Ежели князь Потемкин не будет в такой силе, как ныне, или, прямо сказать, сломит себе голову, то полковая служба придет в лучший порядок». Однако на подробные расспросы о делах в полку не смог назвать конкретных упущений и признался, что не знает никого, кому бы «князь службу заградил», — сдерживал рост по чинам. Свое же озлобление против Потемкина объяснил обидой за то, что его полк из столицы был переведен в Новороссию. Шел 1782 год, Потемкин готовился к присоединению Крыма и стягивал войска на Юг. Угроза войны с Турцией висела в воздухе, а молодому фату очень не хотелось покидать Петербург и тянуть лямку. Конечно, во всем виноват был «Кривой».

Екатерина предоставила Бибикову самому решать, каким судом ему быть судимым: военным или Тайной сенатской экспедицией. «Причем объявить ему, — писала она А. А. Вяземскому, — что в первом случае дело его закрыто не останется и он сам знает, что за поношение и клеветы на командира по военным артикулам последует. Умалчиваю о том, что за злословие правления или, лучше сказать, за бунтовщичий слог последовать может»^[992].

Молодого человека ожидало суровое наказание. Бибиков знал, что «за безвинное поношение генерала судом военным должен приговорен быть к смерти». В ходе следствия Потемкин дважды просил Екатерину о снисхождении к арестованному. «Если добродетель и производит завистников, то что сие в сравнении тех благ, коими она услаждает своих исполнителей, — писал князь 15 апреля 1782 года. — Она мой ходатай перед Вами. Она обнадеживает теперь и Бибикова моим уже ходатайством. Просить недолго там, где милость всегда на пути. Вы уже помиловали, верно. Он потщится, исправя развращенные свои склонности, учинить себя достойным Вашего Величества подданным, а я и сию милость причту ко многим на меня излияниям»^[993].

Через четыре дня, 19 апреля, Потемкин повторил просьбу. Тем временем Павел Александрович покаялся, заявил, что у него нет сообщников и что он во всем полагается на волю императрицы. «Вот только то меня угрызает, — сказал он Вяземскому, — что князь Потемкин не оставит меня без своего мщенья»^[994]. Генерал-прокурор ответил, что именно Потемкин просит о его помиловании. Услышав это, молодой

арестант разрыдался и умолял разрешить ему публично просить у князя прощения.

«Моего мщения напрасно он страшится, — писал по этому поводу Потемкин, — ибо между способностями, которые мне Бог дал, сей склонности меня вовсе лишил. Я и тово торжества не желаю, чтоб он и прощения у меня публично просил. Пусть он удовлетворит правосудие познанием вашей милости, сравнивая суд Ваш с судом бывших государей. ...Он ничего со всем бешенством не нашел на меня выдумать и что ни сказал, во всем от меня опровержен. Равно не найдет он примера, чтобы в жизнь мою кому мстил»^[995].

Таким образом, дело Бибикова закончилось переводом с понижением на службу в провинцию. Князь даже не взял его с собой на Юг — в самое пекло. Там в тот момент нужны были люди понадежнее.

Князь знал, что в обществе о нем говорят много худого. И, видимо, считал единственным достойным ответом оставлять выпады неприятелей без последствий. Старался ли он развеять дурное мнение о себе? Может показаться странным, но нет. Его многочисленные просьбы за других, в том числе и врагов, не становились достоянием «публики», они были обращены к государыне и касались их двоих. Религиозная мораль требовала с одинаковым равнодушием воспринимать и хулу, и похвалу. Не считать их чем-то достойным внимания. Миранда вспоминал, как в 1787 году граф О. М. Штакельберг улучил случай и шепнул князю за столом: «Вы держите при себе сих чужестранцев, которые пристально следят за каждым вашим шагом». Потемкин ответил: «Не сомневаюсь в этом, однако ценю даже их злословие»^[996].

Несчастный счастливец

В обществе Григория Александровича считали человеком высокомерным и недоступным. Люди, знавшие его ближе, отмечали, что гордость князя показная. Она не более чем маска, за которой он прятал истинные чувства.

Тот же Миранда описал очень любопытную сцену: «Мы с князем побывали на балу в офицерском собрании. Когда за столом прозвучал тост за его здоровье, он, к моему удивлению, сильно покраснел и признался мне: „Меня застали врасплох“»^[997]. Оказывается, этот гордый вельможа был почти стеснительным человеком. Об этом же говорил принц де Линь: «Под

личиной грубости он скрывает очень нежное сердце... Сгорбленный, съезженный, невзрачный, когда остается дома, он горд, прекрасен, величественен, увлекателен, когда является перед своими войсками, точно Агамемнон в сонме эллинских царей»^[998].

На ту же черту указывал и французский посол граф Л. Сегюр: «Свет ему надоел; ему казалось, что он в обществе лишний... Любезный в тесном кругу, в большом обществе он являлся высокомерным и почти неприступным; впрочем, он стеснял других только потому, что сам чувствовал себя связанным. В нем была какая-то робость, которую он хотел скрыть или победить гордым обращением. Чтобы снискать его расположение, нужно было не бояться его, обходиться с ним просто, первому начинать с ним разговор, стараться ничем не затруднять его и быть с ним как можно развязнее... В торжественных случаях и в праздники он одевался очень пышно и обвешивал себя орденами; речью, осанкой и движениями представляя из себя вельможу времен Людовика XIV; но в обыкновенной домашней жизни он снимал с себя эту личину и, как истый баловень счастья, принимал всех без различия среди восточной роскоши, которую многие ошибочно приписывали его высокомерию... Холодностью своею он отвратил от себя почти всех иностранных министров. Они считали его неприступным и встречались с ним только в обществе»^[999].

Потемкин избегал шумных, людных собраний. Он чувствовал, что в нем видят нечто ложное, что, льстя в глаза, за спиной злословят, а порой насмеваются. В 1776 году князь пережил болезненный урок: те, кто вчера пресмыкался перед ним, сегодня отвернулись или даже приняли участие в травле недавнего фаворита. Сказать, что после этого Потемкин потерял уважение к обществу, значит, ничего не сказать. Григорий Александрович никогда не отличался особым пиететом перед светскими приличиями, теперь он стал их демонстративно нарушать.

Сегюр вспоминал: «Когда, бывало, видишь его небрежно лежащего на софе, с распущенными волосами, в халате или шубе, в шальварах, с туфлями на босу ногу, с открытой шеей, то невольно воображаешь себя перед каким-нибудь турецким или персидским пашою; но так как все смотрели на него как на раздавателя всяких милостей, то и привыкли подчиняться его странным прихотям». Однако стоило князю встретить сопротивление своим причудам, а собеседник обнаруживал чувство собственного достоинства, «чванливый временщик» немедленно менял тон общения. Маска отбрасывалась в сторону, и князь оказывал самым малозначительным людям то уважение, которого от него безуспешно

добивались знатные вельможи.

Однажды в ставку главнокомандующего в Яссы приехал полковник, храбро воевавший и из-за ранений вынужденный проситься в отставку. Он был беден и хотел определиться в коменданты какой-нибудь крепости. Ждать ему пришлось несколько месяцев, почти каждый день он ходил в приемный зал, иногда видел Потемкина, но из-за плотной толпы всегда был оттерт от князя. Наконец кто-то из слуг посоветовал ему идти в шесть часов в музыкальный зал, где светлейший слушал репетиции хора, и вести себя как можно смелее, «высказывать самую резкую правду».

Полковник последовал совету, нашел Потемкина и попытался напомнить о себе. Но раздосадованный настойчивостью просителя князь приказал одному из своих адъютантов: «Гони его вон!» Молодой человек направился было к незваному гостю. Однако полковник не позволил вытолкнуть себя в шею, он сцепился с адъютантом и покатился с ним по полу. «Потемкин подбежал к сражающимся, нагнулся и, подпершись руками, кричал своему страдальцу: „Парень, поправься!.. поправься!“ Сердитый полковник, поколотя сего молодчика, ушел в свою квартиру». Там его одолели сомнения: стоило ли устраивать свару? Он отстоял свою честь, но, вероятно, разгневал всемогущего временщика. «Однако ж поутру получает он от князя ордер, определение в коменданты в то самое место, которого он желал, приказание о выщаче прогонов и еще немалого числа денег из экстраординарной суммы. Потемкин оставался к нему благосклонным и доставил ему чин»^[1000].

Другой подобный рассказ записал Сегюр. Французский посол сообщал, что по прибытии в Россию в 1785 году для него было желательно добиться от светлейшего князя должного уважения. Однажды ему довелось присутствовать на пиру у Потемкина, где все были одеты в роскошные платья, а хозяин — в простой сюртук. Это показалось дипломату вызывающим. Через несколько дней он пригласил князя к себе, и сам облачился весьма скромно, заранее предупредив других гостей о причинах своего поведения. Потемкин сделал вид, что ничего не заметил, но с тех пор, подчеркивает посол, «стал строже наблюдать уважение в отношениях со мной».

История хороша всем, за исключением одной детали. Мемуары писались во Франции и предназначались в первую очередь для французского читателя. А в России тоже слово в слово рассказывали о Кирилле Григорьевиче Разумовском, который напомнил Потемкину о светских приличиях, одевшись в затрапезу у себя на званом обеде^[1001].

Вероятно, следует отдать предпочтение русской версии, поскольку она бытовала в Петербурге. Услышав этот анекдот, Сегюр сделал себя его участником.

В силу высокого положения Потемкин как магнит притягивал самых разных людей. Среди них встречалось немало льстецов и нечистых на руку воротил, старавшихся использовать князя в своих целях. Вхожие в его дом генералы и царедворцы нередко разыгрывали из себя важных особ, близких с самим хозяином. Григорий Александрович этого не терпел. Один из анекдотов повествует, будто некто Б. часто бывал у Потемкина, «садился за стол прежде других и первым брал карту, когда князю угодно было играть». Светлейший забавлялся его разговорами. «Б. по глупости своей счел то за особое дружество со стороны князя, гордился тем, хвастал и начал некоторым обещать свое покровительство». Последнее не могло быть терпимо, и Потемкин задумал продемонстрировать гостям, что Б. в его доме не более чем шут. Он назначил у себя приятельскую вечеринку, Б. явился первым. «Как жарко! — сказал князь, — поедem купаться». Б. обрадовался приглашению. В компании двух адъютантов они отправились в Летний сад, где Потемкин в халате вошел в бассейн, а заупрямившегося Б., шутя, втащили в воду в мундире и макали до тех пор, пока не смыли накладку на лысине. Потом, мокрого, его привезли обратно, усадили играть с князем в карты и принудили танцевать...

Жестокая выходка. Барская по своей сути. Однако у Потемкина было одно оправдание. Кто-то от его имени позволял себе обещать покровительство. На подобных посулах делались состояния и проворачивались политические аферы. Князь должен был поставить наглеца на место. Причем сделать это как можно нагляднее — в назидание другим. Что и произошло.

Благодаря широте общения в круг знакомых Потемкина попадали самые необычные люди. Любопытна история старообрядца Ветошкина, рассказанная Н. К. Загряжской. Он был приказчиком на барках, перевозивших из Торжка зерно и крупы. «Однажды он является к митрополиту и просит его объяснить ему догматы православия. Митрополит отвечал ему, что для того нужно быть ученым, знать по-гречески, по-еврейски и бог весть еще что. Ветошкин уходит от него и через два года является опять». За это время приказчик успел выучить несколько древних языков, узнать догматы и перейти в православие. Как-то во время своих торговых дел ему удалось познакомиться с Потемкиным. Сидя с Ветошкиным за одним столом в доме князя, Загряжская спросила, как ему удалось добиться учености. «Сначала было трудно, — отвечал он,

— а потом все легче да легче. Книги доставляли мне добрые люди, граф Николай Иванович (Салтыков. — О. Е.) да князь Григорий Александрович». По описанию Загряжской, Ветошкин был тщедушный мужичок лет тридцати пяти, тихий и скромный. Потемкин много беседовал с необычным приказчиком, у них были общие интересы — богословие и история церкви. «Наконец, князь так полюбил Ветошкина, что не мог с ним расстаться. Он взял его с собою в Молдавию, где Ветошкин занемог тамошней лихорадкой и умер почти в одно время с князем»^[1002]. Странная дружба первого вельможи и незаметного торговца из Торжка, даже смерть накрыла их своим покрывалом одновременно, не пожелав разлучать собеседников.

Для нас важно отметить, что Потемкин не чванился высоким положением. Скромный ранг другого человека не был в его глазах препятствием для дружбы. Решающее значение имели личные качества, сродство душ, взаимное притяжение умов. Все это — черты натуры крупной, способной перешагнуть через условности своего времени. Становится ясно, что высокомерие Потемкина было своего рода защитной маской. Оно бросалось в глаза и заставляло чрезмерно навязчивых или чрезмерно критически настроенных по отношению к нему людей держать дистанцию, предостерегало их против открытых выпадов в адрес светлейшего.

Передавали немало случаев, когда князь оказывал деятельную помощь людям совсем ему незнакомым, а сам оставался в тени. Некоторым из них он назначал пансионы. Так случилось с деревенским дворянином-погорельцем, случайно встреченным Потемкиным в пути, и с офицером, отцом восьмерых детей, «отставленным за тяжелую рану» без содержания. Оба они получали по 600 рублей ежегодно «по самую кончину князя, не ведая, от кого сия милость приходит»^[1003].

На чем же основаны рассказы о пренебрежительном отношении Григория Александровича к людям? На показном, демонстративном высокомерии, которым князь отгораживался от всех, являясь в свете. Французский волонтер А. Ф. Ланжерон описывал свое впечатление от первых встреч с Потемкиным в 1790 году: «Князь вышел из кабинета. Все бросились ему навстречу, но он прошел через густую толпу, показывая вид, что никого не замечает... Все хранили перед ним глубокое молчание».

Однако тот же Ланжерон признавал, что Потемкин, когда хотел, мог быть очень обаятельным собеседником. «В Яссах я в нем встретил султана веселого и приветливого, готового обращаться чрезвычайно любезно со

всеми и пользовавшегося своим положением лишь для того, чтоб обнаружить всю прелесть своей остроумной беседы... Мне редко случалось бывать по вечерам в столь приятном обществе. Нас было около десяти — двенадцати человек, которые допускались к нему без церемонии, и обыкновенно мы оставались у него с восьми часов вечера до трех или четырех часов утра. Он с нами беседовал вопреки своему обыкновению совсем фамильярно, сообщал нам разные случаи из своей карьеры и даже описывал без всякой сдержанности свой нрав, пылкий по природе и несколько смягченный по расчету»^[1004].

А вот служившие у Потемкина русские сотрудники отмечали, что он не выносил фамильярности и панибратства, на которых так настаивают иностранные мемуаристы. По словам Л. И. Сичкарева, князь был весьма требователен, в его доме и ставке царил дух подчеркнутого уважения чина к чину и пресекалась любая вольность, расхлябанность и неповиновение. «Никто, даже из самых старших генералов, не отваживался никогда входить без доклада и нередко ожидал долгое время, пока освободится князь... В присутствии его было наблюдаемо отличнейшее почтение. И никогда, доколе он сам кого-нибудь об чем-либо не спросит или не начнет сам говорить, никто не осмеливался и слова произнести».

Чем же объяснить такие противоречия в высказываниях очевидцев? Перед нами словно два разных человека. Один ленивый, несведущий, целый день валяющийся на диване и грызущий ногти. Другой — собранный, деятельный и требовательный. Разница как между расхлестанным халатом и мундиром, застегнутым на все пуговицы. Вероятно, роль играла разная модель поведения, принятая Потемкиным по отношению к иностранным наблюдателям и своим русским подчиненным. Многие отмечали его подчеркнутую любезность с иностранцами и строгость, приказной тон с русскими. Иных это задевало. Так, Бюлер писал даже о грубости Потемкина с соотечественниками. А французский волонтер Роже Дама говорил, будто князь «обожает иностранцев и презирает русских». И то и другое неверно. Манера поведения светлейшего с дипломатами и волонтерами (многие из которых открыто собирали сведения) была нацелена на то, чтоб развлечь и *отвлечь* их от реальных дел. С русскими же сотрудниками он, напротив, работал для достижения «сокровенных» целей отечественной политики. Их необходимо было направлять, встряхивать, держать в узде.

Потемкин, по свидетельству многих современников, держался мягко и уважительно с людьми простыми, незначительными. С теми, кто действительно не смог бы ему ответить, если бы князь вздумал чваниться.

А. И. Рибопьер писал: «Потемкин был очень приятен в обращении, крайне снисходителен и добр к подчиненным. Он любил моего отца, который был его адъютантом и, вызвав меня однажды к себе, принял с отменной добротой...Мне было тогда восемь лет, и я очень испугался, когда он вдруг поднял меня могучими своими руками. Он был огромного роста. Как теперь его вижу, одетого в широкий шлафрок, с голой грудью, поросшей волосами»^[1005].

Сын другого служащего Потемкина, Федор Вигель, подтверждал мнение Рибопьера о Потемкине: «Бранных, ругательных слов, кои многие начальники себе позволяли, от него никто не слышал. В нем совсем не было того, что привыкли называть спесью. Но в простоте его обхождения было нечто особенно обидное, взор его, все телодвижения, казалось, говорили присутствующим: „Вы не стоите моего гнева“. Его невзыскательность, снисходительность весьма очевидно происходили от неистребимого его презрения к людям, а чем можно более оскорбить самолюбие»^[1006].

Потемкин подчас вовсе не прибегал к словам, чтобы выразить свое неудовольствие. Он предпочитал наказать досадившего ему человека, поставив последнего в неловкую ситуацию. Так, было замечено, что во время карточной игры князь почти всегда пребывал в задумчивости и не обращал внимания на выигрыш или проигрыш. Играл он обычно не на деньги, а на драгоценные камни. Раз ему случилось выиграть крупную сумму, но партнер постарался незаметно подсунуть самоцветы меньшей цены. Потемкин ничего не сказал, а на другой день пригласил обманщика на прогулку в колясках. При этом велел кучеру «коляску подделать так, чтобы она на возвратном пути на половине дороги с передка сорвалась и упала». Так и произошло. «Когда надлежало проезжать весьма грязную лужу, крикнул князь кучеру: пошел! Сей поскакал и дернул коляску с таким усилием, что коляска, сорвавшись с передка, села посреди лужи». Кавалькада всадников и повозки других гостей уехали далеко вперед. Злополучный седок остался один в степи, вскоре пошел дождь. По колено в грязи он был вынужден около часа брести пешком домой. «Князь, сидевший у окна, встретил его с громким смехом, и по наказанию сем за обман обходился с ним по-прежнему с дружеством и ласкою»^[1007].

Следует отметить, что раздосадовада Потемкин вовсе не потеря денег, а ложь. По словам Л. И. Сичкарева, «нередко случалось, что князь нарочно проигрывал некоторым из своих гостей знатные суммы для того, что он, зная их бедное состояние, не хотел их оными явно дарить».

Служить при светлейшем было непросто. Из-за напряженной работы его канцелярии трудно приходилось и секретарям, и курьерам, и адъютантам, которых то и дело посылали с поручениями. Иной раз князь не спал ночью и требовал к себе то бумаги и перьев, то позвать Попова, то, наконец, подать кофе... Он прекрасно понимал, что находится возле него — иной раз сущая каторга. Рассказывали случай, когда какой-то молодой адъютант из особого тщеславия выкупил у своих товарищей их часы дежурства и оставался на посту при князе несколько суток подряд. Обратив внимание, что дежурный не меняется, Потемкин спросил у совершенно зеленого от усталости парня: «За какую провинность тебя, голубчик, назначили вне очереди?» Тот не без гордости отвечал, что вызвался сам. Григорий Александрович только похмыкал, а на следующий день велел отчислить юношу из своего штата, поскольку не любил подхалимов.

Другой раз князь проснулся ночью, ему пришла на ум какая-то мысль, он стал звонить в колокольчик, чтобы подали письменный прибор. Никто не появился. Потемкин вновь позвонил, громче и настойчивее. Опять молчание. Тогда Григорий Александрович спустил ноги с кровати, накинул халат и, взяв свечу, вышел из спальни. Перед дверью в кресле спал намаявшийся за день адъютант. Чтобы не будить его, светлейший снял туфли и на цыпочках прошел мимо в кабинет, затеплил огонь и работал до утра. После таких историй слабо верится в знаменитую «хандру и недеятельность» князя.

Лень, как и высокомерие, зачастую бывала показной. Она требовалась князю для того, дабы его на какое-то время оставили в покое. «О нем сложилось мнение, — писал Ф. А. Бюлер, сын и племянник двух дипломатов, служивших у Потемкина, Карла и Андрея Бюлеров, — что он предавался лени по целым дням, лежа на диване в тулупе, крытом парчой, и имея под ним одну рубаху, а на ногах ничего, кроме туфель. Но приближенные его не раз замечали, что последствиями продолжительного уединения и раздумья являлись прекрасные распоряжения»^[1008].

Многие мемуаристы отмечали нелюбовь Потемкина к большому обществу, его стремление даже в гостях остаться с несколькими избранными. Порой Григорий Александрович погружался в такую глубокую задумчивость, что ничего не видел вокруг себя. Передавали случай, когда он, размышляя о чем-то, вышел из театра и пешком пошел к Зимнему — без адъютантов, без сопровождения, в роскошном придворном костюме с бриллиантовыми звездами. Вокруг собралась толпа, дивившаяся на первого вельможу империи, запросто разгуливавшего по улице. Провожаемый зеваками, Потемкин дошел до дворца, так и не обратив

внимания на скопление народа...

За пиршественным столом или за игрой в карты подле него всегда лежали бумага и карандаш. Иногда он наскоро записывал что-то, пришедшее на ум. «Попов, которому небезызвестно было сие Потемкина обыкновение, нередко входил и становился у него за стулом и, как скоро усматривал бумагу отодвинутою, брал оную, ни слова не говоря, и производил в исполнение»^[1009].

Таким образом, князь постоянно работал. Близко наблюдавший его в 1788 году французский волонтер Роже де Дама писал об уникальных способностях командующего: «Глубоко мысля, он не затруднялся в средствах развивать задуманное, работал с легкостью... одновременно бывал занят различными предметами и отдавал самые разнообразные приказания... И между тем никогда его мысли не перепутывались, и он не приводил в замешательство тех, кому их излагал. Течение его мыслей, казавшееся нелогичным, на самом деле было правильно и строго держалось намеченного пути»^[1010].

Однажды Сегюр попал в щекотливую ситуацию. Он взялся помочь французскому купцу Антуану, впоследствии барону Сен-Жозефу, обосновавшемуся в Херсоне. Торговец отправил послу «толстую тетрадь, полную расчетов и цифр», в которой «жаловался на местное начальство, всячески мешавшее ему, и предлагал меры» по развитию торговли на Юге России. Потемкин принял Сегюра и попросил прочесть труд господина Антуана вслух. «Но каково было мое удивление, — с возмущением писал граф, — когда я заметил, что пока я читал эту записку, без сомнения достойную внимания, к князю входили один за другим священник, портной, секретарь, модистка и что всем им он давал приказания. Когда я хотел остановиться, он настоятельно просил меня продолжать. Эта странная невежливость меня бесила, и я спешил дочитать скорее. Когда я кончил и он хотел взять у меня тетрадь, я удержал ее и сказал ему довольно сухо, что не привык к такому невниманию и беспечности... Не прошло и трех недель, как я получил от г. Антуана письмо, где он меня благодарил за скорое исполнение его поручения. Он писал мне, что Потемкин ответил ему обстоятельно на все пункты его донесения и сделал все нужные распоряжения, чтобы облегчить его и упрочить успех его предприятия. Я тотчас же поспешил к князю. Только что я вошел, как он встретил меня с распростертыми объятьями и сказал: „Ну что, батюшка, разве я вас не выслушал, разве я вас не понял? Поверите ли вы, наконец, что я могу вдруг делать несколько дел, и перестанете ли дуться на меня?“ Я поцеловал и

благодарил его, крайне удивляясь живости его способностей»^[1011].

Потемкин мог одновременно заниматься несколькими предметами: просматривать бумаги, писать и слушать доклады. Причем точность его распоряжений от этого не страдала. По воспоминаниям Л. И. Сичкарева, при князе постоянно находился чтец, который знакомил его с книжными новинками и иностранными газетами, это позволяло светлейшему поглощать информацию, не отрываясь от текущей работы.

Иногда в мемуарах мелькают суждения, будто Григорий Александрович сам ничего не читал, а все сведения старался выведать у собеседников в разговорах. С. Н. Глинка записал со слов В. С. Попова, с которым познакомился в 1797 году: «Князь много читал и умел соображать; но он знал, что от людей сведущих можно иногда заимствовать в один час то, чего в целые месяцы не доищешься в книгах; убежден он был также, что гордостью ни из души, ни из мысли ничего не вызовешь. Особенности его посылки были за теми людьми, с которыми ему нужно посоветоваться о том или другом предмете. Приглашая их, он писал: „Если вам досуг, то обяжите меня своим посещением, мне нужно с вами посоветоваться“. И при этом всегда означал, о чем надобно ему говорить. Таким образом, каждому можно было надуматься и приготовиться дорогою для совещания с князем, и каждый возвращался домой очарованный его разговором и каким-нибудь подарком на память свидания»^[1012].

Попов знал, о чем говорит, ведь он сам, как правитель канцелярии князя, осуществлял посылки за учеными, архитекторами, врачами, садоводами, священниками и другими нужными Потемкину людьми.

Все описанные качества характера и причуды князя вряд ли могут объяснить ту неприязнь, которой он был окружен в обществе. Когда речь идет о политических противниках Потемкина — партии великого князя Павла или группировке А. Р. Воронцова и П. В. Завадовского, — обжигающая ненависть легко трактуется как проявление соперничества и зависти к более удачливому врагу. Однако необъяснимыми на первый взгляд кажутся высказывания людей, далеких от политики, лично Потемкина не знавших и все же осуждавших его на основании слухов и сплетен. Так, А. Т. Болотов писал в 1788 году: «Потемкин ворочал всем государством; он родился во вред оному, ненавидел свое Отечество и причинял ему неизреченный вред и несметные убытки алчностью своею к богатству; от него ничего ожидать было не можно, кроме вреда и пагубы. Все государство образовалось по случаю разнесшейся молвы, что пришел он в немилость императрицы. Однако оказалось, что он опять превозмог и

продолжал по-прежнему дурить, обжираться и делать проказы, нimalo o таким саном несообразные. Мы дивились тогда и не знали, что с сим человеком, наконец, будет и чем кончится его пышность и величие»^[1013].

Если бы Потемкин родился монархом, возможно, его бы обожали за удивительную широту кругозора, редкие государственные способности и человеческую доброту. Он сделал для России на Юге не меньше, чем Петр на Севере, и по праву заслуживал благодарность. Однако, по мнению многих, этот человек «мостился не по чину». Он вел себя как государь, внешне не имея на это никаких прав. А потому воспринимался узурпатором. Для большинства дворян Потемкин был крайне раздражающей фигурой — он, как и всякий временщик, «закрывал собой» прямой путь к государыне. По русской пословице: «Жалует царь, да не жалует псарь» — Екатерина могла позволить себе оставаться благим и милостивым монархом, внешне стоявшим над схваткой группировок. На деле императрица весьма зависела от поддержки крупнейшей русской партии Потемкина, однако эта зависимость сохранялась в тени. Сам же светлейший князь принимал на себя роль того самого всеми ненавидимого «псаря», который не только «не жалует», но и не допускает к царю. Мог ли он быть любим обществом?

Федор Вигель весьма точно подметил многие особенности положения Потемкина: «Невиданную еще дотолe в вельможе силу он никогда не употреблял во зло. Он был вовсе не мстителен, не злопамятен, а все его боялись. Он был отважен, властолюбив, иногда ленив до неподвижности, а иногда деятелен до невозможности. Одним словом, в нем видно было все, чем славится русский народ; и все то, чем по справедливости его упрекают; а со всем тем, он русскими не был любим. Сие кажется загадкой, а ее можно объяснить весьма естественно. Не одна привязанность к нему императрицы давала ему сие могущество, но полученная им от природы нравственная сила характера и ума ему все покоряла: в нем страшились не того, что он делает, а того, что может делать... В женщине, с которой связала его судьба, заключался аккумулятор его государственной энергии, его замечательный ум нашел свое применение, а сердце — свою драму».

Сам князь прекрасно чувствовал трагизм подобного положения. Случалось, во время шумного праздника Григория Александровича охватывала тоска. «Бывали в его жизни некоторые часы, в кои сердце его совершенно растаивало от радости, а часто и от сожаления, — вспоминал Сичкарев. — ...Он вдруг становился столько печальным и унылым, что будто бы все несчастья света на него обращались». «Редко приходило такое веселие, чтобы он посреди сего не подвергался нашествию своей

скучивости». Малейшее неудовольствие — например, вспышка ревности к прекрасной даме — могло вызвать в такие минуты его гнев, и он отсылал гостей. «Конечно, сии досады продолжались только на малое время: он раскаивался о сделанном в гневе, нередко посылал с поспешностью догонять и просить огорченных гостей о возвращении; но что еще больше, он в состоянии был на коленях испрашивать прощения и почти со слезами раскаивался в своей вспыльчивости»^[1014].

Мысль о счастье и несчастье, судя по замечаниям в мемуарах, неотступно приходила Потемкину на ум. Временами он называл себя редким счастливецом, но уже в этой декларации крылось сомнение. «Несчастливый от слишком большого счастья», по словам де Линя, Потемкин все имел и потому ничего не желал. Следует сказать, что слово «счастье» в ту эпоху носило несколько иное значение, чем сейчас. В узком смысле оно означало жизненный успех. Вспомним знаменитые строки Екатерины: «Счастье не так слепо, как его представляют...» В качестве подтверждения императрица приводила свою судьбу и полностью отождествляла удачу со счастьем.

Однако Потемкин, судя по всему, догадывался, что дело не так просто. Внешний успех не был для него залогом спокойствия души и внутренней удовлетворенности. Л. Н. Энгельгардт приводил такой случай: «В один день князь сел за ужин, был очень весел, любезен, говорил и шутил беспрестанно, но к концу ужина стал задумываться, начал грызть ногти, что всегда было знаком неудовольствия, и, наконец, сказал: „Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего бы я ни желал, все прихоти мои исполнялись, как будто каким очарованием: хотел чинов — имею, орденов — имею; любил играть — проигрывал суммы несчетные; любил давать праздники — давал великолепные; любил строить дома — построил дворцы; ...словом, все страсти мои в полной мере выполнялись“. С сим словом ударил фарфоровую тарелку об пол, разбил ее вдребезги, ушел в спальню и заперся»^[1015].

Не скажем вместе с А. Г. Брикнером: «Весь он здесь, пресыщенный баловень счастья». Надеемся, нам удалось высветить множество других граней характера князя. В этом эпизоде выпукло проявилось недовольство Потемкина своей жизнью, внешним блеском, за которым крылась тоска и осознание внутреннего одиночества на вершине власти.

ГЛАВА 11

ХОЗЯИН ТАВРИДЫ

В 1775 году Екатерина II провела реформу местного управления. «По великой обширности некоторых губерний, — писала государыня, — оные недостаточно снабжены... надобными для управления людьми». Из-за объединения в ведении губернаторов административных, финансовых, судебных и полицейских функций «возрастают своевольства и ябеды»^[1016].

Реформа разукрупнила губернии, их число увеличилось вдвое и составило 50. Были расширены функции чиновников на местах, что позволило разгрузить центральные учреждения, коллегии и, напротив, дать губернским и уездным органам больше власти решать текущие дела у себя дома.

Во главе местного управления встали генерал-губернаторы, или наместники. Они были наделены чрезвычайными полномочиями и ответственны только перед императрицей. В их руках фактически сосредоточивалась вся власть на местах. Поэтому генерал-губернаторы назначались из наиболее доверенных лиц Екатерины. Когда наместник находился в Петербурге, он мог принимать участие в деятельности Сената наравне с сенаторами^[1017]. Что касается Потемкина, то он являлся еще и членом Совета. Зачастую генерал-губернатор играл в наместничестве роль неограниченного правителя, особенно если он обладал таким властным независимым характером, как светлейший князь.

Английская исследовательница И. де Мадариага сравнивала наместников с вице-королями в колониальных державах, где из-за отдаленности территорий трудно было управлять ими из центра^[1018]. В этом замечании много справедливого, ведь наиболее крупные наместничества располагались именно на окраинах империи. Однако в России новая структура местного управления охватила всю страну, и генерал-губернаторы были не только в Новороссии или на Украине, но и в столичных городах — Петербурге и Москве.

Наместник

Еще 11 января 1774 года попечению Григория Александровича были

вверены Новороссийская и Азовская губернии и укрепленная Днепровская линия. Одновременно он стал именоваться командующим всей легкой конницы и иррегулярных войск, а также главным командиром всех войск, поселенных в губерниях Астраханской, Новороссийской и Азовской^[1019]. С 1775 года Потемкин стал наместником. Кроме войск, ему подчинялась полиция. В пограничных губерниях находилась основная часть русской армии, а затем и Черноморский флот, которыми Потемкин распоряжался еще и как вице-президент (с 1783-го — президент) Военной коллегии.

Не обладая официально судебной властью, князь часто влиял на судопроизводство, как военное, так и гражданское, изменяя приговоры: обычно он смягчал их. Воров имущества поселян наказывали батогами и отправляли в солдаты. Грабителям, покусившимся на казенное, Потемкин заменял смертную казнь каторжными работами. Приговоры воинского суда о расстреле, например за отлучку с поста, — разжалованием в рядовые^[1020]. По свидетельству Л. И. Сичкарева князь был строгим и взыскательным судьей. Чиновники, изобличенные во взятках, попадали в ссылку. «В подобных случаях от Потемкина можно было ожидать строжайшего удовлетворения». Однако он не терпел доносов. «Никто не смел предстать к нему с жалобой на кого-либо, ежели не имел при себе, по крайней мере, половины ясных доказательств; никогда не решал он никакого дела, не исследовав оного обстоятельно и не собрав с точностью всех относящихся до него подробностей».

Светлейший управлял беспокойными территориями: на них въезжало разноязыкое население, стояли войска, поблизости была граница, блуждали разрозненные банды казаков, не желавших войти в Черноморское войско и промышлявших грабежом. Поэтому наместнику приходилось нередко посредством наказаний виновных «обуздывать других от преступлений». Сичкарев приводит слова князя: «Строгое наказание первого преступления есть действительнейшее средство уничтожить охоту ко второму». Жестко пресекались мародерства и грабежи на завоеванных территориях. «Некто из служителей, надлежащих к конюшне Потемкина, по взятии Очакова, когда уже все приведено было в устройство, ворвался в некоторый дом вооруженною рукою и вымогал денег. Когда дошла о сем жалоба к князю, служитель в тот же день наказан был по законам»^[1021].

Потемкин распоряжался громадными суммами, которые правительство ассигновывало на развитие края. Недоброжелатели часто обвиняли его в утаивании и растрате денег. Ордера и контракты на поставки для армии показывают, как расходовались эти средства. Провиант закупался в

Польше, откуда его проще было вести в Новороссию. Там основными поставщиками были граф Винцентий Потоцкий, графиня Александра Браницкая и некий коллежский асессор Бржозовский^[1022]. Далеко не все, что ассигновывалось, действительно получалось. В 1787 году в Екатеринославскую и Таврическую губернии было ассигновано 2 718 745 рублей, но до начала войны сумму не выдали, а с началом боевых действий выплату отложили «до удобнейшего времени». Из Ассигнационного банка по указу от 1 сентября 1785 года в Новороссию и Тавриду должны были отпустить 3 миллиона рублей. Деньги выдавались по миллиону в год, третий не был получен вообще^[1023].

В связи с медленностью прихода сумм Потемкин часто оплачивал государственные расходы из своего кармана. Обвинения в казнокрадстве повторялись противниками светлейшего князя и при его жизни, и после смерти. Вступив на престол, император Павел I назначил две сенатские ревизии финансовой деятельности Григория Александровича. Их результатом стало оправдание светлейшего князя^[1024]. Казна осталась должна Потемкину, а вернее его наследникам. Объяснить подобный вывод отсутствием необходимой документации сложно, так как финансовые бумаги Потемкина до революции хранились в архиве Екатеринославского губернского правления. Ныне они известны благодаря публикации.

Как глава местной власти, генерал-губернатор имел при себе исполнительный орган в виде наместнического правления из нескольких наиболее доверенных чиновников. Ближайшим сотрудником Потемкина был Василий Степанович Попов, начальник канцелярии светлейшего князя. Блестящий администратор, педантичный и неутомимый труженик, Попов перешел к Потемкину из походной канцелярии генерала В. Д. Долгорукова-Крымского и вскоре стал правой рукой нового покровителя. Он следил за неукоснительным выполнением приказов Потемкина, руководил рассылкой обширной корреспонденции. Однако, по его собственному признанию, не ведал и трети информации, поступавшей к светлейшему князю.

«Потемкин... нередко мучился бессонницею, — рассказывал неизвестный автор записок „О приватной жизни князя Потемкина“, — часто призывал к себе Попова для приведения в порядок его распоряжений, или того, что ночью вновь придумывал, а иногда и для произведения в действие. Сей по первому приказанию в мгновение являлся к нему во всей форме, как бы и днем, для написания всего, что князь прикажет, а иногда и для исполнения. Таким образом, Попов часто провождал всю ночь без сна и со всем тем, когда князь вставал с постели, был из первых входящих к нему

с донесением о случившемся ночью и рассылал все полученные от князя повеления в то время, когда князь садился на час в холодную ванну, что он делал ежедневно. Толика неустойчивость Попова... очень часто приводила и самого князя в удивление, как мог Попов, еще менее спящий, нежели он сам, при исполнении толиких трудных дел, всегда быть здоровым, бодрым и веселым»^[1025].

Попов пользовался абсолютным доверием Потемкина, а затем и Екатерины. Он состоял в должности статс-секретаря императрицы с оставлением при особе светлейшего князя, а после его смерти управлял Кабинетом Ее Величества. К несчастью для себя, Василий Степанович пережил и императрицу. Верный слуга и преданный друг, он не смог вынести издевательств Павла над памятью Григория Александровича. Ф. А. Бюлер рассказывал о дальнейшей судьбе Попова: «Император Павел I... во время докладов Попова очень нелестно и иногда язвительно отзывался о его благодетеле. Василию Степановичу стало тяжело выносить это. Раз Павел I особенно разговорился о Потемкине, обвинял его в расстройстве финансов и затем, постепенно возвышая голос, трижды поставил Попову вопрос: „Как исправить все зло, которое Потемкин причинил России?“ С угрозой вынужденный отвечать, Попов сказал: „Отдайте туркам южный берег“ ...Он (Павел. — О. Е.) бросился в угол за шпагой, а Попов, не собрав бумаг своих, побегал, как шальной, через несколько зал Михайловского дворца и замкнул за собою какую-то дверь. Приехав еле живой к себе в дом, находившийся на большой Миллионной, он застал уже у себя часовых»^[1026]. Был наряжен суд, но за Попова заступился фаворит Павла граф И. П. Кутайсов, уговоривший государя сослать Василия Степановича в его полтавское имение Решетиловку.

Другим важным лицом в окружении светлейшего князя был Михаил Леонтьевич Фалеев, бывший молдавский коммерсант, с которым князь познакомился еще в годы Первой русско-турецкой войны. Он руководил строительством новых городов на Юге, сочетая функции архитектора, администратора и подрядчика-поставщика для армии и флота. Помимо деловых отношений, Потемкина с Фалеевым связывала личная дружба, недаром именно в его доме воспитывалась дочь светлейшего. При покровительстве князя Михаил Леонтьевич достиг чина бригадира, стал статским советником и обер-комиссаром. Он ненадолго пережил Потемкина и умер в 1792 году.

Обладая громадным влиянием на дела империи, светлейший князь позволял себе действовать через голову высших государственных

учреждений, изредка посылая в Сенат рапорты о делах в наместничестве, и чаще всего обращался прямо к императрице^[1027].

Заселение края

Еще в 1774 году Новороссия представляла собой пустынную степь, обрывающуюся в Черное море, а присоединенный в 1783 году Крым сделался русским только по названию, так как основное его население составляли татары. Важнейший вопрос, который пришлось решать Потемкину, — заселение края. Сюда направился мощный переселенческий поток из русских, украинцев, казаков, поляков, греков, румын, болгар, валахов, сербов и др.

Еще по первоначальному проекту присоединения ханства предполагалось «живущим в Крыму татарам объявить, что которые из них пожелают быть в вечном Российском подданстве, те могут остаться на прежних своих жилищах, а прочим дать на волю выехать вон из Крыма и переселиться, куда кто пожелает»^[1028]. После выселившихся в Турцию татар остались дома и земли. Потемкин поручил описать их и имущество ханской казны. Оказалось, что много пустых земель расположено за Перекопом и в ногайских степях. Именно этими территориями князь воспользовался для колонизации.

По его приказу поселенцы за казенный счет получали на одну душу мужского пола восемь десятин пахотной земли, по паре волов, по одной лошади и по одной корове^[1029]. В первую очередь были заселены города Алешки, Балаклава, Феодосия, Керчь, Петровская слобода, Курцы, Санкт-Петербургские мазанки, Саблы, Изюмск и Мангуш.

Большинство переселенцев были холосты, и это весьма заботило Потемкина, так как известно, что семейное хозяйство крепче прирастает к земле. Поэтому всячески поощрялось обзаведение семьей прямо на месте. Многие приезжие брали в жены крещеных татарок. Оборотистый польский прапорщик Крыжанский с евреем Шмулем Ильевичем взялись доставлять из Польши женщин, желавших вступить в Крыму в брак. Они привезли 99 молодых крестьянок, отправленных в Алешки и Акмечеть, и за каждую из них получили по пять рублей.

Особое внимание уделялось домам для приезжающих. При строительстве на них ассигновывались основные суммы. Жилища возводились раньше, чем предприятия. Например, на заведение чулочной

фабрики в Карасубазаре было назначено 340 тысяч рублей. Из них 240 тысяч пошло на постройку 200 домов для мастеровых, а 100 тысяч — на фабрику^[1030].

Первоначально предполагалось сделать русский элемент колонизации главным. В «Рассуждении...» говорилось о необходимости поселить в Крыму 20 тысяч пехоты и 10 тысяч конницы, а также взять из государственных волостей и монастырских деревень 10 тысяч хлебопашцев. Однако Сенат крайне неохотно выделял государственных и монастырских крестьян для Новороссии и Тавриды, поскольку это приводило к потере налогоплательщиков. Переселенцы освобождались от налога на срок от 15 до 30 лет^[1031]. Вместо 10 тысяч на Юг посылались партии из 40–60 семей, что, естественно, не могло удовлетворить потребности края.

Попытки князя забирать в наместничество русских каторжников, используемых на уральских заводах, не увенчались успехом — и на Севере нужны были рабочие руки. Тогда Потемкин решил выписать из Англии партию осужденных, отправлявшихся в Америку. Посол в Лондоне Семен Воронцов очень гордился тем, что помешал этому «унизительному для России плану»^[1032]. Чем Крым в те времена был лучше Америки, а английские бандиты хуже греческих пиратов, в большом числе вселявшихся в Тавриду, неясно.

Однако сам собой открылся неожиданный источник поселенцев: в Новороссию и Тавриду устремились беглые. Потемкин не стал особенно разбираться, чьи они и откуда, а приказал укрывать их в своем наместничестве, возобновив старинный казачий принцип: с Сечи выдачи нет. Начиная с 1775 года выдачи не было со всех вновь приобретенных на Юге земель. 31 августа 1775 года Григорий Александрович писал в секретном ордере генерал-квартирмейстеру, губернатору Новороссии М. В. Муромцеву: «Являющимся к вам помещикам с прошением о возврате в бывшую Сечь Запорожскую крестьян объявить, что как живущие в пределах того войска вступили по высочайшей воле в военное правление и общество, то и не может ни один из оных возвращен быть»^[1033].

Но и после таких мер населения все равно не хватало. «Сия пространная и изобильная земля в России не имеет еще ни десятой доли жителей»^[1034], — замечал Потемкин в одном из ордеров. 10 августа 1785 года князь докладывал императрице о судьбе полученных им от Синода четырех тысячах заштатных дьячков, отправленных в Тавриду: «Получатся и хлебопашцы, и милиция, которая вся обратится в регулярные казацкие

сотни»^[1035].

Еще до присоединения Крыма князь несколько раз хлопотал о разрешении переселить в его наместничество старообрядцев. Стараниями Потемкина многие из них стали переходить в так называемое единоверчество. Старообрядцы признавали свое административное подчинение местной православной епархии и принимали к себе назначенных попов, которые, однако, вели службу по старопечатным книгам. После присоединения Крыма князь добился разрешения трем тысячам новгородских староверов переехать под его покровительство на реку Конскую около нового села Знаменки. В том же докладе Екатерине он писал: «Дозвольте всем старообрядцам, которые переселяются на места, лежащие между Днепром и Перекопом, получая попов от архиерея Таврического, отправлять служение по старопечатным книгам, приписав к нему в епархию старообрядческие слободы».

Ордера Потемкина рисуют его отношение к жителям наместничества. «Поселенные в Тавриде солдаты требуют особого попечения, — писал он генералу М. В. Каховскому 14 августа 1786 года. — Войдите в состояние их, и если они терпят нужду, то преподайте им всевозможное содействие, снабдя их из суммы таврической всем тем, что необходимо земледельцу»^[1036].

Из-за недостатка в рабочем скоте Григорий Александрович приказал бесплатно раздать поселенцам стада выехавших за границу татар. Распродавались со скидкой ханские табуны кобыл и жеребят.

Еще в 1774 году Екатерина по представлению Потемкина направила А. Г. Орлову рескрипт с приказанием разрешить служащим во флоте грекам основывать свои поселения в Керчи и Еникале. На казенные средства для них были построены дома, налоги отменены сроком на 30 лет. Через два года Потемкин выписал ордер Азовскому губернатору Е. А. Черткову о «постройке школы для малолетних, где бы не токмо первоначальные, но и высшие науки на греческом, российском, татарском и итальянском языках были, а сироты и бедных отцов дети обучались на казенный счет». Далее речь шла о «больнице с аптекою, где также сырых и дряхлых заслуженных людей пользоваться безденежно»^[1037]. Возникали и национальные школы, например, в Нежине была греческая гимназия, куда по приказу Потемкина с 1787 года стали присылать и детей албанцев. Русские направляли сыновей в Кременчугское училище^[1038].

В Кременчуге Миранда посетил две школы: «В одной обучалось 72 юноши и иные желающие, платя по 12 рублей в год. Есть учителя

грамматики, французского и немецкого языков, арифметики и географии. Пребывание в другом заведении, для девиц, стоит 36 рублей, и там учат вышивать, читать, танцевать, петь, играть на фортепьяно, и хотя эти учреждения далеко не совершенны, они тем не менее приносят значительную пользу»^[1039].

Строительство городов

В 1784 году офицеры штаба Потемкина начали топографическое измерение Крыма. В результате были составлены карта и атлас Тавриды. В процессе этой работы подыскивались наиболее удобные места для населенных пунктов. Но еще в бумагах за 1774–1775 годы Григорий Александрович живо интересовался подходящими местами для городов и крепостных построек. Ему были присланы карты Керчи, Еникале и Кинбурна.

Ни один из новых городов не возник на пустом месте: там же или поблизости в древности существовали греческие поселения, от которых остались развалины и названия, или татарские деревни, положение которых подходило для строительства. Вначале были сооружены заводы для выделки черепицы, кирпича и гашеной извести в Акмечети, Карасубазаре, у устья реки Салгир и на Збруевской стороне. Особые трудности возникали с лесом, его приходилось везти из России или из Польши. Только по одному ордеру за древесину было заплачено 14 950 рублей, по другому 13 366 рублей, а таких ордеров были сотни.

Любимыми городами князя стали Екатеринослав и Херсон в Новороссии и Севастополь в Тавриде. Учрежденный в 1778 году Херсон Екатерина назвала «молодым колоссом». Князь бывал там очень часто и сам руководил многими работами. По свидетельству Самойлова, его дядя собирался сделать этот город «знаменитым и цветущим, каким был в древности Херсонес Таврический». Чума, свирепствовавшая в Херсоне около двух лет, задержала его развитие, но к середине 80-х годов оно вновь набрало силу. Борьба с чумой имела для южных земель исключительное значение. Военный врач Д. С. Самойлович одним из первых вел в Крыму эпидемиологические исследования и разработал действенные методы против распространения заразы. Миранда писал о нем: «После ужина имел возможность, не спеша, побеседовать с доктором Самойловичем, описавшим признаки чумы, которую он, кажется, изучил лучше, чем кто-либо до него. Он был весьма изобретателен в проведении микроскопных

исследований, его теория является чрезвычайно убедительной, а рекомендуемые им прививки вполне доступны. Жаль, что он не съездил, как ему хотелось, в Константинополь и Египет, чтобы проверить свои выводы»^[1040].

Во время путешествия Екатерины в Крым в 1787 году Иосиф II указывал на неудачный выбор места для постройки Херсона — низменная болотистая долина — как на крупнейшую ошибку в администрации Потемкина. Однако это место было единственно возможным, пока Очаков и Гаджибей принадлежали туркам^[1041]. Чтобы избавить жителей от сырости и оздоровить воздух, наместник приказал сажать в окрестностях Херсона эвкалипты, которые после росли в Крыму до середины XX века.

Мы приводили восторженный отзыв о Херсонской крепости И. И. Хемницера, увидевшего город в 1782 году по дороге в Константинополь. Тогда же совершил поездку на Юг бывший гетман Малороссии К. Г. Разумовский. 22 июня он писал своему старому знакомому, одному из секретарей Потемкина М. И. Коваленскому: «На ужасной своей пустынности степи, где в недавнем времени едва рассеянные обретаемы были избышки, по Херсонскому пути, начиная от самого Кременчуга, нашел я довольные селения верстах в 20, в 25 и далее, большею частью при обильных водах. Что принадлежит до самого Херсона, то представьте себе множество всякий час умножающихся каменных зданий, крепость, замыкающую в себе цитадель и лучшие строения, адмиралтейство со строящимися и построенными уже кораблями, обширное предместье, обитаемое купечеством и мещанами разнovidными. С одной стороны казармы — 10 000 военнoслужаших в себя вмещающие, с другой — перед самым предместьем видоприятный остров с карантинными строениями, с греческими купеческими кораблями и с проводимыми для выгод сих судов каналами. Я и доныне не могу выйти из недоумения о том скором возвращении на месте, где так недавно один только обретался зимовник. Сей город скоро процветет богатством и коммерциею, сколь то видеть можно из завидного начала оной... Не один сей город занимал мое удивление. Новые и весьма недавно также основанные города Никополь, Новый Кайдак, лепоустроенный Екатеринослав, расчищенные и к судоходству удобными сделанные Ненасытские пороги с проведенным при них каналом»^[1042].

На правой стороне Днепра был заложен Екатеринослав, в котором уже в 1784 году императрица, по предложению Потемкина, повелела учредить университет. На следующий год прибыли первые партии рабочих. В октябре 1786 года князь доносил: «По соседству Польши, Греции, земель

Волошских, Молдавских и народов иллирийских множество притечет юношества обучаться». Город должен был заключать в себе «судилище наподобие древних базилик», «лавки полукружьем наподобие Пропилеи или преддверия Афинского, с биржей и театром посредине», «музыкальную академию или консерваторию», двенадцать фабрик: шерстяную, шелковую, суконную и пр. Предполагалось устроить обсерваторию, жилища для профессоров и студентов. Уже в 1785 году назначено было жалованье университетским наставникам, учреждена университетская канцелярия и приглашены некоторые преподаватели. Знаменитый композитор Джузеппе Сартти был назначен директором консерватории.

Планировалось, что город займет 300 квадратных верст, для пастбища городского скота предназначалось 80 тысяч десятин выгонной земли, улицы прокладывались «столичной» ширины — 300 саженей. По мысли Потемкина, Екатеринослав должен был играть роль южной столицы России, центра управления культурной и хозяйственной жизнью Новороссии. Однако в тот момент для осуществления многих замыслов не хватало средств, рабочих рук, а главное времени (от основания Херсона до новой войны с Турцией прошло девять лет, а от закладки Екатеринослава — два года).

Через год после присоединения Крыма на берегу Ахтиярской бухты был заложен Севастополь. Он стал главной базой молодого Черноморского флота. Иностранные наблюдатели, посетившие эти места в 1787 году, в один голос хвалили молодой, быстро развивавшийся город, лучшую в Европе бухту и крепостные сооружения при ней. А вот сам князь с беспокойством относился к судьбе своего детища. 10 августа 1785 года в докладе императрице он сообщал: «Польза сего места по близкому его к турецким берегам положению» состоит в том, что «оно весьма способно содержать в страхе все прилежащие селения, прикрывать наши торги и подвозы, идущие от устья Днепровского». Однако «невыгодная при Севастополе натура представляет трудность в назначении там под крепость места... Рассматривая чертеж, кажется, что положение наилучшее, но, обозрев сих заливов окрестности, найдем, что надобно захватить всю долину, которая содержит около 3 верст, от чегоб крепость вышла необъятной окружности. Через глубокие там овраги очень трудно и почти невозможно соединить части крепости и так защитить себя, чтоб не открыть тылу некоторых линий и самой внутренности залива прямолинейному действию неприятельских орудий»^[1043]. Крайнее время осады такой крепости князь рассчитывал в «3 месяца, или 90 дней». Тревога Потемкина о судьбе неудачной фортеции, которую пагубно

отрывать от остальных войск и оставлять в осаде, оправдалась через 70 лет, в ходе Крымской войны 1853–1856 годов. Оборона Севастополя тогда длилась почти год (с 13 сентября 1854 года по 27 августа 1855-го).

Даже во время боевых действий Григорий Александрович не оставлял хозяйственных распоряжений. Кампания 1788 года была уже закончена, когда, осматривая очаковскую степь, князь обнаружил удобное место при впадении реки Ингул в реку Буг и приказал заложить здесь корабельную верфь. Николаев, названный так в честь дня взятия Очакова 6 декабря — праздника Святителя Николая, — с самого начала строился как адмиралтейский город. 27 августа 1789 года с николаевской верфи был спущен первый фрегат^[1044]. Потемкин предполагал углубить Ингул, открыть в Николаеве морской кадетский корпус на 360 человек и кораблестроительное училище, а в окрестностях города основать Спасо-Николаевский монастырь, монахами которого должны были стать «военные штаб-и обер-офицеры».

В 1790 году были закончены работы по строительству адмиралтейства, гостиного двора, заложена большая церковь Григория Великие Армении, на содержание которой были определены доходы с лавок у биржи, погребов, трактира и кофейной. Число работавших доходило до нескольких тысяч. Приступили к заведению большого аптекарского сада, устройству мастерских для снабжения флота соленым мясом, сушеными горохом, чечевицей и фасолью, а также консервами из овощей. Появились несколько пильных мельниц и сельскохозяйственных ферм. Если в 1788 году, по словам прибывшего в Николаев доктора Э. В. Дримпельмана, город состоял еще из тростниковых хижин и землянок, то в течение года было выстроено более полутора десятка каменных домов. По приказанию князя лес доставлялся за казенный счет по Бугу и дешево распродавался жителям^[1045].

Согласно «Записке о мирных предначертаниях князя Потемкина»^[1046], составленной в 1791 году М. Л. Фалеевым, Григорий Александрович планировал перевести адмиралтейство из Херсона в Николаев «сколько для лучшего и удобнейшего строения кораблей места, столько и для здорового воздуха и чистых вод». В Николаеве должны были строиться крупные 74-пушечные линейные корабли, большие фрегаты, а также легкие суда для гребного флота.

Записка Фалеева показывает, как осуществлялась посадка рекрут на землю. Князь приказал: «Чтобы не было недостатка в мастеровых, учить рекрут женатых плотничать и другим мастерствам, нужным для адмиралтейства, и поселить оных до 2 тысяч и тысячу каменщиков, дать им

землю для хлебопашества... На Буге Русскую косу и на другой стороне Буга против Николаева и Богоявленска занять место, где ключи есть, под поселения мастеровых». Обычно мастерам платили по три рубля в месяц, но лучшим увеличивали жалованье до пяти.

Упомянутая тысяча каменщиков специально была куплена князем в Ярославле у княгини Мещерской и привезена на Юг для работ в Николаеве и Богоявленске. По записке Фалеева они были определены Потемкиным «казенными быть», то есть стали в понимании того времени вольными. Точно так же князь поступил со своими крепостными: «Близ Елисаветграда, при Черном лесе и Чуме поселены собственные его светлости крестьяне, доставшиеся ему по наследству от матери, и из Тульской губернии переведены в слободе Знаменке и Богдановке 552 души мужского пола да женского 804 и отданы в адмиралтейские мастеровые».

Фонтаны в городе украшались мрамором, строилась турецкая торговая баня. Сверх того князь приказал Фалееву «на берегу Буга при всех криницах поделать фонтаны, чтобы приходящие суда могли удобно снабжаться хорошою водою, что в некоторых местах и сделано». Колодцы, располагавшиеся в населенных пунктах, облицовывались камнем. В Богоявленске три адъюнкта — Гребницкий, Козлов и Сапанкевич под присмотром профессора Ливанова обустроивали «земледелие на английский манер», они завели там Училище практического земледелия и показывали местному населению «легкий способ пахания земли», учили делать английские плуги и бороны. Князь распорядился заготовить тысячу английских плугов и борон для рассылки «здешней губернии помещикам и в казенные селения» в подарок.

Профессор Ливанов обнаружил в окрестностях Николаева серебряную и железную руду, уголь, мрамор и минеральные краски, «употребленные в адмиралтействе с великою пользою». В Богоявленске располагались мельницы, инвалидный дом и госпиталь. На Бугских порогах строился завод для починки якорей и «кования водяными машинами разных потребных к адмиралтейству железных вещей». На Буге же находились в двух местах карантин, без прохождения которых суда не приближались к городу. Эта мера на землях, где часто случались эпидемии, занесенные из Турции, была необходима. Вообще пространная записка Фалеева с указанием уже сделанного и перечислением множества распоряжений на будущее прекрасно демонстрирует заботу и внимание настоящего хозяина, которые князь проявлял о южных землях.

В 1783 году на территории Новороссии и Тавриды были отменены внутренние пошлины, что способствовало развитию торговли. По мысли

Потемкина, без серьезной государственной поддержки поселенцы не могли поднять хозяйство края. Весной генерал-губернатор требовал от губернаторов отчета, «засеяны ли поля озимым хлебом, имеют ли жители достаточное количество хлеба для посевов»^[1047]. Для руководства сельским хозяйством наместничества была учреждена Контора земледелия и домоводства Таврической области.

Страстью наместника было садоводство и виноградарство. Сразу после присоединения Крыма он выписал из Франции ученого садовника Банка, назначил его директором таврических садов и поручил развести там лучшие сорта винограда, шелковичные и масличные деревья. На реке Каче англичанину Гулду приказано было насадить рай-дерево и сеять каштаны. Из «немецких земель» в Крым приехали завербованные князем мастера: винодел Грунтваль, «лучший садовник винограда» Ортлин, «мастер разводить шелковицу» Линдрен с женой и детьми. В 1786 году Потемкин заключил договор с итальянским графом Пармой об организации шелковичных плантаций в округе Старого Крыма. Плантации заняли 1850 десятин, для работы на них специально переселились туда знакомые с делом грузины.

Потемкин желал устроить в Старом Крыму шелкопрядильную фабрику наподобие той, что уже существовала в его имении Дубровна под Могилевом, где выписанные из Франконии чулочники основали свой промысел. Они производили продукцию тончайшего качества. Во время путешествия Екатерины ей была преподнесена пара чулок, уместившихся в скорлупе грецкого ореха^[1048]. Однако шелководство плохо прижилось в Тавриде, теплолюбивые деревья приживались с трудом, после смерти князя государственные плантации пришли в запустение.

Большое внимание Потемкин уделял развитию соляного промысла. Знаменитая крымская розовая соль, отдававшая запахом малины и прежде поставлявшаяся к султанскому двору в Стамбул, стала предметом экспорта и приносила краю немалый доход. Овцеводство и рыболовство — другой источник благосостояния южных земель — требовали постоянных забот. По приказу наместника особую породу серых овец, славившихся еще при ханах, отделили от простых и держали в Козловском и Тарханкутском кадылыках за счет казны, а простых перегнали в Алешки и бесплатно раздали поселенцам. Частным владельцам отдавались и прибрежные места для рыбной ловли, чем значительно ускорилось развитие этой отрасли хозяйства.

Строжайшим образом была запрещена вырубка лесов. Для

строительства шла ввозная древесина, а топить рекомендовалось кизяком. В богатых домах обогревались, поджигая винный спирт, налитый в большие тазы, расставленные на полу^[1049]. «Заботился его светлость и о лесах корабельных, — писал Фалеев, — . почитая, что в последующие времена не из чего будет флот исправлять, и для того приказывал оные сеять при каждом селении адмиралтейском по несколько десятин... Для надобностей же сельских и городских итальянскую тополь садить, как способную к растению скорее всякого дерева»^[1050]. Из Центральной России в Крым привезены были из-под Самары молодые дубки для пересадки.

Частично проблему отопления князь решал за счет открытого вблизи Николаева угля. «В пользу жителей николаевских и казны из найденного недавно земляного угля, — передавал приказания Потемкина Фалеев, — перевезть в Николаев 100 тысяч пудов, ввести оное в казенных кузницах и партикулярных домах, для варения пищи, согревания покоев... В замену лесу при строениях домов употреблять здесь открытый аспид, на Кривом Рогу найденный, из коего делать полы и крыши, почему посланные туда турки и адмиралтейские мастеровые наломали 130 возов»^[1051]. Служащие наместничества вели розыск полезных ископаемых и сразу же пускали найденное в дело.

По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору русские купеческие корабли получили право свободного плавания из Черного моря в Средиземное. Манифестом 22 февраля 1784 года были открыты русские пристани Херсон, Феодосия и Севастополь. Князь начал раздачу патентов на «поднятие флага». Желая возродить былое купеческое могущество Кафы, Потемкин открыл Феодосийский порт, однако только для христианских кораблей. В этом был особый смысл — прежде Кафа считалась крупнейшим работорговым центром Крыма, откуда невольников-христиан тысячами продавали в Турцию.

Реформы в армии

Уже в конце 1777 года Екатерина писала князю о необходимости готовиться к войне, о постройке кораблей на Днепре и адмиралтейства на Лимане. Флот призван был защищать от посягательств Турции вновь приобретенные земли. С одной стороны, в диком неосвоенном краю создать флот в короткие сроки было практически невозможно. С другой —

обжить и благоустроить Юг, не обеспечив его безопасности, казалось столь же неосуществимой задачей. Поэтому хозяйственное освоение Новороссии и Тавриды шло рука об руку со строительством Черноморского флота и осуществлением реформ в армии.

В Херсоне Потемкин основал морской кадетский корпус и училища: штурманское и корабельной архитектуры. Франсиско де Миранда в 1787 году описывал свое впечатление от херсонского арсенала: «Принимая во внимание, что он существует совсем недавно, поразительно, сколько кораблей тут построено... Стапели созданы самой природой на глинистой отмели... На них находится в данный момент 80-пушечное судно в начальной стадии строительства, 66-пушечное, близкое к завершению, 50-пушечный фрегат, чья постройка уже значительно продвинулась, и другой такой же, только что начатый. Я ознакомился с качеством работы и материалов, которые очень хороши. Какая великолепная древесина! Конструкция показалась мне точной копией английской, а корабли гораздо лучше наших и французских. ...Навигационные приборы — голландские, также много английских. Моряки — самые крепкие и brave на вид люди, каких мне приходилось когда-либо встречать. Они очень опрятны, и мне говорили, что, как и солдаты, исключительно сообразительны»^[1052].

Не все были согласны с Мирандой. Потемкина не раз обвиняли в том, что флот им был построен наскоро, из негодных материалов. Иосиф II писал из Севастополя фельдмаршалу Ф. Ласси, что корабли сделаны из сырого леса, что экипажи плохо обучены, поскольку укомплектованы большей частью солдатами сухопутных войск. Это мнение австрийского императора в России озвучивали члены проавстрийской партии. Позднее, в 1795 году, подыгрывая настроениям Воронцовых, Безбородко слово в слово повторял замечания союзника: «Потемкин умел выводить в море гнилые корабли в большом числе»^[1053]. Испытания, выдержанные этим «гнилым» флотом в начале войны, и его громкие победы в 1789 и 1790 годах говорят в пользу качества постройки, хорошей подготовки личного состава, умелого подбора командиров.

В качестве президента Военной коллегии Потемкин занимался административной стороной жизни армии. Он подготавливал войска к будущей войне, приспособляя их к условиям края, в котором предстояло сражаться. Реформирование армии началось в 1783 году. Переведение войск на новую форму, осуществленное в 1784–1785 годах, было его составной частью. Оно так разительно изменило внешний вид армии, что современники обращали внимание главным образом на это нововведение.

Потемкин считал важным отказаться от неловкого прусского мундира, от париков и кос, из-за которых солдаты страдали вшами. Свои мысли он изложил в докладной записке Екатерине, не смущаясь обращать внимание императрицы на многие малопривлекательные стороны солдатского быта. О появлении армии нового образца в начале XVIII века в России князь писал: «Когда вводилось регулярство, вошли офицеры иностранные с педантством тогдашнего времени; а наши, не зная прямой цены вещам военного снаряда, почли все священным и как будто таинственным. Им казалось, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах и проч. Занимая же себя таковою дрянью, и до сего еще времени не знают хорошо самых важных вещей, как то: марширования, разных построений и оборотов, а что касается до исправности ружья, тут полирование и лощение предпочтено доброте, а стрелять почти не умеют; словом, одежда войск наших и амуниция такова, что придумать почти нельзя лучшего к угнетению солдата, тем паче, что он, взят будучи из крестьян, в 30 почти лет возраста узнает узкие сапоги, множество подвязок, тесное нижнее платье и пропасть вещей, век сокращающих».

Многие детали солдатского туалета вызывали справедливую неприязнь военачальника. «Шляпа — убор негодный: она головы не прикрывает и, торча на все стороны, озабочивает солдата опасностью, чтобы ее не измять, особливо мешает положить голову, ...да и не закрывает также от морозу ушей. ...Штаны конные — лосинные... много заботят чищением и трудностью надевания; зимою в них холодно, а летом жарко. ...Сапоги делают так узки, что и надевать трудно, а скидывать еще труднее, особливо когда намокнут; притом сколько подвязок, чтоб гладки были, и сколько лакирования, чтоб лоснились.

...Завиваться, пудриться, плесть косу — солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всякий должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдата должен быть таков, что встал и готов. Если б можно было счесть, сколько выдано в полках за щегольство палок и сколько храбрых душ пошло от сего на тот свет! И простительно ли, что страж целости Отечества удручен прихотями, происходящими от вертопрахов, а часто и от безрассудных!»

Косы солдатам были обрезаны, пудра отменена, тесная одежда заменена на удобные куртки, шаровары, широкие сапоги; шляпы — на каски. Вместо непривычного для крестьян чулка была введена хорошо знакомая им портянка. «Просторные сапоги перед узкими и онучи, или портянки, перед чулками имеют ту выгоду, — рассуждал князь, — что в

случае, когда ноги намокнут или вспотеют, можно, при первом удобном времени, тотчас их скинуть, вытереть портянкой ноги и, обтерев их опять сухим уже оной концом, в скорости обуться и предохранить их тем от сырости и ознобу; в узких же сапогах и чулках то учинить никак не можно, которых неудобно скинуть, ни свободно опять надеть нельзя, да и чулки не всегда бывает возможность переменить или высушить, через что бедные солдаты, имея беспрестанно ноги мокрые, подвергают себя нередко простуде и другим болезням»^[1054].

Потемкин без смущения «подсовывал» под нос императрице солдатскую портянку и заставлял думать о такой, казалось бы, мелочи. Вспоминается английский детский стишок «Потому что в кузнице не было гвоздя» об армии, разбитой из-за отсутствия гвоздя в подкове командирской лошади. Из документов светлейшего князя следует, что он нарочито обращал внимание на многозначительные «мелочи», улучшавшие состояние армии. «Не имея нужды, как это делают при узких сапогах, подвязывать крепко своих ног, солдаты могут и свободнее ходить, и больше переносить путевого труда, и обращение крови не останавливается».

Французский посол граф Луи Сепор называл Потемкина «врагом мелочных расчетов». Судя по документам, связанным с военной реформой, это было не так. Князь доносил императрице, что солдат вынужден тратить из собственного жалованья ежегодно «на пудру, помаду и косные ленты» по 1 рублю 5 копеек, на приведение лосин в порядок 20 копеек, на покупку пары штиблет и пары манжет 30 копеек, а также на приобретение суконных штанов еще 60 копеек. При введении же новой формы «солдат, сверх других многих выгод, будет иметь еще от своего жалования в остатке, против теперешних издержек, до 2-х рублей». Первый вельможа империи умел неплохо считать деньги и заботился о солдатском кошельке.

Миранда писал о впечатлениях от русских войск: «Г-н Корсоков показал мне солдата в артиллерийской форме, которая мне очень понравилась: каска или шапка в греческом стиле, изготовленная из латуни, дабы выдерживать сабельные удары... Короткая шпага с широким лезвием и острием, которое служит солдату для разных целей. В общем, эти войска обмундированы с большим вкусом, воинским изяществом и сообразно климату»^[1055].

Если солдату новая форма была в радость, то офицеры восприняли ее без восторга, так как она казалась проще старой и не соответствовала моде. За обмундированием офицера следил денщик, следовательно, оно не доставляло хозяину больших хлопот. Только малоимущие офицеры

оценили недорогую и прочную одежду. В 1788 году командующему самому пришлось подать пример. «Его светлость... приказал сделать себе мундир из толстого солдатского сукна, — рассказывал Энгельгардт, — дабы подать недостаточным офицерам средства не издержать из малого своего жалования на покупку тонкого сукна... Почему в угождение его все генералы сделали таковые мундиры. Итак, хотя приказа и не было, но почти все штаб-и обер-офицеры с удовольствием во всю войну одевались в куртки толстого сукна, как солдаты»^[1056].

Новшества были введены и в обучении войск. «Из опытов известно, — писал в приказе президент Военной коллегии, — что полковые командиры обучают часто редко годным к употреблению на деле [вещам], пренебрегая самые нужные». Поэтому он требовал: «Марш должен быть шагом простым и свободным, чтобы, не утруждался, больше вперед продвигаться. Конверсии (перестроения. — О. Е.) взводам и большим частям производиться должны со всевозможною скоростью, не наблюдая ровности шага... Как в войне с турками построение в каре испытано выгоднейшим, то и следует обучать формировать оные из всякого положения. Особенное употреблять старание обучать солдат скорому заряду и верному прикладу».

В кавалерии князь также показал себя врагом всего показного. Он писал: «Сидеть на лошади крепко с свободностью, какую казаки имеют, а не по-манежному — принужденно: стремена чтобы были не длинны... Артиллеристов обучать ежедневно и с порохом... Егерей преимущественно обучать стрелять в цель. Всякое принуждение, как то: вытяжки в стоянии, крепкие удары в приемах ружейных, должны быть истреблены; но вводить бодрый вид при свободном движении корпуса».

Потемкина серьезно заботил моральный климат в армии. Он не терпел побоев и издевательств старших по званию над младшими. «Паче всего я требую, дабы обучать людей с терпением и ясно толковать способы к лучшему исполнению. Господа полковые и батальонные командиры долг имеют испытать наперед самих обер-и унтер-офицеров, достаточны ли они сами в знании. Унтер-офицерам и капралам отнюдь не позволять наказывать побоями, а понуждать ленивых палкой не более шести ударов. Отличать прилежных и доброго поведения солдат, от чего родится похвальное честолубие, а с сим и храбрость; читать притом в свободное время, из военного артикула, чем солдат обязан службе. Не упускать в воскресные дни приводить на молитву... наблюдать опрятность, столь нужную к сохранению здоровья, содержание в чистоте амуниции, платья и обуви, доставлять добрую пищу, лудить почасту котлы. Таковыми попечениями полковой командир может отличиться, ибо я на сие буду

взирать, а не на вредное щегольство, удручающее тело»^[1057].

Светлейший князь значительно смягчил телесные наказания, запретил побои новобранцев. Нельзя было также поднимать руку на солдата, имевшего боевые награды. «Господам офицерам гласно объявить, — писал он в одном из ордеров, — чтоб с людьми обходились со всевозможной умеренностью». Употребление солдат на частные работы командиров строго наказывалось. Вторично (после Петра I) в армии была учреждена должность инспекторов^[1058].

В пехоте князь отдавал предпочтение гренадерам. Это была ударная сила армии — наиболее здоровые и сноровистые солдаты. В гренадерские роты каждого полка поступали также наиболее храбрые, заслуженные люди, отличившиеся в сражениях. Потемкин отменил в пехоте шпагу, как мешавшую при ходьбе, а вместо нее повсеместно был введен штык. «Нет других войск в мире, где столько бы любили драться штыком», — отмечали европейские наблюдатели^[1059].

Только гренадерам было оставлено клинковое холодное оружие для рукопашных схваток. В 1790 году князь писал в инструкции для создававшегося Гренадерского полка легкой пехоты: «Поизводить удар на штыках дружно и стремительно; в то же время отборными и проворными людьми, облегча их от оружия и прочей тяжести, атаковать на саблях... с отменной скоростью; к сему выбрав способных, обучить наперед. Турки называют такую атаку юринь, а я везде именовать буду вихрем». Полк гренадер легкой пехоты предназначался для Гребной флотилии и представлял собой своего рода морских пехотинцев того времени^[1060].

Большое внимание Потемкин уделил и егерям. В 1784 году Екатерина подписала рескрипт об «умножении» армии, на основании которого президент Военной коллегии начал создание корпусов егерей — стрелков-пехотинцев, приученных к рассыпному строю. Для действий на пересеченной местности они были незаменимы. Первым егерей завел Фридрих II, но он довольствовался небольшими командами в составе пехотных полков^[1061]. В 1788 году была издана «Инструкция», в которой светлейший князь описывал разные «хитрости егерей». Их учили прикидываться убитыми, сбивать противника с толку, ставя свою каску в стороне от себя. Егеря должны были уметь передвигаться ползком, стрелять и заряжать ружья лежа. От солдат требовали «цельный приклад» (прицельную стрельбу) и «скорый заряд», а не быструю неточную пальбу. Для тренировок использовались движущиеся на веревке мишени, по которым егеря стреляли, стоя, лежа и на бегу^[1062]. В годы войны егеря

использовались главным образом на севере против Швеции, которая и сама, по отзывам Потемкина, обладала прекрасными егерскими подразделениями. Среди лесов, скал и фьордов это был наиболее «употребительный» род войск.

А вот на Юге иная специфика местности диктовала свои требования. Считая, что пехота в условиях степи малоэффективна, Потемкин постоянно стремился увеличить долю конницы, особенно легкой и иррегулярной, чего не одобряли такие военачальники, как П. А. Румянцев и А. Г. Орлов. При князе конница была увеличена на 18 %, сформированы драгунские полки 10-эскадронного и гусарские 6-эскадронного состава. Пехота в южных регионах тоже не оставалась без внимания: были устроены егерские батальоны, увеличено число grenадер, сформированы мушкетерские 4-батальонные полки.

«В России полк — это, в сущности, небольшое селение со всем необходимым, чтобы существовать самостоятельно, — писал в дневнике Миранда, — а когда прикажут, тотчас же выступать в поход. Нет такой работы по механической части или в доме, для исполнения которой тут не имелось бы собственных мастеров, отбираемых по мере прибытия новобранцев... Походные повозки, артиллерийский парк и прочее — все в наилучшем виде, равно как и лошади, составляющие полковое имущество. Каждая рота размещается в бараке, где у нас едва ли втиснулось бы 40 человек. Посредине находится плита с духовкой для выпечки хлеба, каковая одновременно служит печью, чтобы обогревать помещение. Нет стойки для хранения оружия и вообще ничего подобного. Тем не менее, приятно видеть, в какой опрятности содержатся ружья, снаряжение и обмундирование».

Условия службы на новых землях были тяжелыми как для рядовых, так и для офицеров. «Жалование... самое мизерное, а потому солдат редко ест что-либо, кроме хлеба с солью... и немного совсем сырой капусты, чуть приправленной уксусом. Несмотря на этот скудный рацион, люди выглядят здоровыми и крепкими. Когда солдат трудится на общественных работах, он получает дополнительно пять копеек. Как только наступает его очередь нести службу, он берется за оружие, а вместо него работает другой... Офицеры каждой роты живут вместе в разделенном перегородками бараке, расположенном напротив солдатской казармы. Все эти строения либо глинобитные, либо саманные, либо дерновые. Крыша у них соломенная, а каркас сделан из прочного дерева»^[1063].

Миранда указывал на худое состояние госпиталя, виденного им в Херсоне. «Он неплохо спланирован и построен, но из-за ощущаемого

повсюду отвратительного запаха воздух внутри затхлый и показался мне даже зловонным. Чистотой и порядком госпиталь не отличался».

Тягостное впечатление госпиталя произвели и на императора Иосифа II во время посещения Крыма в 1787 году. Там находилось много больных, страдавших желудочными расстройствами. Приспособиться к новому климату и непривычной воде уроженцам центральных губерний России было трудно. Недаром князь М. М. Щербатов, обличая Потемкина, писал: «Приобрели, или лучше сказать, похитили Крым, страну, по разности своего климата служащую гробницею россиянам»^[1064].

Следует помнить об общем низком уровне медицины того времени. Даже среди военного руководства не было изжито традиционное недоверие к врачам, поскольку многие из них действительно не обладали необходимыми навыками. П. А. Румянцев писал: «Служившие в армии медики должны признаться сами во многих недостатках сей части»^[1065]. Суворов призывал полковых командиров не отсылать больных в лазареты, «где один умирает, а десять товарищей хлебают его смертный дух». В большинстве случаев лечение происходило без лекарств. От цинги давали кислую капусту, табак и хрен. Против лихорадки использовали голодание и обильное питье. При отравлении в ход шли рвотные.

Пестрый национальный состав жителей диктовал князю создание национальных полков. 30 мая 1777 года Потемкин писал генерал-майору и астраханскому губернатору И. В. Якоби: «Полк Ново-сербский извольте набрать весь из сербов, для того той нации людей можете взять всех из других полков, где таковые есть. Я желаю, чтоб и прочие полки составлены были из народов по своему названию, что с молдавским, волоским и болгарским легко учиниться может»^[1066]. Комплектование таких полков уничтожало национальную рознь внутри боевой единицы, снимало языковой барьер и спланивало солдат.

Впрочем, не обошлось и без курьезов. В 1788 году австрийский представитель при русской армии принц Ш. деЛинь доносил Иосифу II: «Мысль составить жидовский полк, под званием Израильского, не выходит у князя из головы. ...Набран их целый эскадрон, который я почитаю неоцененным своим сокровищем, оттого что длинные бороды их, висающие до колен, которые от короткости стремян высоко поднимаются, и боязнь, которую они оказывают, сидя на лошади, представляет из них сущих обезьян; трусость живыми красками изображается на глазах их, а неловкость, с которою они держат в руках пики, всякого заставит подумать, что они дразнят казаков»^[1067].

Особенно странным современники находили пристрастие Потемкина к казакам и вообще к иррегулярной коннице. Безбородко ворчал, что «князь все видимое превращал в это название». По мысли Потемкина, истинное назначение иррегулярных войск состояло в том, чтобы, расположившись и обжившись на границе, составлять одновременно и военную силу, и постоянное, занятое ведением хозяйства население. С середины 70-х годов в докладах Григорий Александрович говорил о необходимости расположения иррегулярных войск для защиты Астраханской губернии, границы от Моздока до Азова, границы по Тереку. Для этого он предлагал увеличить там число казачьих станиц. Казачество представляло собой готовое военно-земледельческое сословие и вполне оправдало возложенные на него надежды.

Реформы, начатые Потемкиным в армии, остались не завершены. Помешала не только война, но и кончина светлейшего. Ниже мы увидим, что по окончании конфликта с Турцией он планировал постепенный переход от рекрутской повинности к срочной службе. Однако в подробностях проработать эту идею не успел.

Друзья и недруги

В 1785–1786 годах оживились контакты между Петербургом и Веной, чему способствовало подписание весной 1785 года русско-австрийского торгового соглашения. Потемкин и Безбородко прилагали немало усилий, чтобы укрепить союз двух держав и усилить его антитурецкую направленность в ущерб выгодной для «цесарцев» антипрусской^[1068].

Постоянная совместная работа Григория Александровича со статс-секретарем и докладчиком Екатерины позволила Безбородко вникнуть во все подробности планов императрицы и светлейшего князя на Юге. Именно Потемкин выдвинул Александра Андреевича в члены Государственного Совета. «Безбородко завтра же посажу в Совет, который почти пуст»^[1069], — обещала Екатерина 17 апреля 1786 года. На следующий день, 18 апреля, Храповицкий записал в дневнике: «Графу Безбородко повелено присутствовать в Совете»^[1070].

Письма Александра Андреевича светлейшему князю за 1786 год полны упоминаний о совместной работе, «угодной ее величеству»^[1071]. Продвижение Безбородко в члены Совета было не только наградой за выполненный труд, но и накладывало на Александра Андреевича ряд

обязанностей перед его покровителем. Необходимость часто покидать столицу заставляла Потемкина искать человека, который, будучи посвящен во все государственные дела, оставался бы в Петербурге, чтобы помогать императрице в качестве ближайшего сотрудника. «Почта Цареградская доставила ответ Порты, который, я подозреваю, диктован от французов, — писал Григорий Александрович Безбородко в июле. — Он состоит в непризнании даже и царя Ираклия подданным России; называют его неоднократно своим. Прошу вас сделать мне одолжение поспешить сюда приездом. Необходимо нужно мне ехать самому на границы. Боюсь крайне, чтоб не задрались преждевременно»^[1072]. Потемкин просил Безбородко поскорее вернуться из Москвы и приступить к выполнению своих обязанностей. Обстановка на Юге действительно складывалась весьма сложная.

Весной 1786 года, когда горные перевалы освободились от снега, вспыхнули военные действия на Северном Кавказе. Чеченский пастух Ушурма, провозгласивший себя наследником Пророка, принял имя Шейх Мансур и объявил газават — священную войну против неверных. Горские племена под его руководством начали нападать на русские посты и крепости Азово-Моздокской укрепленной линии^[1073]. Французский посол граф Луи Сегюр писал об этих событиях: «Фанатик Мансур, лжепророк во имя Магомета вооружил кабардинцев и другие черкесские племена, и они толпами вырвались в русские области с изуверством, которое усиливало их природную отвагу. Они ждали себе верной победы. Их предводитель поклялся им Аллахом, что артиллерия христиан окажется безуспешна против них. Впрочем, при первой же стычке пушки, не слишком-то уважающие пророков, не оправдали предсказания и истребили множество мусульман... Знамя пророка с надписью из Алкорана было захвачено, и пророк погиб или бежал»^[1074].

В реальности дело обстояло совсем не так просто, как описал посол. Мятеж как нельзя кстати совпал с принятием Грузии под протекторат России. По приказу Константинополя Сулейман, паша Ахалцыхский, должен был соединить свои войска с отрядами «имама Мансура». 1 мая 1786 года Булгаков доносил императрице: «В начале апреля Порта послала тайное повеление к Ахалцыхскому паше набрать лезгин... Порта, когда российские войска появились в Карталинии, и ее область поддалась России, послала повеление к Сулейман-паше располагать духи разных мелких азербайджанских ханов, соседних с Грузиею и с Ахалцыхом, возмущать их против Ираклия, иметь всегда в готовности войска и взять в

службу Порты достаточное число лезгин для охранения сей границы... В совете, бывшем у муфтия, полагали, что пока Сулейман останется в Ахалцыхе; Россия не может утвердить прочно своего владения в Карталинии»^[1075].

Получив это донесение, Екатерина направила Потемкину записку о неизбежности скорого начала войны. «Турки в Грузии явно действуют, — говорила императрица. — Лезгинскими лапами вынимают из огня каштаны. Сие есть опровержение мирного трактата, который уже нарушен в Молдавии и Валахии. Противу сего всякие слабые меры действительны быть не могут; тут не слова, но действие нужно, чтоб сохранить честь, славу и пользу государя и государства»^[1076].

Григорий Александрович, как показывает его письмо к Безбородко, намеревался сам ехать на южные границы, но сохранение «чести, славы и пользы государя и государства» он усматривал в том, чтоб русские и турецкие войска «не задрались преждевременно», то есть не втянулись стихийно в столкновение на Черном море. На Кавказе к этому моменту уже полыхал локальный конфликт, грозивший перерасти в новую войну с Турцией. Двоюродный брат светлейшего князя П. С. Потемкин, подписывавший Георгиевский трактат и командовавший Кавказским корпусом, направил на поимку Шейх Мансура отряд полковника Ю. Н. Пиери, который был окружен в горах и весь вырезан чеченцами. «Мне жаль Пиерия, но не столько, как людей, ибо вся потеря произошла от его безрассудной запальчивости, — с раздражением писал Потемкин своему родственнику и подчиненному. — Да притом еще чеченцы правы: им, в силу моего повеления, не было объявлено предписания, чтоб выдали бродягу пророка Мансура, а пришли (отряд Пиери. — О. Е.) прямо воровски; то как же им не обороняться противу разорителей? ...Постарайся произвести в чеченцах раскаяние, дать им чувствовать, что сие дело было своевольным предприятием, а не по повелению»^[1077].

Это письмо показывает, что Григорий Александрович стремился притушить тлевшую войну на Кавказе и предпочитал до времени лучше потерпеть партизанские действия «бродяги Мансура», чем нанесением немедленного ответного удара всколыхнуть поддерживавшие лжепророка горские племена. Его возмутили самовольно взятые на себя полковником Пиери карательные функции, что привело к уничтожению немногочисленного отряда. Заметим, что жалость к солдатам и гнев не затмевали в глазах светлейшего того факта, что отряд действовал «воровски», а местные племена только воспротивились «разорителям».

Приказание «постараться произвести в чеченцах раскаяние» напоминает указы Екатерины в начале Пугачевского восстания, когда императрица предписывала больше действовать «уговариванием мятежников, чем силой оружия». Ни в 1773 году, ни в 1786-м подобные благие устремления властей предержащих не были с пониманием встречены повстанцами. «Раскаяние» и в том, и в другом случаях пришлось вызывать «силой оружия». Сдержанность России на Кавказе была воспринята как слабость. Ободренный безнаказанностью за гибель отряда Пиери, Шейх Мансур продолжал свои нападения, плавно слившиеся с действиями турецких войск после начала войны в 1787 году. Однако в условиях уже разразившегося конфликта необходимость смотреть сквозь пальцы на партизанские вылазки чеченцев отпала. По приказу Потемкина в октябре Кубанский и Кавказский корпуса двинулись за Кубань и в первом же сражении наголову разгромили повстанцев лжепророка, который вынужден был бежать через снежный горный перевал под защиту турецкой армии в Суджук-Кале. Лишь в 1791 году Ушурма оказался захвачен в плен в крепости Анапа и препровожден в Шлиссельбург.

В ходе столкновений на Кавказе выявилась не только враждебная по отношению к России позиция чеченцев, но и, напротив, дружеское отношение небольшого христианского народа осетин, страдавших от нападений соседей-мусульман и стремившихся перейти под протекторат России. Потемкин не преминул воспользоваться подобными настроениями. В мае 1787 года в Кременчуге светлейший князь представил Екатерине трех депутатов от осетинских племен тезюванского, кубадонского и карабучинского, присланных для принесения благодарности за принятие их под покровительство России^[1078].

Накануне этого события написана записка Григория Александровича императрице, поясняющая, какие именно милости хотят получить осетины: «Живущий в горах позади Большой Кабарды осетинской народ, исповедующий веру христианскую и давший присягу вашему императорскому величеству ...достоин всякого внимания и вящего о нем презрения и попечения». Князь считал необходимым «осетинцов сих охранить от всяких притеснений, грабительства и разорения от прочих горских народов, коим... наистрожайше запрещать... чинить наглости и насилии над сим народом христиан, подтверждая, что покушения на оный приемлемы будут от нас в равной силе, как будто бы оные на подданных, живущих внутри пределов наших учинены были». По мнению Потемкина, покровительство осетинам и укрепление христианства на Кавказе способствовало бы «политическим видам» России «на сию сторону».

«Вводя мало-помалу подчиненность и благоустройство сих храбрых народов, — утверждал князь, — сверх спокойствия границ наших приобретать будем постепенно и выгоды, обращая их к службе и пользам империи». По словам Потемкина, «древняя сия Албания могла быть во всех частях лучше и превосходнее королевства Венгерского, с коим и есть сходство превеликое, с тем только отличаем, что вся природа, как и все свойства физические и моральные, а равно и крутость нравов, находятся здесь в одной чрезвычайной степени»^[1079].

Императрица дала согласие удовлетворить просьбы осетинских депутатов. Осуществление предусмотренных Потемкиным мер в отношении Осетии превратило территорию этой маленькой горной страны в постоянный дружественный для России очаг на Северном Кавказе, откуда в течение двух столетий осуществлялась помощь русским войскам в их многочисленных операциях. Основанная в 1784 году крепость Владикавказ, как укрепленный пункт для защиты Военно-Грузинской дороги, проведенной русскими войсками к Тбилиси через Главный Кавказский хребет (Крестовый перевал), стала плацдармом для российского военного присутствия в этом регионе.

Главным дипломатическим противником России, постоянно подстрекавшим Стамбул к военным приготовлениям, продолжал оставаться версальский двор. Часто прямые переговоры с ним могли дать больше, чем попытки склонить Турцию к миру. Светлейший князь предлагал нейтрализовать усилия французских дипломатов, связав Париж и Петербург торговым договором. Екатерина поддерживала эту идею. «Я читала от начала до конца все бумаги, от тебя ко мне присланные, — писала она 26 июля 1785 года, — ...Петергофскую ноту как тогда, так и теперь хвалю»^[1080].

Еще в июне 1785 года новый посол Франции при русском дворе граф Сегюр передал через Потемкина государыне так называемую «Конфиденциальную ноту» о желательности заключить торговый договор. «Это тем нужнее для обоих государств, что императрица имеет ныне порты на Черном море, — сказано в документе. — Между нашими портами на Средиземном море и Херсоном могут возникнуть деятельные сношения»^[1081]. По словам посла, Франция была готова поставлять вина, сахар и кофе из колоний, а покупать «разные предметы, необходимые для содержания флота», то есть лес, парусину и деготь. Кроме того, «она потребует» много пеньки, солонины, кож, сала, воска и селитры. «Франции выгоднее торговать непосредственно с Россией, чем платить другим

народам огромные суммы за русские товары», — заканчивал ноту Сегюр.

Как видим, торговый баланс складывался в пользу России, поставлявшей товары первой необходимости в обмен на предметы роскоши. Екатерине весьма понравился представленный Сегюром проект. «Она приказала сказать вам, что с удовольствием прочитала вашу ноту... — передал послу Потемкин, — она даже расположена к заключению желаемого вами договора». Подготовка трактата и согласование деталей потребовали более года, лишь 31 декабря 1786 года (11 января 1787-го) договор был скреплен подписями. Однако при его реализации возникло немало сложностей.

Сегюр из соображений конкуренции всеми силами старался вредить англичанам, имевшим давние и прочные позиции в торговле с Россией. Он прекрасно понял, что Потемкина Франция интересуется только как южный партнер, и светлейший не станет помогать французам укрепляться на Балтике. «Было бы слишком невыгодно для Франции, — писал граф, — при невозможности пользоваться северною торговлею, которой овладели англичане, довольствоваться одним лишь южным краем. Мне нужно было убедить князя, что торговое развитие южных областей зависит от союза с нами... Я ему говорил: „Так вы сознаете пользу всеобщей конкуренции и невыгоду исключительных преимуществ в торговле, но зачем же вы допускаете монополию некоторых народов, так что Россия, а равно и Франция получают из вторых рук товары, которые можно было бы обменивать непосредственно?“»

На словах, добиваясь равных прав с Англией, Франция фактически желала лишить соперницу преимуществ, которые расторопные британские купцы зарабатывали не одно поколение. Потемкин возражал на это: «Как же вы хотите, чтобы мы пошли наперекор насущным нуждам наших купцов и помещиков? Требования англичан на наши товары очень велики, а с вашей стороны они незначительны, ...нам некуда будет сбывать наши товары, если прервутся сношения с Англией. Британское правительство поддерживает, поощряет свою торговлю и нашу; ваше правительство в этом отношении действует вяло, беззаботно».

Со своей стороны английские дипломаты и купцы тоже были обеспокоены установлением русско-французских связей. Каждый искал для себя монопольных прав. Но как раз их-то Россия предоставлять не хотела. Ей было выгодно торговать на севере с Англией, а в Средиземноморье — с Францией. Навязывать же себе условия Потемкин не позволял.

Сегюр старался побольше разузнать о планах Петербурга в отношении Турции и в силу данных ему инструкций защитить Порту. В мемуарах граф

передавал многочисленные беседы, которые он вел с князем «на правах друга», и широким ковром раскидывает перед читателем свою аргументацию в пользу Турции. Потемкин не оставался в долгу и всегда весьма любезно, но твердо отклонял обвинения Сегюра в адрес России как зачинщицы конфликта.

«— Дивлюсь, — сказал он, — каким образом просвещенные, тонкие, любезные французы с такою настойчивостью поддерживают варварство и чуму? Как вы полагаете: если бы такие соседи ежегодно вторгались к вам, грабили, заносили язву и уводили бы сотни христиан в рабство, а мы бы стали препятствовать их изгнанию, каково бы вам это показалось? Чтобы соединить мое собственное мнение с чувством долга, я отвечал: ... Варварство и чума не единственные бичи человечества; я могу назвать другие, не менее разрушительные — это честолюбие и алчность к завоеваниям... Правительство наше старается обеспечить спокойствие турок для того только, чтобы не нарушать равновесия Европы.

Так зачем же они нас тревожат? — возразил князь. — По моему мнению, если ведомо, что соседи заняты грозными приготовлениями к войне, то должно предупредить зло, напасть на них и обессилить, по крайней мере, лет на двадцать. Это возражение было бы хорошо, если бы оно было искренно. Но вспомним, что в это время русские уже владели Крымом, перешли через Кавказ, приближались к Турции через Грузию, и потому не без причин внушали опасение турецкому правительству...

Я как-то жаловался князю на невнимание других министров к нашим торговым делам. На это он мне сказал:

— Холодность эта происходит от того, что... вы подстрекаете турок к войне... Для чего недавно еще вы послали в Константинополь инженера и офицеров французской армии, которые только и толкуют о войне?

— Ваши грозные приготовления в Крыму, вооруженные эскадры, которые в тридцать шесть часов могут явиться под Константинополем, также как и ваши действия в Азии, заставляют нас, как союзников турок, советовать им... поставить себя в оборонительное и грозное положение.

— Хорошо, — сказал Потемкин, — я готов письменно заверить вас, что мы не затронем турок, но если они нападут на нас, то быть войне, и мы пойдем как можно далее».

Сегюру очень хотелось, чтобы коммерческое сближение на Юге переросло в политическую доверительность. И Потемкин, и Екатерина делали ему авансы, убеждали в своем миролюбии и расположении к Франции, но отнюдь не спешили менять политику в Стамбуле. Это огорчало дипломата: «Между тем как в Петербурге со мною обходились так

дружественно, граф Шуазель писал мне из Константинополя, что поведение русского посланника вовсе несогласно со вниманием, мне оказываемым... Он извещал меня, что Булгаков старается возбудить в турках недоверчивость к нам, что он не допускает их согласиться на пропуск наших судов в Черное море и подстрекает русских агентов в Архипелаге к неприязненным действиям против нас. Поэтому, с одной стороны, казалось, что русское правительство сближалось с нами и покидало замыслы о завоеваниях, с другой стороны — в Константинополе и Греции готовило все для исполнения своих намерений на случай разрыва с Портою».

Положение Сегюра осложнялось еще и тем, что сам он не питал к туркам симпатии и называл свой дипломатический долг «несогласным с чувствами и личными убеждениями». «Как-то раз, рассказывая о грабежах кубанских татар и жестокостях визиря, он (Потемкин. — О. Е.) сказал мне: „Согласитесь, что турки — бич человечества. Если бы три или четыре сильные державы соединились, то было бы весьма легко отбросить этих варваров в Азию и освободить от этой язвы Египет, Архипелаг, Грецию и всю Европу. Не правда ли, что такой подвиг был бы и справедливым, и религиозным, и нравственным, и геройским подвигом?“ ...Действительно, я никогда не постигал и теперь еще не понимаю этой странной и безнравственной политической системы, вследствие которой упрямо поддерживают варваров, разбойников, изуверов, опустошающих и обливающих кровью обширные страны, принадлежащие им в Азии и Европе. Можно ли поверить, что все государи христианских держав помогают, посылают подарки и даже оказывают почтение правительству невежественному, бессмысленному, высокомерному, которое презирает нас, нашу веру, наши законы, наши нравы и наших государей, унижает и поносит нас, называя христиан собаками? Но в качестве посланника я должен был следовать данным мне инструкциям»^[1082].

План войны

Летом 1786 года многие европейские политики с интересом следили за положением дел при берлинском дворе. «Король прусский час от часу хуже и слабее становится здоровьем»^[1083], — писала князю Екатерина. Потемкин считал, что усиление активности французских дипломатов в Константинополе, о котором Булгаков постоянно сообщал с конца 1785

года^[1084], связано с желанием версальского кабинета занять Россию военным конфликтом на Юге, пока в Центральной Европе будет разворачиваться война за Баварию. «Сколько мне кажется, то кашу сию Франция заваривает, чтобы нас озаботить, — рассуждал князь, — боясь приближения смерти прусского короля, при которой они полагают, конечно, императору (Иосифу II. — О. Е.) затея на Баварию. Сие тем вероятнее, что во Франции приказано конницу всю укомплектовать лошадьми, чего у них без намерения никогда не бывает... Главное то, чтобы выиграть несколько времени»^[1085]. Фридрих II умер 6 (17) августа 1786 года. Уход из политики такой крупной, прославленной личности не мог не повлиять на ситуацию в Европе. Нового монарха Фридриха-Вильгельма II никто не считал серьезным соперником. Дворы застыли в ожидании больших перемен.

«То несумненно, что кашу заваривает Франция, — отвечала Екатерина Потемкину, — приготовиться надлежит к войне». Еще в донесении 15 (26) сентября 1785 года Булгаков сообщал о действиях нового прусского министра в Константинополе. «Он сделал внушение улемам... что он может уверить Порту, что граф Вержен пребывает в непоколебимой системе противостоять всеми силами предприятиям России... Ежели король прусский принужден будет сделать разрыв с Венским двором и вступить в войну даже будущею весною, то уверяет Порту, что Франция и Голландия легко войдут в интересы Порты против намерений обоих императорских дворов (России и Австрии. — О. Е.), как на Балтийском, так и на Черном море, ежели Порта решится учредиться с французским двором [договор] по поводу навигации на Черном море»^[1086]. Получив это сообщение, Екатерина прямо предупреждала своего корреспондента о необходимости готовиться к войне. Прусский министр в Константинополе ссылался на помощь, обещанную Порте министром иностранных дел Франции Шарлем де Верженном, такой информацией петербургский кабинет не мог пренебречь.

В ответ на предупреждение императрицы Потемкин составил расписание войск, к которому приложил записку, очерчивавшую задачи отдельных армий и корпусов. «В сходственность высочайшей воле представляю у сего расписание войск. Армия Екатеринославская иметь будет следующие предметы: 1-е, часть, на Кубань отряженная, для охранения границ и содействия с корпусом Кавказским; 2-е, часть крымская будет действовать оборонительно в полуострове; ...3-е, главный корпус или кордарме наступательно против турок, имея в виду крепости: Бендеры, Очаков и Измаил; 4-е, корпус Кавказский должен не прежде

вперед действовать, как силы турецкие отвлекутся из Азии в Европейскую часть. Армия Украинская будет обсервационной), притом Хотин до нее надлежит и по обстоятельствам обратиться против той державы, которая б покусилась делать диверсию. Сею зимою почти все к своим местам должны притить... Чтобы скрыть причину движения войск, то на сие есть благовидный случай: указать собрать лагеря в помянутых местах, чтоб, шествуя, ваше величество видела и большую часть войск Ваших... Победы и простираение успехов зависят от воли Божией, он даст более, нежели ожидать можно, но нам предполагать должно умеренно... Однако ж не должно воевать без заплаты убытков и для сего, сделав хотя один шаг военной, не мириться иначе как удержав часть земли между Днестра и Буга, свободу Грузии и Имеретии, а сверх сего вывести молдаван и валахов сколько можно»^[1087].

Итак, из приведенного документа, появившегося не ранее 15 (26) сентября, даты донесения Булгакова, и не позднее начала ноября, то есть отъезда Потемкина на Юг, видно, что уже осенью 1786 года был готов план военных действий на случай разрыва с Турцией. Россия предполагала неизбежное вмешательство в конфликт одной из крупных европейских держав, для отражения «диверсий» которой оставалась обсервационная армия на Украине.

Путешествие Екатерины на Юг должно было служить благовидным предлогом для придвижения русских войск к границе. В этой же записке светлейший князь очерчивал цели, которые Россия должна преследовать в случае открытия военных действий. Они подчеркнута реалистичны. Это возмещение убытков, принесенных войной; приобретение земель между Днестром и Бугом; признание Турцией независимости Грузии.

Тем временем в Европе общим убеждением было, что Россия, вступая в новую войну, ставит задачу раздела Оттоманской Порты. В одном французском памфлете сказано: «Если турки останутся победителями, они не пойдут в Москву, — писал анонимный автор, — зато русские, разбив турок в двух сражениях, непременно явятся в Константинополь»^[1088]. Подобное мнение широко вошло в историографию, и на его основании делался вывод о неудачности Второй русско-турецкой войны, а Потемкин и Екатерина представляли в роли политиков, увлекшихся несбыточной мечтой.

Приведенные документы показывают, что Россия ставила перед собой более узкие задачи. Она желала сомкнуть границы с Черным морем еще в 1782 году. Потемкин писал: «Границы России — Черное море». Однако

Порта оспаривала присоединение Крыма, и новые земли пришлось защищать вооруженной рукой. Разработанный Потемкиным план не претерпел существенных изменений в ходе войны 1787–1791 годов, а намеченные князем цели соответствовали результатам, которых удалось добиться после тяжелого пятилетнего противостояния с целой коалицией держав.

Следует сделать вывод, что накануне войны проект Потемкина «О Крыме» был осуществлен не только по части присоединения полуострова, но и по части его заселения и первого этапа хозяйственного освоения. Неизбежность нового столкновения с Турцией была очевидна, и подготовка к вооруженному конфликту велась полным ходом. Однако ознакомление с планом кампании показывает, что Россия не намеревалась расчленять Порту. Она ждала нападения с турецкой стороны.

ГЛАВА 12

«ШЕСТВИЕ В КРАЙ ПОЛУДЕННЫЙ»

1 января 1787 года началось знаменитое путешествие Екатерины II в «Киев и область Таврическую», как сообщалось в Камер-фурьерском церемониальном журнале^[1089]. Поездка носила характер важной дипломатической акции. Эта грандиозная политическая демонстрация имела целью показать как союзникам России, так и дипломатическим представителям европейских держав, что русские уже закрепились на берегах Черного моря и изгнать их будет не так-то легко^[1090]. Императрицу сопровождало блестящее общество, состоявшее из ее собственных придворных и многочисленных иностранных наблюдателей. По дороге Екатерину встречали высокопоставленные чиновники местной администрации. Главный «виновник торжества», генерал-губернатор Новороссии и Тавриды, должен был присоединиться к своей царственной покровительнице по пути.

Сама императрица покидала Петербург вовсе не в радостном настроении. 17 января на замечание фаворита А. М. Дмитриева-Мамонова о праздничном стечении народа, явившегося приветствовать царицу, Екатерина ответила: «И медведя кучами смотреть собираются»^[1091]. Государыня явно пребывала в нервном состоянии, хотя и обнаруживала его только перед близкими.

Русско-польский союз. Pro et contra

Что служило причиной беспокойства Екатерины? Многие видели ее в жалобах на Потемкина графа Румянцева и других вельмож, якобы доведших до императрицы информацию о злоупотреблениях князя казенными суммами^[1092]. Государыня, уверенная, что «Потемкина не можно купить», знала о денежных операциях своего сподвижника гораздо больше придворных, ее информация не давала ей повода для тревоги. Истинная причина недовольства крылась в польских делах.

Именно во время блистательного «шествия» императрицы в Крым, когда увеселениям и праздникам не было числа, а путешественники большую часть времени пребывали в приподнятом расположении духа,

удивляясь стремительному развитию южных земель, и начал завязываться узел очередного конфликта с Польшей, закончившегося ее вторым разделом.

В историографии, посвященной международным отношениям второй половины XVIII века, описания встречи Екатерины и Станислава Августа в Каневе носят протокольный характер. Безрезультатность этого свидания заставляет исследователей вскользь говорить о нем. Однако именно неудача каневского рандеву во многом предопределила дальнейшее трагическое развитие событий.

С дороги Екатерина часто писала Потемкину: «Я не сомневаюсь, что Таврида мне и всем понравится, дай Боже, увидеться с тобою скорее, и чтоб ты был здоров»^[1093]. Доброжелательный тон и обращение — «друг мой сердечный» — свидетельствует о благоволении к Потемкину.

Между тем именно в это время в Петербурге возникли слухи, что Екатерина настроена по отношению к Григорию Александровичу немилостиво^[1094]. Толки о размолвке между императрицей и Потемкиным достигли апогея весной 1787 года, во время пребывания государыни в Киеве и поездки в Канев для встречи с польским королем. В придворных кругах заговорили о несогласии и даже столкновениях императрицы и светлейшего князя.

За несколько месяцев до путешествия Екатерины, Станислав Август начал настойчиво добиваться встречи с ней. Его просьбу поддерживал Потемкин, также указывавший на необходимость личного свидания монархов для обсуждения сложных русско-польских отношений. Императрица с самого начала была не расположена к этому. 22 ноября 1786 года Безбородко сообщал князю: «Король польский прислал генерала Камержевского для условия о свидании его с государынею. Ее величество назначить изволила против Трехтемирова, на галере, так располагая, чтобы там не более нескольких часов для обеда или ночлега останавливаться»^[1095].

Такой ответ не мог удовлетворить ни польскую сторону, готовившуюся к обстоятельной беседе, ни Потемкина, поддерживавшего идею Станислава Августа. Видимо, Григорий Александрович надеялся повлиять на императрицу во время личной встречи и побудить ее к более продолжительному разговору с королем. Подготовка деловой стороны высочайшего рандеву шла полным ходом. 25 февраля 1787 года Станислав Август выехал из Варшавы специально для того, чтоб перед встречей с Екатериной участвовать в консультациях с Потемкиным и другими

русскими министрами.

20 марта 1787 года в местечке Хвостове князь провел предварительные переговоры с королем, продолженные Безбородко^[1096]. В них участвовали русский посол в Варшаве О. М. Штакельберг и принц Г. Нассау-Зиген, сопровождавший императрицу в поездке и негласно представлявший французский двор, помимо официальной миссии посла Сегюра. Станислав Август пожаловался светлейшему на враждебное поведение коронного гетмана К. П. Браницкого, родственника Потемкина, и просил изменить его позицию в пользу королевской партии. Понятовский передал через Штакельберга для императрицы записку под названием «Souhaits du roi» («Пожелания короля» или «Воля короля»), написанную на французском языке. В этом документе он предлагал Екатерине оборонительный союз и обещал выставить в случае войны вспомогательный корпус против турок в обмен на поддержку со стороны России реформ, призванных покончить со шляхетской вольностью^[1097].

Императрица холодно встретила подобные идеи, поскольку именно сохранение существовавшей в Польше государственной системы, по ее мнению, гарантировало безопасность России и позволяло Петербургу беспрепятственно вмешиваться во внутренние дела Варшавы. Любое усиление королевской власти, неизбежное в случае отмены *liberum veto*, представлялось императрице крайне невыгодным. В этом было коренное отличие позиции Екатерины от взглядов Потемкина, всячески поддерживавшего предложение польского короля. Забегая вперед, скажем, что Григорий Александрович считал анархию в Польше еще более опасной для России, чем частичные реформы, поскольку сохранение старой шляхетской вольницы позволяло беспрепятственно действовать в Варшаве не только политическим представителям Петербурга, но и эмиссарам Берлина, Вены, Парижа, Лондона...

Станислав Август и поддерживавшая его партия желали союза с Россией, надеясь на территориальные приобретения за счет турецких земель в случае войны. Идея вознаградить Речь Посполитую за понесенные ею в результате первого раздела потери и тем самым смягчить жгучие русско-польские противоречия принадлежала светлейшему князю. Еще в пометах на черновике письма Иосифу II 10 сентября 1782 года Потемкин указывал на необходимость выделить Польше земли между Бугом и Днестром. В противном случае Россия при любом обострении отношений с Турцией получит враждебно настроенного соседа на своей западной границе^[1098].

Мысль эта, как видим, заинтересовала короля и поддерживавших его вельмож. В то же время и многие члены враждебной Станиславу-Августу партии искали сближения с Екатериной, ожидая больших выгод для Польши в результате разрыва России и Порты. Собравшиеся в Киеве к приезду императрицы представители старошляхетской оппозиции, по словам Миранды, открыто заискивали перед Екатериной и Потемкиным. Они надеялись заручиться их содействием для проведения в Польше умеренных реформ в духе Просвещения^[1099]. «Какими покорными и льстивыми по отношению к князю Потемкину кажутся мне эти высокопоставленные поляки, которые унижаются перед ним», — записал дон Франсиско после одного из званых обедов у Ксаверия Браницкого. В сложной дипломатической игре, которую Екатерина и Потемкин вели в Киеве, они оба старались не оттолкнуть как королевскую партию, так и представителей старошляхетской оппозиции.

Однако среди глав последней был человек, не только не обласканный Екатериной, но и почувствовавший подчеркнутое неблаговоление императрицы. Председатель Постоянного совета граф Игнатий Потоцкий, первый великий мастер масонских лож Короны и Литвы, противодействовал в Польше распространению русского влияния и был противником любого сближения с Россией. Посредством реформ он стремился вывести Польшу из-под контроля соседней страны. Но при всей неприязни к России Потоцкому для проведения преобразований необходимо было добиться от Екатерины согласия. Поэтому он оказался в Киеве и вместе с Браницким торжественно встречал императрицу. Во время представления Екатерина демонстративно отвернулась от Потоцкого и не сказала ему ни слова. В частных разговорах она называла его «человеком бесчестным и зловерных понятий». Потемкин выражался еще круче. Приезжая обедать к Браницкому, князь заранее объявлял, что не хочет встречаться с «мерзавцем» Потоцким, а королю Станиславу-Августу сказал, что считает надворного маршала «самым скверным человеком на свете»^[1100].

Причиной подобного отношения к Потоцкому были не только его политические взгляды. Екатерина и Потемкин довольно ровно общались с людьми разных воззрений. История о том, как Потоцкий описывал римскую статую двух царей Дакии со связанными руками, добавляя при этом: «Мне нравится видеть монархов в таком положении, связанных», — конечно, не прибавила ему во мнении русской императрицы. Но взаимная неприязнь зародилась гораздо раньше, еще в 1776 году, когда Потоцкий

приезжал в Россию просить об ограничении полномочий Постоянного совета — детища петербургской дипломатии. Его нарочитое сближение с наследником Павлом, его оскорбительные отзывы о Екатерине и фаворе Потемкина положили начало тому отвращению, которое последние питали к маршалу долгие годы.

Приехав в Киев, Потоцкий вел двойную игру, желая получить согласие на реформы и в то же время противясь русско-польскому союзу. Он сообщил Сегюру, что король нарочно желает видаться с императрицей для того, чтобы возбудить ее против Турции. В таком отзыве имелся свой резон: скорый конфликт России и Порты был чрезвычайно выгоден королю, так как подтолкнул бы Екатерину к союзу с Польшей. Слова Потоцкого были обращены к послу версальского двора, следовательно, маршал рассчитывал в своих антирусских демаршах и на помощь Франции.

Однако, несмотря на «особое мнение» Потоцкого, весной 1787 года, во время пребывания Екатерины в Киеве, сложилась уникальная ситуация, когда различные политические силы в Польше были склонны к сближению с Россией. Потемкин стремился воспользоваться такой благоприятной обстановкой для заключения русско-польского союза. Григорий Александрович лично и через Безбородко постарался убедить Екатерину в выгодности подобного альянса^[1101]. В то же время, используя свое влияние в кругу польских магнатов и родственные связи с Браницким, князь приложил усилия, чтобы склонить старошляхетскую оппозицию к сотрудничеству с королем в вопросе о союзе^[1102].

Если взглянуть на карту Европы до второго раздела Польши, то становится понятным, почему провиант для русской армии удобнее было заготавливать на территории польской Украины, оттуда же его можно было быстро доставлять к театру военных действий. Недавно присоединенные к России южные территории развивались быстро и к началу войны уже были способны прокормить себя, но им еще не по силам было снабжать большую армию.

В Коронной Польше находились огромные имения самого Потемкина, насчитывавшие 70 тысяч крепостных. В этих владениях заготавливался лес для нужд армии, столь необходимый при осаде крепостей. Именно на польские земли легче было выводить войска на зимние квартиры. В преддверии войны Потемкину представлялось важным получить в тылу союзное государство.

Екатерина настороженно отнеслась к идее альянса с Польшей, выставляя на вид князю внутреннюю нестабильность последней.

Переменчивость политических настроений аристократических группировок смущала императрицу. Но имелась и другая причина, по которой Екатерина хотела уклониться от союза с Польшей. Трудно было ожидать от Австрии, альянсом с которой Екатерина очень дорожила, доброжелательного отношения к появлению в составе антитурецкого блока, нового члена, претендовавшего на значительные земельные приобретения.

Подтверждением недовольства Вены возможностью русско-польского союза стала активизация проавстрийской группировки, которая выступила против сближения с Польшей. Президент Коммерцколлегии Воронцов и управляющий Дворянским и Государственным заемными банками Завадовский обратили выпады лично против Потемкина как главного инициатора намечавшегося альянса. Несколько мягче их, но в значительной степени под влиянием Австрии действовал и Безбородко.

Воронцов в течение двадцати лет управлял российской торговлей. Императрица и Александр Романович испытывали друг к другу взаимную нелюбовь, поскольку переворот 1762 года, возведший Екатерину на престол, прекратил фавор семьи Воронцовых у Петра III. Их сотрудничество напоминало отношения Екатерины с Н. И. Паниным. Сходство усиливалось еще и тем, что Александр Романович, как и Панин, был проводником идей дворянского либерализма и ограничения власти самодержавного монарха.

При дворе Александра Романовича называли «медведем», говорили, что он действует «для своих прибытков», мало чем отличаясь от отца, знаменитого мздоимца Романа Большого Кармана^[1103]. Человек неуступчивый, медлительный и методичный, Воронцов обладал феноменальной коммерческой хваткой и умел выжимать деньги буквально из воздуха. Этот утонченно воспитанный вельможа унаследовал торговые способности своей материнской родни, богатых поволжских купцов Сурминых. Как президенту Коммерцколлегии, Воронцову подчинялись все таможи Российской империи. На руководящие должности в крупнейших из них Александр Романович сам подобрал и расставил чиновников, лично ему обязанных своим продвижением. В 1780 году во главе Петербургской таможни, которая давала три четверти таможенных сборов в стране, Воронцов поставил свою креатуру — Г. Ю. Даля, — а его помощником был утвержден, тоже по выбору президента, А. Н. Радищев, которому Воронцов начал покровительствовать^[1104].

Вторая по значению и сборам таможня находилась в Архангельске — старом порте, через который проходили большие потоки грузов из

северных губерний России. В 1784 году в Казенную палату Архангельска советником по таможенным делам был переведен из Вологды другой протеже Воронцова — родной брат А. Н. Радищева Моисей. Александр Романович установил новый порядок занятия должностей: на места отправлялись только те чиновники, которые прошли стажировку в Петербургской таможне и получили личную рекомендацию Даля^[1105]. Это позволяло исключить возможность попадания на таможни «чужих» ставленников. Излишне говорить, какой простор для злоупотреблений открывал подобный принцип.

Лишь одно обстоятельство портило прекрасно построенную Воронцовым пирамиду. На Юге России в результате присоединения новых земель образовался целый регион, выпадавший из-под бдительного контроля президента Коммерцколлегии. Конечно, с чисто формальной точки зрения Новороссия, а затем Таврида тоже должны были в вопросах торговли подчиняться Александру Романовичу, но фактически этого не происходило. Постоянная военная угроза ставила наместничество Потемкина в особое положение: все управление, как военное, так и гражданское, здесь сосредоточивал в руках генерал-губернатор. Кипучая административная деятельность светлейшего князя не оставляла простора для чужого вмешательства, тем более контроля чиновника, который по «невидимой субординации» стоял неизмеримо ниже тайного мужа императрицы. За годы своей службы Воронцов посетил с ревизиями 29 губерний, но не наместничество Григория Александровича.

Кроме того, Воронцов и Потемкин совершенно по-разному смотрели на суть налоговой системы. Александр Романович вел борьбу с контрабандным провозом товаров через границы империи, с недоплатой купцами таможенных сборов. В годы его президентства эти сборы с пограничных губерний неуклонно возрастали. Однако интересы казны не всегда совпадают с интересами развития торговли. На вверенных Потемкину землях с целью их скорейшего хозяйственного освоения налоги с поселенцев на 15–30 лет были отменены^[1106]. Наоборот, государство предоставляло им денежные займы, практически не возвращаемые, строило дома, снабжало землей, скотом и птицей^[1107]. Для развития торговли французские, итальянские и греческие коммерсанты, осваивавшие новый рынок, почти не платили таможенных сборов. В таких условиях легко было обвинять светлейшего князя в том, что новые земли не приносят дохода, а выделенные деньги вылетают в трубу. Но именно такая политика позволила заселить и развить край в короткие сроки, а также

заложить основы широкой торговли Крыма и Новороссии со всем Средиземноморским бассейном.

Заявления князя о том, что когда-нибудь Новороссия и Крым дадут высокую прибыль, вызывали у Воронцова усмешку. Именно из воронцовских кругов исходила известная эпиграмма на смерть Потемкина в 1791 году — надпись на могильном камне:

Прохожий, возблагодари Творца,
Что сей не разорил России до конца.

К началу 1787 года отношения Потемкина и Воронцова были безнадежно испорчены, оба уже успели не раз наступить друг другу на ноги на скользком придворном паркете. Предметом новых раздоров стал русско-польский союз. Австрийская партия возбуждала слухи об интригах князя в Варшаве^[1108]. Утверждали, будто Григорий Александрович больше служит Польше, чем России, что он желает получить в составе русской армии лично ему преданный польский корпус^[1109], что Станислав Август вскоре пожалует князю полунезависимое удельное владение^[1110] и, наконец, что на чрезвычайном сейме Потемкин будет избран наследником польского престола^[1111]. Не в пользу светлейшего говорило и его происхождение из смоленской шляхты, представители которой до середины XVIII века считали себя поляками.

Русская партия в Польше, которая иногда называлась также «потемкинской» и содержалась фактически на деньги светлейшего князя, еще в конце 70-х годов предпринимала попытки придать владениям Потемкина в Литве и Белоруссии официальный статус индигината, то есть полунезависимого княжества. Английские дипломаты сообщали из Петербурга в Лондон о стараниях партии, поддерживавшей Потемкина в Варшаве, устроить его брак с графиней Урсулой Замойской, чтобы таким образом ввести его в семейный круг родов, обычно претендовавших на польскую корону^[1112].

Слухи о возможных притязаниях Потемкина на польский престол не могли не тревожить Екатерину, которая привыкла рассчитывать на абсолютную преданность Григория Александровича и не хотела делить его ни с одним другим государством. Свою позицию она ясно обозначила еще в 1779 году в деле о Курляндии. Во время встречи в местечке Хвостове Станислав Август предложил Потемкину превратить его земли в области

Смела во владетельное княжество, зависимое от Польши, но Григорий Александрович отказался^[1113]. Поступок Станислава Августа вызвал у императрицы раздражение. Король действовал через ее голову. Даже сама попытка поставить ее соправителя в формальную зависимость от другого государя очень не понравилась Екатерине.

Ко времени свидания в Каневе страсти накалились. Противники Потемкина старались убедить императрицу, что союз с Польшей выгоден только лично светлейшему князю, а для России вреден и опасен. Григорий Александрович со своей стороны требовал, чтобы Екатерина решительно объяснилась с королем. Учитывая позиции столь разных сил, императрица избрала компромиссный вариант. Она подтвердила согласие встретиться с Понятовским на своей галере, но так, чтобы это свидание длилось не более нескольких часов^[1114]. В Киеве Потемкин попытался склонить Екатерину к более продолжительному свиданию, чем вызвал ее недовольство.

Рандеву в Каневе

В воскресенье 25 апреля в десятом часу утра великолепная флотилия из 12 галер и множества мелких судов приблизилась к Каневу^[1115]. Это место было выбрано не случайно. Здесь польская граница выходила к Днепру, и король мог, не нарушая закона, запрещавшего ему без позволения Сейма покидать пределы Польши^[1116], встретиться с Екатериной.

Станислав Август ожидал обстоятельного делового разговора. Однако Екатерина предупредила, что день их встречи будет посвящен исключительно веселью. Она провела гостя в свою каюту, где их беседа с глазу на глаз продолжалась не более получаса, король передал императрице еще одну собственноручную записку о польских делах и выразил надежду, что пребывание Екатерины будет более продолжительным.

Сегюр описывал, как выглядела со стороны эта несколько натянутая встреча. «Флот наш остановился под Каневом, в котором выставлены были польские войска в богатых мундирах, с блестящим оружием. Пушки с кораблей и из города возвестили прибытие обоих монархов». Парад польской армии был рассчитан на то, чтоб произвести на императрицу впечатление и убедить ее в готовности военных сил возможного союзника. Однако Екатерина не проявила никаких эмоций по этому поводу и держалась с королем довольно холодно. «Когда он вступил на галеру императрицы, — продолжал Сегюр, — мы окружили его, желая заметить

первые впечатления и слышать первые слова двух державных особ... Но мы обманулись в наших ожиданиях, потому что после взаимного поклона, важного, гордого и холодного, Екатерина подала руку королю, и они вошли в кабинет, в котором пробыли с полчаса. Они вышли, и так как мы не могли слышать их разговор, то старались прочесть в чертах их лиц помыслы их, но в них ничего не высказалось ясно. Черты императрицы выражали какое-то необыкновенное беспокойство и принужденность, а в глазах короля виднелся отпечаток грусти, которую не скрыла его улыбка... За обедом мало ели, мало говорили, только смотрели друг на друга, слушали прекрасную музыку и пили за здоровье короля при грохоте пушечного залпа»^[1117].

По совету Потемкина Станислав Август просил фаворита Дмитриева-Мамонова сделать так, чтобы императрица задержалась еще на два дня. После обеда Мамонов провожал Екатерину со столовой галеры «Десна» на ее галеру «Днепр», тогда же он, видимо, передал ей просьбу короля. Императрица, прекрасно понимавшая, чье распоряжение выполняет фаворит, написала прямо светлейшему князю. «Сказывал мне Александр Матвеевич желание гостя, ...но ты сам знаешь, что по причине свидания с императором (Иосифом И. — О. Е.) сие сделать нельзя, и так, пожалуй, дай ему учтивым образом чувствовать, что перемену делать в моем путешествии возможности нету»^[1118]. Записка была направлена на галеру Потемкина «Буг», где после обеда находился вместе с князем и Станислав Август. Возможно, она была показана польскому королю.

В 6 часов вечера Станислав Август вновь встретился с Екатериной на галере «Днепр» и умолял ее хотя бы остаться отобедать у него на следующий день. Эта просьба вызвала у императрицы раздражение. Ответ она опять обратила к Потемкину, но сделала это уже в более резких выражениях. «Предложение о завтрашнем обеде сделано без вычетов возможностей... Когда я что определяю, то обыкновенно бывает не на ветру, как в Польше часто случалось. Итак, еду завтра, как назначила, а ему (Станиславу Августу. — О. Е.) желаю всякого благополучия... Право, батинька, скучно»^[1119].

Перед расставанием с императрицей король шепотом спросил у Потемкина, есть ли надежда удержать ее дольше. Григорий Александрович отвечал отрицательно. Князь был раздражен не менее Екатерины и вполголоса выговорил ей за то, что она скомпрометировала его перед королем и всей Польшей, столь сократив это свидание^[1120]. Вечером того же дня, вернувшись из Канева, куда он провожал короля, Потемкин

получил от императрицы еще одну записку: «Я на тебя сержусь, ты сегодня ужасно как неловок»^[1121].

Великолепное торжество, устроенное Станиславом Августом в честь Екатерины в Каневе, напоминало именины без именинника и наводило на грустные мысли несоответствием своей пышности столь мизерным результатам встречи. «Когда наступила ночная темнота, — рассказывал Сегюр, — каневская гора зарделась огнями; по уступам ее была прорыта канава, наполненная горючим веществом, его зажгли, и оно казалось лавою, текущей с огнедышащей горы; сходство было тем разительнее, что на вершине горы взрыв более 100 000 ракет озарил воздух и удвоил свет, отразившись в водах Днепра. Флот наш тоже был великолепно освещен, так что на этот раз для нас не было ночи. Король пригласил нас к себе, и мы отправились. Он дал великолепный бал, но императрица отказалась участвовать в нем. Напрасно Станислав упрашивал ее остаться еще хоть сутки: пора милостей для него миновала! Екатерина сказала, что боится опоздать и заставить ждать императора, который должен был съехаться с нею в Херсоне»^[1122].

Судя по описанию искусственного вулкана, режиссер у этого зрелища и других панорамных действ, которые ожидали Екатерину на землях Новороссии и Тавриды, был один. Вероятно, Потемкин задумывал колоссальный спектакль под открытым небом, как цепь огромных живых картин, и начаться он должен был с Канева, однако премьера провалилась.

На следующий день поутру Екатерина рассказывала статс-секретарю Храповицкому о своих вчерашних неудобствах: «Князь Потемкин ни слова не говорил; принуждена была говорить безпрестанно; язык засох; почти осердили, прося остаться. Король торговался на 3 и на два дни или хотя бы до обеда на другой день»^[1123].

Каневская встреча была серьезной неудачей сторонников русско-польского союза. Станислав Август ждал императрицу шесть недель, потратил на путешествие 3 миллиона злотых, но делового разговора так и не получилось. Перед расставанием Екатерина сказала ему: «Не допускайте к себе черных мыслей, рассчитывайте на мою дружбу и мои намерения, дружелюбные к вам и к вашему государству». Вряд ли подобные уверения могли успокоить короля, так и не получившего желанного ответа на свои предложения. Неудача Станислава Августа была сразу же использована его противниками: в Варшаве распространились слухи, что во время каневского свидания король, Екатерина и Потемкин заключили тайный договор о новом разделе Польши^[1124].

Несмотря на то что переговоры о неприкосновенности православного населения в Польше и о торговых отношениях с Новороссией, начатые Потемкиным, завершились успешно, светлейший князь не был доволен результатами высочайшего диалога в Каневе и не скрывал этого. Он опасался, что уклончивая позиция России подтолкнет Польшу к сближению с Пруссией и Турцией. Так и произошло.

Косвенным подтверждением того, что именно австрийская сторона высказывала недовольство вступлением Польши в альянс, являлась попытка Станислава Августа лично рассеять сомнения Иосифа II. «По отъезде из Канева Станислав Август поспешил на встречу с императором, надеясь снискать его расположение и отвратить опасность, грозившую ему со стороны могучего и честолюбивого соседа, уже обнаружившего желание свое распространить пределы Галиции, — сообщал вездесущий Сепор. — Император принял его ласково и уверял, что не только не замышляет гибели Польши, но что будет противиться другим державам в случае покушения их на эту страну. Тщетные обещания! ...Одна лишь сила упрочивает независимость; она уже потеряна, когда вся надежда возложена на чужое покровительство. Только в случае готовности к борьбе можно внушать уважение к себе и найти союзников вместо покровителей»^[1125].

«Потемкинские деревни»

В Каневе Потемкин получил тяжелую политическую пощечину, которая была тем больнее, что императрица поддалась влиянию его противников — группировки Воронцова. Однако впереди Григория Александровича ждала клевета пострашнее, чем выдумки о польской короне.

Практически все авторы, писавшие о путешествии Екатерины, согласны во мнении, что творцом легенды о «потемкинских деревнях», то есть о том, что на Юге императрице были показаны декорации вместо реальных городов и деревень, был саксонский дипломат Г. А. В. Гельбиг. Он служил в России секретарем посольства в 1787–1796 годах и лично не участвовал в поездке^[1126]. Фактически исполняя роль резидента, Гельбиг собирал в России информацию о жизни императрицы и двора, пользовался разного рода слухами и сплетнями. Вскоре его деятельность привлекла внимание правительства, однако выставить секретаря из Петербурга оказалось не так-то легко — дипломат имел влиятельных друзей в

окружении великого князя Павла Петровича. Удалить Гельбига удалось только в 1796 году, незадолго до смерти императрицы.

Вернувшись на родину, он начал анонимную публикацию в гамбургском журнале «Минерва»^[1127] книги «Потемкин Таврический». Это сочинение пользовалось большой популярностью в Европе и в первой четверти XIX века было переиздано шесть раз в Голландии, Англии и Франции. Сам Гельбиг назвал свой труд сборником анекдотов. Сильное предубеждение против России, откровенно высказанная автором ненависть к Екатерине и ее ближайшему сподвижнику превращают книгу в политический памфлет.

Изучая текст Гельбига, советская исследовательница Е. И. Дружинина пришла к выводу, что именно он познакомил европейскую публику с феноменом «потемкинских деревень»: «Гельбиг объявляет несостоятельными все военно-административные и экономические мероприятия Потемкина в Северном Причерноморье. Саму идею освоения южных степей он пытается представить как нелепую и вредную авантюру... Изображение всего, что было построено на юге страны в виде бутафории — пресловутых „потемкинских деревень“ преследовало задачу предотвратить переселение в Россию новых колонистов.... Описываются мнимые „деревни“, жители которых призваны были с лишком за 200 верст „по наряду“. „Стада скотов, — говорится далее, — перегоняли ночью из места в место, и нередко одно стадо имело счастье предстать монархине от пяти до шести раз“. По поводу построек в Херсоне, понравившихся императрице, сказано: „Только ближние здания были настоящие; прочие же написаны на щитах из тростника, связанных и прекрасно размалеванных“. Даже военный флот, показанный императрице в Севастополе, „состоял из купеческих кораблей и старых барок, кои отовсюду согнали и приправили в вид военных кораблей“»^[1128].

Саксонский дипломат заложил краеугольный камень трактовки деятельности светлейшего князя как бутафории, нереального, феерического видения, созданного «каким-то злым волшебством» и развеявшегося сразу после кончины Потемкина, как падают и рассыпаются в прах сказочные замки после гибели колдунов.

Однако не следует приписывать все лавры в создании этой легенды одному Гельбигу. В. С. Лопатин справедливо указывает, что дипломат застал в Петербурге уже имевшиеся слухи, которые появились перед самой поездкой императрицы в Крым^[1129]. Гельбиг только собрал их воедино и представил европейской публике. Письма Екатерины к разным

корреспондентам, отправленные с дороги во время путешествия, пронизаны полемикой с недоброжелателями светлейшего князя, объявлявшими всю его деятельность в Причерноморье мистификацией. Так, 1 мая она писала Н. И. Салтыкову: «Легкоконные полки, про которые покойный Панин и многие иные старушонки говорили, что они только на бумаге, но вчерась я видела своими глазами, что те полки не картонные, но в самом деле прекрасные». «Чтобы видеть, что я не попусту имею доверенность к способностям фельдмаршала князя Потемкина, — продолжала она 3 мая, — надлежит приехать в его губернии, где все части устроены как возможно лучше и порядочнее: войска, которые здесь, таковы, что даже чужестранные оные хвалят; города строятся, недоимок нет»^[1130].

Важно отметить, что среди столичных «старушонок», распускавших сплетни, императрица называет Никиту Панина, умершего еще в 1783 году. Это означает, что слухи о выброшенных на ветер миллионах и «картонной» коннице циркулировали уже тогда. Упоминание Панина указывает на партию Павла Петровича, именно из этих кругов вышли рассказы о колоссальном спектакле, устроенном на Юге, чтобы скрыть несостоятельность наместника. Кроме присных наследника, нашлись и другие вельможи, заинтересованные в циркуляции мифа об игрушечных крепостях из песка.

Одним из главных обвинений против Потемкина было то, что он якобы не построил флота. Переписка Семена Воронцова и Безбородко пестрит подобными замечаниями. В некоторых случаях Безбородко держал сторону светлейшего князя. 4 апреля 1788 года он писал в Лондон: «Ваше сиятельство не верит, что флот наш на Черном море в 40 судах. Прилагаю записку оному»^[1131]. Одним из эпицентров слухов о картонных избах и игрушечном флоте был дом Воронцова на Английской набережной.

Недоброжелатели светлейшего князя рассказывали, будто Потемкин перед путешествием Екатерины специально выслал из Новороссии и Тавриды чиновников и генералов, особенно потрудившихся для развития края, чтоб вся слава досталась только ему. Любопытно, что в реальности дела обстояли совершенно иначе. Именно во время этой поездки Григорий Александрович представил императрице донского войскового атамана А. Н. Иловайского и капитана А. В. Головатого, много сделавшего для обустройства бывших запорожцев на новых землях, а также будущего адмирала Ф. Ф. Ушакова и многих других сотрудников.

Легенда о «потемкинских деревнях» превратилась в важный русский

культурно-исторический феномен. Эта реалистически обставленная история зародилась, казалось бы, на основе здравых рассуждений, будто за короткий срок невозможно добиться таких впечатляющих результатов. Однако у нее есть изнанка мистического свойства. В донесениях из Петербурга июля 1787 года М. А. Гарновский пересказывал ходившие по столице слухи о достижениях Потемкина: «Уж не духи ли какие-нибудь ему прислуживаются?»

Оказывается, перед глазами путешественников прошли не картонные домики, а видения, созданные подвластными Потемкину духами. Они трудились на него, творя волшебную, противоестественную реальность, которая в любой момент могла исчезнуть. В этом таилась разгадка и фантастически быстрого развития края, и огромных успехов наместника, и объяснение, почему, несмотря на наличие городов, флота и крепостей, которые можно пощупать руками, в Крыму все же на самом деле ничего нет.

Образ Потемкина — злого гения России, а в сниженной трактовке — авантюриста, лентяя, присваивавшего себе чужие победы, сластолюбца и хитрого царедворца, умело игравшего на слабостях императрицы, — создавался в литературе, выходившей из розенкрейцерских кругов. Он отражал восприятие светлейшего князя как «князя тьмы», существовавшее в русских и прусских масонских братствах, поддерживавших цесаревича Павла. Именно эта антитеза: светлейший князь — князь тьмы — раскрыта в немецком мистическом романе-памфлете, опубликованном в 1794 году. Феерическая сказка «Пансалвин и Миранда», наполненная перетрактованной в розенкрейцерском духе ветхозаветной мифологией, повествовала о злом демоне, обольстившем добродетельную царицу Миранду и превратившем все ее прекрасные дела в нечто совершенно противоположное. Не видя дьявольской сущности любимца, Миранда доверчиво предоставила ему право распоряжаться своим государством, которое едва не оказалось на краю гибели. Хищный убийца Пансалвин, мечтая захватить весь мир, вверг страну в непрекращающуюся войну. Только его смерть во время дуэли, когда оскорбленный Пансалвином генерал случайно задел кончиком шпаги ядовитую южную траву и нанес противнику смертельную рану, возвращает Миранде память ^[1132].

Так, Потемкин в понимании сторонников Павла превращался в демона, принявшего человеческий облик с целью погубить Россию. Поэтому все его действия: будь то присоединение Крыма или руководство армией, — трактовались как преступления, ведущие к гибели страны.

Объективно легенда о «потемкинских деревнях» сильно повредила

России в преддверии войны. Императрица ехала в Крым показать иностранным дипломатам готовность страны к возможному конфликту. Это должно было предостеречь европейских покровителей Порты от подстрекательства турок к нападению. Демонстрация силы состоялась, но в нее не пожелали поверить. Усиленно распространявшиеся противниками князя слухи о картонных городах и гнилых кораблях стали в Париже, Лондоне, Берлине и Стокгольме желаннее отчетов собственных представителей и резидентов из России.

Миссия дона Франсиско

Примером такого отношения к неудобным сведениям может стать история дона Франсиско де Миранды. Уроженец Венесуэлы, сын состоятельного коммерсанта, получивший университетское образование в Каракасе, он в качестве волонтера сражался на стороне американцев в войне за независимость. Миранда был ярким сторонником освобождения Венесуэлы от испанского владычества и много скитался по Европе в поисках поддержки для своей антиколониальной деятельности. Ради этого дон Франсиско не гнушался сотрудничать со вчерашними противниками-британцами, а в годы Французской революции снова совершил поворот на 180 градусов и прославился как один из храбрых генералов-республиканцев, разгромив австро-прусскую армию при Вальми. Его имя высечено на стене Триумфальной арки в Париже, а портрет висит в Зеркальной галерее Версаля.

В 1787 году Миранда побывал и в России, причем направился он не прямо в Москву или Петербург, а приплыл из Стамбула в Херсон, то есть намеревался посетить те самые земли, которые в наибольшей степени интересовали европейских оппонентов Петербурга. Дорогой путешественник вел подробный дневник, в который заносил сведения о численности русских войск, их дислокации, уровне обучения, снабжения, о качестве крепостных построек, дорогах, верфях, числе и типах военных кораблей, количестве и национальном составе населения. Кроме того, гость по возможности точно указывал глубину бухт и фарватеры на реках и каналах. Подобная информация характерна скорее для донесений резидента, чем для записок простого путешественника, глазевшего вокруг ради собственного удовольствия.

Странно, что эту особенность записок «пламенного революционера» исследователи обходят молчанием. В советское время было неудобно

заострять внимание на откровенном шпионаже в России будущего героя Великой французской революции. Но что мешает заметить очевидное сейчас? Миранда собирал на Юге сведения. И эти сведения ему собирать *позволяли*.

В те времена дипломаты и путешественники часто выполняли функции шпионов. Дону Франсиско удалось встретиться и, как он уверяет, близко сойтись с Потемкиным. Затем князь представил его Екатерине, прибывшей в Киев. Судя по запискам, происходит нечто необычное: никому неведомый иноземец, уроженец страны, о которой немногие в России слышали и не всякий нашел бы на карте, вдруг оказывается окружен самым пристальным вниманием высочайших особ. Что это? Простое любопытство? Желание поразвлечься беседой с экзотическим гостем? Не только. Миранда описывает, что их беседы с Потемкиным лишь раз коснулись Испании и Америки, этот вопрос князя не слишком интересовал. Зато Григорий Александрович нарочито много говорил о Франции, Англии и политике ведущих европейских держав. Неудачная тема для болтовни с первым встречным. Внешняя откровенность князя в разговорах с иностранцами всегда преследовала некую цель.

Если бы Миранда был простым путешественником, как он себя именует, максимум, на что он мог рассчитывать, это постоять у двери в приемные покои Потемкина и вместе с толпой офицеров, чиновников и гостей наблюдать выход хозяина Тавриды. Однако гость был замечен, приближен, удостоился пространных бесед, а затем князь «по-дружески» пригласил его с собой в поездку по Крыму (видимо, инспекционную, перед приездом императрицы), посадил в свою карету и общался всю дорогу. Почести явно не по рангу. Чем же их объяснить?

Миранда ехал через Константинополь, русский посол Я. И. Булгаков, старинный приятель Потемкина еще по университету, предупреждал, что венесуэлец, вероятнее всего, шпион. Яков Иванович сам был опытным дипломатом и разведчиком, князь его высоко ценил и доверял донесениям. Поэтому путешественник сразу по прибытии в Россию возбудил пристальное внимание. Однако Миранда не был ни арестован, ни выдворен из страны. Это не отвечало интересам игры, которую вел Потемкин. Подобных резидентов в окружении светлейшего князя было немало, и особенно в годы войны. Далеко не все из них подвергались разоблачению. Их использовали иначе: для передачи за рубеж выгодных России сведений. Например, принц Карл Нассау-Зиген поставлял информацию французскому двору.

Для нас рассказ Миранды особенно ценен тем, что он показывает

положение на Юге буквально накануне приезда Екатерины. Взгляд путешественника был специально «заострен» на сбор информации об уровне развития Причерноморья и готовности России к войне. В целом, гость высоко отозвался обо всем увиденном. Мы не раз цитировали его высказывания. Он отмечал слабые и сильные стороны: удобное обмундирование и тесноту жилищ, высокое качество постройки судов и плохие госпитали, здоровый вид людей и скудное питание, передавал слухи о гибели греческих семей при выселении. Словом, нельзя сказать, что Миранда был перевербован и сообщал только выгодные для Потемкина вещи. Однако он ни словом не упоминает о специальной подготовке к встрече императрицы, об украшении улиц, перегонке скота или особом скоплении людей в тех пунктах, через которые должна проехать государыня. Тем более — о картонных домах и декорированных под военные купеческих судах. А ведь это первое, на что должен был бы обратить внимание резидент. Причем Миранде было разрешено свободно осматривать корабли, поднимаясь на борт, знакомиться с командами и даже разглядывать навигационные приборы. Он гулял по укреплениям, общался со множеством народа от офицеров до татарских проституток. Цеплял сведения, где только мог.

На какую страну работал Миранда? Если проанализировать дневник, то можно сделать вывод, что заказчиком информации выступала Англия, и именно за английского осведомителя дона Франсиско принимал светлейший князь. Общий настрой путешественника подчеркнуто антифранцузский, кое-где Миранда даже перегибает палку, полагая, что ругань по адресу «галлов» будет приятна его читателям. Так, нанося визит принцу Нассау-Зигену, он «едва преодолевает чувство неприязни», поскольку тот — француз. Похвально отзываясь об агрономах, получивших образование в Англии, путешественник замечает, что «во Франции земледелие находится, как говорят, почти на столь же низком уровне, что в нынешней России»^[1133]. Текст письма по-французски он именуется «жалким плодом галльского сочинительства». Не забывает венесуэлец уколоть и своих вчерашних союзников-янки. Говоря о мягком обращении русских с татарами, гость замечает, что оно «могло бы послужить примером покорителям Америки», вероятно, имея в виду их отношения с краснокожими.

Все английское, напротив, вызывает у Миранды восхищение. Если ему нравится корабль, здание или форма артиллеристов, он неизменно добавляет, что они сделаны «на английский манер». «Дом этого полковника обставлен и украшен с большим вкусом, чем остальные — в английском

стиле»; «форма сидит на солдатах свободно, на английский лад»; «навигационные приборы — ...много английских»; «конструкция кораблей показалась мне точной копией английской» и т. д. К чести Потемкина служит то, что «он высоко ценит английскую аккуратность».

Князь бросил несколько пробных камней, умело заварив стычку между Мирандой и Нассау-Зигеном на почве взаимной неприязни французов и испанцев. Оба попались и наговорили друг другу колкостей. «После завтрака у нас — князя, Нассау и меня — состоялась интереснейшая беседа, в ходе которой первый стал говорить второму о том, как нехорошо и даже ребячливо вела себя по отношению к русским Франция, невзирая на великие услуги, оказанные ей Россией (имеется в виду, с одной стороны, Декларация о вооруженном нейтралитете, а с другой — продолжение антирусской политики Версаля в Турции. — О. Е.). Одним словом, выразил чувства, доставившие мне большое удовольствие... После трапезы толковали втроем о „Путешествиях Фигаро по Испании“, и князь упомянул о том, какими неточностями грешат французы, когда пишут о других народах, приведя в качестве примера „Поездку аббата Шаппа в Россию“. С сего предмета разговор перешел на Испанию, причем Нассау высказал мнение, будто испанские дамы все поголовно заражены сифилисом... будто испанцы — самый скверный из известных ему народов: обходятся без постельных принадлежностей, у них всегда полно вшей. Я ответил, что он глубоко заблуждается, а французы — далеко не лучшие судьи, способные дать оценку этой или какой-либо другой нации, ибо не знают языка, а их вечная предвзятость хорошо известна»^[1134].

При случае князь выразил Маранде солидарность по поводу легкомыслия французов, а отсюда, путем лестного сравнения, уже легко было перейти к всегдашним противникам «галлов» — британцам. И здесь Потемкин конфиденциально сообщил дону Франсиско о своем уважении и неослабевающей привязанности к английскому двору. «После девяти часов, когда бал был еще в самом разгаре, мы с князем вернулись домой и стали обсуждать политические вопросы. Он уверял меня, что всегда поддерживал англичан и акция провозглашения „Вооруженного нейтралитета“ была предпринята во время его отсутствия в Петербурге; французов же назвал невероятными интриганам, хотя во всех отношениях скучными»^[1135]. И в другом месте: «Вечером имел продолжительную беседу тет-а-тет с князем, поведавшим мне об обстоятельствах захвата Крыма, о беспокойстве, вызванном этим во Франции, о противодействии, оказанном ему самому в Петербурге при осуществлении его замыслов. Он говорил об

опрометчивости Англии, заключившей мир тогда, когда ее враги стали испытывать затруднения, и что если бы не вооруженный нейтралитет, Франции, несомненно, пришлось бы капитулировать. Понимание этого позволило России плести интриги в Константинополе с целью будоражить турок»^[1136].

Все сказанное не имело бы смысла, если бы князь не рассчитывал на передачу его слов британским начальникам Миранды. Когда-то он был против Декларации о вооруженном нейтралитете и убеждал Екатерину не обострять отношений с Англией. Но императрица пребывала в восторге от документа, предложенного Паниным. Теперь, в условиях войны, предстояло пожинать плоды неприязни Британии, как и предсказывал семь лет назад Потемкин. На краю разрыва с Турцией светлейший князь все еще пытался сгладить отношения с Лондоном, зная, по донесениям Булгакова, что английские дипломаты в Стамбуле начали работать против России.

Миранде была показана карта Крыма, составленная офицерами штаба Потемкина. Множество новых населенных пунктов на ней впечатляло. Затем путешественник сам проехал по полуострову и смог своими глазами убедиться в наличии городов, дорог, портов и множестве разноплеменного населения, постоянно донимавшего князя своими делами.

Заметив, что гость старается разузнать о численности жителей наместничества, Потемкин позволил показать ему ведомость. В Херсоне за игрой в карты начальник полиции Булгаков сообщил путешественнику, что «число жителей достигает в настоящее время 40 тысяч душ, а именно 10 тысяч гражданского населения и в общей сложности 30 тысяч военнослужащих армии и флота. На сегодняшний день насчитывается 1200 достаточно добротных каменных домов, помимо множества хибар, где ютятся самые бедные, и воинских бараков. Между тем в 1779 году тут не было ничего, кроме двух рыбацких хижин»^[1137]. Относительно полуострова сведения разнились. «Правитель г-н Каховский обещал приготовить официальную выписку о нынешнем населении Крыма...

Бахчисарай — 5000 человек

Карасубазар — 2800

Феодосия — 3000

Козлов — 3500

Ак-Мечеть — 800

Всего: 15 100»^[1138].

Особо Миранду занимал вопрос о доходах империи. Он дважды возвращался к нему на страницах дневника и передавал суждения разных

лиц. Так, из чтения записок Манштейна о России он выяснил, «что доходы империи достигли 15 млн. рублей, тогда как во времена Петра I не превышали 5 млн. Сейчас они возросли до 47 млн. дукатов, а национальный долг составляет 40 млн. дукатов»^[1139]. И в другом месте: «Сегюр сообщил, что государственные доходы России достигают 47 млн. рублей, а торговый баланс, по его мнению, не слишком благоприятен для нее»^[1140].

Ответ на главный вопрос — о численности войска — Миранда получил неожиданным образом. Он пишет: «Мне в руки попали точные данные о современном состоянии армии этой империи, кои я и привожу:

Кавалерия.....61 819 человек.

Пехота, за вычетом гвардейских полков, артиллерии и гарнизонных батальонов.....213 002 человек.

Итого.....274 821 человек»^[1141].

Данные выглядят завышенными. Откуда они взялись? Реально в большинстве полков был приблизительно половинный комплект, который в случае начала войны предстояло пополнить за счет рекрутского набора. Отважусь предположить, что сведения о численности войск попали к путешественнику не случайно и были, скорее всего, подложены ему или специально перепроданы через подставных лиц с целью показать, что Россия обладает внушительной армией на Юге.

Объективно из дневника Миранды его британские заказчики должны были увидеть, что русская сторона прочно закрепилась в Причерноморье и имеет силы защищаться. Эти сведения были достоверны, так как подтвердились дальнейшим ходом войны. Однако в Лондоне старательно собранная венесуэльцем информация оказалась не ко двору. Когда Миранда прибыл в британскую столицу, премьер-министр Уильям Питт-младший не проявил к нему особого интереса. Уже было решено играть в надвигающемся конфликте против России, и сведения, ложившиеся на другую чашу весов, только раздражали, но не могли изменить позиции Сент-Джеймского кабинета. Дон Франсиско был обижен откровенным пренебрежением Питта. Но такова судьба резидента — иногда нужно поставлять не реальную информацию, а ту, которую хотят слышать.

«Шиканства» Иосифа II

Вернемся к путешествию Екатерины. Натянутые после randevu в

Каневе отношения между императрицей и Потемкиным вскоре сгладились, во всяком случае внешне. Впереди им предстоял еще длинный путь и много совместной работы. В одной из записок императрица сообщала светлейшему князю, что продолжает заниматься текущими делами^[1142]. Мемуары Храповицкого свидетельствуют, что на борту галеры «Днепр» Екатерина разбирала почту из Москвы, просматривала перлюстрированные письма к Сегюру из Франции, получала секретные донесения резидентов из Берлина^[1143].

30 апреля к обеду галеры прибыли в Кременчуг, который до завершения строительства Екатеринослава играл роль административного центра наместничества, отсюда начинались земли, вверенные попечению Потемкина. Продолжив путь вниз по Днепру и сойдя на берег неподалеку от Новых Кайдаков, государыня встретила в степи с Иосифом II. Вместе они отправились к месту закладки Екатеринослава и затем в Херсон.

31 мая императрица сообщала в письме к барону Гримму: «Каневское свидание продолжалось 12 часов и более не могло продолжаться, потому что граф Фалькенштейн скакал во весь карьер к Херсону, где было назначено свидание... Я весьма сожалела, что не могла простоять на якоре трое суток, как того желалось его польскому величеству»^[1144]. Екатерина преувеличивала в письме и свои сожаления, и то нетерпение, с каким Иосиф, как всегда путешествовавший инкогнито, спешил на Юг. В отличие от Станислава Августа, австрийский монарх вовсе не желал присоединяться к Екатерине во время ее путешествия, поскольку такой шаг ко многому обязывал его как союзника России. Однако уклониться от встречи с императрицей ему не удалось.

Вынужденность присутствия австрийского государя в свите Екатерины II весной 1787 года необходимо учитывать при трактовке политических высказываний и всего стиля поведения Иосифа в Крыму. Неудовольствие оказанным на него давлением он выразил в ряде скептических замечаний и мрачных пророчеств относительно будущей судьбы Новороссии и Тавриды. По мнению императора, Екатеринослав (ныне Днепропетровск) «никогда не будет обитаем», а Севастополь, несмотря на все природное удобство его гаваней, не может быть защищен от нападения противника. «Его не поражали быстрые успехи русских предприятий, — рассказывал в мемуарах Сегюр. — „Я вижу более блеска, чем дела, — говорил он. — Потемкин деятелен, но он более способен начинать великое предприятие, чем привести его к окончанию. Впрочем, все возможно, если расточать деньги и не жалеть людей. В Германии или во Франции мы не посмели бы

и думать о том, что здесь производится без особенных затруднений“».

Иосиф II все еще очень обижался на Потемкина за то, что тот когда-то отклонил его предложение о денежной субсидии и выступал за поддержание равновесия сил между Австрией и Пруссией. Однако император отдавал должное личным качествам князя. «Я понимаю, что этот человек, несмотря на свои странности, мог приобрести влияние на императрицу, — заявил Иосиф в другой беседе с французским послом. — У него твердая воля, пылкое воображение, и он не только полезен ей, но необходим. Вы знаете русских и согласитесь, что трудно сыскать между ними человека более способного управлять и держать в руках народ еще грубый, недавно лишь тронутый просвещением, и обуздать беспокойный двор»^[1145].

Важно отметить, что Иосиф сразу же выделил Сегюра среди других дипломатов и совершал с ним длительные пешие прогулки, делясь своими впечатлениями и политическими видами. Сам посол объяснял такую необычную для монарха откровенность тем, что «имел счастье понравиться» Иосифу. Однако, вероятно, были и другие, более веские причины, заставлявшие графа Фалькенштейна, взяв посла Франции под руку, уверять его в миролюбивом отношении Австрии к Турции. «В разговорах со мной он дал мне понять, что мало сочувствует честолюбивым замыслам Екатерины, — писал Сепор. — В этом отношении политика Франции ему нравилась. „Константинополь, — говорил он, — всегда будет предметом зависти и раздоров, вследствие которых великие державы никогда не согласятся насчет раздела Турции“»^[1146]. Заметно стремление австрийского императора, с одной стороны, успокоить французский кабинет, а с другой — показать свою независимость по отношению к планам союзницы.

Херсон потряс путешественников и заставил на время замолчать самые злые языки. Сегюр описывал практически оконченную крепость, казармы, адмиралтейство с богатыми складами, арсенал со множеством пушек, верфи и строящиеся корабли, казенные здания, несколько церквей, частные дома, лавки, купеческие корабли в порту. Английский дипломат сэр Алан Фиц-Герберт доносил оттуда в Лондон: «По-видимому, императрица чрезвычайно довольна положением этих губерний, благосостояние которых действительно удивительно, ибо несколько лет назад здесь была совершенная пустыня. Князь Потемкин, конечно, позаботится о том, чтоб представить все с наилучшей стороны. Вчера мы любовались тремя большими кораблями... Суда эти немедленно

отправляются для присоединения к флоту в Севастополь»^[1147].

Австрийский император оказался единственным из мемуаристов, кому не понравилась херсонская крепость. С дороги он писал фельдмаршалу Ф. Ласси: «Херсонские укрепления выведены очень дурно, фасады очень длинные, куртины слишком коротки, фланги тоже, и поэтому все орудия для обстреливания фасов вытянуты в ряд вдоль этих куртин, точь-в-точь как у нас в Эгере и в Праге»^[1148].

15 мая Екатерина, облаченная во флотский мундир, присутствовала при спуске на воду кораблей: 80-пушечного «Иосифа», 70-пушечного «Владимира» и 50-пушечного «Александра»^[1149]. Ее сопровождал граф Фалькенштейн. Один из очевидцев этого события, немецкий врач Э. В. Дримпельман, рассказывал: «Государыня явилась запросто, в сером суконном капоте, с черною атласною шапочкою на голове. Граф также одет был в простом фраке. Князь Потемкин, напротив, блистал в богато вышитом мундире со всеми своими орденами»^[1150]. Обратим внимание на эту малозначительную на первый взгляд деталь. Скромную одежду императрицы отметил только Дримпельман, другие источники, в частности Камер-фурьерский журнал, отличавшийся в подобных вопросах большой точностью, фиксирует мундирное платье, единственно приличное в подобном случае. А вот потертый сюртук Иосифа II проходит через все мемуары и монографии, в которых рассказывается о путешествии Екатерины на Юг. Часто историки специально противопоставляют «скромность» австрийского монарха и подчеркнутое богатым одеянием тщеславие Потемкина.

Между тем истинное значение любого события может быть определено только в свете культурной традиции того времени. Что же значил старый сюртук Иосифа? По правилам приличий XVIII века появиться на торжественной встрече в простом наряде значило оскорбить пригласившего вас хозяина. Вспомним эпизод из мемуаров Сегюра, когда Потемкин принял посла в домашнем сюртуке и француз почел себя обиженным^[1151].

Появившись в простом сером сюртуке, австрийский император совершал бестактность по отношению к своим союзникам. Накануне поездки в Россию Иосиф, перечисляя в письме к Кауницу свои заслуги перед союзницей (главной из которых он называл помощь в присоединении Крыма), негодовал на нее за оказанное давление и обещал дать почувствовать «принцессе Цербстской, превращенной в Екатерину», что он не позволит столь бесцеремонно располагать собой^[1152]. Кажется, в

Херсоне долгожданная маленькая месть, а на языке XVIII века «шиканство», свершилась. Извинением австрийскому монарху мог послужить только тот факт, что он и здесь присутствовал инкогнито, как граф Фалькенштейн. Однако едва ли нашелся бы человек, не знавший, кто стоит рядом с Екатериной. Император всячески старался подчеркнуть частный, не государственный характер своего визита, демонстрируя нежелание Австрии присоединяться к военным демонстрациям России.

Но от Екатерины не так легко было избавиться. Она вопреки воле Иосифа вытребовала его в Крым и теперь делала вид, будто не замечает едва прикрытых бестактностей со стороны союзника. Ей не понравился поступок гостя, который посетил Херсон за несколько дней до встречи с ней, внимательно осмотрел все укрепления, а лишь затем поехал в Новые Кайдаки. 18 мая, уже после выхода Иосифа на верфях, Екатерина с неудовольствием говорила о нем Храповицкому: «Все вижу и слышу, хотя и не бегаю, как император. Он много читал и имеет сведения; но, будучи строг против самого себя, требует от всех неутомимости и невозможного совершенства; не знает русской пословицы: мешать дело с бездельем. Двух бунтов сам был причиною, тяжел в разговорах»^[1153].

Очевидно, внутренние отношения между Екатериной и Иосифом были далеки от идиллии. Оба имели причины обижаться друг на друга, но, по мнению императрицы, сильный союзник любой ценой должен был остаться за Россией. Государыня подчеркивала, что чрезвычайно довольна проведенным на спуске кораблей днем, и просила Потемкина «дать вина матросам и солдатам, которые работали на верфи и в крепости»^[1154].

Из Херсона путешественники направились в Крым. Симферополь, тогда еще скромная Акмечеть, встретила царский поезд английским садом и несколькими простыми домами. Зато блистательный Карасубазар утопал в восточной роскоши: он обладал не только дворцом и общественными зданиями, но и фонтаном с искусственным водопадом. Однако главное «чудо», а вернее главный аргумент в политической игре светлейшего князя ожидал путешественников под Севастополем. В Инкерманском дворце во время торжественного обеда внезапно отдернули занавес, закрывавший вид с балкона. Взорам присутствующих предстала прекрасная Севастопольская гавань. День был солнечный, на рейде стояли 3 корабля, 12 фрегатов, 20 линейных судов, 3 бомбардирские лодки и 2 брандера — русский Черноморский флот. Открылась стрельба из пушек^[1155].

На этот раз Иосиф воздержался от язвительных замечаний. Со всей очевидностью было ясно, что в надвигающейся войне Россия сумеет

удержать приобретенные земли. А значит, пока выгоднее оставаться ее союзником, надеясь на возможные территориальные приращения за счет турок, чем становиться сторонним наблюдателем чужих завоеваний. Вскоре путешественники двинулись в обратный путь через Кременчуг и Полтаву.

ГЛАВА 13

НАЧАЛО ВОЙНЫ

Знаменитое путешествие Екатерины II в Крым завершилось великолепным и очень символичным по своей сути финалом. Полтавские маневры русской конницы происходили на том самом поле, где некогда встретились войска Петра I и Карла XII^[1156]. Императрица и Потемкин стояли рука об руку на кургане, прозванном в народе Шведской Могилой, как бы демонстрируя окружающим их иностранным гостям свое единство перед лицом надвигавшейся угрозы. Дальше пути корреспондентов расходились. Григорий Александрович, только что пожалованный титулом князя Таврического^[1157], спешил в Кременчуг, откуда поступали тревожные сведения о провокациях турок на границе^[1158], а императрица возвращалась в Петербург, сделав небольшой крюк, чтобы посетить Москву.

Разрыв

Переписка Екатерины и Потемкина двух предвоенных месяцев, как никакой другой источник, показывает отношение корреспондентов к грядущему конфликту. В письме 13 июля из Царского Села императрица выражала надежду, что вскоре она увидит Григория Александровича. «Пожалуй, пожалуй, пожалуй, будь здоров и приезжай к нам невредим»^[1159]. Екатерина не ожидала скорого разрыва с Турцией и ждала возвращения князя в Петербург в ближайшее время. Она нуждалась в нем для продолжения совместной работы, так как многие дела в его отсутствие остановились.

27 июля Екатерина, быть может, сама не желая обидеть корреспондента, дала весьма болезненное для него определение их отношениям: «Между тобою и мною, мой друг, дело в кратких словах, ты мне служишь, а я признательна, вот и все тут»^[1160]. Прочитать эти строчки после 13 лет союза с императрицей Потемкину было едва ли приятно. Однако он уже давно осознал особенности своего положения. «Когда все идет хорошо, мое влияние ничтожно, — говорил князь Гаррису еще в 1781 году. — Но когда у императрицы бывают неприятности, она нуждается во

мне. В такие моменты мое влияние усиливается более чем когда-либо»^[1161]. При всем лукавстве подобного заявления в нем скрыта доля истины: чем хуже шли дела у Екатерины, тем ласковее становились ее письма к Потемкину.

Замечателен конец письма 27 июля, показывающий приподнятое расположение духа Екатерины: «Дела в Европе позапутываются. Цесарь посылает войска в Нидерланды, король прусский и противу голландцев вооружается, Франция, не имев денег, делает лагеря, Англия высылает флот, прочие державы бдят, а я гуляю по саду».

На Юге обстановка оставалась пока спокойной. Письма князя начала августа дышат редким умиротворением. Из Кременчуга Потемкин сообщил о намеченных на осень работах по посадке лесов и садов, о поиске ключей пресной воды около Екатеринослава. Он мечтал, как через много лет жители цветущего края вспомнят их добрым словом: «Наши рассказывать будут: вот роща, которую Екатерина Великая приказала посеять, вот дерево каштанное, которое она приказывала сажать на песчаных местах, а пивши хорошую воду, вспоминать будут о нашем попечении»^[1162].

7 августа из села Михайловки под Кременчугом, куда князь перебрался, спасаясь от городской жары, им было отправлено в Петербург донесение о двойственном поведении турок. Булгаков сообщал из Константинополя 1 августа, что английский, прусский и шведский министры при турецком дворе активно побуждают визиря к немедленному разрыву с Россией. Получив эти сведения, Потемкин под предлогом малозначительного поручения отправил в Очаков своего представителя — тайного советника Сергея Лазаревича Лашкарева, который обычно осуществлял контакты с очаковским пашой, — посмотреть, не ведутся ли там какие-нибудь приготовления к войне. «Он не приметил ни приуготовлений лишних, ни грубостей, какие обыкновенно от турков, расположенных к войне, бывают. Паша был учтив отменно, как и всегда с нашими бывает». Итак, самый высокопоставленный чиновник Порты на турецко-русской границе не обнаруживал враждебных намерений.

Однако Потемкин был крайне обеспокоен. «Мое представление вашему императорскому величеству при отправлении из Петербурга было, дабы протянуть еще два года, — писал он, — и теперь о том же дерзаю утруждать». Григорий Александрович опасался, что в случае скорого начала военных действий «производство работ всякое кончится», прекратится постройка кораблей, а выстроенные трудно будет вывести из Днепра, так как из-за летней жары уровень воды в реке сильно упал. «Если

б возможно было протянуть без разрыву, много бы мы сим выиграли. 1-е, вся сумма, употребленная от них на вооружение, пропала бы без пользы. 2-е, другой наряд войск им был бы весьма труден»^[1163], — заключал светлейший князь.

Те же самые доводы привел Безбородко в письме к Воронцову, повторив текст донесения Потемкина почти слово в слово. «Ежели удастся до зимы остаться без войны, то турки, потеряв много на вооружение сеголетнее, едва ли будут в силах сделать такие приуготовления на будущих год»^[1164]. Подобные совпадения указывают на то, что Александр Андреевич знакомился с почтой князя на высочайшее имя.

Тем временем на юге, в селе Михайловка, Потемкин перенес первый приступ возобновившейся лихорадки. Усталость после путешествия, в течение которого ему, как устроителю и хозяину, постоянно приходилось пребывать в напряжении, давала себя знать. Он ослабел, и притаившаяся болезнь вновь напомнила о себе. Сначала Григорий Александрович ничего не сообщил императрице, но в письме 14 августа допустил оговорку, сказав, что уже поправляется. Из-за сильной засухи и жары князь приказал остановить все работы, чтобы не изматывать людей. В то же время, учитывая возможность обострения ситуации на границе, Григорий Александрович «войскам наказал собираться к Ольвиополю»^[1165].

19 августа из Петербурга на юг полетело новое письмо императрицы: «Я с первым цареградским курьером ожидаю из двух приключений одно: или бешеного визиря и рейс-эфенди сменят, либо войну объявят»^[1166]. Императрица рассчитывала на позицию престарелого султана Абдул-Гамида I, не желавшего войны, но он вынужден был уступить под сильным давлением верховного визиря Юсуф-паши и нескольких европейских дипломатов, обещавших Турции кредиты и военную помощь со стороны Пруссии, Англии и Швеции.

5 августа Булгаков, приглашенный на дипломатическую конференцию при турецком дворе, услышал требование о возвращении Крыма, вслед за чем был арестован и препровожден в Семибашенный замок. Это означало объявление войны. «При провожении чины Порты почти плакали, — доносил в Петербург об обстоятельствах своего ареста Яков Иванович, — дорогой, кроме уныния на всех лицах не было приметно, и ни одного слова никто не произнес. Его (визиря. — О. Е.) несчастье, что никто на войну идти не хочет»^[1167]. Послу удалось спасти важнейшие документы, шифры, архив и деньги. «В Едикуле сидел я с 5 августа 1787 по 5 ноября 1789 года, всего 825 дней», — пометил Булгаков позднее в своей записной

книжке^[1168].

Нетрудно себе представить чувства светлейшего князя при известии об аресте его старого университетского товарища, с которым Потемкина связывали 20-летние дружеские отношения. «Война объявлена. Булгаков посажен в Едикул, — писал он императрице 21 августа. — ...Прикажите делать большой рекрутский набор, ...трудно нашим держаться, пока какая помощь не подойдет»^[1169]. «Стремление все теперь идет на меня, — продолжал он на следующий день. — Войска мои подходят, однако же прежде пятнадцати ден уповать нельзя... Бугская граница нельзя чтоб не пострадала от первого движения»^[1170]. Возникал закономерный вопрос: почему войска находились близко (на расстоянии 15-дневного марша), но все же не непосредственно на границе с Турцией? И почему так называемый «сильный» рекрутский набор не был произведен для полного укомплектования армии еще в мирное время? Ответ очевиден: подведение войск прямо к границе и большой рекрутский набор послужили бы для Турции неопровержимым доказательством того, что Россия собирается напасть на нее, а Потемкин старался не спровоцировать конфликт.

Известие об объявлении войны не вызвало у императрицы удивления. Вечером 27 августа она писала князю: «Я начала в уме сравнивать состояние мое теперь, в 1787, с тем, в котором находилась в ноябре 1768 года. Тогда мы войны ожидали через год, полки были по всей империи по квартирам, глубока осень на дворе, приуготовления никакие не начаты, доходы гораздо менее теперешнего, татары на носу... Теперь граница наша по Бугу и по Кубани, Херсон построен, Крым область империи, знатный флот в Севастополе, корпуса войск в Тавриде, армии уже на самой границе». Однако Екатерина не обольщала себя этой картиной: «Я ведаю, что весьма желательно было, чтоб мира еще года два протянуть можно было, дабы крепости Херсонская и Севастопольская поспеть могли, также и армии, и флот приходить могли в то состояние, в котором желательно их видеть. Но что же делать, если пузырь лопнул прежде времени? Я помню, что при самом заключении мира Кайнарджийского мудрецы сомневались в ратификации визирской и султанской, а потом лжепредсказания от них были, что не протянется долее двух лет, а вместо того четверо да десятое лето началось было»^[1171].



А. В. Суворов. *Неизвестный художник. 1799 г.*



В лагере екатерининских солдат. *А. Н. Бенуа. 1910 г.*



Офицерский крест за взятие Очакова. *1790 г.*



Н. В. Репнин. Гравюра с портрета Д. Г Левицкого. 1790-е гг.



Казак, убивающий турка. Д. Дамам-Дэматрэ и Р. Кер-Портер. Конец XVIII в.



Трофейное турецкое оружие: пистолеты и ножи. Второй половина XVIII в.



Ш.-Ж. де Линь. Гравюра К. Леклерка. 1780-е гг.



К.-Г. Нассау-Зиген. И.-Б. Лампи-старший. 1790-е гг.



План крепости Очаков. Австрийская раскрашенная гравюра. 1790-е гг.



Дж. П. Джонс. Ж.-М. Моро-младший. 1781 г.



И. М. де Рибас. И.-Б. Лампи-старший. 1796 г.



Сдача крепости Бснлеры. Гравюра Шутца. 1790 г.



Султан Мустафа 111. *Неизвестный художник.*



Султан Селим III. *К. Капидаглы. 1803–1804 гг.*



Штурм Очакова. *Гравюра XVIII в.*



Император Иосиф II. *М, Свейнль. 1777 г.*



Король Густав III. *А. Росаин. 1770-е гг.*



Король Станислав Август Понятовский. 1780-е гг.



Екатерина II в дорожном костюме. У. Джеймс с оригинала М. Шибанова. 1797 г.



Памятная медаль в честь присоединения Крыма к России с изображением Г. А. Потемкина. 1783 г.



Рядовой, трубач и обер-офицер драгунского полка 1786–1796 годов. Литография середины XIX в.



Г. А. Потемкин в лагере под Очаковым. Акварель М. Иванова. Фрагмент. 1788 г.



Ф. Ф. Ушаков. Гравюра начала XIX в.



В. Я. Чичагов. Л. Г. Ухтомский. 1790-е гг.



«Современный Дон Кихот». Премьер-министр У. Питт, сопровождаемый немцем, шведом и турком, требует, чтобы Екатерина II сняла с себя знак мусульманского полумесяца. Императрицу поддерживают австриец и француз. Английская карикатура из газеты «Fores» от 21 апреля 1791 г.



Черт предлагает Екатерине II на выбор Константинополь или Варшаву. Английская карикатура из газеты «Holland» от 4 ноября 1791 г.



Г. А. Потемкин. *Мраморный бюст работы Ф. И. Шубина. 1791 г.*



У Питт-младший. *Т. Гейнсборо. 1780-е гг.*



Вид на Таврический дворец со стороны Охты. *Б. Патерсен. 1799 г.*



Г. Р. Державин. *Л. С. Миропольский. 1790-е гг.*



Л. А. Вяземский. *Л. С. Миропольский. 1780-е гг.*



Потемкин со свитой на набережной Невы. Акварель М. Иванова. Фрагмент. 1780-е гг.



П. А. Зубов. И.-Б. Лампи-старший. Середина 1790-х гг.



В. А. Зубов. Ж.-Л. Вуаль. 1791 г.



С. К. де Витт (Потоцкая). И. — Б. Лампи-старший. 1780-е гг.



П. Ю. Гагарина. Й. Грасси. 1790-е гг.



Е. Ф. Долгорукая. И.-Б. Лампи-старший. Конец 1780-х гг.



Смерть Г. А. Потемкина 5 октября 1791 года. Гравюра неизвестного художника.



Памятник Г. А. Потемкину в Херсоне. Ксилография. 1891 г.

Императрица не была подавлена роковым известием, наоборот, она ощущала себя полной энергии: «В моей голове война бродит, как молодое пиво в бочке». Убеждение в собственной правоте придавало ей сил. Менее всего она походила на человека, которого схватили за руку. «Клянусь Вам торжественно, что я постараюсь ответить на мусульманскую учтивость как можно лучше, — сообщала Екатерина Гримму. — Вы хорошо сделаете, если отступитесь от мусульман. В конце концов, я не одна оскорблена, потому что эти нехристи отказались выслушать то, что согласились сообщить им все три двора, и стало быть, по-моему, оскорблены и оба другие... Впрочем, всякий стряпает свои дела по-своему, и чужие дела — не мои. Что же до меня, то моя роль давно определена, и я постараюсь сыграть ее как можно лучше»^[1172]. Императрица стремилась показать, что нападение Турции дает России право рассчитывать на поддержку европейских стран. Внешне это действительно выглядело так. Франция присоединилась к требованию русского и австрийского дворов освободить Булгакова^[1173]. Но в реальности дела обстояли иначе.

Письмом 28 августа Потемкин сообщил Екатерине, что подтвердилась информация о французском военном руководстве в турецкой армии. Кроме того, Порта использовала на своих судах французских артиллеристов и употребляла 80 французских кораблей для своих транспортов.

В этом же письме Григорий Александрович предлагал Екатерине объединить обе армии: Екатеринославскую и Украинскую — под общим руководством Румянцева. «Теперь войска графа Петра Александровича идут сюда к соединению, — писал он. — До лета же армиям наступательно действовать и разделяться нельзя будет, то прикажите ему всю команду»^[1174]. Однако Екатерина предпочла сохранить разное руководство для Екатеринославской и Украинской армии. Это решение было продиктовано не столько военным, сколько политическим расчетом. Императрица не хотела вручать общее командование Румянцеву, которого поддерживала враждебная светлейшему группировка. В ответном письме она согласилась послать старому фельдмаршалу «в запас» предписание о принятии командования на случай, если Потемкин обратится к нему с таким предложением, но просила воздержаться от подобного шага^[1175].

В Петербурге в отсутствие князя усиливается роль Государственного совета. 31 августа Екатерина расширила его состав за счет новых членов: графа А. Н. Брюса, графа В. Я. Мусина-Пушкина, Н. И. Салтыкова, графа

А. П. Шувалова, графа А. Р. Воронцова, П. И. Стрекалова и П. В. Завадовского^[1176]. Большинство из них принадлежали к противной Потемкину партии, и выбор пал на них, потому что в обстановке войны возник недостаток расторопных деловых людей в столице. Многие проверенные сторонники Потемкина в этот момент находились в армии. Названные выше лица были хорошо известны Екатерине как способные чиновники и «уже не раз в деле употреблялись»^[1177]. Однако императрица сама не чувствовала себя уверенно и говорила, что «отлучка светлейшего князя, с коим в течение тринадцати лет сделала она привычку обо всем советоваться, причинила ей печаль»^[1178].

Состав нового Совета не мог не обеспокоить Потемкина, для которого в тот момент было очень важно не отвлекаться на придворную борьбу и все внимание сосредоточить на делах армии. В письме от 2 сентября императрица заверяла его: «Теперь я все бдение мое устремляю к тому, чтоб тебе никто и ничем помеху не сделал, ниже единым словом, и будь уверен, что я тебя равномерно защищать и оберегать намерена, как ты меня от неприятеля»^[1179]. Это были не пустые слова, после выбора в Совет новых членов Екатерина дважды говорила Завадовскому, что «не соизволит терпеть, ежели только услышит, что кто-нибудь покусится причинить хотя малое его светлости оскорбление» и «особливо» рекомендовала «дать знать о сем господам графам Шувалову и Воронцову»^[1180]. Таким образом, Екатерина напрямую обратилась именно к тому «триумвирату», который активно влиял на действия А. А. Безбородко и от которого она ожидала враждебных выпадов против князя.

В качестве особой милости, подчеркивавшей расположение императрицы к светлейшему князю, его управляющему М. А. Гарновскому разрешено было поставить по тракту в Екатеринославскую армию 12 лошадей^[1181]. Это позволило посыльным менять коней, в зависимости от скорости движения, один или два раза в сутки. В первые же дни войны быстрота оборачиваемости курьеров между Кременчугом и Петербургом была очень высока — в среднем 7 суток, что нетрудно установить, сопоставив даты на письмах с числами их получения, отмеченными в записках Гарновского. Судя по донесениям управляющего, в столице снаряжение курьера в это время не задерживалось дольше одного дня.

Полковник Михаил Антонович Гарновский был одним из наиболее доверенных сотрудников Потемкина. Он не только ведал всей почтой светлейшего князя в Петербурге, что, учитывая секретность документов, требовало абсолютной преданности, но и часто лично общался с

императрицей, был уважаем ею. Его «Записки» — не что иное, как донесения на Юг о делах в Петербурге. Гарновский часто передавал слова государыни, других вельмож, описывал обстановку в городе. Донесения позволяют увидеть перипетии придворной борьбы глазами человека «потемкинской партии». Именно из них известно о происках «социетета» — группировки Воронцова и Завадовского. Название партии можно перевести как «сообщество», но точнее подошло бы слово «общественность», так как ее члены старались выглядеть при дворе либеральной оппозицией и брали на себя право говорить от имени «всех».

В мемуарах А. М. Тургенева, изобилующих ошибками и выдумками, Гарновский назван «чудом своего времени»: «Довольно будет сказать, что он на восьми или девяти языках, кроме природного, изъяснялся... Императрица Екатерина II его любила, уважала, отличала; Гарновский всегда, во всякое время имел право входить без доклада в кабинет к государыне. Князь Потемкин... чтил, уважал в нем ум, познания и отличные качества души, любил его, как брата... Гарновский приходил к Потемкину в кабинет в халате, сюртуке, как был вставши с постели, в то время как перед князем, валявшимся на диване, стояла с подобострастием толпа — князей, графов, вельмож, царедворцев, воинов, покрытых сединами и лаврами! Нужно было Гарновскому говорить с князем одному, Потемкин приказывал: „Подите вон, нам дело есть!“»^[1182]

Михаил Антонович и правда слыл знатоком языков, но о чересчур близких, панибратских отношениях с Потемкиным не могло быть и речи. Свои донесения управляющий посылал на имя В. С. Попова, правителя канцелярии — это был уровень его служебных контактов. Он никогда не смел обращаться непосредственно к князю. Мы привели здесь красочный рассказ Тургенева именно для того, чтобы показать, чего на самом деле стоили анекдоты о валяющемся на диване Потемкине и посещениях князя запросто, в халате и шлепанцах. Степень доверия светлейшего выражалась иначе — Гарновский нес полную ответственность за то, чтобы письма Потемкина без перехвата достигли рук императрицы.

«В курьерах, а особливо в надеждах, крайний недостаток»^[1183], — жаловался он 30 августа. Благодаря его запискам удастся установить фамилии трех постоянных курьеров князя. Это поручики Драшковский, Душинкевич и Малиновский. С донесениями о победах Потемкин обычно отправлял одного из особо отличившихся «в деле» офицеров, который получал из рук императрицы награду. С постоянной же почтой командующего ездили три упомянутых курьера. Все они были земляками

светлейшего, представителями смоленской шляхты. С. Н. Глинка, двоюродный дядя которого Г. В. Глинка тоже служил курьером Потемкина, рассказывал: «У князя Таврического, нашего соседа, были свои гонцы ловкие, расторопные, умные, но никогда не знавшие того, что передавали они за его печатью»^[1184].

Гибель Севастопольской эскадры

Лихорадка князя усиливалась день ото дня, и он совершенно измучился страхами, как бы из-за своей болезни не упустить важных распоряжений по армии. 19 сентября Григорий Александрович вновь настаивал на том, чтобы сосредоточить все командование войсками в руках Румянцева: «Я... изнемог до крайности, спасмы мучат, и, ей Богу, я ни на что не гожусь. Будьте милостивы, дайте мне хотя мало отдохнуть»^[1185]. Известие об ухудшении состояния Потемкина крайне встревожило императрицу. «Я знаю, как ты заботлив, как ты ревностен, рвися изо всей силы; для самого Бога, для меня, имей о себе более прежнего попечение, — отвечала она. — ...Ты не просто частный человек, ты принадлежишь государству и мне»^[1186]. Несмотря на беспокойство о здоровье князя, Екатерина обошла молчанием вопрос о передаче командования.

Между тем жизнь готовила светлейшему тяжелое испытание. 24 сентября Потемкин получил известие, что севастопольский флот, вышедший по его приказу в море навстречу турецкой эскадре, шедшей из Варны к Очакову, попал в сильный пятидневный шторм и исчез. Это был страшный удар для командующего. Главное дело его жизни — Черноморский флот, строившийся с такими трудами и заботами несколько лет, погиб в считанные часы. Потемкин был потрясен. На кораблях находилось множество людей, обучение которых в Херсоне и Севастополе заняло не один год. Без флота невозможно было защищать Крым — его Тавриду. И все эти несчастья постигли человека, доведенного лихорадкой почти до края могилы.

«Матушка государыня, — писал он по получении трагического известия, — я стал несчастлив... Флот севастопольский разбит бурей... Бог бьет, а не турки! Я при моей болезни поражен до крайности, нет ни ума, ни духу. Я просил о поручении начальства другому. Верьте, что я себя чувствую, не дайте через сие терпеть делам. Ей, я почти мертв... Теперь пишу к графу Петру Александровичу, чтоб он вступил в начальство»^[1187].

В тот же день князь обратился с двумя письмами к Румянцеву. В создавшихся условиях Потемкин считал, что войска и поселенцы, находившиеся в Крыму, окажутся на полуострове, как в мышеловке, со всех сторон обложенные турецким флотом. Доставить им помощь без кораблей будет невозможно. Григорий Александрович пришел к нелегкому для себя выводу о необходимости эвакуации войск и жителей Тавриды. «Граф Петр Александрович, прошу вас как отца, скажите мне свою на сие мысль, — писал он. — Что бы ни говорил весь свет, в том мне мало нужды, но важно мне ваше мнение»^[1188]. Во втором письме князь просил старого фельдмаршала принять командование: «Польза дел требует ваших наставлений, ибо я не в силах»^[1189].

Обдумав ситуацию, Потемкин составил собственноручное донесение императрице, в котором обосновывал необходимость оставления Крыма. «Сколько еще достаёт моего рассудка, то я осмеливаюсь доложить, что без флота в полуострове стоять войскам... трудно, ибо флот турецкий в Черном море весь находится и многочислен кораблями и транспортами, а посему и в состоянии делать десанты в разных местах... Кинбурн подвержен всем силам неприятельским, и ежели не устоит, то Крым с Херсоном совсем разрезан будет, равно как и всякая коммуникация прервется»^[1190]. Тон этого донесения значительно тверже, чем тон письма, а подпись «Вашего императорского величества вернейший и благодарнейший подданный князь Потемкин-Таврический» соответствует рангу и положению светлейшего, тогда как на письме он подписался «раб Ваш Г. Потемкин», как бы возвращая себя в 1774 год и отказываясь от всех пожалований.

Эти послания разделяет всего несколько часов, оба они помечены 24 сентября. Для Потемкина это время было заполнено напряженной работой, о которой свидетельствуют его ордера. Командующий предпринял энергичные меры к розыску и спасению остатков флота^[1191]. Составляя приказания к командирам войск, расположенных по берегам Крыма и на Кинбурнской косе, князь, видимо, сумел взять себя в руки, и единственными свидетелями его горя стали письма к Екатерине и старому учителю — Румянцеву.

Некоторые исследователи упрекают светлейшего князя в том, что болезнь, на которую он ссылался, прося передать командование Румянцеву, была мнимой^[1192] и единственное, чем страдал Потемкин в сентябре 1787 года, был приступ малодушия^[1193].

Нам представляется, что для принятия решения об оставлении Крыма, области, которую князь присоединил к империи и обустроил, Григорию

Александровичу потребовалось большое присутствие духа. Он отдавал себе отчет, что после такого шага его карьера будет окончена, но судьба войска и поселенцев, которые могли попасть в блокаду, заботила Потемкина больше. Что же касается болезни, то началась она еще до войны, после путешествия, когда дела складывались наилучшим образом, и не для чего было симулировать «спасмы».

Почерк писем августа — октября 1787 года аналогичен почерку его писем лета 1783-го, когда Григорий Александрович тоже болел лихорадкой и находился при смерти. Обычный почерк Потемкина весьма тверд, разборчив, четок; на странице 25–27 ровных строк, в строке 5–7 слов, то есть 32–39 знаков. Во время болезни почерк светлейшего становится более размашист, нетверд, менее разборчив, буквы в словах увеличиваются и начинают «скакать». На странице помещается всего 17–18 строк, иногда очень неровных, промежутки между ними большие. В строке только 3–5 слов, или 22–25 знаков. Если судить по неразборчивости и размашистости почерка, то кризис в болезни князя пришелся именно на вторую половину сентября.

И Гарновский, и Храповицкий отмечали обеспокоенность императрицы этого времени, ее несдержанность, случаи ссор и выговоров членам ближайшего окружения. Самая кратковременная задержка известий от князя несказанно мучила Екатерину, ее тревожили городские слухи. В таких условиях Безбородко, начальствовавший над почтами и получавший от почтмейстеров ведомости о течение дел на Юге, старался предоставить императрице сведения из иных источников^[1194]. Сторонники светлейшего князя стремились пресечь подобное «побочное» информирование. Дмитриев-Мамонов приказал Гарновскому просить от его имени В. С. Попова направлять фавориту частные подробные письма о ходе дел, которые он мог бы читать императрице и которые дополняли бы сведения из писем Потемкина^[1195]. Сдерживать раздражение Екатерины становилось все труднее.

25 сентября, получив почту от 19-го числа и узнав о желании князя приехать в Петербург, императрица начала новое письмо словами: «Я думаю, что в военное время фельдмаршалу надлежит при армии находиться». Но Мамонов убедил ее сменить текст на более мягкий и доброжелательный^[1196]. «Не запрещаю тебе приехать сюда, если ты увидишь, что твой приезд не разстроит тобою начатое». Екатерина просила не сдавать команду Румянцеву: «Ничего хуже не можешь делать, как лишить меня и империю низложением твоих достоинств человека

самонужного, способного, верного, да притом и лучшего друга»^[1197]. Мамонову государыня объясняла: «Честь моя и собственная княжия требуют, чтоб он не удалялся в нынешнем году из армии, не сделав какого-нибудь славного дела. Должно мне теперь весь свет удостоверить, что я, имея к князю неограниченную во всех делах доверенность, в выборе моем не ошиблась»^[1198].

В отличие от императрицы и Дмитриева-Мамонова, Безбородко, напротив, желал приезда Потемкина в столицу, о чем признался в письме к Семену Воронцову. Александр Андреевич считал, что присутствие князя в Петербурге способствовало бы решению многих политических вопросов, повисших в воздухе после отбытия светлейшего в армию. Безбородко подозревал, что Мамонов нарочно внушает Екатерине мысль о необходимости удержать Потемкина в армии с целью усилить свои позиции. «Здесь многое скорее и решительнее потекло бы его содействием, — писал Безбородко о возможном приезде князя, — да и своим искусством обуздал бы он многих неистовство; но я подозреваю, что тут-то и была интрига, чтоб его там удержать»^[1199].

26 сентября Потемкин написал Екатерине из Кременчуга новое письмо. Разметанный бурей флот не погиб, многие корабли лишились мачт, были сильно потрепаны штормом, но почти все уцелели. Лишь один оторвался от других и был унесен в Константинопольский пролив. Остальные собрались вместе, были атакованы турками, но отбивались и вернулись в Севастополь^[1200].

Молодой Черноморский флот состоял для Потемкина не только из кораблей, но и из хорошо обученных людей, сумевших спасти свои суда и привести их «без руля и без ветрил» под огнем противника на базу в Севастополь. Об этих людях князь в первую очередь сообщал императрице: «Слава Богу, что люди не пропали! Слава Богу, что не прибило их к неприятельскому берегу!»^[1201].

Чудесное спасение флота снимало с повестки дня вопрос о возможной сдаче Крыма. Если бы князь лукавил, говоря о своей болезни, то в изменившихся условиях он должен был бы немедленно «излечиться». Но почерк письма, написанного счастливым человеком, так же плох, как и почерк писем, свидетельствующих о горе Потемкина. В конце послания Григорий Александрович вновь просил передать команду Румянцеву: «Всемиловейшая государыня, сжальтесь над моим слабым состоянием. Я не в силах, дела Ваши от сего терпят»^[1202].

Удар от известия 24 сентября был смягчен в Петербурге тем, что

курьер Душинкевич, посланный с письмом 26 сентября, на 10 часов опередил курьера Баранцова и приехал в столицу 2 октября^[1203]. Екатерина получила сначала известие о спасении флота, а затем письмо о его пропаже.

Ответ последовал немедленно. Императрица была резко не согласна на оставление Крыма. «Начать войну эвакуацией такой провинции, которая дондсь не в опасности, кажется, спешить нечего для чего»^[1204], — говорила она. Ее уверенность в безопасности Тавриды основывалась на известиях из Константинополя последних чисел августа, когда турецких кораблей еще не было в море. Кроме того, императрица сознавала, какой неблагоприятный для России международный резонанс получит вывод войск из Крыма. Она стремилась ободрить князя, говоря, что буря «столько же была вредна и неприятелю». «Ни уже что ветер дул лишь на нас?» Однако эти слова не могли утешить Потемкина, уже получившего точные сведения от А. В. Суворова из Кинбурна, что вышедшие из Варны турецкие суда соединились под Очаковым с ранее находившимися там кораблями и составили флот в 42 вымпела^[1205].

Кинбурн

Тем временем под Кинбурном разворачивались опасные для крепости события. Как и предполагал Потемкин, турки попытались отрезать Крым от материка и взять его в блокаду: 1 октября противник высадил на Кинбурнскую косу 5 тысяч янычар под командованием французских офицеров. Оттоманские войска решили овладеть крепостью или умереть и специально отослали суда от берега, оставшись «без ретирады». Суворов с восхищением писал впоследствии командующему о солдатах неприятеля: «Какие же молодцы, светлейший князь, с такими еще я не дирался; летят больше на холодное ружье»^[1206]. Бой был труден и кровопролитен, он продолжался, как явствует из рапорта Суворова, с трех часов дня до полуночи^[1207]. Описание этого сражения в письме Потемкина императрице очень показательно. «Пришло все в конфузию, — говорит князь о первом натиске противника, когда русские дрогнули, — и бежали разстроенные с места, неся на плечах турок. Кто же остановил? Гренадер Шлиссельбургского полку примером и поощрениями словесными. К нему пристали бегущие, и все поворотилось, сломили неприятеля и конницу удержали, отбили свои пушки и кололи без пощады даже так, что сам

генерал-аншеф не мог уже упросить спасти ему хотя трех живых, и одного, которого взяли, то в руках ведущих ранами истыкан»^[1208].

Против турок сражались 4 тысячи солдат, в подавляющем большинстве рекрут-новобранцев, для которых это был первый бой. Вся их предшествующая военная школа заключалась в терпеливом сидении под турецкой канонадой в Кинбурне. Дстойно держались только старослужащие солдаты, которые и остановили бегство. Остальные одинаково не слушали команд Суворова, и когда он приказывал им прекратить ретираду, и когда просил пощадить несколько пленных. Рекруты обезумели сначала от страха, а потом от ярости, и финальные сцены боя походили на крестьянский самосуд.

Слой «солдат» по сравнению с «рекрутами», то есть старослужащих по сравнению с новобранцами, был как обычно в начале войны в армии весьма невелик. Победа под Кинбурном ясно продемонстрировала командующему, с какими войсками ему предстоит штурмовать Очаков. В его распоряжении были храбрые, но плохо обученные люди, бросить которых немедленно на захват крепости значило погубить их.

15 октября в Петербурге было получено известие о победе на Кинбурнской косе, которое несказанно обрадовало императрицу и изгладило ее раздражение предшествующих дней. Оно было вызвано неосторожностью Потемкина, написавшего 24 сентября отчаянное письмо Румянцеву. Старый фельдмаршал не знал, как поступить, он опасался, что, приняв на себя общее командование, вызовет недовольство императрицы. Поэтому Петр Александрович решил посоветоваться с Завадовским, полагая, что тому при дворе легче разобраться, куда ветер дует. Он отправил своему старому выдвиженцу копию письма Потемкина, вероятно, надеясь на конфиденциальный ответ. Вряд ли Румянцев рассчитывал на огласку дела. Однако Завадовский повел себя, мягко говоря, нескромно.

Он, в свою очередь, снял копии с потемкинских писем и распространил их среди вельмож, показывая тем самым, что в критический момент командующий растерян и слаб. Это сильно повредило репутации Потемкина «в публике». «Напрасно князь пишет чувствительность свою изображающие письма к таким людям, которые цены великости духа его не знают, — сказал Гарновскому Дмитриев-Мамонов. — Желал бы я... предостеречь его... от такой переписки, служащей забавою злодеям его»^[1209]. Ясно, что фаворит сообщал это управляющему не от себя лично. Мнение императрицы должно было дойти до Потемкина не как выговор в письме, на который князь мог обидеться, а как совет третьего лица,

находившегося в доверии у обоих корреспондентов.

Поступок Завадовского многие оценили как низкий. Можно было по-разному относиться к Потемкину как к личности, но позорить командующего в военное время значило наносить вред армии. Такого мнения придерживался Н. В. Репнин, чьи трения с князем были известны. Крупный масон, племянник Н. И. Панина, один из деятельнейших сторонников великого князя Павла, он в Первую русско-турецкую войну превосходил Потемкина по чинам, а на второй оказался под его командованием. Это не могло не создавать напряжения между двумя военачальниками. К Репнину устремлялись все обиженные и недовольные светлейшим. Однако именно Репнин в лагере под Очаковым окоротил двух жалобщиков — С. С. Апраксина и В. В. Долгорукова, ссылавшихся на то, что Потемкин несправедливо наказал их, отняв полки. «Что же лежит до ваших отношений к князю Григорию Александровичу, — сказал тогда Репнин, — то здесь у нас в лице его — главнокомандующий. Сделает он то, другое и не по-нашему: повинуйся и не ропщи и дурного примера другим собою не подавай. Мне и всякому вольно думать что угодно о князе Григории Александровиче; но главнокомандующему русскою армиею, имярек Потемкину, я всегда слуга покорный и всеохотный. Не мне выбирать главнокомандующего; мое дело слушаться; а это что за послушание, когда я думаю только о том, чем бы мне кольнуть его да ужалить? Это не дело; упаси нас Бог от такой неурядицы: у нас тогда была бы татарщина»^[1210]. От такого образа мыслей Завадовский был далек. Однако навредил он не только Потемкину, но и самому себе, вызвав недовольствие императрицы.

Для характеристики светлейшего князя показательна история с награждением Суворова за Кинбурнское дело. «Надлежит сказать правду, вот человек, который служит и потом и кровью, — писал Потемкин об Александре Васильевиче еще до операции на Кинбурнской косе. — Я обрадуюсь случаю, где Бог подаст мне его рекомендовать»^[1211]. Вскоре такой случай представился. После победы при Кинбурне Екатерина в письме 16 октября просила князя разрешить ее сомнения при выборе награды для Суворова. «Пришло мне было на ум, не послать ли к Суворову ленту андреевскую, но тут паки консидерация та, что старше его князь Юрий Долгорукий, Каменский, Миллер и другие не имеют Егорья большого... Итак никак не могу ни на что решиться и... прошу твоего дружеского совета»^[1212]. Императрица рассчитывала пожаловать Александру Васильевичу «либо деньги, тысяч десятков, либо вещь», чтобы

не нарушать старшинства в продвижении кандидатов к наградам. Колебания императрицы не стали тайной для ее приближенных. «Александру Васильевичу Суворову, кроме... собственноручного письма ...другого награждения без совета его светлости государыня не восхотела сделать... Дадут, однако же, знаки ордена, если этого его светлости будет угодно, — доносил на Юг Гарновский. — Нельзя, кажется, уважать старшинства там, где требуют возмездия заслуги»^[1213].

Григорий Александрович ответил на вопрос императрицы сразу же, ни дня не промедлив с отправкой курьера, ведь награждение Суворова и так уже затягивалось. 1 ноября Потемкин подробнейшим образом описал Кинбурнскую операцию, показывая чудеса храбрости молодых рекрут и их командира, сумевших под огнем турецких судов удержаться на узкой песчаной косе, выманить неприятельские войска на берег и полностью уничтожить их. Суворов, подчиненные ему офицеры и солдаты в буквальном смысле слова вышли из ада, и теперь командующий требовал для героев достойной награды. Офицеры получили георгиевские кресты, солдаты — медали на георгиевских лентах и денежные пожалования, один лишь Александр Васильевич оставался пока без награды.

«Кто, матушка, может иметь такую львиную храбрость? — писал князь о Суворове. — Генерал-аншеф, получивший все отличности, какие получить можно, на шестидесятом году служит с такой горячностью, как двадцатипятилетний, которому еще надобно сделать свою репутацию... Я ожидаю от правосудия Вашего наградить сего достойного и почтенного старика. Кто больше его заслужил отличность? Я не хочу делать сравнения, дабы исчислением имен не унижить достоинство св. Андрея. Сколько таких, в ком нет веры, ни верности, и сколько таких, в коих ни службы, ни храбрости? Награждение орденом достойнейшего — ордену честь. Я начинаю с себя, отдайте ему мой»^[1214].

Знал Потемкин и о давнем желании Суворова получить придворный чин генерал-адъютанта. Князь предложил Екатерине отметить заслуги Александра Васильевича этим пожалованием, если она не захочет послать ему знаки ордена Святого Андрея Первозванного. Таким образом, Григорий Александрович ловко поставил пред императрицей альтернативу: либо орден, либо придворный чин. При неуравновешенном характере кинбурнского героя последнее казалось Екатерине еще более неудобным, чем первое. Она склонилась к ордену, о чем и написала Потемкину 9 ноября^[1215].

«За Богом молитва, а за Государем служба не пропадает, — обращался

к Суворову командующий. — Поздравляю Вас, мой друг сердечный, в числе андреевских кавалеров. Хотел было я сам к тебе привести орден, но много дел в других частях меня удержали»^[1216]. Кинбурнский герой был несказанно рад: «Ключ таинства моей души всегда будет в Ваших руках»^[1217]; «Вы то могли один сотворить... Жертвую Вам жизнью моею»^[1218].

На подступах к Очакову

22 октября из Елисаветграда князь направил императрице письмо о своей поездке в Кинбурн. «Мы потеряли 200 человек убитыми и помершими от ран до сего времени, — сообщал он, — а раненых у нас за 600 и много побито лошадей»^[1219]. В Петербурге тем временем Безбородко через свои каналы получил известие, что потери русских при Кинбурне «несравненно превосходнее тех, которые в реляции показаны». «Не разсудите ли на благо употребить способ к прекращению таких переписок?»^[1220], — спрашивал Гарновский. Реальные потери составляли убитыми, умершими от ран и искалеченными 250 человек и легкоранеными 750 человек^[1221]. Эти цифры не намного превосходят названные князем в письме. Однако по меркам того времени войска понесли серьезные потери — до тысячи человек, выбывших из строя. Такой урон объяснялся необученностью рекрут и трехкратным возобновлением атаки. При более масштабной операции потери могли оказаться непоправимыми.

Во время поездки в Кинбурн Потемкин вместе с генерал-аншефом И. И. Миллером и полковником Н. И. Корсаковым, подплыв в лодке к Очакову меньше чем на пушечный выстрел, осматривали укрепления крепости. «Без формальной осады взять его и подумать невозможно, — писал князь Екатерине. — Александр Васильевич при всем своем стремлении и помышлять не советует». Ссылка на совет Суворова вести «формальную», то есть правильную осаду крупной турецкой крепости, которую 12 лет укрепляли по последнему слову европейской фортификации французские инженеры, очень показательна. В суворовской историографии сложилось мнение, будто Александр Васильевич сразу после победы при Кинбурне рвался овладеть Очаковым без предварительной подготовки^[1222]. Однако нетерпение Суворова, как показывает его переписка, относится к середине лета 1788 года. В октябре же 1787-го в своих письмах к Потемкину он выражал полное согласие на «правильную осаду»^[1223]. В ордере на имя

Суворова, подписанном 9 октября, командующий говорил: «В настоящем положении считаю я излишним покушение на Очаков без совершенного обнадежения в успехе; и потеря людей, и ободрение неприятеля могут быть следствием дерзновенного предприятия»^[1224].

Екатерина, напротив, желала скорейшего захвата неприятельской твердыни. «Если б Очаков был в наших руках, то бы и Кинбурн был приведен в безопасность»^[1225], — замечала она 9 октября. Ту же мысль императрица повторила 2 ноября, прося взять крепость «с наименьшей потерей времени»^[1226]. Откуда такая поспешность в самом начале войны, когда все операции до полного укомплектования войск велись «на дифензиве», то есть оборонительно? Объяснение ей следует искать в той морально-психологической обстановке, которая сложилась при дворе в это время. Партия Воронцова — Завадовского прилагала значительные усилия, чтобы разжечь в столичной публике нетерпеливое ожидание скорого взятия Очакова. Эти вельможи поддерживали надежды императрицы, что гарнизон крепости разбежится при приближении русских войск, как в конце прошедшей войны гарнизон Хотина. При появлении в городе очередного курьера Завадовский во всеуслышание выражал твердую уверенность, что наконец привезено известие о взятии Очакова.

Такая обстановка сложилась в конце октября — начале ноября, когда русская армия еще только начала подготовку к осаде. «Во всю прошедшую войну мы Очаковом завладеть или не умели, или не хотели, — замечает Гарновский, — и я не понимаю, почему г. Завадовский взятие Очакова почитает незатруднительным»^[1227]. Александр Воронцов отстаивал ту же идею в Совете. Общие настроения подстегивали нетерпение императрицы, в то время как Потемкин продолжал настаивать на необходимости правильной осады.

«Кому больше Очаков на сердце, как мне? — спрашивал князь в письме 1 ноября. — ...Не стало бы за доброй волею моей, если б я видел возможность. Схватить его никак нельзя, а формальная осада по позднему времени быть не может, и к ней столь много приуготовлений. Теперь еще в Херсоне учат минеров. До ста тысяч потребно фашин... Вам известно, что лесу нету поблизости. Я уже наделал в лесах моих польских, оттуда повезу к месту... Сохранение людей столь драгоценных обязывает идтить верными шагами и не делать сумнительной попытки, где может случиться, что, потеряв несколько тысяч, пойдем не взявши... уменьша старых солдат, будем слабы»^[1228].

Был еще ряд вопросов, по которым Потемкин хотел откровенно

объясниться с императрицей. В почте 26 октября князь направил Екатерине письмо секретного характера, заранее предупредив в обычном письме: «Прилагаю у сего записку моих мыслей, прошу, чтоб ее другим не открывать и в переговорах с французским министром не показывать, что мы их двора разположение знаем»^[1229]. В секретном послании Потемкин касался политических видов Англии и Франции в отношении России. Описав подробности запутанной англо-французской борьбы за влияние на Порту и торговое господство в Восточной Индии и Египте, Григорий Александрович предупреждал Екатерину: «Франция и Англия делают две партии разные, обе ищут нас привлечь... К которой стороне Вы б не пристали, везде при своих навлечете себе еще посторонние хлопоты». Именно этого-то, по мнению князя, Россия не могла себе позволить.

Начавшийся в 1787 году сильный неурожай обусловил резкое снижение доходов. «Положим, что в войне мы получим успехи, — рассуждал князь, — но состояние наше воспрепятствует нам их простирать и удерживать оные. Недостаток в хлебе почти генеральный... а как хлеб дает всему цену, то ожидать должно, что на все вещи дороговизна расплывется. Где прежде употребляли сто тысяч, там ныне миллион. Можно ли выдержать долго такие расходы? Банковые билеты многим выпуском потеряют, тем паче что великие суммы употребятся вне государства. Цена денег упадет, и от того, когда больше оных в обращении, нежели хлебного в земле продукта. Из ассигнации никто не может делать капитала, а потому всякую монету, как бы худо внутреннее ее содержание ни было, сохраняют. Теперь дошло уже до того, что промен билетов на медные деньги делается за 15 и за 10 процентов»^[1230]. Закончив эту мрачную картину, Потемкин переходит к описанию возможных социальных последствий, то есть всеобщего неудовольствия, которое начнется с «бедного солдата», получающего казенное жалованье. Такой ситуации ни в коем случае нельзя было допустить, усугубляя положение излишними расходами и участвуя в чужих коалиционных столкновениях.

Князь советовал не отталкивать ни ту, ни другую сторону, но не брать на себя никаких обязательств, заявляя о нейтралитете. Одновременно, по его мнению, нужно было заинтересовать «через третьи руки» и Францию, и Англию посреднической ролью при заключении мира с Турцией и, играя на этом интересе, парализовать их враждебные действия против России. К приведенному посланию было приложено перлюстрированное письмо французского министерства иностранных дел принцу К. Г. Нассау-Зигену. Тайная миссия Нассау в Петербурге состояла в том, чтобы содействовать

заключению франко-русского союза. Из присланного документа следовало, что Франция желает получить долю при разделе турецких земель, договориться о закрытии для Британии всех русских гаваней и прекращении торговли с англичанами товарами для флота, то есть лесом, парусиной, пенькой и дегтем^[1231]. Такие условия, по мнению Потемкина, были крайне невыгодны для России. Екатерина полностью согласилась с корреспондентом. В письме 6 ноября она писала: «В случае если пришло решиться на союз с тою или другою державою, то таковой союз должен быть распоряден с постановлениями, сходными с нашими интересами, а не по дуде или прихотям той или иной нации, еще менее по их предписаниям... Касательно же наших торгов с Англиею, тут себе руки связывать не должно»^[1232].

Как бы ни были неприятны для Екатерины рассуждения князя о тяжелом финансовом положении России, она с благодарностью приняла его прямоту. «Спасибо тебе за то, что ко мне пишешь откровенно свои мысли, — говорила императрица, — я из оных не сделаю употребления иного, нежели то, которое сходно будет с моею к тебе дружбою и с общемою пользою». Положение действительно было серьезно. Английский посол Алан Фицджерберт доносил по этому поводу в Лондон: «Ничего не может быть грустней известий, получаемых нами ежедневно из внутренних губерний, о той чрезвычайной нищете, в которую повергнут народ дороговизной хлеба... Дух возмущения грозит разлиться при первом удобном случае»^[1233]. Екатерина приняла решение закупить за границей зерно на 5 миллионов рублей для раздачи малоимущим^[1234]. Характерно, что в этих тяжелых условиях на откровенный разговор с императрицей отважился ее ближайший сотрудник и друг, всегда поддерживавший Екатерину, а люди, обычно критиковавшие царицу за глаза, ограничились успокоительными рассуждениями. Александр Воронцов, президент Коммерцколлегии, вызванный к Екатерине для разъяснения, почему рубль ходит по 30 голландских штиверов, ответил: «Время курс унизило, время и возвысит»^[1235]. Едва ли императрицу могло удовлетворить такое объяснение.

Союзники

Не вполне гладко складывались и отношения с союзниками. Австрия не спешила вступить в войну, зато направила в ставку Потемкина своего

официального представителя принца Шарля-Жозефа де Линя, личность весьма примечательную и хорошо знакомую князю. Бельгиец по происхождению, де Линь дослужился в австрийской армии до чина фельдмаршал-лейтенанта, пользовался благосклонностью Иосифа II. Впервые он побывал в России в 1782 году и пришелся здесь ко двору. Даже хотел женить своего сына Карла на княжне Масальской. В 1787 году вместе со своим императором принц принял участие в путешествии Екатерины в Крым. С началом войны у Иосифа II были все основания послать в союзническую армию именно его. Дружеские отношения де Линя с русской царицей и Потемкиным, казалось, гарантировали тесный контакт, широкое поступление конфиденциальной информации и влияние на союзников. Поведение наших героев разочаровало Иосифа.

«Он думал иметь команду, взять Белград, — писала императрица о де Лине 18 октября, — а вместо того его шпионом определяют». Из перлюстрированного письма Иосифа к де Линю Екатерина увидела, что союзники желали отдалить русских от Молдавии и Валахии. «Да и из Галиции пропитания не обещают, а оставляют все себе, — замечает она, — но следует привести их в разсудок и заставить действовать сообразно с тем, что приличествует нам, равно как и им»^[1236]. Потемкин довольно быстро привел принца в «рассудок». 12 ноября он известил Екатерину о прибытии де Линя в Елисаветград. До официального объявления Австрией войны положение принца было двусмысленным. «В теперешнее время он в тягость, — замечал князь. — Им все хочется знать, а сами ничего не сказывают. Когда император сделает декларацию Порте? Кажется, уже пора»^[1237].

Промедление Вены объяснялось волнениями в австрийских провинциях Нидерландов. Иосиф II отрядил туда войска. Декабрьское донесение де Линя из Елисаветграда прекрасно передает нетерпение австрийцев, когда же русские одержат первые громкие победы. Сам принц очень болезненно реагировал на вопросы о начале Австрией военных действий: «Императрица часто выводит меня из терпения, спрашивая беспрестанно, взяли ли австрийцы Белград. Последний ответ, мною сделанный, состоял в том, что Очаковский паша слишком вежлив для того, чтоб сдаться без ее согласия».

Принц хотел передать своему сюзерену что-нибудь утешительное «о всех друзьях и неприятелях» Вены. «Но первые слишком отдалены, а последние великие эгоисты». О ком речь? Под «друзьями» понимается проавстрийская группировка Воронцова — Завадовского, она

действительно была далека от театра военных действий. А под «неприятелями», которые «великие эгоисты», следует разумеать светлейшего князя. Фактический творец союза с Веной рассматривался Иосифом II как недруг именно потому, что он не жертвовал интересами русской стороны выгодам «цесарцев».

Сам де Линь очень обиделся, когда был встречен в ставке прохладно. «Я очень доверчив и думаю, что меня все любят, не выключая и самого князя Потемкина, которого, увидя, бросаюсь обнимать, спрашиваю, много ли в Очакове войска. „Ах! — отвечает князь. — 18 000 гарнизона, а у меня во всей армии меньше. Везде недостаток, и если только Бог не поможет мне, то я погиб!“ — „...Да где же татары?“ — спросил я у него. — „Везде, — отвечал князь, — а к тому же еще близ Акермани стоит сераскир с многочисленною шайкой турок; при Бендерах еще 10 000 их же; при Днепре не менее, а в Хотине 6000“. Однако же из всех этих слов не было ни одного справедливого»^[1238].

Заметно желание Потемкина отделаться от представителя «цесарцев», сообщить ему как можно меньше. Австрийцы оттягивали выполнение союзнического долга, а их эмиссар ожидал, что русский командующий кинется ему на шею. Однако следующие слова де Линя еще более самонадеянны: «Я уподобился... Люциферу, низверженному собственной гордостью, т. е. мечтал начальствовать над обеими русскими армиями».

Что давало принцу повод для подобных надежд, неизвестно. (Позже мы увидим, что на ту же роль претендовал и польский король.) Однако венцом политической бестактности австрийской стороны был план военных действий, предложенный Иосифом II светлейшему. «Вот письмо императора, которое должно служить общим планом войне, оно содержит в себе ход военных действий, исполнение которых предоставляется вашим войскам, смотря по обстоятельствам».

Названный план не обнаружен, но о сути предложений Иосифа известно из его перехваченного письма к принцу де Линю. Император высказывал непонимание «растянутости коммуникаций» у русских. Он считал, что союзникам незачем держать дополнительные силы на Кавказе, тогда как их можно употребить против Турции в помощь австрийцам. По его мнению, Россия напрасно разбрасывала корпуса на необозримом пространстве. Еще в письме Потемкину 18 октября Екатерина здраво рассудила: «Что император пишет о стороне Кавказа, он худо понимает, что тем самым турецкая сила принуждена делиться и, есть ли б у нас тамо не было войска, то бы татары и горские народы к нам бы пожаловали по-

прежнему»^[1239]. На Северном Кавказе только что были разгромлены банды Шейха-Мансура. Никто не гарантировал, что вскоре в очередном ауле не найдется очередной Ушурма, готовый выдать себя за Пророка и начать резать русские гарнизоны. А ведь Кавказ располагался куда ближе к театру военных действий, чем Нидерланды, ссылаясь на волнения в которых, Иосиф медлил с объявлением войны.

Де Линь задавал слишком много вопросов. Это не понравилось Потемкину, и он счел нужным остудить пыл союзника. «Его Величество прислал меня спросить вас, что здесь хотят делать?» — допытывался принц. Князь заявил, что будет отвечать письменно. «Я жду день, два, три, неделю, другую: наконец получаю полный план его похода: с Божией помощью я стану осаждать все находящееся между Бугом и Днестром».

Эмиссар был вправе задаться вопросом: а не издеваются ли над ним? Подобным нарочито несерьезным ответом Потемкин показывал, что до открытия союзниками военных действий не воспринимает их всерьез.

Пока венский двор находился в нерешительности, Григорий Александрович советовал императрице воспользоваться посредничеством Пруссии в каком-нибудь малозначительном деле в Константинополе, чтобы тем самым продемонстрировать туркам, что они напрасно рассчитывают на помощь Берлина. Ситуация была удобной: прусский король только что заявил о своем благорасположении к России в связи с тем, что не она первая начала войну. Екатерине очень не понравилась идея князя. Она восприняла ее как колебание и отход от ранее намеченного плана. «Система с венским двором есть ваша работа, — писала императрица 23 ноября. — Сам Панин, когда он не был еще ослеплен прусским ласкательством, на иные связи смотрел как на крайний случай»^[1240].

Екатерина была раздражена против складывавшегося англо-прусского альянса, имевшего ярко выраженную антирусскую направленность, и презрительно именовала политику Фридриха-Вильгельма II и Георга III — *geguisme*. *Geguisme* (от прозвищ этих королей «frere Gu» и «frere Ge») включал в себя противодействие видам России на Черном море и на Балтике руками ее соседей, то есть Турции, Швеции и Польши, при сохранении за Англией и Пруссией внешне нейтральной, а если возможно — и посреднической роли. «В настоящую минуту нет насчет проектов никого выше братьев Ge и Gu. Перед ними все флаги должны опуститься... О, как они должны быть довольны собой, подстрекатели турок»^[1241], — писала императрица осенью Гримму. Безбородко в письме к Семену Воронцову называл прусского кроля диктатором^[1242], он советовал

Екатерине держаться с Пруссией твердо и решительно. Такая позиция больше импонировала императрице, чем требования Потемкина действовать крайне осторожно и избегать в непростой международной обстановке поводов к оскорблению прусского короля.

Несогласие по прусским делам вызвало длительную паузу в переписке между корреспондентами. 25 декабря, вернувшись из поездки в Херсон, Григорий Александрович наконец написал в столицу: «Вы полагаете колеблемость во мне мыслей. Не знаю я, когда бы я подал причину сие обо мне заключить... Я полагал и полагаю, что для нас не худо бы было, чтобы и он (прусский король. — О. Е.) вошел в наши виды, хотя бы только ради Польши, дабы не делать помешательств»^[1243]. Прекрасно понимая, что сближением с Пруссией Екатерина не хочет обидеть союзников, Потемкин прямо сказал де Линю: «На что так грубо отвечать услужливой Пруссии, которая предлагает 30 000 человек или деньги? Излишняя гордость всегда вредна». В данном случае он демонстрировал австрийцам, что, если они в ближайшее время не вступят в войну, Россия может повернуться лицом к пруссакам.

Наконец Австрия предприняла неудачную попытку овладеть Белградом. В ночь на 3 декабря войска Иосифа II без объявления войны предприняли штурм крепости, но потерпели поражение и вновь удалились в свои границы. Поведение австрийцев нельзя было назвать рыцарским, кроме того, нападение без официального разрыва выглядело как намеренное оскорбление Турции и демонстрация презрения к варварам: с ними не обязательно соблюдать международное право. Екатерина была не в восторге от действий союзника. «Лучшее в сем случае есть то, — заметила она в письме к князю, — что сей поступок обнаружил намерения цесаря перед светом, и что за сим уже неизбежно война воспоследует у него с турками»^[1244].

Записки императрицы Безбородко ясно показывают, что она отдавала себе отчет в двойственном поведении австрийцев. «Берегитесь от цесарской совершенной опеки, — предупреждала Екатерина, — и не ждите от них помощи военной, от которой отклоняться будут; не забывайте, что мы имели от цесарцев дурной мир, и что мы ими оставлены были двойжды»^[1245].

В январе 1788 года на Юге ударили сильные морозы, сковавшие реки льдом и открывшие сухопутное сообщение с неприятельской стороной. Возникла угроза перехода турецких военных партий за Буг^[1246]. В этих условиях вопрос о вступлении Австрии в войну и отвлечении ее армией

части турецких сил на себя становится ключевым. Императрица надеялась на верность Иосифа II, светлейший князь, напротив, проявлял крайний скептицизм. Он направил в Буковину к стоявшим там «цесарским» войскам советника С. Л. Лашкарева с приказанием «разведать о деле произошедшем под Белградом»^[1247].

В письме 3 января из Елисаветграда Потемкин сообщал Екатерине официальную версию Вены, переданную де Линем. «Введены были в Белград цесарских людей, переодетых в другое платье, 130 человек с офицером. Караулы у ворот подкуплены, ворота отворены, и только что оставалось 12 баталионам войти, но будто туман помешал»^[1248].

Турецкая версия, известная от перебежчиков, гласила, что австрийцы были изгнаны из города в результате вооруженного столкновения с гарнизоном Белграда. Потемкин познакомил императрицу с обоими вариантами, предоставив ей возможность самой судить об искренности союзников.

Лашкарев привез из Буковины неутешительные сведения: австрийцы «опять везде с турками дружны, и друг с другом торгуют, и ездят взаимно»^[1249].

Лишь 10-го числа в Петербурге узнали, что 29 января (9 февраля) Иосиф II официально объявил войну Порте. «Получив известие, что один из Ваших слуг посажен в Семибашенный замок, — писал он Екатерине, — я, будучи также Вашим слугою, посылаю в поход все мои войска»^[1250]. Решимость союзника не могла не обрадовать императрицу, хотя после ареста Я. И. Булгакова прошло уже полгода.

Малый двор

Война неожиданно предоставила возможность великому князю Павлу Петровичу выйти из политической тени. Наследник выразил желание отправиться в действующую армию. Цесаревич, вокруг которого группировалась прусская партия, не принимал военных реформ Потемкина и выступал против союза с Австрией^[1251]. Его появление в ставке не могло быть приятно командующему, так как грозило перенести туда борьбу придворных группировок. Однако в письмах императрице Потемкин ни словом не обнаружил неудовольствия. Он вообще обошел вопрос о приезде августейшего волонтера молчанием. Возможно, его отношение выразилось именно в упорном нежелании обсуждать эту тему.

Екатерина понимала, сколь тягостным для ее корреспондента может стать появление Павла в армии^[1252]. Верная своему излюбленному способу лавирования, Екатерина прямо не отказывала сыну, но всячески старалась оттянуть отъезд. В письме 26 января императрица не без облегчения сообщает: «Великая княгиня брюхата и в мае родит, и он до ее родин не поедет уже»^[1253].

Гарновский доносил о ссоре, произошедшей между Павлом и матерью. «Государыня изволила советовать великому князю остаться здесь до тех пор, пока великая княгиня разрешится от бремени, и как сего ожидать надлежит в мае месяце, то в июне позволено его высочеству предпринять путь в армию. Великий князь, быв сим предложением крайне недоволен, отвечал, что ко удержанию его здесь и тогда какой-нибудь протекст найдется. Государыня дала строгим образом чувствовать, что советы ее, не иначе как за повеления... должны быть приемлемы»^[1254].

Подобно европейским королевам времен Крестовых походов, Мария Федоровна хотела сопровождать мужа в поездке. Еще в ноябре 1787 года Екатерина писала об этом Гримму: «Я получаю по два и по три письма в день от господина и госпожи младших, которые, во что бы то ни стало, хотят ехать в армию. Ему я это позволяю, но ей — как можно на это согласиться? ...Милая барыня обладает головушкой не легко поддающейся разумным доводам»^[1255]. Беременность великой княгини стала прекрасным поводом для удержания Павла в Гатчине. Его экипажи, уже отправленные на Юг, были возвращены с дороги. Цесаревич увидел в отмене поездки происки Потемкина^[1256].

Однако это было не так. В письме 26 января императрица спрашивала князя: «Правда ли, что ты кременчугский дом свой привез в Елисавет?» Возмущенный нелепостью петербургских слухов, Потемкин писал: «Кто сказал, что я привез дом в Елисавет из Кременчуга, у того, конечно, мозг тронулся со своего места. Я дом купил в Миргороде у отставного майора Станкевича и привез его в Елисавет, и то не ради себя, но, слыша, что их высочества ехали. Сам я жил бы как ни попало, ибо я не возношусь и караулу не беру себе должного. Привезено же сюда из Кременчуга несколько мебели»^[1257]. Раскатать по бревнам и доставить в Елисаветград небольшой деревянный дом из Миргорода было совсем не то же самое, что перевести из Кременчуга просторный каменный наместнический дворец.

Это письмо показывает, что Потемкин ждал приезда великокняжеской четы и готовился к нему. Как бы ни были неприятны светлейшему гости, он не считал себя вправе обнаруживать неудовольствие. Однако в его словах

слышится раздражение: он, командующий, живет «как ни попало» и караула не берет, а по прихоти великого князя, решившего отправиться на войну вместе с женой, приходится обставлять целый дом, при этом в расточительности обвиняют его, Потемкина. Такие маленькие инциденты не могли улучшить взаимоотношений цесаревича с соправителем его матери, хотя внешне они оба держались подчеркнуто корректно.

Летом, когда Павел Петрович наконец получил разрешение отправиться в армию, обострились взаимоотношения со Швецией, и великий князь предпочел остаться в Петербурге. «Он охотнее противу шведов, нежели противу турков, воевать желает»^[1258], — доносил на юг Гарновский.

«Я столько же поляк, как и они»

С января 1788 года между Петербургом и Елисаветградом начался обмен документацией, касавшейся русско-польского союза. «Не давайте сему делу медлиться, — убеждал Потемкин Екатерину 15 февраля, — ибо медленность произведет конфедерации, в которые, не будучи заняты, сунутся многие»^[1259].

15 февраля князь направил в столицу донесение^[1260], которым представлял императрице копии писем крупных турецких чиновников к Игнатию Потоцкому и его ответов им. Граф Потоцкий противодействовал сближению России и Польши и выступал за союз с Пруссией^[1261]. Переписка великого маршала с Турцией не могла не вызвать интереса Екатерины. Из писем Шах-пас-Гирея и Астан-Гирея явствовало, что Порты угрожает Речи Посполитой войной, если поляки и далее позволят русским войскам оставаться на зимние квартиры в Польше. «Султан, видя российскую армию в ваших границах, принужден будет выслать против оной свое войско, а что оттого край сей придет в разорение, всяк может удостовериться»^[1262], — писал Шах-пас-Гирей. Потоцкий сообщал турецким корреспондентам, что он переправил их письма королю и они будут прочтены в Постоянном совете^[1263]. Угроза складывания в Польше новой антирусской конфедерации становилась вполне реальной.

Привлечь Польшу на сторону России могли земельные приобретения. «Им надобно обещать из турецких земель, дабы тем интересовать всю нацию, — настаивал князь в письме 5 февраля. — Когда изволите опробовать бригады новые их народного войска, то та, которая гетману

Браницкому будет, прикажите присоединить к моей армии. Какие прекрасные люди и можно сказать наездники! Напрасно не благоволите мне дать начальства, если не над всей конницею народной, то бы хотя одну бригаду. Я столько же поляк, как и они». В этих неожиданно прорвавшихся словах Потемкин, видимо, устав от постоянных упреков императрицы в адрес поляков, впервые подчеркивал перед ней свою родственную близость со шляхтой. «Они, ласкаясь получить государству приобретение и питаюсь духом рыцарства, все бы с нами пошли... — продолжал он убеждать корреспондентку. — Тут иногда сказываются люди способностей редких, пусть здесь лучше ломают себе головы, нежели бьют баклуши в резиденциях и делаются ни к чему не годными»^[1264].

26 февраля Екатерина сообщала о согласии обещать Польше приобретения за счет Турции в случае заключения договора. Однако ее отношение к альянсу с Варшавой оставалось скептическим. «Выгоды им обещаны будут. Если сим привяжем поляков, и они нам будут верны, то сие будет первым примером в истории постоянства их», — замечала императрица. Уже четверть века участвуя во внутренних делах Польши, Екатерина вынесла из этого опыта убеждение, что близкий контакт представителей русского и польского дворянства вреден для ее державы. Те олигархические претензии на власть, которые в России предъявляла только высшая аристократия, в Польше, казалось, были неотъемлемой частью общих настроений. Поэтому императрица стремилась уклониться от службы поляков в русской армии. «Поляков принимать в армию подлежит рассмотрению личному, ибо ветренность, индисциплина... и дух мятежа у них царствуют; оный же вводить к нам ни ты, ни я, и никто, имея рассудок, желать не может»^[1265].

Известия из Польши пока были вполне утешительными. Во всяком случае, именно так освещал ситуацию русский посол О. М. Штакельберг. В начале декабря 1787 года он сообщил, что полномочные министры Пруссии и Англии передали ему «благоволение» своих государей^[1266]. Синхронность действий Берлина и Лондона в Польше уже сама по себе настораживала петербургский кабинет. Дружественные высказывания Пруссии и Англии до поры до времени вуалировали складывание антирусской коалиции, однако Екатерина уже начинала подозревать неладное.

Среди богатых польских магнатов было большое число лиц, отношения с которыми представлялись Екатерине настолько наболевшими, что ни о какой их службе не могло идти и речи. «Если кто из них,

исключительно пьяного Радзивилла и гетмана Огинского, которого неблагодарность я уже испытала, войти хочет в мою службу, — рассуждала императрица, — то не отрекусь его принять, наипаче же гетмана графа Браницкого, жену которого я от сердца люблю и знаю, что она меня любит и помятует, что она русская. Храбрость же его известна. Также воеводу Русского Потоцкого охотно приму, понеже он честный человек»^[1267]. Екатерина старалась опереться на людей, которым она более или менее доверяла. Но трагизм ситуации состоял как раз в том, что именно ненадежные представители шляхты, не будучи связаны личной выгодой с Россией, немедленно откатывались в сторону Пруссии.

Так произошло с отвергнутыми Екатериной Радзивиллом и Огинским. Не являясь друзьями России, Кароль Станислав Радзивилл и Михаил Казимеж Огинский — оба участники Барской конфедерации, вернувшиеся в Польшу только после амнистии и оба замешанные в деле Таракановой — в годы Второй русско-турецкой войны постепенно вошли в число сторонников прусского влияния. «Пьяница Радзивилл», или, как его называли в Польше, «пане коханку», был человеком популярным в шляхетских кругах благодаря великолепным пирам и расточительному образу жизни. Ему, как никому другому, было удобно проводить агитацию среди шляхетства. И именно такой человек оказался не на стороне России.

Вняв совету Потемкина, петербургский кабинет работал быстро. Уже 8 марта князю был послан проект трактата с Польшей^[1268]. 14 марта из Елисаветграда светлейший ответил Екатерине: «В гусарах мелкие офицеры лутчие из поляков, во Франции их принимают с охотой. Пусть они ветрены и вздорны, но... ежели удастся их нам связать взаимной пользою с собою, то они не так полезут, как союзники чаши теперешние, которые щиплют перед собой деревнишки турецкие, и те не все с удачею»^[1269].

Работа над присланным из Варшавы текстом договора, а также русским контрпроектом заняла у Потемкина около полумесяца. Важное затруднение князь видел в желании Станислава Августа II «самому предводить» вспомогательными польскими войсками. Подчинение иностранному фельдмаршалу было несовместимо с его королевским достоинством, и король требовал формально распространить свое командование и на всю русскую армию. «Если б он со своими примкнул ко мне, — говорил Григорий Александрович 27 марта, — я бы не поставил себе в обиду, в самом же деле не давая ему от себя как только одного виду начальства»^[1270]. Но эта мера предусматривалась на крайний случай. Светлейший князь предлагал особо оговорить в тексте договора, что

«войска востребованной стороны должны быть под начальством генерала стороны требующей»^[1271].

Кроме того, русская сторона была неприятно удивлена размерами территориальных притязаний Польши. Секретный первый артикул присланного из Варшавы проекта предусматривал присоединение к Речи Посполитой Бессарабии (современной территории Молдавии) и Молдавии по реку Серет (северо-восточной части современной Румынии). Такое требование неизбежно вело к конфликту с Австрией, желавшей получить земли вниз по Дунаю. Потемкин считал, что Польша просит о многом, чтобы получить хоть что-нибудь. Он советовал ни в коем случае не обещать таких значительных приобретений, потому что «поляки прежде время разславят по всему свету»^[1272].

Сложным был вопрос о согласовании чинов в русской и польской армиях. «Чины литовские равного звания... уступают коронным, — сообщал князь. — У них не по степеням идут, а вдруг получают иногда первые достоинства, а некоторые и покупать можно. У нас же до фельдмаршала дойти — есть редкость»^[1273]. Потемкин предлагал сначала согласовать польские чины с литовскими, а потом «все установить по табели нашей», то есть распространить на польскую армию Табель о рангах.

Из документов, подготовленных Потемкиным, создается впечатление, что речь идет о постепенном слиянии польской и русской армий. Князь предусматривал переход аристократии Речи Посполитой на службу в Россию, а также объединение российского дворянства со шляхетством Украины, Литвы и Коронной Польши общей системой чинопроизводства. «Таким образом учредить артикулы о равенстве чинов обоих государств, чтобы дворянство обостороннее было яко единое», — писал Григорий Александрович.

Осуществление подобных планов должно было стать важным шагом на пути к унии России и Польши. «Надобна крайняя осторожность, чтоб конфедерация наша не возгла другой, по видам прусским», — предупреждал князь. С этой целью «прусский двор и английский надлежит менажировать». Такое предложение не нравилось Екатерине. Она пометила на полях: «Колико прилично по собственному тех дворов поведению»^[1274].

Потемкин предлагал ввести в состав конницы вместо драгун и передовой стражи казачьи формирования числом до 10 тысяч, набранные на территории Польской Украины. Крупное православное казачье войско создавало внутри польского корпуса прочную опору для русского

командующего.

Подготовка к заключению союза шла полным ходом. Казалось, даже Екатерина наконец склонилась к этому^[1275]. Замечания Потемкина вошли в текст русского контрпроекта, который был отпечатан и отправлен в Варшаву. Однако таинственность, которой Станислав Август окружал в Варшаве обсуждение проекта, вызывала большие подозрения. Опасались, что происходит сговор между королем и Россией, ведущий к новому разделу Польши. В этих условиях прусской дипломатии действовать было особенно легко. Уже в мае 1788 года Потемкин с беспокойством сообщал императрице: «В Польше [население] в большой ферментации, а особливо молодежь»^[1276].

Возбуждение, или «ферментация» (от *фр.* fermentation — волнение), в которой пребывали поляки, толкало многих в объятия Пруссии, обещавшей помощь против предполагаемой русской агрессии. Чтобы хоть как-то воспрепятствовать прусской агитации, петербургский кабинет выразил инициативу созвать в Польше чрезвычайный сейм по вопросу о подписании союзного договора. «В Польшу давно курьер послан и с проектом трактата, — писала Екатерина Потемкину 27 мая, — и думаю, что сие дело уже в полном действии. Универсал о созыве сейма уже в получении здесь». Россия очень рассчитывала на то, что сейм поддержит ее предложения о создании вспомогательного польского войска. Однако время для возбуждения симпатий польского общества было упущено. К началу сейма Россия сражалась уже не с одной Турцией. 26 июня шведский король Густав III, не объявив войны, атаковал крепость Нейшлот^[1277]. Страна, воюющая на два фронта, уже не могла восприниматься как сильный и желанный союзник.

В этих условиях Станислав Август неожиданно смешал карты своих петербургских покровителей. Он присовокупил к русскому контрпроекту отдельное условие, о котором не знали ни Екатерина, ни Потемкин. Король хотел, чтобы Россия дала согласие на установление в Польше института престолонаследия вместо выборности короля, а наследником польской короны был бы назначен его племянник Станислав Понятовский. Старошляхетская оппозиция, недовольная как идеями о престолонаследии, так и союзом с Россией, выступила против всего букета предложений в день открытия сейма 25 сентября 1788 года^[1278]. Под влиянием прусских обещаний вернуть земли, утраченные по первому разделу, сейм занял антирусскую позицию.

Таким образом, Россия лишилась возможного союзника в непростой

войне, которая уже начала перерастать в коалиционную. Потемкин приложил серьезные усилия для того, чтобы этого не произошло. Но совокупность факторов от нерасположенности Екатерины до активного противодействия прусского короля помешали заключению альянса. Князь уже видел, что в скором времени со стороны Польши вместо планируемой поддержки будет исходить реальная угроза. Совместными усилиями Берлин и Варшава могли ударить русской армии в бок. Необходим был серьезный успех, чтобы доказать мощь России и остеречь возможных противников. На протяжении 1788 года все взоры были прикованы к Очакову.

ГЛАВА 14

ОСАДА ОЧАКОВА

Живой нрав Шарля де Линя не позволял печалиться даже тогда, когда Потемкин показывал ему, что австрийский представитель в штабе не ко двору. Принц постоянно отыскивал в окружающем забавные стороны. В самом начале осады Очакова, еще зимой, приключился смешной случай. «Наши казаки с своим обыкновенным проворством поймали трех уродливых татарinov, — писал принц. — Они стояли перед князем, как приговоренные к смерти... Вместо казни их вдруг бросают в преогромную купель, которой я совсем не приметил. „Слава Богу! — говорит мне князь. — Еще умножилось число христиан, нами обращенных в святую веру!“»^[1279].

«Поспешай медленно»

Положение самих австрийцев было не блестящим, и принц всячески старался подтолкнуть Потемкина к скорейшему штурму Очакова, чтобы русская армия оттянула на себя побольше неприятельских сил. Князь отвечал ему невозмутимо: «Пусть перейдет ваш император Саву, а я перейду Буг». «Мой император уступает вам свое место, — возразил принц, — он против себя имеет турецкую армию, напротив вас никакой»^[1280]. Напротив Потемкина был Очаков, стоивший целой армии. В его стенах находился сильный гарнизон, с моря крепость поддерживал десантами и продовольствием весь турецкий флот. Поэтому князь был более чем нетороплив в принятии решений.

Основные силы русских еще не выступили в поход с зимних квартир в Елисаветграде, в степи не показалась трава, необходимая для лошадей, из-за распутицы невозможно было навести переправы через мелкие степные речки, вокруг которых земля превращалась весной в сплошное грязевое месиво. А союзный представитель разными способами давал понять командующему: Очаков надо брать, и немедленно. «Сей взрослый младенец ни на час не без шалости, — доносил де Линь в апреле. — Я однажды стал укорять его за наше бездействие, но вскоре после того прискакал курьер с известием о вновь выигранном сражении на Кавказской

линии. „Видите ли теперь, что я не так ленив, как вы думаете, — сказал мне князь, — побил десять тысяч черкесов, да еще пять тысяч турков при Кинбурнге“. — „Радуюсь вашей победе“, — отвечал я ему». Принц едва скрывал раздражение: «Я сказал однажды, что призову 6000 кроатов и ими возьму Очаков, столь уважаемый здешней армией»^[1281].

Казалось, Потемкин не реагировал на выпады. Ни мелкие уколы, ни попытки принца напустить на себя притворную обиду не действовали на него. Единственное, что его по-настоящему тревожило, это разрастающиеся болезни, вызванные плохой водой. Лихорадка и желудочные инфекции — бич армии на Юге — уносили много жизней. Между тем еще не было придумано эффективных средств борьбы с ними, и даже элементарные нормы санитарии наблюдались из рук вон плохо. «В здешнем госпитале лежит больных солдат более двух тысяч; но какой присмотр: медикаментов нет, в белье недостаток», — писал в начале мая участник осады Очакова переводчик Роман Максимович Цебриков. И далее, уже в июле: «В армии весьма многие болеют поносом и гнилыми лихорадками»^[1282].

Князь, по русской пословице, поспешал медленно. Для этого у него имелись две причины: во-первых, он хотел, чтобы австрийцы стянули к себе побольше турецких сил, а во-вторых, рекруты, с которыми ему предстояло штурмовать крепость, требовали серьезной подготовки. Лишь 30 мая 1788 года светлейший выступил из Елисаветграда в поход^[1283].

Глядя на движение войск — море людей, лошадей, телег, — 24-летний Цебриков поражался: «Почти непонятно, как все устроено и в порядок приведено?» В середине двигались обозы, по левую руку конница, по правую пехота. На марше растянулось до 30 тысяч человек. «Со всех сторон раздается звук труб и духовых инструментов, барабанный бой наводит некий род ужаса, литавров шум восплаляет кровь и есть ужасно величественен».

10 июля были наведены мосты через Буг у Новотроицкой слободы. Однако, осмотрев переправу, князь остался недоволен. Оказалось, что лучшие броды были у Александровки. Переделывать мосты Потемкин не велел, зато спросил полковника И. И. Германа, указавшего на Новотроицкую: «На сем ли месте переправлялся генерал-аншеф Миних?» — «На сем», — отвечал Герман. — «Ну, благодари время, что я не Миних, а то бы, переправившись на ту сторону, тебя повесил». Форсирование Буга прошло спокойно, без спешки и опасения нападения со стороны турок. Позднее офицеры на марше рассуждали о везении: одной турецкой батарее было бы достаточно для нанесения переправляющимся большого урона. Но

турки скрылись в Очакове и не показывались в степи^[1284].

30 июня войска подошли к крепости на восемь верст и встали временным лагерем, а Потемкин медленно поехал вперед. При разъездах казаков произошли первые стычки. В ночь конница подошла к крепости. «Князь везде сам распоряжал и почти под пушки очаковские подходил». Во втором часу по полуночи началась пробная пушечная пальба. В темноте летали бомбы, на Лимане загорелось несколько взорванных ими судов. Две тысячи егерей и легкая конница предприняли удачное наступление на крепостной форштадт и захватили его. «Светлейший князь сам везде по садам, около форштадта лежащим, пеший ходил; перед ним на два шага упавшее ядро, из крепости Очаковской летевшее, убило егерского фурейтора».

Однако в 11 часов утра 1 июля стянулись облака, полил дождь и началась гроза. Первый обстрел крепости, нужный для примерки и правильной установки батареи, прекратился. Светлейший князь и конница вернулись в лагерь. При этом нетерпение некоторых офицеров было так велико, что распространился слух, будто крепость немедленно пала бы, продолжись огонь еще немного. «Все утверждали, что город сдался бы, если бы продолжали бомбардировать еще часа два, но беда, что у нас только всех три больших было пушек, а осадная артиллерия еще не пришла»^[1285].

Не были подвезены основные орудия, не начались фортификационные работы по подведению траншей под стены, даже лагерь толком не был расставлен, а среди осаждавших уже поднялось настроение идти брать крепость голыми руками. Дальнейшие события показали, что подобные разговоры лишь выдавали желаемое за действительное. Упорное сопротивление очаковских турок и частые кровопролитные вылазки говорили о силе и сплоченности гарнизона, который вовсе не собирался капитулировать.

Обострение отношений со Швецией

Между тем при дворе проявляли все большую обеспокоенность вооружениями Швеции. В годы Первой русско-турецкой войны и пугачевщины Густав III не решился воспользоваться бедственным положением России, чтобы вернуть потерянные при Карле XII земли, и потом горько сожалел об этом. С началом Второй русско-турецкой войны,

когда основные войска соседнего государства оказались оттянуты на юг, у шведского короля появился новый шанс. В 1787 году Турция обратилась к Густаву с просьбой объявить войну России на основании союзного трактата, заключенного между Стокгольмом и Константинополем в 1740 году. Если в 1768 году Швеция проигнорировала этот документ, то теперь ссылка на него оказалась весьма кстати. В ноябре 1787 года Екатерина сообщала Потемкину о тайной поездке Густава в Берлин для получения денежной субсидии^[1286]. 8 ноября прочитано было письмо русского посла в Стокгольме А. К. Разумовского о желании шведского короля присоединить Лифляндию. Совет решил, «соображал сие известие с беспокойным нравом и легкомыслием оного соседа нашего, укомплектовать гарнизонные батальоны в Ревеле и Аренбурге»^[1287].

В феврале 1788 года Густав III получил в Амстердаме заем на 600 тысяч риксталеров^[1288] и принялся за подготовку военно-морского флота и войск в Финляндии к походу. Тем временем на Балтике все еще снаряжалась эскадра для отправки в Средиземное море. Посол в Лондоне Семен Воронцов писал по этому поводу брату: «Я только что узнал, что Швеция вооружила 12 кораблей и 5 фрегатов... У нас остаются еще корабли в Кронштадте, но гнилые и без матросов. Не лучше ли было бы, если бы эскадра адмирала Грейга осталась для противодействия шведскому королю; вместо того чтобы подвергать свои берега разорению и посылать столь далеко и с такими издержками — делать то же самое с турецкими берегами»^[1289].

24 марта Екатерина решила объяснить с Потемкиным по поводу надвигавшейся угрозы. Вокруг отправки ее письма развернулась настоящая борьба. Воронцов и Завадовский в Совете постарались убедить императрицу, что не стоит отвлекать командующего от дел. Таким образом, они попытались оттеснить Потемкина от решения вопросов, касавшихся конфликта с балтийским соседом, и приобрести приоритетное влияние в этой сфере.

Когда Екатерина, наконец, села за работу, ее неоднократно отвлекали, за что она выговорила Храповицкому: «Не дадут кончить несчастного письма»^[1290]. Предоставив князю всю имевшуюся у нее информацию о шведском флоте в Карлскроне и новых военных лагерях в Финляндии, императрица сделала вывод о намерениях Густава III: «Есть подозрение, будто целит на Лифляндию»^[1291]. Через Мамонова она дала знать Гарновскому, что «желает на письмо иметь скорый, а притом и обстоятельный ответ»^[1292].

Получив тревожное письмо Екатерины 24 марта, светлейший князь отвечал ей обширной почтой 6 апреля. В обратный путь с Юга отправилась пространная «Записка о мерах осторожности, со стороны Шведской полагаемых», продиктованная князем Попову и во многих местах дополненная собственноручно. Тот факт, что Потемкин даже не приказал переписать большой документ набело, говорит о крайней спешке.

«Для охранения Балтийского моря и берегов Российских назначена уже часть флота в 10 линейных кораблях, четырех фрегатах, трех на шведской образец построенных и 12 других легких судах, приуготовлено 20, а в случае нужды до 50 галер, для прикрытия их два фрегата легких и особливо с запада два бомбардирские судна», — сообщал князь. К этому продиктованному месту он сделал уточняющую помету: *«Когда сей флот будет крейсировать между заливов Ботнического и Финского, а малые суда около берега, тогда никакой опасности ожидать нельзя для берегов Эстляндии»*^[3].

Крейсировать легким судам по берегам финляндским и в шхерах, а кораблям и фрегатам до Готланда и до Борнголта, как и всегда делалось под видом обучения людей. В случае нужды флот соединить с вооруженною в Дании эскадрою в 6 кораблях и 4 фрегатах. *От датчан требовать помянутого числа.* Кавалерийские полки я полагал все противу Швеции, которые теперь внутри России... С датским двором условиться о действиях их в случае покушения шведов о диверсии. Наставить графа Разумовского, чтоб он внушал шведам, что у нас никаких во вред их замыслов существовать не может»^[1293].

Таким образом, Потемкин предлагал императрице совокупность военных и политических мер, способных, по его мнению, удержать агрессию Швеции. Григорий Александрович осознавал, что открытие «второго фронта» станет тяжелым испытанием для России, и поэтому просил Екатерину использовать все возможные дипломатические средства для предотвращения начала войны на Балтике. «Не все пушками дела решаются»^[1294], — убеждал ее князь.

Особая записка была посвящена Потемкиным анализу обстановки в Петербурге. Князь дал понять императрице, что среди столичных чиновников существуют лица, заинтересованные в обострении отношений России и Швеции, так как это привело бы к усилению их влияния на государственные дела. «Иной назначал себя уже и командиром»^[1295], — писал Григорий Александрович. У князя не было необходимости называть имена таких вельмож. Императрица сама должна была понять, о ком он

говорит.

Тем временем Екатерина писала Гримму, надеясь, что через него ее мнение о выходках Густава III станет известно европейской публике: «Мой многоуважаемый братец и сосед, тупая голова, вооружается против меня на суше и на море. Он произнес в Сенате речь, в которой говорил, что я его вызываю на войну... Если он нападет на меня, надеюсь, что буду защищаться, а защищаясь, я все-таки скажу, что его надо засадить в сумасшедший дом»^[1296]. Императрице хотелось, чтобы общественное мнение Европы снова, как в годы Первой русско-турецкой войны, было на стороне России.

По шведским законам король имел право без согласия парламента вести только оборонительную войну, для этого нужно было, чтобы первый выстрел прозвучал с русской стороны. Густав инсценировал несколько провокаций на границе, но они не произвели должного впечатления на население Швеции^[1297]. Более того, еще до начала войны вызвали в шведском обществе насмешки над королем. Всем были известны страстное увлечение короля театром и его любовь к ярким экстравагантным жестам. Отряд шведских кавалеристов по приказу монарха переодели «русскими казаками» и велели напасть на маленькую деревушку в Финляндии^[1298]. Умопомрачительные наряды, сшитые для драматического спектакля и отражавшие представления шведских театральных портных о русском национальном костюме, полностью дезавуировали мнимых казаков даже в глазах финских приграничных крестьян, иногда видевших маневры русских войск.

Несмотря на то что случай стал известен при всех дворах Европы и наделал много шума, Густав не унялся и предпринял еще несколько провокаций. Некоторые екатерининские сановники не выдержали напряжения. Так, вице-канцлер И. А. Остерман советовал, не дожидаясь новых покушений, первыми напасть на шведов^[1299]. Однако сама императрица обладала поистине ледяным хладнокровием.

Сражения на Лимане

Летом начались знаменитые морские сражения на Лимане, в результате которых турки лишились из 60 выпелов 15 крупных кораблей и 30 более мелких судов, что составляло флот, превосходящий мощью Севастопольскую и Херсонскую эскадры. Потери русской стороны не

доходили до ста человек^[1300]. Командующий турецким флотом Газы-Хасан вынужден был с немногими уцелевшими кораблями бежать из-под стен Очакова, но был разбит у мыса Фидониси авангардом Севастопольской эскадры, которой командовал тогда еще капитан бригадирского чина Ф. Ф. Ушаков^[1301].

Поначалу никто не предполагал такого успеха. 1 июня в 6 часов утра 92 турецких судна разной величины показались на горизонте ввиду Кинбурна. Они должны были высадить сильный десант на Кинбурнской косе и снабдить Очаков съестными припасами. Русская гребная эскадра была готова встретить их. Однако накануне прибытия неприятеля случилось несчастье. «Князь Потемкин сказал мне, поедem посмотреть новых мортир, — рассказывал де Линь в письме Сегюру 2 июня. — Я приказал подъехать шлюпке, чтоб она подвезла нас к тому кораблю, на котором должна была происходить пальба мортир». Но когда светлейший и его спутник подошли к берегу, оказалось, что шлюпку по какой-то причине не подали. Проверка новых орудий началась без них, первые выстрелы прошли удачно, но потом с корабля заметили намерение очаковских турок выслать несколько своих лодок на захват русского судна и повели огонь по неприятелю. Лежавший на палубе порох вспыхнул. «Корабль, полковник, майор и 60 человек взлетели на воздух на моих глазах, — писал де Линь. — Князь и я потерпели бы ту же участь, если бы не небо»^[1302].

Русской эскадрой на Лимане командовал Карл Нассау-Зиген. 27 июня турецкий флот попытался предпринять общую атаку, от пленных было известно, что неприятель готовит абордажное сражение. Ветер благоприятствовал туркам и гнал их суда на Лиманскую гребную эскадру. Как вдруг корабль капудан-паши сел на мель. Чтобы снять его, остальные суда неприятеля легли в дрейф и спустили паруса. К утру ветер переменялся и подул с благоприятной для русских стороны. «Теперь уж нам придется идти к ним!» — заявил Нассау.

В предрассветной темноте он подвел эскадру к севшему на мель кораблю и открыл пушечный огонь по скопившимся вокруг него судам. Застигнутые врасплох турки начали маневрировать, но неудачно. Многие их корабли сцепились снастями и стали легкой мишенью для русских канониров. Тем временем полковник Хосе де Рибас не сумел подобраться к севшему на мель кораблю и его захватил на нескольких лодках волонтер Роже де Дама. Капудан-паше удалось бежать на легком суденышке. Два линейных корабля и два фрегата были взорваны. Большинство турецких судов оказалось разбито и принесено к берегу. В русской флотилии не

хватало кораблей буксировать сдавшиеся суда. Однако часть уцелевших неприятельских кораблей собралась под крепостными батареями.

На следующий день, 29-го, принц Нассау снова попытался завязать сражение, но огонь с нижних батарей Очакова помешал русским кораблям приблизиться и захватить суда противника. Тогда решено было их сжечь. «Семь судов становятся жертвой пламени, 4000 человек гибнут в огне и воде, и нам удастся спасти остальных, которые приплывают к нам и цепляются за борта»^[1303], - писал Дама.

К этому времени сухопутная армия уже перешла Буг и подступила к Очакову. Лагерь ставили дважды. Князь был весьма придирчив к выбору места. 3 июля палатки начали разбивать в трех верстах от воды, что было неразумно. Кроме того, каре сделали очень тесным, а, по замечанию Дама, русские солдаты привыкли селиться на расстоянии друг от друга (что объяснялось соображениями санитарии, поскольку выгребных ям не рыли, а ходили прямо в поле). Приехавший с осмотра кораблей Потемкин окинул глазом лагерь, нашел его неудачным и бросил: «Разве хотят меня вокруг обо...»^[1304] После чего палатки стали передвигать ближе к берегу Лимана.

12 июля из Херсона прибыли главные стенобитные орудия. Со стороны они производили сильное впечатление, каждое тянули по 16–20 волов, возле которых шли по три погонщика. В следующие дни почти непрерывно подвозили ядра, пули, бомбы, порох. Несколько судов под командованием бригадира де Рибаса продвинулось к небольшой крепости Березань. «Березань, крепостца, построена на островку, на одну версту от берега и на четыре от Очакова; в нее из Очакова перевезены все сокровища и женщины»^[1305], — сообщал Цебриков.

Главная квартира располагалась на берегу Лимана между Березанью и Очаковым. Остальные войска полукругом облегали город от первого лагеря до главной квартиры. Левое крыло было развернуто к Лиману, а правое к дороге на Бендеры. Справа от ставки на высоком кургане находилась батарея, пушки которой были расставлены так, чтобы стрелять по крепости и по морю. К Березани каждую ночь посылались отряды егерей на лодках. Сам лагерь очаковские турки не тревожили пока ни вылазками, ни сильным обстрелом, так что ночи проходили спокойно. «Всяк ложится спать без штанов, — замечает Цебриков, — и „тревога“ — слово, которое я по сие время еще никогда не слышал».

Мнимое спокойствие объяснялось тем, что главные действия пока разворачивались не «на сухом пути», а на воде. Прежде чем начать сухопутную операцию, следовало выгнать турецкий флот, оказывавший

помощь осажденным. Однако там, где разъезжал Потемкин — на Лимане и возле крепостных стен, — пуль и ядер хватало. Очевидцы описывают немало случаев, когда смерть прошла буквально в шаге от Потемкина. 25 июля в лагерь доставили смертельно раненного губернатора Екатеринославской губернии генерал-майора Ивана Максимовича Синельникова, который находился рядом с Потемкиным, когда тот осматривал укрепления Очакова. Возле них разорвалось ядро, ранив Синельникова в пах. Генерал без стога перенес ампутацию ноги, а когда князь прислал адъютанта передать ему свое участие, сказал, «что таких как он, губернаторов, двадцать сыщут на его место; но просит князя не подвергать себя такой опасности, ибо Потемкина в России другого нет». 29 июля Синельников скончался^[1306].

Однако эти события не научили Потемкина быть осторожнее. Находившийся рядом с ним Роже де Дама был ранен дважды, князь же не получил ни царапины.

Морские сражения наносили туркам немалый урон, однако и у русских появились раненые. 28 июля, выйдя утром до ветру, Цебриков «увидел расставленные сорок в два ряда палаток, коих до сего не было, и по сторонам по одной. Сии поставлены по повелению ...князя Потемкина для раненных вчера солдат. Он захотел, чтобы несчастные сии в близости его лучше присмотрены были. Около обеда привезены они были в сии палатки, и князь приходил сам смотреть, когда их вводили в оные».

Вновь подошедший к Очакову турецкий флот представлял такую силу, что 29 июля Потемкин послал курьера в Севастополь, чтобы тамошняя эскадра, уже приведенная в порядок после прошлогодней катастрофы, следовала к Очакову. 31-го числа на закате солнца османские суда приблизились к крепости. «Какое множество линейных кораблей, фрегатов, бомбардов в сравнении с нашей Лиманской флотилией... — Голиаф и Давид!» — восклицал Цебриков.

В начале августа от перебежчиков из Очакова стало известно, что у осажденных еще довольно хлеба, но мало мяса и фуража. Турки собрали местных христиан и бросили их в глубокие ямы — зинданы, «в них они также и испражняются, и смрад от того, причиняя им болезни, низводит во гроб». После этого страшного события в лагерь к светлейшему князю пришел посыльный от жителей Очакова, местный купец, исправлявший также должность судьи и потому называвший себя «старшиной». Он уверял Потемкина, что население города готово сдаться, однако им мешает фанатично настроенный гарнизон.

Подобные визиты были нередки, Потемкин поддерживал связь с

турецкими чиновниками в Очакове и возлагал надежду на скорую сдачу крепости. Однако де Линь продолжал подталкивать командующего к штурму. Сразу по приходу сухопутных сил под Очаков принц писал Сегюру: «Мы прибыли сюда в один день с фельдмаршалом Минихом; тому прошло сорок лет: но если б хотели так, как он, быть во всем решительными, то не позже трех дней мы уже были бы в городе... Но есть ли русским что-нибудь труднее?»^[1307]

Письмо от 2 июня при внешней доверительности рассчитано на чтение третьими лицами. Характеристики князя у де Линя менялись в зависимости от того, кому он писал. Если принц обращался к Иосифу II, не любившему Потемкина, то и князь выходил малоприятной личностью — медлительным, капризным, упрямым и едва ли не нуждавшимся в руководстве. «Я здесь теперь похож на дядьку, только дитя, за которым хожу, уж слишком выросло, окрепло и сделалось упрямо»^[1308].

Совсем иная картина представляла, когда принц писал в Петербург Сегюру. Тот был близок с Потемкиным, и поэтому принц отзывался о нем хорошо. Кроме того, посол доверительно общался с императрицей и мог показать ей письмо. В расчете на такой показ де Линь и упоминал Миниха, в 1737 году захватившего Очаков. Принцу хотелось, чтобы государыня еще раз почувствовала укол нетерпения.

Названную особенность писем де Линя надо иметь в виду, обращаясь к его характеристике Потемкина в другом послании Сегюру от 1 августа: «Это самый необыкновенный человек, которого я когда-либо встречал. С виду ленивый, он неумоимо трудится; пишет на колене, чешется пятерней; вечно валяется на постели, но не спит ни днем ни ночью — его вечно тревожит желание угодить императрице, которую он боготворит. Каждый пушечный выстрел, нимало ему не угрожающий, беспокоит его потому уже, что может стоить жизни нескольким солдатам. Трусливый за других, он сам очень храбр: он стоит под выстрелами и спокойно отдает приказания. При всем том он напоминает скорее Улисса, чем Ахилла. Он весьма озабочен в ожидании невзгоды, но веселится среди опасностей и скучает среди удовольствий. Несчастный от слишком большого счастья, разочарованный во всем, ему все скоро надоедает. Угрюм, непостоянен, то глубокий философ, искусный администратор, великий политик, то десятилетний ребенок. Он вовсе не мстителен, он извиняет в причиненном горе, старается загладить несправедливость. ...Императрица осыпает его милостями, а он делится ими с другими; получая от нее земли, он или возвращает их ей, или уплачивает государственные расходы, не говоря ей

об этом. ...Он то гордый сатрап Востока, то любезнейший из придворных Людовика XIV. Под личиной грубости он скрывает очень нежное сердце. ... Как ребенок, всего желает и, как взрослый, умеет от всего отказаться. ...Он появляется то в рубашке, то в мундире, расшитом золотом по всем швам, ... с портретом Императрицы, осыпанным бриллиантами, служащим мишенью для неприятельских пуль. В чем состоит его волшебство? В гении, гении и еще в гении»^[1309].

Эффектное описание характера князя. Л. Н. Энгельгардт говорил, что здесь его начальник как на ладони. Принц своего добился — письмо стало известно почти сразу. Однако то, что думал де Линь на самом деле, осталось тайной. Иосифу II он бы такого о светлейшем не написал. Напротив, в июле принц передал малоприятный для императора разговор. «Князь сказал мне однажды: „Как меня беспокоит эта негодная крепость“. Я отвечал ему: „Она не перестанет беспокоить вас, покамест не вооружитесь на нее большими силами. Сделайте с одной стороны фальшивую атаку, а с другой окружите себя шанцами, войдите нечаянно в старую крепость, и она ваша“. — „Не так ли, — сказал князь, — вы думаете о своей Собаче, которую защищала тысяча, а брали двенадцать?“ Я отвечал ему, что он должен бы вспоминать о ней и говорить не иначе как с величайшим почтением и подражать атаке, сделанной столь сильно, и самому его императорскому величеству». Идея подражать Иосифу II не понравилась Потемкину. Австрийская армия топталась под третьеразрядной крепостью с февраля по июль. При этом численность защитников Собаха недобирала и до двух тысяч человек. Поэтому сравнение выглядело некорректным.

На следующий день князь пошел осматривать батарею с 16 пушками, расположенную в поле напротив Очакова. «Когда пули летали градом вокруг нас и убили подле него артиллерийского погонщика с обеими его лошадьми, он, засмеявшись, сказал графу Браницкому: „Спроси у принца де Линя, храбрее ли был его император при Собаче, нежели я здесь?“ Правду сказать, что в этой ложной полутатаке много было огня и что никто не оказывал при ней столько отважности и благородной храбрости, как князь»^[1310].

Отчаявшись понудить Потемкина штурмовать город немедленно, де Линь предпринял попытку вдохновить командующего личным примером. «Пылкий, как 20-летний юноша», он подбил Дама (действительно еще мальчишку) «сделать рекогносцировку по направлению к Очакову и попытать счастья по ту сторону аванпостов». Как и следовало ожидать, эта

авантюра закончилась плачевно. Вместе с несколькими егерями они выехали за казачьи разъезды и приблизились к городу настолько, что дальнотзорный Дама уже различал минареты и всадников, гарцевавших перед городскими садами. Скрывавшийся в так называемом Саду паши турецкий кавалерийский отряд едва не захватил непрошенных гостей. Де Линю и Дама пришлось спасаться бегством^[1311]. 5 августа турки были изгнаны из садов.

Однако произошедшее не умерило нетерпения в среде иностранных волонтеров. «Принц Ангальт, принц де Линь и я все время горевали по поводу ошибок, лишавших армию столь драгоценных солдат; но не было никакой возможности убедить князя Потемкина изменить свою систему, — сокрушался Дама, — он рассеивал редуты, растягивал войска и не шел вперед». Двадцатитрехлетний французский аристократ, офицер королевской гвардии, Дама мечтал о подвигах и с началом Русско-турецкой войны буквально напросился в потемкинскую армию. Он подозревал, что князь умышленно не дает инженерам завершить фортификационные работы на подступах к крепости. Однако и Дама вынужден был признать, что «редкий день не приносил новой оконченной работы». Разница состояла в том, какую степень готовности Потемкин считал достаточным для штурма. Частые кровопролитные вылазки, описываемые участниками осады, дают повод предполагать, что светлейший, строя редуты и ведя подкопы под стены, где предстояло работать минерам, избрал все-таки правильную тактику.

Одна из таких вылазок была предпринята 29 августа, когда глубокая траншея, по которой русские войска без ущерба подходили к городу, оказалась подведена уже слишком близко. Чтобы остановить работу, турки вышли в открытое поле и напали на находившихся в траншее солдат. Был ранен в голову генерал-майор М. И. Кутузов, Потемкин послал принца Ангальта принять командование. «Никогда еще турки не делали вылазки с подобной яростью, — писал Дама. — ...Турки завладели первой батареей, расположенной против их окопов, взяли обратно мечеть, которую казацкий полковник Платов отнял у них накануне, и атаковали с такой яростью, которая грозила снести и разрушить все укрепления, устроенные против них»^[1312]. Как видно, турки понимали опасность этих фортификационных построек. «Принц Ангальт, потеряв почти всех офицеров, продолжал защищать свою батарею, которую турки начали уже осаждать, — рассказывал о событиях той же вылазки де Линь, — и после весьма упорного сражения с обеих сторон он заставил их ретироваться. Едва

только они взошли на шанцы, как турки, числом более двух тысяч, вышли с распущенными знаменами. Принц Ангальт с великим трудом, собравши своих егерей, атаковал сих турок. Человек сто из них, засевши в ущелья стен, стреляли оттуда беспрестанно так, что их никак невозможно было выгнать. Они и просидели там всю ночь, чтобы потом атаковать батарею, к которой уже нашли путь сквозь земляные прокопы»^[1313].

Рану Кутузова считали смертельной. Потемкин отправил к нему своего личного доктора француза Массо, который нашел положение «весьма сомнительным». Лишь на седьмой день стало ясно, что Михаил Илларионович выживет. Князь писал о нем Екатерине: «Судьба его получать тяжелые раны»^[1314]. Лишь в конце года Кутузов вернулся в строй.

Даже на подступах к крепости закрепиться было не так-то легко. «Мы много раз брали и сдавали Сад паши, — признавал де Линь. — Однажды князь ввел нас туда на целую тучу пуль, летающих над осаждающими... Лошадь моя споткнулась там от страха... Я увидел, что осада такого рода гораздо опаснее, чем славнее... Едва только выступишь из рядов, как немедленно пули полетят градом. Мы осаждаем и сами равным образом осажжены»^[1315].

Несмотря на подобные признания, попытки подстегнуть Потемкина продолжались. Чем шире разворачивалась сухопутная операция, тем меньше участвовал флот, к осени изгнавший турок из Лимана. Изнывая от бездействия, Нассау-Зиген придумал план овладения крепостью с моря. Он заключался в том, чтобы высадить две тысячи человек на берег под нижней батареей города. Так называемая батарея Гассан-паши состояла из 24 крупнокалиберных орудий, не считая маленьких пушек на уровне воды. Роже Дама, которому Нассау предложил командовать десантом, сразу признал, что это самоубийство, но «был слишком польщен выбором, чтобы возражать хоть в чем-нибудь». Изложив свою идею Потемкину, Нассау «умолял его сделать рекогносцировку батареи Гассан-паши». Командующий с подозрительной покладистостью согласился.

16 сентября светлейший сел в 24-весельную шлюпку, взяв с собой Нассау, де Линя, Ангальта и Дама. Судно подошло к Очакову на ружейный выстрел. Турки позволили непрошеным гостям спокойно рассмотреть укрепления, но, когда лодка собралась поворачивать, «открыли ужасающий огонь пулями, картечью, бомбами из всех родов орудий». «На нас посыпался целый град», — сообщал Дама. Тем временем от крепости отошли турецкие суда и начали преследование «с намерением атаковать и взять нас в плен». «Князь Потемкин, сидя один на кормовой банке, со

своими тремя орденскими звездами на виду, держался поистине с поразительным по благородству и хладнокровию достоинством. Только принц Ангальт казался обеспокоенным... перспективой через неделю оказаться в Константинополе. Принц де Линь старался смехом выразить свое презрение, которого он не мог ощущать в действительности. У принца Нассау, ответственного за все последствия этого предприятия, был расстроенный вид». С большим трудом лодке удалось встать под защиту русских батарей, и честная компания сошла на берег «в виду 4–5 тысяч зрителей, внимательно смотревших на нас и спокойно обсуждавших... нашу дальнейшую карьеру»^[1316]. Де Линь отозвался о зеваках еще резче: «Все неприятели князя, все любопытные из армии, стоявшие на берегу, смотрят на нас, молятся о том, чтоб мы попались в руки турок»^[1317].

После неудачной рекогносцировки все сделали вид, будто «забыли» о плане Нассау. Турки наглядно продемонстрировали, что противнику не удастся высадить десант. Возможно, именно такой наглядности и добивался Потемкин, согласившись прокатиться под батарею Гассан-паши. Надо было обладать большим терпением, чтобы несколько месяцев подряд выслушивать жалобы на медлительность и разбирать несостоятельные предложения, поступавшие со стороны то австрийских, то французских представителей. Крайне недоволен союзниками был и Румянцев. В конце августа Цебриков переводил его письмо, «в коем, между прочим, дает светлейшему князю приметить, что цесарские предводители не соответствуют доброму согласию польз обеих империй, что граф Румянцев, невзирая на то, опять выгнал турков из Ясс, что фельдмаршал-лейтенант Сплина отозван в Трансильванию и что граф Румянцев принужден был ради того подвинуть часть своих войск вниз по Пруту»^[1318]. Зачем понадобился перевод сердитого письма Румянцева, ведь Потемкин прочел его на родном языке? Светлейший намеревался показать послание де Линю, чтобы уличить того в недоброжелательных действиях австрийцев и тем хотя бы на время пресечь надоевшую болтовню о бездействии русских. «Он и вчера еще сказал мне, — жаловался де Линь в письме к Иосифу II, — „неужели думаете, что вы затем сюда приехали, чтоб водить меня за нос?“ — „Неужели, — отвечал я, — вы думаете, что я сюда приехал без этого намерения?“»^[1319]

Успех летних сражений на Лимане оказался полным, но именно они, как в капле воды, отразили многочисленные противоречия личного характера, существовавшие в руководстве флота. Одно из них было связано с именем знаменитого шотландского корсара Поля Джона Джонса, поступившего на русскую службу. Джонс прославился в войне американских колоний за независимость и был приглашен в Россию по предложению Потемкина, стремившегося обезопасить молодой Черноморский флот от сильных противников в лице известных европейских волонтеров, которые могли быть завербованы Турцией. «Редки предприимчивые люди, — писал Григорий Александрович Екатерине 15 февраля. — Позвольте мне его звать, а то худо, как пойдет к туркам»^[1320]. Приехав в Петербург, Джонс произвел при дворе впечатление важного лица. «Он у самих англичан слывет вторым морским человеком»^[1321], — писала императрица 22 февраля. Государыня решила пожаловать Джонса контр-адмиральским чином.

Такого оборота дел Потемкин не ожидал. Он надеялся получить в лице Джонса предприимчивого корсара, действующего с одним кораблем на свой страх и риск. Вместо этого к нему направлялся обласканный двором контр-адмирал, намеревавшийся принять участие в командовании флотом. Такое несоответствие уже само по себе закладывало фундамент для будущего конфликта. «Не могу скрыть от Вас, сколько принятием его людей огорчилось. Почти никто не хотел остаться», — писал Потемкин 15 июня, давая понять Екатерине, в какую неловкую ситуацию она его поставила. В соответствии со столь высоким рангом Джонс оказался «старше» многих командиров, и князю пришлось вручить ему парусную эскадру. «Англичане все хотели оставить службу, тоже и наши многие морские... Бригадир Алексиано командир был эскадры, которую я Пауль Жонесу поручил, чуть было с ума не сошел от печали; он и с ним все греки хотели оставить службу. Что мне стоило хлопот это все устроить, ...насилу удержал»^[1322].

Англичане, составлявшие заметную часть офицеров в Черноморском флоте, не желали служить под командой Джонса, объявленного «врагом старой родины». Греки были оскорблены за Панайоти Павловича Алексиано, служившего в России с 1769 года, участвовавшего в Чесменском сражении и прославившегося рейдами к берегам Яффы и Бейрута. «Помилуйте, что Вы предпринимаете? — писал к Алексиано Суворов, узнав о намерении Панайоти Павловича оставить службу. — Будьте с адмиралом на образ консулов, которые древле их честь жертвовали

чести Рима»^[1323]. Алексиано внял уговорам. 26 мая он обратился к Потемкину с письмом. «С того самого времени, как я имел счастье принять Россию за свое отечество, — говорил заслуженный моряк, — никогда я прихотей не оказывал. Критические обстоятельства, в которых мы находимся, и любовь общего блага меня решили. Я остаюсь, но чувствую обиду»^[1324].

По словам Григория Александровича, Алексиано был «человек добрый, но упрямый и прямой». «Сказал, что он сердит на меня, да и на Вас тут же, — заканчивает свое письмо 14 июня Потемкин. — Это было поутру, а в вечер пришел и объявил, что остается, для того, что неприятель враг нашего закона, и греки все остались по его примеру». Письмо проливает свет на реальные причины последующего удаления Поля Джонса с Черноморского флота. Американский корсар не поладил не столько с командующим, как принято считать^[1325], сколько с двумя влиятельными национальными общинами во флоте: англичанами и греками — игнорировать мнение которых Потемкин не мог.

К октябрю 1788 года командующий, проверив Джонса в нескольких морских операциях, решил откровенно написать императрице о своем недовольстве «спящим адмиралом». «Полю Джонсу... пропустил под носом у себя три судна турецкие в Очаков, — возмущался князь 17 октября. — Я ему приказал сжечь, но он два раза ворочался назад, боялся турецких пушек. Дал я ему ордер, чтоб сие предприятие оставил, а приказал запорожцам. Полковник Головатой с 50 казаками тотчас сжег. — Приведя этот весьма неприятный для Джонса случай, Потемкин продолжает: — Сей человек не способен к начальству, медлен и нерешим, а, может быть, и боится турков... Я не могу ему поверить никакого предприятия, не сделает он чести Вашему флоту. Может быть, для первости он отваживался, но многими судами никогда не командовал, он нов в сем деле, команду всю запустил, ничему нет толку. Не зная языка, ни приказать, ни выслушать не может, а после выходят все двоякости. В презрении у всех офицеров, не идет ни к кому в команду... Может быть, с одним судном как пират он годен, а и в пиратах может ли равняться Ламбру?»^[1326]

Потемкин сравнивал Джонса со знаменитым греческим корсаром Ламбро Качиони, служившем в русском флоте и совершавшем отчаянно смелые рейды к турецким берегам. Упоминание Качиони еще раз указывает на греческую общину, видимо, настаивавшую на удалении Джонса.

Как на грех, буквально в следующие сутки Пол Джонс снова опростоволосился. В ночь с 18 на 19 октября он пропустил мимо себя к

Очакову турецкий корабль, а в рапорте на имя командующего показал, будто судно шло без пушек. В реальности пушки на судне имелись, и карающая длань опустилась, наконец, на голову «спящего адмирала». Цебриков, переводивший для Джонса ордер Потемкина, сообщал: «Светлейший князь послал Павлу-Жонесу строгий ордер, давая прежде всего в оном ему разуместь, что ссылки не принимаются там, где дело идет о действительной службе, что он не примешивает в команде партикулярных дел, что повеления свои дает и переменяет по обстоятельствам и что посему должно все его повеления принимать за законные»^[1327]. По получении этого ордера Джонс сдал команду контр-адмиралу Н. С. Мордвинову и обменялся с командующим прощальными письмами, полными «совершенной учтивостью» и «отменным почтением». Служба шотландского корсара в России была закончена, к вящей радости греков и англичан. Уезжая, Джонс решил подать донос на несправедливое обращение с ним светлейшего, однако был встречен императрицей холодно и принужден удалиться ни с чем^[1328].

Под занавес он пережил в Петербурге громкий скандал, погубивший его репутацию. Полиция предъявила Джонсу обвинение в попытке изнасилования 12-летней молочницы, которая с криком выбежала из его дома и призвала стражей порядка на помощь. Узнав о случившемся, императрица была разгневана, а столичное общество отвернулось от адмирала. Единственным, кто посещал Джонса в эти черные дни, был Сегюр. Ему шотландец изложил свою версию произошедшего: девочка сама обратилась к нему с непристойными предложениями, он отчитал ее, и в обиде маленькая распутница кинулась из дверей, громко крича. Однако в полиции Джонс говорил иное: он часто «играл» с девочкой, которая казалась ему старше, чем была на самом деле, и давал ей денег, а она была не прочь «сделать все, что только мужчина от нее захочет». Защита Сегюра позволила Джонсу избежать военного суда, но его выставили из России без дальних объяснений^[1329].

Подобные приключения иностранных волонтеров вызывали законный ропот общества. Русские тоже не оставались равнодушными наблюдателями войны национальных кланов в армии. Офицеры постоянно выражали недовольство приездом волонтеров, отнимавших у них места, чины и боевые лавры. В ночь на 25 октября Мордвинов разбил семь турецких судов, стоявших у Очакова. «Все возопили: вот какой успех после иностранных начальников; будто Россия столько бедна, что не найдет довольно храбрых и неустрашимых сынов Отечества дома у себя, и будто

надобно нанимать из других государств воинов и повелителей и платить 5000 душ крестьян за то, что повелевает только нашими храбрыми солдатами»^[1330].

Рядовые тоже были не в восторге от команд на иностранном языке, которых не могли понять. Еще в августе на одном из судов гребной флотилии произошел взрыв из-за того, что возле пороха был неосторожно брошен зажженный фитиль. Погибли 84 человека. «Спасшийся один солдат, пришед на берег к князю светлейшему, — сообщал Цебриков, — и, будучи несколько под хмельком, сказал: „Пожалуйста, ваша светлость, не велите больше нами командовать французам, ибо они по-русски ни слова не понимают и, залепетав по-своему, дают нам только тумаки, а ведь тумаки не говорят, что делать должно“»^[1331]. Потемкин не мог не понимать справедливости этих слов. Вместе с делом Пола Джонса вставала наболевшая проблема волонтеров.

Правительство прекрасно знало, что русские очень недовольны множеством иностранных офицеров, и накануне войны приняло решение по возможности отказаться от наемников из-за границы. Из переписки Екатерины с Гриммом видно, как императрица деликатно, но твердо отклоняла множество рекомендуемых ей лиц из Франции, Бельгии, Голландии, Пруссии, Швейцарии. Со своей стороны волонтеры отстаивали право считаться лучшими и всячески выпячивали превосходство над национальными офицерами. Записки Дама прекрасно рисуют психологию командира-наемника. Он очень хвалит русских солдат за их твердость, послушание, стойкость и смышленность. А вот офицеры, по его мнению, уступали австрийцам в опыте и образовании.

Тем не менее Дама признавал: «Недостаток познаний русской армии вознаграждался дисциплиной и твердостью духа... Если бы русские генералы и офицеры, побившие турок, перешли бы в австрийскую армию, они бы их вновь побили, а если бы перемена произошла в обратную сторону, русские, может быть, были бы побиты... Почему превосходство русских над турками неизменно, а австрийцев весьма сомнительно? Неужели существует нравственное и бессознательное влияние одного народа на другой? ...Я видел, как 15 000 австрийцев были побиты 4000 турок при Джурджеве, но не было примера, чтоб 15 000 турок устояли против 4000 русских»^[1332].

Как бы то ни было, но союзник показал себя нерешительным и вялым, полагаться на его помощь не следовало, а у России тем временем назревало открытие еще одного фронта — на Севере.

Начало войны со Швецией

К концу июня ситуация на Балтике осложнилась. Екатерина пребывала в тревоге, и письма Потемкина с Юга очень поддерживали ее. «Боже мой, что бы у нас было, если бы не последние Ваши приятные вести»^[1333], — доносил из Петербурга Гарновский.

«Наша публика здесь несказанно обрадована победою, на Лимане одержанною, — писала императрица 20 июня. — На три дня позабыли говорить о шведском вооружении». Это письмо очень интересно, так как писалось Екатериной в течение пяти дней: с 16 по 20 июня. Оно представляет собой своеобразный дневник, показывающий, как сгущались тучи на русско-шведской границе. «16 июня... Здесь слухи о шведском вооружении и о намерении шведского короля нам объявить войну ежедневно и часто умножаются; он в Финляндию перевел и переводит полки, флот его уже из Карлскрона выехал, и его самого ожидают в Финляндии на сих днях... 18 июня. Датчане начали со шведами говорить тоном твердым... 19 июня. Вчерашний день получено известие о шведском флоте, что он встретился с тремя стопушечными кораблями нашими, кои пошли вперед к Зунду, и шведы требовали, чтоб контр-адмирал фон-Дезин им салютовал... Июня, 20-го числа. Сего утра из Стокгольма приехал курьер с известием, что король швейцарской прислал к Разумовскому сказать, чтоб он выехал из Стокгольма...»^[1334]

Появление писем-дневников показывает, в каком напряжении находилась в это время императрица: ей необходимо было каждый день обращаться к своему корреспонденту, даже если она не могла сразу отправить письма. В эти дни перед Екатериной стояли два важных вопроса. «Если б ты был здесь, я б решилась в пять минут, переговора с тобой»^[1335], — писала она 4 июня. Сразу после повреждения Черноморского флота бурей императрица обещала сформировать на Балтике эскадру и отправить ее в Архипелаг. К лету 1788 года эскадра была готова, но в условиях обострения отношений со Швецией Екатерина не знала, отсылать ли ее от русских берегов. Григорий Александрович, понимая, как необходимы дополнительные корабли на Балтике, первым освободил императрицу от данного слова. Победы на Лимане показали, что русская сторона способна и малыми силами противостоять турецкому флоту. «Мы лодками разбили в щепы их флот и истребили лучшее... — писал Потемкин 19 июня. — Вот, матушка, сколько было заботы, чтоб в два месяца построить то, чем теперь бьем неприятеля. Не сказывая никому, но флот Архипелажский теперь

остановить совсем можно... Бог поможет, мы и отсюда управимся»^[1336].

В это время противники Потемкина из рядов «социетета», ранее под разными предлогами задерживавшие отправление флота в Архипелаг, начали требовать его незамедлительного отплытия в Средиземное море. Гарновский предполагал, что такой шаг предпринят ими с целью возбудить в обществе разговоры, будто требования светлейшего князя послать флот в Архипелаг создали угрозу для столицы^[1337].

Другой важный вопрос, вставший перед Екатериной, был вопрос о «первом выстреле». В письме 25 июня императрица сообщала корреспонденту о своих решениях по обоим пунктам. Она воздерживалась от отправки эскадры в Архипелаг и не желала первой открывать военные действия: «Буде Бог тучу пронесет... тогда, конечно, отправлю флот... Везде запрещен первый выстрел и велено действовать только оборонительно»^[1338]. Такая осторожность была продиктована желанием императрицы вынудить Пруссию и Англию, тайно подталкивавших Швецию к войне, выразить официальную поддержку России, как стороне, подвергшейся нападению. Эта дипломатическая игра увенчалась успехом, лондонский и берлинский дворы сразу после нарушения Густавом III мира высказались в пользу Петербурга^[1339].

В письме к Гримму 21 июня Екатерина жаловалась на шведского короля: «Его несправедливость ко мне нечто неслыханное. Я перед ним ни в чем не провинилась, я осыпала его любезностями; я кормила его финляндцев несколько лет, когда в Финляндии был голод... Его Величество доказывает, что, незаконно присвоив себе неограниченную власть, он пользуется ею на горе своим подданным для того, чтобы навязать им ссору с соседями. Всякий государь — первое лицо среди своего народа, но один государь не составляет еще всего народа»^[1340]. Императрица надеялась, что многие в Швеции будут против войны, и не просчиталась, хотя Густав все-таки развязал конфликт.

26 июня Екатерина сообщила Потемкину, что шведы, так и не объявив войны, атаковали крепость Нейшлот: «Хорошо посмеется тот, кто посмеется последним. Справедливость, право и истина на нашей стороне»^[1341]. Чтобы ободрить жителей столицы, она переехала из Царского Села в Петербург. Шведский флот под командованием дяди короля, герцога Карла Зюдерманландского, атаковал Балтийский порт и потребовал от коменданта майора Кузьмина сдачи. В те времена принято было пристраивать на комендантские должности в небольших крепостях старых заслуженных офицеров. Кузьмин был инвалидом, потерявшим в

прежних кампаниях руку. Он отвечал с бруствера: «Я рад бы отворить ворота, но у меня одна рука, да и та занята шпагою»^[1342]. К счастью для оборонявшихся, к крепости подошел русский флот, отплывший из Кронштадта под командованием вице-адмирала С. К. Грейга, и шведские корабли вынуждены были выстроиться против него.

Лишь 1 июля секретарь шведского посольства вручил вице-канцлеру ноту Густава III, где были изложены условия заключения нового мира. Россия должна была уступить Швеции свою часть Финляндии и Карелии, а Турции — Крым и все земли по границе 1768 года. Кроме того, Екатерине вменялось в обязанность принять шведское посредничество при заключении мира с Портой, разоружить свой флот, отвести войска от границ и позволить Швеции оставаться вооруженной до подписания русско-турецкого мирного договора^[1343]. Сам факт обращения с подобной нотой выглядел оскорбительно, так как война до сих пор не была объявлена. Сегюр, которого императрица ознакомила с этим документом, заметил, что шведский король говорит так, будто одержал уже три значительные победы. «Даже если б он завладел Петербургом и Москвою, — воскликнула в ответ Екатерина, — то я все-таки показала бы ему, на что способна женщина с решительным характером, стоящая во главе храброго и преданного ей народа и непоколебимая на развалинах великого государства»^[1344].

«Вы не поверите, koliko государыня огорчена была подачею сей ноты»^[1345], — доносил 3 июня Гарновский. Ее копию Екатерина препроводила Потемкину. О Густаве III она писала: «Своим войскам в Финляндии и шведам велел сказать, что он намерен... окончить предприятие Карла XII... Теперь Бог будет между нами судьей»^[1346]. Шведский король обещал войти в Петербург, опрокинуть статую Петра Великого, принудить Екатерину сложить корону, дать своим придворным дамам завтрак в поверженном Петергофе и отслужить лютеранскую мессу в Петропавловском соборе^[1347]. «Мысль о том, что мое имя станет известно в Азии и Африке, так подействовала на мое воображение, что я оставался спокойным, отправляясь навстречу всякого рода опасностям»^[1348], — писал Густав III своему фавориту барону Армфельду.

Уверенность шведского короля в скорой победе объяснялась его преувеличенным представлением о слабости противника. Не только оттянутая на Юг русская армия вселяла в сердце Густава надежду на легкий успех. Легенда о «потемкинских деревнях» уже начала свое путешествие по Европе и сыграла со шведским монархом злую шутку.

Густава можно назвать одной из ее первых политических жертв.

Шведский министр в Константинополе Г. Ю. фон Хейденстам рассуждал в донесении 25 августа 1787 года о результатах поездки Екатерины II в Крым: «Последнее путешествие императрицы в Херсон и Крым показало, как надо себе представлять это государство. Присутствовавшие там люди заверяли меня, что на протяжении всего своего путешествия императрица была окружена лишь всевозможными иллюзиями: был сотворен театр из всей страны, по которой она ехала, и государыня не видела ничего, помимо того, что ей хотели показать. Поля вдоль большой дороги обрабатывались крестьянами, которых князь Потемкин доставил туда отовсюду. Везде высадили деревья, которых на следующий день после ее отъезда уже не было. Весь Крым был согнан в Севастополь и на дороги, которые к нему ведут; разрушенные деревни были отремонтированы и в полях возведены дома. Вообще говоря, это обеспечило полное представление о предприимчивости людей и значительной населенности вконец разоренной страны»^[1349].

Следовало бы отметить удивительную однообразность речевых оборотов, используемых всеми авторами рассказов о «потемкинских деревнях». Создается впечатление, что они не просто повторяли друг друга, а калькировали какой-то один источник. Это говорит о целенаправленном распространении слухов, поставщиками которых были иностранные дипломаты при русском дворе, тесно взаимодействовавшие с партиями наследника Павла и Воронцова.

Густав III тем легче принял желаемое за действительное, что сам любил театральные мистификации и знал в них толк. Воевать с «вконец разоренной страной», где к тому же государыня полностью погружена в волшебный самообман, представлялось делом легким и достойным известности «в Азии и Африке». Однако до Африки было еще далеко. Первые действия оказались неудачны для шведской стороны. Взять Нейшлот не получилось, 6 (17) июля произошла битва при Гохланде, после которой шведский флот вынужден был отступить в Свеаборгскую гавань и оказался блокирован там эскадрой С. К. Грейга. Тем не менее неунывающий Густав объявил Гохландскую баталию победой шведов и приказал отпраздновать ее благодарственным богослужением в Стокгольме, чтобы поднять боевой дух жителей столицы^[1350].

Ту же цель преследовали и торжества по русскую сторону границы. Правда, они отмечали реальные победы, одержанные на Юге. 16 июля в Петербург были привезены турецкие знамена, взятые во время сражений на

Лимане. Незадолго до этого в Северной столице нашлись люди, весьма «тонко» намекнувшие императрице о сомнительности каких бы то ни было успехов Потемкина. Реляции о сражениях гребного флота, по их мнению, необходимо было подтвердить вещественными доказательствами — знаменами с уничтоженных турецких кораблей. Воронцов, поздравляя фаворита Екатерины Мамонова, заметил, что «в претензии, для чего знаков победы сюда не присылают», Гарновский немедленно передал его слова по назначению, прибавив замечание Завадовского о Гохландской победе: «С шведами, не с турками дело иметь. Приметили вы, однако же, скромность, с которою реляция господина Грейга написана?»^[1351]

Потемкин явно не собирался сносить таких оскорблений. 16 июля по улицам Петербурга в Петропавловскую крепость пронесли 45 флагов с уничтоженных под стенами Очакова турецких судов: 15 крупных кораблей и 30 более мелких. «Трофеи сегодня с церемонией пошли в собор Петропавловский, и хотя у нас духи отнюдь не уныли, однако сие послужит к народному ободрению, — писала Екатерина 17 июля. — Петербург имеет теперь вид военного лагеря, а я сама как бы в главной квартире... Усердие и охота народная противу сего нового неприятеля велики... Рекрут ведут и посылают отовсюду»^[1352]. Возникла нехватка офицеров, и в армию начали принимать отставных. «Хотелось бы и мне приняться за шпагу, — писал на Юг управляющий князя. — Кто против Бога и великого Новгорода!»

Судя по донесениям Гарновского, настроение императрицы в первые дни войны было далеко не таким приподнятым, как она старалась показать Потемкину. Екатерина часто плакала и в отчаянии говорила, что сама готова встать во главе каре из резервного корпуса, если войска в Финляндии будут разбиты. Такое состояние государыни объяснялось внушениями «социетета», будто Петербург невозможно удержать, когда основные силы на Юге. «Вот выгоды приобретения полуденных стран; вот опасность столицы: вот наши услуги, без коих пропало бы все», — передавал управляющий их слова. «Стоило мне труда уверить, что Финляндия с помощью войск, теперь в ней находящихся, в состоянии защищаться и что столица наша вне всякой опасности, — доносил Гарновский 13 июля. — Приготовляли к потере столицы и из Мурина (имение А. Р. Воронцова под Петербургом. — О. Е.) вывезли в Москву почти все»^[1353].

Характерно, что именно те люди, которые, узнав о желании Потемкина эвакуировать войска из Крыма, упрекали командующего в трусости, менее чем через год всерьез предлагали сдать Петербург, прикрытый Балтийским

флотом, Архангельской эскадрой и эскадрой, предназначавшейся для Архипелага.

«Вы мне все говорите о превосходстве нашего флота, — писал брату Семен Воронцов из Лондона, — что доказывает, насколько плохо у вас сведения о вооружении шведов. Мы же здесь знаем, что эскадра герцога Зюдерманландского, которая состояла из 12 линейных кораблей, 6 фрегатов и 4 кутеров, была увеличена другой эскадрой контр-адмирала Йегебранда из 4 линейных кораблей и 4 фрегатов»^[1354].

Суворовский «шармицель»

С обострением обстановки на Балтике пришло время Потемкину беспокоиться об известиях от императрицы. «Мучусь я о Ваших хлопотах. О, коли б я был при Вас! — восклицал он в письме 18 июля из-под Очакова. — Матушка, помилуйте, не оставляйте меня долго без известий о том, что у Вас происходит, я иначе умру с грусти»^[1355].

В условиях войны на два фронта и нехватки войск Екатерина отдала должное той осторожности, с которой Потемкин подошел к осаде крепости. «Паче всего старайся сберечь людей»^[1356], — писала она 28 июля. За день до этого на Юге произошло крайне неприятное событие. Турки предприняли вылазку, встречным боем командовал А. В. Суворов, который был ранен в шею и ускакал в лагерь. Гренадеры отступили в беспорядке, неся большие потери: до 800 человек по неофициальным данным^[1357]. Возвращаясь в лагерь, солдаты говорили: «Мы де очень стояли крепко, да некому нами было командовать»^[1358].

Среди армейских офицеров ходил слух, будто Суворов, недовольный медленностью осады, попытался воспользоваться вылазкой турок, ворваться в крепость на их плечах и тем спровоцировать штурм, но потерпел неудачу. Если бы не подоспевший с пушками Репнин, посланный Потемкиным, урон был бы очень велик^[1359].

«Солдаты не так дешевы, чтобы ими жертвовать по пустякам... — писал Суворову в тот же день командующий. — Ни за что потеряно бесценных людей столько, что их довольно было и для всего Очакова»^[1360]. Лишь 6 августа, подробно выяснив все детали неудачного дела и получив от виновника два рапорта с объяснениями, Потемкин сообщил императрице о случившемся. «Александр Васильевич Суворов наделал дурачества не мало, которое убитыми и ранеными стоило четыреста

человек, — писал командующий. — У меня на левом фланге в 6 верстах затеял после обеда шармицель, и к казакам, соединив два баталиона, забежал с ними, не уведомя никого прикосновенных, и без пушек, а турки его через рвы, каких много на берегу, отрезали. Его ранили, он ускакал в лагерь, прочие остались без начальника. И к счастью, что его ранили, а то бы он и остальных завел. Я, услышав о сем деле, не верил, наконец, послал пушки, под которыми и отретировались»^[1361].

Из письма видно, что Потемкин вдвое уменьшает реальные потери войск после суворовского «шармицеля», чего командующий не стал бы делать, если бы хотел, как утверждали позднейшие биографы Суворова, вызвать гнев императрицы на Александра Васильевича^[1362]. На приведенное письмо Екатерина отвечала 14 августа: «Весьма жаль, что Александр Васильевич Суворов столько потерял людей и что сам ранен»^[1363]. Секретарю Храповицкому, разбиравшему почту, императрица заметила: «Он, конечно, был пьян. Не сказывай ничего о Суворове»^[1364].

Откуда Екатерина получила подобные сведения? В письме Потемкина нет ни слова об этом неприятном обстоятельстве. Однако некоторые очевидцы событий 27 июля, такие как Дама^[1365] и Цебриков, утверждают, что Суворов вступил в бой, «будучи после обеда разжен крепкими напитками»^[1366]. Командующий не мог не знать об этих подробностях неудачной стычки с турками, но, щадя старого боевого товарища, умолчал о них в письме к Екатерине. Вероятнее всего, неблагоприятные известия поступили к императрице от Безбородко. Очевидец Дама, посчитавший нужным вставить обидный для Суворова эпизод в свои мемуары, вел переписку с Парижем^[1367]. Его письма, как и письма многих иностранных волонтеров, перлюстрировались почтдиректорами, извлеченная информация поступала к Александру Андреевичу, который делился ею с государыней.

Вскрытию подвергались и донесения де Линя. Описывая эту историю, принц утверждал, будто именно он сообщил Репнину о происходившем и тот вопреки приказу Потемкина выступил на выручку суворовскому каре. «Сначала он (Потемкин. — О. Е.) не отвечал ничего, заплакал, потому что проклятое человеколюбие, хотя непритворное, но неприличное, произвело в нем сожаление к умершим, и потом не дал своего соизволения»^[1368]. Заслушав князь якобы обиделся на Репнина так, что австрийскому представителю пришлось их мирить. Этот эпизод в письме к императору — один из примеров откровенной выдумки. ДеЛинь даже не знал, с кем из командиров произошло несчастье. Он называл виновника неприятности

«какой-то генерал», путал время, а себе приписывал чуть ли не участие в деле. Между тем Суворов в лагере был человеком известным и принц знал его еще с довоенных времен.

Столь значительная потеря солдат в результате отражения простой вылазки была тем более неприятна Потемкину, что в это время командующий вел тайные переговоры с очаковскими чиновниками о капитуляции крепости, гарантируя жителям «целость имения, жен и детей»^[1369]. Однако заговор был раскрыт, а его руководители казнены. «В Очакове на сих днях удавили двух из знатных жителей, которые были в числе восьми, предлагавших паше о сдаче города»^[1370], — сообщал Екатерине князь 15 сентября.

В Петербурге в это время императрица могла вдохнуть спокойнее: русская часть Финляндии была очищена от шведских войск. Флот Густава III блокирован в Свеаборге, финские и шведские офицеры взбунтовались, составив конфедерацию в деревне Аньяла, требовавшую созыва сейма, к ним присоединил свой голос Сенат^[1371]. Екатерина получила от конфедератов адрес, в котором объявлялось о желании восстановить мир с Россией. Густав ожидал смерти от руки убийц и даже намеревался бежать в Петербург и у врагов искать защиты от неверных подданных^[1372].

«Теперь чаю Сейм шведский и финский сам собою соберется, — писала Екатерина Потемкину 18 сентября, — и тогда о сем нам объявят и о готовности к миру, тогда станем трактовать». Однако императрица не позволяла себе слишком обольщаться надеждой на скорое прекращение войны. «Король шведский писал ко всем державам, прося их, чтоб его с нами вымирили, но какой быть может мир тут, где всей Европы интересны замешаны?»^[1373] — спрашивала она 20 сентября.

Тогда же Безбородко сообщал Потемкину: «Король шведский повсюду отведывает заговорить о мире и столько успевает, что многие державы входят за него с предложениями медиации и добрых услуг»^[1374]. Свое посредничество предлагали Пруссия и Англия, они пытались построить переговоры так, чтобы увязать дела Швеции, Турции и Польши в единую систему^[1375], что вело к затягиванию дипломатической игры и удержанию противников в войне.

В письме 29 сентября корреспондент советовал императрице не упускать возможность приобрести влияние на шведские дела. Положение в Стокгольме в тот момент давало повод надеяться, что сейм потребует восстановления старой конституции, отмененной Густавом III после переворота 1772 года. Одним из гарантов нерушимости прежнего режима

Швеции была по русско-прусскому договору 1769 года Россия^[1376]. Князь предлагал, если удастся «нацию довести просить нас о восстановлении конституции», заключить со Швецией союз. «А как линия королевская коротка, то не худо втайне подумать Константина Павловича к ним в короли»^[1377].

Идея поместить великого князя Константина на шведский престол, воспользовавшись еще старыми династическими правами его деда Петра III, не понравилась Екатерине. «Константину не быть на севере. Если быть не может на полдне, то остаться ему, где ныне. Константин с шведами ни единого языка, ни единого закона, — писала она 10 октября. — Константина никак туда не дам»^[1378]. Екатерина не любила изменять свои планы, подчиняясь обстоятельствам. Идея возведения внука на греческий престол была ей тем дороже, что Константин Павлович подавал большие надежды августейшей бабушке. «Он изучил все диалекты греческого»^[1379], — с гордостью писала она Гримму. «Константин — мальчик хорош, — отмечает слова Екатерины Храповицкий. — Он через 30 лет из Севастополя поедет в Царьград. Мы теперь рога ломаем, а тогда уже будут сломлены, и для него легче»^[1380].

«Родить прусскую войну»

«Сей раз трудно было получить царское письмо»^[1381], — доносил в сентябре Гарновский. Нарочитое промедление с ответом служило знаком неудовольствия императрицы. Оно порождалось, с одной стороны, жалобами австрийского посла И. Л. Кобенцеля на несодействие Потемкина войскам союзника, с другой — внушениями членов «социетета», будто Григорий Александрович, советовавший осторожно обходиться с прусским королем, недостаточно щепетильно относится к чести империи и лично императрицы. Берлинский двор предлагал посредничество, фактически пытался диктовать России условия мира. «Государыне крепко хочется побить прусакам спеси, — доносил Гарновский. — Хотя в письме к его светлости явного к тому намерения и не открыто, но это для того, чтоб его светлость не отсоветовал»^[1382].

25 сентября Государственный совет, на котором председательствовал А. Р. Воронцов, решил отказать Фридриху-Вильгельму II в посредничестве и, усилив Украинскую армию Румянцева за счет Екатеринославской, а также Кавказского и Белорусского корпусов, направить в Польшу к границе

с Пруссией^[1383]. «Словом, положено было родить прусскую войну», — заключал донесение управляющий.

Получив подобные известия, Потемкин решил прямо объясниться с императрицей по поводу готовящегося обострения отношений с Пруссией. «Лига сформирована против Вас, — писал он 17 октября об объединении усилий Англии, Пруссии, Швеции и Турции. — От разума Вашего зависит избавить Россию от бедствий... Позволь, матушка, сказать, куда наша политика дошла». Ослабление Франции на международной арене привело к тому, что контролируемые ею ранее страны, такие как Турция и Швеция, отшатнулись к другому покровителю — Англии.

В этих условиях Россия, вместо того чтобы не отталкивать Англию и лавировать между Пруссией и союзной Австрией, как советовал Потемкин, разорвала англо-русский торговый трактат. По предложению посла в Лондоне Семена Воронцова, поддержанному в Петербурге его братом Александром, Россия не возобновила коммерческий договор 1766 года, срок которого истек как раз перед войной. Этот документ, дававший английским купцам большие льготы на русском внутреннем рынке, чем русским — на английском, сильнее политического союза связывал интересы Англии с Россией и не позволял Лондону совершать враждебных действий. Теперь этот якорь оказался отвязан. Франция, подстрекавшая турок к началу войны, впоследствии оказалась не в силах их остановить. Этим воспользовались другие неприятели России, в частности Пруссия, желавшая возобновить с Петербургом союзный договор 1762 года. Под давлением «социетета» Россия обострила отношения с Пруссией. «Сделались мы как будто в каре, — заключает князь свои рассуждения. — Союжен нам один датский двор, которого задавят, как кошку. Я обо всем предсказывал, ...не угодно было принять, но сделалось, по несчастью, помоему и вперед будет»^[1384].

Стремление Австрии втянуть Россию в противостояние с давней соперницей империи Габсбургов — Пруссией — встречало сопротивление Потемкина. Сообщение Гарновского о совместной попытке «цесарского» посла и «социетета» свалить светлейшего князя и выцвинуть на первый план Румянцева как командующего обсервационной армией заставило Григория Александровича изложить императрице угнетавшие его мысли. «Австрийцы устраивают на меня ков, — писал он, — узнав, что я вижу лучше других их хитрости и что интересов своего государства не променяю на их. Считая по сему, что не могут со мною иногда успеть в своих видах, устремились теперь искать момента меня у вас повредить. Принц Лини, как

человек ветреный и ничего святого не имеющий, инструментом сего мерзкого предприятия. Он писал... к графу Кобенцелю, что я не тот, который бы хотел вести дела здешние в пользу его государя и что не хочу отнюдь делать движения для отвлечения сил турецких от их пределов, что я сомневаюсь в чистосердечности их, одним словом, что теперь настает время меня спихнуть, прибавя к тому, что на запрос от Кобенцеля, ему присланный, какие мои мысли о предосторожностях противу прусского короля, я отвечал не по их желанию. А ответ был, чтоб, пока не кончим мы с турками, его менажировать, им и то не полюбилось. Он предложил Кобенцелю выискать случай, когда бы Вы были мною недовольны, и вредить мне у вас через Завадовского»^[1385].

Гарновский ошибался, полагая, что императрица не напишет князю о военных приготовлениях против Пруссии. Решить столь важный вопрос без консультаций с Потемкиным Екатерина не могла. Помедлив некоторое время из опасения получить от корреспондента резкую отповедь, императрица взялась за перо. «Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович, — писала она 19 октября, — ... король прусский сделал две декларации. Одну в Польшу противу нашего союза с поляками, который, ...видя, что от того может загораться огонь, я до удобного времени остановить приказала. Другую датскому двору, грозя оному послать в Голштинию тридцать тысяч войска, буде Датский двор введет [войска], помогая нам в Швецию... День ото дня более открывается намерение и взятый ими план не только нам всячески вредить, но и задирать в нынешнее и без того тяжелое для нас время. Думаю, на случай открытия со стороны короля прусского вредных противу России и ее союзника намерений, ...армию фельдмаршала графа Румянцева обратить противу короля прусского... О сем, пожалуй, напиши ко мне подробнее и скорее, чтоб не проронить мне чего нужного»^[1386].

О декларации Фридриха-Вильгельма II Потемкин узнал от Безбородко еще 30 сентября. Прусский король заявлял, что, в случае попытки России заключить союз с Польшей, он со своей стороны тоже будет настаивать на союзе с Варшавой^[1387]. Князь считал, что подобная комбинация может оказаться для России выгодной, если в договоре, гарантирующем «неприкосновенную целость» Польши, примет участие Австрия. Два немецких государства, претендующие на польские земли, будут держать друг друга за руки, а Россия выскользнет из навязываемого ей внутригерманского противостояния.

Антипрусская позиция Австрии сделала подобный альянс

невозможным. В письме 19 октября Безбородко сообщил Потемкину, что императрица предпочла остановить переговоры о союзе с Польшей и, таким образом, проверить, какое действие на прусского короля произведет податливость Петербурга^[1388]. Последовало расширение требований Пруссии. В ответ Екатерина предприняла шаги, о которых предупреждала корреспондента 19 октября. Узел нового конфликта затягивался все туже.

Князь, как и опасалась императрица, ответил решительным отказом передать значительную часть войск в обсервационную армию. Он убеждал Екатерину, что распыление сил не позволит удержать границу на Юге, а начало военных действий сразу против Турции, Швеции и Пруссии губительно для России. «Вместо того чтобы нам заводить новую и не по силам нашим войну, — писал Потемкин 3 ноября, — напрягите все способы сделать мир с турками и устремите ваш кабинет, чтобы уменьшить неприятелей России. Верьте, что не будет добра там, где нам сломить всех, на нас ополчающихся»^[1389].

Письма князя вызвали колебания государыни. «Тревожатся тем, что сделана доверенность к людям, крайне дела наши расстроившим, и что не внимали тому, что его светлость предсказывал», — доносил Гарновский 7 ноября. В то же время Екатерина не могла поступиться достоинством своей державы. «Войны с Пруссией и Англией, кажется, избежать уже нельзя, — продолжает управляющий, — потому что, с одной стороны, короли прусский и английский, приняв на себя вид повелителей вселенной, явным образом мешают нам во многих делах, с другой же, что государыня и Совета члены... не полагают мщению соразмерных обстоятельствам пределов, и нет между раздраженными частями посредника».

В письме 7 ноября императрица просила Потемкина не оставлять ее «среди интриг» и настаивала на его скорейшем приезде в столицу после взятия Очакова^[1390]. На ту же необходимость указывал и Гарновский, прося поспешить не только «для направления дел», но и для того, чтобы «царицу нашу, колеблющуюся без подпоры, огорчения с ног не свалили».

Надвигавшаяся угроза новой войны донельзя накалила обстановку при дворе. Противостояние по вопросу о возможном разрыве с Пруссией пролегло не между различными партиями, а внутри отдельных группировок между вчерашними союзниками и друзьями. Граф Андрей Петрович Шувалов, один из деятельных членов «социетета», открыто выступил в Совете против обострения отношений с берлинским двором, к нему присоединился генерал-прокурор А. А. Вяземский, обычно придерживавшийся особого мнения. Им возражали А. Р. Воронцов, П. В.

Завадовский и А. А. Безбородко. «Воронцов — главная всему пружина, — говорил Гарновскому Дмитриев-Мамонов, — Завадовский — первый ему друг, Макиавель и исполнитель на бумаге умоначертаний Воронцовых, а Безбородко — верховая лошадь Воронцова, человек, впрочем, добрый и полного понятия, но по связям своим опасный».

Не лучшую характеристику Воронцову дал и Шувалов: «Когда мне случалось говорить с ним о делах государственных способом, его образу мыслей не соответствующим, то он мне всегда отвечал: „Чего Вы хотите от этой сумасшедшей страны и от этого сумасшедшего народа?“ Он нередко внутренне сам смеется предложениям государыни, но не только никогда не отвлекает ее от дел, коих худые следствия он предвидит, но еще поощряет ее на то, дабы только идти всегда вопреки его светлости и не лишиться себя доходов... Сей человек, обогащенный императором и французским двором, не жилец здешнего государства: при первом удобном случае переселится он в чужие края»^[1391]. В условиях нараставшей взаимной ненависти и обличений обстановка при дворе тягостно действовала на императрицу.

Советы Потемкина сдерживать гнев и «менажировать» Пруссию «крайне не полюбились» Екатерине, так что «государыня принималась неоднократно писать выговоры»^[1392]. Прочитав письма князя о необходимости перемены «политической системы», в силу которой Россия готовилась противопоставить себя «лиге» в целом, Екатерина проплакала всю ночь^[1393], а наутро, 27 ноября, написала Григорию Александровичу колкое письмо, полное выпадов против Фридриха-Вильгельма II. Она обвиняла его в антирусской агитации в Варшаве. «Сия, чаю, продлится дондеже соизволит вводить свои непобедимые войска в Польшу и добрую часть оной займет. Я же не то чтоб сему препятствовать, и подумать не смею, чтоб его королевскому прусскому величеству мыслями, словами или делом можно было чем поперечить... Предпишутся мне самые легонькие кондиции, как, например: отдача Финляндии, а, может быть, и Лифляндии — Швеции, Белоруссии — Польше, а по Самару реку — туркам, а если сие не приму, то воину иметь могу... Я начинаю думать, что нам всего лучше не иметь никаких союзов, нежели переметаться то туды, то сюды, как камыш во время бури. Я к отмщенью не склонна, но провинции за провинцией не отдам. Законы себе предписывать, кто даст? Они позабыли себя и с кем дело имеют! ...Возьми Очаков и сделай мир с турками, тогда увидишь, как осядутся, как снег на степи после оттепели, да поползут, как вода по отлогим местам»^[1394].

Положение дел настоятельно требовало присутствия Потемкина в

Петербурге, но для того, чтобы сломить сопротивление своих противников и заставить императрицу отказаться от избранной политической системы, он должен был вернуться в столицу победителем Очакова.

«Осень во время осады Очакова»

Сидение под Очаковым было не просто долгим, а нарочито долгим. Румянцев даже прозвал крепость потемкинской Троей^[1395], намекая на то, что светлейший князь намеревается, по примеру гомеровских героев, осаждать ее лет десять. В реальности крепость осаждали шесть месяцев, но говорили о ее взятии с начала войны, то есть полтора года. За это время Очаков стал неким постоянным явлением жизни, под его стены ездили за славой, а потом возвращались в тесный семейный круг рассказывать о великих деяниях «росских Ахиллесов». Долгожданное падение крепости должно было оставить в сознании современников брешь и тем сильнее потрясти их.

Сентябрь выдался теплым и принес с собой под Очаковым неожиданное приключение из другой, не военной жизни. Жены генералов П. С. Потемкина и А. Н. Самойлова уговорили одного унтер-офицера, ехавшего в армию из Херсона, тайно проводить их туда. Они оделись в крестьянское платье и сообщали на постах, что везут товары. Храбрые дамы сильно удивили мужей своим прибытием, но те, опасаясь вызвать гнев светлейшего, велели супругам отправляться обратно. Не успели расстроенные кумушки отъехать и версты от лагеря, как их настиг курьер Потемкина с повелением препроводить «шпионов» пред его ясные очи. «Шпионы» были задержаны и прожили в лагере три дня.

Это было не единственное посещение. В ноябре жена Павла Сергеевича Потемкина приехала уже в третий раз. Прасковья Андреевна (в девичестве Закревская) была моложе супруга на 20 лет и слыла красавицей. Ей исполнилось 25, многие офицеры за ней ухаживали, но дама отличалась скромностью. Однажды некий майор Обрезков, «петиметр не последний», как замечал Цебриков, решил передать ей любовную записку. Он прикрепил к ее карете букет цветов и сунул в руку письмо, дав при этом лакею червонец, чтоб молчал. Однако лакей тут же обо всем доложил барину, да и сама Прасковья Андреевна, едва приехав к мужу, отдала ему записку Обрезкова. Тот пришел в негодование и отправился к командующему приносить жалобу. Записка попала в руки светлейшего князя, а злополучный червонец был вручен красному от стыда петиметру в

присутствии целого штаба офицеров, что вызвало немало смеха^[1396]. Может быть, именно тогда Григорий Александрович впервые взглянул на Парашу Закревскую не просто как на жену троюродного брата, а как на женщину, способную возбуждать безумства влюбленных мужчин. Пока, под Очаковым, ему было не до новых походов, но случай запал в память.

Весь сентябрь велся планомерный обстрел укреплений неприятеля. Князь распорядился, чтобы пальба была не частой, но непрерывной. В первую очередь следовало разрушить турецкие батареи. То же самое делал и флот, но с моря. Светлейший положил матросским экипажам награды за взятое судно 200 рублей, за сожженное — 50. Распоряжения Потемкина не раз обсуждались среди офицеров, медлительностью осады были недовольны не только австрийцы. Находились и свои недоброжелатели, обвинявшие командующего в неспособности взять город. Тем более интересен отзыв Репнина, которого заочно считали противником Потемкина. Цебриков приводит слова Николая Васильевича: «Светлейший князь всеконечно великой души и слишком милостив; не однажды князь Репнин говаривал, что князь Потемкин наилучшие отдает распоряжения, и самые такие, кои наиболее клонятся к пользе Отечества и благоденствию человечества; но жаль, что исполнители оных не с таковым рачением и усердием за оные принимаются. И в самом деле, ежели рассудить о его делах, то не иначе сказать можно, что душа его великая движима человеколюбием и усердием распространять около себя блаженство. Какие выгоды для солдат — какие им пособия сверх положенного деньгами, хлебом и проч. Сколько дарит офицеров одеждою и прочими снарядами. Истребил варварское зверство мучить солдат, уничтожил глупые стягивания тела и жил — и даже позволил офицерам входить к себе в палатку в холодное теперь время в сюртуках, ведая совершенно, что не уменьшится через сие его достоинство и что сбережение здоровья не лишает нужной против неприятеля храбрости»^[1397].

Иностранные наблюдатели внимательно прислушивались к малейшим раздорам в руководстве русской армии. Принц де Линь писал в августе Иосифу II: «Я стараюсь всячески помирить Репнина с Потемкиным с помощью Св. Библии, которая имеет большую силу над последним, и мартинизма, укротившего всю прежнюю пылкость первого»^[1398].

Есть основания не вполне верить этим словам. Противостояние Потемкина и Репнина — двух талантливых, амбициозных людей, придерживавшихся разных духовных и политических ценностей, —

казалось желательным для всех недовольных князем. Однако изнутри их отношения выглядели иначе. Оба понимали, что не в праве ослаблять руководство армии своими разногласиями. В продолжение всей осады Очакова Репнин поддерживал командующего, старался подавить ропот. Он был согласен с длительностью операции и считал распоряжения Потемкина правильными.

По чинам Репнин был первым после светлейшего командиром в Екатеринославской армии, и именно его князь рассматривал как свою замену на случай отъезда, болезни или ранения. Недаром общее руководство штурмом крепости было доверено командующим Николаю Васильевичу. Со своей стороны расторопный и храбрый Репнин в критический момент раньше других оказывался в нужном месте. Под его прикрытием Суворов отступил после несчастного «шармицеля».

Во время опасной поездки Потемкина по Лиману под батарею Гассан-паши именно Репнин первым отдал приказ действовать. «Князь Репнин, следивший с берега за нами, — вспоминал Дама, — велел быстро выдвигать вперед несколько полевых орудий, чтобы защитить нас, куда бы мы ни направились»^[1399]. А ведь Репнин мог спокойно вместе с другими зеваками наблюдать за тем, как турки преследуют лодку командующего и даже не пошевелить пальцем для его спасения. Смерть или пленение Потемкина отдавали армию под Очаковом в его руки. Соблазн был велик. Но Репнин не поддался ему. Жаль, что в 1791 году, после Мачина, Николай Васильевич подчинился орденской, а не воинской дисциплине и, заключая прелиминарные пункты мирного договора, предпочел выгоды своей политической партии выгодам России в целом. Однако об этом позднее.

В октябре начались побегии из армии и попытки укрыться у противника. Случаи были единичны — «канонир, четыре егеря, потом еще один», — но и они встревожили офицеров. Причину искали в том, что «солдат теперь сбалован» мягкостью командующего. «Чего хотеть солдату, когда командующий запретил их бить и за великую вину не более 25-ти ударов давать, — рассуждал Цебриков. — Когда сверх всего, им по штату положенного, производить велел мясо, хлеб, водку и по 15 копеек тем, кто работает в ночь в траншеях или на батареях»^[1400]. Однако ни сытость, ни человеческое обращение не принимались в расчет на пороге зимы, которая в степях весьма сурова. «Идет седая чародейка, / Косматым машет рукавом...» — писал Державин в оде «Осень во время осады Очакова». Бежали в первую очередь от скорых холодов, которые грозили застигнуть армию на позициях.

Уже с 10 октября не прекращались сильные бури. С дровами было туго, и готовить кашу приходилось, используя кизяк или даже «замерзший кал человеческий». «Нет ничего сожальнее, — писал Цебриков, — как смотреть на горюющих солдат, которые везде по армии бродят и собирают навоз, а ежели посмотреть на их жилища полевые, то нельзя не содрогнуться от ужаса, как они могут сносить холод и стужу, укрываясь одним плащом и часто еще разорванным». Вскоре начали подвозить теплые палатки, к концу октября вырыли землянки «отменно хороши, просторны, со многими покоем — видно, что зимовать надобно». Лучший биограф А. В. Суворова позапрошлого века А. Ф. Петрушевский замечал, что «забота Потемкина о солдатах была изумительная»^[1401], свою просторную теплую палатку князь отдал раненым, а сам переселился в маленькую кибитку. Войска были обеспечены тулупами, валенками, войлочными палатками и кибитками^[1402]. Однако даже в таких условиях воевать было нелегко — на холодном пронизывающем ветру заряжать ружья, долбить лопатами мерзлую землю, готовить еду, выходить в караул — все это уже в октябре стало мучительно, а впереди был еще целый месяц осады.

Из-за штормов гребная эскадра перестала выходить в Лиман. На плаву держались только большие суда, а мелкие тонули. Это обстоятельство вызывало большую тревогу, потому что 4 и 5 октября вернулся значительно увеличившийся флот капудан-паши. Теперь он насчитывал 87 судов различной силы и величины. А 15 октября ставку покинул Нассау-Зиген. Так и не дождавшись штурма, он уехал сначала в Варшаву, а затем в Петербург «более с досады, нежели по болезни». Воевать летом в спокойных водах было совсем не то же самое, что сейчас. Под самым носом у принца из крепости ушли 18 турецких кораблей, а он даже не пошевелил пальцем. На что Потемкин выразил ему неудовольствие, спросив, не ослеп ли Нассау. Со своей стороны принц жаловался, что «обязан подчиняться плохо рассчитанным распоряжениям». «Зная его характер, — заметил Дама, — я предвидел бурю, которая должна была разразиться. У него действительно произошел с князем Потемкиным очень горячий спор, после которого он на три дня заперся в своей палатке, не ходил к князю, ожидая все время извинений с его стороны. Но князь по своему характеру не умел ни уступать, ни склоняться перед увещаниями, когда они выражались в беспокойной форме. Он ничем не поступился в пользу Нассау. Раздраженный этим принц написал ему, прося пропуска. В ответ он получил пропуск без дальнейших объяснений, без задержки и отбыл в Польшу»^[1403]. Его отъезд вызвал разговоры среди русских

офицеров, что-де «теперь лишь только приходит время показать храбрость и неустрашимость». По поводу ухода Нассау Потемкин бросил: «Славны бубны за горами»^[1404].

В своем желании укрыться от холодов Нассау-Зиген был неодинок. «Политической болезнью» страдал и храбрый бригадир Хосе де Рибас. Он не выдержал службы дежурного офицера при светлейшем князе — слишком много оказалось разъездов — и жаловался, что «от сей одной езды натер себе в задней мозоли»^[1405].

12 октября лагерь покинул де Линь, «возмущенный тем, что не мог добиться от князя Потемкина действий, которые бы более сообразовались с его инструкциями, отправился на генеральную квартиру фельдмаршала Румянцева, собираясь попробовать расположить его в пользу своих желаний»^[1406]. Весельчак принц ввязался в придворную интригу и надеялся совместными усилиями с партией Воронцова «спихнуть» Потемкина, а на его место продвинуть Румянцева. Принц писал о своем отъезде: «Я оставляю дикое обхождение и азиатскую тонкость фельдмаршала (Потемкина. — О. Е.), чтобы явиться к другому (Румянцеву. — О. Е.) у коего европейские приемы скрывают некоторую благородную гордость; ...он любезен, пленителен; имеет воинственный вид; внушает энтузиазм во всю армию, удерживает ее в границах дисциплины. Европа его уважает, а турки трепещут»^[1407].

Судя по описанию, де Линь совсем не знал Румянцева — талантливого, но жесткого и грозного с окружающими. Фельдмаршала «трепетали» не только турки, но и подчиненные, семья, бывшие сослуживцы. Л. Н. Энгельгардт описал случай, когда он однажды по неведению нарушил запрет фельдмаршала салютовать тому во время марша: «Представьте мой ужас! Фельдмаршал на меня кричал самым страшным голосом; вид его представлял, чего вообразить невозможно: ноздри раздувались, глаза яростно сверкали. Как скоро я услышал этот голос и увидел страшный его вид, то так оробел, что не слышал ни одного его слова». При всем том служивые Румянцева любили. Энгельгардт записал их слова при встрече с командующим: «Старые солдаты говорили: „Насилу мы тебя, нашего отца, увидели“. Поседельный унтер-офицер, обвешанный медалями, сказал фельдмаршалу: „Вот уж, батюшка, в третью войну иду я с тобою“. — „Ну, друг мой, отвечал граф, в четвертый раз мы вместе с тобой уж воевать не будем“».

Однако любезность, пленительность, благородное обхождение и «европейские приемы» не были среди отличительных качеств знаменитого

военачальника. Зато был один важный пункт, который заставлял де Линя до сих пор держаться Потемкина. Петр Александрович ненавидел австрийцев едва ли не сильнее турок. Чувство это возникло еще в годы Семилетней войны, когда он молодым генерал-майором убедился, что «цесарцы» — никакие союзники. Куда больше Румянцев уважал пруссаков, с которыми ему пришлось драться. В 70-х годах он даже совершил путешествие в Берлин, был с помпой принят Фридрихом II и на всю жизнь сохранил добрые чувства к старому королю. Когда в начале 80-х годов складывался русско-австрийский альянс, Румянцев был его противником и не раз высказывал государыне свое мнение.

Однако политическая обстановка менялась, молодые протеже Румянцева — Завадовский и Безбородко — набрали вес при дворе и посчитали выгодным создать в союзе с Воронцовым проавстрийскую партию. Теперь завзятый неприятель «цесарцев» оказался нужной им фигурой, чтобы потеснить Потемкина. Члены «социетета» умело стравливали светлейшего со старым фельдмаршалом. «Никто столько нас не злословит, как граф Александр Романович Воронцов, — доносил Гарновский. — „Когда б я был на месте графа Петра Александровича Румянцева, то дал бы я себя знать князю. Как это можно требовать, чтобы все повиновались князю? Графу цена известна. Я бы на месте его просил государыню, чтобы не только армию, но и князя поручили бы мне в команду, а иначе от всего бы отказался. Сами станут после искать. Я не понимаю, зачем нас посадили в Совет, что мы — чучелы, что ли? Нельзя ни о чем говорить; все только то хорошо, что делает князь“»^[1408].

Но напрасно Воронцов ставил себя на место Румянцева, мечтая, чтобы «князя поручили» ему «в команду». Екатерина никому не хотела подчинять Потемкина, кроме себя. Более того, чем сильнее давили на нее, тем отчаяннее она держалась за Григория Александровича. «Не только фельдмаршал, но если б и вся Россия вместе с ним противу князя восстали, я — с ним», — сказала она Гарновскому.

Светлейший князь понимал, что миссия де Линя у Румянцева заранее провалена. Об его отъезде тоже можно было сказать: «Славны бубны за горами». Старый вояка и завсегдатай парижских светских гостиных не могли найти общего языка и только раздражали друг друга. «Цесарские войска непрестанно, хотя и не было генеральной баталии, но во многих сражениях турками были поражаемы, — вспоминал Энгельгардт. — Император неоднократно просил фельдмаршала сделать движение для диверсии в пользу австрийцев, но граф и с места не тронулся, под видом, чтобы при его движении не открыть места, через которые турки могли

подать секурс Очакову. Неоднократно для сего приезжали в лагерь австрийские генералы: Иордыш, Сплени и Карачей; а сверх того, для наблюдений наших действий, при нашей армии был полковник Герберг, под исход же кампании из-под Очакова приезжал в Яссы принц де Линь. Несмотря, однако ж, на его красноречивые убеждения, фельдмаршал и шагу не сделал»^[1409].

Покидая лагерь под Очаковом, принц де Линь заметил важную особенность: иностранные волонтеры и наблюдатели толпой повалили из армии. «Браницкий поехал в свои деревни, Нассау в Петербург... Ксаверий Любомирский и Сологуб в Польшу, а прочие генералы не знаю куда; они все соскучились здесь и почти все занемогли»^[1410]. Бросается в глаза, что именно после отъезда большинства иностранных военных развернулась деятельная подготовка к штурму. Как будто князь ждал отлета этих птиц в теплые края.

Из иностранцев остался один упрямец Дама, считавший ниже своего достоинства пасовать перед холодом. Однако парижанину пришлось зимой в степи трудновато. «Земля была на два фунта покрыта снегом, стояли морозы 12–15 градусов, да к тому же еще и ураганы с моря, часто опрокидывавшие палатки... Нельзя было лечь спать, чтобы утром не проснуться покрытым снегом... Вследствие недостатка фуража три четверти кавалерии отправлены были на квартиры... У меня оставалось всего две лошади, одну из которых я держал под наметом своей палатки, чтобы согреться об нее... Генералы, имевшие по несколько экипажей, сохранили по одному, пожертвовав остальные на дрова... На всех солдатах были шубы и башмаки, подбитые мехом, поверх сапог, а унтер-офицеры находились в постоянном движении по всему протяжению армии и будили людей, цепеневших от холода»^[1411].

Целый месяц турецкий флот болтался у острова Березани без дела, поскольку непогода мешала ему, так же как и гребной флотилии. 15 ноября он поднял паруса и ушел восвояси. Русские проводили его залпом из всех орудий и криками «ура». Теперь судьба Березани была предрешена. 18 ноября «князь доставил нам поистине театральное зрелище, — вспоминал Дама, — атаки острова Березани запорожцами... Начальник посадил 1500 человек в маленькие шлюпки, ими самими сделанные, отправился в ряд от берега, к которому примыкал наш лагерь, и с угрожающими криками подплыл к острову. Вопреки картечному залпу, который им пришлось вынести, они осуществили вылазку и принудили турок укрыться в крепости. Турки стали кричать, что хотят сдаться на капитуляцию»^[1412]. От

них было пропущено два парламентаря к Потемкину, которые сдались без всяких условий. Жителям и гарнизону была сохранена жизнь и имущество. Квартирмейстер генерал-майор Н. М. Рахманов принял крепость в русское подданство. Сдавшийся паша был привезен в лагерь в шлюпке, ему подвели «княжью лошадь в серебряном уборе» и препроводили в отдельный дом, где он должен был содержаться в плену с подобающим его положению достоинством.

Через несколько дней гарнизон Очакова, разозленный сдачей Березани, отплатил неприятелю. 20 ноября Потемкин приказал возвести батарею из 24 орудий напротив главного бастиона города. С близкого расстояния она пробивала в стене большие бреши. Турки предприняли ночную вылазку, сумели на короткое время завладеть батареей, даже водрузили на ней свой флаг, но были отброшены резервом. При этом был убит генерал-майор Степан Петрович Максимович, человек храбрый и весьма любимый в армии. Турки отрубили ему голову и унесли с собой в город. Зверский обычай отрезать головы давно возмущал добродушного Цебрикова. На этот раз его описание особенно ярко: «В сем случае много с нашей стороны перерезали османы, напав на сонных, многим отрезали головы, унося их с собою и взоткнув их на штыках, расставили по валу; между сими головами примечена и генерала Максимовича, и как о сем донесено было князю светлейшему, он с сердцов велел лежавшим, побитым туркам около батареи отрезать головы и привезть в стан меж солдат, что и учинено было. (Другие говорят, что в том было недоразумение и что князь светлейший не приказывал сего учинить.) Боже мой, какой отвратительный взор! Головы сии отрубленные везде возимы были по лагерю, человеки сбегались со всех сторон... вопя: штурм! штурм!»^[1413]

Упорство турок показывало, что лишь приступ может принудить Очаков к сдаче. «Мороз был 20–24 градуса, — писал Дама. — Армия только и желала попытать счастье, лишь бы избавиться от мук голодной и холодной смерти»^[1414].

Штурм

К декабрю положение крепости стало критическим. Осадные работы были окончены, что сразу высвободило значительное число солдат для будущего штурма. Турецкий флот удалился из-под порядком поврежденных стен Очакова зимовать на юг. Помощи осажденным ждать было неоткуда.

Утром 6 декабря в результате короткого штурма, продлившегося час с четвертью, крепость пала. Потери турок составляли 9,5 тысячи убитыми и 4 тысячи пленными, русская армия лишилась 926 человек убитыми и 1704 ранеными [\[1415\]](#).

Накануне несколько дней продолжались ветер и сильная метель. Из-за непогоды Потемкин отложил дело с 4 на 6 декабря. Кроме того, 6-го был день Николая Чудотворца, и с Божьей помощью князь надеялся на благополучный исход. Ход штурма блестяще описал Роже Дама. Ему в командование Потемкин выделил отряд из своего любимого полка екатеринославских гренадер, что свидетельствовало о большом расположении. Атака производилась пятью колоннами по 5 тысяч человек каждая. Первая должна была атаковать нижнюю часть города, предместье и батарею Гассан-паши. Вторая — направиться к так называемым Стамбульским воротам. Третья колонна отвлекала турецкое войско, находившееся в окопах перед стенами. Четвертая поддерживала ее с левого фланга. Пятой следовало взять приступом городской бастион с пробитыми брешами, через них проникнуть в город и помочь открыть Стамбульские ворота. Общее командование осуществлял Репнин.

В 4 часа утра войска собрались за лагерем и приняли благословение священников. В 6 часов колонны были образованы и заняли позиции. Было предписано строжайшее молчание во время перехода по траншеям к стенам города. Сигналом к атаке служили три бомбы, взорванные на заре. При первой солдатам следовало сбросить шубы и меховые башмаки, при второй — приготовиться, при третьей — выступать. Потемкин ночь провел в траншее.

Дама во главе 800 гренадер шел на пике второй колонны. «Уже ощущалось приближение зари, — писал он. — Раздалась первая бомба. Все мы были на своих местах; сбросили шинели и приготовились. Третья бомба двинула всех вперед... Но тишина была нарушена. Все время повторявшиеся крики „ура“ предупредили о нашем приближении турок... Я направился ускоренным шагом к Стамбульским воротам, опрокидывая штыками плохо сформированные турецкие войска... Замкнутой колонной я достиг края рва, площади перед воротами». Турки открыли створки, чтобы выпустить сильную колонну на помощь своим, находившимся перед окопами города. Они не ожидали, что противник окажется так близко, и буквально врезались в отряд Дама. Под сводами ворот «началась ужасная непродолжительная резня, турки были опрокинуты, и трупы падали на трупы... Мой отряд прошел этот темный кровавый свод, и мы очутились

внутри города, покрытые кровью и мозгом»^[1416].

«Только пролив достаточно турецкой крови, русские солдаты согласились отдохнуть. Ровно в шесть часов русские вышли из траншеи; без четверти девять наступила полнейшая тишина, весь город был взят и 11 000 турок прошли под ярмом. У русских было 2–3 тысячи убитых и раненых». Цифры потерь, указанные Дама, практически совпадают с официальными. Вместе убитых и раненых по ведомости — 2630 человек. Это говорит о том, что потери в донесении императрице не были занижены.

Озлобление как нападавших, так и оборонявшихся было невероятным. Турки отбивались даже древками знамен. «Проходя через свод, — рассказывал Дама, — наступая с трупа на труп, левая нога моя попала в промежуток глубиной в три или четыре трупа. Человек, лежавший на самом низу и уже умиравший, схватил меня зубами за сухую ахиллесову жилу и вырвал кусок сапога и чулка. У меня только покраснела кожа, но не была содрана»^[1417].

7 декабря уже из крепости Потемкин направил Екатерине письмо о взятии Очакова. «Поздравляю Вас с крепостью, которую турки паче всего берегли, — писал князь. — Дело столь славно и порядочно произошло, что едва ли экзерциции бывают лучше. Гарнизон до двадцати тысяч отборных людей, не меньше на место положено семи тысяч, что видно, но в погребках и землянках побито много»^[1418].

Следует отметить, что командующий, рассчитывая наиболее удачное время для штурма, не поддавался соблазну принести императрице Очаков в дар ко дню святой Екатерины — 24 ноября. «Не довольно еще были сбиты укрепления крепостные, чтоб можно было взять, — пояснил он в письме 7 декабря, — и коммуникация еще не поспела для закрытия идущей команды левого фланга на штурм, без чего все бы были перестреляны».

Когда пленного очаковского коменданта трехбунчужного Гассан-пашу вели мимо Потемкина, князь, досадовавший на жестокость штурма, в сердцах крикнул ему: «Твоему упрямству обязаны мы этим кровопролитием!» — «Я исполнял свой долг, а ты свой, — отвечал комендант. — Судьба решила дело»^[1419]. Однако остальным пленным было не до долга паши. Цебриков описал их страдания: «Женщины испуганные, дети замерзлые — страшная сцена! Плач — везде смерть торжествует... Прежестокий мороз, и много пленных померло... Иных опять отсылали в город жить... Был в Очакове, в коем ничего более не видел, как множество побитых турков и наших кучами, а особливо перед воротами во рву; дома

все разорены»^[1420].

Каким бы лихим, в отличие от Цебрикова, ни казался Дама, его тоже угнетал вид трупов. «Потребовалось несколько дней, чтобы жители, спасшиеся от резни, перенесли мертвых на середину Лимана, потому что земля настолько промерзла, что нельзя было их похоронить. Они оставались на льду при устье реки до первой весенней оттепели. Тогда вода своим течением увлекла их в море вместе со льдинами»^[1421].

Известие о взятии Очакова вызвало ликование в Петербурге и коренным образом изменило положение при дворе в пользу светлейшего князя. Его критики вынуждены были замолчать, а императрица вновь обрела уверенность в себе и сменила слезы, столь частые для нее в последнее время, на искреннюю радость. «За уши взяв обеими руками, мысленно тебя целую, друг мой сердечный, — писала она 16 декабря. — Все люди вообще чрезвычайно сим счастливым происшествием обрадованы, я же почитаю, что оно много послужит к генеральной развязке дел... Теперь мириться гораздо стало ловчей... Всем, друг мой сердечный, ты рот закрыл»^[1422].

В конце письма Екатерина вновь повторяет просьбу о скорейшем приезде князя в Петербург. Уже 16 декабря Государственный совет обсуждал возможные условия мира с Портой^[1423], но императрице не хотелось, чтобы столь важные вопросы решались в отсутствие Потемкина.

К 20 декабря план Очакова был снят, потери и полученные трофеи точно пересчитаны, а списки отличившихся во время штурма составлены. Это позволило командующему послать в Петербург подробные донесения: «С таким все исполнено порядком, что я смело могу утверждать: подобного никто из служащих здесь не видел... Стремление столь сильно, что через пять четвертей часа все пало, по милости Божией, под российский меч. А на вечер представился город разоренным и обитаемым мертвыми телами»^[1424]. «Первые три дни проходу не было от тел турецких, которые кучами лежали, а паче на мосту, — продолжал он в другом донесении. — Город был торговый и богатый, множество достали денег... немало жемчугу и уборов золотых и серебряных, многие солдаты шли домой в горностаевых шубах»^[1425]. В крепости было взято 310 пушек и мортир, а также 780 знамен с переломанными древками, так как турки оборонялись до последнего, даже флагами.

Отправление почты 20 декабря пришлось задержать из-за сильных метелей до 26-го числа. Потемкин отдал всю свою просторную ставку под раненых, а сам с канцелярией поместился в одном кабинете. Мысленно

возвращаясь к минувшему штурму, князь писал: «Простой маневр не удастся с такой точностью... Это было, как вихрь, сильной, сильной, обративший город вверх дном». Управившись с делами, Григорий Александрович обещал приехать и укорял Екатерину за то, что она гневалась на него в последних письмах. «Усердие мое того не заслуживает, — замечал он. — Я не по основаниям графа Панина думаю, но по обстоятельствам. Не влюблен я в прусского короля, не боюсь его войск, но всегда скажу, что они всех прочих менее должны быть презируемы... Пространство границ не позволяет нам делать извороты, какие употребительны в земле малой окружности. Неловко иметь двух неприятелей, а то будет пять»^[1426].

В своих донесениях и письмах императрице Потемкин подчеркивал особую «экзерциционность», как бы учебность, штурма крепости. Следует отметить, что практически вся очаковская операция напоминает громадные полевые маневры, проведенные в реальной боевой обстановке. Правильная осада Очакова представляла собой идеальные условия для обучения солдат: они участвовали в обширных фортификационных работах, минировании турецких укреплений, бомбардировке города с моря и «с сухого пути», сменяющими друг друга отрядами отражали вылазки неприятеля, отрабатывали приемы ближнего рукопашного боя и привыкали ходить в штыковую атаку. Именно в результате очаковской операции неуверенные в себе рекруты, нестройной толпой бежавшие, потом наступавшие под Кинбурном, превратились в солдат, способных «за пять четвертей часа» взять штурмом главную черноморскую твердыню Турции, действуя при этом с маневровой точностью. Задачей кампании 1788 года было не только овладение Очаковым, но и создание из новобранческих войск настоящей армии. Обе эти цели были достигнуты Потемкиным с минимальными потерями.

Екатерина высоко оценила выдержку светлейшего князя. После взятия Очакова, когда правота Потемкина в затягивании штурма была доказана малым числом жертв, императрица в ответ на поздравления де Линя написала письмо, в котором ясно дала понять принцу, что она знает о его неблагоприятном поведении. «Прежде чем начать приступ этого города, — говорила Екатерина, — фельдмаршал князь Потемкин, разумеется, испытал все другие средства. Самым удобным временем для этого предприятия было неоспоримо то, когда Лиман, покрытый льдом, делает недоступною со стороны моря помощь для осажденных... Но нетерпение молодых людей, полных отваги, или в большей или меньшей степени легкомысленных, завистников, врагов открытых и скрытых, конечно,

невыносимо в подобном случае и подвергли бесконечным испытаниям непоколебимую твердость и настойчивость фельдмаршала, что и доставляет ему в моих глазах самую большую честь. Между прочим прекрасными и даже великими качествами его души я всегда видела в нем способность прощать своим врагам и воздавать им добром; этим-то именно он и умел одерживать верх над ними. На этот раз он в полтора часа разбил турок и обезоружил тех, кто его осуждал. Теперь говорят, что он мог бы взять Очаков ранее; это правда, но никогда не мог бы он взять его с меньшею невыгодою»^[1427].

Падение Очакова улучшило международное положение России. «Перемена от Каира до Стокгольма, от Багдада до Филадельфии!»^[1428] — писал Потемкину Суворов. Однако князь не разделял распространенного тогда мнения, что война после взятия крепости, которую турки считали ключом от Черного моря, будет окончена. Он был уверен, что европейская коалиция поддержит угасающие силы Порты, обещая ей субсидии и военную помощь. Следовательно, предстояла долгая борьба с «лигой».

ГЛАВА 15

«ЩЕГОЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ»

Закончив устройство армии на зимние квартиры, Потемкин поспешил в Петербург. Его беспокоили настроения императрицы, отказывавшейся «менажировать» прусский кабинет. «Что ты пишешь от усердия, о том спора нету, — говорила Екатерина 3 января, — но как мною сделано все возможное, то мне кажется, что с меня и более требовать нет возможности, не унижая достоинства, а без сего ни жизни, ни короны мне не нужно... Я гневных изречений с тобою, мой друг, кажется, не употребляла, а что оскорбления короля прусского принимаю с нетерпением и с тем чувством, с которым прилично, за сие прошу меня не осуждать, ибо я недостойна была бы своего места и звания, если б я сего чувства в своей душе не имела»^[1429]. Потемкин был уверен, что при личном свидании ему удастся разрешить все противоречия. «Я с Вами одномыслию, истолкование все согласит»^[1430], — отвечал он.

В Петербурге

Известие о скором появлении светлейшего князя в столице вызвало суматоху при дворе и беспокойство в среде иностранных дипломатов. Создавалось впечатление, что в оставленный дом возвращается строгий и взыскательный хозяин. «У нас теперь такое время, каковому, по писанию, надлежит быть перед Вторым пришествием, — с усмешкой сообщал 3 января Гарновский, — стоящие ошую трепещут, одесную же радуются, судимы будучи плодами дел своих». Даже императрица волновалась. «Говоря иногда о слабости здоровья, признает присутствие его светлости здесь необходимо нужным и располагает, когда его светлость сюда прибудет, отсель уже никуда не выпускать. Иногда же, помышляя о приезде его светлости, тревожится. Сильно хочется удержать теперешнюю политическую систему, говоря, что и его светлость опрокинуть оную не может»^[1431].

Потемкин прибыл 4 февраля^[1432]. В письме к Семену Воронцову 7 марта Безбородко признавался, что присутствие князя принесло заметное облегчение в делах и прекратило на время грызню придворных

группировок. Важнейшим результатом усилий Григория Александровича было смягчение наметившегося противостояния с Англией. «Князь сильно настоял, чтоб все трудности были совлечены с пути, и насилу успел, — заключает Александр Андреевич, — ибо у нас думают, что добрыми словами можно останавливать армии и флоты»^[1433].

В течение двух месяцев правка императрицы на документах, подготовленных Безбородко, уступает место привычной по довоенному времени правке Потемкина^[1434]. Находясь в столице в феврале — мае 1789 года, князь занимался комплектованием армии, закупкой продовольствия, переговорами с представителями конфедерации в Аньяла, польскими делами, укреплением войск и флота, действовавших против Швеции.

3 марта Украинская и Екатеринославская армии были объединены под общим командованием Потемкина. Инициатива исходила от императрицы, она была недовольна медлительностью Румянцева и его нежеланием согласовывать свои действия с операциями остальных войск. Еще до приезда Потемкина Екатерина писала ему 3 января: «Мое мнение есть фельдмаршала Румянцева отозвать от армии и поручить тебе обе армии, дабы согласнее дело шло»^[1435]. Старая идея Потемкина об объединенном командовании, во главе которого он в начале войны видел своего учителя, восторжествовала в новых политических условиях. Теперь, после взятия Очакова, военный приоритет принадлежал в глазах «публики» светлейшему. «Первый на ум... пришел Григорий Потемкин, — писала ему Екатерина о выборе главнокомандующего, — но не знала, согласится ли на сию черную работу, хотя и не белоручка»^[1436].

Почему императрица называет командование объединенными войсками «черной работой»? Еще в начале войны, ознакомившись с предложением князя о передаче общего руководства Румянцеву, она писала: «Не понимаю, как одному командовать ужасной таковой громадою?»^[1437] Если бы Григорий Александрович согласился на ее предложение теперь, то ему предстояло управлять целыми фронтами, перед каждым из которых стояли свои задачи. Такого опыта тогда не было^[1438]. Колебания князя разрешил сам престарелый фельдмаршал Румянцев. «По моему обыкновению, не скрываясь, Вам говорю, — обращался он к Потемкину, — что не может лучше и пойтить наше дело в сем краю, как верно под одним Вашим начальством»^[1439].

Объединение армий под командованием светлейшего было страшным ударом для «социетета». Румянцев уходил в отставку, его недобросовестные столичные союзники потеряли возможность

использовать старика в качестве постоянной альтернативы Потемкину. Настроения в этом кругу хорошо рисует письмо Завадовского Семену Воронцову 1 июня: «Благодетель наш фельдмаршал, десять лет сряду угнетаем будучи, имел терпение переносить все неприятное, забившись в свою вишневую нору. В начале нынешней войны упослежден был начальством малого числа войск. Всяк думал, ...что он не примет команды, несоразмерной его славе и заслугам. Пожертвовал он, однако ж, благородным честолюбием слабостям духа или страсти к военному ремеслу. ...Но взятие Очакова совершило его жалкую участь. Тут же пропало к нему всякое уважение. ...Соперник его, прибавя славу дел к своей силе, получил его армию и отмстил за критику, которую без пощады он произносил, не чая быть тому, что случилось... Итак, мой друг, видим в наше время состарившегося Помпея и торжествующего над ним Цезаря. Видим Российского Сципиона, загнанного в деревню на смерть»^[1440].

Находясь в Петербурге, светлейший посчитал нужным встретиться с Завадовским. После злополучной истории с письмом Румянцева Петр Васильевич был среди тех, кто, «стоя ошую, трепетал» приезда князя. Никакого выяснения отношений не произошло. «Князь Потемкин, возвратясь победителем, весьма был ласков и приветлив; раза два гостил в моем доме. Однова, ведя со мною разговор, сказал, что ежели бы он верил тому, что к нему писано, то считать бы должен меня первым своим врагом». Какая выразительная сцена — оба собеседника знают, что Завадовский сподличал, и вот теперь человек, которого он унизил и ослабил, возвратился победителем.

Могущество Потемкина после очаковской кампании было таково, что князь имел возможность раздавить неприятеля. Однако Григорий Александрович этого не сделал. Вигель очень тонко подметил, что в Потемкине «боялись не того, чем он был, а того, чем мог быть». «Не одни дела военные, но все идет по его воле. Он пользуется вещию, а не именем», — заключал Завадовский.

Потемкин обладал неограниченной властью, без титула и названия правителя — читай монарха. Это-то больше всего и раздражало в князе. Члены «социетета» — умные, образованные люди, способные к работе, — были оттеснены более ярким и деятельным человеком. Масштаб личности светлейшего подавлял и заслонял их. Примирение здесь было невозможно.

До 3 марта была закончена работа по составлению плана военных действий на следующую кампанию, расписанию войск по армиям, оговорены меры по комплектованию. Рассуждая о будущей кампании, Потемкин писал Екатерине: «Взятие Очакова Божией помощью

развязывает руки простирает победы к Дунаю, ...но обстоятельства Польши, опасность прусского короля и содействие ему Англии кладут не только преграду, но и представляют большую опасность. Соседи наши, поляки, ...находясь за спиною наших войск и облегла границы наши, много причинят вреда, к тому же еще закажут продавать хлеб».

В качестве неотложных мер князь предлагал: во-первых, усыпить бдительность Пруссии, обещая ей посредничество на переговорах с Турцией; во-вторых, нейтрализовать враждебность поляков, обещав им земли за Днестром; в-третьих, ускорить подписание в Лондоне коммерческого трактата, чтобы сделать обострение отношений невыгодным для Англии.

Потемкин убеждал Екатерину в том, что ее слава зависит не от немедленного отмщения обидчикам, а от умения избежать новой войны. «Мне тут хорошо, где могу положить живот за тебя, — говорит он, — но честь твоего царствования требует оборота критического нынешнего положения дел. Все твои подданные ожидают сего и надеются от твоего искусства»^[1441].

Тяжелая ситуация, в которую попала Россия в связи со складыванием антирусской коалиции, полукольцом охватившей империю на северо-западном, западном и юго-западном направлениях, показала необходимость создания пограничных милиционных формирований, способных защитить окраины в момент первого удара, пока не подойдет регулярная армия. Подобные формирования мыслились Потемкиным как военные поселения по образцу казацких станиц. «Обширность пределов не позволяет поспевать с войсками на помощь... Армия национальная необходимо требует умножения милиции», — убеждал он императрицу. Набирать будущих поселян для пограничной стражи князь предлагал из однодворцев, мещан и ямщиков, которые охотно шли в казаки. «Донцы служат, ремесла отправляют и торгуют как дома, так и за морем», — говорил Потемкин. Военные поселяне и городская стража, «как донцы, ремесленные будут работать, богатые промыслять торгом, а служба им откроет путь к степеням. Будут из них храбрые люди и генералы... Вы государству дадите запасное войско и всегда готовых хранителей, которые в мирное время никакого содержания не требуют»^[1442].

Еще 6 апреля 1788 года князь высказывал мысль о необходимости постепенного перехода от рекрутчины к срочной службе. «Всегдашнее мое мнение было и есть... о срочной службе, ибо в таком случае очередь рекрута будет известна»^[1443]. Приехав в Петербург, он подробнее

обосновал свое мнение: «Умножение войска на счет рекрутских наборов государству вредно, понеже сим оно изнуряется и хлебопашество терпит. Еще больше потому, что солдат служит бессрочно»^[1444]. Начать подобный переход светлейший предлагал после окончания войны, когда войска будут расписаны по губерниям.

Весной 1789 года Франция возобновила попытки заключить союз с Россией. Первые относились еще к декабрю 1787-го и не увенчались успехом. Король Людовик XVI изменил внешнеполитическую линию и постарался сблизиться с Петербургом. Потемкин подозревал версальский кабинет в лукавстве. Сегюр попытался даже использовать личные отношения, чтобы смягчить позицию князя. Однако светлейший остался при своем мнении.

«Ваше сердце не склонно отзываться на дружеские чувства, — взывал посол. — Быть может, ваш ум отзовется на политические выкладки. Я заявил министрам императрицы о желании короля заключить с ней союзный договор и получил от нее самый благоприятный ответ и самое любезное согласие. ...Этим договором мы сможем, как это было в 1756 году, обеспечить взаимную помощь в Германии... Но, быть может, существует иной способ заключить договор, который бы в большей мере соответствовал вашему великому замыслу? ...Окажете ли вы нам поддержку против англичан или закроете вы для них ваши порты, если мы будем действовать совместно против турок?»^[1445]

Франции очень хотелось восстановить союз 1756 года, в результате которого Россия была втянута в Семилетнюю войну и понесла немалые потери, служа чужим интересам. Потемкин считал это ошибкой. Франция предусматривала даже свое выступление против турок, но за это желала, чтобы Россия отказалась от торговли с Англией. Условие почти невыполнимое и крайне невыгодное.

Князь был склонен подозревать французов в двойной игре. Еще в 1787 году, после смерти Фридриха II, Франция старалась втянуть Россию в конфликт с Пруссией. «Я мог бы сменить перо на саблю, — писал тогда Сепор, — и видит Бог, с какой радостью, окажись я в этом году в Германии с французскими и русскими батальонами под началом маршала Потемкина».

Этого-то светлейший как раз не хотел. У него был конкретный враг — турки, а в их войсках и крепостях полно французских офицеров и инженеров. «Не будьте несправедливы к французам, которые находятся у турок, — умолял Сегюр во время осады Очакова. — ...В настоящее время

король избегает всего, что неприятно императрице, но сопоставьте даты; они были посланы туда в то время, когда позиции наши были прямо противоположными и мы опасались нападения (на Турцию. — О. Е.) с вашей стороны».

В 1787 году идея союза была «замолчена» русской стороной. Весной 1789-го Екатерина отнеслась к ней благосклоннее, поскольку питала надежду воспользоваться французским посредничеством для переговоров с Турцией^[1446]. 22 апреля, получив секретное письмо Я. И. Булгакова, все еще находившегося в Семибашенном замке, Потемкин счел нужным пресечь всякие упования императрицы на «честное» посредничество Франции. Шифровка Булгакова содержала запись беседы французского посла в Турции графа Огюста-Лорана Шуазель-Гуфье с капудан-пашой (адмиралом, командующим флотом). «Бесполезно употреблять против императора (Иосифа II. — О. Е.) главные ваши силы, а надлежит вам быть только в оборонительном состоянии обратить всю силу против России, — говорил посол. — Вам труднее победить русских, ибо они лучше обучены и лучше всех знают, как с вами вести войну». Французский план военных действий для турецких войск состоял в том, чтобы блокировать Севастополь, высадить десант в Крыму и направить крупные силы под Очаков. «Прошу извинить беспорядок моего донесения, пишу украдкой, не знаю, дошли ли мои прежние? Ниоткуда и ни от кого не получаю ни ответа, ни одобрения и в сем состоянии стражду уже семнадцать месяцев. Дай Боже, чтоб только доходило, что я пишу. Сего довольно для моего утешения»^[1447], — заканчивал свое послание дипломат.

«Подношу здесь Булгакова письмо. Тут изволите увидеть, в каких руках наши интересы. Они наши враги и всегда будут», — писал князь императрице 22 апреля о французском дворе. Не больше доверия вызывали у Потемкина и австрийские дипломаты. «Добивался цесарский посол иметь число наших войск, не прикажите ему давать, — продолжал князь, — здесь Сегюр узнает, а они все туркам рады показать»^[1448].

Екатерина соглашалась с корреспондентом, но раздражение против Пруссии и Англии прорывалось в приписке: «Англичане и пруссаки не менее же нам враждуют». Потемкин все же сумел добиться от Екатерины более любезного обращения с прусским послом и возобновления переписки с Фридрихом-Вильгельмом II. Это послужило внешним знаком того, что двери к сближению Пруссии и России не закрыты.

В тоже время князь решительно возражал против заключения союза с

Францией. Екатерина и Безбородко видели в нем возможность более успешного противостояния англо-прусскому блоку^[1449]. Однако светлейший предупреждал, что Франция находится в глубочайшем внутривнутриполитическом кризисе, и Россия не сможет на нее опереться. 5 июля, всего за несколько дней до штурма Бастилии, когда русский посол в Париже И. М. Симолин продолжал предпринимать усилия к заключению договора^[1450], а Сегюр уверял, что все перемены в Париже к лучшему^[1451], Потемкин писал императрице: «Франция впала в безумие и никогда не поправится, а будет у них хуже и хуже»^[1452]. Понадобилось всего девять дней, чтобы подтвердить его слова.

Еще в ноябре 1788 года, во время осады Очакова, он сказал Р. де Дама, что Генеральные штаты во главе с Жаком Неккером действуют «на несчастье своей стране, а, быть может, и Европе»^[1453]. Почти за год до трагических событий князь предвидел, как будет дальше развиваться ситуация во Франции.

Пока Потемкин оставался в Петербурге, Екатерина чувствовала себя спокойно и уверенно. Судя по запискам Храповицкого, прекратились частые слезы, тревоги, мелочные выговоры членам ближайшего окружения, возобновились веселые замечания и остроты. Казалось, императрица обрела недостававшую ей опору. В любой момент она могла посоветоваться с князем, обсудить с ним новые назначения.

15 октября прошлого, 1788 года, скончался командующий Ревельской эскадрой адмирал С. К. Грейг. Его смерть произвела тяжелое впечатление в Петербурге. Боялись, что шведы, узнав об этом, предпримут новое наступление. Однако уже в начале ноября море подернулось льдом и вражеские суда ушли зимовать в Карлскрону. Новым начальником эскадры императрица назначила адмирала В. Я. Чичагова. Он был известен ей как один из наиболее искусных мореходов, но имел упрямый, неуживчивый характер и терпеть не мог придворное общество. Перед тем как окончательно утвердить Чичагова в должности, Екатерина решила посоветоваться с Потемкиным и попросила адмирала нанести визит светлейшему.

Со слов Василия Яковлевича, его сын, в будущем тоже адмирал, П. В. Чичагов записал рассказ об этой встрече: «Князь его дружески принял. Между ними был долгий разговор, в котором, ...царствовала с обеих сторон полная искренность. Князь изложил ему политику дня и самые патриотические намерения... Во время этой длинной беседы адмирал не заметил в этом гениальном государственном человеке никаких видов

личного или безрассудного честолюбия. После различных вопросов, относящихся к кампании на Балтийском море, Потемкин в немногих словах изложил свой план против Турции, сделав несколько замечаний об ударах, которые следовало постараться нанести Швеции, и... высказал полную надежду на успех»^[1454]. Потемкин обещал адмиралу поставить его в известность о событиях на Черном море и просил посылать ему краткие сведения о ходе дел на Балтике.

Чичагов вернулся домой совершенно обнадеженным. Князь подал Екатерине благоприятный отзыв о нем, и она утвердила адмирала в должности. Каково же было негодование старого моряка, когда при дворе он познакомился с другими членами Совета и они принялись указывать ему, где размещать батареи. Речь шла об оконечности острова Даго, который на карте нарисован очень близко к шведскому берегу, но в реальности отстоит от него на 20 пушечных выстрелов. Чичагов резко возражал. Министры «были обижены ответами адмирала и припомнили их при первом же случае».

Бросается в глаза разница поведения. Если Потемкин, рассуждая с адмиралом о политических вопросах, как бы поднимал Чичагова до своего уровня, то другие члены Совета унижали моряка, вторгаясь в сферу его компетенции. При этом и Воронцов, и Безбородко, и Завадовский были людьми штатскими, никогда не имевшими дела ни с пушками, ни с кораблями. При этом они считали себя вправе приказывать адмиралу, в то время как князь только просил кратких донесений.

28 апреля двор перебрался в Царское Село^[1455], а 2 мая было получено известие о смерти султана Абдул-Гамида, наступившей 7 апреля в Константинополе. «Как султан умер, то думать надлежит, что дела иной оборот возьмут»^[1456], — писала Екатерина Потемкину 2 мая.

Начало новой кампании звало князя на Юг. Императрица тяготилась мыслью о скором расставании. Она вновь оставалась одна, без ближайшего друга и советника. «Хотя и знаю, что отъезд твой необходимо нужен, однако об оном и думать иначе не могу, как с прискорбием»^[1457], — признавалась Екатерина. Утром 6 мая князь отбыл в армию^[1458].

«В Польше... надо работать»

9 мая Григорий Александрович, ездивший всегда чрезвычайно быстро, был уже в Смоленске, а 11-го числа из своего имения Дубровна под

Шкловом направил императрице донесение о задержке провианта на польской границе: «Из приложений и рапортов генерала Каменского усмотреть изволите о недостатке хлеба и способов к получению оного. Я предписал уже генералу князю Репнину употребить все, что можно к снабжению себя оным»^[1459]. Провиантмейстерская комиссия сообщала, «что за непропусканием через границу в Молдавию польскими войсками вывозимого нами хлеба и задержанием транспорта, и за угроживанием вперед не выпускать» невозможно получить продовольствие для армии. М. Ф. Каменский предлагал «всю амуницию нашу перевозить не из Киева через Польшу, а, не касаясь границ их, из Ольвиополя»^[1460]. Князь одобрил эту мысль. Еще в Петербурге, предвидя подобное развитие событий, Потемкин предлагал послать в Польшу повеление Штакельбергу объявить сейму, что Россия «для отнятия всякого неудовольствия нации» решила перевести все русские магазины за Днепр и транспорты «обратить другой дорогой мимо Польши»^[1461].

Перенос магазинов (складов) в более отдаленное от театра военных действий место был крайне неудобен для России. Но еще опаснее становился отказ польской стороны продавать провиант. Вести в таких условиях новую кампанию против Турции казалось с каждым днем все труднее. Если бы земли Польской Украины, фактически являвшиеся плацдармом для переброски русских войск, их амуниции и провианта в Молдавию, принадлежали империи, многих проблем удалось бы избежать. Теперь же приходилось реагировать на каждое колебание внутривосточной жизни Польши.

Потемкин обратил внимание корреспондентки на рапорт генерал-майора А. Шамшева из Варшавы. Резидент сообщал, что руководители старошляхетской партии создают конфедерацию, под давлением которой король решил разоружить едва набранные в православных воеводствах войска и послать туда корпуса из Литвы и Коронной Польши, что вызвало волнения населения. Активное участие в формировании новых конфедераций принимал и коронный гетман Браницкий^[1462].

Уход Браницкого был дурным знаком — Россию покидали даже самые верные союзники. Еще недавно русская партия в Польше могла опираться на поддержку гетмана. Однако и он не был «ручным» сторонником Петербурга. Графа оскорбил отказ Екатерины от его предложения набрать и возглавить три бригады польской конницы, которые Браницкий собирался обратить против турок. Гетман и сам высказывал притязания на корону, поэтому громкая военная слава и приращения территорий Польши, которые

можно было бы связать с его именем, были Браницкому как нельзя кстати. Крушение надежд на русско-польский союз поставило крест на подобных планах магната, и он готов был переметнуться в стан противников России. Маршал сейма Станислав Малаховский, уже высказавшийся за союз с Пруссией, начал вербовку набранных Браницким кавалеристов в состав войск, которые можно было бы обратить против России.

Эта информация была крайне неприятна Потемкину. Сначала марта светлейшему князю пришлось принимать против польского родственника крутые меры. В одном из мартовских ордеров генералу И. И. Меллеру-Закомельскому, замещавшему командующего на время отъезда в Петербург, сказано: «Граф Браницкий, добиваясь получить в свои руки командование над войсками в Украине, рассеивает через своих о бунтах, подкупает таможенных, чтоб рапортовали всякую дичь». Польская Украина являлась чрезвычайно удобным местом для агитации, поскольку ее крестьянство постоянно находилось на грани бунта. Потемкину не было выгодно, чтобы волнения разразились раньше времени. Поэтому князь разослал в принадлежавшие ему поместья в Польше приказ: «Всем моим подданным объявить, чтоб хранили тишину и что я не потерплю никаких беспорядков»^[1463].

Еще опаснее были действия Браницкого в самой Варшаве, где он повел переговоры с полномочным министром прусского короля маркизом Джироламо Луккезини, обещая берлинскому кабинету объединить против Станислава Августа всех польских дворян, если Пруссия окажет покровительство создаваемой шляхетской конфедерации.

«Пора тебе унимать Браницкого, — с гневом писала Потемкину императрица. — Я никак его поведением не обманута, он в конфедерации ищет короля ссадить»^[1464], «...ему стыдно и позорно быть врагом своих благодетелей»^[1465], «...из таковой конфедерации выйдет король прусский новый в Польше»^[1466]. Князь старался убедить Екатерину, что окриком в польских делах ничего не решить. «Помилуй, матушка, чем я уйму Браницкого и когда я его баловал? — писал он. — Теперь словами ничего делать нельзя, а брать меры нужно. Сердцем ничего не произведем, и оно лишнее. Польша вся — Браницкий... С Польшей иной нужен оборот. Нам нельзя быть в стороне, когда там действуют все... Нужно там работать»^[1467]. Угрожающие декларации посла Штакельберга и методы жесткого давления, к которым была склонна Екатерина, не давали, по мнению князя, результатов в условиях, когда Россия сама находилась в стесненном международном положении.

Потемкин предлагал расколоть конфедерацию изнутри, склонив на свою сторону давнего союзника Браницкого графа Станислава Феликса Щенсны-Потоцкого, командовавшего войсками на Польской Украине. Это ему удалось. Потоцкий пока слабо и боязливо, но все же начал действовать в пользу своих русских покровителей. Он доставлял сведения об интригах прусской дипломатии в Варшаве. Благодаря ему в Петербурге узнали, что Польша начала закупку в Пруссии ружей для своей армии. Все стороны, вовлеченные в конфликт, отдавали себе отчет, для войны с кем предназначается ввозимое через прусскую границу вооружение^[1468]. Летом польские войска начали угрожающе разворачиваться в сторону России.

«Красный кафтан»

Командующий прибыл в армию 22 мая^[1469]. Военные действия весны — начала лета развивались успешно, они были перенесены в Молдавию и Валахию, где русские войска одержали победу на реке Серет, после чего наступило временное затишье. В эти дни к Потемкину из Петербурга пришло известие о смещении Дмитриева-Мамонова с поста фаворита, повлекшее за собой серьезную перестановку политических сил при дворе.

Современники, обычно не расположенные к любимцам Северной Минервы, о Мамонове отзывались в целом доброжелательно. Александр Матвеевич был скромн, хорошо воспитан и очень образован. Он принадлежал к древнему дворянскому роду, ведшему свое происхождение еще от Рюрика. Интересна характеристика, данная ему Гельбигом. Дипломат писал, что Мамонов «был очень умен, проницателен и обладал такими познаниями... в некоторых научных отраслях, особенно же во французской и итальянской литературах, что его можно было назвать ученым; он понимал несколько живых языков, а на французском говорил и писал в совершенстве»^[1470].

Заметив прекрасный слог фаворита, Екатерина привлекла его к ведению переписки с иностранными корреспондентами. Сама она писала по-французски не безупречно, иногда употребляя тяжеловесные немецкие обороты. По собственному выражению императрицы, ей нужна была «хорошая прачка, чтоб стирать написанное» ею. Именно такой прачкой и стал Мамонов.

Обладая врожденным вкусом, фаворит любил носить красное, гармонировавшее с его черными глазами. Поэтому Екатерина прозвала его

«Красный кафтан». Первые годы «случая» Александр Матвеевич оправдывал надежды покровителя и оставался возле Екатерины надежным проводником линии Потемкина. Однако близилось время, когда фаворит, почувствовав степень своего влияния на Екатерину, захотел бы начать играть первую роль. И тогда конфликт был неизбежен. В 1787 году Мамонов попытался показать покровителю, как много он значит для императрицы.

На обратной дороге из Крыма в июне 1787 года Екатерина посетила Москву и перед въездом в город остановилась в имении светлейшего князя Дубровицы. Князь за несколько месяцев отправил управляющему инструкции о том, как следует принять государыню. Григорию Александровичу хотелось, чтобы после долгого путешествия его пожилая и далеко не блиставшая здоровьем подруга хоть где-то почувствовала себя как дома.

Дубровицы действительно были земным раем и очень понравились Екатерине. Но еще больше они понравились Мамонову. Великолепное имение с обширным французским парком, усадебным дворцом во вкусе елизаветинского времени и знаменитой своей необычной архитектурой позднего барокко Знаменской церковью пленили воображение 29-летнего вельможи. После отъезда Александр Матвеевич приступил к императрице, как к неприятельской крепости, слезно умоляя купить для него подмосковное имение Потемкина. Екатерина попала в трудное положение, она знала, как князь любит Дубровицы. Село было куплено Григорием Александровичем в 1781 году у князя С. А. Голицына, оно располагалось на старых боярских землях и было застроено с размахом. Хотя сам светлейший там не жил, но денег на приведение в порядок имения не жалел^[1471]. Князь думал под старость перебраться в Москву и здесь доживать век. Уход Дубровиц из рук Потемкина стал для него первым, еще очень отдаленным, знаком того, что судьба не отпустит ему ни времени, ни места для покоя.

Между тем Екатерина считала Дубровицы просто одним из многочисленных имений светлейшего, которые он нередко продавал в казну для уплаты долгов, а затем вновь получал от императрицы в подарок. Поэтому ничего дурного в покупке Дубровиц Екатерина не нашла. Ей приятно было угодить фавориту. Она знала, что Мамонов скучает в ее обществе и иногда даже не скрывает этого. Новый подарок должен был обрадовать его и вызвать хотя бы чувство благодарности. Уже через два дня после посещения Дубровиц, 25 июня императрица писала князю о намерении купить у него имение: «Есть ли вы намерены продавать, то

покупщик я верной, а имя в купчую внесем Александра Матвеевича»^[1472].

Идея Потемкину не понравилась. Он не хотел расставаться с Дубровицами, но и прямо сказать императрице об этом не мог: она столько раз выручала его деньгами, сделала так много бесценных подарков, что отказать ей сейчас в пустяковой просьбе значило обидеть ее. Он велел Гарновскому затягивать дело. Князь надеялся, что за военными хлопотами продажа как-нибудь замотается. Не тут то было.

Светлейший тянул с присылкой купчей, потом документы приходили не в порядке, из них были вычеркнуты имена лучших крепостных мастеров с семьями, которых Потемкин хотел оставить за собой. Мамонов дулся и был неласков, из-за чего Екатерина пребывала в крайнем раздражении на Григория Александровича. Даже такой удар, как начало новой войны, не смог отвлечь мыслей фаворита от повисшей в воздухе сделки. «Александру Матвеевичу приятно чтение реляций, но еще приятнее дела дубровицкие», — не без сарказма замечал Гарновский в письме В. С. Попову. «Александр Матвеевич крайне любит собственные свои дела, — с раздражением сообщал он на Юг в другом письме. — Прочтя бумаги о несчастьи, с флотом случившемся, тотчас спросил меня: „Не пишет ли к вам Василий Степанович о бумагах Дубровицких?“»^[1473] Занятый и измученный Потемкин, наконец, сдался. Просто отмахнулся. В сентябре 1787 года в самый разгар трудностей на театре военных действий сделка была завершена^[1474].

Находившийся в Москве отец фаворита сам следил за всеми мелочами и проявил при этом редкую скарედность. Московскому и дубровицкому управляющим Потемкина (а люди это были оборотистые) не удалось вывезти из имения даже фарфорового сервиза и серебряных ложек. Мамонов явно находился в силе. Он все еще поддерживал партию светлейшего, но заставлял за это дорого платить. Кто бы мог тогда подумать, что великолепный подмосковный дворец понадобится Александру Матвеевичу так скоро.

Уже с середины 1787 года Гарновский начал доносить, что «паренек скучает». Фаворит сравнивал свое житье с золотой клеткой. В 1796 году Державин написал стихотворение «Птичка»: «Поймали птичку голосисту/ И ну сжимать ее рукой. *Пищит малютка вместо свисту*, А ей твердят: пой, птичка, пой». Эти строки как нельзя лучше подходят для характеристики душевного состояния Александра Матвеевича. Во дворце Мамонов обратил внимание на молодую фрейлину императрицы Дарью Федоровну Щербатову, дочь генерал-поручика Ф. Ф. Щербатова. Запретное чувство

оказалось для обоих настолько притягательным, что они начали украдкой встречаться в доме своих общих друзей Рибопьеров. Риск только поджигал слабый огонек взаимной склонности, и вскоре желание быть рядом с любимой стало для фаворита наваждением. Он тайком посылал ей фрукты с императорского стола, совершал тысячи опасных поступков, которые могли выдать обоих с головой. Так продолжалось около полутора лет. Мамонов надеялся, что со временем императрица сама оставит его и тогда он сможет жениться. Его деловые качества и осведомленность в самых секретных вопросах тогдашней политики позволяли ему питать иллюзию, что и по окончании случая он останется на службе. Но судьба распорядилась иначе.

Во время пребывания Потемкина в Петербурге его возмутило почти пренебрежительное обращение Мамонова с императрицей. Покорный в вопросе о Дубровицах, здесь князь был задет за живое. Он резко поставил фаворита наместо, а Екатерине посоветовал «плюнуть на него»^[1475]. Но для нее Александр Матвеевич был еще очень дорог, и она не решилась последовать дружескому совету. Однако объясниться было необходимо.

В донесении 21 июня Гарновский рассказывал, как развивались события. После отъезда князя императрица старалась всячески развлечь и расположить к себе Александра Матвеевича, чья холодность и даже грубость мучили Екатерину около года. Поняв наконец, что она не в силах развеять скуку фаворита, императрица написала ему грустное письмо, где предлагала оставить ее и жениться. В ответ Мамонов сознался, что уже полтора года любит фрейлину Щербатову и она отвечает ему взаимностью. Больнее измены Екатерину оскорбил тот факт, что Мамонов все это время лгал и притворялся, вместо того чтобы честно признаться ей. Она простила влюбленных, считая, что они и без того уже наказаны необходимостью прятаться. «Государыня была у него более 4-х часов. Слезы текли тут и потом в своих комнатах потоками», — доносил управляющий. На следующий день состоялся сговор молодых. «Государыня при сем случае желала добра новой паре таковыми изречениями, коих нельзя было слушать без слез»^[1476].

21 июня императрица направила Потемкину письмо (оно не сохранилось), которое повез Николай Иванович Салтыков. Он же передал Екатерине ответ князя. Посредник между корреспондентами был избран не случайно, именно его протеже, молодой конно-гвардейский офицер Платон Александрович Зубов, занял место Мамонова.

Н. И. Салтыков, ставший в отсутствие Потемкина вице-президентом

Военной коллегии и сохранивший за собой должность воспитателя великих князей Александра и Константина, вел при дворе очень сложную игру. Он умело лавировал между Петербургом и Гатчиной, внешне согласовывая интересы императрицы и наследника. Его взгляды на внутреннюю политику отличались крайней реакционностью: преследование подозрительных личностей и организаций, полная перлюстрация частной переписки, идущей по почте, поощрение доноительства — вот меры, которые Салтыков предлагал противопоставить распространявшейся по Европе «французской заразе»^[1477]. Лично он тоже не отличался душевной привлекательностью. Этот сухонький набожный старичок с вкрадчивыми манерами «почитался... умным и проницательным, т. е. весьма твердо знал придворную науку, но о делах государственных ни разу не подал императрице мнения противного. Свойства был нетвердого и ненадежного: случайным раболепствовал, а упавших чуждался»^[1478]. Так характеризует Салтыкова молодой статс-секретарь Екатерины А. М. Грибовский, близко работавший с Зубовым в годы фавора последнего.

Приезд Салтыкова с письмом Екатерины и просьба передать через него ответ сразу показали Потемкину, как близко к императрице встал покровитель нового «случайного». Заверения Салтыкова в личной преданности не произвели на Григория Александровича должного впечатления, он с настороженностью отнесся к главе возвышающейся группировки. В то же время Потемкин жалел императрицу и досадовал на нее за неуместную скорость в замене фаворита. Ему не хотелось отвлекаться от военных дел на придворные интриги. «Матушка, всемилостивейшая государыня, — писал он 5 июля, — всего нужнее Ваш покой, а как он мне всего дороже, то я Вам всегда говорил не гоняться... Я у Вас в милости, так что ни по каким обстоятельствам вреда себе не ожидаю, но пакостники мои неусыпны в злодействах, будут покушаться. Матушка родная, избавьте меня от досад. Опричь спокойствия, нужно мне иметь свободную голову»^[1479].

Это письмо показывает, что с самого начала нового фавора Потемкин не испытывал иллюзий относительно Салтыкова и его сторонников. О настроении императрицы и ее окружения в эти дни Гарновский свидетельствует: «Все до сих пор при воспоминании имени его светлости неведомо чего трусят и беспрестанно внушают Зубову иметь к его светлости достодолжное почтение»^[1480]. Боязнь, что Потемкин резко воспротивится ее выбору, заставила Екатерину написать ему о своей благодарности Зубову, оказавшемуся с ней рядом в трудный момент. «При

сем прилагаю к тебе письмо рекомендательное самой невинной души... Я знаю, что ты меня любишь и ничем меня не оскорбишь... Приласкай нас, чтобы мы совершенно были веселы»^[1481].

Потемкин был поставлен в сложное положение. Он мог бы выразить императрице свое полное несогласие с новой кандидатурой на пост фаворита и, пока еще привязанность Екатерины к Зубову не окрепла, попытаться оттеснить группировку Салтыковых с занятых ими позиций. Вместо этого Григорий Александрович побоялся ранить сердце своей немолодой и остро страдавшей от одиночества подруги. «Матушка моя родная, могу ли я не любить смиренного человека, который тебе угождает? Вы можете быть уверены, что я к нему нелестную буду иметь дружбу за его к Вам привязанность»^[1482], — успокаивал он императрицу 30 июня.

Кроме того, как покровитель Дмитриева-Мамонова Потемкин нес в глазах императрицы определенную ответственность за его поступки. Из некоторых замечаний князя зимой Екатерина сделала вывод, что Григорий Александрович знал о романе фаворита с Щербатовой. «Если зимою тебе открылись, для чего ты мне не сказал тогда? Много бы огорчения излишнего тем прекратилось и давно он уже женат был. Я ничей тиран никогда не была и принуждения ненавижу. Возможно ли, чтобы Вы меня до такой степени не знали, и что из Вашей головы исчезло великодушие моего характера, и Вы считали бы меня дрянною эгоисткой? Вы исцелили бы меня в минуту, сказав правду, — упрекала императрица Потемкина 14 июля. — Злодеи твои, конечно, у меня успеха иметь не могут, но, друг мой, не будь без причины столь подозрителен»^[1483].

Потемкин действительно был осведомлен благодаря донесениям Гарновского об интригах различных группировок вокруг романа фаворита с княжной Щербатовой. Но, видя привязанность императрицы к Александру Матвеевичу, он посчитал себя не в праве настаивать на смене «случайного». «Мне жаль было тебя, кормилица, видеть, — объяснял князь 18 июля, — а паче несносна была его грубость»^[1484]. Потемкин, щадя чувства Екатерины, лишь осторожно намекнул ей, что Мамонов не стоит ее слез. «Но я виновата, — говорила императрица Храповицкому, — я сама его перед князем оправдать старалась»^[1485]. Мягкость и стремление ничем не оскорбить Екатерину обернулись против Потемкина. Владея всей необходимой информацией об интриге Салтыкова, князь позволил ставленнику враждебной партии закрепиться на посту фаворита.

1 июля состоялось венчание в придворной церкви, императрица по обычаю сама убирала голову невесты бриллиантами. Ее руки дрожали, и

она нечаянно уколола девушку золотой иголкой, невеста вскрикнула. Праздник был тихим, в кругу «малого числа приглашенных особ», как писал Гарновский. В качестве свадебного подарка молодые получили 3 тысячи душ и 100 тысяч рублей на обзаведение^[1486]. Мамонов вместе с молодой женой покинул Петербург. «Он не может быть счастлив, — сказала Екатерина Храповицкому, — разница ходить с кем в саду и видаться на четверть часа или жить вместе»^[1487].

Эти слова оказались пророческими. Бывший фаворит очень быстро раскаялся. Но было уже поздно. Уезжая, он, по словам Гарновского, обещал еще вернуться и «всеми править». Граф мешался в речах и даже изводил Екатерину вспышками неожиданной ревности^[1488]. Из подмосковной глуши он писал императрице: «Случай, коим я по молодости лет и по тогдашнему моему легкомыслию удален... стал от вашего величества, беспрестанно терзает мою душу... Возможно ли, чтобы я нашел случай доказать всем ту привязанность к особе вашей, которая, верьте мне, с моею только жизнью кончится»^[1489]. Екатерина осталась глуха к просьбам Александра Матвеевича о возвращении. Теперь возле нее был другой — Зубов.

Сама императрица заметно ободрилась, перестала грустить и почти в каждом письме живописала корреспонденту достоинства своего нового любимца. «Четыре правила имеем: будь верен, скромн, привязан и благодарен до крайности»^[1490], — говорила она о Зубове. «Я очень люблю это дитя. Он ко мне очень привязан и плачет, как ребенок, если его ко мне не пустят»^[1491], — продолжает Екатерина в другом письме. О себе императрица сообщала, что «ожила, как муха». Прекратились жалобы на здоровье, она вновь шутила и смеялась в письмах^[1492].

Желая лучше познакомить Потемкина с новым любимцем, Екатерина запечатывала свои послания к князю в письма Зубова. Почту государыни Гарновский стал получать из рук нового фаворита. При первом же знакомстве с Платоном Александровичем управляющий почувствовал, что Зубов, несмотря на отменную почтительность, очень неоткровенен^[1493].

Военные действия

Между тем на Юге события развивались стремительно. После взятия главной черноморской твердыни Порты русские войска буквально обрушились на Молдавию и Валахию. Армия, основной костяк которой

был вышколен под Очаковым, уже не страшилась никаких препятствий. Турки, не считавшие австрийские войска серьезной преградой на своем пути, попытались в июле выйти в тыл главных сил Потемкина, уничтожив примыкавший к правому флангу русской армии корпус принца Фридриха Иосии Саксен-Кобург Заальфельда. Однако командующий, предвидя такой оборот дел, выдвинул далеко вперед летучий корпус Суворова. Александр Васильевич стремительно двинулся на соединение с австрийцами и понудил Кобурга принять бой с превосходящими силами противника^[1494].

29 июля Потемкин известил императрицу о победе при Фокшанах. «По данному от меня повелению не терпеть перед собой скопления неприятеля, генерал князь Репнин решил генералу Суворову итти купно с австрийским генералом принцем Кобургом остановить неприятеля, до 30 тысяч скопившегося в Фокшанах. Что с помощью Божиею совершенным разбитием турок исполнилось сего месяца 21 дня»^[1495]. Императрицу особенно обрадовало то обстоятельство, что в фокшанском деле союзники сражались вместе. «Это зажмет рот тем, кто рассеивали, что мы с ними не в согласии»^[1496], — с удовольствием заметила она Храповицкому.

Согласие действительно было хрупким. Заносчивость австрийцев задевала русских военачальников. Еще в марте Безбородко писал Воронцову о Румянцеве: «Фельдмаршал не мог сладить с цесарцами, потому что они спесивы. Когда дело дойдет до боя, рады нас пустить вперед, говоря, что мы важнейшая часть, а после сказывают, что император ни с кем не имеет альтернативы, и потому их генерал равного чина должен командовать над нашим»^[1497]. В данном случае затрагивался один из важнейших дипломатических вопросов — вопрос о приоритетах и международном престиже государства, к которому Екатерина была очень чувствительна. Потемкин, как командующий армией, проявлял в этом вопросе большую щепетильность.

После фокшанского дела Григорий Александрович выговорил Репнину, поспешившему в поздравлении союзникам приписать победу одним лишь австрийцам. «В письме к Кобургу Вы некоторым образом весь успех ему отдаете. Разве так было? А иначе не нужно их так поднимать, и без того они довольно горды»^[1498]. Екатерина разделяла взгляды князя. «Что Кобург после победы храбрится, тому не дивлюсь, им удача не в привычку, — писала она 6 сентября. — В этом отношении они похожи на выскочек, которые дивятся, видя у себя хорошую мебель»^[1499].

После победы при Рымнике, когда Суворов, соединясь с Кобургом, разбил 80-тысячную армию визиря Гассан-паши, вопрос о приоритете был

поднят вновь. Сначала победителю императрица, по просьбе Потемкина, пожаловала графский титул с прибавлением к фамилии «Рымникский». В письме 2 октября Григорий Александрович убеждает Екатерину: «Если бы не Суворов, то бы цесарцы были наполовину разбиты. Турки побиты русским именем, цесарцы же бежали, потеряв пушки, но Суворов поспел и спас. Вот уже в другой раз их выручает, а спасибо мало, но требуют, чтоб я Суворова с корпусов совсем к ним присоединил. ...Нашим успехам не весьма радуются, а хотят нашу кровью доставать земли, а мы, чтоб пользовались воздухом... Матушка родная, будьте милостивы к Александру Васильевичу. Храбрость его превосходит вероятность, разбить визиря — дело знатное»^[1500]. 4 октября Екатерина сообщила корреспонденту об исполнении его первой просьбы: Суворов стал графом Рымникским.

Еще не имея этого известия, Потемкин с беспокойством писал 5 октября: «Сейчас получил, что Кобург пожалован фельдмаршалом, а все дело было Александра Васильевича. Слава ваша, честь оружия и справедливость требуют знаменитого для него воздаяния, как по праву, ему принадлежащему, так и для того, чтоб толь знаменитое и важное дело не приписалось другим... Дело генеральное — разбить визиря с главной армией... Статут военного ордена весь в его пользу... Суворов один. Сколько бы генералов, услышав о многочисленном неприятеле, пошли с оглядкою и медленно, как черепахи, но он летел орлом с горстью людей, визирь и многочисленное войско было ему стремительным побуждением. Он у меня в запасе при случае пустить туда, где и султан дрогнет»^[1501].

Это письмо было отправлено 5 октября из Белграда-на-Днестре, несколько дней назад занятого русскими войсками. «Поздравляю тебя, друг мой сердечный, со взятием Белграда-на-Днестре. Сия весть к нам пришла в самый день молебна за взятие Белграда-на-Дунае. Итак, молебен пели здесь за оба Белграда совокупно»^[1502], — рассказывала Екатерина 18 октября, окрыленная дружными победами союзников. Она понимала всю сложность согласования действий с австрийцами, но предупреждала князя: «Каковы цесарцы бы ни были и какова ни есть от них тягость, но она будет несравненно менее всегда, нежели прусская... Я говорю это по опыту. Я, к счастью, весьма близко видела это ярмо»^[1503]. Ярмом императрица называла тесный союз с Пруссией, на котором некогда настаивал Н. И. Панин. «К графу Суворову, хотя целая телега с бриллиантами наложена, однако кавалерию Егорья большого креста посылаю по твоей просьбе. Он того достоин»^[1504].

Осень 1789 года была щедра на победы. 10 сентября Репнин разбил

турецкие войска на реке Салче. 14 сентября гребная флотилия под командованием де Рибаса взяла Гаджибейский замок, располагавшийся на месте будущей Одессы. 2 октября Потемкин известил Екатерину о захвате казаками полковника М. И. Платова городов Паланки и Аккермана^[1505].

Именно с осени 1789 года сдача гарнизонов турецких крепостей без сопротивления перестала быть редкостью. 3 ноября на милость победителей сдались Бендеры, их жителям была гарантирована свобода^[1506]. «Вот, матушка, всемилостивейшая государыня, и Бендеры у ваших ног, — писал Потемкин 4 ноября. — Если б я был хвастун, то сказал, что в точности исполнил все те предположения, которые на будущую кампанию представил вам в Петербурге»^[1507]. Паника турецкого населения при приближении русских войск приводила к массовым галлюцинациям жителей осажденных городов. В ночь перед сдачей Бендер люди видели страшные картины марширующей по улицам неприятельской армии, а шесть командиров конницы утверждали, что им во сне явились ангелы, грозно приказавшие: «Отдайте Бендеры, когда потребуют, иначе пропадете. Знайте, что и в Царе Граде думают о мире». Об этом странном происшествии Потемкин рассказывал Екатерине 4 ноября. Следует отметить, что во время всей Второй русско-турецкой войны в лагерях противников ходили слухи о чудесах и явлениях святых, а военачальники Порты нередко объясняли свои неудачи приступами внезапного массового страха, охватывавшего их войска при приближении к позициям русских.

Мысль о скором заключении мира так укоренилась в турецкой армии, «что при всяком случае, с нашими съезжаючись, спрашивали, есть ли о мире известия»^[1508], — сообщал Григорий Александрович.

Заключение мира после столь блестящей кампании было бы почетным для России и сулило большие выгоды. Турецкая сторона показала свою готовность к переговорам, освободив Я. И. Булгакова. Потемкин немедленно затребовал его к себе^[1509]. Однако такое развитие событий не устраивало берлинский двор. Фридрих-Вильгельм II подстрекал Польшу напасть на Россию, пока продолжается война с Турцией и Швецией, и сулил ей за это возвращение земель от Смоленска до Киева, а себе требовал Данциг и Торн с их обширной балтийской торговлей^[1510].

Марс и Венеры

Глубокой осенью русские войска стали занимать зимние квартиры в

Яссах и Фокшанах. Ставка Потемкина располагалась в Яссах. Предстояли несколько месяцев, когда военные действия не велись и в гости к мужьям-офицерам устремились светские дамы из столицы. Сама главная квартира, по отзывам очевидцев, напоминала пышностью двор, как по волшебству перенесшийся в молдавские степи. «Множество приехало жен русских генералов и полковников, — вспоминал Энгельгардт. — Из числа знатнейших были: П. А. Потемкина, которой его светлость великое оказывал внимание, графиня Самойлова, княгиня Долгорукая, графиня Головина, княгиня Гагарина; польского генерала жена, славившаяся красотой де Витт, потом бывшая замужем за графом Потоцким. Беспреданно были праздники, балы, театр, балеты. Хор музыки инструментальной, роговой и вокальной был до трехсот человек; известный сочинитель музыки господин Сарти всегда был при князе. Он положил на музыку победную песнь: „Тебе Бога хвалим“, и к оной музыке приложена была батарея из десяти пушек, которая по знакам стреляла в такт; когда же пели: „Свят! Свят!“, тогда производилась из оных орудий скорострельная пальба»^[1511].

Цветник красавиц окружал светлейшего, и князь не отказывал себе в удовольствии поухаживать то за одной, то за другой из них. Причем, как и все, он делал это с размахом: дарил дамам драгоценные камни, украшал стену своих покоев вензелем очередной возлюбленной, раз приказал палить из пушки, когда «критический момент» в его отношениях с метрессой настал и крепость пала... Подобным рассказам несть числа и трудно сказать, что в них правда, а что вымысел.

Многие считали любовницей князя Софию Витт, или прекрасную фанариотку, как ее еще называли. В 13-летнем возрасте она вместе с сестрой была продана матерью на улице Константинополя. Девочек купил польский посол Б. Лясопольский, но по дороге юные гречанки были перепроданы. София в Каменец-Подольске сыну коменданта (позднее тоже коменданту), а ее сестра — начальнику турецкого гарнизона Хотина. По разные стороны границы маленьких гречанок ждала похожая судьба. Обе, как оказалось, обладали не только исключительной женской привлекательностью, но и умом. Обе сумели из рабынь превратиться в законных супругов своих хозяев-мужей.

Весной 1788 года армия Румянцева вступила в Бессарабию. Фельдмаршал направил к Хотину, где уже без успеха действовали австрийские войска под руководством принца Ф. И. Саксен-Кобурга, корпус генерала И. П. Салтыкова. Союзники обложили город, но ни одна из сторон не желала жертвовать своими солдатами ради продвижения другой

на спорные земли. Однако и оставлять в тылу вражескую крепость было опасно. Именно в это время в русский лагерь под Хотинном прибыла София Константиновна Витт. Не только родственные чувства гнали прекрасную фанариотку на встречу с сестрой. Проведя с мужем несколько лет в Париже, София не прельстилась тихой провинциальной жизнью в Каменец-Подольске. Рассказывают, что незадолго до войны она явилась в Крым, добилась встречи со светлейшим князем и предложила ему свои услуги в качестве шпионки. Потемкин быстро оценил ум и сообразительность гостыи. София обрела высокого покровителя. Узнав о родстве Витт с женой хотинского коменданта, Потемкин отправил Софию в лагерь под крепостью.

Через парламентаров завязалась переписка между Витт и ее сестрой. Вскоре выяснилось, что жена паши берется склонить мужа к капитуляции. Обложенный со всех сторон войсками русских и австрийцев город не мог долго продержаться в случае штурма. Срок сдачи крепости дважды откладывался, но в конце концов паша уступил слезным мольбам жены не допускать резню в городе. София добилась своего. 8 сентября 1788 года из хотинских ворот по одному и без оружия вышел двухтысячный гарнизон, а затем потянулись рядовые горожане числом до 16 тысяч. Важный пункт обороны Оттоманской Порты сдался.

Впрочем, иные мемуаристы считали, что действия Софии Витт только оттянули сдачу крепости. Энгельгардт писал: «Сказывали, что медленной осаде Хотина и еще девятидневной отсрочке была причиною жена Каменец-Подольского польского коменданта Витта, в которую граф Салтыков был влюблен, почему граф, по просьбе ее, посылал парламентаря с письмами от госпожи Витт к сестре, а от той получала она на оные ответы»^[1512].

А. Ф. Ланжерон, очередной молодой волонтер-француз на русской службе, рассказывая об ухаживаниях Потемкина за Софией Витт в Яссах в 1790 году, роняет слова, позволяющие увидеть в их отношениях нечто иное, чем тривиальный роман. «Потемкин тогда был влюблен в госпожу де Витт и сказал ей однажды при нас: „Вы — единственная женщина, которая умеет ладить со мною“. — „Знаю, — возразила на это султанша, — если бы я была вашею любовницею, то давно была бы забыта. Зато я всегда могу оставаться вашею подругою“»^[1513].

Вскоре Витт отправилась в Польшу, она играла там роль русской резидентки, входя в доверие к членам старошляхетской оппозиции и поставляя светлейшему сведения. После принятия конституции 3 мая 1791

года Софья получила приказ сблизиться с графом С. Ф. Щенсны-Потоцким и привлечь его на сторону Торговицкой конфедерации. Никто не знал, что граф Феликс настолько увлечется фанариоткой, что пойдет ради нее на развод. Он выплатил крупную сумму Иосифу Витту за отказ от супружеских прав и женился на известной куртизанке, сделав ее графиней Потоцкой.

Другой дамой, чьей благосклонности добивался Потемкин, была княгиня Прасковья Юрьевна Гагарина. Она приезжала в ставку к своему мужу С. Ф. Гагарину в 1789 и 1790 годах. Во время первого визита княгиня находилась в Яссах одновременно с ведущимися там переговорами о мире, и, по слухам, Потемкин шутил, что соберет дипломатический конгресс в ее спальне. Пресыщенный вниманием женщин и избалованный их податливостью, Григорий Александрович подчас вел себя фривольно. Княгиня была тогда беременна и сама рассказывала, как однажды после обеда светлейший «схватил ее за талию, вследствие чего она при многочисленном собрании дала ему со всего размаху пощечину. Все ахнули. Взбешенный и растерянный Потемкин поспешно ушел в свой кабинет. Гости остались в оцепенении и ужасе. Укоры отовсюду посыпались на запальчивую княгиню; муж хотел было ее увести, но она предпочла храбро выждать развязки и стала обращать этот казус в смех и шутку. Действительно, не прошло и четверти часа, как Потемкин с улыбающимся лицом снова вошел в залу и, поцеловав руку княгини, поднес ей изящную бомбоньерку с надписью „Храм Дружбы“»^[1514].

Гагарина оказала достойный отпор и заслужила уважение, которого прежде князь не выказывал. Не все крепости защищали себя так отчаянно, как она. В мемуарах фрейлины Варвары Головиной, в 1790 году отправившейся на Юг в гости к супругу, нарисована картина зимней ставки в Бендерах, где новой «звездой гарема» была княгиня Екатерина Федоровна Долгорукая. «Вечерние собрания у князя Потемкина устраивались все чаще. Волшебная азиатская роскошь доходила в них до крайней степени. Скоро я стала замечать его страстное ухаживание за княгиней Долгорукой. Она поначалу воздерживалась при мне, но вскоре чувство тщеславия взяло над ней верх, и она предалась самому возмутительному кокетству. ...В те дни, когда не было бала, общество проводило вечера в диванной. Мебель здесь была покрыта турецкой розовой материей, затканной серебром, а на полу лежал златотканый ковер. На роскошном столе стояла курильница филигранной работы, распространявшая аравийские ароматы. Разносили чай нескольких сортов. Князь был обычно одет в кафтан, отороченный соболем, со звездами св. Георгия и Андреевской, украшенной

бриллиантами. На княгине был костюм, напоминающий одежду султанской фаворитки — недоставало только шароваровэ ...Прекрасный роговой оркестр под управлением Сартти исполнял лучшие пьесы. Все было великолепно и величественно, но не веселило и не занимало меня: невозможно спокойно наслаждаться, когда забыты правила нравственности»^[1515].

За этими броскими романами, упомянутыми во многих мемуарах, совсем незаметно, хоронясь от посторонних взглядов, прошла последняя, искренняя любовь Потемкина. Она скрывалась за родственными чувствами, не выставлялась напоказ и очень береглась от пересудов. Все, что о ней смогли сказать современники, — это энгельгардтовское: «П. А. Потемкина, которой его светлость великое оказывал внимание». Мы бы совсем не узнали о ней, если бы не сохранившиеся письма князя к Прасковье Андреевне. Той самой, что в прошлом году тайком приезжала в лагерь под Очаковым к мужу, троюродному брату светлейшего.

Между Григорием Александровичем и Парашей стояли семейные узы, которые князь — завзятый ловелас и развратник — не посмел на сей раз нарушить. Боялся оскорбить брата, берег честь и доброе имя дорогой женщины. Его послания светлы и полны затаенной печали. Оба понимали, что счастьем не бывают. И все же чувствовали такую душевную близость, что не могли скрывать очевидного.

Началось с невинных наставлений. Заметив, что Прасковья Андреевна религиозна и признав в ней родственную душу, князь писал: «Будь здорова, мой друг, истинная и милая дочка. Ты говеешь. Христос с тобою, обрати все внимание на молитву, которая не должна измеряться многословием, ни временам, ни исполнением простым обряда, но устремлением всех чувств к Богу. По смерти твой верный друг и отец». Потемкина отличало удивительно верное понимание самого существа религиозной жизни души. В этом письме он кратко, в сжатой форме изложил суть церковных взглядов на молитву, которым в современном богословии посвящены целые тома.

Однако пост постом, а страсти страстями. И князь, в конце концов, не выдержал, излив на возлюбленную поток нежных слов: «Жизнь моя, душа общая со мною! Как мне изъяснить словами мою к тебе любовь, когда меня влечет непонятная к тебе сила, и потому я заключаю, что наши души сродныя. Нет минуты, чтобы то, небесная моя красота, выходило у меня из мысли; сердце мое чувствует, как ты в нем присутствуешь... Суди же, как мне тяжело переносить твое отсутствие... Ты дар Божий для меня». Увидев свою возлюбленную во сне, то в великолепной одежде, то в простой, князь писал: «Сей-то последний вид подобен моей к тебе любви, которая не

безумной пылкостью означается, как бы буйное пьянство, но исполнена непрерывным нежным чувствованием».

В своей привязанности к Прасковье Андреевне князь находил нечто мистическое. «Я тебе истину говорю, что тогда только существую, как вижу тебя, а мысли о тебе всегда заочно, тем только покоен. Ты не думай, чтоб сему одна красота твоя была побуждением или бы страсть моя к тебе возбуждалась обыкновенным пламенем. Нет, душа, она следствием прилежного испытания твоего сердца, и от тайной силы, и некоторой сродни наклонности, что симпатиею зовется. Рассматривая тебя, я нашел в тебе ангела, изображающего мою душу. Итак, ты — я; ты нераздельна со мною». «Ты мой Григорий Александрович в женском виде, ты моя жизнь и благополучие». «Ты моя весна». «Без тебя со мной только половина меня, лучше сказать, ты душа души моей». «А всего прекраснее, что ты сама не мнишь подобной силы».

Боясь разлуки, Потемкин писал: «Ты смирно обитала в моем сердце, а теперь, наскуча, теснотою, кажется, выпрыгнуть хочешь; я это знаю, потому что во всю ночь билось сердце, и ежели ты в нем не качалась, как на качелях, то, конечно, хочешь улететь вон. Да нет! Я за тобою, и держась крепко, не отстану»^[1516].

В январе 1790 года Прасковья Андреевна уехала из ставки. Больше князь ее не видел. Было ли принято решение прекратить слишком далеко зашедший роман или чувства иссякли сами собой, мы не знаем. Покой в семействе Павла Сергеевича Потемкина был восстановлен, и светлейший мог гордиться собой, но грусть оставила по себе глубокую зарубку на сердце.

«Лучше, если б ее не делили»

В течение 1789 года отношения с Польшей становились все хуже и хуже. Пленные турки, переходя польскую границу, чувствовали себя в безопасности и свободно возвращались домой, получая покровительство польских властей. 19 июня 1789 года Потемкин сообщал императрице: «Весьма трудно было проводить пленных между Бендер и границы польской, и если бы я не послал отряд многочисленной, не дошли бы они до нас»^[1517].

Русские войска, находившиеся в Польше на отдыхе и перекомплектовании, быстро выводились оттуда. «Я приказал сводить из

Польши, уже много вывели, и из Киева выступили», — писал князь. Его остро беспокоил вопрос о хлебе. «Польша страшит немало, — признавался он Екатерине 30 июля. — Я боюсь, чтоб не отказали нам покупать хлеб, то, что будем делать? В предупреждении сего извольте приказать сделать раскладку хлеба в губерниях Малороссийских, в Курской, в Харьковской, Воронежской и Тамбовской, которой доставить на Буг. То, имея сильный столь запас, ежели б армия Украинская лишена была покупки в Польше, тогда может придвинуться к Бугу, получать тут хлеб и действовать к Дунаю с толикою же удобностию, как и из теперешнего места»^[1518].

Под давлением прусских дипломатов в Варшаве начали принимать меры против снабжения русской армии продовольствием и лесом. В первую очередь эти меры ударили по обширным имениям Потемкина на дольских землях, из которых и производилась основная часть поставок. 21 августа 1789 года князь жаловался в письме Екатерине: «Поляки не перестают нас утеснять всеми манерами. А правда, что неловко между двух неприятелей быть... Они мне по деревням беспрестанные делают шиканы, и я уверен, что им хочется... конфисковать. Я бы за бесценок продал, чтобы избавиться досад, но не хочется для того, что сии земли для нас во многом большим служат ресурсом»^[1519].

Положение становилось настолько нестерпимым, что Потемкин предлагал Екатерине, наконец, хитростью подтолкнуть Пруссию к раскрытию своих истинных планов в Польше, то есть к захвату Данцига и Торна. Еще в июле он писал императрице: «Прусаки бесятся, что по воле Вашей ласково обхожусь с поляками, и наводят на меня персонально, чтоб притеснять как можно. Были бы ваши дела хороши, о себе я не мыслю. Матушка родная, затяните прусского короля что-нибудь взять у Польши, тут все оборотится в нашу ползу, а то они тяжеле нам шведов будут»^[1520].

Осенью 1789 года у России появилась надежда развязаться хотя бы с одним противником. В Стамбуле серьезно заговорили о мире. В подобных обстоятельствах как никогда было важно заставить прусского короля приостановить свою агитацию в Польше. 22 сентября 1789 года Потемкин писал Безбородко: «При успехах наших, если мы прусского короля не поманим, то родятся, конечно, новые хлопоты. Что бы мешало отозваться его министру, что государыня на доброхотство его короля надеется, возлагает на его попечение промышлять о мире... На сие, конечно, король чем ни есть отзовется, а мы на то будем отвечать и между тем и время выиграем. Пожалуй, при удобном случае донеси государыне»^[1521]. Однако подействовать на Екатерину, болезненно воспринимавшую идею

сближения с заносчивым Фридрихом-Вильгельмом, не удалось и через Безбородко. Прусский король продолжал подстрекать Польшу напасть на Россию и сулил ей возвращение земель от Смоленска до Киева^[1522].

Именно в этих условиях и возник новый проект Потемкина, посвященный Польше. В пространной записке «О Польше», посланной в Петербург вместе с почтой 9 ноября 1789 года, светлейший князь анализировал тугое сплетение противоречий, сделавших Россию и ее соседку врагами. «Хорошо, если б ее не делили, — говорил он, — но когда уже разделена, то лучше, чтоб вовсе была уничтожена... Польши нельзя так оставить. Было столько грубостей и поныне продолжаемых, что нет мочи терпеть. Ежели войска их получают твердость, опасны будут нам при всяком обстоятельстве, Россию занимающем, ибо злоба их к нам не исчезнет никогда за все нетерпимые досады, что мы причинили».

В случае открытия Пруссией военных действий против России руками поляков Потемкин предлагал поднять восстание православного населения в Польше. «У них у всех желание возобновить прежнее состояние, как они были под своими гетманами, и теперь все твердят, что должно опять им быть по-прежнему, ожидая от России вспоможения. Сие дело исполнить можно самым легким образом. По начальству моему над казаками именуите меня гетманом войск казацких Екатеринославской губернии... Я тогда с кошем Черноморским, вошед в свою деревню (в Польше. — О. Е.), с ним атакую конфедерацию, народа православного оманифестую права прежние, достану их и отделись».

Если бы Пруссия первой начала новый раздел, захватив у Польши балтийские земли, и Австрия присоединилась к ней, заняв Волынь, Потемкин предлагал ввести русские войска в воеводства Брацлавское, Киевское и Подольское, где «население все из русских и нашего закона», оговорив при этом неприкосновенность Коронной Польши. «Соседи уже сближены, — писал князь о Пруссии и Австрии. — В таком случае зло будет меньше, ежели между нами не будет посредства, ибо самому иметь кому-либо из них войну труднее, нежели действовать интригами, подогреть третьего, и нас тем тяготить, не теряя для того ни людей, ни иждивения»^[1523].

Императрица одобрила идеи Потемкина, но, как и он, надеялась, что подобного развития событий удастся избежать. В конце октября Безбородко писал Семену Воронцову, что между русским и австрийским дворами шло согласование позиций по вопросу об ответных действиях союзников на случай, если Пруссия отторгнет у Польши Данциг и Торн. «У нас думают,

что сему нет теперь возможности прекословить, но нам и венскому двору настоять на равномерии на счет Польши и Порты. Государыня и император наклонны, чтоб на сие (то есть на раздел. — О. Е.) не идти»^[1524]. Однако любые дальнейшие шаги зависели от позиции прусского короля. 9 декабря 1789 года Безбородко вновь сообщал другу в Лондон: «Мы теперь мыслим, чтоб ускорить мир с турками и тем развязать себе руки против шведов и прусского короля»^[1525].

Переговоры о мире

Сильные морозы в Молдавии ударили в конце ноября. Князь водил армию на зимние квартиры, но беспокойство у него вызывало мирное население, значительная часть которого осталась в результате войны без крова и жалась к русским лагерям. «Я все возможное употребил к спасению людей, но скота сберечь нельзя было, — писал Потемкин 22 ноября. — Бедные турки потерпели много».

При этом австрийцы не желали пустить русские части в занятые совместно, но удерживаемые, по договору, «цесарскими» войсками крепости. Венский двор вновь ссылался на пресловутый пункт об альтернативе и требовал себе приоритета в размещении армии. «Берут с помощью нашу, а удерживают одни. Молдавии почти нет, отняли, и не знаю, по условию ли, или нет, все лучшие места, а я жмусь с войсками, как нищий. Разве русские люди свиньи, что должны терпеть всякую нужду? Что у них в руках, того мы касаться не можем, а защищать должны», — возмущался князь. Он не намерен был терпеть такого отношения и размещал войска там, где считал удобным.

Кроме того, венский двор намеревался взять переговоры с Турцией под свой контроль. Это резко осложняло ведение дел, так как турки не хотели поддерживать «негоциацию» с австрийцами. «Они в презрении у турков и ищут на счет наш опять вкрасться к ним в доверенность, — предупреждал князь. — Кауниц набирает уже кучу советников и над ними Кобурга, которого всякий писарь поведет за нос. Все их министры, бывшие в Царе Граде, боятся турков как огня и подлы перед ними до крайности. Цесарская система — себе удержать все, а нам, чтобы довольствоваться тем, что уже имеем, сиречь Крым... Притом есть у них двойной конец в рассуждении мира: когда им видится возможность, то они делают мир особо, а если представится затруднение, тут обще»^[1526].

Князь считал, что совместные русско-австрийские переговоры с Портой привлекут множество европейских советников, а это — срыв подписания мирного трактата. Он предлагал действовать быстро и напрямую.

Поначалу переговорный процесс шел удачно. Верховный визирь Гассан-паша прислал Потемкину письмо с предложением мира, о чем князь известил императрицу 22 ноября^[1527]. Через три дня в Яссы прибыли уполномоченные визиря, сообщившие, что Булгаков был отпущен с оказанием ему всех почестей по турецкому дипломатическому этикету^[1528].

Екатерина питала большие надежды, что после «щегольской кампании», как корреспонденты называли военные действия 1789 года, удастся заключить мир. «Бог нам помощник и... турки более боятся орудия российского и наших полководцев, нежели цесарских, — писала она 25 ноября. — От всего сердца теперь желаю, чтоб Христос тебе помог заключить честный и полезный мир... Нельзя, чтоб твои знаменитые успехи не сделали впечатления глубокого в неприятельских умах и чтоб, чувствуя свое разстройство, не обратились скорее на нужное спасение остаточного, нежели на суетные обещания и внушения враждующих нам европейцев»^[1529]. Со своей стороны Потемкин заверял ее, что сделает все от него зависящее, чтобы вывести страну из войны. «Ежели бы я мог поднять на рамена тягости всех, охотно б я себя навьючил, и Вы бы увидели нового Атланта»^[1530], — говорил он в письме 5 декабря.

В то же время князь предупреждал, что в самой Турции нет единства по вопросу о мире. Если визирь стремился к переговорам об окончательном прекращении войны, то султан был склонен внимать обещаниям прусских дипломатов о скорой финансовой и военной поддержке. «В Царе Граде ни об Аккермане, ни о Бендерах, да и о Белграде еще не знают», — сообщал Потемкин. Никто из турецких чиновников не решался доложить молодому султану о столь крупных поражениях, и Селим III пребывал в неведении, которое умело использовали европейские дипломаты. В результате султан настаивал на временном перемирии. «Как кажется, сие делается для выиграния времени и чтоб чернь успокоить»^[1531], — заключал Григорий Александрович.

7 декабря Екатерина позволила князю действовать на переговорах, не согласовывая свои решения с австрийцами. Оказалось, что Иосиф II давно уже оговорил для себя подобное право, а теперь пытался отказать в нем союзнице. «Если негоциация откроется, то ты отнюдь не связан трактовать обще с цесарцами, — предупреждала императрица. — У нас давно

договоренность в сем деле всякому стараться о себе и мириться, кто как лучше может. Я бы того и желала, чтоб не через французов и ни нерез кого сие дело происходило, но непосредственно. Каунцова куча советников пусть остается у Кобурга, а до нас и до тебя им дела нет»^[1532].

В ожидании приезда турецких дипломатов Потемкин обосновался в Яссах. Между тем турки повели себя крайне двусмысленно. С одной стороны, визирь уверял русскую сторону в миролюбивых намерениях Стамбула, с другой — в армии и среди чиновников, склонных к миру, были проведены казни. Об этом Потемкин известил Екатерину в письме 28 декабря^[1533].

Изменение в настроении Турции произвели активные действия берлинского кабинета. 20 декабря Безбородко сообщил Семену Воронцову: «Открылись намерения короля прусского... Они предложили Порте оборонительный союз, гарантируя целость ее за Дунаем и полагая действовать, если бы мы перенесли оружие за помянутую реку. Начав же тогда действия, продолжать оные, покуда Порта предуспеет возвратить потерянные ею земли и сделает для себя полезный мир со включением в оном Польши и Швеции... Порта, получив в нынешнюю кампанию сильные удары, соглашается на сии постановления и публиковала набор войска и намерение султанское идти в поход». Безбородко признавал, что в подобных условиях вести переговоры практически невозможно. «Если бы только хотя до июня дали время потаенные неприятели наши, то мы бы успели принудить турков заключить мир», — сокрушается он.

Примечательно, что Безбородко излагал в письме к другу план кампании русских войск на следующий год, а также некоторые важные детали мирных переговоров. Все это были сведения секретного характера: «Князь Потемкин располагался пойти за Дунай целою армиею и, составя хороший кордон и частные за рекою поиски, между тем, в апреле и по крайней мере в начале мая, зачать действовать флотом, который уже теперь решительно лучше неприятельского: ибо он состоит в одном 80-пушечном и шести 66-пушечных и 9-ти 54-пушечных кораблях, в 12 фрегатах и в многочисленной флотилии, на которой одного регулярного войска до двадцати тысяч, кроме казачьих судов, поместится. С сею морскою силою под кайзер-флагом он отправится прямо к каналу (к Босфору. — О. Е.) а в то же время другая флотилия, приняв отряд войска из Кубанского корпуса на Тамани, пустится к азиатским берегам для диверсии... Мы стараемся и зимою о примирении, и хотя в рескрипте к вам занесены далекие кондиции, однако ж в инструкции, князю Потемкину данной, сокращены. Наш

ультимат ограничивается в положении границ наших по реку Днестр, включая тут и Аккерман на другой его стороне, в случае же трудности, отступая и от Аккермана»^[1534].

К чему такие подробности? Ведь Воронцов находился во враждебной стране, которая оказывала давление на Россию. При малейшей утечке информации Лондон получал ценнейшие сведения. Александр Андреевич при всех своих талантах часто выбалтывал информацию то австрийцам, то французам и, как видим, совсем не берегся в отношении англичан.

Екатерина пребывала в состоянии мрачной решимости. 24 декабря Храповицкий записал ее слова: «Теперь мы в кризисе: или мир, или тройная война, т. е. с Пруссией»^[1535].

Так драматично заканчивался для корреспондентов 1789 год. Блестяще спланированная и проведенная Потемкиным кампания сама по себе не могла подарить России мира. Дипломатические усилия Екатерины постоянно наталкивались на противодействие Пруссии, Англии и отчасти Франции. В ожидании обещанного вмешательства европейской «лиги» в войну Турция, фактически побежденная, решила затягивать мирные переговоры с Россией.

ГЛАВА 16

ПРУССКАЯ УГРОЗА

Называя Фридриха-Вильгельма II «новым европейским диктатором», Екатерина еще не предполагала, как далеко простираются планы берлинского кабинета. Прусский король предложил сложную систему обмена земель, чтобы снять противоречия между членами «лиги» и сплотить их перед лицом русской экспансии. Швеции за продолжение войны с Россией была обещана Лифляндия; Польша, отказываясь от союза с Петербургом, получала от Австрии Галицию, утраченную по первому разделу; Австрия, в случае выхода из войны, могла вознаградить себя Молдавией и Валахией; а Турция возвращала Крым^[1536]. Такой территориальный передел грозил вспышкой большого общеевропейского конфликта, так как ни один из его участников не мог бы считать себя до конца удовлетворенным, а Россия, за счет которой предполагалось разрешить споры, не стала бы спокойно взирать на аннексию своих земель.

Международные инициативы берлинского двора не обещали нашим героям легкого в политическом отношении года. Критики Потемкина обвиняли его в неумении воспользоваться успехами «щегольской кампании» и развить наступление за Дунай^[1537]. При этом все внимание сосредоточивалось на чисто военных возможностях момента и упускались из виду внешнеполитические реалии. Переписка князя с Екатериной позволяет понять, почему Потемкин не продолжил продвижение русской армии за Дунай и как была предотвращена угроза вторжения Пруссии.

10 января Екатерина предупредила Григория Александровича, что Фридрих-Вильгельм II наметил «обще с поляками весною напасть на наши владения»^[1538]. Берлинский кабинет был уверен, что Россия не остановит победного шествия по землям Порты, пересечет Дунай и тем самым подаст повод к объявлению войны со стороны Пруссии. Сняв немногочисленные русские корпуса в Лифляндии и на Украине, Пруссия предполагала начать наступление на Ригу, Киев и Смоленск как раз тогда, когда основные силы Потемкина уйдут вглубь турецкой территории и будут отделены от нового театра военных действий пятью водными преградами. 1 марта Екатерина писала: «Надлежит врагам показать, что нас сюпонировать не можно и что зубы есть готовы на оборону Отечества, а теперъ вздумали, что, потянув все к воюющим частям, они с поляками до Москвы дойдут, не находя кота

дома. Пространство границ весьма обширно, это правда, но если препятствия не найдут, то они вскоре убавят оных»^[1539].

В этих условиях Потемкин должен был так спланировать кампанию 1790 года, чтобы, с одной стороны, принудить Турцию к миру, а с другой — не удаляться с армией от Молдавии и Польши, прикрывая обширную юго-западную границу. Для этого командующий предлагал перенести удар на море. «Теперь, имея весь берег от устья Дуная до наших берегов в своих руках, нет уже им (туркам. — О. Е.) опоры. Время флотом их пугнуть... в полной надежде на милость Божию, которого помощью мы на море стали уже посильнее неприятеля, а в августе и гораздо сильнее будем». Потемкин просил Екатерину распространить в среде европейских дипломатов слух, что Россия намерена действовать оборонительно, держась у своего берега. «Сие дойдет до турков, и они, понадеясь, выйдут из канала, а то иначе их не выманить»^[1540].

Военно-морские операции 1790 года имели целью получить господство на Черном море. В этих условиях флоту требовался деятельный и храбрый руководитель. 25 февраля князь писал императрице: «Благодарение Богу, и флот наш, и флотилия сильнее уже турецкого, но адмирал Войнович бегать лих и уходить, а не драться. Есть во флоте севастопольском контр-адмирал Ушаков, храбр, отменно знающ, приимчив и охотен к службе, он мой будет помощник»^[1541]. 14 марта в ордере Черноморскому адмиралтейскому правлению Потемкин сообщал, что назначил Ф. Ф. Ушакова командующим флотом^[1542]. Характерно, что в столь сложный период князь не побоялся выдвинуть человека талантливого, но мало кому известного. Ушаков не обманул надежд своего покровителя.

Троянский конь

Положение в Польше вызывало у корреспондентов сильное беспокойство. 10 января императрица подписала рескрипт о назначении Потемкина великим гетманом казацких Екатеринославских и Черноморских войск^[1543]. Вручение рескрипта послужило сигналом к осуществлению секретного проекта о возмущении православного казачества Польской Украины. «Терпеть их вооружение, самим ничего не делавши, похоже на троянского коня, которого трояне не впустили к себе с холодным духом»^[1544], — говорит князь о польской армии, намеренной

действовать совместно с прусскими войсками.

В связи с назначением Потемкина великим гетманом современники нередко упрекали князя в неумеренном честолюбии, заставлявшем его выдумывать для себя все новые и новые звания^[1545]. Сам Потемкин называл этот титул «смешным фантомом», не приносящим ему никакой «отличности», но являющимся действенным средством для возбуждения у польских казаков надежды на помощь своих екатеринославских и черноморских товарищей^[1546]. Безбородко писал 9 февраля Семену Воронцову: «В Украине Польской мы сделаем конфедерацию наших единовверных, примерную той, которая гетманом Хмельницким была сделана, и тем займем всю польскую армию»^[1547].

«Предлагаемое мною нужно, сие умножит у поляков и забот, и страху... — внушал Екатерине Потемкин. — План будет секретной, откроется в свое время... Не можно оставить Польшу так, нужно, конечно, ослабить или, лучше сказать, уничтожить»^[1548].

Тем временем варшавский кабинет обнаружил, что Австрия вовсе не будет безучастно наблюдать, как почти вся польская армия скопилась у русских границ, оголив остальные участки. Заверения в миролюбии Вены были отброшены, и «цесарские» части стали сосредоточиваться в Галиции. «Польские войска от наших границ потянулись к Галиции, — сообщал князь. — С нами обходятся хорошо и вежливо. Причина их приближения есть та, что цесарь 20 тысяч ввел в Галицию по подозрению на своих подданных поляков, а поляки приняли подозрение наипаче, потому что перед сим на границе сделалась драка у поляков с цесарскими таможенными»^[1549]. Стоило обостриться положению на австро-польской границе, как варшавские чиновники мгновенно изменили тон в обращении с Россией на более вежливый и подтянули войска к другому возможному театру военных действий. В условиях, когда страна расползалась, как гнилое лоскутное одеяло, растягиваемое соседями, Польша наступательно воевать не могла. Потемкин это понимал. К несчастью, сторонники союза с Пруссией в Варшаве держались другого мнения.

9 февраля князь ответил Екатерине на присланную из Петербурга «Записку о мерах, необходимых по случаю возможного вмешательства прусского короля». Черновик документа был написан рукой Безбородко таким образом, чтобы с правой стороны листа оставалось широкое поле для помет светлейшего.

Александр Андреевич рассуждал: «По известиям полученным, что король прусской отряжает сорок тысяч войска к Галиции, сорок тысяч к

Лифляндии и сто тысяч оставляет в запасе для употребления, где нужно будет, почитается заключение с Портою Оттоманскою мира первою мерою к уничтожению вредных его замыслов». Григорий Александрович отвечал: «Нужно тем паче, что Польшу оставить так не можно, когда мы со всеми силами, то не долго займут нас, и, конечно, нанесем гибель. Для того и нужно употребить все способы, чтоб удержать берлинский двор»^[1550].

Из дальнейшего текста видна разница в подходе корреспондентов к проблеме прусской угрозы. Если Екатерина предлагала немедленно развернуть все войска к новому противнику, то Потемкин показывал императрице невозможность резких перемещений армии, особенно в зимнее время, и требовал как можно дольше оттягивать начало конфликта с Пруссией. «Если мирная негоциация не получит желаемого окончания и король прусской вмешается в дело, то на сей случай надлежит принять осторожности к отвращению нечаянного нападения или к сделанию оного меньше вредным, — диктовала Екатерина Безбородко. — Сие предусмотрено Вами при расписании войск, где армия Украинская назначена была для обращения на неприятеля, вновь восстающего». Князь выставляет императрице на вид веские доводы против немедленной передислокации войск. «Все старание употребляю. Трудно круто изворотиться в рассуждении дальности. Что возможно, все сделано будет. Армия Украинская не вся тогда назначалась, а часть. К тому ж не было шведской войны, Польша находилась в другом положении в рассуждении нас, о цесарцах не знали, что они противу турок так слабы. К времени нельзя поспеть полкам, которые отсюда или других мест полденно обратятся, и выйдет их ни здесь, ни там не будет. До лета же из мест, степями отделенных, нет возможности итить»^[1551].

Петербургский кабинет был уверен, что Варшава полностью поддержит предполагаемого агрессора: «Как поляки не преминут принять участие в деле, то к уничтожению вредных их замыслов нет ничего надежнее, как произведение секретного вашего плана. Когда усмотрите, что новая буря неизбежна, и поляки окажут готовность присоединиться к неприятелям нашим, то оный план предоставляется исполнить». Судя по ответу, Потемкин уже начал осуществлять предварительные мероприятия: «Сей план поднес я, предвидя, что буря сия будет... Я из-под руки готовиться буду и поляков до времени ласкать не премину»^[1552].

Сомнения одолевали князя на счет деятельности русского посла в Польше. В конце февраля 1790 года Штакельберг сообщал о реакции сейма на официальное предложение, сделанное республике 13 февраля маркизом

Дж. Луккезини от имени Фридриха-Вильгельма II. Прусский король наконец прямо объявил «господам сеймующимся» о своем желании получить Данциг и Торн в оплату за финансовую и военную помощь Польше в ее будущей войне с Россией. Таким образом, прусская сторона выдвигала Польшу в авангард нападения на русские земли и тем подставляла союзницу под главный удар противника. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в предполагаемом союзе с Россией Польша должна была получить часть завоеванной турецкой территории, а за союз с Пруссией — сама платить своей землей. Однако именно этот альянс вызвал в Варшаве бурный энтузиазм, так как обещал возвращение Украины и Смоленска. Правда, услышав заявление Луккезини, депутаты подняли серьезный переполох, что заставило руководителя внешней политики Пруссии графа Э. Ф. Герцберга немедленно отозвать сделанное республике предложение. Благодаря этой мере прусско-польский оборонительный союз все-таки удалось заключить 29 марта 1790 года.

Фиаско Луккезини на сейме вызвало крайнее недовольство Герцберга. В Берлине маркиза ждало дипломатическое объяснение с русским резидентом М. М. Алопеусом. Луккезини заверил последнего в «честной игре» со стороны Пруссии и попытался заручиться поддержкой России в приобретении Данцига и Торна^[1553]. Алопеус, к этому времени уже прочно связавший себя узами розенкрейцерского подчинения с «берлинскими начальниками», готов был согласиться на прусские предложения. Но получил запрет из Петербурга лично от Безбородко. В одном из откровенных писем светлейшему князю Безбородко прямо высказывал подозрение в предательстве Алопеуса^[1554]. Во всех этих событиях Потемкина смущала вялая позиция русского посла в Польше, который, казалось бы, должен был энергично препятствовать планам Пруссии, а на деле медлил даже с донесениями в Петербург.

Григорий Александрович подозревал Штакельберга в двойной игре. Еще в конце января князь писал Екатерине: «Из прилагаемых здесь писем посла Штакельберха изволите увидеть его тревогу, тем худшую, что он всюду бьет в набат. Если б он не подписал своего имя, то я бы мог его письмо принять за Лукезиниево... Воля твоя, а Штакельберх сумнителен. Как сия конфедерация сделалась?» Речь шла о конфедерации противников России в Польше, созданию которой должен был помешать Штакельберг. «Получил я от Штакельберха уведомление, что Лукезини предложил [полякам] об уступке Данцига, Торун и других мест, но я о сем уведомлен за неделю еще прежде. Изволите увидеть, что он советует отдать туркам

Подолию и Волынь, а прежде советовал мне поступиться по Днепр от наших границ. Я как верной и взыскательный подданной советую: пора его оттуда»^[1555].

О необходимости замены Штакельберга Потемкин еще в январе предупреждал Безбородко: «О Польше пора думать. Надеюсь на вашу дружбу, не могу не сказать, что там есть посол, но есть ли от него нам прибыль, не знаю. Сверх того нельзя знать о точности дел через него, все ирония да роман. Пошлите его, хотя архипослом куда-нибудь, а в Польше нужен русской»^[1556]. На месте Штакельберга светлейший хотел видеть Булгакова^[1557].

Деятельная работа послов в Польше и Австрии была необходима для того, чтобы не оставить Россию в случае реализации намеченного плана в одиночестве. «Занятие в Польше трех воеводств (Брацлавского, Киевского и Подольского. — О. Е.) по назначенной на карте черте долженствует быть проведено согласно с союзниками, иначе мы останемся одни загребать жар, ежели они пребудут на дефензиве. Я сего опасаюсь от них, потому-то и нужен нам министр деятельный, а князь Голицын — цесарец и берет только жалование даром... Что изволишь, матушка, писать... касательно Данцига, и без него можно знать, что лучше ничего никому не давать, но если нужно по обстоятельствам ему (прусскому королю. — О. Е.) дать глодать масол, то пусть возьмет. Тут выйдет та польза, что потеряет он кредит в Польше, откроет себя всей Европе, да и турки с англичанами не будут равнодушны. Нам доставится способ кончить войну и тогда немедленно оборотить все силы на прусского короля. В одну компанию, по благодати Божией, оставим его при Бранденбургском курфюрстве, иначе много будет нам забот, а ему без вреда. Кто не применяется к обстоятельствам, тот всегда теряет»^[1558]. Потемкин считал выгодным, если Пруссия захватит Данциг, поскольку это изменило бы настроения в Варшаве.

Почувствовав, что реальная угроза исходит не от границ России, а из внутренних районов, где земли, принадлежащие светлейшему князю, могли полыхнуть восстанием, варшавский кабинет принял решение о новой передислокации армии. «Войска их на границе умалились и скопляются близ Смелы, моей деревни в Польше, где их будет двенадцать тысяч, — доносил Григорий Александрович 15 апреля 1790 года. — Умножаются и у Кракова»^[1559].

В приложении к этому письму Потемкин переслал Екатерине записку «О причинах недовольства в народе», в которой характеризовал настроения поляков: «Шляхетство и обыватели, помня прежние, в прошедшую

конфедерацию бывшие разорения в Польше, когда многие лишены были не только имущества, но и самой жизни, скорее внутреннее междоусобное возмущение сделают, нежели позволят еще себя дать разорять»^[1560]. По мнению князя, поляки готовы были пойти на изменения государственного устройства, для того чтобы больше не допустить иностранные войска на своей территории.

Подтверждением такого взгляда служил перевод распространяемого в Варшаве письма «Глас крестьянина по чинам сеймующимся», тоже приложенный для ознакомления Екатерины. Этот документ, составленный сторонниками оппозиции от имени подозрительно образованного польского крестьянина, требовал от сеймовой шляхты немедленного изменения политического строя республики. «Сеймы ваши не заботятся ни мало о нашем состоянии. Нужды государства и наши тяготы умножаются, — бичевал господ безымянный землепашец. — Не имея заступника, мы сами глас возносим»^[1561]. Далее письмо требовало: законов, защищающих жизнь простых крестьян; государственного, а не шляхетского суда для них; оставлять крестьянину его имущество и хлеб; назначить четкие налоги с определенного количества земли и не отягощать земледельцев другими поборами. Трудно назвать эти требования несправедливыми. Появление подобных писем показывало, насколько далеко зашел в Польше общественный раскол. Обстановка в любой момент могла стать неконтролируемой.

30 мая из лагеря в местечке Кокотени Потемкин направил Екатерине несколько документов, рисующих обстановку буквально накануне намеченного ввода русских войск в Польшу. Важнейший из них — «План операции военной по вступлению в Польшу» — характеризует тактические задачи предстоящего маневра. «Вступление в Польшу долженствует быть согласовано с союзниками, и так движение наше к назначенной черте единовременно с открытием действий от австрийцев произведется», — подчеркивал светлейший князь. Втягивая Австрию в действия на территории Польши, Россия не позволяла Вене выпутаться из военного конфликта и оставить Петербург в одиночестве. «Из означения позиции на карте видно, — продолжал Потемкин, — что граница от Чернигова или лучше сказать от Гомеля к Кракову и молдавская по Днестру остается уже за спиною у нас, а белорусская так будет обеспечена, что неприятель поопасается ворваться даже за Могилев, опасаясь быть отрезану».

План вторжения рассматривался как предупреждающий удар перед совместным нападением Пруссии и Польши. Боеспособность польских

войск князь оценивал невысоко. Значительная часть рекрут, по расчетам светлейшего, должна была перебежать на сторону России: «При вступлении нашем в Польшу войски республики рассыпаны или прогнаны будут, а я на Бога надеюсь, что все разбегутся и много к нам. Тогда я пойду вперед и так уже встану, что вся граница от польских войск обеспечена будет; а полки, в Белоруссии собирающиеся, двинутся к Курляндии противостоять прусскому королю и тем закрыть Ригу». Результатом этой акции должно было стать отделение воеводств, населенных православными: «Во время движения вперед моего корпуса в трех воеводствах черноморские казаки водворятся. Манифест публикуется и русский народ возьмет силу объявить себя вольным и от Польши независимым»^[1562].

Наибольшую надежду Потемкин возлагал на казаков. Значительный отток православных рекрут из Польши шел через границу на Украину и записывался там в формируемое казачье войско. «Узнав о большой дезерции у поляков, не оставил я ...сим воспользоваться, — рассказывал Григорий Александрович. — Украина почти с радостью ожидает своей судьбы. При первом вступлении нашем казаков будет тьма»^[1563]. Крупное Черноморское войско, застывшее на границе с Польшей, представляло серьезную угрозу. «Поляки час от часу учтивее, сим мы обязаны Черноморским казакам»^[1564], — отмечал Потемкин в письме 2 июля 1790 года.

«Посреди пяти огней»

План введения русских войск в Польшу был завязан на совместные действия союзников. Однако с 1790 года Россия воевала против Турции одна, хотя Австрия еще около полугода формально не заключала мира. Внутренние неурядицы и волнения в провинциях делали союзницу небоеспособной. Иосиф II вызывал всеобщую неприязнь подданных. «Страх истинно слушать от приезжающих генералов ко мне, как они все раздражены, — писал Потемкин Екатерине об отношении армии к императору, — и говорят так смело, что уши вянут»^[1565]. Екатерина сочувствовала Иосифу. «Об союзнике моем я много жалею, — писала она 6 февраля, — и странно, как имея ума и знания довольно, он не имел ни единого верного человека, который бы ему говорил пустяками не раздражать подданных. Теперь он умирает, ненавидимый всеми»^[1566].

9 (20) февраля Иосиф II скончался. Потемкин понимал, что перемена на венском престоле повлечет за собой ломку курса австрийской внешней политики. В условиях внутреннего кризиса империя Габсбургов не сможет противостоять Пруссии и на время подчинится ее влиянию. Об этом князь предупреждал Екатерину 25 февраля^[1567]. Другого мнения придерживались представители проавстрийской партии, они возлагали на нового императора Леопольда II большие надежды. «Я думаю, что его контенанс много пособит нам с честью выпутаться из настоящих обстоятельств, в кои погрузила нас недеятельность или медленность военная, — писал Семену Воронцову Безбородко сразу по получении известия о смерти Иосифа II. — Но уверен, что впредь он не так охотно и слепо на затеи наши поддаваться станет, как покойник, которого можно было считать за нашего наместника и генерала»^[1568].

Потемкин продолжал предварительные консультации с турецкими вельможами, чтобы лучше уяснить их позицию. Это оказалось нелегко, так как в Константинополе разные политические силы настаивали на разном подходе к переговорам. «Я наверное знаю, что Порты намерена тянуть дела в переговорах и, будучи теперь слаба, ...удерживать нас тем от действий военных, и, наконец, изготоясь, прервать негоциацию, если она не в пользу их будет, — сообщал князь 25 февраля. — Но визирь и риджалы хотят миру. Султан же сваливает все с себя на них, чтоб не быть упрекаем, а притом пьянствует. Кто ему подводит мальчиков, тот и силен».

В откровенном разговоре с визирем Гассан-пашой Потемкин прямо сказал ему, что те, кто теперь подстрекает Порту к продолжению войны, первыми кинутся делить ее земли. Рано или поздно нынешние союзники заберут себе «Суез», то есть Суэц, как важнейший пункт торговли с Востоком. Для князя просчитать эту перспективу было нетрудно^[1569].

Потемкин предлагал поддержать партию мира во главе с визирем и предложить Турции по заключении трактата подписать союзный договор. «Обещая им союз наш, мы отвлечем их от всех других и тем, может быть, навсегда инфлюенцию пресечем других дворов. Кажется, что турки сему будут рады»^[1570].

Предлагая подобный выход, Григорий Александрович счел нужным сообщить Екатерине о попытке подкупить его со стороны турецких вельмож: «Визирь поручил... узнать, какой бы суммой денег возможно было меня склонить на их пользу. Я на сие приказал ему ответить, что, конечно, турки принимают меня за иного, нежели я»^[1571]. Первым извещая императрицу о подобном факте, князь выбивал почву из-под ног у

тех недоброжелателей, которые захотели бы использовать этот случай против него.

Екатерина не одобрила идею союза с Турцией. «Хотя визирь и риджалы желают мира, — писала она 19 марта, — но известно тебе, что в Цареграде уже согласились заключить союз наступательный и оборонительный с прусским королем... Я не понимаю, противу кого сей союз с турками нам заключить, и сие бы было дело к непрестанным с ними ссорам и хлопотам для и против них. Сию мысль лучше оставить и с врагами христианства не связываться союзом»^[1572].

Смерть сторонника мира Гассан-паши сама собой положила конец разногласиям корреспондентов. Мало кто верил в ее естественные причины. «Жаль его крайне, — писал Потемкин 2 апреля, — он был один тверд и непоколебим в старании о мире, несмотря на гонения от прусского и шведского дворов. Ежели на его место не Юзуф-паша, бывший визирь, поставится, то будет знаком, что султан расположен к миру»^[1573]. Однако Селим III остановил свой выбор именно на Юсуф-паше, которого Екатерина называла «бешеным визирем». Кохан-тугай (конский хвост) — знак продолжения войны — вновь развивался у дворца в Стамбуле.

С началом весны в армию возвращались офицеры, получившие отпуска на зимнее время. 18 марта на Юг направился Валериан Александрович Зубов, брат нового фаворита. «Флигель-адъютанта моего... прошу жаловать и любить, как молодого человека, наполнено охотою к службе и доброю волею, — писала Екатерина в рекомендательном письме. — Он никуда не захотел сам окроме к тебе в армию»^[1574]. Свой человек в окружении командующего был необходим группировке Н. И. Салтыкова. Забота императрицы вверяла Зубова особому попечению Потемкина. Однако Григорий Александрович ответил не совсем так, как ожидала Екатерина: «Я все приложу попечение сделать его годным в военном звании, в котором проведу его через все наши мытарства, не упущу ничего к его добру; а баловать не буду»^[1575].

Отсутствие активных военных действий «на сухом пути» и продолжение консультаций с турецкой стороной позволили Потемкину обосноваться в Яссах. Прошли первые два с половиной года войны, когда светлейший князь, не смущаясь отсутствием комфорта, жил «как ни попало» и размещался со всей канцелярией в одной комнате, уступив свою ставку под лазарет. В богатом боярском городе Потемкин мог позволить себе устроиться с привычной роскошью. Его окружало самое изысканное общество, состоявшее не только из русских и австрийских офицеров, но и

из польских аристократов, не сочувствовавших конфедерации, молдавских, валашских и румынских бояр, надеявшихся на независимость своих земель, турецких чиновников, хлопотавших о мире. Эта разноязыкая толпа не только напоминала царский двор^[1576], но и была чуткой к политическим изменениям средой, в которой светлейший князь разыгрывал сложнейшие дипломатические комбинации^[1577].

Между тем именно в это время Платон Zubov в Петербурге начал делать первые попытки подорвать расположение Екатерины к Потемкину. Валериан доносил брату из Ясс, что князь утопает в удовольствиях, окруженный целым гаремом красавиц и толпой прихлебателей. Эти сведения, как бы неумышленно, в домашней беседе, передавались императрице и были ей неприятны^[1578].

Ф. А. Бюлер сообщал, что в бытность Валериана Zubova в армии светлейший ставил его «на те батареи, где неприятельский огонь был смертоноснее, и, по возвращении этого молодого человека в Петербург, партия Zubovых» распустила слухи, «будто Потемкин, кроме действующей армии, содержал еще на свой счет второй комплект солдат». Будто он, «всячески привлекая к себе молдаван и валахов, хотел отложиться от России и сделаться в этом крае независимым господарем»^[1579]. Эти разговоры тревожили Екатерину.

К ним прибавлялись другие: о лени и сибаритстве командующего. Их образчик находим в мемуарах А. Ф. Ланжерона: «Главная квартира в Бендерах походила на двор; тут были те же самые развлечения, вечера, ужины, концерты... — и все это в маленьком полуразрушенном окруженном степью городе. Потемкин обыкновенно проводил целое утро в совершенном *deshabille*, занимаясь чисткою... драгоценных камней и распоряжаясь отправлением великолепных букетов тем дамам, за которыми ухаживал... В то самое время, когда войско подвергало себя страшным опасностям и не щадило трудов, Потемкин оставался в будуаре, окруженный любовницами и одетый в халат».

Однако стоит Ланжерону перейти к описанию событий, виденных им собственными глазами, как на смену будуару является кабинет, а на смену букетам — государственные бумаги. «В Бендерах Потемкин жил в доме одного турецкого паши. На дворе этого дома я увидел около шестисот офицеров, курьеров и ординарцев; в небольшой передней я застал князя Репнина, князя Долгорукого, принца Виртимбергского, генералов, адъютантов, полковников и пр. Все они желали видеть князя Потемкина, но едва осмеливались подходить к его кабинету. Роже де Дама провел меня в

комнату князя. Я увидел человека высокого роста, в шлафроке, с растрепанными волосами; имея мрачный и рассеянный вид, он был занят подписанием бумаг»^[1580].

Удерживать армию в состоянии вынужденного бездействия после стремительных наступательных операций 1789 года оказалось чрезвычайно трудно. Многие командиры мечтали о славе и тем громче роптали на Потемкина. Показателен случай с корпусом генерал-поручика Юрия Богдановича Бибикова. 18 марта Бибиков, не уведомив никого из вышестоящих, отдал приказ двигаться за Кубань. Офицеры и солдаты повиновались, полагая, что исполняют часть общей операции. Светлейший князь послал приказание немедленно остановить марш и сдать команду младшему по чину. «Он разорит войска по теперешнему времени!»^[1581] — возмущался Григорий Александрович.

Но генерал-поручик отказался повиноваться и направил в Яссы рапорт, заставивший усомниться в здравости его рассудка: «Кончу путь мой тогда, когда найду совершенную невозможность достигнуть до пункта, которому все сии народы привязываются»^[1582].

«Каких пакостей не делал безпутный Бибиков, дурак, пьяница и трус, — писал Потемкин 2 мая, когда войска были уже возвращены восвояси. — Там только дерзок, где не видит опасности перед глазами... Я думаю, что он имел кого-нибудь от неприятеля, который его заманил к Анапе, ибо по известиям, взятым от пришедших из Царя Града, видно, что давно турки в Анапу послали подкрепление»^[1583]. «Я думаю, что он с ума сошел, — отвечала императрица 14 мая, — людей держал 40 дней на воде, почти без хлеба, удивительно, как единый остался жив... Если войско взбунтовало у него, то сему дивиться нельзя»^[1584]. Участники экспедиции были отправлены в госпитали, корпус фактически расформирован. Арестованному и отданному под суд Бибикову грозила суровая кара, только помилование Екатерины спасло ему жизнь^[1585].

«Дерзость безпримерная с таковою же глупостью соединена в сем изверге, — писал Потемкин 30 мая. — Цель его вся была ухватить время, ибо он знал, что не оставлю его без помощи, и то ради наживы или через удачу достать себе славу»^[1586]. Князь сумел примерно наказать Бибикова, заставив его в госпитале ухаживать за больными, пострадавшими в экспедиции.

«Недостает у меня, светлейший князь, изъяснить в точности мною видимое, — писал генерал-майор В. И. фон Розен, принявший корпус, — в каком состоянии сии непобедимые в твердости офицеры и солдаты

находятся. Утомлены голодом, изнурены ...стужею и ненастьем, босы, и притом безо всякой нижней, а в беднейшей верхней одежде. Больные едва имеют дыхание, опухли, но и те, кои почитаются здоровыми, не многим от них разнятся»^[1587]. Приказать генерал-поручику выносить горшки за солдатами, дворянину за бывшими крепостными — на это решился бы не всякий командующий. Но для Потемкина рядовые были в первую очередь люди, а Бибиков — виновник их несчастий, поэтому князь считал свой поступок правомерным.

Попытки светлейшего противодействовать планам прусской дипломатии возбудили ненависть берлинского кабинета. Еще в апреле Екатерина предупреждала корреспондента, что пруссаки могут попытаться физически устранить его, используя для этого находящихся в ставке турецких вельмож. «Поберегись, Христа ради, от своего турка, — говорила императрица 19 апреля об одном из константинопольских чиновников, близко работавших с князем. — Дай Боже, чтоб я обманулась, но у меня в голове опасение, извини меня, чтоб он тебя не окормил: у них таковые штуки водятся, и сам пишешь, что Ассан-паша едва ли не отравлен, а к сему пруссаки повод, а может быть, и умысел подали, и от сих врагов всего ожидать надлежит, понеже злоба их, паче всего личная, противу меня, следовательно и противу тебя, которого более всего опасаются»^[1588]. Примечательно, что Екатерина подчеркивала неразделимость своей судьбы с судьбой Потемкина и общность их противников.

Вскоре прусские политики дали Григорию Александровичу почувствовать свою силу. Его огромные имения в Польше едва не были конфискованы Варшавой по требованию берлинского кабинета. «Мне притеснения чужестранных дворов делают честь, ибо сие значит, что я верен Вам»^[1589], — писал Потемкин 10 сентября.

В Берлине рассчитывали, что русский командующий не выдержит морального давления. Не вынесет слухов о своей военной бездарности и нерешительности. Пруссак пытались сыграть на честолюбии Потемкина и заставить его двинуть войска за Дунай или первым вторгнуться в Польшу, где местные власти разоряли его владения. Однако Григорий Александрович еще во время очаковской осады доказал, что давить на него бесполезно. Насмешки и упреки сыпались на голову князя даже из уст мальчишек-волонтеров. «Так как Екатерина назначила Потемкина главнокомандующим, — писал Ланжерон, — то нельзя удивляться тому, что турки все еще находятся в Европе»^[1590].

Сам Потемкин прекрасно осознавал, какие блестящие перспективы

открывались перед его армией. «Порта в столь худом состоянии, чтобы одной кампанией их из Европы проводили»^[1591], — писал князь Екатерине еще 25 февраля. Но безопасность России была для него дороже случайностей военного счастья. Дальновидный, добросовестный политик победил в Потемкине честолюбивого военачальника. Однако подобную моральную победу способны были одержать над собой не все.

Австрия находилась в столь же стесненном положении, что и Россия. Кроме того, у нее не было возможностей без поддержки русских войск развивать наступление. Но принц Кобург решил перейти за Дунай, рассчитывая на вынужденное содействие Потемкина^[1592]. Этот шаг грозил втянуть русскую армию в операции на стратегически невыгодном для нее театре. «Положение местное, столь меня отдаляющее, и сообразность пользе дел ваших никак мне не позволяет удалиться к нему и тем открыть дистанцию правого и левого флангов»^[1593], — писал Потемкин императрице 13 июля. «Я подвинул генерала Суворова по дороге к Букаресту в 5 маршах от оногo... хотя сие во многом расстраивает пользу делу вашего императорского величества»^[1594].

Тридцатитысячный корпус Кобурга осадил небольшую крепость Журжу и потерпел под ее стенами сокрушительное поражение. Осажденные предприняли вылазку, прогнали австрийцев, отобрав артиллерию и положив на месте более тысячи человек^[1595]. С турецкой стороны в схватке участвовало около 300 янычар. «Принц Кобург уехал гулять по Дунаю, а генерал Сплени вверх, — писал Потемкин 18 июня. — Янычар не более трехсот по нечаянности навели такой страх, что, все брося, австрийцы ушли... Начальников гуляющих отыскиали, а турки между тем увезли пушки... Из Рущука в сикурс пришло до семисот (турок. — О. Е.), которых с гарнизоном было меньше, чем австрийцев в шесть раз»^[1596]. «Так испортил глупый Кобург, что и поправить трудно, — продолжал князь 19 июня. — Чтоб я ни делал, и нашими успехами Бог не благословит, не иначе их все разобьют... Вы не можете представить, что это за войска: венгры и сербы друг друга не любят, а обе нации терпеть не могут немцев, которые составляют пехоту самую худшую в их армии... Они от всего бежали и по жадности захватили контрибуции повсюду»^[1597].

2 июля, получив подробности о поражении австрийцев под Журжей, Потемкин был потрясен крайней несуразностью происшедшего. «Фельдмаршал принц Кобург... теперь от всего уже робеет и просит помощи... Я сделал все, что можно, но не ручаюсь, чтоб не было с ними худого, и то не от турков, но от беспорядка, неминуемого от его глупости и

совершенного невежества, — доносил князь. — Повел траншею между домов форштата и фланги не сомкнул до Дуная. Турки в прореху вышли, скрылись между строения и вдруг ударили, видя их (австрийцев. — О. Е.) спящих по домам без ружей, а иных за обедом. Вылазка состояла из трехсот с небольшим, которые опрокинули три батальона, подкрепленные еще двумя. К умножению его глупости была диспозиция, чтоб для obligations людей отражать неприятеля штыками, не дано им патронов, и так сим робость уже вселена была. Неужели сидящим в траншее противу тех, кои по них стреляют, отбраниваться только словами или дразниться языком?»^[1598]

Результатом неудачной осады Журжи явились деморализация австрийских войск и потеря ими доверия к командующему^[1599]. Едва ли после случившегося следовало ожидать, что венский кабинет решится на продолжение войны. Родственники императора видели причину бедствий в союзе с Россией^[1600]. Летом начались переговоры Австрии и Пруссии в городе Рейхенбахе в Силезии.

Потемкин сразу понял, куда клонится негоциация. «Король венгерский трактует с королем прусским. Боюсь, чтоб они не оставили нас одних в игре, ибо ничего сюда не сообщают»^[1601], — писал он Екатерине 5 июля. «Союзники наши... весьма скрыто сладили с пруссаками, и нельзя думать, чтоб не было слова и об нас. Должно меня разрешить на всякий случай, что я должен делать? ...Поддерживая австрийцев, терять ли тысячи русских душ для их пользы? ...На случай, если с австрийцами особо турки помирятся, следует уже нам сократить линию локального театра, тогда прижаться к своим границам, которые я почитаю между Буга и Днестра, препятствовать соединению с поляками, для того главные силы расположить по их границе»^[1602].

Потемкина крайне беспокоило положение выдвинутого к Бухаресту в помощь австрийцам корпуса Суворова. Если бы войска Кобурга были отведены, Суворов остался бы отрезанным от основных сил. Через своих резидентов Потемкин узнал о выходе Австрии из войны еще 30 июля и приказал Суворову отодвинуться с войсками на север^[1603]. Когда же результаты Рейхенбахского соглашения стали общеизвестны, Суворов уже находился за рекой Серет^[1604].

Екатерина надеялась на иной исход переговоров: «Я думаю, что король венгерский старается протягивать негоциации»^[1605]. Императрица полагала, что союзник не оставит Россию «посреди пяти огней». В этом ложном убеждении ее удерживал «социетет», быстро терявший

политический вес в связи с изменением курса Вены. Тем тяжелее для Екатерины было понять, что она обманулась. Уступив давлению прусских и английских дипломатов, Австрия вышла из войны с Портой. 27 июля (7 августа) австрийцы заключили соглашение с Пруссией, по которому Вена в обмен на помощь в Бельгии отказывалась от всех своих завоеваний в турецких владениях, обязывалась подписать перемирие и отозвать бухарестский корпус Кобурга. В письме 9 августа Екатерина назвала рейхенбахские декларации «постыдными»^[1606].

Безбородко, прежде так восхищавшийся Иосифом II и уповавший на его помощь, вынужден был признать: «Мы теперь не имеем союзников. Король прусский воспользовался расстройством австрийской монархии и слабостью ныне владеющего императора, поставил его в совершенное недействие, которое, по собственному изъяснению венского двора, не прервется и при самом на нас нападении»^[1607].

Мир со Швецией

Ответный удар русской дипломатии был не менее тяжел для Берлина, чем Рейхенбахское соглашение для Петербурга. 3 (19) августа в Вереле Россия и Швеция подписали мир без всякого посредничества Пруссии или Англии. С русской стороны к переговорам были допущены граф И. А. Остерман, А. А. Безбородко, граф А. Р. Воронцов и Н. И. Салтыков^[1608]. Однако уполномоченный подписывать договор барон О. А. Игельстром вел через их голову переписку с Потемкиным, в которой жаловался на негибкую позицию своих начальников и просил князя оказать содействие^[1609].

Густав III отказывался удовлетворить желание России и восстановить государственное право, существовавшее в Швеции до переворота 1772 года. «Требования для примирения, чтоб король шведский был без власти начинать войну, было напрасно, — убеждал Екатерину Потемкин 18 марта, — ибо сим способом никогда не помиримся. Бросьте его так»^[1610]. На сей раз императрица была склонна прислушаться к его словам. Однако от заключения мира Россию и Швецию отделяла еще целая полоса летних морских сражений.

Операции на Балтике велись в такой близости от Петербурга, что в город доносилась пушечная стрельба. Екатерина проводила ночи без сна, а граф Безбородко плакал^[1611]. В письме 8 июня императрица с

удовольствием рассказывала корреспонденту, как шведский флот был блокирован русскими эскадрами в Березовом Зунде. «Тут они доднесь еще здравствуют, быв с моря заперты нашим всем флотом корабельным... Если Бог поможет, то кажется, что из сей мышеловки целы не выйдут»^[1612]. При попытке вырваться шведы потеряли семь линейных кораблей и два фрегата. «Пленных тысяч до пяти, пушек до осьми сот, о мелких судах счету нет еще»^[1613], — писала Екатерина 28 июня.

Поражение Густава III произвело тяжелое впечатление в Лондоне и Берлине. Англия выразила готовность выступить в роли посредника^[1614]. Однако Семен Воронцов предупреждал, что английский король «будет ободрять короля шведского к продолжению войны»^[1615].

Вслед за блестящей победой русский флот постигло поражение. Нассау-Зиген хотел в годовщину вступления Екатерины на престол — 28 июня — нанести шведам новый удар, но был наголову разбит. «После сей прямо славной победы шесть дней последовало несчастное дело с гребною флотилиею, — писала императрица Потемкину 17 июля, — которое мне столь прискорбно, что, после разнесения Черноморского флота бурей при начатии нынешней войны, ничто сердце мое не сокрушило как сие»^[1616].

Нассау умолял об отставке и возвратил императрице все свои ордена. Уже после заключения мира Екатерина рассказывала об этом случае Потемкину: «Я писала к Нассау, который просил, чтоб я его велела судить военным судом. Я отвечала, что он уже в моем уме судим, понеже я помню, в скольких сражениях он победил врагов империи... что вреднее уныния нет ничего, что в несчастье одном дух твердости видно»^[1617]. Императрица точно передала содержание своего письма Нассау-Зигену: «Боже мой, кто не имел больших неудач в своей жизни?.. Покойный король прусский был действительно велик после большей неудачи: ...все считали все проигранным, и в то время он снова разбил врага»^[1618]. Екатерина оказалась права, в дальнейших операциях Нассау действительно сопутствовала удача, «что немало и помогло миру»^[1619].

5 августа императрица сообщала Потемкину радостную весть: «Сего утра я получила от барона Игельстрома курьера, который привез подписанный им и бароном Армфельдом мир без посредничества, а королю прусскому, чаю, сей мир не весьма приятен будет»^[1620]. Финальные переговоры велись на Верельском поле между передовыми постами двух армий и направленными друг на друга заряженными пушками. При малейшей попытке шведской стороны увеличить требования Игельстром,

взяв свою шляпу, направлялся в расположение русских войск, чтобы начать бой. Наконец король уступил, договор был подписан, и уполномоченные обменялись текстами^[1621]. «Одну лапу мы из грязи вытащили, как вытащить другую, то пропоем аллилуя»^[1622], — писала Екатерина Потемкину.

Как и предполагала императрица, случившееся не могло быть приятно прусскому королю. Берлинский кабинет упустил удобное для нападения на Россию время. Весной и летом прусские и польские войска не могли двинуться, армия Потемкина не ушла за Дунай и в любой момент могла всей своей мощью развернуться против них. В конце лета был подписан Верельский мир, и Россия высвободила значительные военные силы на Севере. Теперь опасным для Пруссии стало вторжение и через Лифляндию. Даже из Рейхенбахского соглашения русская сторона сумела извлечь пользу. Потемкин сократил линию локальной обороны и совершенно блокировал польскую границу.

Весной и летом 1790 года наши герои обменивались письмами, под звук канонады крупных морских сражений, которые в одно и то же время разворачивались на Балтике и Черном море. Екатерина часто отмечала нерасположенность русских к морской службе, говорила о необходимости «приохочивать» сухопутный народ к морю. Григорий Александрович, со своей стороны, признавался в недостатке у него флотских чинов из русских и сетовал, что влияние иностранных волонтеров, искателей приключений, пагубно действует на дисциплину во флоте. «Много разврата от влияния развратных советников... — писал князь 3 августа из Бендер. — Сколь от них огорчения! Должны русские быть в той части командиры»^[1623].

По этой причине Потемкин не упускал ни одной возможности, чтобы рекомендовать Екатерине инициативного и храброго контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова. После сражения в Керченском проливе 8 июля, в котором Ушаков обратил в бегство турецкие корабли и предотвратил высадку десанта в Крыму, князь с восторгом рассказывал Екатерине: «Бой был жесток и для нас славен, тем паче, что контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое сильнее... Контр-адмирал и кавалер Ушаков отличных достоинств. Знающ, как Год, храбр, как Родней, я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель; не оставьте его, матушка»^[1624]. Давая характеристику Федору Федоровичу, Потемкин сравнивает его со знаменитыми английскими флотоводцами адмиралом Ричардом Хоу и Джорджем Родни.

Через месяц подвиги Ушакова вновь заставили Григория

Александровича упоминать о нем в письме к императрице. После сражения 28–29 августа у острова Тендра светлейший подчеркивал достоинства своего протеже: «Будто милостивы к контр-адмиралу Ушакову. Где сыскать такого охотника до драки? В одно лето третье сражение... Офицеры рвутся один перед другим. С каким бы я адмиралом мог вести правило драться на ближней дистанции? А у него линия начинает бой в 120 саженьях, а сам особенно с кораблем против капитанского в двадцати саженьях. Он достоин ордена 2 класса военного, но за ним тридцать душ и те в Пошехоне. Пожалуйте душ 500, хорошенькую деревеньку в Белоруссии, и тогда он будет кавалер с хлебом»^[1625].

Как и в случае с Суворовым, отказа на просьбу не последовало. «Контр-адмиралу Ушакову посылаю, по твоей просьбе, орден св. Георгия второй степени и даю ему 500 душ в Белоруссии за его храбрые и отличные дела»^[1626], — писала Екатерина 16 сентября. Приведенные рекомендации были даны Ушакову еще до знаменитого сражения при мысе Калиакри, сразу поставившего Федора Федоровича в число лучших флотоводцев своего времени. Однако задолго до этого светлейший князь угадал, что «из него выйдет великий морской предводитель». Победа же при Корфу, до которой Потемкину не посчастливилось дожить, полностью подтвердила эту характеристику.

В результате летних сражений 1790 года русский флот добился господства на Черном море.

Дело Радищева

Выход Австрии из войны нанес сокрушительный удар по влиянию «социетета». Группировка, сильная поддержкой Вены, теперь стремительно теряла вес. Ее уход с политической сцены ознаменовался громким скандалом — имя Александра Воронцова оказалось замешано в деле его подчиненного А. Н. Радищева.

«Под начальством моего брата по таможне служил один молодой человек по фамилии Радищев, — вспоминала Е. Р. Дашкова в мемуарах. — Он учился в Лейпциге, и мой брат был к нему очень привязан. Однажды в Российской академии в доказательство того, что у нас было много писателей, не знавших родного языка, мне показали брошюру, написанную Радищевым. ...Я в тот же вечер сказала брату, который послал уже купить эту брошюру, что его протеже страдает писательским зудом, хотя ни его

стиль, ни его мысли не разработаны, и что в его брошюре встречаются даже выражения и мысли, опасные по нашему времени. ...Этот писательский зуд может побудить Радищева написать впоследствии что-нибудь предосудительное. Действительно, ...Радищев издал несомненно зажигательное произведение, за что его сослали в Сибирь. ...Этот инцидент и интриги генерал-прокурора (А. А. Вяземского. — О. Е.) внушили моему брату отвращение к службе, и он попросил годового отпуска, ссылаясь на расстроенное здоровье... Однако до истечения срока отпуска он подал прошение об отставке и получил ее»^[1627].

Некоторые аспекты дела Радищева касались Потемкина. Дашкова называет протеже брата «молодым человеком», хотя в 1790 году тому исполнился 41 год. Он занимал весьма высокий (и доходный) пост начальника Петербургской таможни. Был хорошо известен при дворе, где начинал карьеру пажом. Затем за личный счет государыни обучался в Лейпцигском университете. Пользовался доверием и покровительством Воронцова, по его протекции получил из рук императрицы орден Святого Владимира. Кроме того, автор «Путешествия из Петербурга в Москву» являлся наследственным владельцем трех тысяч душ в разных уездах Российской империи^[1628].

Входя в круг приближенных Воронцова, Радищев отразил политические пристрастия этой партии. Глава «Спасская Полесь» содержит выпады против Потемкина. Автор описывает сон некоего монарха, который видит своего военачальника, «посланного на завоевания» и «утопающего в роскоши», в то время как солдаты его «почитаются хуже скота». «Не радели ни о здравии, ни о прокормлении их; жизнь их ни во что не вменялась, лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужных и безвременных строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителей веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел перед собою единого знаменитого по словам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника; и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля»^[1629]. Радищев здесь слово в слово повторяет обвинения, звучавшие из уст представителей «социетета».

Еще более досужая сплетня касалась так называемых «устерсов» или

устриц, великим охотником до которых был некий «государев наместник» (под ним подразумевался светлейший князь). Не жалея казенных денег, этот вельможа, «униженный орденами», ради удовлетворения своих капризов гонял за любимым лакомством государственных курьеров. Они приезжали в столицу якобы с важными бумагами, а сами покупали для начальника устриц по 150 рублей бочка и везли их за тысячу верст. А потом получали повышение по чинам, как если бы действительно исполняли серьезные поручения^[1630]. Весь эпизод написан в крайне оскорбительной манере. Обороты вроде: «таскался по чужим землям», «полез в чины», «стал он к устерсам, как брюхатая баба» и т. д. — показывают, в каких выражениях князя обсуждали члены «социетета».

К слову сказать, Потемкин вовсе не был любителем устриц. Многие мемуаристы отмечали его пристрастие к национальной кухне, что тогда считалось проявлением грубости вкуса. Поэт Е. И. Костров, побывав у князя на обеде, говорил, «что Юпитер шестом прогнал бы с Олимпа и Ганимеда, и Гебу с нектаром и амброзиєю, если бы дожил до Потемкина, да отведал таких щей, такой кулебяки и такого ботвинья, какие были у его светлости»^[1631]. Но что еще любопытнее, иногда князь действительно приказывал своим курьерам говорить, будто они прибыли в столицу за лакомством или поскакали в Париж за туфлями для очередной княжеской любовницы. Это отвлекало внимание от истинной цели их визита. Так было, например, в случае со знаменитыми бальными туфельками княгини Долгорукой. В охваченный революцией Париж отправился специальный посыльный дать взятку чиновнику Министерства иностранных дел и заполучить назад документы, касавшиеся предполагаемого русско-французского союза: в Петербурге не хотели, чтобы они попали в руки новым французским властям.

Во время войны со Швецией Воронцов считал, что сдача Петербурга неизбежна. Он готовился к переезду и вывозил имущество. Неучтенные казной доходы по таможенному ведомству были колоссальны. Незадолго до скандала с «Путешествием...» Александр Романович поручил Радищеву как наиболее доверенному лицу проверить наличие «пропущенных сумм» — то есть имеющихся на таможне, но не прошедших ни по каким документам. Таких денег было выявлено полтора миллиона^[1632].

Информация о них очень некстати всплыла во время расследования по делу Радищева. Сам писатель утверждал, что «забытые деньги» предназначались для передачи «их сиятельству президенту», то есть Воронцову, и возвращения в казну. Но граф ни копейки в казну не отдал.

Стоило генерал-прокурору Сената Вяземскому гласно задать вопрос, откуда взялись на таможне в военное время полтора миллиона «неучтенных денег», как Александр Романович ушел в бессрочный отпуск. Разговоры о том, куда девались государственные средства, всегда вызывали у чиновника непреодолимое «отвращение к службе». Отец Воронцова, Роман Большой Карман, как его именовали современники, испытал такое же чувство сразу после того, как императрица, намекая на его взяточничество, подарила ему ко дню ангела расшитый бисером кошелек невероятной длины.

После ареста Радищева Воронцов очень внимательно отнесся к судьбе документов Петербургской таможни. Значительная часть бумаг хранилась у президента Коммерцколлегии дома. Уходя в бессрочный отпуск, перетекший в 1792 году в отставку, Александр Романович предусмотрительно увез архив с собой из Петербурга в имение Андреевское под Владимиром. И сколько бы впоследствии к нему ни обращались с просьбой о возвращении нужных бумаг, документы продолжали числиться «недосланными»^[1633].

Даже если Радищев, работая под началом столь просвещенного вельможи, как Воронцов, сам взяток не брал, у него имелись иные способы использовать служебное положение в личных целях. После его прихода на таможню среди петербургских купцов шутили, что теперь вместо одного начальника приходится давать деньги нескольким подчиненным^[1634]. Эти самые подчиненные — досмотрщики судов — проверяли груз сразу по прибытии корабля в порт. Пользуясь правом рекомендовать людей на должности, Радищев брал досмотрщиками хорошо знакомых ему по литературным и издательским делам наборщиков, корректоров, печатников. Их собственное ремесло плохо кормило во время войны, а служба на таможне давала верный, хотя и не вполне законный хлеб. Чтобы груз прошел благополучно, без сучка без задоринки, чиновника всегда полагалось «подмазать».

Радищев знал о мелких (копеечных по сравнению с доходами Воронцова) злоупотреблениях своих подчиненных, но закрывал на них глаза. Взамен он потребовал услуги за услугу, когда стал готовить свою книгу к выходу в свет. Названные люди трудились над созданием макета «Путешествия...», его корректурой и, наконец, публикацией заветных 600 экземпляров в личной типографии Радищева на третьем этаже его дома^[1635]. Даже если они не разделяли взглядов автора, то не могли отказаться, боясь потерять работу. Не смели наборщики и донести о крамоле из опасения, что их собственные делишки на таможне будут

раскрыты. Этот случай рисует Радищева вовсе не как человека восторженного и романтического. Трезвый расчет, деловая хватка и даже беспощадность. А разве история революций знает мало представителей этого типа? К нему принадлежали многие из столь любимых автором «Путешествия...» якобинцев.

После поражения Нассау-Зигена 28 июня дорога шведам на Петербург была фактически открыта. В эти-то страшные для Екатерины дни у нее на столе и появилась анонимная книга «Путешествие из Петербурга в Москву». До сих пор неизвестно, кто ее туда положил. Посмею предположить, что дело не обошлось без Александра Романовича. Исследователи старательно обходят этот вопрос стороной. Считается, что в Петербурге заговорили о новинке, государыня заинтересовалась и попросила показать ей текст [\[1636\]](#).

Однако такое развитие событий маловероятно. Город находился на грани эвакуации. Летом 1790 года петербуржцам почти не было дела до книжных лавок. Они собирали скарб и готовились бежать при приближении неприятеля. Из 600 книг, напечатанных автором, разошлось не более 25 экземпляров. В лавки поступило всего несколько штук. Остальные — подарочные экземпляры. Их Радищев рассылал известным литераторам (например, Г. Р. Державину), масонам, да и просто друзьям. Но в обстановке возбужденного ожидания шведов всем, по чести сказать, было не до «Путешествия...».

Маловероятно также, что Екатерина в горячие дни июля 1790 года заинтересовалась разговорами о книге. Возможно, из всех обитателей Петербурга ей было «не до того» в наибольшей степени. Поток важных военных и дипломатических бумаг, проходивших через руки императрицы, был чрезвычайно велик. И все же Екатерина увидела «Путешествие...», не отложила его в сторону, начала читать. А дальше... дальше неясно, что для нее было страшнее: канонада за окнами или неслышные выстрелы с белых аккуратных страниц. Судя по запискам Храповицкого, в самые страшные дни она вновь и вновь возвращалась к чтению и сама бралась за перо.

«2 июля. Продолжают писать примечания на книгу Радищева, а он, сказывают, препоручен Шешковскому и сидит в крепости... 7 июля. Примечания на книгу Радищева посланы к Шешковскому. Сказывать изволила, что он бунтовщик, хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит Франклина, как начинщика (американской революции. — О. Е.) и себя таким же представляет. Говорено с жаром о чувствительности (автора. — О. Е.)» [\[1637\]](#).

Императрица написала более 90 помет. Если Дашкова заметила в Радищеве «писательский зуд», то Екатерина — «необузданные амбиции» и «стремление к высшим степеням», до которых автор «ныне еще не дошел». «Желчь нетерпения разлилась повсюду на все установленное и произвела особое умствование, взятое, однако, из разных полумудрецов сего века»^[1638].

Желая знать мнение Потемкина, императрица послала ему книгу. Ознакомившись, князь писал, что не следует уделять «Путешествию...» чрезмерного внимания. С. Н. Глинка вспоминал: «В сильной вылазке против князя Григория Александровича он (Радищев. — О. Е.) представил его каким-то восточным сатрапом, роскошествующим в великолепной землянке под стенами крепости. По этому случаю князь Таврический писал Екатерине: „Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушением очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводил какой-то поклеп. Верно и вы не понегодуете. Ваши деяния — ваш щит“»^[1639].

Однако Екатерина была серьезно оскорблена. «Грех ему! — сказала она. — Что я ему сделала? Я занималась его воспитанием, я хотела сделать из него человека полезного Отечеству»^[1640]. Совету был дан приказ расследовать дело, невзирая на лица. В июле писатель был приговорен к отсечению головы. Но 4 сентября 1790 года императрица заменила смертную казнь десятилетней ссылкой.

Во время следствия Воронцов залег на дно, не посещал придворных церемоний, обедов, праздников, сказавшись больным, перестал появляться в Совете. Многие обвиняли Александра Романовича в подстрекательстве к написанию крамольной книги. Безбородко пришлось в личном разговоре уверять государыню, будто граф узнал о «Путешествии...» позже других^[1641].

Отлучка от двора по тем временам значила потерю веса, а Воронцов годами добивался влияния в Совете. Это влияние месяц от месяца возрастало (по выражению Гарновского, «другие члены Совета в его присутствии не смеют и пикнуть», «сидят молча, опустив головы») и было подорвано только делом Радищева. Отсутствие Воронцова на Советах как раз тогда, когда всплыл вопрос о полутора миллионах, дорогого стоило.

Радищев провел в ожидании смертной казни полтора месяца — с 24 июля по 4 сентября. Почему Екатерина медлила с помилованием? Так и просится ответ: императрица хотела помучить ненавистного вольнодумца. На самом деле все обстояло проще. Помилование Радищева сделано вскоре

после заключения мирного договора в Вереле 14 августа 1790 года, фактически оно праздничное. Жизнь была дарована автору «Путешествия из Петербурга в Москву» в ознаменование счастливого окончания войны.

Польский кризис

Серьезную корректировку в позицию Пруссии внес и союзный Берлину сентджеймский кабинет. Территориальные уступки, которых от Австрии требовала Пруссия на Рейхенбахском конгрессе, не удовлетворяли Лондон. Британские политики начали подозревать, что сложный размен земель в Европе приведет к втягиванию Англии в конфликт. Английское же правительство стремилось оставить за собой роль посредника, навязывавшего воюющим сторонам свои условия мира. Поэтому Лондон заявил, что не поддерживает желание Пруссии получить польские земли за счет уступки Австрией Польше части Галиции. Если Пруссия начнет войну против Австрии, Англия предоставит союзницу ее собственному счастью^[1642].

Эти неблагоприятные для Пруссии обстоятельства позволяли России попридержать осуществление тайного проекта об отделении православных воеводств от Польши. Россия выигрывала месяц за месяцем, так и не начав действовать. Связанный по рукам и ногам войной с Турцией, петербургский кабинет балансировал над пропастью, опасаясь каждого резкого движения в отношении Польши и приберегая план Потемкина на крайний случай.

Вслед за первым «подарком» бывшие союзники приготовили Петербургу еще один сюрприз. 19 августа 1790 года Потемкин уведомил императрицу, что Вена намерена вступить с Берлином в военный союз, то есть примкнуть к «лиге» и оказаться в числе врагов России. «По известиям моим из Вены, — сообщал князь, — кажется, работают венгерской и берлинской двора о взаимном союзе. Герцберх упал в своем кредите у короля, а всю доверенность получил маркиз Лукезини».

Польша тоже вела активные переговоры с противниками России. «На Сейме в Варшаве положено поспешать заключением с Портою союза оборонительного и наступательного, — писал князь. — Курьеры прусские и польские почасту ездят через цесарския посты»^[1643]. В начале августа в Варшаве возникла волна слухов о том, что Потемкин собирается свергнуть короля и сам претендовать на польский престол. Об этом сообщали в

Петербург русский резидент в Варшаве барон И. Ф. Аш и племянница князя графиня Браницкая^[1644].

Подобные известия вновь больно ударили по репутации светлейшего при дворе, противники командующего опять обрушились на Григория Александровича с обвинениями в неверности интересам России. Горечью отдают слова Потемкина, написанные Безбородко по этому поводу: «Поляки теперь, пока Сейм, не будут наши. Я бы знал, как, но видно, что не должно мне мешаться. Неужели я в подозрении и у вас? Простительно слабому королю думать, что я хочу его места. По мне — черт тамо будь. И как не грех, ежели думают, что в других могу быть интересах, кроме государственных?»^[1645]

Неожиданно возникшая двойственность положения Потемкина мешала командующему направить Булгакова в Варшаву с надлежащими инструкциями. Новый посол должен был знать о тайном плане России в отношении Польши, но открыть ему эти секретные документы без разрешения императрицы Григорий Александрович не мог. С раздражением он писал Безбородко: «Булгакова нет еще в Варшаве. Через сие упустятся случаи к приобретению на нашу сторону лиц, которые нам были столь вредны и которые начинали уже колебаться. Я не знаю, должен ли я ему сообщить, а без дозволения слова не молвлю. Сейм и замешательство — синонимы, пусть путаются. Обещать им гарантию на владения, а отнюдь не на законы, они будут наши».

Именно в письме к Безбородко князь впервые высказывает мысль, что Россия должна отступить от договоров, по которым она гарантировала Польше неизменность ее государственного строя. Следует гарантировать только целостность территории, то есть именно то, чего хотели сами поляки: неприкосновенности своих земель и невмешательства во внутренние дела. «Впрочем, что лучше, то и делайте, — с обидой бросил светлейший в конце письма. — Вспомните только, что я предписаниями сделал обсервационными — большая часть и лучшая войск обращена быть наготове»^[1646].

В августе 1790 года Булгаков прибыл в Польшу в качестве посланника. Потемкин был убежден, что талантливый и выдержанный Яков Иванович сумеет добиться успеха^[1647]. В конце лета назрел подходящий момент для активных действий. В связи с заключением прусско-польского военного союза серьезно возросли налоги и значительно увеличился рекрутский набор, это усиливало недовольство населения. Потемкина волновали угрожающие передвижения польских войск все ближе и ближе к русским

границам. «По безымянному письму в Варшаве сделано повеление, чтоб войска коронные расположились по Днестру для препятствия нашей ретирады, ибо тот аноним уведомляет, что наши войска разбиты везде, и мы ставить хотим мосты для переправы на Днестре, — сообщал Потемкин императрице 16 октября. — Сему и сами поляки здесь смеются, что, будучи на месте, не видят ничего подобного. Сие выдуманно прусаками, чтобы продвинуть поляков... Генерально вся нация противу нас поднята двумя дворами»^[1648].

В середине октября 1790 года Потемкин, основываясь на сведениях своих резидентов в Польше, сообщал Екатерине: «Положит наследника короне навсегда саксонского дому»^[1649]. В России тем временем готовились отразить предполагаемое нападение прусских войск на Ригу. «Польские дела теперь в кризисе, — писал князь 7 октября 1790 года, — а потому прусская партия усугубляет свои старания не допустить нашим поднять голову. Но, ежели мы сей момент пропустим, то уже не возвратим никогда... Из описания Булгакова усмотрите слабость королевскую, оскудение его и надежду на прусский двор. Избранием наследника он имеет быть заплачен и получит содержание для спокойной жизни, а пруссаки, по введении своего наследника, сядут нам на шею. Я в Волини надеюсь, что наследство и назначение наследника будет отвергнуто. Последуют и другие воеводства, но есть такие, которые пойдут по желанию действующей теперь партии». Многочисленные польские фамилии легко перекупались то прусской, то русской стороной. Князь просил у императрицы средств на субсидии всех склонных поддержать Россию крупных представителей шляхты. «Всех упоминаемых в записях Булгакова персон присваивать должно особливо... В Литве фамилия Косаковских может для нас действовать, но нужны деньги». Россия и сама в тот момент остро нуждалась в деньгах.

Существовали и другие средства воздействия на возможного противника. «Прикажите обращать на сеймиках умы, — просил он Екатерину, — обещать Польше гарантировать ее владения, волю учреждать внутренние дела, совет вечной, обещать Молдавию, которую воеводством сделать с нерушимостью религии. Лишь пойдет дело на лад, то пуститься на прусака, иначе конца не будет. Тогда, хоть не вдруг, но верно и австрийцы пристанут. Иначе умы, к нам расположенные, оставят, видя наше недействие»^[1650].

Не обрадовали русский двор и заявления, сделанные на сейме Игнатием Потоцким. Граф предлагал «воспользоваться дружбой Пруссии

для увеличения могущества Польши». Что стояло за этой обтекаемой фразой? Ведь Варшава уже по крайней мере два года пыталась «воспользоваться дружбой» Берлина. Согласно информации, которую получала Екатерина, проект Потоцкого состоял в том, «дабы сделать прусского короля королем польским и соединить Пруссию с Польшей»^[1651]. Об этом плане императрица сообщала Потемкину в рескрипте от 2 декабря. «Король польский плутишка и весь прусак»^[1652], — отвечал князь.

Не менее интересные события развивались в приграничном турецком городе Систове, где по инициативе Пруссии собрался дипломатический конгресс из представителей Пруссии, Англии, Голландии, Австрии и Турции для выработки условий мирного договора. Турция, фактически уже понесшая поражение от России, не соглашалась ни на какие уступки, поскольку чувствовала за собой поддержку европейских покровителей. В таких условиях Потемкин намеревался просто игнорировать конгресс, созданный специально для дипломатического давления на Россию. Во главе прусской делегации стоял маркиз Луккезини, извещавший русский двор о своих хлопотах о мире и притворно сетовавший на неуступчивость турецкой стороны. «После 25 конференций он в турках не более произвел к миру склонности, как усмотрел при первой»^[1653], — с усмешкой сообщала Екатерина. Демонстративное неучастие русской стороны в конгрессе превращало его в фарс.

3 декабря Григорий Александрович известил императрицу о желании Луккезини навестить его в ставке. «Луккезини собирается ко мне приехать»^[1654], — писал князь. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Потемкин поставил дело так, что Луккезини вынужден был искать встречи с ним и пытаться рассказать русскому командующему, к каким договоренностям в Систове пришли иностранные дипломаты. Причем ни одна из этих договоренностей не могла быть обязательной для России, поскольку все консультации происходили без нее. От имени собравшихся в Систове держав Луккезини собирался заявить Потемкину, что если Россия, подобно Австрии, немедленно не пойдет на уступки Турции, то против нее будет начата война на западных границах. Таким образом, *de facto* ничего нового Луккезини сказать не мог, но *de jure* объединенное заявление государств — участников конгресса звучало почти как официальное объявление войны. Принимать подобные декларации в старом мундире князь не собирался. По такому случаю он желал хотя бы приодеться. «Я намерен показаться в великолепии, — писал Григорий

Александрович Безбородко, — и прошу вас сделать мне одолжение, купить, ежели сыщется, хорошую Андреевскую звезду»^[1655].

Реальным ответом на решения Систовского конгресса могла быть только весомая военная победа, которая продемонстрировала бы силу России. Поэтому Потемкин дал полное согласие на предложенный Суворовым штурм наиболее сильной турецкой крепости в устье Дуная — символа могущества Османской Порты — Измаила^[1656].

Измаил

После мира со Швецией высвободилась Финляндская армия, которую можно было использовать в случае нападения Пруссии. Теперь руки Потемкина на Юге оказались более свободны. С сентября возобновились активные военные действия в Молдавии. После падения крепости Килии в устье Дуная гребная флотилия под командованием де Рибаса вошла в реку и уничтожила батареи, защищавшие Сулинский проход. Это открывало прямой путь к Измаилу^[1657].

3 декабря светлейший князь сообщил императрице о посылке Суворова с корпусом к крепости^[1658]. Потемкин предоставил командиру полную свободу действий. «Я... предоставляю вашему сиятельству поступать тут по лучшему вашему усмотрению продолжением ли предприятия на Измаил или оставлением оногo»^[1659], — писал князь в ордере 29 ноября, зная, что военный совет высказался за отвод войск от крепости.

Некоторые советские биографы Суворова утверждали, что Потемкин не решился взять на себя ответственность за исход измаильской операции^[1660]. Изучение документов опровергает эту версию. Во-первых, ордера командующего Суворову показывают, что оба военачальника не видели иного пути, кроме овладения крепостью: оставлять в тылу мощную турецкую цитадель было опасно^[1661]. Во-вторых, личное письмо Потемкина Екатерине 3 декабря свидетельствует, что князь прямо предупреждал императрицу о возможности неудачи предприятия по захвату Измаила. «По истреблении судов под Измаилом осталось попытаться, — писал Григорий Александрович. — Я приказал взять лутчие меры, произвести штурм и для сего нарядил туда генерала графа Суворова-Рымникского... В случае неудачи, корпусу отступить... Что Бог даст, ожидать буду»^[1662]. Итак, ни о каком перекладывании ответственности на

плечи одного Суворова речи быть не могло: императрица знала, кто приказал произвести штурм.

11 декабря в результате 8-часового кровопролитного штурма Измаил пал. Потери турецкой стороны были громадны — 26 тысяч человек. Русская армия лишилась 10 тысяч человек убитыми и ранеными, в том числе 400 офицеров из 650 участвовавших в деле.

8 января 1791 года, когда в Петербург отправлялись донесения об измаильской победе, Потемкин сообщил императрице, что «побитых сочтено» 30 тысяч 816 человек, в плену оказалось до 10 тысяч турок, «да христиан и жидов более 5 тысяч»^[1663].

Приводимая командующим цифра вызывает вопрос: кого именно «побито» 30 тысяч 816 человек? Согласно рапорту Суворова от 13 декабря, потери русской стороны составляли 2 тысячи убитыми (по другим данным — 4 тысячи) и 6 тысяч ранеными из 31 тысячи человек, участвовавших в штурме. Потери 35-тысячной турецкой армии, оборонявшей крепость, были еще более устрашающими: 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными, из которых на другой день от ран умерло 2 тысячи человек^[1664].

Цифра 30 тысяч 816 не выглядит округленной. Если бы князь пожелал преувеличить число убитых турок, чтобы придать еще больше славы русскому оружию, достаточно было бы указать 30 или 31 тысячу. Потери противника, в отличие от потерь русской армии, никогда не сообщались в донесениях с точностью до единиц, обычно они указывались приблизительно: в тысячах, сотнях, редко в десятках. Откуда же такая скрупулезность в данном случае?

Сообщенная Потемкиным цифра выглядит так, словно командующий объединил общее число человеческих жертв: и русских, и турецких вместе — чего никогда прежде не делалось. Эти жертвы, если принять цифру, называемую в рапорте Суворова, составят 28 тысяч человек на 11 декабря и 30 тысяч на 12 декабря вместе с умершими от ран турками. Однако скончавшиеся пленные обычно учитывались отдельно и к числу боевых потерь противника не относились. Видимо, Потемкину были доступны и более точные данные о числе погибших русских, то есть 4 тысячи человек. Вкупе с 26 тысячами турок, убитых в день штурма, они как раз и составляют искомые 30 тысяч. Через месяц после измаильской победы командующий знал уже точные потери, учтенные не в тысячах, а в единицах «русских душ», отсюда и неуказанные Суворовым на второй день после штурма 816 человек.

Сообщение императрице общего числа потерь обеих сторон вместе

крайне необычно, но вполне соответствует характеру светлейшего князя, который чрезвычайно болезненно относился к вопросу о «сбережении» людей. Сочувствие и сострадание Григорий Александрович испытывал также и к пленным туркам, помогал мирному населению, лишившемуся в результате войны крова, и завоевал их благодарность. «Как тебе не выиграть у турецкого народа доверья, вящего их начальников? Во-первых, ты умнее тех. Во-вторых, поступаешь с ними великодушно и человеколюбиво, чего они ни глазами не видали, ни ушами не слышали от своих»^[1665], — писала Екатерина 6 февраля. Чудовищные человеческие жертвы, понесенные и русской, и турецкой сторонами в Измаиле, не могли не произвести на Потемкина тяжелого впечатления. Возможно, оно и повлияло на решение командующего сообщить императрице общее число погибших.

Хотя данные для подробных донесений собирались в течение месяца, Потемкин уже в первых письмах об измаильской победе сумел оценить ее грандиозное военно-стратегическое значение. «Не Измаил, но армия турецкая, состоящая в тридцати с лишком тысячах, истреблена в укреплениях пространных»^[1666], — писал он 18 декабря.

Взятие Измаила поставило точку в кампании 1790 года. Ее целями было получение господства на Черном море, недопущение открытия военных действий Пруссии и Польши в тылу у русской армии и овладение устьем Дуная. Ключом к Дунаю был Измаил, после его падения русские гребные эскадры и легкие суда казаков могли свободно маневрировать в полноводной реке, обеспечивая войскам переправы и помощь на обширном театре военных действий. «Вот, матушка родная, всемилостивейшая государыня, моя кампания, — писал князь 18 декабря, — которая была почти скрыта от глаз недоброхотов! Они считали, что обманами довели до термина, где в действиях должны пресечься. Но Бог помог: дал три баталии морские знатные, на Кубани разбита армия неприятельская, укрепления взяты Тулчи, Исакчи, Килии, Измаил — первая и сильная, построенная по-европейски крепость, с заключенной в ней армией выше тридцати тысяч»^[1667].

Известие о взятии Измаила и письма Потемкина 18 декабря повез в Петербург В. А. Зубов. Валериан действительно отличился при штурме, «командуя порученной ему частью, занял кавальер, крепостной вал до килийских ворот и овладел батареей»^[1668]. Показательно, что при всей неприязни к клану Зубовых командующий отдает должное храбрости молодого флигель-адъютанта. Кроме того, Потемкин подыгрывал

императрице, которой было бы приятно наградить своего протеже.

Между тем в переписке корреспондентов наметились тревожные тенденции. Екатерина направляла Потемкину свои послания значительно реже, чем прежде. В 1790 году императрица писала Григорию Александровичу один-два раза в месяц. Сам Потемкин посылал в Петербург почту каждые 8-12 дней.

Одновременно донесения Гарновского становились все менее подробными. Платон Зубов старательно оттеснял управляющего от общения с императрицей. Эти факты свидетельствовали о том, что новые приближенные Екатерины пытались возвести между императрицей и Григорием Александровичем стену отчуждения. Несмотря на то что письма Екатерины продолжали оставаться также теплы и сердечны, как и раньше, Потемкин не мог не заметить, что с появлением Зубова императрица стала менее обязательной корреспонденткой. Это послужило первым знаком ее отдаления и тревожило князя в преддверии намеченной на начало 1791 года поездки в Петербург.

ГЛАВА 17

ПОТЕМКИН В ПЕТЕРБУРГЕ

Известие о падении Измаила достигло столицы 29 декабря 1790 года рано утром и было встречено с ликованием^[1669]. В тот же день Екатерина приказала «отправлять молебствие с большою пушечною пальбою». Это показывает, что императрица сразу же по достоинству оценила новость. Однако ответное письмо Потемкину датировано лишь 3 января. Обычно в подобных случаях Екатерина бралась за перо немедленно. Почему же на этот раз она промедлила?

Императрица предпочла дожидаться официальной реакции европейских покровителей Порты. 2 января состоялось заседание Совета, обсудившего политическую ситуацию. На следующий день утром Екатерину посетил великий князь Павел Петрович, с которым она около часа беседовала наедине^[1670]. Лишь после этого государыня направила в Яссы письмо, содержащее чрезвычайно важную для ее корреспондента информацию о поведении Пруссии и Англии: «Оба двора здесь уже сказали, что не настоят уже более о медиации». Это была большая победа, возбуждавшая надежды на скорый мир. «Я думаю, что теперь последует смена визиря, — рассуждала Екатерина, — а при сей откроется тебе случай... трактовать о мире непосредственно».

Казалось, Порта, наконец, осталась один на один с Россией, покинутая своими тайными союзниками. «При случае дай туркам почувствовать, как король прусский их обманывает, то обещая им быть медиатором, то объявить войну нам в их пользу, — просила императрица Потемкина. — ... Все сие выдуманно только для того, дабы турок держать как возможно долее в войне, а самому сорвать, где ни наест, лоскуток для себя»^[1671].

Светлейший князь предпочитал не обольщаться относительно быстрого заключения мира. Он считал, что изменение позиций Пруссии далеко не так кардинально, как можно было заключить из слов немецких дипломатов в Петербурге. Еще в конце декабря 1790 года он получил копии донесений Алопеуса из Берлина, в которых резидент рассказывал о своей встрече с любимцем короля бароном И. Р. фон Бишофсвердером, главой берлинских розенкрейцеров. Фаворит Фридриха-Вильгельма II заверил «русского брата», что Пруссия вовсе не желает войны, но связанная договорными обязательствами с Турцией будет вынуждена ее начать, если

Россия не пойдет на уступки султану^[1672].

Князь предупреждал Екатерину, что Фридрих-Вильгельм II не отказался от войны. Однако теперь, после столь ощутимого удара, нанесенного Турции, он намеревался осуществить вторжение не сам, «но Польшу понудит открывать действия на нас, поддерживая их своими войсками, которые до наших границ достигнуть не могут». План, разработанный берлинским кабинетом, был чрезвычайно соблазнителен для Пруссии: польские войска выходят за пределы своих земель, вторгнувшись на Украину, а на их место в Польше вступают якобы для поддержки прусские части, которые отрезают Данциг и Торн.

Чтобы помешать Пруссии, Потемкин предлагал реализовать секретный план по возмущению Польской Украины. «Расположения такой важности должны быть проведены с крайней точностью. При устройении могут многие случиться объяснения, которых на бумаге расстояние должное не позволит в полной мере истолковать, — писал князь. — Нужно, всемилостивейшая государыня, мне предстать перед Вами на кратчайшее время»^[1673].

«Дайте мне на себя посмотреть»

С этого времени Григорий Александрович в каждом письме повторял просьбу: «Дайте мне на себя посмотреть, хотя мало»^[1674]. Он то умолял, то требовал личного свидания, для того чтобы объяснить по неким важным вопросам, о которых не мог «иначе доложить, как на словах».

Подобную подозрительность Потемкин проявлял лишь в экстраординарных случаях. Из донесений Гарновского князь уже с конца 1789 года знал, через чьи руки проходит его почта на высочайшее имя. Решительное нежелание корреспондента объясниться письменно могло быть истолковано императрицей как его недоверие к Зубову и Салтыкову. От обсуждения каких вопросов светлейший отказывается по соображениям секретности?

В отличие от императрицы, надеявшейся, что сопротивление европейских держав снято и можно рассчитывать на скорый мир, Григорий Александрович уже в начале января предсказывал крупный политический кризис, связанный с намерениями Пруссии и Англии спасти Порту от полного разгрома^[1675]. К середине февраля предположения князя полностью подтвердились. «Получено с курьером письмо барона Палена,

— писал 2 февраля Храповицкий об известиях от нового русского посла в Стокгольме. — Шведский король имеет предложение от Англии, ...чтоб 1-е, вооружился против нас, или 2-е, дал свои корабли в соединение с ними, или 3-е, дал бы им свой военный порт, и за все то платят наличными деньгами»^[1676]. Англия обещала производить шведскому королю ежегодную субсидию в 600 тысяч гиней в продолжение турецкой войны, а также на случай войны между Россией и Пруссией, даже если Густав III не примет в ней участие, а ограничится одним вооружением^[1677]. 6 февраля Храповицкий продолжал перечисление неприятных новостей: «Из разных сообщений и дел политических заключить можно: 1-е, мирясь мы с турками, оставляем за собой Очаков, и граница будет по Днестр. 2-е, турки, ни на что не соглашаясь, даже и на уступку нам Тавриды, хотят продолжать войну с Пруссией. 3-е, король прусский к тому готов, ждут последнего отзыва Англии, которая к тому же наклонна и подушает уже шведа. 4-е, австрийцы за нас не вступятся: им обещан Белград от Пруссии, кои с согласия англичан берут себе Данциг и Торунь»^[1678].

Главным противником России в назревавшем столкновении был прусский двор. Именно в это время активизируется переписка между великим князем Павлом и Фридрихом-Вильгельмом II, которая велась через розенкрейцерские каналы. Русский министр при берлинском дворе Максим Максимович Алопеус, мастер стула петербургской логи «Гигия», придумал для этой переписки особый шифр^[1679]. В Петербурге письма цесаревича попадали в руки агента прусского посольства Гюттеля, который доносил в Берлин, что в марте 1791 года следует ожидать перемены царствующей особы на российском престоле^[1680], если сторонникам великого князя удастся свалить Потемкина^[1681].

Некоторые уникальные документы, касавшиеся сношений Павла и князя Репнина с Берлином, сохранились в бумагах Самойлова. Благодаря этим материалам можно сделать вывод, что светлейший князь был хорошо осведомлен о развивавшейся в Петербурге интриге^[1682]. Именно о ней он собирался говорить с императрицей. В деле фигурировало имя наследника российского престола, поэтому князь не мог позволить себе объясниться с Екатериной «иначе... как на словах».

Приехав в столицу, Потемкин обсудил со своей корреспонденткой детали прусской интриги, хорошо вписывавшейся в общий контекст назревавшего кризиса. Я. Л. Барсков видел в этом разговоре причину падения Н. И. Новикова, поддерживавшего контакты Павла Петровича с московскими мартинистами^[1683]. Однако следует учитывать, что Новиков

был арестован в апреле 1792 года, то есть более чем через полгода после смерти Потемкина, а наблюдение за издателем началось еще в 1788 году и не могло быть связано с разговором наших героев в марте 1791 года.

С 1790 года по настоянию Салтыкова началась перлюстрация частной переписки в Москве, а 22 июля 1790 года в Первопрестольную был назначен новый главнокомандующий — князь А. А. Прозоровский, специально избранный для борьбы с тайным обществом^[1684]. Осторожный Потемкин писал императрице по этому поводу: «Ваше Величество выдвинули из Вашего арсенала самую старую пушку, которая будет непременно стрелять в Вашу цель, потому что собственной не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя Вашего Величества»^[1685]. Очень откровенное и резкое высказывание. Если Григорий Александрович был встревожен контактами наследника Павла с прусским королем, то его не в меньшей степени беспокоили нарочито грубые меры правительства в Москве. Надо полагать, что и этот вопрос был затронут князем в беседе с императрицей. Едва ли Потемкин хотел обсуждать его письменно, зная, что послания с Юга проходят через руки вдохновителей московского «разбирательства».

Один из исторических анекдотов гласил: светлейший князь, не скрываясь, бросил при Валериане Зубове, что собирается в Петербург «вырвать зуб»^[1686]. Трудно представить, чтобы Потемкин позволил себе такую неосторожность. Анекдот отражал скорее представление «публики» о цели приезда Григория Александровича.

Письмо Потемкина 11 января на первый взгляд мало примечательно. Речь шла о замещении комендантских должностей. «В звание комендантское никогда я не представлял и не определял людей незаслуженных, — писал князь, — отлучаясь к начальствованию армией вашей, предоставил было я все коллегии, но, увидя нерачение или, лучше сказать, злоупотребление, обязанным нашелся требовать о непомещении вперед без моего соглашения, что тем паче нужно по военному времени, где часто бывают достойные заслуженные офицеры изувечены ранами, будучи притом бедны... Рапорты о вакансиях ко мне приходят поздно»^[1687].

В письме не названы прямо виновные злоупотреблений. Однако императрице нетрудно было догадаться, кем именно недоволен ее корреспондент. Вице-президентом Военной коллегии был Н. И. Салтыков, он полностью отвечал за работу учреждения в отсутствие Потемкина. Находясь с армией на Юге, князь почувствовал, что власть над коллегией

начинает незаметно ускользать из его рук: рапорты приходят поздно, должности, пусть и не самые важные, распределяются по произволу Салтыкова. О злоупотреблениях в коллегии Григорий Александрович писал, не ссылаясь на личности, в обычном послании, заранее зная, что оно будет прочтено. Такой способ предупреждения противников о своем недовольстве более характерен для светлейшего князя, чем полный неприкрытой угрозы каламбур, на который младший по званию Зубов ничего не мог ответить в глаза. Ордера Потемкина показывают, что командующий был всегда подчеркнуто вежлив с лично ему неприятными людьми^[1688].

И все же опытные политические дельцы, стоявшие за спиной у нового фаворита, почувствовали угрозу. Приезд в столицу человека, чей вес в государственных делах и душевная близость с Екатериной были несоразмеримы с влиянием Зубова, мог серьезно пошатнуть их позиции при дворе. «Хотя я победил его наполовину, но окончательно устранить с моего пути никак не мог, — рассказывал в 1819 году уже немолодой Зубов своему управляющему М. Братковскому, — а устранить было необходимо, потому что императрица всегда сама шла навстречу его желаниям и просто боялась его, будто взыскательного супруга. Меня она только любила и часто указывала на Потемкина, чтобы я брал с него пример»^[1689].

Противники князя постарались убедить императрицу в нежелательности его скорого возвращения из Ясс. «Касательно до твоего приезда сюда, — писала она 22 января, — я тебе скажу, что лично я всегда рада тебя видеть, как сам довольно ведаешь. Сверх сего, на словах говорить и писать, конечно, рознится... Но дело паче в том, в сих смутных обстоятельствах, чтоб не проронить важных минут, которыми воспользоваться ты можешь, быв тамо, скорее, нежели здесь, для восстановления мира с турками по нашему желанию. Итак, почитаю за необходимо нужно, чтоб ты тамо ожидал вестей об импрессии, кою сделает в Цареграде взятие Измаила; ежели же оне таковы, и сам усмотришь, что твой приезд сюда дела не испортит, мирные договоры не отдалит, либо раннее открытие кампании тем не остановится, тогда дозволяю тебе приехать с нами беседовать, но буде турки окажутся тебе к миру склонными, как легко быть может... тогда нахожусь в необходимости тебя просить предпочитать пользу дел и не отлучиться, но, заключа мир, возвратиться яко миротворец»^[1690].

Итак, Екатерина прямо не отказывала Потемкину в его просьбе увидаться, но всячески старалась уговорить его остаться на Юге. Всего

через два дня, 24 января, ее настроение резко изменилось. Причиной тому было письмо князя от 15 января. Потерявший терпение Григорий Александрович обращался не только к разуму, но и к чувствам Екатерины: «Ежли во мне что хорошее, то назидано Вами. Мог ли я оказать свою годность? На то Вы подали способ. Я тем похваюсь, что другой никто не может: по принадлежности моей к тебе, все мои добрые успехи лично принадлежат тебе». Говоря о том, что Екатерина «с первой молодости» вела его к вершинам государственной власти и политического искусства, Потемкин просит не пренебрегать его советом в столь сложных обстоятельствах. «Ослепление султана или, может быть, его рок ведет к потере. Варвар и тиран ожесточенный не внемлет ничему, ...четыре курьера, отправленные от визиря с известиями об Измаиле, не допущены до Царя Града, а отрубили им голову. Теперь его манят, что Англия пришлет флот... Потому-то для принятия мер должных и открытия моих усердных и полезных мыслей должен я... приехать к Вам, но нет мне на сие ответа»^[1691].

Получив это письмо, Екатерина решила, что князь уже в дороге. Она была до глубины души тронута словами о его преданности. «Господин питомец мой, ты оправдал мое об тебе мнение, — писала императрица 24 января. — ...Возобновляю тебе дозволение приехать»^[1692].

9 февраля Потемкин получил это послание и немедленно отбыл в путь. «В Галиции и Австрии народ, слыша, что я будто ехал в Вену, разположен был меня встречать и выпрягать лошадей»^[1693], — сообщал князь. В России прием был не менее восторженным: города, через которые следовал Потемкин, встречали его колокольным звоном и почестями, по этикету положенными только коронованной особе^[1694]. Всеобщее ожидание мира достигло предела.

Между тем до мира было еще далеко, и князь спешил в Петербург именно потому, что был убежден: выход Порты из войны решается не на Босфоре, а на берегах Рейна и Темзы. Последние известия из Константинополя гласили, что турецкий посол отбыл в Берлин с вопросом, как Порта должна действовать дальше. «С его возвращением решится, чему быть»^[1695], — писал Потемкин. Будучи форпостом коалиционной войны, Турция оказалась глубокой политической провинцией, и вести переговоры следовало напрямую с ее руководителями в Европе.

Такого же мнения придерживался и Безбородко^[1696], но оно было негодно представителям группировки Салтыкова.

В январе опытный дипломат все реже появлялся за столом

императрицы^[1697] и вскоре вообще покинул двор, чтобы на некоторое время удалиться в Москву. Там Безбородко надеялся застать Потемкина и обстоятельно переговорить с ним о создавшейся ситуации. «С приездом, может быть, я буду столько счастлив, что встречу вашу светлость в Москве, — писал Александр Андреевич, — радуясь, впрочем, несказанно, что вы решились сюда прибыть и тем великую пользу и пособие делам принести»^[1698].

До приезда князя Совет отложил решение важнейших дел^[1699]. Императрица тоже не хотела без него обсуждать представляемые ей бумаги^[1700].

«Делить так, чтоб мало ее осталось»

По своему обыкновению Потемкин ездил очень быстро. 28 февраля он прибыл в столицу. «Записки» Храповицкого показывают, что по приезде светлейший много времени проводил наедине с Екатериной и постоянно работал вместе с Безбородко, составляя документы «для отклонения от войны»^[1701] с Англией и Пруссией. Дипломат заметно приободрился, получив поддержку Потемкина. «Мы живем весело, — писал он своему племяннику В. П. Кочубею 9 марта 1791 года, — и ежели пребывание князя Григория Александровича облегчает нас в делах публичных, то для меня оно еще другую особенную выгоду приносит, что я облегчен и со стороны нападков злых людей. По крайней мере, хотя сии месяцы, что он тут проживает, отдохнуть удастся; между тем время пройдет, дело к миру придет»^[1702].

Тем временем в Польше сторонники Игнатия Потоцкого тайно составили проект новой конституции. Этот важный документ предусматривал: отмену *liberum veto*, провозглашение польской короны наследственной и назначение саксонского курфюрста наследником. Торжественное объявление новой конституции происходило 3 мая 1791 года. Подобная перемена означала полный переход Польши под контроль Пруссии. Это не могло удовлетворить Петербург, так как еще больше увеличивало угрозу совместного прусско-польского вступления в войну. Однако позиции самой России в Польше казались еще достаточно сильны. Политическая реформа была принята меньшинством голосов, на одном воодушевлении зала: на сейме присутствовало 157 депутатов, между тем как отсутствовало 327. Ни о каком кворуме речи идти не могло.

Большинство шляхты не симпатизировало идеям конституции. В таких условиях Россия имела возможность создать свою конфедерацию и действовать по намеченному плану.

23 июля 1791 года Потемкин подал императрице докладную записку, в которой рассматривал возможный ход следующей кампании с учетом вступления в войну Пруссии и Польши. «По всем соображениям не вижу я возможности, чтобы прусакам идти против нас наступательно. Первое, потому что сие будет в нашу ползу. Удаление их от своих границ затруднит во многом всякого рода доставления и притом много разбежится войск вербованных. Второе дело, стремиться на Ригу безрассудно, потому что тут самый сильной наш пункт и крепость такая, для которой много будет потребно осадной артиллерии и время, а к тому переправа большой реки». Для князя было очевидно, что прусская сторона лишь подтолкнет поляков к конфликту. «Я сужу, что прусаки двинутся для возбуждения поляков и, пустя их на нас, станут делать оказательства к Риге. В таком случае обеспечить Ригу довольной защитой, а войскам стать для закрытия границ от впадения по сухой границе». Таким образом, наиболее опасное нападение мыслилось именно со стороны Польши по «сухому пути». «От армии, мне вверенной, поставится небольшой корпус на границе моголевской, к Малороссии прилегшей. Другой соберется у Киева. Главный же кордарме^[4] по границе расположится Днестровской к Польше от Бендер... Все корпуса, соединясь как от Киева, так и от белорусской границы, составят с кордарме армию. Сия, вступя в Польшу, займет, выгнав поляков, по черту, назначенную на присланной карте, умножит силы свои казаками польскими и схватится руками уже тогда с Двинской армией»^[1703].

Так могла развиваться война дальше, если бы русской стороне не удалось отвести угрозу прусского вторжения.

Польша пала бы первой жертвой противостояния России и «лиги», фактически выставленная союзниками как таран. Но имелся шанс избежать подобного оборота дел. Позицию Варшавы можно было поколебать, что и предлагал Григорий Александрович.

«Хорошо, если бы мы могли отвлечь поляков от Пруссии... По моему мнению, есть возможность, во-первых, преклонением короля на свою сторону, обещанием нации не входить в их дела внутренние, заключением союза наступательного и оборонительного с ручательством за крепость их владений и уступку Молдавии на условиях о Законе».

Конституция 3 мая не вызывала у князя негодования, в отличие от

императрицы, жестко державшейся за *liberum veto*. Потемкин предлагал оставить внутреннюю жизнь Польши самим полякам, всерьез его беспокоила только возможность столкновения. Если раньше земельные приращения предлагались Варшаве как плата за участие в войне с Турцией, то теперь Польша, не сделав ни одного выстрела, могла получить целое воеводство только за то, чтобы отказаться от нападения на Россию. Если же умиротворить поляков не удастся, то Потемкин советовал, «не мешкая, начать в Польше известный план», то есть возмущение православных областей.

Григорий Александрович предлагал вступить в переговоры с Леопольдом II и попытаться привлечь его к русско-польскому союзу. Однако если император «при откровенности, ему сделанной, окажет желание ближе к разделу Польши, то еще будет лучше». «Но уже делить так, чтоб мало ее осталось. Я много раз докладывал, то есть лучше бы не делить вовсе, но когда уже то сделано, то хуже еще много оставлять»^[1704].

Таким образом, светлейший князь предлагал в случае нового раздела Польши ослабить ее настолько, чтобы она уже никогда не могла угрожать границам России. Однако о полном уничтожении государственности Польши речь не шла. Коронные земли, по мысли Потемкина, должны были остаться за ней. В случае осуществления последнего проекта Польша, лишившись громадных православных территорий и протестантской Курляндии, становилась мононациональной и монорелигиозной страной.

Подготовив обсервационный корпус на границе с Польшей, Григорий Александрович начал сложную дипломатическую игру, стараясь привлечь Пруссию обещанием возможного антиавстрийского союза, включавшего и Варшаву^[1705]. Это привело к замедлению темпов военных приготовлений Фридриха-Вильгельма II. Австрия, до сих пор отклонявшая возможность поддержать Россию в случае конфликта с Пруссией, согласилась на совместные действия, если прусский король первым начнет раздел Польши^[1706]. Саму Польшу удалось частично нейтрализовать, распространяя слухи, что Россия готова уступить ей из приобретаемых турецких земель Молдавию^[1707].

«Враг пострашнее Фридриха Прусского»

Особенно сложным вопросом оказалось устранение угрозы нового столкновения со Швецией. Отношения с северным соседом оставались

натянутыми, хотя обе стороны предприняли усилия внешне создать впечатление намечающейся близости. В мутной политической воде Густав III намеревался, играя на противостоянии России и «лиги», выторговать для Швеции наибольшие выгоды и пойти за тем из возможных союзников, который пообещает ему больше. Пруссия желала видеть короля своим деятельным сторонником, но, сильно потратившись в Польше, не располагала деньгами для новых субсидий. Английский кабинет, напротив, имел значительные средства, но совершенно не доверял Густаву. Екатерина не хотела ни союза со Швецией, ни тем более денежных выплат «северному Амадису», как Потемкин называл Густава. Однако именно Петербургу пришлось стать для Стокгольма главным партнером. Взаимный интерес подталкивал упиравшихся соседей друг к другу.

Министром в Россию был назначен генерал Курт фон Стединг, который проявил себя во время войны как способный военачальник и знал приграничные районы, о которых развернулась дискуссия после Верельского мира. 1 октября 1790 года Стединг прибыл в Петербург и начал зондировать почву на предмет субсидий и мелких территориальных уступок по границе между озером Сайма и Финским заливом^[1708]. После падения Измаила Англия предприняла серьезные усилия, чтобы использовать Швецию против России.

Однако Густав намеревался подоить сразу двух коров. В феврале 1791 года он передал новому русскому министру в Стокгольме П. А. Палену проект союзного договора между Россией и Швецией. Король обещал вспомогательное шведское войско на случай войны с Пруссией в размере 18 тысяч человек и участие Швеции в предотвращении возможного похода английского флота в Балтийское море. Со своей стороны Россия должна была выплатить союзнику 70 тысяч риксдалеров наличными и урегулировать приграничные вопросы.

Интересный материал для изучения англо-русского противостояния 1791 года содержат донесения из Петербурга британского посланника сэра Чарльза Уитворта (Витворта), впервые изученные В. С. Лопатиным^[1709]. Горячий сторонник войны с Россией, он сообщал в марте государственному секретарю герцогу Ф. Лидсу: «Без дозволения короля шведского не имеем мы по северной стороне Балтийского моря или на берегу Финляндии... никакой гавани... Я все же ласкаюсь надеждою, что россияне опоздают, и что король шведский объявит себя со стороны союзников (то есть Пруссии и Англии. — О. Е.)». Чуть раньше он писал о Густаве III: «Конечно, стоят его требования много денег, но продолжительная война причинила бы еще

больше издержек»^[1710].

Екатерина была не настроена идти на уступки и субсидии соседу. Потемкину, ясно осознававшему реальность посылки английского флота в Балтику, пришлось приложить усилия, чтобы повлиять на императрицу. С одной стороны, князь наметил меры по укреплению русских эскадр и их дополнительному комплектованию. «Флот в одном месте лучше будет, потому что, разделяя части и внимание, и заботы умножаются, — писал он. — Секретно повелеть заготовить более брандеров и умножить во флоте огненосных орудий. Оказать охоту к отпору и сие живым приуготовлением всего. Умножить флот большой. Набрать еще матросов в зачет противу англичан. Можно поместить по несколько на корабли и финлянцев, особливо побережных жителей — способны к морю»^[1711].

С другой стороны, Григорий Александрович, не скрывая волнения, предупреждал Екатерину о том, что может случиться, если Густав III со своим шхерным флотом присоединится к английской эскадре и снова выступит против России: «Я припадаю к твоим стопам со слезами. Выслушай меня как мать и как благотворительница. Вы предадите гибели проекты ваших врагов против вас, которые оскорбляют и создают различные затруднения вашему двору. Ибо этот враг (Швеция. — О. Е.) для нас более значительной, по причине близости к резиденции, чем Фридрих Великий»^[1712]. «Английский флот в Балтике нулем будет, ежели вы изволите уладить со шведским королем. Я... смею и должен уверить, что сей пункт всего важнее, а потому во что бы ни стало, как возможно скорей оной кончить... Войско национальное и, как северного народа, то к нужде терпеливо, искусство многого числа офицеров, храбрость и знание мест... театр войны в близости резиденции делают сего неприятеля важным, с которым потерять много можно, а выиграть нечего. Будучи же в тесном с ними союзе Россия получит совершенный покой, а ежели бы вы могли связать такой союз браком, то навеки б одолжили Россию»^[1713].

Эта записка показывает, что первая мысль заключить матримониальный союз между внучкой Екатерины Александрой Павловной и сыном Густава III Густавом-Адольфом принадлежала Потемкину. Такой союз был желателен королю, а получение субсидии отвратило его от содействия Англии^[1714].

Показательно, что Потемкин не полагался на слово шведского владыки. Полным ходом шли военные приготовления. Были расписаны три армии, прикрывавшие границы России: против Пруссии, против Порты и против Швеции. Главный удар должен был принять на себя флот. «К

шведской стороне назначен один полк башкиров, не бесполезно бы было несколько нарядить калмык и вызвать также волонтеров черкес, — рассуждал князь. — Действие флага много поспешествовать может, то и нужно сему быть в знатном числе»^[1715].

Башкиры, калмыки и черкесы должны были временно курсировать вдоль шведской границы, пока шло формирование нового корпуса в Финляндии. Потемкин предложил назначить командующим этого корпуса Суворова.

По непонятной причине русские военные приготовления укрылись от глаз британского посланника. 7 (18) марта Потемкин пригласил его к себе и в личной беседе заверил, что Россия желает поддерживать с Англией прочный мир, однако советовал «уклониться от берлинского двора». После чего как будто больше не помышлял о делах. «Все здесь изъявляют вид совершенного спокойствия и равнодушия, — доносил Уитворт 1 апреля, — и изыскивают все средства, чтобы под личиною рассеянности сокрыть ту заботу, которую производит нынешнее критическое положение. Потемкин не изъявляет склонности к разговорам о делах... Он уверен, что державы союзные не намерены и не желают действительную начать войну»^[1716].

Забавно, что депеша была написана в славный «день дурака», когда, по народной присказке, никому верить нельзя. Все донесения Уитворта перехватывались, перлюстрировались и переводились, благодаря чему русский кабинет имел ту же информацию, что и британский дипломат. Буквально на следующий день, 2 апреля, Англия договорилась с Пруссией «выслать тридцать пять линейных кораблей с соразмерным количеством фрегатов в Балтийское море и двенадцать линейных же кораблей и фрегатов в Черное море». «Королю шведскому хотят отдать три миллиона талеров, дабы он остался нейтральным и позволил нашему флоту иметь свободный въезд в свои гавани»^[1717], — писал Уитворту из Берлина английский поверенный в делах Джексон.

Однако шведский король сдержал слово, данное России, что сильно затруднило положение Англии. Британский военный флот уже стоял на якоре в Портсмуте, готовый выйти в море. Горячим сторонником силового давления на Петербург выступал премьер-министр Уильям Питт-младший. Впервые встретившись с молодым Питтом, Семен Воронцов так характеризовал его в письме к Безбородко 24 июня 1785 года: «Я не могу вам довольно описать мое удивление, видя первого министра, управляющего Советом и Парламентом, коему еще 26 лет не минуло, который столь же учтив и невероятно скромен в беседе, как ярок и тверд в

Нижней Каморе, которую водит, как хочет»^[1718]. Действительно, у Питта было большинство в палате общин, что позволило ему на первых порах протолкнуть идею войны с Россией. Уже к 1789 году, почувствовав, куда дует ветер, Воронцов изменил свое мнение о премьер-министре: «Питт, конечно, человек умный, красноречивый, некорыстолюбивый, твердый, но... он имеет два сильных порока, а именно превеликое лукавство и преднамеренную страсть управлять с беспредельной властью сей землей. Для сей жажды властолюбия он все на свете жертвует»^[1719].

Однако в вопросе о войне с Россией Питта не поддерживала не только оппозиция, но и многие старые сторонники. Дело в том, что мануфактурные центры Англии работали на русском ввозном сырье, а портовые города жили во многом за счет постоянного товарооборота с Россией. Эти устойчивые торговые связи не раз спасали русско-английские отношения во время политических конфликтов. 29 марта 1791 года Питт открыто объявил парламенту, что британский военный флот предназначен для нападения на Петербург.

Уитворт доносил в Лондон, что ультиматум Англии и Пруссии не будет принят Россией: «Упрямство и неограниченная гордость здешнего двора, или, лучше сказать, Потемкина, столь велики, что никогда не согласятся на то, разве тогда, как приступят с ножом к горлу». Таким ножом у горла Петербурга и должен был стать британский флот. «Я никак не сомневаюсь, что он имеет намерение добраться до Константинополя, — писал посланник о светлейшем князе, — и я не знаю, как бы тому воспрепятствовать, буде не найдет он такого неприятеля, который бы мог ему противостоять лучше, нежели турки... Флот в здешних водах есть единственное средство спасительное от того»^[1720].

Именно в это время Семен Воронцов развернул в британской прессе кампанию, доказывая экономическую невыгодность для Англии столкновения с Петербургом. На деньги русского посольства были изданы дешевые анонимные брошюры, объяснявшие пагубность остановки русского экспорта в Британию. В крупных мануфактурных центрах — Манчестере, Лидсе, Норвиче, Уэксфильде — начались митинги и народные собрания, на стенах домов появились надписи: «Не хотим войны с Россией». Одновременно шли дебаты в парламенте. Оппозиция наступала на Питта, главным оппонентом премьер-министра был Чарльз Фокс, который доказывал крайнюю невыгодность противостояния с Петербургом^[1721]. Британский кабинет уже попытался остановить движение английских купеческих судов к русским берегам. На этом фоне

особенно эффектно звучало заявление Екатерины о том, что она прикажет пропускать торговые корабли даже через ряд сражающихся военных судов.

Воронцов доносил в Петербург о настроениях британского общества: «Многие из независимых членов Нижней Камеры по сим делам его (Питта. — О. Е.) оставили и дают голоса вместе с оппозицией. Торгующие недовольны, опасаясь прерывания их торговли. Мануфактурщики начинают жаловаться, а земские помещики негодуют, что затевает министерство войну, от которой прибыль вся будет Пруссии, а на них падут только одни подати»^[1722]. Парламент был засыпан петициями и обращениями избирателей отдельных графств с требованием голосовать против кредитов для войны с Россией.

Еще не зная, что на родине настроения изменились, Уитворт ликовал, «что одна эскадра отправляется в Черное море, поелику через то исцелится совершенно гордость Потемкина, и все его военные предположения вовсе уничтожатся». «Борьба сия будет неравная и опасная. Россия ничего не выиграет, а понесет неисчетный вред», — рассуждал дипломат. «Для Англии политически хорошо воспользоваться настоящими обстоятельствами для приведения России в то состояние, в котором она в отношении к другим Европейским державам находиться должна»^[1723]. В это время адмирал Чичагов уже выводил корабли на рейд, а в Совете рассуждали, где выгоднее занять позицию против британского флота.

Однако воевать не пришлось. Дебаты захлестнули парламент. Питт вынужден был отступить и отказаться от своих планов. Он приказал вернуть гонца, уже посланного в Петербург с нотой об объявлении войны, флот был разоружен. В Россию для проведения секретных переговоров отбыл секретарь английского королевского кабинета Уильям Фалькнер^[1724], 14 мая он прибыл в Царское Село. Но еще до этого, 30 апреля, Екатерина с облегчением констатировала, что войны не будет^[1725]. Провал интервенции нанес болезненный удар по самолюбию Питта, годы спустя он признавался, что «это величайшее унижение в его жизни»^[1726].

Впоследствии Семен Романович был склонен приписывать себе главную заслугу в предотвращении войны. Однако изменение позиции Швеции сыграло в этом деле не меньшую роль, чем петиции разгневанных горожан. «Расположением мыслей нации» премьер-министр мог и пренебречь, что случалось неоднократно. А вот без портов базирования обойтись было нельзя. В самый разгар дебатов в парламенте к Питту пришло убийственное известие о том, что Густав III закрывает для англичан шведские гавани. Дело было выиграно. Успех этой чисто

дипломатической акции следует отдать Потемкину, уговорившему императрицу пойти на переговоры о союзе со вчерашним врагом.

От чрезмерных требований со стороны Швеции Потемкину удалось отбиться в своем традиционном стиле. 23 апреля князь назначил Стедингу аудиенцию и изложил дипломату фантастический проект относительно судьбы Финляндии. Серьезность, с которой говорил князь, не вызвала сомнения. Потрясенный министр сообщил в Стокгольм подробности: все жители края должны быть перевезены в области за Петербургом; Финляндия — жалкая страна и будет превращена в пустыню, чтобы не вызывать проблем с установлением границы; особенно никчемн Нейшлот, который Густав III желает сохранить за собой^[1727]. Словом, шведскому кабинету дали почувствовать, что еще немного упрямства, и в Финляндии может завариться такая каша, которая вообще отодвинет вопрос о границе на неопределенный срок.

В беседах Потемкина с иностранными дипломатами любопытнее всего та вера, с которой они принимали его самые невероятные заявления. Словно для этого расчетливого, очень осторожного политика в их глазах не было ничего невозможного. Образ капризного сумасброда с огромной властью в руках прекрасно удавался светлейшему. Вскоре ему предстояло запугивать Фалькнера сходной манерой поведения.

В Петербурге понимали, что эmissару Питта дана «полная мочь» для тайных переговоров, и фактически перестали рассматривать Уитворта как представителя Британии. Это крайне нервировало посланника. Он доносил, что «императрица нимало не склоняется на принятие *status quo* или какого-либо ограничения»^[1728]. Светлейший князь от имени Екатерины выразил удовольствие началом переговоров и заявил, «что уже настало время, в которое зависть, толь долго между обоими дворами гнездившаяся, должна уступить место системе дружества и доброго согласия». «Если бы мне были менее известны характер и намерения князя Потемкина, — доносил в Лондон Уитворт, — то, может быть, счел бы я сие за чистосердечное откровение, но я имею, к несчастью, слишком много причин опасаться, что его помыслы к тому клонятся, чтобы над нами посмеяться. И между тем, как он нас запутает в долговременные и бесполезные переговоры, стараться будет выиграть время, в которое он свои действия противу неприятеля удвоенными силами продолжит и понудит его, не опасаясь ниоткуда никакой диверсии, к внезапному миру без содействия каких-либо других держав и на выше реченных условиях»^[1729].

Уитворту нельзя отказать в проникательности. Именно так Потемкин и

поступил. Еще накануне приезда Фалькнера, 11 мая, когда стало ясно, что угроза войны с Англией миновала, он отправил в армию на Юг приказы Гудовичу перейти Кубань и овладеть Анапой, Репнину форсировать Дунай и напасть на армию верховного визиря, Ушакову выйти с флотом из Севастополя и искать турецкий флот для генерального сражения. Руки были развязаны. Забегая вперед, скажем, что все три цели оказались достигнуты. А в разговоре с Фалькнером князь снова разыграл роль человека, для которого нет ничего невозможного. Потрясенный его напором эmissар доносил 23 мая:

«Он сказал, между прочим, что он условия *status quo* терпеть не может; что он не понимает, каким образом мы можем предпочитать россиянам турок. Что, если бы он получил в плен великого визиря, то бы он тотчас его на первом дереве повесил за голову, ...что мнение его есть, чтоб Россия вела вечную войну с турками; ...что сие крайне глупо от нас ожидать, чтобы он императрицу уговорил к миру, когда он только молодой фельдмаршал и еще может надеяться завоевать Египет»^[1730]. Что здесь правда? Что демонстрация на публику? Бурный коктейль потемкинских фантазий был проглочен Фалькнером, имевшим предписание «уклоняться от всего, что может быть издали сходно с угрозами».

Екатерина приняла эmissара для личного разговора, любезно беседовала с ним о том о сем, не затрагивая спорных вопросов, и лишь в конце позволила себе намек на позицию Англии. «Итальянская гончая собака, принадлежащая императрице, лаяла на мальчика, игравшего перед нею в саду, — доносил Фалькнер. — Она сказала мальчику, чтоб он не боялся, и, оборотясь ко мне, говорила: „Собака, которая много лает, не кусается“»^[1731].

«Дитя» и другие

Можно только удивляться той энергии и самообладанию, с которыми светлейший князь осуществлял намеченные дипломатические и военные мероприятия. Однако его душевное состояние этого времени никак нельзя назвать спокойным и уравновешенным. И он, и императрица находились на пределе своих сил. Нередко их беседы с глазу на глаз оканчивались ссорами, иногда Потемкин сразу после разговора с Екатериной шел на исповедь^[1732].

Разногласия наших героев были серьезны. Екатерина считала, что

лучший способ достичь мира — это развитие наступления на Юге. Потемкин доказывал, что без решительных дипломатических усилий в Берлине даже такая грандиозная победа, как Измаил, ничего не дала для мирных переговоров. 22 апреля императрица написала князю отчаянную записку: «Ежели хочешь камень свалить с моего сердца, ежели хочешь спазмы унимать, отправь скорее в армию курьера и разреши силы сухопутные и морские произвести действие наискорее, а то войну протянешь еще надолго»^[1733]. Храповицкий рассказывал о ссоре Потемкина и Екатерины, начавшейся 17 апреля: «Захар Зотов из разговора с князем узнал, что, упрямясь, ни чьих советов не слушают. Он намерен браниться. Плачет с досады, не хочет снизойти и переписаться с прусским королем... 22 — Нездоровы, лежат; спазмы и сильное колотье с занятием духа»^[1734].

Сохранились воспоминания выросшего в доме Потемкина мальчика-сироты Федора Секретарева, описывающего одну из таких ссор. «У князя с государыней нередко бывали размолвки, — рассказывал маленький камердинер о событиях 1791 года. — Мне случалось видеть, как князь кричал в гневе на горько плакавшую императрицу, вскакивал с места и скорыми, порывистыми шагами направлялся к двери, с сердцем отворял ее и так ею хлопал, что даже стекла дребезжали и тряслась мебель... Однажды князь, рассердившись и хлопнув по своему обыкновению дверь, ушел, а императрица вся в слезах осталась глаз на глаз со мною в своей комнате... Взглянув на меня своим добрым, почти заискивающим взором, она сказала мне: „Сходи, Федя, к нему, посмотри, что он делает, но не говори, что я тебя послала“. Я вышел и, войдя в кабинет князя, где он сидел, задумавшись, начал что-то убирать на столе. Увидев меня, он спросил: „Это она тебя прислала?“ Сказав, что я пришел сам по себе, я опять начал что-то перекладывать на столе с места на место. „Она плачет?“ — „Горько плачет, — отвечал я. — Разве вам не жаль ее? Ведь она будет нездорова“. На лице князя показалась досада. „Пусть ревет, она капризничает“, — проговорил он отрывисто. „Сходите к ней, помиритесь“, — упрасивал я смело, нисколько не опасаясь его гнева. И не знаю — задушевность ли моего детского голоса и искренность моего к ним обоим сочувствия, или само собою прошла его горячка, но только он встал, велел мне остаться, а сам пошел на половину государыни. Кажется, что согласие восстановилось, потому что во весь день лица князя и государыни были ясны, спокойны и веселы, и о размолвке не было помину»^[1735].

Немудрено, что после таких ссор императрица могла слечь в постель, а

Потемкину требовалось покаяние. Чаще всего Екатерина шла на уступки, как в случае с субсидиями для шведского короля. Однако она очень болезненно относилась ко всему, что касалось «милого дитяти» Платона Зубова.

Одна из записок императрицы относится к известному делу отставного майора Бехтиева, у которого Александр Николаевич Зубов, отец фаворита — обер-прокурор 1-го департамента Сената, отсудил деревню в 600 душ, выгнав помещика с семьей на улицу^[1736]. Бехтиев приехал в Петербург искать защиты в Гражданской палате, но она укрепила имение за обидчиком. Тогда отчаявшийся отставной майор явился к Потемкину во время общего приема и закричал громко: «Помилуйте, ваша светлость, обороните от Александра Николаевича Зубова, который, надеясь на своего сына, ограбил меня!» Державин в своих «Записках» рассказывал: «Князь, чтоб не подать поводу мыслить о не весьма хорошем его расположении к фавориту (ибо между ними не хорошо было), встал стремительно с места и, взяв Бехтиева за руку, увел к себе в кабинет... Спустя несколько, стали предстоящие пошептывать, что, несмотря на случай сына, отдадут грабителя под суд. В продолжение дня говорили о сем во всех знатных домах, как-то у графа Безбородой, Воронцова, кн. Вяземского и прочих, для того, что отец фаворитов своим надменным и мздоимным поведением уже всем становится несносен»^[1737].

22 мая из Царского Села в Петербург, где тогда задержался князь, Екатерина направила грустную записку, написанную в ответ на несохранившееся послание Потемкина. «Пеняю, сударь, на тебя. Для чего в притчах со мною говорить изволишь? Ум не достает догадаться, на кого целишь. Бог тебя знает, кому... родство сильным правом? Говорите яснее, ни то рассержусь. Но я бы хотела лучше, чтоб Вы мне сказали сразу все эти прелести и, чего Вы желаете, как урывками всякий день. Дитятя уехал и это все»^[1738].

Похоже, Потемкин попытался намекнуть императрице на злоупотребления А. Н. Зубова, которому «родство» было «сильным правом», и надеялся, что слухи, распространившиеся при дворе, позволят Екатерине самой понять, в чем дело. В результате «дитятя» занервничал и уехал, а императрица не догадалась или сделала вид, что не догадалась, на кого «целит» князь. Она ясно показала Потемкину, что очень расстроена. Неизвестно, состоялся ли прямой разговор, но на следующий день, 23 мая, императрица обедала в имении светлейшего князя^[1739], а 24-го уже пребывала в чудесном расположении духа, шутила и советовала Потемкину

не жечь свой дом, который ей так понравился^[1740]. Дело Бехтиева удалось замять без суда, отставной майор получил назад свое имение и уехал домой, а светлейший князь остался пожинать ненависть Зубовых.

Во время последнего пребывания Потемкина в Петербурге ходили слухи о его ссоре с Суворовым, недовольным наградами за Измаил. Позднейшие биографы Александра Васильевича приписывали старому воину желание уже тогда получить фельдмаршальский жезл^[1741]. Обращение к переписке Суворова показывает, что около этого времени измаильский герой ни разу не упоминал о такой высокой награде, зато весьма часто сожалел об отсутствии у него придворного чина^[1742]. Если бы вслед за падением Измаила был подписан мир, то победитель мог рассчитывать на получение звания фельдмаршала, но этого не случилось^[1743]. Речь должна была идти об иной награде. Суворов уже имел высшие степени всех российских орденов, вторичное пожалование ими исключалось. Что же предложил императрице Потемкин?

24 марта было подписано «производство» за Измаил, а 25-го состоялась торжественная церемония вручения наград. Не позднее этого числа могла быть написана записка Потемкина императрице, в которой князь советует, как пожаловать Суворова. «Если будет высочайшая воля сделать медаль генералу графу Суворову, сим наградится его служба при взятии Измаила», — писал Григорий Александрович. Затем, перечислив все заслуги старого воина в минувшую кампанию, Потемкин просил «отличить его гвардии подполковника чином или генерал-адъютантом»^[1744].

Итак, главной наградой за штурм Измаила князь считал именно памятную медаль. Такое пожалование действительно было почетным и редким. В Первую русско-турецкую войну этой чести удостоились только Румянцев за совокупность побед и А. Г. Орлов за Чесменское сражение. Сам Потемкин получил медаль за взятие Очакова. Массивный золотой диск, предназначенный для Суворова, украшали изображение героя и надписи: «Кинбурн», «Фокшаны», «Рымник», «Измаил»^[1745].

Производство в подполковники лейб-гвардии Преображенского полка, где полковником была сама императрица, тоже следует причислить к разряду почетных. Однако Потемкин, зная о давнем желании Суворова получить чин генерал-адъютанта, просил ее и об этом. Выбор сделала императрица, она не хотела иметь в близком окружении человека неуживчивого и чудаковатого, поэтому предпочла звание подполковника. Суворов ничего не знал ни о записке светлейшего князя, ни о том, что Потемкин хлопотал для него о чине генерал-адъютанта уже вторично.

Измаильский герой во всем обвинил своего старого покровителя.

Существует версия о том, что после взятия Измаила, во время личной встречи Суворова и Потемкина, между ними произошла ссора^[1746], и «мстительный» светлейший князь предупредил приезд Александра Васильевича в столицу эстафетой, порочащей героя. В результате победитель был принят холодно^[1747]. Что же было в потемкинской эстафете? Она включала почту 8-11 января с тремя подробными донесениями и другими документами об измаильской операции. Если записка о медали для Суворова составлена 10 января, то она должна была входить в эту почту и подкреплять отзыв командующего о победителе Измаила: «Отдав справедливость исполнившим долг свой военачальникам, не могу я достойной пропустить похвалы искусству, неустрашимости и добрым распоряжениям главного в сем деле вождя графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского. Его неустрашимость, бдение и прозорливость всюду содействовали сражающимся, всюду ободряли изнемогающих и, направляя удары, обращавшие вотще отчаянную неприятельскую оборону, совершили славную сию победу»^[1748]. Это донесение целиком было опубликовано 5 февраля в «Санкт-Петербургских ведомостях», поэтому, когда 3 марта 1791 года Суворов прибыл в столицу, прием ему был оказан самый торжественный^[1749].

Парадоксальным в контексте версии о мстительном временщике кажется предложение Григория Александровича назначить Суворова командующим корпусом в Финляндии. В перспективе этот корпус должен был преобразоваться в армию против Швеции. Таким образом, Суворов оказывался в случае войны равен по занимаемой должности Потемкину и мог вскоре рассчитывать на чин фельдмаршала. Получается, что Потемкин продвигал Александра Васильевича вверх по служебной лестнице в самый разгар их конфликта. «Я нахожу Вашу мысль — составить наилучшим образом значительный корпус в Финляндии и, прежде всего, назначить начальником графа Суворова — отличною»^[1750], — писала Екатерина князю 25 апреля.

Придворные сплетники считали и это назначение Суворова особой, утонченной местью Потемкина. «Граф Суворов-Рымникский послан смотреть шведскую границу, — записал 26 апреля Храповицкий. — Недоверчивость к шведскому королю внушил князь. Говорят, будто для того, чтоб отдалить Суворова от праздника и представления пленных пашей»^[1751]. Так ли это? Официальные торжества по случаю измаильской победы были уже закончены, и Суворов находился на них в центре

внимания^[1752]. Обстановка на границах складывалась опасная, 15 апреля на рейд вышла эскадра Чичагова, чтобы встретить в море английский флот^[1753], а через десять дней Суворов отправился в Финляндию к вновь укомплектованному корпусу.

Настроение в городе царило напряженное. Великолепный потемкинский праздник, сопровождавшийся фейерверком и демонстрацией пленных турецких пашей, был устроен не только для знати, но и для простонародья^[1754]. Он предназначался, чтобы ободрить население столицы и показать противникам России, что Петербург не боится их нападения. В Великий четверг 10 апреля Потемкин приобщился Святых Тайн вместе с П. А. Зубовым^[1755]. Для светлейшего князя это был не пустой жест — перед лицом смертельной опасности он хотел примириться со своим злейшим врагом. Трудно представить, что в такое время Потемкина занимал вопрос о том, как бы оттеснить старого боевого товарища от заслуженной славы.

А вот Суворов, приехав в столицу, попал в щекотливую ситуацию, из которой не смог выпутаться с честью. После взятия Измаила Александр Васильевич почувствовал себя самостоятельной политической величиной. Перед ним заискивали, его дружбы искали, ему безудержно льстили. Все это было для старого воина в новинку, и он откровенно потерялся среди придворных интриг. Играя на обостренном самолюбии Суворова, группировка Салтыкова — Зубова сумела противопоставить его Потемкину. Именно тогда и была пущена в ход легенда о бездарном командующем, якобы притеснявшем гениального подчиненного и загребавшем победы его руками^[1756]. На самом деле светлейший князь всегда продвигал Суворова по службе и добивался для него наград. Без нарочитого покровительства Потемкина Александр Васильевич, с его причудами и очень непростым характером, не пробился бы в первые ряды русских полководцев, не получил бы под свою команду крупных воинских соединений и не смог бы показать, на что способен.

Все это было забыто. Суворов позволил противникам князя убедить себя, будто Григорий Александрович присвоил его измаильскую победу. Был и еще один момент семейного свойства, повлиявший на поведение Суворова. Желая привлечь его на свою сторону, Салтыков затеял сватовство своего сына к дочери полковника Наталье, фрейлине двора. Партия с Салтыковым была блестящей. Александр Васильевич всегда хотел устроить судьбу «Суворочки» и ради нее покинул старого покровителя. Сватовство расстроилось сразу после смерти Потемкина. Суворов больше не был

нужен, и Салтыковы отвернулись от него, выставив на вид, что невеста не родовита, не обладает достаточным приданым, да и не красавица. Впоследствии Наталья Александровна вышла замуж за старшего брата Зубова — Николая.

Потемкинский праздник

Внешне пребывание Потемкина в Петербурге превратилось в череду увеселений. «Вам известно, в какое движение приведена была наша столица прибытием в нее преславного нашего Ироя, — писал князю И. М. Долгорукому инспектор Смольного воспитательного общества Т. П. Кирьяк. — Вся знатность, богатые частные люди, даже богатые мещане, все со рвением друг перед другом старались угостить его, вменяя себе за славу принять столь знаменитого гостя. Покупали стерлядей, одну по 100, 200, 300 р. и выше. Главным у всех предметом при угощении была уха»^[1757]. Шел Великий пост, который, даже ради славного «Ироя», не мог превратиться в Масленую неделю. По окончании поста князь устроил ответный праздник для всего города.

Многие современники с удивлением и восхищением описывали торжество в Таврическом дворце. О нем сохранились воспоминания, как о волшебной сказке — феерии, которые так любил устраивать Потемкин. Этот дивный сон в апрельскую ночь словно продолжал великолепные картины, виденные путешественниками в Крыму в 1787 году.

Таврический дворец был возведен в 1782–1791 годах давним приятелем Потемкина по университету архитектором Иваном Егоровичем Старовым. Первоначально он носил название Конно-гвардейского, поскольку поблизости располагались казармы этого полка. Участок, выделенный для строительства, находился вдали от оживленного центра, и дом мыслился как загородная резиденция. Его главный фасад с колоннами и куполом-ротондой был обращен к Неве. В плане дворец представлял собой огромную букву «П», распластанную на зеленом поле парка и как бы подчеркнутую голубой линией реки^[1758]. Здание строилось в классическом стиле, недаром Державин сравнивал его с римскими сооружениями: «Кто хочет иметь о нем понятие — прочти, каковы были загородные дома Помпея и Мecenата. Наружность его не блистает ни резьбой, ни позолотой. Древний изящный вкус — его достоинство; оно просто, но величественно».

Потемкин дважды становился хозяином дворца. Начав строительство,

он через некоторое время продал дом в казну за 460 тысяч рублей, поскольку остро нуждался в деньгах для уплаты долгов. После возвращения Григория Александровича в столицу в 1791 году императрица решила снова подарить ему дворец. Достраивалось сооружение к празднику — спешно и на скорую руку. И снова, как когда-то в Тавриде, словно по волшебству, в короткий срок неотделанные покои были роскошно убраны, ветхие здания возле дворца снесены, площадь для народных гуляний расчищена. «Тысячи художников и работников занимались несколько недель приготовлениями и распоряжениями к сему празднеству»^[1759], — сообщал анонимный автор записок о потемкинском празднике. Казалось, все мастерские города работали только над «домашними уборами» для Таврического дворца. «Из лавок взято напрокат до двухсот люстр и немало больших зеркал, кроме премногих, привезенных из его собственных заводов, — продолжал рассказ Т. П. Кирьяк, — ...не считая десяти тысяч свеч, приготовлено было больше двадцати тысяч шкаликов и стаканчиков с воском. Завод стеклянный занят был деланием разноцветных и разнообразных фонарей, всяких древесных плодов, бус и прочих фигур»^[1760].

Были приглашены три тысячи знатных особ, которым утром в день праздника офицеры развезли билеты. Накануне, 27 апреля, написаны три записки Екатерины светлейшему князю. Императрица сообщала, что с радостью готовится быть на его торжестве^[1761], просила встретить и отпустить ее без особых церемоний^[1762] и спрашивала, кого он позвал^[1763]. Последняя записка весьма примечательна. Никто из обширного семейства Зубовых не был приглашен на праздник самим хозяином, князь предоставил Екатерине право привезти с собой, кого ей захочется. «Мой друг, — отвечала она, — так как я не знаю, кого Вы пригласили, то я тем паче не знаю, кого взять с собой».

Торжества должны были начаться в шесть часов пополудни с прибытием императрицы. Ее встречал Потемкин, облаченный в алый фрак и епанчу из черных кружев. Его шляпа была так обременена бриллиантами, что ее оказалось трудно держать в руке, и один из адъютантов носил ее за князем. На площади перед дворцом было приготовлено угощение для народа, расставлены столы, воздвигнуты качели, из лавок бесплатно раздавались подарки — платья, шляпы, чулки. По ошибке собравшаяся толпа приняла один из придворных экипажей за царский. Поэтому народ начал гулять еще до того, как Екатерина подкатила ко дворцу. Потемкин «принял» ее из кареты и проводил вместе со всей императорской фамилией

сначала в ротонду, превращенную им в храм славы или пантеон Екатерины, а потом на галерею. Оттуда государыня наблюдала за балетом, в котором участвовали 24 пары танцоров из знатнейших фамилий во главе с великими князьями Александром и Константином.

После танцев гостей ожидал театр, где представлены были две комедии и два французских балета. Затем императрица прошествовала через зимний сад. Там были каскады, грот, источники, чаши с золотыми и серебряными рыбками. В кадках росли цитрусовые и померанцевые деревья, на которых в зелени листвы блестели стеклянные фрукты — сливы, вишни, виноград — и горели фонарики. Дорожки были устланы по краям дерном и обсажены стеклянными ананасами, арбузами и дынями в натуральную величину, внутри которых сияли огоньки.

В центре сада стояла мраморная статуя Екатерины-Законодательницы работы Федота Шубина. Возле нее, как возле божества, князь опустился на колени и вознес хвалы своей покровительнице. Императрица подняла его и отправилась рука об руку с ним в бальную залу. При входе, едва двери распахнулись, хор грянул песню Державина «Гром победы раздавайся». На потемкинском празднике она была исполнена впервые и так понравилась публике, что до конца царствования стала почти официальным гимном.

Пока длился бал, императрица по своему обыкновению играла в карты. В половине двенадцатого начался ужин. Екатерина и ее приближенные ели на золоте, остальные гости — на серебре или лучшем французском фарфоре. Столы были накрыты на пятьсот приборов «и только для дам; а кавалеры, не садясь, должны были дамам прислуживать». Исключение сделали для принцев. «Потемкин прислуживал за креслами императрицы, пока она не приказала ему сесть». Галантная выдумка князя обернулась конфузом. Славные своей куртуазностью российские кавалеры утомились после танцев и предпочли разбрестись по дворцу, «ища отдохновения». Оставшись без родовитых «слуг», дамы вынуждены были прибегнуть к помощи простых лакеев или ухаживать друг за другом.

После ужина бал продолжался до самого утра, но императрица отбыла в исходе второго часа. «Никогда не бывало, чтобы монархиня так долго у кого-либо гостить соизволила», — отмечал очевидец. Для жаворонка Екатерины, которая обычно ложилась не позже десяти, такое утомительное празднество было большим испытанием. Только ради князя она сделала исключение из правил. «Потемкин, провожая монархиню, в зале купольной, еще повергся к ногам ее, и казалось, что более прежнего был тронут. Многие чувствительность сию сочли за предчувствие близкой смерти. Он видел монархиню в последний раз в своем доме. Сама

императрица была тронута до слез при сем прощании»^[1764]. Называли разные суммы, потраченные князем на праздник. Утверждали, что он мог стоить до 200 тысяч рублей.

29 апреля, на следующий день после торжества, Потемкин направил Екатерине очень любопытную записку: «Вчерашний день дети Ваши составили собой главное украшение пиршества, увеселяющее сердца всех. Первенец из птенцов орлицы уже оперился. Скоро, простря крыле, будет он плавать над поверхностью; окажется ему Россия, как карта пространнейшая: увидит он разпространение границ, умножение армий, флотов и градов, степи заселенные, народы, оставившие дикость, судами покрытые реки... Вот какое прекрасное ему будет зрелище, а нам в нем окажется утешительное удовольствие видеть князя с ангельскими свойствами, кротость, приятность вида, величественная осанка. Он возбудит в себе любовь во всех и благодарность к тебе за воспитание, принесшее такой дар России»^[1765].

О ком говорится в этой записке? Фразы «дети Ваши» и «первенец из птенцов орлицы», казалось бы, указывают на Павла Петровича. Замечание о том, что вскоре он сам будет парить над Россией, то есть станет новым владыкой, тоже должно было свидетельствовать в пользу наследника. Однако описание будущего государя никак не вяжется с обликом Павла. Перед нами «князь с ангельскими свойствами», отмеченный кротостью, приятностью вида и величественной осанкой. В императорской семье нежное прозвище «наш ангел» носил великий князь Александр. Его воспитанием, в отличие от воспитания сына, Екатерина занималась сама^[1766], о чем говорят последние строки записки.

О намерении императрицы передать престол внуку в обход сына иностранные дипломаты начали доносить с 1782 года^[1767]. Второй всплеск подобных слухов возник весной — летом 1791-го, когда Екатерина стала часто призывать к себе Александра для бесед о государственных делах, которые становились лишь частично известны Павлу одновременно с «публикой»^[1768]. 1 сентября в письме к Гримму императрица, касаясь положения дел во Франции, неожиданно проговорила: «Если революция охватит всю Европу, тогда явится опять Чингиз или Тамерлан, ...но этого не будет ни в мое царствование, ни, надеюсь, в царствование Александра»^[1769]. Эти слова показывают, что Екатерина не предполагала промежутка между своим правлением и правлением внука.

После того как императрице стало известно о сношениях Павла Петровича с берлинским двором, резкое охлаждение между ней и сыном

сделалось неизбежным. Возможно, именно тогда были составлены загадочные документы, передававшие право на престол Александру и, по легенде, отданные Павлу Безбородко^[1770]. Их скрепляли подписи крупнейших государственных деятелей, в том числе Суворова и Румянцева. Приведенная выше записка показывает, что светлейший князь хорошо знал о намерении императрицы. Не разговор ли о «вещах», которых Потемкин «не мог вверить бумаге», подтолкнул Екатерину к окончательному решению?

Конец весны — лето 1791 года двор провел в Царском Селе и Петергофе. Потемкин бывал там не так часто, как хотелось бы императрице, судя по ее запискам этого времени. Она нетерпеливо ждет его приездов^[1771], считает дни до встречи^[1772], но светлейший князь появлялся лишь наездами, чаще всего сопровождая иностранных дипломатов^[1773], консультации с которыми он продолжал в Петербурге. Ему удалось многого добиться. Фалькнер имел на руках три плана мирного урегулирования. Князь последовательно отказал ему в двух первых: объявлении Очакова с областью независимой территорией (об этом Потемкин даже не стал докладывать императрице) и запрещении для русских строить на приобретенных землях укрепления и населенные пункты (в ответ светлейший поставил вопрос об уничтожении Бендер, Хотина и Аккермана, которые по договору должны были вернуться к Турции). Наконец Фалькнер извлек третий вариант: Россия гарантирует Порте свободное судоходство по Днестру. Этот пункт князь вполне устроил, он не стал уточнять, что Днестр из-за недостатка воды несудоходен. Высокие договаривающиеся стороны остались довольны друг другом^[1774].

Редкие, кратковременные визиты Потемкина подали повод для разговоров об ухудшении его взаимоотношений с императрицей^[1775]. Записки наших героев не подкрепляют подобную версию. Напротив, кажется, что летом их союз был куда прочнее, чем в начале весны, во время частых ссор и размолвок^[1776].

Открытого разрыва с Зубовым не произошло, записки светлейшего князя к молодому фавориту показывают, что внешне они сохраняли ровные, благожелательные отношения^[1777]. Императрица была этим очень довольна. «При виде князя Потемкина можно сказать, что победы и успехи красят человека. Он возвратился к нам из армии прекрасный, как день, веселый, как зяблик, блистательный, как звезда, более остроумный, чем когда-либо, — писала Екатерина деЛиню 14 мая. — Он задает ежедневные пиры одни лучше других, он принимает гостей с вежливостью и

вниманием, которые производят общий восторг назло его завистникам»^[1778].

И все же, несмотря на доброе отношение императрицы, Потемкину неприятно было появляться при дворе. Державин замечал: «Князю при дворе тогда очень было плохо. Злоязычники говорили, будто он часто пьян напивается, а иногда как бы сходит с ума»^[1779]. Один слух о немилости императрицы создавал вокруг Григория Александровича пустоту. Стоит ли удивляться, что светлейший предпочитал работать в Петербурге?

Внешняя любезность князя скрывала крайнюю нервозность и усталость. Со стороны наблюдателям казалось, что Потемкин приехал в столицу развлекаться, что он занят только увеселениями. Приведенные выше документы говорят об обратном: светлейший напряженно работал. Не его вина, что этот труд — в первую очередь дипломатический — был скрыт от глаз непосвященных. На плечи Потемкина давила колоссальная ответственность: один неверный шаг, и Россия оказалась бы лицом к лицу с Пруссией, Англией, Швецией, Польшей и Турцией в придачу. И в это время придворные, уверенные, что временщик теряет вес, устраивали ему «толчки и шиканы».

Не к чести Державина служит рассказанный им в воспоминаниях эпизод. После приезда в столицу с Юга Потемкин был ласков к поэту и даже, по выражению Гаврилы Романовича, за ним «волочился, желая себе от него похвальных стихов». Однажды Зубов позвал Державина в кабинет и от имени государыни передал, чтобы тот «писал для князя, что он прикажет, но отнюдь бы от него ничего не принимал и не просил, что он и без него все иметь будет». Фаворит дал Державину понять, что его не устроит появление прославляющих князя виршей. Гаврила Романович склонился перед восходящей звездой Зубова.

После праздника в Таврическом дворце Потемкин благодарил автора хоров «Гром победы...», звал его к себе обедать, а Державин пообещал сочинить описание торжества. «Без сомнения, князь ожидал себе в том описании великих похвал», — рассуждал поэт. Но именно этого Державин и не мог дать, опасаясь гнева Зубова. Пришлось выкручиваться, стихи были написаны, но все торжественные славословия в них относились к «императрице и русскому народу», а равная с Потемкиным «честь была отдана Румянцеву и Орлову». В начале мая, приехав в Летний дворец, где тогда жил светлейший, Державин передал ему стихи. Князь приказал готовить стол. Пока Григорий Александрович читал в кабинете, поэт попытался оправдаться в разговоре с Поповым. Он сказал, что «мало в том

описании на лицо князя похвал; но скрыл прямую тому причину, боясь неудовольствия двора, а сказал, что... от князя он никаких еще благодетельных личных не имел и коротко великих его качеств не знает... Но ежели князь примет сие благосклонно и позволит впредь короче узнать его превосходные качества, то он обещает превознести его, сколько его дарование достанет». Вряд ли эти слова могли что-то изменить. «Когда князь прочел описание, ...то с фуриею выскочил из своей спальни, приказал подать коляску и, несмотря на шедшую бурю, гром и молнию, ускакал, Бог знает куда. Все пришли в смятение, столы разобрали — и обед исчез»^[1780]. А Державин пошел доложить Зубову.

Едва ли одни стихи послужили причиной вспышки гнева Потемкина. Его нервы были на пределе. Скорее неудачное описание праздника явилось последней каплей, вызвавшей всплеск эмоций. Григорий Александрович вскочил в коляску и без фуражки умчался под проливным дождем в неизвестном направлении. Поездив среди громов и молний, он немного успокоился. Однако это было далеко не последнее испытание твердости князя.

Некстати для Потемкина оказался и приезд в Петербург Алексея Орлова. Старинный недруг Алехан ничего не забыл и не простил. Его высказывания в адрес князя тоже подливали масла в огонь. Через много лет В. С. Попов в разговоре с Ф. П. Лубяновским вспоминал случай, когда Лев Нарышкин оказался за столом рядом с Алексеем Орловым. Нарышкин «в общей беседе о войне говорил, что из армии не было известен, и Репнин-де ничего не делал. Орлов молча подобрал к себе все ножи со стола и потом просил Нарышкина отрезать ему чего-то кусок. Тот туда и сюда: нет ножа. „Так-то и Репнину, когда ничего не дают ему, нечего делать“, — сказал Орлов».

Разговоры о Репнине, оставленном Потемкиным за себя на время отъезда, были далеко не случайны. Князь тянул время до прояснения ситуации с Англией. Поэтому многие рапорты Репнина оставались без ответа, о чем узнала Екатерина. Попов рассказывал: «Я тогда струсил: присылают ко мне ночью с приказом быть в Царское Село к императрице в шестом часу утра. Не в духе была. Правда ли, спросила меня, что целый эскадрон курьеров от князя Репнина живет у вас в Петербурге? — До десяти наберется. — Зачем же не отправляете их? — По бумагам, что сданы мне, спрашивал; ничего не приказано. — Да разве вы не все то знаете, с чем кто прислан? — И третьей части не знаю. — Так скажите же своему князю, чтоб сегодня же, непременно сегодня, он отвечал Репнину, что понужнее; скажите ему: я велю; а мне пришлите записку, в котором

часу курьер наш уедет. В тот же день курьеры все отправлены... Не добились мы, от кого императрица узнала про курьеров»^[1781].

Эта история показывает, что за Потемкиным неотступно следили внимательные и недобрые глаза. О малейшем его промахе немедленно докладывали Екатерине. Может возникнуть впечатление, что Григорий Александрович послал курьеров к Репнину исключительно по требованию императрицы. Однако это были те самые курьеры, которые уехали 11 мая, накануне прибытия Фалькнера. Их отправка была связана с отказом Англии от военных действий на Балтике. Возможно, без нажима Екатерины они выехали бы несколькими днями позже, уже после первых консультаций с эмиссаром Питта. Но это существенно не меняло дела.

Отъезд

Между тем военные действия на Юге продолжались весьма успешно. 2 июля курьер привез в Петербург известия о том, что войска генерала И. В. Гудовича взяли штурмом Анапу, 11 июля в столице узнали о победе Н. В. Репнина в сражении при Мачине 28 июня. Была разбита 60-тысячная турецкая армия, предводительствуемая визирем.

11 же июля послы Великобритании и Пруссии подписали ноту, в которой признавали русские условия заключения мира с Турцией: уступка Очакова и земель по Днестру. Потемкин дал знать об этом императрице в Царское Село. В ответ она послала ему 12 июля две радостные записки: «В один день, мой друг, два праздника, да сверх того еще чудесные дела: принятие наших кондиций союзниками»^[1782]. «Бога молю, чтоб мир последовал скорее за сим»^[1783]. 13 июля Екатерина ездила на молебствие в Казанский собор^[1784]. Два праздника в один день, о которых она говорит, — победа при Мачине и взятие русскими войсками Суджук-Кале.

Теперь оставалось лишь уточнение деталей с Фалькнером, но и оно требовало времени, ибо для России вопрос о сроке перемирия с Турцией перед подписанием окончательного договора был, как увидим ниже, крайне важен. Существует версия о том, что императрица тяготилась присутствием Потемкина в Петербурге, однако никто не решался объявить ему волю Екатерины: ехать в армию. Тогда государыня якобы сама направилась к светлейшему князю, который, вопреки всеобщему ожиданию, кротко выслушал ее повеление и тут же отбыл в Молдавию^[1785]. В реальности все выглядело иначе. Потемкин закончил переговоры с Фалькнером, 20 июля

состоялась отпускная аудиенция английского дипломата, а 24-го ранним утром светлейший князь покинул Царское Село^[1786]. В дневнике Храповицкого эти даты стоят рядом, как бы подчеркивая свою взаимосвязь^[1787].

Потемкин поскакал по своему обыкновению очень быстро: 27 июля он был в Могилеве, 1 августа в Кременчуге, а 6-го в Яссах. Уже после смерти князя возникла версия, будто Григорий Александрович поспешил в армию, желая перехватить у Репнина лавры миротворца. Державин утверждал, что известие о подписании Репниным предварительных пунктов к мирному договору, якобы заставшее Потемкина в Петербурге, «его совсем убило»^[1788]. Неосведомленность поэта выразилась даже в том, что он назвал обычные предварительные пункты «мирным договором». Но для нас важно не это существенное уточнение, а тот факт, что Потемкин узнал о подписании предварительных пунктов 1 августа^[1789], уже будучи в дороге, следовательно, его отъезд из столицы никак ими не мотивировался.

Письмо Потемкина 1 августа из Кременчуга показывает, что Репнин сообщал светлейшему о ходе предварительных переговоров и получал от него инструкции. «Из донесений князя Репнина изволите увидеть, что визирь отозвался, хотя и с глупою гордостью, но уже мне известно по другому донесению, что переговоры о prelimинарах берут хорошее начало... — писал Потемкин. — Я перед собой послал курьера к Репнину, чтоб объявил он туркам, что им в занятии Валахии препятствовать буду, ежели с нами не кончат»^[1790].

Как видим, ничего тайного, как принято считать, в переговорах Репнина с турками для Потемкина не было. Более того, уезжая в столицу в феврале, князь сам оставил заместителю примерные пункты на случай открытия переговоров. Теперь Репнин действовал по ним. 4 августа Григорий Александрович с большой радостью писал: «Матушка родная, всемилостивейшая государыня! Слава Богу, prelimинары, предписанные при отъезде моем, утверждены. Я 7-го числа буду в Галаце и постараюсь кончить все скорей положенного сроку».

Итак, согласно уверениям Репнина, он действовал в соответствии со старыми инструкциями князя. Однако был один вопрос, крайне беспокоивший Потемкина. Во время подписания пунктов русский флот находился в море и ничего не знал о перемирии, так же как и турецкий. Репнину следовало дожидаться возвращения Ушакова, прежде чем скреплять предварительный договор подписью, но он этого не сделал. Потемкин еще 1 августа, узнав об успешном развитии диалога с турецкой стороной,

направил Ушакову ордер, приказывая задержать отплытие во избежание лишнего кровопролитного сражения, но гонец опоздал. «Флот до получения моего ордера паки вышел к Румелин Гирей, — писал князь 4 августа. — Я отправил судно „Березень“ с двумя турками объявить постановленное перемирие и желал бы, чтоб скорей достигли которого ни есть флота»^[1791].

Кроме того, выяснилось, что Репнин, поспешив подписать прелиминары, оказал России медвежьей услугу. Он не знал, о чем в Петербурге договорились с англичанами и пруссаками, и согласился на худшие условия. Договор был заключен им в Галаце 31 июля, а донесение о начале переговоров Потемкин получил лишь 1 августа, так что ни одно уведомление князя о результатах консультаций с иностранными министрами не дошло до Репнина к сроку.

Сам факт подписания предварительного договора воодушевил Екатерину, но она не была довольна «негоциацией» Репнина. «Обрадовал ты меня нечаянно прелиминарными пунктами о мире, — писала императрица 12 августа. — Осьмимесячный срок перемирия долог; пожалуй, постарайся кончить скорее, тем паче, что и дворам сказано, и они согласились, если в четыре месяца турки не кончат, тогда их покинут, а нам вольно уже и повесить кондиции... Репнин не знал условия со дворами, туркам помогающими. Другое, дворам сказано, что крепости строить всякому на своей земле есть право всякого государя; итак, постарайся, пожалуй, сие одержать и по трактату: оно же и артикул Кайнарджийского миру, который же турки возстановленным признали»^[1792].

Неожиданная уступчивость Репнина усложнила переговоры по окончательному тексту мирного трактата. В своем письме Екатерина указывала Потемкину на те просчеты подчиненного, которые князь должен был исправить. После смерти светлейшего эту работу завершал Безбородко и был крайне недоволен прелиминарными пунктами. «Князь Репнин или по слабости своей, а более еще по незнанию прямых высочайших намерений, — писал Александр Андреевич, — столь странно вел сию негоциацию, что дал им (туркам. — О. Е.) во всяком пункте чего-нибудь для себя требовать»^[1793]. Что касается действий Потемкина, то ему, по мнению опытного дипломата, несмотря на смертельную болезнь, удалось многое поправить. «На попытку турок говорить, что визирь будто бы в великой опасности и что султан его поступки не опробовал, князь им дал окрик, сказав, что в их воле разорвать положение, но с той минуты уже кондиции нет. После прислал визирь другого чиновника»^[1794]. Переговоры

продолжались в нужном для России русле.

Создается впечатление, что Репнин специально спешил подписать предварительный мирный договор до приезда Потемкина, чем диктовались его уступчивость и равнодушие к судьбе флота. Николай Васильевич был опытным дипломатом и прекрасно понимал, какую возможность для укрепления партии наследника престола, а также для его собственной карьеры предоставляет звание миротворца. Стоило ему подождать один день, и он получил бы на переговорах неотразимый козырь. 31 июля эскадра Ушакова настигла турецкий флот у мыса Калиакри, где неприятель укрылся под защитой береговых батарей. Ушаков сумел отрезать турок от берега и атаковал, победа была полной. Остатки некогда могущественного флота Порты пришли в Константинополь, где при виде разбитых кораблей началась паника и разнесся слух, что грозный Ушак-паша идет к турецкой столице [\[1795\]](#).

После подписания предварительных условий русская сторона уже не могла воспользоваться на переговорах победой Ушакова для подкрепления своих требований. Энгельгардт рассказывал о подписании прелиминаров: «Светлейший князь приехал после сего через три дня, и очень ему было досадно, что князь Репнин поспешил заключить мир; он выговаривал ему при многих, сказав: „Вам должно было бы узнать, в каком положении наш Черноморский флот, и о экспедиции генерала Гудовича; дождавшись донесений их и узнав от оных, что вице-адмирал Ушаков разбил неприятельский флот и что его выстрелы были слышны в самом Константинополе, а генерал Гудович взял Анапу, тогда бы вы смогли сделать несравненно выгоднейшие условия“. Это действительно было справедливо. Хотя князь Репнин слыл за государственного человека и любящего свое отечество, но в сем случае предпочел личное свое любочестие пользе государственной, не имев иной побудительной причины поспешить заключить мир, кроме того, чтоб его окончить до приезда светлейшего князя» [\[1796\]](#).

Энгельгардт был очевидцем объяснения с Репниным, и его описанию следует верить. О том, как разговор князя с мачинским героем передавался при дворе, можно судить по запискам Ш. Массона. «„Как, — сказал он (Потемкин. — О. Е.) ему, — будучи ничтожным учеником Мартэна (Репнин был ревностным апостолом мартинизма), осмелился ты в мое отсутствие предпринять такие действия? Кто приказывал тебе так поступать?“ Репнин возмущенный, наконец, подобным обращением и расхрабравшийся от своих успехов, посмел на этот раз выказать твердость. „Я служил своей

родине, — сказал он, — моя жизнь, не в твоей власти, а ты — дьявол, которого я больше не боюсь“. Сказав эти слова, он вышел в бешенстве, захлопнув дверь перед носом Потемкина, который следовал за ним с поднятыми кулаками. Еще немного, и два героя России вцепились бы друг другу в волосы»^[1797]. Ничего подобного, судя по запискам Энгельгардта, не происходило. Репнин получил выговор, но князь сделал его в максимально корректной форме.

Масла в огонь подливали и члены партии наследника, выставившие Репнина спасителем Отечества. Прекрасно чувствующий изменение политической конъюнктуры Державин разразился одой «Памятник герою», прославлявшей Мачинское дело. Благо «ласкать» Репнина Зубов поэту не запрещал. «Князь Репнин был секты масонов и так называемых мартинистов, — писал Гаврила Романович в примечаниях к своим сочинениям, — который, притворяясь, что из единственной любви к Отечеству не выходит из службы и сносил все неуважения, оказываемые ему князем Потемкиным, то и имел на своей стороне всех масонов и их приверженцев, которых тогда было великое множество, особливо в Москве; а потому ода сия вообще и особливо их партией принята очень хорошо; для чего она и переведена на все европейские языки и напечатана разными чернилами, то есть красными, синими и какими можно, в досаду князю Потемкину»^[1798].

Прощание

15 августа из Галаца Потемкин написал Екатерине о начале переговоров с драгоманом великого визиря и впервые всерьез пожаловался на свою болезнь: «Я болен крайне, и ежели обратится моя лихорадка в гнилую горячку, что здесь обыкновенно, то уже не в силах буду выдержать. Принц Виртимбергский скончался, и я, на выносе его будучи, занемог... Место тут нездорово, так что почти все люди перенемогли»^[1799].

Принц Карл Виртимбергский скончался в Галаце 11 августа. После отпевания покойного Потемкин вышел из церкви в глубокой задумчивости, кликнули его карету, но вместо нее к крыльцу по ошибке подъехали гробовые дроги^[1800]. Это происшествие произвело на князя тягостное впечатление и укрепило его в мрачных предчувствиях, появившихся еще в Петербурге. «Непонятно от чего пришло ему в мысль странное воображение, — писал Самойлов, сопровождавший дядю в столицу, — что

он доживает свой век... Чтоб рассеять мысль о близкой кончине, он вымышлял заниматься увеселениями, но сие, равно как и занятие делами государственными, не уничтожало в князе Григории Александровиче скучных предчувствий и погружало его нередко в задумчивость неразвлекаемую»^[1801].

Перед отъездом из Петербурга Потемкин приехал проститься со своей давней подругой Натальей Кирилловной Загряжской, дочерью гетмана Разумовского. Они были душевно близки, и обеспокоенная его судьбой дама сказала: «Ты не поверишь, как я о тебе грущу... Не знаю, куда мне будет тебя девать... Ты моложе государыни, ты ее переживешь; что тогда из тебя будет? Я знаю тебя как свои руки: ты никогда не согласишься быть вторым человеком». Князь задумался и сказал: «Не беспокойся: я умру прежде государыни; я умру скоро». «Уж я больше его не видала»^[1802], — заключала свой рассказ А. С. Пушкину старуха Загряжская. Все мемуаристы, писавшие о предчувствиях Потемкина, отмечают не тоску и страх, а задумчивость и грустное спокойствие князя. Он вел себя так, точно доделывал важную работу, не закончив которой, не мог уйти.

Поразительно, что при такой глубокой внутренней уверенности в своей скорой смерти Потемкин начал переговоры с твердостью и изворотливостью. Почувствовав неуступчивость турок, князь сделал вид, что собирается уехать, но перебрался лишь из Галаца в Яссы, куда за ним последовали турецкие чиновники. Испуганный возможностью разрыва визирь изменил тон, просил извинений, согласился признать требования русской стороны, прислал новых полномочных представителей и сообщил о решении казнить драгомана, виновного якобы в неверной трактовке его приказаний, но Потемкин просил о помиловании турецкого дипломата^[1803].

Между тем Григорию Александровичу становилось хуже. «Я во власти Божией, но дело Ваше не потерпит остановки до последней минуты. Не беспокойтесь обо мне»^[1804], — писал он Екатерине 6 сентября.

Могла ли императрица не беспокоиться? Ее ответное письмо от 28 августа полетело на Юг в тот же день, когда были получены известия от Потемкина. Такая поспешность со стороны корреспондентки была в последнее время редкостью. Она одобряла все действия Потемкина на переговорах, но казалось, не могла ни о чем думать, кроме его болезни, и буквально через строку возвращалась к этой мысли. «Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович, — говорила Екатерина, — письма твои от 15 августа до моих рук доставлены, из коих усмотрела пересылки твои с визирем, ...но о чем я всекрайне сожалею и что меня же столько беспокоит,

есть твоя болезнь, и что ты ко мне о том пишешь, что не в силах себя чувствуешь оной выдержать. Я Бога прошу, чтоб он от тебя отвратил сию скорбь, а меня избавил от такого удара, о котором и думать не могу без крайнего огорчения. О разогнании турецкого флота здесь узнали с великою радостью, но у меня все твоя болезнь на уме... Прикажи ко мне писать кому почаше о себе. Означение полномочных усмотрела из твоего письма, все это хорошо, а худо то только, что ты болен. Молю Бога о твоём выздоровлении»^[1805].

Императрица была явно испугана. 29 августа, то есть на следующий день после получения известий о болезни князя, Храповицкий отмечал в записках: «Ездили в Невский монастырь ко всенощной; дано в церковь большое серебряное паникадило, к раке св. Александра Невского золотая лампада, сверх того сосуды золотые с антиками и брильянтами»^[1806]. Обращают на себя внимание не только время поездки и особое богатство вклада, но и тот факт, что Екатерина решила пожертвовать столь любимые ею антики. Камер-фурьерский журнал показывает, что во все последующие дни в дворцовой церкви не прекращались богослужения^[1807].

Что же заставляло императрицу так бояться за судьбу князя? Потемкин болел часто: кочевая жизнь, постоянное перенапряжение сил, рецидивирующая лихорадка исподволь подтачивали его могучее здоровье. Дважды: в 1783 и 1787 годах — он находился на краю могилы. В начале войны, когда смерть подкралась совсем близко, Григорий Александрович писал Екатерине куда менее сдержанные письма. Императрица беспокоилась за него до приступов бессонницы, но все же была далека от поездок по монастырям и богатым вкладов. Почему же именно в конце лета 1791 года Екатерина оказалась так встревожена?

Возможно, она знала о предчувствиях князя. Уже после смерти Потемкина императрица писала Гримму: «С летами и опытом он исправился от многих своих недостатков. Три месяца тому назад, когда он приехал сюда, я говорила генералу Зубову, что меня пугает эта перемена и что я не вижу в нем его прежних недостатков, и вот, к несчастью, мои опасения оказались пророчеством»^[1808]. Однако Екатерина не была ни мнительна, ни суеверна. В письмах к Потемкину она не раз потешалась над невежеством турок, рассказывавших о чудесах и видениях в осажденных русскими войсками городах, а ее послания к Гримму полны колких замечаний по поводу мистических настроений Фридриха-Вильгельма И. Для того чтобы испугать императрицу, нужна была реальная угроза.

После смерти князя в армии распространились слухи о его

отравлении. Убийцами называли Зубовых^[1809]. В появлениях такой версии нет ничего необычного, так как подобные легенды часто сопровождают уход из жизни крупных исторических деятелей^[1810]. В конце лета — начале осени Потемкин действительно страдал от сильного приступа лихорадки. Однако не следует забывать, что годом раньше Екатерина прямо предупреждала своего корреспондента о возможной попытке берлинских политиков отравить его. Признание же Платона Зубова, сделанное через 30 лет после смерти князя, о том, что молодому фавориту необходимо было устранить Потемкина со своего пути, выглядит очень двусмысленно. Нежелание светлейшего князя принимать во время болезни лекарства может быть истолковано и как недоверие к окружавшим Потемкина врачам^[1811].

С середины сентября собственноручные письма Григория Александровича становятся все короче и редко превышают одну страницу. Князь извиняется, что вынужден диктовать важные документы с описанием переговоров секретарю. «Ей-богу, не смогу написать, так голова слаба, — жаловался он 16 сентября. — Такого году никогда не бывало. Все немогут. Дом мой похож на лазарет»^[1812]. 21 сентября Григорий Александрович был уже не в силах написать более пяти строк, почерк его резко ухудшился, а вместо подписи рука машинально вывела кривую линию^[1813].

30 сентября, поздравляя Григория Александровича с именинами, Екатерина писала: «Христа ради, ежели нужно, прими, что тебе облегчение, по разсуждению докторов, дать может; да приняв, прошу уже и беречь от пищи и питья, лекарству противных». Откуда императрица знала, что Потемкин избегает предписанных докторами лекарств? Из ставки ей сообщал о самочувствии князя Попов^[1814], но, возможно, были и другие лица, информировавшие Екатерину. «Платон Александрович... весьма тужит о твоём состоянии»^[1815], — замечала императрица. В этот день она послала князю в подарок «шубейку», которую ему не суждено было получить.

Потемкин сознательно готовился к смерти. В Яссах он составил «Канон Спасителю», который впоследствии был найден в бумагах Самойлова и опубликован П. И. Бартеневым. Перед тем как поместить «Канон» в печать, издатель — человек верующий — показал его «некоторым духовным лицам», чтобы узнать, «не встретится ли чего... противного церковному обычаю», и получил благословение на публикацию. Канон состоял из девяти песен, или ирмосов. «Само собой разумеется, — замечал Бартенев, — что в „Каноне“ много взято из общих

церковных молитвословий». Они сами собой ложились на язык князю, отливая его скорбь и надежду в знакомые с детства слова.

Однако многое в «Каноне» — собственное, потемкинское, выражающее его личные страдания и покаяние. Это очень красивое песнопение, по которому можно судить об одаренности князя в такой сложной области, как литургика. Но еще важнее то непосредственное живое чувство, с которым написан текст.

«...Проснися, душа моя, от сердечного твоего ожесточения. Се уже при дверех Жених! Где твой светильник? Угас! Бежи возжечь его! Но дверь между тем затворяется, и ты лишаешься брачных вечери. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Виждь, Господи, смирение мое, виждь сокрушение сердца моего! У Тебя единого очищение, у Тебя избавление есть. Помилуй недостойное Твое создание и не допусти до пагубы душу мою...

...Приими слез моих пролитие за вину грехов моих. Се Тебе приносится, Спасителю Мой, вместо мира многоценного, излитаго грешницею на пречистыя ноги Твои. Едино слово Твое довольно было к очищению грехов ея; рцы ж и Ты душе моей: Спасение твое есмь Аз. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

...Се стоит пред Тобою, Владыко, прах создания Твоего; се страждет душа его; суди Ты ее, Избавитель. Аз согреших пред Тобою, яко человек, но не воздох руки моя к иному Богу, яко Ты един еси свят и праведен...

...Не постыди меня, Боже мой, в день Страшного суда Твоего перед ангелы твоими. Вем, что тамо дела мои меня избличат, отошлют в тьму кромешную, но за веру твердую мою к Тебе, Господи, ожидаю милосердия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Не устрашает меня столько пламень муки вечная, не ужасает меня червь оный неусыпающий и скрежет зубов, сколько трепещет дух мой и мучится совесть моя о лишении благодати Твоея, Господи...

Страшусь, Господи, призвати Тебя в храм души моя; но, видя Твое снисхождение над грешниками, с коими Ты не возгнушался совечеряти в дому Симона Прокаженного, отверзая душу и сердце мое, прошу, яко оный Евангельский муж, единого слова Твоего к избавлению моему, и хотя не есмь достоин, но Ты един властен освятить и очистить мя, да под кров внидеши души моя...

Страшно впасти в руки Бога живаго; но нет отчаяния в милосердии Его. Сам велишь Апостолу Своему прощати вину семь раз седмицею. Како же от самого Бога истинного милосердия не ожидать! Верно слово: идеже умножится грех, тамо преизобилует Божия благодать. Помилуй мя,

Боже, помилуй мя!

...В сем мире подвержена скорби и болезни жизнь моя, а в будущем, не вем еще, что обрящу по делом моим...

Верую, Господи, что уготовано от Тебя праведному и грешному, но от первого пути далече совратихся, а последнему всегда предшествую; яко человек хочу взойти на истинный путь, но житейское попечение оный заграждает. Кий суд будет мне, зачатоу во гресех, и кто пощадит душу мою, аще не Ты, Спаситель мой?»^[1816]

Эти слова прекрасно отражают состояние человека, пребывавшего на пороге смерти одновременно в страхе и надежде. Душа князя трепетала гнева Божия и уповала на Его милосердие.

25 сентября Потемкин уже не смог сам написать Екатерине и продиктовал несколько строчек Попову^[1817]. Перед смертью Григорий Александрович жалел об одном: «Матушка родная, жизнь, мне больше тяжело, что тебя не вижу»^[1818]. Приближенные князя свидетельствовали, что в Яссах он чувствовал себя еще хуже, чем в Галаце. То переезжал в деревню, то возвращался, словно не находя себе места, и, наконец, приказал собираться в Николаев^[1819]. 4 октября Потемкин продиктовал Попову свое последнее письмо к Екатерине: «Матушка, всемилостивейшая государыня, нет сил более переносить мои мучения, одно спасение остается — оставить сей город, и я велел себя вести к Николаеву. Не знаю, что будет со мною». После слов «вернейший и благодарнейший подданный» секретарь оставил место для подписи, но вместо нее князь вывел нетвердой рукой: «одно спасение — уехать»^[1820].

Это письмо было получено Екатериной уже после смерти Потемкина 5 октября. Последние часы светлейшего описал С. Н. Глинка со слов своего дяди Гр. Б. Глинки, служившего при князе и бывшего очевидцем его кончины. «Прощаясь с Поповым, он так крепко стиснул ему голову, что любимец невольно вскрикнул. Князь улыбнулся, а Попов с восторгом рассказывал, „что еще есть надежда, что у князя еще не пропала сила“. В числе провожатых была племянница его графиня Браницкая. Проехав верст шестнадцать, остановились на ночлег. В хате Григорию Александровичу стало душно. Нетерпеливою рукою стал он вырывать оконные пузыри, заменявшие в тамошних местах стекла. Племянница уговаривала, унимала, дядя продолжал свое дело, ворча сквозь зубы:

— Не сердите меня!

На другой день пустились в Яссы, проехали верст шесть. Потемкину сделалось дурно, остановились, снова поднялись и снова поворотили на

прежнее место. Смерть была уже в груди князя Таврического. Он приказал высадить себя из кареты. Графиня удерживала его. Он говорил по-прежнему: „Не сердите меня!“ Разложили пуховик и уложили князя. Он прижал к персям своим образ, осенился крестом, сказал: „Господи, в руке твои предаю дух мой!“ И вздохнул в последний раз»^[1821].

Оправившись после первого удара, свита стала искать серебряные монеты, чтобы остудить покойному глаза, но оказалось, что в спешке никто не взял с собой денег, тогда солдат, стоявший рядом, протянул два простых медных пятака, которые и положили на глаза фельдмаршала. Быть может, лучшим признанием заслуг Потемкина стали слова старых отставных гренадер, сказанные в обычном разговоре проезжему офицеру: «Покойный его светлость был нам отец, облегчил нашу службу, довольствовал нас всеми потребностями; словом сказать, мы были избалованные его дети; не будем уже мы иметь подобного ему командира; дай Бог ему вечную память!»^[1822]

Известие о смерти Потемкина достигло Петербурга вечером 12 октября. Был прерван начавшийся было в Эрмитаже бал, и тотчас собрался Государственный совет, заседание которого продолжалось и на следующее утро^[1823]. Безбородко сам вызвался ехать в Молдавию для продолжения переговоров^[1824]. Ситуация складывалась опасная: смерть Потемкина произвела огромное впечатление в Европе и Турции. Всколыхнулась новая волна антирусских настроений, словно исчезло главное препятствие на пути у сторонников военного конфликта. Английский парламент прервал свои заседания, а верховный визирь Юсуф-паша, недавно униженно извинявшийся перед светлейшим князем, предложил султану Селиму III разорвать мирные условия и вновь начать войну^[1825]. Этот поступок визиря показывает, как недорого стоили в глазах Порты прелиминарные пункты, подписанные Репниным и какова была цена простого, не подкрепленного никакими официальными документами, слова Потемкина. Приехавший в Яссы Безбородко столкнулся с огромными дипломатическими трудностями, возникшими не в последнюю очередь из-за того, что его влияние на турецкую сторону было далеко не равным политическому весу предшественника.

Императрица была поражена тяжелым ударом. 12 октября Храповицкий записал: «Слезы и отчаяние. В 8 часов пустили кровь». Ночь она провела без сна и около двух часов утра села за письмо к Гримму: «Снова страшный удар разразился над моей головой. После обеда, часов в шесть курьер привез горестное известие, что мой воспитанник, мой друг,

можно сказать мой идол, князь Потемкин-Таврический скончался в Молдавии от болезни, продолжавшейся целый месяц. Вы не можете себе представить, как я огорчена. С прекрасным сердцем он соединял необыкновенно верное понимание вещей и редкое развитие ума. Виды его всегда были широки и возвышенны. Он был чрезвычайно человеколюбив, очень сведущ, удивительно любезен, а в голове его непрерывно возникали новые мысли. Никогда человек не обладал в такой степени, как он, даром остроумия и умения сказать словцо кстати. Его военные способности поразительно обрисовались в эту войну, потому что он ни разу не оплошал ни на море, ни на суше. Никто менее его не поддавался чужому влиянию, а сам он умел удивительно управлять другими. Одним словом, он был государственный человек как в совете, так и в исполнении. Он страстно, ревностно был предан мне: бранился и сердился, когда полагал, что дело было сделано не так, как следовало... Но в нем было еще одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей: у него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, Потемкин был великий человек, который не выполнил и половины того, что в состоянии был сделать»^[1826].

Весь следующий день императрица провела в своих покоях, никого не желая видеть. «Жаловались, что не успевают приготовить людей: теперь не на кого опереться, — записал ее слова Храповицкий. — Как можно мне Потемкина заменить? ...Все будет не то. Он настоящий был дворянин, умный человек, меня не продавал; его не можно было купить»^[1827]. 22 октября в письме к Гримму Екатерина призналась: «Теперь все бремя на мне: помолитесь за меня»^[1828]. Через несколько месяцев она вернулась к той же мысли: «Заменить его невозможно, потому что надо родиться таким человеком как он, а конец этого столетия как-то вовсе не предвещает гениев. Не теряю надежды, что будут, по крайней мере, умные люди, но надо время, старание, опытность»^[1829].

«Записки» Храповицкого показывают, что человеком, получившим немедленную и очевидную выгоду от смерти светлейшего князя, был Платон Зубов. Уже 17 октября он велел все пакеты с бумагами, направляемыми на подписание императрице, присылать к себе, а на следующий день «ходил докладывать по бумагам из Безбородкиной канцелярии и послал генерал-прокурору письмо для сведения, что поручены ему все дела графа Безбородко»^[1830]. Вернувшись в столицу после заключения мира, Александр Андреевич оказался не у дел^[1831].

Такой переход власти из рук опытного сановника к «дуралею Зубову» был просто невозможен при жизни Потемкина, который, как видно из писем Безбородко к друзьям и родным, всегда умел защитить старого дипломата от завистников.

Погребение светлейшего князя состоялось в Херсоне 13 октября. Подробное описание траурной залы, где на амвоне для прощания было положено тело покойного^[1832], вступает в удивительную переключку с одной из ранних записок Екатерины к своему любимцу, возникшей в первые месяцы их романа. «Я во сне гуляла по саду, — рассказывала женщина, — да приснилось мне, что хожу по каким-то палатам; тут я нашла амбон, на котором не стоял, но лежал прекрасный человек, ...сей человек ко мне был ласков и благодарил за мой приход, и мы с ним разговаривали о посторонних делах несколько времени; потом я ушла и проснулась. Знатный это был сон, как рак по спине ползет. А теперь я везде ищу того красавца... Может статься, что встретишься с ним, если, встав с постели, обратишься направо и на стену взглянешь»^[1833]. Этой запиской, в которой веселое лукавство влюбленной императрицы смешено с простонародными святочными историями о суженом-мертвеце, мы хотели бы закончить наш рассказ о Екатерине и Потемкине. В один миг перед императрицей точно раздвинулась завеса времени, и она увидела конец того пути, на который она еще только вступала рука об руку со своим возлюбленным, другом и сподвижником.

«ВОДОПАД»

Державин извинился перед памятью светлейшего князя одой «Водопад». «Всех чаще и охотнее он пел Суворова, — писал о поэте В. Г. Белинский, — это был его любимый герой; но лучше всех воспел он Потемкина»^[1834]. Вслушаемся в гремучий перекат державинских строк, взглянемся в фантастические картины, нарисованные его пером. В них дышит нечто мистическое:

Но кто там идет по холмам,
Глядясь, как месяц, в воды черны?
Чья тень спешит по облакам
В воздушные жилища горны?
На темном взоре и челе
Сидит глубока дума в мгле!

.....

Чей труп, как на распутье мгла,
Лежит на темном лоне ночи?
Простое рубище чресла,
Два лепта покрывают очи,

.....

Чей одр — земля; кров — воздух синь;
Чертоги — вокруг пустыньны виды?
Не ты ли счастья, славы сын,
Великолепный князь Тавриды?

Поразительно, но стихи на смерть первого вельможи империи попали в печать только через семь лет, в 1798 году, а до этого ходили в списках. Вспомним услужливую расторопность, с которой была опубликована и переведена на европейские языки ода в честь победы Н. В. Репнина при Мачине. Потемкин подобной чести не удостоился. Его кончина не только не примирила, а как будто еще больше ожесточила противников князя.

Державин в поэтическом порыве позволил себе то, на что никогда не решался в обычной жизни, — открыто выразил презрение к Зубову:

Алцибиадов прах! — И смеет

Червь ползать вокруг его главы?
Взять шлем Ахиллов не робеет,
Нашедши в поле, Фирс? — увы!

Потемкин уподоблен древнегреческим героям Ахиллу и Алкивиаду (Алцибиаду), а молодой фаворит — трусливому Терситу (Фирсу), осмелившемуся поднять оружие великого воина. Когда-то князь не обиделся на несколько насмешливых строф в «Фелице». Зубову хватило двух строчек, чтобы «Водопад» остался в столе. Подобно оде, под цензорским сукном была похоронена первая биография Григория Александровича, написанная Л. И. Сичкаревым, никогда не увидела свет «Повесть о Гардарике»...

Принято считать, что гонения на имя Потемкина начал Павел I. Он истреблял все, хоть сколько-нибудь напоминавшее о светлейшем князе. Однако уже в последние годы царствования Екатерины тихо, исподволь, слава покойного «наперсника Северной Минервы» подвергалась нападкам, его дела старались замолчать, а самого представить неким чудовищем, похитившим власть добродетельной монархини.

Отрицание Потемкина — тот пьедестал, на котором основали свое влияние новые хозяева жизни — Зубовы и Салтыковы. Они неловко чувствовали себя даже рядом с его исполинской тенью. Екатерина, сколь бы ни нуждалась в поддержке — государственной и чисто человеческой, — не могла не замечать бьющего в глаза несоответствия между Ахиллом и Фирсом, между мертвым львом и живой собакой. А потому о Потемкине следовало как можно скорее забыть.

Недаром светлейшего князя решено было хоронить не в Петербурге, а на Юге, в Херсоне. Человек, присоединивший южные земли, покоился в их сердце — городе, который тогда считали древним Херсонесом Таврическим. Однако по заслугам перед Россией и по той роли, которую Потемкин играл в управлении страной, князь должен был обрести последнее пристанище в одной из столиц. Его тело следовало доставить на Север хотя бы для прощания государыни. Даже несовершенные способы бальзамировки того времени это позволяли. Кажется удивительным, но Екатерина так и не сказала своему «*chezЕроих*» последнего «прости».

13 октября преосвященный Амвросий (в миру Авраам Серебряков), епископ Екатеринославский, местоблюститель Молдаво-Влахийской епархии и духовник князя, отпел тело покойного в Ясском монастыре Голий. Через три дня Попов писал Безбородко: «Храбрые воины почтили

начальника своего плачем»^[1835]. Гроб выносили генерал М. И. Кутузов, А. П. Тормасов, В. Х. Дерфельден, О. М. де Рибас, казачьи атаманы М. И. Платов, В. П. Орлов, И. И. Исаев, З. Г. Чепега, генералы П. С. Потемкин, А. Н. Самойлов, В. В. Энгельгардт, С. Ф. Голицын. Слезы не позволили Амвросию произнести надгробное слово, он несколько раз начинал говорить и останавливался, поскольку его душили рыдания. Лишь на сороковой день преосвященный, взяв себя в руки, сумел произнести речь о Потемкине:

«Представьте в мыслях ваших обращающегося его между нами. Представьте стоящего в сем храме Божиим, на сем самом месте, где имел он обыкновение стоять. ...Какая сановитость и величие во всем виде! Какая быстрота взора! Какая живость в обращениях! Какая приятность и вкупе важность в беседе! ...Великая душа в малом и безобразном теле подобна исполину, сидящему в тесной хижине. При первом воззрении рождается тайное некое сожаление, для чего внутреннему человеку не подобен внешний? Напротив того, сугубое чувствуем удовольствие, когда отличная душа с отличным [телом] и благообразием сопряжена. Таков был и наш герой. ...Мужествен, но всегда человеколюбив и сострадателен. Сколь ни мал являлся урон в победах, он прежде сражения испытывал все возможные способы приобретения побед без крови. Советовал, угрожал, устрашал, засвидетельствовал, что сами они (враги. — О. Е.) дадут ответ в тех жертвах, которые раздраженное наше воинство принесет гневу своему. Следовательно, тем выше он мнимых героев, приобретающих лавры свои пожертвованием многих тысячей подобных себе людей и в том только единственно поставляющих славу свою, чтоб победить. Нет! Доблестник наш всегда далек был от сего варварского тщеславия. Каждый воин был для него человек, соотечественник, христианин, ближний и по единоверию брат».

Преосвященный приводил слова Потемкина, сказанные после штурма Очакова, когда до него из-за стен доносились стоны раненых турок: «Было время бить. Время теперь щадить».

«Будучи вознесен на высочайшую степень чести, не тщеславился. Исчисляя других заслуги, о своих молчал и, если слышал исчисления, стыдился, — продолжал Амвросий. — ...Я желал бы, чтобы все высокие пред людьми столько были смиренны, как он пред Богом. Видя предстоящего его здесь с наполненными слез очами, видя в последние дни жизни его с таковым же чувством не единожды приобщающегося, напоследок видя его молитвенные обращения ко Спасителю и исполненные набожности лобызания икон его, едва мог я воздержаться, чтоб не

растворить его слезы моими...

Воззрите на сей Священный чин, воззрите на меня. Все то, что вы видите, видели и будете здесь видеть, все его есть благочестивая щедрота. Она простерлась бы и далее, но смерть... жестокая смерть заключила десницу его».

Выдержанная в тоне панегирика — похвалы покойному — речь тем не менее опиралась на реальные факты из жизни Потемкина и живописала присущие ему черты характера — личную храбрость, набожность, добросердечие, щедрость... Утешая собравшихся тем, что князь ушел к Отцу Небесному, где его уже не могут достать ни зависть, ни клевета, Амвросий произнес неожиданные слова: «Еще год, еще два, может быть, не столь чувствительно было бы нам падение его, не столько горестна смерть его. Но кто весть тайну слабостей наших? ...Может быть, и с ним что-либо случилось бы, опечалующее нас. Того ради преставлен бысть».

На что намекал преосвященный, видя Божий промысел в том, что Григорий Александрович ушел именно сейчас, а не годом-двумя позже? Что могло приключиться с ним печальнее смерти? Опала и устранение от государственных дел, низвержение с вершины власти в политическое небытие, которого натура князя не перенесла бы.

Многие считали, что, доживи светлейший до воцарения Павла, и ему не избежать суда. Однако стоило ли ждать нового императора? Вот уже около года распространялись слухи о немилости Екатерины, об усилении противников Потемкина. Державин сам пояснял, что его строки: «Ослабли силы, буря вдруг *Копье из рук моих схватила*; Хотя и бодр еще мой дух, / Судьба побед меня лишила», — относятся к тому холодному приему, который Потемкин якобы встретил в Петербурге у императрицы.

Падения «общего врага» ждали с часу на час. Впрочем, его также ждали в 1776-м, и в 1783-м, и в 1785-м, и перед поездкой Екатерины в Крым в 1787-м, и несколькими месяцами позже, после потери Севастопольской эскадры, и в 1788 году во время осады Очакова... Всякий раз близкие Потемкина, по словам Сегюра, «пребывали в отчаянии», считая, что своей несговорчивостью и упрямством Григорий Александрович «губит себя». Но светлейший неизменно одерживал верх над неприятелями.

На него рано или поздно ополчался почти каждый фаворит, некогда единым фронтом выступили Орловы и Панины. Всех их Потемкин превозмог. Почему Зубов должен был стать исключением? Да, молодому карьеристу удалось укрепиться в отсутствие князя и подогреть раздражение Екатерины. Но в 1791 году неудовольствие императрицы объяснялось

крайним напряжением сил и продолжающейся войной. Однако вернись Потемкин из Ясс миротворцем, его позиции несказанно усилились бы. Тогда он мог диктовать свою волю.

И Зубов, и Салтыков это прекрасно понимали. Печальные примеры прежних «случайных вельмож» были у них перед глазами. В сущности, спасти нового фаворита от судьбы Корсакова или Ермолова могла только смерть светлейшего. И она последовала. Как нельзя кстати.

Воспроизведенная нами логика заставляла современников повторять слухи об отравлении князя. Доказательств им нет. За исключением, быть может, косвенных. Многие мемуаристы свидетельствовали, что Потемкин во время болезни отказывался принимать лекарства. Такое поведение объясняли капризом. Но, возможно, он подозревал неладное и опасался вместе с лекарством от лихорадки проглотить отраву. Хинин обладает характерным вкусом и запахом, забивающим остальные ощущения. На его фоне в питье нетрудно было подсыпать яд.

В отделе рукописей Российской национальной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Петербурге хранится дело «Об отравлении генерал-фельдмаршала князя Потемкина». В нем всего одна страница с записью: «Фельдмаршал Потемкин был отравлен по приказанию Екатерины II доктором Тиман, при нем находившимся в Яссах; доктор получил хорошую пенсию и отправлен за границу. Я знал этого доктора. Семен Рерберг»^[1836]. Эта запись — копия с неизвестного документа — была сделана историком В. А. Бильбасовым, когда он собирал материал для биографии Екатерины II. Иван Карлович Тиман вместе с французским хирургом Массо находился при Потемкине в последние дни его жизни. Оба врача служили в русской армии в годы второй войны с Турцией. Вопреки приведенным сведениям, Тиман не покинул Россию, а продолжал практиковать и даже стал лейб-медиком.

Говорить о достоверности приведенного свидетельства невозможно, не имея серьезных доказательств. Однако сам документ подтверждает циркуляцию тревожных слухов. О них же писал и А. М. Тургенев: «Лучше было бы, когда бы князь не объявлял намерения своего „вырвать зуб“. Князь приехал в Петербург, и, как все утверждают, ему был дан медленно-умерщвляющий яд. Банкир Сутерланд, обедавший с князем вдвоем в день отъезда, умер в Петербурге в тот же день, тот же час, и чувствуя такую же тоску, как князь Потемкин чувствовал, умирая на плаще среди степи»^[1837]. На самом деле придворный банкир Р. Сутерланд скончался за день до Григория Александровича. Но люди уже из уст в уста повторяли: отравлен.

Подобные разговоры сами по себе свидетельствуют о том, какое высокое место Потемкин занимал в сознании современников — обычно истории о тайном убийстве возникают после смерти августейшей особы. Такими слухами сопровождался уход из жизни Петра Великого и Карла XII, Александра I и Наполеона, Николая I и диктаторов XX века. Есть мотив политического убийства и у Державина, но он выражен слишком открыто, чтобы быть намеком на реальные события:

Падут, — и вождь непобедимый,
В Сенате Цезарь средь похвал,
В тот миг, желал как диадимы,
Закрыв лицо плащом, упал;
Исчезли замыслы, надежды,
Сомкнулись алчны к трону вежды.

В этих строках слышится ясная реминисценция с обвинениями Потемкина в посягательстве на царскую власть. Подобные слухи сопровождали князя на протяжении последних семнадцати лет, теперь они разбились, как волны об утес, об известие о смерти светлейшего. Некому стало устремлять к трону «алчны вежды».

20 ноября преосвященный Моисей (в миру Михаил Гумилевский), архиепископ Феодосийский и Мариупольский, настоятель походной церкви Потемкина, отслужил по покойному литургию и панихиду в Николаеве. 22-го траурный кортеж прибыл в Херсон, а на следующий день светлейший князь был погребен в склепе собора Святой Екатерины. Казалось, теперь его вечный сон уже не потревожит ни время, ни людская злоба.

Он спал — и чудотворный сон
Мечты ему являл геройски:
Казалось ему, что он
Непобедимы водит войски;
.....
Что, как румяный луч зари,
Страну его покрыла слава;
Чужие вожди и цари,
Своя владычица, держава,
И все везде его почли,
Триумфами превознесли.

Но это было только иллюзией. Зависть, которая еще недавно «от его сиянья свой бледный потупляла взор», перестала таиться и заговорила открыто.

Он спит — и в сих мечтах веселых
Внимает завыванье псов...

В «Повести о Гардарике, князе Цимбрском» Л. И. Сичкарев писал: «Лишь только молва о смерти его коснулась слуха невежд, уже они толпами стекаются по площадям, уже несказанная радость видна на лицах их при словах: „он умер“. Сердце их отрыгает злобу и язык клеветами изощряется. „Он умер, — говорят они, — и вся слава его с ним исчезла. Не добродетелями, но счастьем, ему благоприятствующим, стяжал он себе величие; успехи оружия надули сердце его гордынею и презрением ко всем людям; его тщеславие сделало народ... ненавистным всему свету; он был честолюбив до ненасытности, высокомерен до безмерности; он ухищрениями приобрел великую власть и похитил чужую славу; он утопал в роскоши, забавах и сладострастии... Он только родственников и любимцев своих выводил в знатные чины и поручал им в управление важные государственные должности“». Возражения: «52 года был добродетелен, сряду 30 лет был полезен Отечеству, 20 лет был исполнителем великих намерений... Стрелы ваши не умертвят его, бессмертен бо есть»^[1838], — тонут в гуле клеветы.

Действительно, отзывы на смерть Потемкина очень различны. Шок, который императрица испытала при кончине светлейшего, был глубоким. Потрясение сильным. Обычно приводится державинская строка: «Екатерина возрыдала». Однако в оде есть более сильный образ:

Он зрит одету в ризы черны
Крылату некую жену,
Власы имевшу распущенны,
Как смертну весть или войну...
.....
На шлеме у нее орел
Сидел с перуном помраченным...

Кто это? Екатерина? Или сама Россия? В обоих случаях «жена» овдовела, а орел поблек. Служивший в архиве Коллегии иностранных дел Н. Н. Бантыш-Каменский писал из Москвы князю А. Б. Куракину о смерти Потемкина: «В Петербурге и здесь не скоро тому поверили по предрассуждению, будто он больше, нежели смертный». И через месяц: «Многие уже злословить начинают»^[1839].

Известны слова 14-летнего великого князя Александра Павловича: «Теперь одним негодяем будет меньше». Этот отзыв передан Ф. А. Бюлером и подтвержден донесением саксонского посланника. «Столицу как громом поразило неожиданное известие. Однако ж не все в Петербурге сожалели о кончине Потемкина и, конечно, менее всех цесаревич Павел Петрович». Считается, что Александр повторил высказывание отца. Но, вероятно, ученик Массона и сам считал, что «Потемкин был человек зловерный», а потому, любя отечество, должно радоваться его смерти^[1840].

А вот супруга цесаревича Мария Федоровна куда сердечнее откликнулась на случившееся. Ее с Потемкиным связывали теплые, почти дружеские отношения. С театра военных действий князь посылал великой княгине «левантское кофе», акварели с видами Тавриды и другие милые безделушки. «Карьера этого необыкновенного человека была блестящею, — писала Мария Федоровна родителям, — ум и способности его были громадны, и думаю, что трудно, или даже, пожалуй, невозможно начертить его портрет. Он составил счастье многих людей; но общее мнение не было расположено в его пользу. Что касается лично до меня, то я могу лишь хвалить его; он всегда старался поддерживать мои интересы, исполнять мои желания, нравиться мне и обращаться со мною с почтением»^[1841].

Однако Мария Федоровна была исключением в кругу наследника. Друг и наперсник Павла граф Ф. В. Ростопчин, позднее генерал-губернатор Москвы, известный в грозном 1812 году своей нерасторопностью и урапатриотическим бахвальством, писал С. Р. Воронцову: «Здесь все прикидываются печальными; однако никто не скорбит». И далее: «Смерть совершила свой удачный удар. Великий муж исчез; об нем сожалеют... разве только гренадеры его полка, которые лишились привилегии воровать безнаказанно...

Я восхищаюсь тем, что день его смерти положительно известен, тогда как никто не знает времени падения Родосского колосса». Уже в декабре 1791 года Ростопчин замечал: «Чудеснее всего, что он забыт совершенно. Грядущие поколения не благословят его памяти. Он в высшей степени обладал искусством из добра делать зло и внушать к себе ненависть»^[1842].

Благодаря близости к наследнику Ростопчин наиболее ярко отражал настроения, царившие при малом дворе.

Отметим, что и неприятели видели в Потемкине «колосса». Слово, вероятно, было на слуху. «Многие весьма довольны разрушением этого колосса»^[1843], — писал жене в Вену австрийский дипломат граф Эстергази. Московский митрополит Платон в послании архиепископу Амвросию сравнивал смерть светлейшего с падением могучего дерева: «Древо великое пало; был человек необыкновенный. Теперь много обрушится сему центру, куда почти все относилось... Я об нем пожалел от глубины сердца; не только в рассуждении бывшей с ним дружбы, но и в рассуждении союза общественного». Именно этот образ подхватил Державин:

Он слышит: сокрушилась ель,
Станица вранов встрепетала,
Кремнистый холм дал страшну щель,
Гора с богатствами упала...

«Его кончина оставила незаполненную пустоту, — признавал Массой. — ...Это был друг, гений которого не уступал ее (Екатерины. — О. Е.) собственному; на него она смотрела как на опору трона и исполнителя ее обширных проектов... Она привыкла видеть в Потемкине покровителя, благосостояние и слава которого были тесно связаны с ее собственными... Он был не только любовником Екатерины, но и великим правителем России». Не все противники князя были готовы на подобные признания.

Бывший новгородский губернатор Я. Е. Сивере не скрывал своего желчного восторга: «Так его нет более в живых, этого ужасного человека!..Он умер, но каким образом? Естественною ли смертью? Или, быть может, Провидение нашло оружие мести? Или это была молдавская горячка — дар страны, которую он поверг в несчастье и над которою хотел царствовать?»^[1844]

Совсем иной была реакция графа Румянцева. Старый фельдмаршал жил в имении Вишенки под Черниговом, куда и пришло печальное известие. Прочитав бумагу, Петр Александрович разрыдался и преклонил колени перед образами со словами: «Вечная тебе память, князь Григорий Александрович!» Потом, повернувшись к домашним и видя недоумение на их лицах, сказал: «Чему вы удивляетесь? Князь был мне соперником, может быть, и неприятелем, но Россия лишилась великого человека, а Отечество потеряло сына, бессмертного по делам своим»^[1845].

А вот сердце Суворова не могло оттаять долго. Сначала он отозвался на смерть князя философским изречением: «Се человек — образ мирских сует, беги от них мудрый!» Как это далеко от прежних слов: «Он добрый человек, он честный человек, он великий человек... Мое счастье за него умереть». Александр Васильевич прозрел только тогда, когда Н. И. Салтыков и Н. В. Репнин с помощью Зубова оттеснили его от первых должностей в армии. Тогда пришло время вспомнить «батюшку князя Григория Александровича», выдвигавшего и поддерживавшего полководца. 24 ноября 1796 года, в день получения известия о кончине Екатерины, Суворов писал родственнику Д. И. Хвостову: «Среди гонений князя Платона в Херсоне я ходил на гроб князя Григория Александровича Потемкина, помня его одни благодеяния»^[1846].

Волна неприятия нарастала исподволь, по мере того как общество осознавало, что «его нет» и можно порочить покойного безнаказанно. 16 октября Храповицкий отметил в дневнике слова императрицы: «Кто мог подумать, что его переживут Чернышев и другие старики? Да и все теперь, как улитки, станут высовывать головы»^[1847]. Очень точное сравнение. При жизни Потемкин умел держать придворные партии в кулаке. Екатерина понимала, что, оставшись в одиночестве, подвергнется серьезному давлению со стороны различных группировок, которые кинутся на нее, как мыши на сыр.

Ее манифест 14 октября по поводу кончины светлейшего князя не изобличал уверенности. В нем императрица обращалась к «любезно-верным сухопутных и морских сил генералам, офицерам и всему верноподданному воинству», обнадеживала их своей милостью и убеждала «исполнять законы, соблюдать дисциплину, хранить честь русского оружия»^[1848]. При дворе опасались возможных волнений в армии. Потемкин фактически отменил телесные наказания, ввел систему дополнительных заработков для солдат, значительно улучшил питание, его форма пользовалась заслуженным предпочтением — никому не хотелось вновь мерзнуть в треуголке, носить сапоги с перетяжками и подставлять лоб без латунной каски под пули. Недаром автор истории о Пансальвине писал, что простонародье и особенно солдаты видели в главном злодее ангела. Теперь в полках опасались возвращения к старым порядкам и могли с оружием в руках выразить свое несогласие.

Еще любопытнее слухи, будто после смерти Потемкина на Юге мог появиться самозванец под его именем. На первый взгляд они кажутся нелепыми. Но если вспомнить, что как раз в это время готовился план

вступления в Польшу Черноморского казачьего войска, гетманом которого был князь, то логика будет восстановлена. На украинских землях Речи Посполитой зрел мятеж. Местные жители видели в Потемкине главу дружественного казацкого войска, от него ждали не просто помощи, а руководства в войне с поляками. Растревоженная казацкая среда легко порождала самозванцев.

Забегая вперед, расскажем, как дела разворачивались в Польше, где уже после смерти Потемкина был реализован его последний проект. Недовольные конституцией 3 мая 1791 года крупные магнаты и значительная часть шляхты создали Тарговицкую конфедерацию. Во главе ее стояли граф С. Ф. Щенсны-Потоцкий, граф С. Ржеуский и граф Ф. К. Браницкий. Однако эта конфедерация открылась уже за спиной у русских войск, вступивших в Польшу после заключения Ясского мира. Не встретив серьезного сопротивления, они заняли Варшаву и Вильно. Конституция 3 мая была упразднена. «Теперь беру я Украину взамен моих убытков и потери людей»^[1849], — записал 24 февраля 1793 года Храповицкий слова императрицы. Во втором разделе приняла участие и Пруссия, захватившая Данциг и Торн.

Среди всех этих хлопот Екатерина пребывала одна. Она доделывала дела, оставшиеся после князя, но по своей старой поговорке была без него «как без рук». Еще 22 октября 1791 года императрица писала Гримму: «Князь Потемкин своей смертью сыграл со мной злую шутку»^[1850]. В этих словах уже больше раздражения, чем скорби. Однако Екатерина старалась действовать в соответствии с замыслами светлейшего, видя в этом гарантию от нового политического кризиса. Безбородко из Ясс жаловался Александру Воронцову: «Теперь жребий всякого, что никто так не угодит, как покойник, который все один знал и умел»^[1851].

Такое настроение государыни раздражало старых противников Потемкина, считавших, что теперь настал их час. В мае 1792 года Завадовский писал Семену Воронцову о князе: «Его память и теперь с похвалами, и о его имени многое течет, как прежде»^[1852]. Тогда же Ростопчин понял, что обманулся и светлейший не забыт, как того желалось. «Память князя, хотя и ненавистная всем, имеет еще сильное влияние на мнение двора, — писал он Воронцову, — к нему нельзя применить пословицу: „У мертвой змеи не осталось яда“»^[1853]. Последняя фраза перекликается с известной цитатой из Каббалы — «Лучшей змее размозжи голову», хорошо известной в масонских кругах.

Императрица запросила у бывших сотрудников светлейшего

информацию о его предсмертных планах и идеях. Первыми ответили Попов и Фалеев. Вероятно, другим тоже было что сказать. И тут буквально в считанные месяцы смерть коснулась нескольких наиболее осведомленных соратников Потемкина. Мы уже упоминали о Ветошкине — это был человек от политики далекий и не представлявший угрозы, но он постоянно, много беседовал с князем и мог знать кое-что «лишнее». Следом за троюродным братом ушел из жизни Михаил Сергеевич Потемкин. За свою вдумчивость и серьезность он получил от князя прозвище «Святой». Михаил был камергером и генерал-кригскомиссаром, ответственным за снабжение армии. Его смерть выглядит чистой случайностью — в дороге опрокинулась карета и седок разбился.

Следующий, 1792 год принес еще три смерти. Лихорадка унесла Фалеева. Осенью заболел и уже 1 октября скончался преосвященный Амвросий, бывший духовник князя^[1854]. А через несколько дней, узнав о смерти друга, слег и преосвященный Моисей. Утром 6 октября он был найден в своей спальне мертвым, с тремя ранами на шее. Согласно официальной версии, священник сам нанес себе удары ножом во время приступа болезни^[1855]. Стоит ли говорить, что подобный вывод не выглядел в глазах современников правдоподобным. И Амвросий, и Моисей были в церковных кругах фигурами заметными. Известные переводчики, богословы и проповедники. Что знали эти люди? Какие документы хранили? Кому могли быть опасны? Тайна осталась нераскрытой.

Оглядываясь вокруг, престарелая императрица сознавала, что ей, в сущности, не на кого опереться. Она сделала попытку воспитать себе защитника в лице Зубова. В течение каких-нибудь полутора лет после смерти князя Платон стал графом, генерал-поручиком, генерал-адъютантом. Видя в нем политического наследника светлейшего, Екатерина сделала Зубова шефом кавалергардского корпуса — своей личной охраны, поручила ему Екатеринославскую и Таврическую губернии. М. И. Семевский в очерке о Зубове писал: «Могила Потемкина послужила ему ступенькой к высшим степеням отличия. Взгляд императрицы на нового любимца, снисходительный до ослепления, отличался старческой близорукостью»^[1856].

Обманувшиеся в ожиданиях близкого захвата власти сторонники Павла теперь от бессилия злословили нового временщика. В июне 1792 года Ростопчин писал Семену Воронцову: «Зубов... дает чувствовать свое всемогущество самым возмутительным образом; он от природы глуп, но память заменяет ему здравомыслие; его болтовня то умная, то

таинственная, и технические слова придают ему вес и значение... Унижение — вот прием, который у него находят... Он скрытен, боится связей и окружен шушерой»^[1857]. Под властной рукой Зубова быстро взвыли те, кто еще вчера с ожесточением бичевал пороки Потемкина. «Не поверишь, как я удивляюсь... моей доселе слепоте, — обращался в апреле 1796 года Завадовский к Воронцову. — ...О князе Потемкине теперь весьма, весьма жалеют»^[1858]. Все познается в сравнении. Безбородко прозрел еще раньше. В феврале 1795 года он сообщал в Лондон: «Вы не можете себе представить, как все люди, кои что-нибудь прежде значили, авилированы или, паче сказать, сами себя унижают. Вот как вы ошиблись в заключениях своих после смерти покойника, который, по крайней мере, не был частным людям тяжел и который, захватив одну или две части, не искал быть универсальным. Прощайте»^[1859]. Теперь и Потемкин казался ангелом.

На политической сцене еще имелись соратники покойного князя, его партия никуда не исчезла, просто находилась в подавленном состоянии после смерти своего главы. Зубовы приложили все силы, чтобы опорочить окружение Потемкина и внушить императрице мысль о ненадежности людей светлейшего. Для Зубова и Салтыкова жизненно важно было доказать Екатерине, что, кроме них, у нее поддержки нет. Кажется, это удалось. И хотя императрица взяла под свою защиту близких сотрудников Потемкина, они уже никогда вместе не представляли политической силы. Цементирующая их воля исчезла, прежде мощнейшая группировка рассыпалась.

Дочь Федора Секретарева сообщала: «Когда умер князь, то над всеми лицами, при нем состоявшими, в том числе и над батюшкой, было назначено какое-то следствие по каким-то отчетам, но государыня оправдала его. Она взяла его к себе во дворец»^[1860]. Действительно, под давлением слухов о громадных растраченных суммах финансовые счета Потемкина первый раз проверялись еще при Екатерине. Спустя три дня по получении известия о смерти светлейшего Храповицкий писал: «Поехал в Яссы Михаил Сергеевич Потемкин для денежных расчетов, взял с собою из экспедиции о доходах ведомости о всех казенных к умершему князю отпусках во время Турецкой войны до 40 млн. рублей простирающихся; но смерть сего комиссионера оставила дело без конца, спасла и плутов»^[1861]. В ночь с 13 на 14 декабря Михаил Сергеевич погиб. Сам собой напрашивался вывод, что кому-то было очень невыгодно «скорейшее отыскание счетов».

Оставались еще огромные частные долги Григория Александровича и бесконечные тяжбы родных по поводу наследства. Слухи преувеличивали оставленные Потемкиным богатства. Так, Ланжерон, например, утверждал, что только Браницкая получила 40 миллионов рублей. На самом деле все было гораздо скромнее. Движимое и недвижимое имущество князя оценивали в 7 миллионов. Должники требовали возврата 2 миллионов 888 тысяч 366 рублей. Часть долга — 2 миллиона 125 тысяч 405 рублей — была заплачена из имений покойного. Другую взяла на себя и оплатила Екатерина^[1862]. По поводу польских владений возникла тяжба. Многочисленные племянницы и племянники делились шумно, со скандалами, не проявляя уважения к памяти великого дяди и не щадя сердце Екатерины. «Вдруг прыснули слезы при чтении письма из Ясс, — замечал Храповицкий о состоянии государыни 4 декабря 1791 года. — „Они без моего назначения и делиться не хотят!“»^[1863] Такое поведение не прибавляло уважения родным прежнего любимца в глазах Екатерины и только еще больше склоняло ее в пользу Зубова, скрытность которого многие принимали за скромность.

«Раздел между княжими наследниками еще не состоялся, — сообщал 25 мая 1793 года Попов другому сотруднику Потемкина, В. В. Каховскому, — и сумнительно, чтобы они скоро разделились. Графиня Браницкая с Самойловым в непримиримой вражде, и мне кажется, что он не прав, забыв, что она была его покровительницею»^[1864]. Устав от подобных рассказов, императрица просила Безбородко: «Буде опять кто явится к тебе, ...прошу им объявить, хотя именем моим, чтобы скорее убрались отселе и перестали бы соблазнять город, который, вместо слез о потере родственника и благодетеля, видит от них мерзкую жадность к имению и корыстолюбие, чего наипаче мне столь противно, что ты о сем уже мне и докладывать не смеешь»^[1865]. Теперь понятно, почему князь поместил дочь Лизу в дом Фалеева, а не к кому-то из близкой родни. Вероятно, в глубине души он все-таки знал им цену, хотя и не переставал любить.

Быстро сориентировавшийся в обстановке Гарновский понял, что стесняться нечего. Пока наследники дрались, он под шумок вывез из Таврического дворца к себе в дом на набережной Фонтанки статуи, мебель, картины и даже строительные материалы. Державин поддразнил его в послании «Ко второму соседу»: «И ах, сокровища Тавриды / На барках свозишь в пирамиды / Средь полицейских ссор».

Подобные поступки ближних Потемкина не делали чести его памяти. Зубовы прекрасно сумели использовать ситуацию. Раздражение

императрицы на родственников и наследников светлейшего оказалось как нельзя кстати в разгоревшемся скандале с Павлом Сергеевичем Потемкиным. В сентябре 1795 года правитель Персии Ага-Мохаммед-хан совершил набег на Грузию, еще в 1783 году перешедшую под протекторат России. Ответную экспедицию в Персию мог возглавить Суворов, но он в это время готовился к походу против «безбожных французов». Екатерина хотела назначить главнокомандующим П. С. Потемкина, именно он когда-то подписал Георгиевский трактат, был несколько лет наместником земель на Северном Кавказе, хорошо знал театр военных действий, а недавно отличился во время похода в Польшу, получил чин генерал-аншефа, орден Святого Георгия 2-й степени и графский титул.

Однако фаворит желал видеть на этом посту своего брата Валериана, он тоже участвовал в действиях против Польши, был ранен и потерял ногу. И тут всплыло дело 9-летней давности об убийстве прежнего правителя Гиляна Гедает-хана. Зубовы обвинили Павла Сергеевича в том, что он, пользуясь междоусобицей в Персии, умертвил Гедаета и присвоил его сокровища. В ноябре 1795 года была наряжена следственная комиссия, которая выявила причастность к делу русского консула в городе Энзели Тумановского и его преемника Скалича. Гедает хотел скрыться от войны в Астрахани, получил на это разрешение Павла Сергеевича, погрузил свою казну на фрегат, но Тумановский и Скалича дали об этом знать Мохаммед-хану. Тот захватил Энзели, убил Гедаета, выбросил его тело в море, а сокровища забрал, не поделившись обещанной суммой с корыстными консулами. Вскоре Тумановский умер, а вот Скалича был сослан по решению суда в Сибирь [\[1866\]](#).

Против Павла Сергеевича обвинения не выдвигались, но грязные слухи запятнали его репутацию. Назначение стало невозможным. Поход в Персию возглавил Валериан. Потемкин сочинил оправдание в стихах «Глас невинности», где искал защиты у тени брата: «Ах, может быть, за то от клеветы страдаю, / Что имя я твое один теперь ношу!» В марте 1796 года ошельмованный Павел Сергеевич умер, а его вдове Прасковье Андреевне (той самой Параше Закревской) вместо сокровищ Гедает-хана остались немалые долги.

Однако Зубовы напрасно торжествовали победу. Смерть Екатерины 6 ноября 1796 года поставила точку в их блестящей карьере. На престол вступил Павел I, и начался новый этап гонений на память светлейшего.

В последние годы царствования императрицы старые соратники князя, в том числе и Суворов, собирались в склепе Екатерининского собора в Херсоне. Там над гробом основателя города висела богато украшенная

икона Спасителя, которой в 1774 году Екатерина благословила Потемкина на генерал-губернаторство. Перед ней служили панихиды. По памятным дням склеп был полностью засыпан цветами. Все это вызвало раздражение Павла. Новый император не знал, что, несмотря на указ Екатерины, памятник Потемкину в Херсоне не был сооружен, а потому требовал немедленно снести несуществующий постамент. 10 марта 1798 года он писал генерал-прокурору князю А. Б. Куракину: «По разстройке, в которой оставлены дела князем Потемкиным, в управлении его бывшие, неприлично быть монументу, в память его воздвигнутому, и для того сооруженный от казны в городе Херсоне повелеваем уничтожить. О чем и учините вы надлежащее распоряжение»^[1867].

В апреле последовал новый приказ, о котором генерал-прокурор писал новороссийскому губернатору И. Я. Селецкому: «Известно государю императору, что тело покойного князя Потемкина донныне еще не предано земле, а держится на поверхности в особом сделанном под церковью погребу и от людей бывает посещаемо. А потому, находя сие непристойным, высочайше соизволяет, дабы все тело без дальнейшей огласки в самом же том погребу погребено было в особо вырытую яму, а погреб засыпан землею и изглажен так, как бы его никогда не бывало». На основании «Записок» Ланжерона считается, что комендант Херсона полковник Тернер отрапортовал в столицу об исполнении приказа, а сам велел солдатам просто засыпать склеп землей. Эти события породили среди жителей слухи, будто тело светлейшего князя перезахоронили на городском кладбище или даже зарыли во рву крепости^[1868].

При Павле имя Потемкина не произносилось. По южным землям прокатилась волна переименований: Таврида снова, как во времена ханства, стала Крымом, Севастополь превратился в Ахтияр, Керчь — в Еникале. Все военные мероприятия князя были отменены. Оставшиеся в живых сослуживцы светлейшего подверглись опале. Попов был сослан в имение, Секретарев — в Оренбург, Гарновский посажен в крепость.

Уже в царствование Александра I в 1818 году херсонский архиепископ Иов решил убедиться в целостности захоронения. В ночь на 4 июля он с несколькими духовными лицами поднял церковный пол, проломил свод склепа, вскрыл гроб и, по его словам, обнаружил тело на месте. В 1859 году, уже после Крымской войны, власти Херсона предприняли еще одно исследование гроба. Оказалось, что доски его разваливаются, раздавленные землей, которой когда-то столь тщательно засыпали склеп. Пяти спустившимся в подвал лицам удалось откопать череп и несколько костей,

которые они положили в железный ящик с задвижкой и оставили в склепе. Стоит ли говорить, что каждое такое «посещение» порождало волну слухов. В 1874 году Одесское общество истории и древностей вознамерилось поставить точку в эпопее обследований могилы Потемкина. Научная комиссия во главе с Николаем Мурзакевичем 19 августа вновь потревожила покой светлейшего князя. Был найден железный ящик с черепом и несколькими костями, а затем обследован сам склеп. В нем обнаружены фрагменты деревянного и свинцового гробов, куски золотого позумента, серебряные гробовые скобы и три шитые канителью орденские звезды 1-й степени: Святого Андрея, Святого Георгия и Святого Владимира^[1869].

Это описание показывает, что когда-то склеп все-таки был разорен, раз от дорогих гробов остались одни детали, от богатого мундира — лишь позумент да канитель, а от тела — череп и всего несколько костей. Куда девалось остальное? Результаты обследования одесского исторического общества позволяют сомневаться как в рассказе Ланжерона, так и в сообщении Иова о целостности захоронения. Вероятно, месть Павла все же была осуществлена.

После всех этих перипетий с могилой, когда большинство жителей Тавриды были уверены, будто тело Потемкина вообще выкинуто из гроба и зарыто неизвестно где, что же оставалось памятником светлейшему князю? Державин дает ответ:

Когда багровая луна
Сквозь мглу блистает темной нощи,
Дуная мрачная волна
Сверкает кровью и сквозь рощи
Вкруг Измаила ветер шумит,
И слышен стон, — что турок мнит?
Дрожит, — и во очах сокрытых
Еще ему штыки блещут,
Где сорок тысяч вдруг убитых
Вкруг гроба Вейсмана лежат.
Мечтаются ему их тени
И росс в крови их по колени!
И мнит в Очакове, что вновь
Течет его и мерзнет кровь.
Но в ясный день средь светлой влаги,
Как ходят рыбы в небесах

И вьются полосаты флаги,
Наш флот на вздутых парусах
Вдали белеет на лиманах,
Какое чувство в россиянах?
Восторг, восторг — они, а страх
И ужас турки ощущают...

Памятником Потемкину были построенные им города, покоренные вражеские твердыни и сильный Черноморский флот.

18 августа 1801 года, вскоре после смерти Павла I, Самойлов обратился к Александру I с просьбой разрешить родным князя построить в Херсоне монумент. Молодой император подписал соответствующий манифест, но дело не стронулось с места, потому что наследники баснословного состояния не смогли выделить нужную сумму. В 1825 году новый генерал-губернатор Новороссии граф Михаил Семенович Воронцов повторил государю просьбу жителей о сооружении «в Херсоне памятника основателю Новороссийского края покойному светлейшему князю Потемкину-Таврическому». У деятельного Воронцова уже имелись эскизы, выполненные И. П. Мартосом. Александр, а за ним Николай I выразили согласие. Деньги были собраны по подписке, и 24 ноября 1837 года памятник, наконец, был открыт.

Когда-то молодой еще Потемкин устроил на казенный счет похороны Анны Карловны Воронцовой, вырастившей своих знаменитых племянников и покинутой ими. Через полвека сын Семена Воронцова, одного из самых последовательных и непримиримых врагов светлейшего князя, добился установки памятника Григорию Александровичу. Сделанное добро иногда возвращается.

Обратим внимание на важный момент. Если бы Потемкин действительно был ненавистен большинству россиян и любим одной государыней, как часто утверждали его противники, то по подписке со всей России не удалось бы собрать средства ему на памятник. Значит, в 1825–1837 годах было немало людей, помнивших и почитавших светлейшего князя.

После революции 1917 года новая власть не пощадила ни памяти, ни останков Потемкина. Сначала на монумент князя был натянут брезент, как мешок на голову висельнику. А 27 апреля 1921 года Ревком Херсона приказал снять фигуру с пьедестала. Она была перенесена во двор Историко-археологического музея. Место основателя города занял Карл

Маркс. Екатерининский собор превратился в антирелигиозный музей, и там за стеклом как экспонат оказались выставлены останки светлейшего князя. Но и в этом унижении, помимо воли глумящихся, Потемкину была оказана небывалая честь — его прах разделил судьбу мощей святых угодников и заступников земли Русской, выброшенных из церквей и выставленных на всеобщее обозрение.

Семь лет продолжалось посмертное аутодафе. В 1930 году уроженец Херсона советский писатель Борис Андреевич Лавренев добился от Наркомата просвещения разрешения перезахоронить останки Потемкина в соборе. Их просто опустили под пол и засыпали землей в том же антирелигиозном музее — и не могила, и не храм.

Грустно сложилась и судьба памятника: во время войны немцы увезли его на переплавку. Минуло полвека. 19 сентября 2003 года город Херсон отмечал 225-летие со дня основания. К этой дате на прежнем постаменте был восстановлен памятник светлейшему князю, сделанный по эскизам Мартоса скульптором Ю. Г. Степаняном^[1870]. Время разбрасывать камни и время их собирать. Подтвердилась правота державинских строк:

В пыли героев попирают!
Героев? — Нет! — но их дела
Из мрака и веков блистают;
Как холмы, гробы их цветут;
Напишется Потемкин труд.

Перед нами прошла целая жизнь, полная трудов и любви, дерзких замыслов и громких побед. Глядя со стороны, кажется, что князю постоянно сопутствовала удача, что он грелся в лучах славы и был избалованным любимцем судьбы. Но если углубиться в документы и посмотреть на дело изнутри, то станет ясно, как дорого наш герой платил за победы и удачи. Мы постарались показать титанический труд, которым он был занят, управляя вместе с Екатериной огромной державой. Нам хотелось, чтобы читатель увидел падения и взлеты его духа, блеск государственного гения, страшные моменты отчаяния, когда, казалось, все потеряно, и удивительную жизнеспособность, стойкость, талант, с которыми князь выбирался из самых трагичных ситуаций.

Ныне Россия утратила земли, которые присоединил, населил и обустроил Потемкин. С течением лет потеряли значимость проведенные им военные реформы. Давно реализованы политические проекты, а их

результаты в силу дальнейших исторических коллизий рассыпались в прах. Что же осталось? Удивительный пример любви, которым было согрето служение Потемкина России. Потомкам есть за что благодарить светлейшего князя и есть чему у него учиться.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. А. ПОТЕМКИНА

1739, 30 (или 13) сентября — рождение Григория Александровича Потемкина.

Между 1750 и 1754 — покинул родное село Чижово под Смоленском.

1755, 26 апреля — поступил в Благородную гимназию при Московском университете.

1757 — окончил гимназию с золотой медалью и взят в Петербург для представления императрице Елизавете Петровне. Пожалован чином капрала Конной гвардии.

1758 — исключен из университета и отправился в столицу в Конно-гвардейский полк.

1762, апрель — стал вице-вахмистром, командиром роты и ординарцем принца Георга Голштинского.

28 июня — во время переворота Екатерины II вместе с секунд-ротмистром Ф. А. Хитрово вывел на присягу императрице Конно-гвардейский полк.

29 июня — в охране Петра III отправлен из Петергофа в Ропшу, где стал свидетелем гибели императора.

30 ноября — пожалован подпоручиком и камер-юнкером двора, получил 400 душ и 10 тысяч рублей.

1762, осень или 1763 — в результате несчастного случая ослеп на один глаз.

1763, август — стал заместителем обер-прокурора Синода И. И. Мелиссино.

1764 — посетил с дипломатической миссией Швецию.

1765, 19 апреля — произведен в поручики, стал казначеем.

1767 — с двумя ротами направлен в Москву, где открылась работа Уложенной комиссии. Исполнял должность «опекуна татар и иноверцев». Являлся членом Духовно-гражданской, участвовал в заседаниях Большой и Дирекционной комиссий.

1768, 22 сентября — пожалован чином камергера, а в ноябре отчислен из Конной гвардии, как состоящий при дворе.

1769, 2 января — отбыл в армию волонтером.

Май — прибыл в распоряжение корпуса генерал-майора князя А. А.

Прозоровского в польской крепости Барр. Оттуда 24 мая обратился к императрице с прошением зачислить его в армию. Произведен в генерал-майоры.

16 июня — отличился при отражении 12-тысячного турецкого войска, переправившегося через Днестр.

2 июля — при овладении турецкими укреплениями под крепостью Хотин под Потемкиным была убита лошадь.

1770, 3–4 января — с кавалерийским отрядом успешно действовал при Фокшанах.

18 января — при Браилове. Вместе с корпусом генерала Х. Ф. Штофельна совершил рейд к Бухаресту.

4 февраля — овладел городом Журжа. После разгрома турок при Рябой Могиле успешно преследовал отступавшие отряды противника.

3 февраля — получил орден Святой Анны.

17 июня — Румянцев приказал Потемкину форсировать Прут и обойти турок с тыла. За успех в этой операции получил орден Святого Георгия 3-й степени (27 июля 1770 г.). 7 июля — отличился в сражении на реке Ларге. Октябрь–ноябрь — Румянцев направил Потемкина ко двору, где тот выступал в Государственном совете и докладывал Екатерине II о делах армии.

1771, весна — получил командование пятитысячным корпусом, отразил нападение 20 тысяч турок у крепости Турна на Дунае.

Конец года — первый приступ лихорадки, которой князь страдал до конца жизни.

1772, весна — принял корпус генерал-квартирмейстера Ф. В. Боура и расположился с ним напротив города Силистрия на Дунае. Участвовал в дипломатическом конгрессе в Фокшанах вместе с Румянцевым.

1773, январь — отразил удар 20 тысяч турок, переправившихся из Силистрии, после чего атаковал укрепления противника в урочище Гуробалы. 1773, 22 июня — неудачный штурм Силистрии, во время которого корпус Потемкина отбил 7-тысячный отряд турецкой конницы. Потемкин прикрывал отход наших войск, после чего возвратился к местечку Ликорешты, где и оставался до конца года. Осень — возвел батареи напротив Силистрии и начал бомбардировку крепости.

4 декабря — Екатерина II направила Потемкину письмо с приглашением в Петербург.

1774, январь — посетил в Москве опального генерал-аншефа П. И. Панина.

4 февраля — прибыл в Царское Село с докладом императрице.

Весна — стремительное возвышение Потемкина.

1 марта — подписан указ о его производстве в генерал-адъютанты.

15 марта — назначен подполковником лейб-гвардии Преображенского полка.

21 апреля — в день рождения Екатерины получил орден Святого Александра Невского.

9 мая — введен в Государственный совет. *30 мая* — пожалован чином генерал-аншефа.

8 июня или начало 1775 — предполагаемое тайное венчание с Екатериной II в церкви Самсония на Выборгской стороне в Петербурге.

13 июня — назначен вице-президентом Военной коллегии, шефом легкой конницы и всех иррегулярных войск.

10 июля — принял активное участие в заключении Кючук-Кайнарджийского мирного договора с Турцией.

29 июля — по настоянию Потемкина Екатерина II назначает П. И. Панина командующим армией против Е. И. Пугачева.

1775, 25 января — императрица и Потемкин вместе с царским двором прибыли в Москву.

30 июня — первая короткая поездка Екатерины II и Потемкина в Царицыно. Вторая состоялась после празднования мира с Турцией, в конце июля, и захватила начало августа. Супруги прожили некоторое время вдвоем.

10 июля — празднование годовщины Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Потемкин награжден портретом императрицы для ношения на груди и возведен в графское достоинство. *12–18 июля* — болезнь Екатерины II. Предполагаемое время рождения ее дочери от Потемкина — Елизаветы Григорьевны Темкиной.

3 августа — подписан подготовленный Потемкиным манифест об уничтожении Запорожской Сечи.

77 августа — приказ Потемкина о запрещении выдавать помещикам беглых с территории бывшей Запорожской Сечи. *77 ноября* — на дуэли убит князь Петр Михайлович Голицын. Слухи о причастности к убийству Потемкина.

26 декабря — возвращение императрицы и Потемкина в Петербург. *конец 1775 — январь 1776* — обострение отношений Екатерины и Потемкина, постепенное возвышение П. В. Завадовского.

1776, 27 февраля — пожалование Потемкина титулом князя Священной Римской империи.

8 марта — Екатерина подписала рескрипт Потемкину о мерах по

обеспечению безопасности новых границ на юге. Потемкин приступил к укреплению крепостей Керчь, Еникале и Кинбурн, а также Астраханской линии. Моздок, Азов и Таганрог были приведены в оборонительное состояние.

Весна — Потемкин стал кавалером иностранных орденов: польских Белого Орла и Станислава, датского Слона и шведского Серафима, прусского Черного Орла. Начало романа с Е. А. Синявиной. С 21 мая по 2 июня — Потемкин не появлялся при дворе и жил в военных лагерях под Петербургом.

20 июня — князь выехал из столицы на инспекцию крепостей под Новгород. Многие при дворе считали это началом опалы. 24 июля — вернулся в Петербург и был милостиво встречен императрицей. Надежды противников Потемкина на его устранение не оправдались.

Зима — курляндские дворяне обращаются к Потемкину с предложением занять престол герцогства Курляндского. Повторное прошение — в сентябре 1778 г., отказ Екатерины II, которая не хотела, чтобы интересы князя были связаны с другим государством.

1777, весна — мятеж татар в Крыму, подавленный с помощью русской армии.

29 марта — при содействии Екатерины и Потемкина избран на престол новый хан Шагин-Гирей, ставленник России. 28 мая — рапорт атамана Войска Донского генерал-майора А. И. Иловайского Потемкину о желании «некрасовских» казаков (потомков участников восстания К. И. Булавина) возвратиться в русское подданство. Дело тянулось до апреля 1784 г., когда князь все-таки добился разрешения поселиться в его наместничестве. 5 июня — венчание Г. Г. Орлова и Е. Н. Зиновьевой. Записка Потемкина императрице с просьбой пожаловать молодую статс-дамой и тем прекратить толки в городе.

1777, ноябрь-декабрь — Россия и Турция на грани разрыва. Потемкин принимает меры по укомплектованию армии.

1778, 18 июня — именной указ Потемкину о строительстве Херсона с гаванью и верфью.

Июль — по приказу Потемкина А. В. Суворов совершил вывод 30-тысячной колонии христиан из Крыма.

16 октября — предложение А. Г. Орлова Екатерине II об устранении Потемкина и ее отказ. 1770-е, конец — начало 1780-х — романы Потемкина с племянницами.

1780, 28 февраля — провозглашение Екатериной II подготовленной Н. И. Паниным «Декларации о вооруженном нейтралитете», против которой

возражал Потемкин.

Март — прусский король Фридрих II безуспешно предложил Потемкину помощь в получении короны герцога Курляндского, если тот предотвратит сближение России и Австрии. Английский посол Дж. Гаррис предлагает своему правительству подкупить Потемкина, обещав России остров Минорку в обмен на военную помощь в Америке.

24 мая — свидание Екатерины II и Иосифа II в Могилеве, подготовленное Потемкиным.

Май — Иосиф II предложил Потемкину подыскать для него независимое немецкое княжество в пределах Священной Римской империи в обмен на обязательства поддерживать при петербургском дворе интересы Вены. Князь уклонился.

1781, 18 мая — обмен писем между Иосифом II и Екатериной о заключении союзного договора.

1782, апрель — дело камер-юнкера П. А. Бибикова, интриговавшего против Потемкина. Князь просил не наказывать арестованного. *Май* — новые волнения в Крыму. Потемкин находился в Херсоне и размещал полки по границе. *10 сентября* — записка Потемкина «О Крыме». *22 сентября* — князь встретился с ханом Шагин-Гиреем и сообщил о намерении императрицы ввести русские войска в Крым. К концу октября спокойствие на полуострове было восстановлено, а хан возвращен на престол.

14 декабря — императрица подписала секретный рескрипт князю о необходимости присоединить Крым к России «при первом к тому поводе».

1783 — начало реформ в армии. В 1784–1785 гг. осуществлен переход на новую форму. *Апрель — июль* — операция по присоединению Крыма.

1784, 2 февраля — Потемкин получил чин фельдмаршала, стал президентом Военной коллегии и генерал-губернатором вновь присоединенных земель.

Начало апреля — Потемкин возвратился на Юг, чтобы руководить обустройством своих губерний и установить карантин.

1785–1787 — увлечение князя М. Л. Нарышкиной.

1786, весна — начало восстания Шейх Мансура на Северном Кавказе.

Май-июнь — кризис в отношениях Потемкина с Екатериной II из-за интриг А. П. Ермолова.

31 декабря (11 января 1787 г.) — подписание русско-французского торгового договора, подготовленного Потемкиным и Л. де Сегюром.

1787, январь — июнь — путешествие Екатерины II в Крым для осмотра наместничества Потемкина.

20 марта — переговоры Потемкина с польским королем в местечке Хвостов.

25 апреля — свидание Екатерины II и Станислава Августа в Каневе.

Август — повторное заболевание Потемкина лихорадкой.

5 августа — арест русского посла в Турции Я. И. Булгакова, начало Второй русско-турецкой войны.

24 сентября — гибель Севастопольской эскадры. *8 октября* — Кинбурнское сражение.

1788, 30 мая — Потемкин с основными силами выступил из Елисаветграда к Очакову.

Лето — морские сражения на Лимане.

1 июля — Швеция объявила войну России.

27 июля — попытка А. В. Суворова превратить отражение турецкой вылазки в штурм крепости. Жесткое объяснение Потемкина с Суворовым по поводу серьезных потерь.

6 декабря — штурм Очакова.

1789, февраль — май — пребывание Потемкина в Петербурге. Его попытка дипломатическим путем уклониться от конфликта с Пруссией.

3 марта — Украинская армия объединена с Екатеринославской под общим командованием Потемкина.

Март — январь, 1790 — роман князя с П. А. Потемкиной (Закревской).

Июнь — смещение фаворита А. Д. Дмитриева-Мамонова и возвышение П. А. Зубова. *21 июля* — победа при Фокшанах. *3 ноября* — сдача турками Бендер. *Ноябрь — апрель, 1790* — неудачные переговоры с Турцией о мире.

1790, 14 августа — Верельский мир со Швецией.

Ноябрь — конгресс в Систове представителей Пруссии, Англии, Голландии, Австрии и Турции. Отказ Потемкина в нем участвовать. *11 декабря* — падение Измаила.

1791, 28 февраля — приезд Потемкина в Петербург.

Весна — политическое сближение России и Швеции. *Март — май* — кризис русско-английских отношений. Угроза похода английской эскадры под Петербург.

28 апреля — праздник в Таврическом дворце.

3 мая — объявление новой конституции Польши. *24 июля* — отъезд Потемкина из Петербурга в армию. *15 августа* — начало его переговоров с турками. *Сентябрь* — написание «Канона Спасителю». *5 октября* — смерть Потемкина.

БИБЛИОГРАФИЯ

Болотина Н. Ю. «Приехал служить великому князю» // Источник. № 1. 1995. С. 16–24.

Болотина Н. Ю. «Сего числа получил я указ...» // Исторический архив. 1997. № 3. С. 20–34.

Болотина Н. Ю. Чья ты дочь? Судьба Елизаветы Темкиной // Е. Р. Дашкова: личность и эпоха. М., 2003.

Брикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891.

Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. СПб., 1893.

Водарский Я. Е., Елисеева О. И., Кабузан В. М. Население Крыма. М., 2003.

Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир. М., 1955.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775–1800 годах. М., 1959.

Екатерина II и Г.А.Потемкин. Личная переписка 1769–1791. М., 1997.

Елисеева О. Я. Переписка Екатерины II и Г. А. Потемкина периода Второй русско-турецкой войны (1787–1791). М., 1997.

Елисеева О. И. Геополитические проекты Г. А. Потемкина. М., 2000.

Жизнь генерал-фельдмаршала князя Г. А. Потемкина-Таврического. СПб., 1811.

Жизнь князя Гр. Ал. Потемкина-Таврического. Взято из иностранных и отечественных источников. М., 1808.

Дашков Ф. Князь Г. А. Потемкин-Таврический как деятель Крыма. Симферополь, 1890.

Ловягина А. М. Григорий Александрович Потемкин // Русский биографический словарь. Т. 14. СПб., 1905. С. 649–668.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. М., 1992.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.

Масловский Д. Ф. Кинбурн-Очаковская операция (1787–1789) // СБВИМ. 1891. Вып. IV. С. 4–11.

Панченко А. М. «Потемкинские деревни» как культурный миф // XVIII век. Сборник 14. Русская литература XVIII — начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983.

Писаренко К. А. Насколько достоверна романтическая история о свадьбе родителей Потемкина // Загадки русской истории. М., 2000.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического // Русский архив. 1867.

Сборник военно-исторических материалов. СПб., 1891–1895. Вып. IV, VI–VIII.

Скальковский А. А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. 1730–1823. Одесса, 1836. Ч. I.

Фатеев А. Н. Потемкин-Таврический. Прага, 1945.

Щебальский Н. К. Потемкин и заселение Новороссийского края // Сборник антропологических статей: о России и странах, ей прилежащих. М., 1868. Кн. I.

notes

Примечания

Белинский В. Г. Собрание сочинений. В 3 т. Т. II. М., 1948. С. 135–136.

Вигель Ф. Ф. Записки. Т. II. М., 1928. С. 233.

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // Столетие безумно и мудро. Век XVIII. М., 1986. С. 375–378.

Щербатов М. М. Ответ на вопрос: что думать следует о поступке нашего двора в рассуждении нынешней турецкой войны (июль 1788) // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. Январь — март. Кн. 1. С. 860.

Щербатов М. М. О повреждении нравов. С. 387.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 17 т. М.; Л., 1937–1959.
Т. 9. С. 15.

Privatleben des berühmten Russisch-Kaiserl. Feldmarschalls Fürsten von Potemkin Tawritschewskoy. Herausgegeben von S. Leipzig und Grass. 1793.

Minerva. 1797–1800.

Жизнь генерал-фельдмаршала князя Г. А. Потемкина-Таврического.
СПб., 1811.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 935. Л. 5-27 об.

Жизнь князя Гр. Ал. Потемкина-Таврического. Взято из иностранных и отечественных источников. М., 1808.

Самойлов А, Н. Жизнь и деяния генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. // Русский архив. 1867.

Скапковський А. А. Хронологічне огляд історії
Новоросійського краю. 1730–1823. Одеса, 1836. Ч. I.

Щебальский Н. К. Потемкин и заселение Новороссийского края // Сборник антропологических статей о России и странах, ей прилежащих. М., 1868. Кн. I.

Дашков Ф. Князь Г. А. Потемкин-Таврический как деятель Крыма.
Симферополь, 1890.

Русская старина. 1876. №V. С. 33–58; №VI. С. 239–262; №VII. С. 441–478; № VIII. С. 571–590; № IX. С. 21–38; № X. С. 205–216; № XI. С. 403–426; № XII. С. 635–652.

Сб. РИО. 1874. Т. 13; 1880. Т. 27; 1885. Т. 42.

Брикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891.

Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического.
СПб., 1893.

Сборник военно-исторических материалов. СПб., 1891–1895. Вып. IV, VI–VIII.

Масловский Д. Ф. Кинбурн-Очаковская операция (1787–1789)//
СБВИМ. 1891. Вып. IV. С. 4–11.

Ловягин А. М. Григорий Александрович Потемкин // Русский биографический словарь. Т. 14. СПб., 1905. С. 649–668.

Там же. С. 668.

ОР РГБ. Ф. 389. Собр. Бонч-Бруевича. В. Д. К. 735. № 29. Л. 17–18.

Lettres d'amour de Catherine II a Potemkine. P., 1934.

Барское Я. Л. Письма Екатерины II Г. А. Потемкину// Вопросы истории. 1989. № 7, 8, 9, 10, 12.

Фатеев А. И. Потемкин-Таврический. Прага, 1945.

Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир. М., 1955.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775–1800 годах. М., 1959. С. 261, 27.

Панченко А. М. «Потемкинские деревни» как культурный миф// XVIII век. Сборник 14. Русская литература XVIII — начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 97, 104.

Мадариага // . де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.

Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven and London, 1981. P. 343, 344, 567.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. М., 1992. Переиздание: Лопатин В. С. Светлейший князь Потемкин. М., 2004.

Суворов А. В. Письма. М., 1987.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка 1769–1791. М., 1997.

Болотина Н. Ю. «Приехал служить великому князю» // Источник. № 1. 1995. С. 16–24.

Болотина Н. Ю. «Сего числа получил я указ...» // Исторический архив. 1997. № 3. С. 20–34.

Болотина И. Ю. Деятельность Г. А. Потемкина в области внутренней политики России. Автореферат кандидатской диссертации. М., 2000. С. 20.

Sebag-Montefiore S. Prince of Princes. The Life of Potemkin, L., 2000.
Издание на русском языке: Себаг-Монтефиоре С. Потемкин. М., 2003.

Елисеева О. И. Переписка Екатерины II и Г. А. Потемкина периода Второй русско-турецкой войны (1787–1791). М., 1997; Елисеева О. И. Геополитические проекты Г. А. Потемкина. М., 2000.

Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. СПб., 2002.

Потемкин. Последние годы. СПб., 2003.

Бессарабова Н. В. Путешествия Екатерины II по России в контексте внутренней и внешней политики (1763–1767, 1780–1787 гг.). М., 2003. С. 16.

Глинка С. Н. Записки // Русские мемуары. М., 1988. С. 328.

Там же. С. 327–328.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 42.

Энгельгардт Л. Н. Записки // Русские мемуары. М., 1988. С. 235.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 132.

Побединская А. Г., Сапунов Б. В. Посольство П. И. Потемкина 1680–1681 // У истоков русской культуры. XII–XVII века. Сборник статей. СПб., 1995. С. 111–122.

Цит. по: С берегов Темзы на берега Невы. Шедевры из собрания британского искусства в Эрмитаже. Каталог выставки. СПб., 1997. С. 164.

Незабываемая Россия. Русские и Россия глазами британцев. XVII–XIX века. М., 1998. С. 43.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 132.

РГАДА Ф. 286. № 413. Л. 638–648.

Бычкова М. Е. Польские традиции в русской генеалогии XVII в. // Советское славяноведение. 1981. № 5. С. 42–43.

«Приехал служить великому князю». Неизвестный список
родословной Потемкиных // Источник. 1995. № 1. С. 19.

Бычкова М. Е. Легенды московских бояр. М., 1997. С. 26.

Там же.

Там же. С. 21.

Там же. С. 21–22.

Там же. С. 20.

Бычкова М. Е. Гербы дворян XVII в. // Русская генеалогия. М., 1999. С. 53–55.

Там же. С. 23.

Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в эпоху Петра I. М., 2002. С. 95.

РГВИА. Ф. 2. Оп. 10. № 416. Л. 374–374 об.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 133.

Источник. 1995. № 1. С. 27.

PC. 1872. T. 5. № 3. C. 463.

Писаренко К. А. Насколько достоверна романтическая история о свадьбе родителей Потемкина // Иванов О. А., Лопатин В. С, Писаренко К. А. Загадки русской истории. XVIII в. М., 2000. С. 66–91.

Струйский Н. Е. Еротоиды. М., 2003. С. 10–11.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 935. Л. 5-27 об.

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4/556. № 3324. Л. 299 об.

Там же. Оп. 4/503. N· 2653. Л. 333.

Там же. Оп. 4/553. № 3306. Л. 243.

Там же. Оп. 1087. № 62/11063. Л. 106.

Писаренко К. А, Насколько достоверна... С. 72.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 217.

Глинка С. Н. Записки. С. 321.

РГАДА. Ф. П83. Оп. 1. № 40. Л. 1–3.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 133.

Источник. 1995. № 1. С. 22.

РГАДА. Ф. 286. № 413. Л. 648.

РГАДА. Ф. 5. № 585. Л. 153–153 об.

См. подробнее: Елисеева О. И. Мифологизация исторических деятелей эпохи империи// Империя. Сборник статей. М., 2001.

См. подробнее: Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. М., 1869.

Караванов П. Ф. Семейное известие о князе Потемкине // РС. 1872. Т. 5. № 3. С. 463.

Там же.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 133–134.

Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. М., 1990. С. 56–57.

Шубинский С Н. Собрание анекдотов о князе Потемкине. СПб., 1869.
С. 5.

Тъбо Б. Записки// Потемкин. От вахмистра до фелдмаршала. С.120.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 236.

Караванов П. Ф. Семейное известие... С. 463.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 236.

РГАДА. Ф. 286. № 413. Л. 648.

PC. 1875. T. 12. № 3. C. 483.

Брикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891. С. 10.

Глинка С. Н. Записки. С. 320–321.

Вигель Ф. Записки. Т. I. Ч. I. С. 172–173.

РГАДА. Ф. 286. № 413. Л. 648.

Ерошкин Я П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. С. 86.

Карабанов П. Ф. Семейное известие... С. 464.

Самойлов. А. Я. Жизнь и деяния... С. 134.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. С. 643.

Болотина Я. Ю. К истории церквей Малого и Большого Вознесения на Большой Никитской улице Москвы // Е. Р. Дашкова и Российское общество XVIII столетия. М., 2001. С. 113.

РГАДА. Ф.11. № 873. Л. 1.

Сытин П. В. Из истории московских улиц. М., 1958. С. 401.

PA. 1882. N· 2. C. 93.

Там же. С. 95–96; 1907. № 2. С. 130.

PA. 1882. № 2. C. 91.

Карабанов П. Ф. Семейное известие... С. 464.

Самойлов. А. Я. Жизнь и деяния... С. 134.

Глинка С. Я. Записки. С. 156–157.

Исторический лексикон. С. 546.

Глинка С. Я. Записки. М., 1988. С. 384.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 236.

Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 339.

Андреев А. Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX в. М., 2000. С. 36–37.

Письма С. И. Гамалеи. М., 1836. Кн. I. С. 270.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... С. 135.

Глинка С. Я. Записки. С. 321.

Жизнь князя Гр. Ал. Потемкина-Таврического. М., 1808. С. 5.

Брикнер А. Г. Потемкин. СИ.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... С. 135.

Фонвизин Д. И. Избранные сочинения и письма. М., 1946. С. 202.

Понятовский С. Мемуары. М., 1995. С. 104–105.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... С. 135–136.

Там же.

Бантыш-Каменский Д. М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1840. Т. 2. С. 57.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... С. 136.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 236.

Струйский Я. Е. Еротоиды. С. 14.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... С. 135.

Вернадский Г. Стихи князя Г. А. Потемкина Таврического на
основание Екатеринослава. Б. г. С. 2.

Бантыш-Каменский Д. М. Биографии... С. 57.

Исторический лексикон. С. 546.

Бантыш-Каменский Д. М. Биографии... С. 58.

Каменский А. Б. «Под сению Екатерины...» Вторая половина XVIII века. СПб., 1992. С. 265.

Исторический лексикон. С. 546.

Шубинский С Я. Собрание анекдотов. С. 25.

Ходасевич В. Ф. Державин. М., 1988. С. 33.

Пушкин А. С. Капитанская дочка. М., 1978. С. 169.

Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века // В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 263.

Янькова Е. Я. Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 18.

Екатерина II. Записки. СПб., 1907. С. 403–404.

Анисимов Е. В. Россия в середине... С. 274–276.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 136.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 12.

Предания о князе Потемкине Таврическом // РА. 1907. Кн. II. № 5.

Понятовский С. Мемуары. С. 161.

Былое. Пг., 1919. № 14. С. 79.

Екатерина II. Записки. С. 89.

Там же. С. 51.

Дашкова Е. Р. Записки. Л., 1985. С. 7.

Екатерина II. Записки. С. 57.

Тургенев А. М. Записки // Былое. Пг., 1919. № 14. С. 85.

Дашкова Е. Р. Записки. С. 54.

Шумахер А. История низложения и гибели Петра III // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 271.

Понятовский С. Мемуары. С. 162.

Фатеев А. Н. Потемкин-Таврический. Прага, 1945. С. 15.

Понятовский С. Мемуары. С. 167–168.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 13–14.

Понятовский С. Мемуары. С. 162–163.

Там же. С. 163.

Там же.

Позье И. Записки придворного бриллианщика // Со шпагой и факелом. 1725–1801. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 325.

Шумахер А. История низложения... С. 282–283.

Понятовский С. Мемуары. С. 163.

Там же.

Самойлов А. И. Жизнь и деяния... С. 136.

Дашкова Е. Р. Записки. М., 1987. С. 73.

Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России 1762 г. // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 86.

Записки Екатерины II // Со шпагой и факелом. С. 340.

Шумахер А. История низложения... С. 295.

Позье И. Записки. С. 327–328.

Шаховской Я. П. Записки // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 107–108.

Штелин Я. Записка о последних днях царствования Петра III // Со шпагой и факелом. С. 316.

Шумахер А. История низложения... С. 292.

Там же. С. 281.

Рюльер К. К. История и анекдоты... С. 83.

Понятовский С. Мемуары. С. 164.

Дашкова Е. Р. Записки. С. 48.

Понятовский С. Мемуары. С. 164–165.

Плугин В. А. Алехан, или Человек со шрамом. М., 1996. С. 95.

Шумахер А. История низложения... С. 277.

Понятовский С. Мемуары. С. 165.

РГАДА. Ф. 1. № 25.Л. 7.

РГВИА. Ф. 3543. Оп. 1. № 1229. Л. 446.

Головина В. Я. Мемуары // История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 113–114.

РГАДА. Ф. 1. № 25.Л. 8.

Понятовский С. Мемуары. С. 165.

Рюльер К. К. История и анекдоты... С. 100.

ΓΑΡΦ. Φ. 728. Οπ. 1. № 180. Л. 1.

Иванов О. А. Загадки писем Алексея Орлова из Ропши // Московский журнал. 1995. № 9, 11, 12; 1996. № 1, 2, 3.

Писаренко К. А. Несколько дней из истории «уединенного и приятного местечка»// Загадки русской истории XVIII века. М., 2000.

Плугин В. А. Алехан...

Шумахер А. История низложения... С. 292.

Писаренко К. А. Несколько дней... С. 357–358.

Шумахер А. История низложения... С. 300.

PC. 1875. № 3. C. 488–491.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 136.

Бантыш-Каменский Д. М. Биографии... С. 251.

PA. 1871. C. 459.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. СПб., 1885. Т. I. С. 156–158.

Иванов О. А. Княгиня Дашкова и граф Орлов: причины конфликта//
Московский журнал. 1998. № 7. С. 46–49.

Дашкова Е. Р. Записки. С. 63.

Парело де. Донесение о петербургском дворе // Потемкин. От
вахмистра до фельдмаршала. С. 74.

Самойлов А. И. Жизнь и деяния... С. 137–138.

Карабанов Я. Ф. Семейное известие... С. 465.

Minerva. 1797. V. II. P. 429.

Валишевский К. Вокруг трона. М., 1989. С. 133.

Русские песни и романсы. М., 1989. С. 29.

Карабанов П. Ф. Семейное известие... С. 465.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... С. 139.

Валишевский К. Вокруг трона. С. 132.

Сб. РИО. Т. VII. С. 316–317.

Болотина Я. Ю. Деятельность Г. А. Потемкина... С. 22.

ПСЗ. Т. XV. № 11643.

Каменский А. Б. «Под сению Екатерины». С. 144–145.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 162.

Сб. РИО. Т. VII. С. 269–270.

Карташов А. Очерки истории русской церкви. Т. 2. Париж, 1959. С. 464, 472.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 199.

Ерошкин Я. Я. История государственных учреждений. С. 115.

Чечулин Д. Я. Очерки истории Русских финансов в царствование Екатерины II. СПб., 1906. С. 315–316.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... С. 140.

Массон Ш. Секретные записки о России // Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. С. 158.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 236.

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 561.

PA. 1867. C. 594.

Сб. РИО. Т. VIII. С. 386.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 247.

Флоровский А. В. Состав законодательной комиссии. 1767–1774. Одесса, 1915. С. 400,

Болотина Н. Ю. Деятельность Г. А. Потемкина... С. 22.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 18.

Цит. по: Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995. С. 357.

Memoires du baron Tott. Amsterdam, 1785. T. 2. P. 144–145.

Кабузан В. М. Народы России в XVIII веке. М., 1990. С. 190–193.

Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир. М., 1955. С. 95.

Черкасов П. П. Двуглавый орел... С. 348.

Ленрут Э. Великая роль. Король Густав III, играющий самого себя. СПб., 1999. С. 102–103.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 330.

Понятовский С. Мемуары. С. 233–234.

Цит. по: Александров П. А. Северная система. М., 1914. С. 118–119.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 330.

Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир. С. 96.

Там же. С. 90.

Цит. по: Черкасов П. П. Двуглавый орел... С. 356.

Сб. РИО. Т. 36. С. 156.

Трутенъ. 1769. Ч. I. С. 10.

РГАДА Ф. 5. № 85. Ч. 11. Л. 210–211.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 143.

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. № 41. Ч. 3. Л. 62.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 998.

ЧОИДР. 1865. Кн. 2. Отд. 2. С. 2–3.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 337.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 20.

PC. 1889. T. LX. C. 503.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 254–255.

ЧОИДР. 1865. Т. II. С. 112.

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 1–1 об.

Караванов П. Ф. О начале переписки между имп. Екатериной II и Г. А. Потемкиным // РС. 1872. Т. V. С. 466.

РГАДА. Ф. 5. № 85. — Ч. 1. Л. 135.

CA. 1822. Ч. 1.C. 336.

Морской сборник. 1849. Т. 11. С. 811.

Сб. РИО. Т. XIII. 1874. С. 258–259.

Эйдельман Н. Я. Грань веков // В борьбе за власть. М., 1988. С. 309.

Фонвизин М. Политическая жизнь в России М. А. Фонвизина//
Библиотека декабристов. Вып. IV. 1907. С. 31.

Екатерина И. Наказ комиссии о сочинении проекта нового уложения // Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 23.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 443.

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. С. 376–377.

Барское Я. Л. Письма имп. Екатерины II к гр. П. В. Завадовскому // Русский исторический журнал. 1918. Кн. 5. С. 235.

Боголюбов В. Новиков и его время. М., 1916. С. 6–7.

Анисимов Е. В. Россия в середине... С. 235.

Валишевский К. Вокруг трона. С. 151–152.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 353.

Барское Я. Л. Письма... С. 225.

Сб. РИО. Т. 13. С. 41.

Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир. С. 160–161.

АВПР. Ф. Сношения с Турцией. № 1678. Л. 113–115.

Там же. № 1715. Л. 28.

Архив Государственного совета. Т. I. Ч. 1. С. 432.

Валишевский К. Вокруг трона. С. 100.

РА. 1902. КН. I. С. 14.

Корберон М. Д. Интимный дневник шевадье де Корберона, французского дипломата при дворе Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 129.

Сб. РИО. Т. XIII. СПб., 1874. С. 259.

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. С. 377.

Корберон М. Д. Интимный дневник... С. 131.

Грот Я. К. Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел // Сб. РИО. 1874. Т. XIII. С. 275.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 354.

Екатерина II. Проект письма об условиях увольнения от двора гр. Г. Г. Орлова // Сб. РИО. 1874. Т. III. С. 270–273.

Валишевский К. Вокруг трона. С. 359–361.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 501.

Сорокин Ю. А. Павел I // ВИ. 1989. № И. С. 49.

Барское Я. Л. История Екатерины... С. 225.

Сб. РИО. Т. XII. С. 431.

Там же. Т. XIX. С. 420.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 21.

Сорокин Ю. А. Павел I. С. 50.

Эйдельман Н. Я. Письма Екатерины II Г. А. Потемкину// ВИ. 1988. № 7. С. 116–117.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 145.

301

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. № 41. Ч. 6. Л. 14.

Архив князя Воронцова. М., 1875. Т. 8. С. 13–16.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... С. 147.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 15.

Барское Я. Л. Письма... С. 226–227.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 22.

Рескрипт генерал-майору Кару. 13 октября 1773 г. // Сб. РИО. 1874. Т. XIII. С. 363.

Фонвизин Д. И. Всеобщая придворная грамматика // Русская литература последней четверти XVIII века. М., 1985. С. 109.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 23.

310

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 119–119 об.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1008.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 504.

Осьмнадцатый век. Исторический сборник/ Изд. П. Бартенев. М., 1868.
Кн. 1. С. 96.

Шумигорский Е. С. Император Павел I и масонство // Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1991. С. 138–139.

Шильдер Я. К. Император Павел Первый. М., 1996. С. 93.

316

РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. № 162.

РА. 1876. Кн. 2. С. 38.

Дашкова Е. Р. Записки. С. 94.

PC. 1873. T. VIII. C. 343.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... Стб. 1016.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864. С. 56.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... Стб. 1016.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864. С. 60.

ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 1. № 524. Л. 1–5.

Семека А. В. Русское масонство в XVIII в. // Масонство в его прошлом и настоящем. С. 141–147.

326

РГАДА. Ф 1.№ 54.Л. 3 об.

Там же. Л. 255.

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 255.

Там же. Л. 338.

Там же. Л. 279.

331

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 265.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864. С. 64.

333

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 213.

Екатерининский парк. Л., 1985. С. 6–11.

335

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 283.

Там же. Л. 213.

337

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 4.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... Стб. 1016.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864. С. 79–82.

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 209 об. -210.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... Стб. 1016.

Там же. Стб. 1017.

ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 225. Л. 1–1 об.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... Стб. 1017.

345

ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 225. Л. 1 об.

Самойлов А. Я Жизнь и деяния... Стб. 1016.

347

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 217.

PA. 1879. № 9. C. 20.

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 129–129 об.

Румянцева Е. М. Письмо П. А. Румянцеву 20 марта 1774 г. // Письма графини Е. М. Румянцевой к ея мужу. СПб., 1888. С. 188.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864. С. 103.

352

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 131.

353

Там же. Ф. 1. № 54. Л. 2.

PA. 1873. C. 126–127.

Сб. РИО. Т. XIX. С. 405.

РИЖ. Кн. 5. 1918. С. 228.

Брикнер А. Г. Потемкин. 1991. С. 26.

Барское Я. Л. Письма Екатерины II Г. А. Потемкину// ВИ. 1989. № 7. С. 131.

359

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 279.

Барское Я. Л. Письма... С. 131.

Русский двор сто лет назад по донесениям английских и французских посланников. СПб., 1907. С. 199.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 515.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... Стб. 1023.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 29.

Там же. С. 29–30.

366

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 271.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 29.

368

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 367.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864. С. 150.

Румянцева Е. М. Письмо П. А. Румянцеву 8 апреля 1774 г. // Письма графини. С. 191.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864.

372

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 334.

Там же. Л. 410–410 об.

Там же. Л. 382.

Там же. Л. 367.

Там же. Л. 245.

Там же. Л. 326.

Там же. Л. 233.

Сб. РИО. Т. XIII. 1874. С. 432.

Там же. С. 409.

РИЖ. Кн. 5. 1918. С. 226.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 356.

ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 1. № 417. Л. 9.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 28–29.

Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир. С. 278–308.

Самойлов А. И. Жизнь и деяния... Стб. 1020.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864. С. 393.

388

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 90–90 об.

Сб. РИО. Т. I. С. 100.

Там же. Т. XIX. С. 428.

Цит. по: Черкасов П. П. Екатерина II и Людовик XVI: русско-французские отношения 1774–1792. М, 2001. С. 380.

Родина. 1997. № 9. С. 63.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния. Стб. 1021.

394

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 46.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864. С. 403.

Ходасевич В. Ф. Державин. С. 59.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 516.

РА. 1876. Кн. 2. С. 38.

Сб. РИО. 1874. Т. XIII. С. 421–428.

400

Там же.

401

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 3–3 об.

Суворов А. В. Письма. С. 501.

Ходасевич В. Ф. Державин. С. 59.

Архив Государственного совета. Т. I. Ч. 1. Стб. 454.

Ходасевич В. Ф. Державин. С. 59.

Там же. С. 40.

Суворов А. В. Письма. С. 786.

Сб. РИО. 1871. Т. VI. С. 117.

Суворов А. В. Письма. С. 500.

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... Стб. 1021.

Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995. С. 55–85.

Там же. С. 23.

413

РГАДА. Ф. 5. № 86. Ч. 1. Л. 6.

АГС. СПб., 1869. Т. I. Ч. 1. Стб. 455–456.

РГАДД. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 174.

Овчинников Р. В. Следствие... С. 138–176.

Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь // Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век. М., 1988. С. 183.

РГАДА. Ф. 5. Ч. 2. Л. 50.

См. подробнее: Сафонов М. М. Конституционный проект Н. И. Панина — Д. И. Фонвизина// Вспомогательные исторические дисциплины. Т. VI. Л., 1974.

420

РГАДА Ф. 1. № 54. Л. 39.

Там же. Л. 267.

PA. 1911. № 7. C. 330.

Валишевский К. Роман одной императрицы. СПб., 1909. С. 173.

PA. 1906. № 12. С. 614.

ОР РГБ. Ф. 369. Собр. Бонч-Бруевича В. Д. К. 375. № 29. Л. 15–17.

Там же. Л. 17.

Lettres d'amour de Catherine II a Potemkine. Paris, 1934. 9ВИ. 1989. № 7.
С. 118.

ВИ. 1987. № 7. С. 118.

Madariaga I. de. *Russia in the Age of Catherine*. P. 343–344, 567, 580.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 21–24.

КФЦЖ 1774 года. СПб., 1864. С. 197–278.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 513–514.

Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. М., 1989. С. 22.

КФЦЖ 1775 года. СПб., 1878. С. 56.

Там же. С. 69.

Там же. С. 60–61.

437

РГАДА. Ф. 1. №. 53. Л. 8.

PA. 1906. N· 12. C. 614.

Там же. 1881. № 2. С. 17.

Екатерина Великая и Москва. Каталог выставки. М., 1997. С. 59.

441

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 159.

Шильдер Н. К. Император Павел Первый. С. 105.

ПСЗ. СПб., 1830. Т. XX. № 14. С. 303.

444

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 111.

ВИ. 1989. № 9. С. 98.

Сб. РИО. Т. 19. С. 468.

447

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 21.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 152.

Сорокин Ю. А. Павел I. С. 57.

Валишевский К. Вокруг трона. С. 173.

Брикнер А. Г. Эпизод из истории Екатерины II. Смерть великой княгини Натальи Алексеевны// Новь. 1886. Т. XI. № 18. С. 107–118.

Цит. по: Дубровин Н. Ф. Пугачев и его сообщники. СПб., 1884. Т. 3. С. 354.

Овчинников Р. В. Следствие... С. 115.

АВПР. Ф. Сношения России с Францией. Оп. 93/6. № 273. Л. 1–5.

455

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 249.

Шильдер Н. К. Император Павел Первый. С. 105.

457

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 16.

Там же. Л. 258.

Там же. Л. 156.

Барсков Я. Л. Письма Екатерины II Г. А. Потемкину// ВИ. 1989. № 9. С. 103.

461

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 368.

Самойлов А. И. Жизнь и деяния... Стб. 1026.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье... С. 50.

Северный архив. 1822. Ч. 2. № 7-12. С. 38.

465

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 38.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1025–1026.

467

РГАДА. Ф. 6. № 512. Ч. 3. Л. 158.

Там же. Л. 244.

АГС. СПб., 1864. Т. 1. Ч. 2. С. 222.

ПСЗ. СПб., 1830. Т. XX. № 14. С. 354.

Сборник военно-исторических материалов. СПб., 1893–1895. Вып. VI.
С. 54.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 661.

Головина В. Н. Мемуары... С. 103–104.

Миранда Ф. де. Путешествие по Российской империи. М., 2001. С. 44.

Барсков Я. Л. Письма имп. Екатерины II к гр. П. В. Завадовскому//
РИЖ. 1918. Кн. 5. С. 229.

476

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 468—468 об.

КФЦЖ 1775 года. СПб., 1878. С. 458–468.

Там же. С. 437.

Там же.

480

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 24.

Болотина Н. Ю. «Сего числа получил я указ...» // ИА. 1997. № 3. С. 20–34.

РГАДА. Ф. 5. № 8. Ч. 1. Л. 468–468 об.

Там же. Л. 362.

ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 1. № 416. Л. 39.

485

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 34.

РИЖ. Кн. 5. 1918. С. 230.

Цит по: Черкасов П. П. Двуглавый орел... С. 383.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 44–45.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 34.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 639.

Болотина Н. Ю. Чья ты дочь? Судьба Елизаветы Темкиной // Е. Р.Дашкова: Личность и эпоха. М, 2003. С. 181–182. (РГАДА. Ф. 193. № 522. Л. 1.)

РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 58716. Л. 1–6.

РГИА. Ф. 1411. Он. 1. Nq 72. № 9. Л. 41–43 об.

Там же. Ф. 1286. Оп. 1. № 152.

РГИА. Ф. 560. Оп. 1. № 228. Л. 26.

Болотина Н. Ю. Чья ты дочь?.. С. 189–193.

Там же. С. 187.

РГИА. Ф. 468. Оп. 14. N9 642. Л. 1–6.

499

РГАЛИ. Ф. 904. Оп. 1. № 31. Л. 2–3.

КФЦЖ 1775 года. СПб., 1878. С. 417–429.

Цит. по: Сергеев И. Н. Царицыно. М., 1995. С. 49.

КФЦЖ 1775 года. СПб., 1878. С. 418–429.

Екатерина II. Шутливые предсказания // Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 118.

Державин Г. Р. Избранная проза. С. 68.

Сергеев И. Н. Царицыно. С. 53–54.

506

РГАДА. Ф. 1. № 54. л. 36.

PC. 1870. T. II. C. 217.

Пушкин А. С. Замечания о бунте // История Пугачева. Уфа, 1978. С. 153.

Гордин Я. Л. Дуэли и дуэлянты. СПб., 1997. С. 32–35.

Родина. 1999. № 6. С. 34.

Маркиз де Парело. Донесение с характеристикою о лицах, имеющих важное и первенствующее значение при Петербургском дворе// Г. А. Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. С. 77.

PA. 1864. № 9. C. 875.

513

РГАДА. Ф 1.№ 54.Л. 130.

Родина. 1999. № 6. С. 36.

Там же. С. 36–37.

516

РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. № 54. Ч. 10. Л. 62.

Корберон М. Д. Б. Интимный дневник... С. 110–111.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 678.

РИЖ. 1918. Кн. 5. С. 235.

КФЦЖ 1775 года. СПб., 1878. С. 780–782, 826, 830.

Сб. РИО. Т. 19. С. 513.

522

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 255.

Там же. Л. 363–363 об. — 364–364 об.

Там же. Л. 236.

Там же. Л. 133–133 об.

Там же. Л. 398.

Там же. Л. 135.

Там же. Л. 7.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 223.

Там же. Л. 146.

Там же. Л. 147.

Там же. Л. 147 об.

Там же. Ф. 1. № 54. Л. 3–3 об. — За.

Там же.

535

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 140.

Там же. Л. 150.

РГАДА. Л. 135; 391.

Там же. Ч. 2. Л. 305.

Там же. Л. 364–364 об.

Там же. Л. 147 об.

Там же. Л. 363–364 об.

Сб. РИО. Т. 19. С. 509.

РИЖ. 1918. Кн. 5. С. 231.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 524.

КФЦЖ 1775 года. СПб., 1878. С. 665–679.

Барсков Я. Л. Письма императрицы Екатерины II к гр. П. В. Завадовскому // РИЖ. 1918. Кн. 5. С. 232.

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 17–17 об. — 17а.

Там же. Л. 62.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 267.

Там же. Л. 345–345 об.

Там же. Л. 346–346 об.

Барсков Я. Л. Письма императрицы... С. 234.

Сб. РИО. Т. 19. С. 513.

КФЦЖ 1776 года. СПб., 1880. С. 1–186.

Там же. С. 49.

Барсков Я. Л. Письма императрицы Екатерины... С. 232.

557

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 134.

Там же. Л. 397.

Письма графини Е. М. Румянцевой. С. 197.

560

РГАДА. Ф. II. Оп. 1. № 946. Л. 573.

561

Там же. Ф. 1. № 42. Л. 201.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 202.

563

Там же. № 2530. Л. 6.

Болотина Н. Ю. Разные судьбы сестер Воронцовых // Е. Р. Дашкова и А. С. Пушкин в истории России. М., 2000. С. 38.

565

РГАДА. Ф. 5. Ч. 2. Л. 75.

Лопатин В. С. Суворов в своих письмах // Суворов А. В. Письма. С. 503.

567

РГАДА. Ф. 30. № 456. Л. 413.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 356.

Суворов А. В. Письма. С. 356.

Там же. С. 339–340.

Там же. С. 82.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 73.

573

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 3. Л. 23.

Сб. РИО. 1874. Т. 13. С. 382.

PA. 1878. T. I. C. 18.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 77.

577

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 3. Л. 87.

Там же. Ч. 1. Л. 69–69 об.

КФЦЖ 1776 года. СПб., 1880. С. 152.

Там же. С. 154.

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. С. 381.

Сб. РИО. Т. 19. С. 516–517.

583

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 301.

Сб. РИО. 1878. Т. 27. С. 33.

Сб. РИО. 1878. Т. 27. С. 44–46.

Там же. С. 28.

PA. 1878. № 8. C. 29.

588

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 258.

Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 346.

Wraxall Historical Memoirs of my own Time. L., 1815. P. I. P. 107.

КФЦЖ 1776 года. СПб., 1880. С. 186.

Там же. С. 189.

PA. 1878. № 7. C. 279.

Сорокин Ю. А. Павел I. С. 52.

Casteras. Vie de Catherina II. Paris, 1797. P. 160–163.

Фонвизин М. Политическая жизнь в России М. А. Фонвизин // Библиотека декабристов. Вып. IV. 1907. С. 32–33.

597

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 96.

Барсков Я. Л. Письма Екатерины II Г.Н.Потемкину // Вопросы истории. 1989. № 8. С. 115.

599

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 48.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 239.

Сб. РИО. 1874. Т. 13. С. 323.

Там же. С. 271–272.

603

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 49.

Там же. Л. 20.

КФЦЖ 1776 года. СПб., 1880. С. 106–145.

Там же. С. 276–330.

Барсков Я. Л. Письма Екатерины II Г. А. Потемкину // ВИ. 1988. № 12.
С. 121.

608

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 119.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 412.

Там же. Ч. 1.Л. 14.

КФЦЖ 1776 года. СПб., 1880. С. 362.

PA. 1867. C. 1207.

Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 1. С. 363.

614

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 385.

Там же. Ч. 3. Л. 81.

Там же. Ф. 1. № 43. Л. 11–12.

617

Сб. РИО. Т. 19. С. 521.

ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 1. № 416. Л. 43.

Там же. Л. 27.

620

Там же. Л. 54.

Барсков Я. Л. Письма Екатерины II Г. А. Потемкину // ВИ. 1989. № 7. С. 123.

КФЦЖ 1776 года. СПб., 1880. С. 66.

623

ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 1. № 416. Л. 30.

624

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 392.

КФЦЖ 1776 года. СПб., 1880. С. 436.

Сб. РИО. Т. 19. С. 521.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 43.

Сб. РИО. Т. 27. С. 105–107.

Барсков Я. Л. Письма имп. Екатерины II гр. П. В. Завадовскому // РИЖ. С. 235–236.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 40.

ОРРГБ. Ф. 369. Собр. Бонч-Бруевича В. Д. К. 375. Ед. хр. 29. Л. 17.

Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine. P. 564.

633

РГАДА. Ф. 5. № 85. 4. 1. Л. 146.

Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 396.

635

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 22.

Там же. Л. 29.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1208.

Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир. С. 278–308.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1209.

640

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 3. Л. 49.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 41.

642

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 88.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб., 1900. С. 113.

Богуш-Сестренцевич С. История царства Херсонеса Таврического.
СПб., 1806. Т. 2. С. 351.

ЧОИДР. 1874. Кн. 4. С. 48.

646

ATC. T. 1.C. 107.

Сб. РИО. 1874. Т. 13. С. 180.

648

ATC. T. 1.C. 126.

Там же. С. 122.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. СПб., 1876. Т. 28. С. 349.

Пашков Ф. Ф. Шагин-Гирей, последний крымский хан. Симферополь, 1991. С. 17.

Сб. РИО. Т. 17. С. 133. С. 133.

Лашков Ф. Ф. Шагин-Гирей... С. 22.

Там же. С. 23.

Там же. С. 23–24.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 69.

Лашков Ф. Ф. Шагин-Гирей... С. 26.

ВОИДР. 1856. Кн. 24. С. 103–104.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 43.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 138.

661

АТС. СПб., 1869. Т. I.C. 331.

662

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 8.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 45.

664

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 154.

665

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 44.

Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова. СПб., 1857. Т. I. С. 42.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1214.

668

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 59.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1204–1215.

670

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 31.

Сочинения и письма Хемницера по подлинным его рукописям. СПб., 1873. С. 48.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния. Стб. 1210.

Лопатин В. С Потемкин и Суворов. С. 49.

674

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 76.

Суворов А. В. Письма. С. 508.

Самойлов А. И. Жизнь и деяния... Стб. 1213.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 605.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 45.

Кабузан В. М. Народы России... С. 192–193.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 69.

681

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. III. Л. 27.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 129.

АГС. СПб., 1869. Т. I. Ч. 2. Стб. 221.

684

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. III. Л. 26.

685

Там же. Л. 54.

Там же. Л. 53.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 45.

688

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. III. Л. 270.

РИЖ. С. 236.

Архив князя Воронцова. Т. 12. С. 11.

РИЖ. С. 256.

Там же. С. 249.

Там же. С. 233.

Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. М., 1990. С. 58.

РИЖ. С. 239.

Там же. С. 251.

Там же. С. 256.

Там же. С. 254.

699

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 37.

РИЖ. С. 239.

701

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 377.

РИЖ. С. 257.

Там же. С. 237.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 448.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 446.

706

ГАРФ. Ф. 728. Оп. I. № 416. Л. 51.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 676.

Там же. 677.

Ленрут Э. Великая роль... С. 106.

Родина. 1997. N· 10. С. 84.

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. С. 377–378.

История родов русского дворянства. СПб., 1886. Т. 2. С. 268.

ВИ. 1989. № 9. С. 102.

Корберон М. Д. Интимный дневник... С. 132.

715

Там же.

Бантыш-Каменский Д. М. Биографии... С. 244.

717

РГАДА. Ф. 1. № 54.Л. 16.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 678.

Заичкин И. А., Почкаев И. И. Екатерининские орлы. М., 1996. С. 153.

Соловьев С. М. История России. Кн. XIV. С. 121.

Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Екатерининские орлы. С. 162.

722

См. подробнее: РА. 1866. № 1.

История дипломатии. М, 1941. Т. 1. С. 307.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 603–607.

725

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 402.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 469.

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 98–99.

Гаррис Д. Донесения британскому правительству // Потемкин. От
вахмистра до фельдмаршала. С. 55.

Там же. С. 56.

Там же. С. 59.

Там же. С. 59–60.

Там же. С. 61.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 605.

Ameth et Geffroy. Marie-Antoinette. Correspondence secrete entre Marie-Therese et le Mercy-Argenteau. P., 1874. VIII. P. 404–405.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 342–343.

Papers and correspondence of James Harris. L., 1844. V. I. P. 175.

PC. 1908. № 9. C 439.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 379.

Там же. С. 375.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 58.

741

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 110–111.

Ameth A.-R. Maria Therezia und Ioseph. P., 1874. V. III. P. 305. м Сб.
РНО. 1864. Т. 9. С. 51.

Сб. РИО. 1864. Т. 9. С. 51.

Там же. 1878. Т. 23. С. 128.

Иосиф II. Письма императрице Марии-Терезии // Потемкин. От
вахмистра до фельдмаршала. С. 173.

746

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 102.

Arneth A.-R. Maria Theresia und Jozeph. V. III. P. 251–255.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 380.

Там же. С. 378.

Иосиф II. Письма императрице Марии-Терезии. С. 174.

751

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 81.

Гаррис Д. Донесения британскому правительству. С. 63.

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 180–181.

Papers and correspondence of James Harris. V. I. P. 313–314.

Иосиф II. Письма императрице Марии-Терезии. С. 174–175.

756

PC. 1872. T. 5. № 3. C. 463.

757

РГАДА. Ф. II. № 873.

PA. 1911. № 6. C. 188.

759

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 82–83.

Arneth A.-R. Maria Theresia und Jozeph. V. III. P. 256–259.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 380.

Иосиф II. Письма императрице Марии-Терезии. С. 175.

Там же. С. 176.

Papers and correspondence of James Harris. V. I. P. 324–340.

Гаррис Д. Донесения британскому правительству. С. 63.

766

Там же.

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 561.

Гаррис Д. Донесения британскому правительству. С. 64.

Гаррис Д. Донесения британскому правительству. С. 66.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 58.

Иосиф II. Письма императрице Марии-Терезии. С. 175.

PC. 1908. № 9. C. 442–443.

Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. М., 1999. С. 183.

Понятовский С. Мемуары. С. 107.

Гаррис Д. Донесения британскому правительству. С. 66.

История России. 1958. № 4. С. 56–57.

Герц фон А. Русский двор в 1780 году. Памятная записка, врученная прусскому принцу 23августа 1780 г. в Нарве// Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. С. 178–185.

Письма графа П. В. Завадовского к фельдмаршалу графу П. А. Румянцеву 1775–1791 годов. СПб., 1901. С. 35.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 606.

Гаррис Д. Донесения британскому правительству. С. 72.

История дипломатии. М., 1941. Т. 1. С. 310.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 606.

История дипломатии. С. 310.

Гаррис Д. Донесения британскому правительству. С. 55.

Маркиз де Парело. Донесение... С. 78.

Гаррис Д. Донесения британскому правительству. С. 66.

Там же. С. 68.

Там же. С. 69–70.

Там же. С. 72.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 614.

791

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 101.

Ameth A.-R. Jozeph II und Katharina von Russland. Wien, 1869. P. 32.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 380.

ΓΑΡΦ. Φ. 728. Οπ. 1. Υ. Ι. № 416.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 393.

796

РГАДА. Ф. 5. N9 85. Ч. I. Л. 104.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 393.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 63.

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 61–61 об.

800

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 121.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 206–207.

802

РГАДА. Ф. 85. Ч. I. Л. 88.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 63.

Брикнер А. Г История Екатерины II. С. 394.

Arneth A.-R. Jozeph II und Katharina. P. 143–157.

806

АВПР. Ф. 5. N· 591. 4. I. Л. 99-113 об.

807

Там же. Л. 99-100 об.

Там же. Л. 199–110.

Там же. Л. 113–113 об.

Там же. Л. 105–106 об.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 62.

Дубровин Н. Ф. Присоединение Крыма к России. СПб., 1889. Т. IV. С. 836–838.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 444.

Вернадский Г. В. Записки о необходимости присоединения Крыма к России. Б. г. С 9-10.

815

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 122.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 215.

817

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 123.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 217.

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 124–125.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 63.

821

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 126–126 об.

Дубровин Н. Ф. Присоединение Крыма... С. 860.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 65.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 400.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 221.

826

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 37.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 67.

Arneth A.-R. Joseph II und Katharina. P. 169–170.

АВПР. Ф. 5. № 588. 4. II. Л. 37–37 об.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 399.

Arneth A.-R. Joseph II und Katharina. P. 169.

Там же. Р. 188.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 400.

Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine. P. 394.

835

РГАДА. Ф. 10. Оп. 3. № 557. Л. 1–2.

Сегюр Л. де. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989. С. 360–361, 373.

837

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 9. Л. 2–3.

Дашкова Е. Р. Записки. С. 125.

Там же. С. 105.

Там же. С. 132.

Там же. С. 142.

Там же. С. 134.

Там же. С. 140.

Там же. С. 149.

Там же. С. 140.

General Observations Regarding the Present State of the Russian Empire.
L., 1787. P. 34.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 249–250.

848

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. III. Л. 63.

Там же. Ч. I. Л. 439.

850

Там же. Ф. 1. № 43. Л. 72–73 об.

Arneth A.-R. Jozeph II und Katharina. P. 196.

852

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 442.

853

Там же. Л. 440.

854

Там же. Ф. 1. № 43. Л. 61.

855

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 449.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1209–1210.

Дубровин Н. Ф. Присоединение Крыма... Т. IV. С. 836.

Сб. РИО. Т. 22. С. 210.

ЗООИД. Т 13. С. 141.

PA. 1867. C. 1221.

861

РГАДА. Ф. 1. № 43.Л. 84.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 450–451 об.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 259.

Die Papieren des Gustav der III-s. Hamburg, 1845. V. III. P. 193.

Ленрут Э. По-родственному // Родина. 1997. № 10. С. 85.

866

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 502.

867

Там же. Ф. 11. Оп. 1. № 913. Л. 1–2.

868

Там же. Ф. 1. № 43. Л. 76–77 об.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 400.

870

Сб. РИО. Т. 27. С. 232.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 74–75.

Суворов А. В. Письма. С. 535.

Лашков Ф. Ф. Шагин-Гирей... С. 33–34.

PC. 1875. № 1. C. 76–77.

ЗООИД. Т. 13. С. 149.

Arneth A.-R. Joseph II und Katharina. P. 202.

Там же. Р. 206.

878

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 456–456 об.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 259.

880

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 450–451 об.

881

Там же. Ф. 1. N9 43. Л. 78–79 об.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 461–461 об.

883

Там же. Ф. 1. № 43. Л. 80–82 об.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № VI. С. 226.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 404.

886

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 503.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 268.

888

РГАДА. Ф. 5. № 85. Л. 504.

889

Там же. Ф. 1. № 43. Л. 86.

890

Там же. Л. 67.

Суворов А. В. Письма. С. 89.

Лашков Ф. Князь Г. А. Потемкин-Таврический как деятель Крыма.
Симферополь, 1890. С. 6, 15.

893

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 69.

Лашков Ф. Князь Г. А. Потемкин-Таврический... С. 15.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 56, 67, 69.

896

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 69–70.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 506.

Там же. Ф. 1. № 43. Л. 64–65.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 507–507 об.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 274.

Там же. С. 275.

902

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 508.

Там же. Л. 509.

Там же. Л. 513.

Там же. Л. 520.

Там же. Л. 524.

907

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 521.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 404.

909

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 525.

Лопатин В. С Потемкин и Суворов. С. 67.

911

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 507.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 404.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 234.

Лашков Ф. Князь Г. А. Потемкин-Таврический... С. 6.

915

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 487.

Дашков Ф. Князь Г. А. Потемкин-Таврический... С. 8–10.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 76.

Сегюр Л. де. Записки. С. 453.

Храповицкий А. В. Памятные записки статс-секретаря императрицы Екатерины II. М., 1990. С. 30.

Киевская старина. 1891. № 9. С. 417.

921

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 513.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 80.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 317–330.

924

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 2. Л. 1.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 318.

Там же. Т. 23. С. 497–499.

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 531–532.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 92.

929

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 96.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 268.

931

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 534–534 об.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 80.

933

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 507.

Там же. Л. 538.

Сегюр Л. де. Записки. С. 451.

936

ОР РНБ. Ф. 73. № 262. Л. 4.

Кабузан В. М. Народы России... С. 193–197.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 30.

Ходасевич В. Ф. Державин. С. 101.

Державин Г. Р. Избранная проза. С. 254.

Там же. С. 256.

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 561.

ГАРФ. Ф. 728. Оп. I. Ч. I. № 417. Л. 8.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 230.

Там же. С. 229.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 675.

Соч. императрицы Екатерины II. Т. 12. 2-й полутом. С. 656.

PC. 1908. № 6. C. 627.

Герц фон А. Русский двор... С. 199.

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. С. 378.

Дашкова Е. Р. Записки. С. 151, 163.

Валишевский К. Вокруг трона. С. 370.

Там же. С. 371.

Сб. РИО. Т. 26. С. 281.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 765.

Сегюр Л. де. Записки. С. 392.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 9.

Сегюр Л. де. Записки. С. 392–393.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 12.

Державин Г. Р. Избранная проза. С. 260.

Сегюр Л. де. Записки. С. 390.

Masson Ch. F. Ph. Memoires secrets sur la Russie. Paris, 1800. V. I. P. 151.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1574.

Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. 1. С. 363.

Караванов П. Ф. Статс-дамы и фрейлины русского двора в XVIII и XIX столетиях // РС. 1871. № IV. С. 381.

Прянишникова М. П. Из истории нотного собрания Воронцовых: музыка в жизни Е. А. Синявиной, в замужестве Воронцовой // Е. Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001. С. 170.

КФЦЖ за 1776 г. СПб., 1880. С. 114.

Архив князя Воронцова. Т. 22. С. 497.

Рибопьер А. И. Записки // Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала.
С. 123.

970

РГАДА. Ф. II. Оп. 1. № 946. Ч. 5. Л. 595.

PC. 1875. T. 12. C. 40.

972

РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 135.

973

Там же. Л. 26.

PA. 1911. № 6. C. 202–203.

ВИ. 1989. № 7. С. 132.

PC. 1908. № 6. C. 627.

ИБ. 1900. № 1. С. 175.

Знаменитые россияне XVIII–XIX веков. СПб., 1996. С. 72–13.

PC. 1875. T. 12. C. 512–522.

ОР РГБ. Ф. 369. Собр. Бонч-Бруевича В. Д. К. 735. М. 29. Л. 22.

981

Там же.

Фукс Э. История нравов. Галантный век. М., 1994. С. 177–178.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 251.

Сегюр Л. де. Записки. С. 347.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 86, 95.

Там же. С. 50.

Сб. РИО. Т. 29. С. 113–114.

Голицын Ф. Н. Записки // Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала.
С. 199.

Барсков Я. Л. Письма Екатерины II Г.А.Потемкину// ВИ. 1989. № 12.
С. 122.

990

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 266, 340, 415.

Бибигов П. А. Письмо А. Б. Куракину // Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. С. 201.

992

РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. № 2607. Л. 33.

993

Там же. Л. 32.

994

Там же. Л. 34 об.

995

Там же. Л. 39.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 96.

Там же. С. 60.

Линь Ш.-Ж. де. Письма// Потемкин. Последние годы. С. 69.

Сегюр Л. де. Записки. С. 339.

1000

Неизвестный автор. О приватной жизни князя Потемкина // Потемкин. Последние годы. С. 158.

1001

Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. I. С. 455.

1002

Пушкин А. С. Table-talk// Поли. собр. соч. Т. 12.

1003

Неизвестный автор. О приватной жизни... С. 153.

Лонжерон А. Ф. Записки// Потемкин. Последние годы. С. 126.

1005

Рибопьер А. И. Записки. С. 123.

Вигель Ф. Записки. Т. I. Ч. I. С. 174.

Неизвестный автор. О приватной жизни... С. 162.

Бюлер Ф. А. Черты из жизни князя Потемкина // Потемкин. Последние годы. С. 190.

1009

Неизвестный автор. О приватной жизни... С. 162.

Дама Р. де. Записки // Потемкин. Последние годы. С. 29.

Сегюр Л. де. Записки. С. 387.

Глинка С. Н. Записки. С. 341–342.

Болотов А. Т. Записки // РС. Т. VII. С. 257–258.

Неизвестный автор. О приватной жизни... С. 163.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 278.

1016

ПСЗ. Т. XX. № 14392.

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений... С. 130–131.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 572.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 65.

Богумила А. К истории управления Новороссии кн. Г. А. Потемкиным. Ордера 1790–1791 гг. Екатеринослав, 1905. С. 19–43.

Неизвестный автор. О приватной жизни... С. 153–154.

Богумила А. К истории управления... С. 85–93.

Ловягин А. М. Григорий Александрович Потемкин. С. 40.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. М., 1992. С. 115.

Неизвестный автор. О приватной жизни... С. 159.

Бюлер Ф. А. Черты из жизни... С. 200–201.

1027

Бумаги. С. 65.

Вернадский Г. В. Записки... С. 9.

Лашков Ф. Князь Г. А. Потемкин. С. 8.

ЗООИД. Т. 2. С. 773.

1031

Бумаги. С. 26.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 76.

1033

Бумаги. С. 54.

Там же. С. 119.

Там же. С. 120.

Там же. С. 54.

Там же. С. 85.

Лашков Ф. Князь Потемкин-Таврический... С. 15.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 78.

1040

Там же. С. 62.

Ловягин А. М. Григорий Александрович Потемкин. С. 52.

Разумовский К. Г. Письмо М. И. Коваленскому // Потемкин. Последние годы. С. 143.

1043

Бумаги. С. 121–135.

Ловягин А. М. Григорий Александрович Потемкин. С. 43.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 75.

Фалеев М. Л. Мирные предначертания князя Потемкина // Потемкин. Последние годы. С. 144–149.

Лашков Ф. Князь Потемкин-Таврический... С. 10.

Жизнь князя Гр. Ал. Потемкина-Таврического. С. 91.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 78.

Фалеев М. Л. Мирные предназначения... С. 148.

Там же. С. 149.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 34, 59.

1053

Сб. РИО. Т. 29. С. 290.

РА. 188. Кн. 3. С. 364–367.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 31.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 272.

Потемкин Г. А. Приказ в войска, начальству моему Высочайше
вверенные// РС. 1873. Кн. VIII.

Ловягин А. М. Григорий Александрович Потемкин. С. 39.

Бородкин М. Русская армия при Екатерине II. Военно-исторические заметки // ВС. 1909. № 8. С. 19.

Леонов О., Ульянов И. Регулярная пехота. 1698–1801. М., 1995. С. 137.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 94.

Там же. С. 140.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 37.

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. С. 387.

Фельдмаршал Румянцев: Собрание документов и материалов. М., 1947. С. 78.

1066

Бумаги. С. 106.

1067

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 59.

Маркова О. П. О происхождении так называемого Греческого проекта (80-е годы XVIII в.) // ИСССР. 1958. № 4. С. 66.

1069

РГАДА. Ф 5. № 85. Ч. II. Л. 2.

Храповицкий А. В. Дневник. 1782–1793. СПб., 1874. С. 8.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 282–283.

1072

РГВИА. Ф. 54. Оп. 2. Д. 37. Л. 19–19 об.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 100.

Сегюр Л. де. Записки. С. 338.

1075

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 392.

1076

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 434.

1077

PA. 1879. № 2. C. 432.

КФЦЖ 1787 года. СПб., 1886. С. 363.

АВПР. Ф. 5. № 588. Ч. I. Л. 273–274.

1080

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 476.

Сегюр Л. де. Записки. С. 370–372.

Там же. С. 355–356, 358–360, 381.

1083

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. И.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 392.

1085

PC. 1876. № VI. C. 243.

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 392.

АВПР. Ф. 5. № 591. Ч. I. Л. 217–218.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 426.

КФЦЖ 1787 года. СПб., 1886. С. 1.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. Т. 2. С. 407.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 20.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 81.

1093

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 2. Л. 29.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. Т. 15. № 1. С. 22–26.

1095

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 284.

Брикнер А. Г. Путешествие Екатерины II в Крым // ИВ. 1885. № 9. С. 460–461.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 775.

1098

АВПР. Ф. 5. № 591. Ч. I. Л. 109–110.

Альперович М. С. Франсиско де Миранда в России. М., 1986. С. 76–78.

Соловьев С. М. История падения Польши. М., 1863. С. 174.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 102.

Kalinka W. Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, Krakow, 1891.
Cz.2. S. 11.

Знаменитые россияне XVIII–XIX веков. СПб., 1996. С. 35.

Удовик В. А. Символ веры А. Р. Воронцова // Воронцовы — два века в истории России. Материалы научной конференции. Владимир, 1992. С. 9.

Скепнер Л. С. А. Р. Воронцов и М. Н. Радищев // Воронцовы. С. 9. 125.

1106

Бумаги. С. 26.

Лашков Ф. Князь Потемкин-Таврический... С. 9.

Архив князя Воронцова. М., 1870–1895. Кн. XII. С. 38.

Барсков Я. Л. Письма Екатерины II Г.А.Потемкину// ОРРГБ. Ф. 369.
Собр. Бонч-Бруевич В. Д. К. 375. Ед. хр. 29. Л. 17.

1110

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. Т. 15. № 1. С. 28.

1111

Там же. № 2. С. 240.

Барсков Я. Л. Письма... Л. 18.

Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine. P. 370–371.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 284.

КФЦЖ 1787 года. СПб., 1886. С. 333.

Брикнер А. Г. Путешествие Екатерины II в Крым... С. 460.

Сегюр Л. де. Записки. С. 442.

1118

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 24.

1119

Там же. Л. 22.

Брикнер А. Г. Путешествие Екатерины II в Крым... С. 465.

1121

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 23.

Сегюр Л.-Ф. Записки. С. 443.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 28.

Брикнер А. Г. Путешествие Екатерины II в Крым... С. 462.

Сегюр Л. де. Записки. С. 444.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье... С. 27.

1127

Minerva. 1797–1800.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье... С. 27.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 112.

1130

KC. 1891. № 7. C. 28, 31.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 405.

Pansalvin Furst der Finstemiss und seine Geliebte, so gut wie geschehen.
Germanien, 1794.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 52.

Там же. С. 70–71.

Там же. С. 60.

Там же. С. 57.

Там же. С. 45.

Там же. С. 74.

Там же. С. 47.

Миранда Ф. де. Путешествие... С. 94.

Там же. С. 102.

1142

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 26.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 28.

Сб. РИО. Т. 23. С. 499.

1145

Сегюр Л. де. Записки. С. 451.

1146

Там же. С. 450.

1147

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 183.

1148

KC. 1891. № 8. C. 241.

КФЦЖ 1787 года. СПб., 1886. С. 432.

Дримпелшан Э. В. Записки немецкого врача о России в конце
прошлого века // РА. 1881. № 1. С. 42.

Сегюр Л. де. Записки. С. 347.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. Т. II. С. 408.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 29.

1154

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 21.

1155

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 96.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 249.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 32.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1235–1236.

1159

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 37.

Там же. Ч. I. Л. 543–543 об.

1161

PC. 1908. № 9. C. 439.

1162

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 145–146.

1163

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 10. Л. 8-10.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 399.

1165

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 148.

1166

ОР РНБ. Ф. 73. № 262. Л. 3.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 190–191.

Соловьев С. М. История падения Польши. С. 174.

1169

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 150.

1170

Там же. Л. 149.

1171

ОР РНБ. Ф. 73. № 262. Л. 4–7.

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 418.

СОРЯС. 1884. Т. 33. С. 2.

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 343–344.

1175

ОР РНБ. Ф. 73. № 262. Л. 10.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 38.

Гарновский М. А. Записки. С. 52.

1178

Там же. С. 247.

1179

ОР РНБ. Ф. 73. № 262. Л. 10.

Гарновский М. А. Записки. С. 258.

Там же. С. 250.

Тургенев А. М. Записки // Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала.
С. 205.

1183

Там же. С. 247.

Глинка С. Я. Записки. С. 319.

1185

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 143–143 об.

1186

РГАДА. Ф. 5. № 55. Ч. II. Л. 43.

1187

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 152–152 об.

1188

Бумаги. С. 150.

Там же. С. 151.

1190

АВПР. Ф. 75. № 585. Л. 314–314 об.

Лопатин В. С Потемкин и Суворов. С. 123.

Alexandr J. T. Catherine, *Life and Legend*. Oxford University Press, 1989.
P. 263.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус. С. 184–185.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 2. С. 256; № 3. С. 473–474.

Там же. № 2. С. 260.

Там же. С. 254.

1197

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 49–50.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 27. С. 263.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 405.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус. С. 185.

1201

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 153.

1202

Там же.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 2. С. 264.

1204

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 52–52 об.

Лопатин В. С Потемкин и Суворов. С. 123.

Суворов А. В. Письма. С. 115.

Суворов А. В. Документы. Т. 2. С. 342.

1208

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 337–337 об.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 3. С. 476–477.

Лубяновский Ф. И Воспоминания. 1767–1831. М., 1872. С. 59.

1211

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 317–319.

1212

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 546–547.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 3. С. 473.

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 188–189 об.

1215

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 553 об.

1216

PC. 1875. № 5. C. 23.

Суворов А. В. Документы. С. 121.

1218

Там же. С. 120.

1219

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 191–191 об.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 3. С. 474.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус. С. 189.

1222

Там же. С. 195.

1223

Суворов А. В. Документы. С. 133.

СБВИМ. 1893. Вып. IV. С. 200.

1225

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 56.

1226

Там же. Л. 61.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 3. С. 474.

АВПР. Ф. 75. № 585. Л. 185–186.

1229

Там же. Л. 166.

1230

Там же. Л. 368–372 об.

1231

Там же. Л. 373–374.

1232

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 64–67 об.

1233

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 447.

1234

Там же.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 6. С. 233.

1236

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 548–549.

1237

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 312–313.

1238

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 59.

1239

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 549.

Там же. Л. 557–560.

1241

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 424.

Там же. 1879. Т. 26. С. 407.

1243

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 157–158.

Там же. № 85. Ч. I. Л. 561–561 об.

1245

Сб. РИО. 1880. Т. 27. С. 460.

1246

Бумаги. С. 185.

Там же. С. 165.

1248

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 160.

1249

Там же. Л. 175.

Сб. РИО. 1881. Т. 29. С. 3.

Сорокин Ю. А. Павел I. С. 51–53.

1252

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 767.

1253

РГАДД. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 85.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 4. С. 697.

1255

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 429.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 4. С. 716.

1257

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 172 об.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 5. С. 12.

1259

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 182 об.

1260

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 11. Л. 17.

Костомаров Н. И. Последние годы Речи Посполитой. СПб., 1870. С. 151.

1262

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 11. С. 20–21.

1263

Там же. С. 22–24 об.

1264

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 168 об-169.

1265

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 79–80.

1266

Там же. Л. 313.

1267

Там же. Л. 79.

1268

Там же. Л. 88.

1269

Там же. № 585. Л. 195 об-196.

1270

Там же. Л. 193.

1271

Там же. № 589. Л. 87 об.

1272

Там же. Л. 86 об.

1273

Там же. № 585. Л. 78–79 об.

1274

Там же. № 589. Л. 87.

1275

Там же. № 85. Ч. II. Л. 93.

1276

РГВИА. Ф. ВУА. № 2388. Л. 20.

1277

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 103.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 822.

1279

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 59.

1280

Там же. С 63.

1281

Там же. С. 60.

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова. 1788 год. Дневник очевидца // Потемкин. Последние годы. С. 73, 80.

1283

Там же. С. 74.

Там же. С. 76.

1285

Там же. С. 78.

1286

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 68.

1287

АГС. СПб., 1869. Т. 1.С. 493.

Григорович Н. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени // Сб. РИО. 1881. Т. 29. С. 2.

Архив князя Воронцова. Т. 13. С. 107.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 54.

1291

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 92.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 4. С. 715.

1293

АВПР. Ф. 5. № 587. Л. 174–179.

1294

Там же.

1295

Там же. Л. 382.

Сб. РИО. Т. 23. С. 449.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 452.

Рогинский В. В. Густав III // Исторический лексикон. С. 229.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 5. С. 15.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус. С. 184.

1301

Ордер Г. А. Потемкина М. И. Войновичу 10 июля 1788 // Бумаги. С. 350.

1302

Линь Ш-Ж. де. Письма. С. 65.

1303

Дама Р. де. Записки. С. 35–36.

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова. С. 78–79.

1305

Там же. С. 81.

Там же. С. 83–84.

1307

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 65.

1308

Там же. С. 63.

Там же. С. 68–69.

1310

Там же. С. 64.

Дама Р. де. Записки. С. 37–38.

1312

Там же. С. 43.

1313

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 67.

1314

АВПР. Ф. 2. Оп. 2/8а. № 21. Л. 97.

1315

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 64.

1316

Дама Р. де. Записки. С. 44–45.

1317

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 71.

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 88.

1319

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 63.

1320

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 182 об.

1321

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 73.

1322

PC. 1876. № 7. C. 471.

Суворов А. В. Письма. С. 142.

МИРФ. СПб., 1895. Ч. XV. С. 125.

1325

Alexandr J. T. Catherine. P. 267.

1326

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 278–279 об.

1327

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 92.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 6. С. 224.

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 121.

1330

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 93.

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 87.

1332

Там же. С. 40.

1333

PC. 1876. № 5. C. 24.

1334

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 110–112.

1335

Там же. Л. 108.

1336

PC. 1876. № 7. C. 475.

1337

Там же. № 5. С. 25.

1338

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 125–128 об.

Григорович Н. Канцлер... С. 28.

1341

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 113.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 259.

Григорович И. Канцлер... С. 30.

Segur, Count L. de. *Memoirs and Recollections of Count Segur, Ambassador from France to the Courts of Russia and Prussia.* L., 1827. P. 382.

1345

PC. 1876. № 5. C 23.

1346

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 117–117 об.

Брикнер А. Г История Екатерины II. С. 456.

Segur, Count de. L. Memoirs. P. 387.

Цит. по: Ленрут Э. Великая роль... С. 194.

Брикнер А. Г История Екатерины II. С. 460.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 5. С. 27.

1352

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 121.

1353

PC. 1876. № 5. C. 25–26.

Архив князя Воронцова. Т. 9. С. 131.

1355

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 260.

1356

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 129.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 139.

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 176.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 260.

1360

PC. 1875. N9 5. C. 38.

1361

АВПР. Ф. 5. N9 585. Л. 263–263 об.

Полевой Н. А. История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса российских войск. СПб., 1858. С. 133–135.

1363

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 133 об.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 93.

1365

Дама Р. де. Записки. С. 41.

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 175.

1367

Дама Р. де. Записки. С. 17.

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 70–71.

1369

PC 1875. Nq 6. C. 160.

1370

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 279.

Брикнер А. Г История Екатерины II. С. 459–462.

Шильдер И. К. Екатерина II и Густав III, король шведский // РС. 1876.
№ 11. С. 434.

1373

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 141.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 299.

Григорович Н. Канцлер... С. 41.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 443.

1377

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 294.

1378

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 59.

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 497.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 208.

1381

PC. 1876. № 6. C. 220.

Там же. С. 223.

1383

АТС. СПб., 1869. Т. I. С. 615.

1384

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 281 об. — 282 об.

Там же. Л. 179–180.

1386

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 145–147.

1387

Сб. РИО. 1878. Т. 26. С. 300.

1388

Там же. С. 301.

1389

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 285 об.

1390

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 152.

PC. 1876. № 6. C. 224–231.

1392

Там же. С. 229.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 140.

1394

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 151–151 об.

1395

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 259.

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 90, 97.

1397

Там же. С. 90.

1398

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 71.

1399

Дама Р. де. Записки. С. 45.

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 91.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус. С. 249–250.

Лопатин В. С. Письма, без которых история становится мифом // Екатерина II и Г. А. Потемкин. С. 849.

1403

Дама Р. де. Записки. С. 48.

1404

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 92.

1405

Там же.

1406

Дама Р. де. Записки. С. 47.

1407

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 72.

1408

PC. 1876. № 3. C. 483.

1409

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 261.

1410

Линь Ш.-Ж. де. Письма. С. 71.

1411

Дама Р. де. Записки. С. 49.

1412

Там же. С. 51.

1413

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 97.

1414

Дама Р. де. Записки. С. 51.

1415

Ведомость об убитых и раненых во время штурма Очакова // РГВИА,
Ф. 52. Оп. 2. N9 11. Л. 74.

1416

Дама Р. де. Записки. С. 53–54.

1417

Там же. С. 55.

1418

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 288 об.

1419

KC. 1888. № 12. C. 557.

Цебриков Р. М. Вокруг Очакова... С. 99.

1421

Дама Р. де. Записки. С. 55.

1422

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 149.

1423

АТС. СПб., 1869. Т. I. С. 639.

1424

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 11. Л. 258 об.

1425

Там же. Л. 255–255 об.

1426

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 290–291 об.

1427

Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 3–4.

Суворов А. В. Письма. С. 174.

1429

РГАДА. Ф 5. № 85. Ч. I. Л. 427.

1430

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 296.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 6. С. 234.

1432

КФЦЖ 1789 года. СПб., 1888. С. 70.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 424–425.

1434

АВПР. Ф. 5. № 591.

1435

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 427.

1436

Там же. Л. 163.

1437

Там же. Ч. II. Л. 49.

Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine. P. 563.

1439

СБВИМ. СПб., 1893. С. 357.

Завадовский П. В. Письма С. Р. Воронцову. С. 243–244.

1441

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 299–301.

Там же. Л. 304–305.

1443

Там же. Л. 382.

1444

Там же. Л. 304.

Заборов П. Р. Из эпистолярного наследия Луи-Филиппа де Сегюра: пять писем к Г. А. Потемкину // Дипломаты-писатели; писатели-дипломаты. СПб., 2001.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. Т. 2. С. 488.

1447

РА. 1866. Стб. 1577–1685.

1448

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 70.

Соловьев С. М. Европа в конце XVIII века // РВ. 1862. Т. 39. С. 443.

Григоровичи. Канцлер... С. 55.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 7. С. 414.

1452

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 336 об.

1453

Дама Р. де. Записки. С. 50.

Чичагов Л. В. Записки. М., 2002. С. 408–409.

КФЦЖ 1789 года. СПб., 1888. С. 180.

1456

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 156.

1457

Там же. Л. 106.

КФЦЖ 1789 года. СПб., 1888. С. 198.

1459

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 12. Л. 26.

1460

Там же. Л. 27.

1461

Там же. № 15. Л. 171.

1462

Там же. № 12. Л. 30.

1463

СБВИМ. Вып. VII. С. 118–120.

1464

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 308.

1465

Там же. Л. 307.

1466

Там же. Л. 309.

1467

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 244.

1468

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 15. Л. 174.

1469

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 123–123 об.

1470

PC. 1899. № 4. C. 93.

Тарунов А. М. Дубровицы. М., 1991. С. 51–55.

1472

РГАДА. Ф. 5. N9 85. Ч. II. Л. 30.

1473

PC. 1876. № 2. C. 265.

Тарунов А. М. Дубровицы. С. 57–58.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 195.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 7. С. 299–302.

Семевский М. И. Князь Платон Александрович Зубов.
Биографический очерк. 1768–1822 // РС. 1876. № 9. С. 50.

Грибовский А. М. Записки о императрице Екатерине Второй. М., 1989.
С. 7.

1479

РГАДА. Ф 5. № 85. Ч. II. Л. 7–7 об.

Гарновский М. А. Записки // РС. 1876. № 7. С. 404.

1481

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 164.

1482

Там же. Ф. 1. N9 43. Л. 42.

1483

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 167–167 об.

1484

Там же. Л. 3 об.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 195.

1486

PC. 1876. № 7. C. 403.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 195.

1488

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 163.

Тарунов Л. М. Дубровицы. С. 60–61.

1490

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 167.

1491

Там же. Л. 184.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 205.

Там же. С. 406–413.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 161–162.

1495

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 13. Л. 122.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 203.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 424–425.

ЗООИД. Т. 8. С. 206.

1499

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 183.

1500

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 132–133.

1501

Там же. Л. 245.

1502

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 197.

1503

Там же. Л. 199.

1504

Там же. Л. 198 об.

1505

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 14. Л. 41–42.

1506

Там же. Л. 130.

1507

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 332.

1508

Там же. Л. 144.

1509

Там же. Л. 326.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 176.

Энгельгардт Л. Я. Записки. С. 272.

1512

Там же. С. 260.

Лонжерон А. Ф. Записки // Потемкин. Последние годы. С. 126–127.

Древняя и новая Россия. 1875. Т. III. С. 335.

Головина В. Н. Мемуары... С. 106.

PC. 1881. № 3. C. 681–684; № 5. C. 164–171.

1517

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 234.

1518

Там же. Л. 126 об. — 127.

1519

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 218 об.

1520

Там же. Л. 236.

1521

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 37. Л. 146.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 176.

1523

АВПР. Ф. 5. № 589. Л. 214–216.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 418–419.

Там же. 1882. Т. 29. С. 67.

1526

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 334–335 об.

1527

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 15. Л. 131.

Там же. Л. 137–138.

1529

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 206.

1530

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 129.

1531

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 15. Л. 140–141.

1532

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 203.

1533

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 101–102.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 418–419.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 214.

Костомаров Н. И. Последние годы Речи Посполитой. СПб., 1870. С. 195–198, 252.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус. С. 226–227.

1538

РГАДА. Ф. 5. N9 85. Ч. II. Л. 214.

1539

Там же. Л. 218.

1540

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 325.

1541

Там же. Л. 360.

1542

Бумаги. С. 18.

Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 57–58.

1544

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 323.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 272.

1546

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 323 об.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 422.

1548

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 323.

1549

Там же. Л. 127.

1550

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 16. Л. 57–58.

1551

Там же. Л. 59–61.

1552

Там же. Л. 63–65.

Соловьев С. М. История падения Польши. М., 1863. С. 208.

Сб. РИО. 1882. Т. 29. С. 126.

1555

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 323 об., 352.

1556

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 37. Л. 162.

1557

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 320 об.

1558

Там же. Л. 354–354 об.

1559

Там же. Л. 45.

1560

Там же. Л. 46.

1561

Там же. Л. 47.

1562

Там же. Л. 137–137 об.

1563

Там же. Л. 124–124 об.

1564

АВПР. Ф. 5. № 18. Л. 62 об.

1565

Там же. Л. 324 об.

1566

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 216.

1567

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 139.

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 422.

Лопатин В. С. «Пива и портера не будет» // Родина. 2003. № 5/6. С. 60.

1570

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 140.

1571

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 356 об.

1572

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 225–226 об.

1573

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 17. Л. 4–4 об.

1574

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 220.

1575

PC. 1876. № 11. C. 418.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус. С. 226.

РА. 1867. № 12. Стб. 1545–1547.

Семевский М. И. Кн. Платон Александрович Зубов. Биографический очерк. 1768–1822// Русская Старина. 1876. № 8. С. 603.

Бюлер Ф. Л. Черты из жизни князя Потемкина // Потемкин. Последние годы. СПб., 2003. С. 194–195.

Ланжерон Л. Ф. Записки. С. 125, 128.

1581

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 355.

1582

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 17. Л. 96.

1583

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 20–21.

1584

Там же. Л. 69.

1585

Там же. № 21. Л. 61.

1586

Там же. № 17. Л. 108.

1587

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 17. Л. 109–110.

1588

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 227–227 об.

1589

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 60 об.

1590

Ланжерон А. Ф. Записки. С. 128.

1591

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 139.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус. С. 226.

1593

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 18. Л. 61.

1594

РГАДА. Ф. 5. № 85. Л. 6.

Петрушевский А. Ф. Генералиссимус. С. 226.

1596

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 18. Л. 2.

1597

РГАДА. Ф. 5. № 43. Л. 17.

1598

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 18. Л. 61–62.

1599

РГАДА. Ф. 5. № 43. Л. 6.

1600

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 490.

1601

РГАДА. Ф. 5. № 43. Л. 28.

1602

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 17. Л. 85–86.

1603

Суворов А. В. Письма. С. 608.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 186.

1605

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 239.

1606

Там же. Л. 245.

1607

Сб. РИО. 1881. Т. 29. С. 84.

Григорович Н. Канцлер... С. 70.

1609

Там же. С. 84.

1610

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 355 об.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 221.

1612

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 232–232 об.

1613

Там же. Л. 235–235 об.

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 482.

1615

Сб. РИО. 1881. Т. 29. С. 74.

1616

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 239.

1617

Там же. Л. 253–253 об.

Сб. РИО. 1867. Т. 1. С. 210–211.

1619

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 253 об.

1620

Там же. Л. 2.

Апраксин С. С. Журнал происшествий войны против шведов в 1788, 1789 и 1790 годах // РС. 1876. № 11. С. 431.

1622

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 246.

1623

Там же. № 43. Л. 41.

1624

Там же. Л. 13.

1625

Там же. Л. 55 об.

1626

Там же. № 85. Ч. II. Л. 259.

Дашкова Е. Р. Записки. С. 171–172.

Шторм Г. Я. Потаенный Радищев. М., 1968. С. 124.

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву// Столетие
безумно и мудро. М., 1986. С. 156.

Там же. С. 142–143.

Лубяновский Ф. П. Воспоминания... С. 101.

Игнатъев А. В. С былым наедине. М., 2001. С. 10.

Шторм Г. П. Потаенный Радищев. С. 81.

Игнатъев А. В. С былым наедине. С. 9.

Шторм Г. П. Потаенный Радищев. С. 63.

Макогоненко Г. П. Радищев и его время. М., 1956.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 226–227.

Бабкин Д. С. Процесс А. Н. Радищева. М.; Л., 1952. С. 164.

1639

PB. 1842. № 7–8. C. 17.

1640

Там же. С. 18.

1641

Там же. С. 11.

1642

Соловьев С. М. История падения Польши. С. 207.

1643

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 19. Л. 66.

Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. С. 920.

1645

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 37. Л. 207.

1646

Там же. Л. 213–213 об.

1647

РГАДА. Ф. 1. Оп. 1/1. Д. 43. Л. 21 об.

1648

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 345–345 об.

1649

Там же. Л. 345 об.

1650

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 20. Л. 2–3.

1651

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 2. Л. 269 об.

1652

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 130 об. -131.

1653

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 264.

1654

Там же. Ф. 1. Оп. 1/ 1. № 43. Л. 108.

1655

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 37. Л. 235.

Лопатин В. С Потемкин и Суворов. С. 195–196.

1657

РА. 1867. № 12. Стб. 1547–1549.

1658

РГАДА. Ф. 5. № 43. Л. 47.

СБВИМ. 1895. Вып. VIII. С. 194.

Михайлов О. Суворов. М., 1973. С. 272.

Лопатин В. С Потемкин и Суворов. С. 193–196.

1662

РГАДА. Ф. 5. № 43. Л. 47.

1663

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 21. Л. 57.

Суворов А. В. Письма. С. 610.

1665

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 216 об.

1666

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 20. Л. 87.

1667

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 35.

1668

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 21. Л. 10.

Державин Г. Р. Избранная проза. С. 130.

КФЦЖ 1791 года. СПб., 1890. С. 23–34.

1671

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 277–278 об.

1672

Там же. Ф. 1. Оп. 1. № 43. Л. 35 об.

1673

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 211–212.

1674

Там же. Л. 217.

1675

Там же. Л. 211–217.

Храповицкий А. В. Памятные записки...С. 237–238.

Григорович Н. Канцлер... С. 84.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 238.

Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780–1792.
Пг., 1915. С. 294.

Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917. С. 237–239.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 214.

Барсков Я. Л. Переписка московских масонов... С. 250.

1683

ОР РГБ. Ф. 369. Собр. Бонч-Бруевича В. Д. К. 375. № 29. Л. 17.

Семевский М. И. Князь Платон Александрович Зубов. С. 605.

Барсков Я. Л. Переписка московских масонов. С. 251.

Семевский М. И. Князь Платон Александрович Зубов. С. 606.

1687

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 209–210.

1688

Бумаги.

Семевский М. И. Князь Платон Александрович Зубов. С. 43.

1690

РГАДА. Ф-5. № 85. Ч. И. Л. 279–279 об.

1691

Там же. Ф. 1. № 43. Л. 51–54.

1692

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 276. об.

1693

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 205.

Брикнер А. Г Потемкин. С. 200.

1695

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 205.

Григорович Н. Канцлер... С. 114.

КФЦЖ 1791 года. СПб., 1890. С. 13–96.

1698

Сб. РИО. 1879. Т. 26. С. 307.

1699

Там же.

1700

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 281.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 241.

Сб. РИО. 1881. Т. 26. С. 497.

1703

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 22. Л. 53–54 об.

Там же. Л. 74–75.

1705

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 51–57 об.

1706

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 22. Л. 75.

1707

Там же. Л. 56.

Ленрут Э. Великая роль... С. 374–375.

Лопатин В. С. «Пива и портера не будет» // Родина. 2003. № 5/6. С. 55–61.

1710

РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. № 1065. Л. 7 об., 12.

1711

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 22. Л. 64–65.

1712

Там же. Л. 72.

1713

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 22. Л. 56–56 об.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 243.

1715

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 76.

1716

РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. № 1065. Л. 14.

1717

Там же. №. 1070. Л. 1.

Архив князя Воронцова. Т. 16. С. 269.

1719

PA. 1879. № 2. C. 93.

1720

РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. № 1065. Л. 18.

Родина Т. А. Русский дипломат в Лондоне. Дипломатическая деятельность С. Р. Воронцова // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М., 1995. С. 24–25.

Архив князя Воронцова. Т. 16. С. 217.

1723

РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. № 1065. Л. 38.

Воронцов С. Р. Автобиография // РА. 1876. № 1. С. 47–50.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 242.

Родина Т. А. Русский дипломат... С. 25.

Ленрут Э. Великая роль... С. 382.

1728

РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. № 1075. Л. 11.

1729

Там же. Л. 20, 22.

1730

Там же. № 1077. Л. 4–6.

1731

Там же. Л. 17.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 241.

1733

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 289.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 240.

Корсаков А. Я. Рассказы о былом // ИВ. 1884. Т. 15. № 1. С. 164.

Семевский М. И. Князь Платон Александрович Зубов. С. 603.

Державин Г. Р. Избранная проза. С. 130–131.

1738

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 141.

КФЦЖ 1791 года. СПб., 1890. С. 341.

1740

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 272.

Смит Ф. Суворов и падение Польши. СПб., 1867. Ч. 2. С. 1–8.

Суворов А. В. Письма. С. 217.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 223.

1744

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 21. Л. 69.

1745

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 217.

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 149.

Смит Ф. Суворов. С. 234.

1748

РГВИА. Ф. ВУА. № 2413. Л. 66 об.

КФЦЖ 1791 года. СПб., 1890. С. 174, 177.

1750

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 290.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 241.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 215.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 241.

Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., 1889. С. 308.

Семевский М. И. Князь Платон Александрович Зубов. С. 45.

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 226–227.

1757

Кирыак Т. П. Письмо И. М. Долгорукому// Потемкин. Последние годы.
С. 172.

Кючарианц Д. А. Иван Старов. СПб., 1997. С. 25–27.

Неизвестный автор. Потемкинский праздник // Потемкин. Последние годы. С. 169.

1760

Кирыак Т. Я. Письмо И. М. Долгорукому. С. 173.

1761

Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 149.

1762

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 39.

1763

Там же. Ф. 1. № 54. Л. 134.

Неизвестный автор. Потемкинский праздник. С. 171.

1765

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 203.

1766

Брикнер А. Г. История Екатерины П. С. 770–772.

1767

Harris J. Diaries and Correspondence. V. 2. P. 19.

1768

Брикнер А. Г. История Екатерины II. С. 776.

1769

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 555.

1770

Григорович Н. Канцлер... С. 349–354.

1771

ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. I. № 416. Л. 32.

1772

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 414.

1773

КФЦЖ 1791 года. СПб., 1890. С. 4297.

Лопатин В. С. «Пива и портера не будет». С. 61.

1775

Семевский М. И. Князь Платон Александрович Зубов. С. 46–47.

1776

Державин Г. Р. Избранная проза. С. 133.

1777

АВПР. Ф. 5. № 585. Л. 59, 60.

1778

Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 163.

1779

Державин Г. Р. Избранная проза. С. 134.

1780

Там же. С. 135.

Лубяновский Ф. П. Воспоминания... С. 102–103.

1782

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 430.

1783

Там же. Л. 432.

КФЦЖ 1791 года. СПб., 1890. С. 469–476.

Семевский М. И. Князь Платон Александрович Зубов. С. 48.

1786

КФЦЖ 1791 года. СПб., 1890. С. 506.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 245.

1788

Державин Г. Р. Избранная проза. С. 132.

1789

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 96–97.

1790

Там же. Л. 93.

1791

Там же. Л. 97.

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 296–297.

Сб. РИО. 1881. Т. 29. С. 143–144.

1794

Там же. С. 122.

Бумаги. С. 247–252.

Энгельгардт Л. Н Записки. С. 281.

Массон Ш. Секретные записки... С. 69.

Державин Г. Р. Избранная проза. С. 257.

1799

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 100.

Энгельгардт Л. И. Записки. С. 281–282.

1801

РА. 1867. № 12. Стб. 1555.

1802

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 176.

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1556–1557.

1804

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 106.

1805

Там же. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 298–298 об.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 249.

1807

КФЦЖ 1791 года. СПб., 1890. С. 578–679.

1808

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 561.

1809

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 282.

Мифологический словарь. М., 1991. С. 662.

1811

Самойлов А. Я. Жизнь и деяния... Стб. 1557.

1812

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 103.

1813

Там же. Л. 7.

Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 204.

1815

РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. II. Л. 304.

Потемкин Г. А. Канон Спасителю // РА. 1881. Кн. II.

1817

РГАДА. Ф. 1. № 43. Л. 8.

1818

Там же. Л. 102.

1819

Самойлов А. Н. Жизнь и деяния... Стб. 1557.

1820

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. № 22. Л. 191.

1821

Глинка С. Я. Записки. С. 322.

1822

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 283.

1823

КФЦЖ 1791 года. СПб., 1890. С. 679.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 252.

1825

Лопатин В. С. Потемкин и Суворов. С. 242.

1826

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 561.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 252.

1828

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 562.

1829

Там же. С. 564.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 252–253.

1831

Грибовский А. М. Записки о императрице Екатерине Второй. М., 1989.
С. 14.

Энгельгардт Л. Н. Записки. С. 283–285.

1833

РГАДА. Ф. 1. № 54.Л. 7.

1834

Белинский В. Г. Собрание сочинений. Т. II. С. 548.

1835

РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. №. 99. Л. 34.

1836

ОР ГПБ. Ф. 73. № 315.

1837

Былое. 1918. № 13. С. 156.

1838

ГИМ ОП. Ф. 152. Ед. хр. 50. Л. 50.

1839

PA. 1876. № 11. С. 268, 270.

1840

Древняя и новая Россия. 1875. Т. 3. № 12.

1841

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 239.

1842

Архив князя Воронцова. Т. VIII. С. 38, 41, 44.

1843

Осьмнадцатый век. М., 1868. Т. I. С. 424.

1844

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 236.

1845

Русское чтение. СПб., 1845. Кн. 1. С. 78–79.

1846

Суворов А. В. Письма. С. 314.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 252.

Бюлер Ф. А. Черты из жизни... С. 199–200.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 283.

1850

Сб. РИО. 1878. Т. 23. С. 562.

1851

Архив князя Воронцова. Т. XIII. С. 232.

1852

Там же. Т. XII. С. 79.

1853

Там же. Т. VIII. С. 53.

1854

РБС. СПб., 1900. С. 91.

1855

PA. 1876. № 11. C. 280–281.

1856

PC. T. 16. 1876. № 8. C. 592.

1857

Там же. Т. 17. 1876. № 9. С. 51.

1858

Архив князя Воронцова. Т. XII. С. 164.

1859

Архив князя Воронцова. Т. XIII. С. 334.

1860

Корсаков А. Рассказы Федора Ермолаевича Секретарева // Потемкин.
От вахмистра до фельдмаршала. С. 53.

Храповицкий А. В. Памятные записки... С. 252.

1862

РГАДА. Ф. И. № 902а. Л. 4-33, 44–56; РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Ч. 2. № 3908. Л. 150–151.

1863

Там же. С. 257.

1864

PA. 1865. C. 215–216.

1865

РГАДА. Ф. 5. Он. 1. № 120. Л. 5.

1866

Кавказ. 1897. № 112, 114, 128.

1867

ИБ. 1888. Т. 32. С. 654.

1868

Лонжерон А. Ф. Записки. С. 129.

1869

Брикнер А. Г. Потемкин. С. 229–230.

1870

Кухар-Онышко Н.А., Пиворович В. Б. «Великолепный князь Тавриды». Херсон, 2003.

comments

Комментарии

Корволан (корволант) от франц. corps volant — летучий корпус — войсковое соединение из конницы, пехоты, перевозимой на лошадях, и легкой артиллерии. Обычно включал 7 тысяч кавалеристов и 5 тысяч пехотинцев.

Сарацинское пшено — рис.

Курсивом выделены приписки Потемкина на поле документа и составляющие с ним целое.

Кордарме (от фр. corde — веревка, шнур) — военное формирование, вытянутое вдоль протяженного участка обороны, например границы.